

В. В. Розанов

Литературные изгнанники.
Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев

Переписка В. В. Розанова
с Н. Н. Страховым

Переписка В. В. Розанова
с К. Н. Леонтьевым

В. В. Розанов

Литературные изгнанники.
Н. Н. Страхов.
К. Н. Леонтьев

Переписка В. В. Розанова
с Н. Н. Страховым

Переписка В. В. Розанова
с К. Н. Леонтьевым

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство "Республика"
2001

УДК 1
ББК 87.3
Р64

Расшифровка впервые публикуемого
рукописного текста и составление
А. Н. Николюкина

Подготовка текста
А. Н. Николюкина и П. П. Апрышко

Комментарии
Т. В. Воронцовой

Указатель имен
В. М. Персонова

Розанов В. В.

Р 64 **Собрание сочинений. Литературные изгнанники: Н. Н. Страх-
ов. К. Н. Леонтьев / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. — М.:
Республика, 2001. — 477 с.
ISBN 5—250—01820—3**

В настоящем томе Собрания сочинений В. В. Розанова представлены две части из задуманного им многотомного издания «Литературные изгнанники», в которых он размышляет по вопросам философии, литературы, религии и культуры, затронутым в переписке с ним известными философами и литераторами Н. Н. Страховым и К. Н. Леонтьевым. Здесь впервые полностью публикуются письма Розанова к Н. Н. Стрехову, позволяющие глубже понять особенности становления миропонимания писателя в ранний период его творческой деятельности.

Адресовано всем, кто интересуется историей русской философии и культуры.

ББК 87.3

ISBN 5—250—01820—3

© Издательство «Республика», 2001
© А. Н. Николюкин, составление, 2001

Письма Н. Н. Страхова к В. В. Розанову с комментариями Розанова

I

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Письмо Ваше было мне так отрадно, в нем столько ума и живого сочувствия, что я должен от всей души благодарить Вас. Переписка вообще для меня жестокое дело, но не могу отказываться отвечать Вам и попробую удовлетворить Вас своими письмами. Вы желали бы приехать сюда, чтобы поговорить со мною. Для таких предумышленных собесед я гожусь меньше всякого другого. Они редко удаются мне даже с самыми хорошими друзьями. Мне нужно обдумать вопрос, прежде чем отвечать на него. Поэтому отложимте лучше свидание до благоприятного случая и не будем задаваться при этом другою целью, кроме простого знакомства, которого сердечно желаю.

Вот Вам и мой портрет, сделанный года четыре назад. Он не совсем хорош только потому, что я теперь полнее и не имею такого утомленного взгляда.

Благодарю Вас за то, что Вы так проницательно угадали мою грусть. Признаюсь, она не ослабевает, несмотря на видимый успех моих писаний в последние годы. Есть для грусти другие причины, которые отчасти Вы знаете. Но главное, Вы знаете, что у меня грусть светла, что над нею — мысль о Боге.

Ваше рассуждение о *потенциальности*¹ показывает Ваше расположение к философии. Вы составили новую категорию, под которую подходят

¹ После отпечатания книги «О понимании» — у меня стоял уже план другой, такой же по величине, книги — «О потенциальности и роли ее в мире физическом и человеческом», — после которой, мне казалось, нужно поставить «точку» всякой философии и почти всяким книгам. Потенции — это незримые, полу-существующие, четверть-существующие, сото-существующие формы (существа) около зримых (реальных). Мир, «как он *есть*», — лишь *частица и минута* «потенциального мира», который и есть настоящий предмет *полной философии и полной науки*. Изучение *переходов* из потенциального мира в реальный, законов этого перехода и условий этого перехода, вообще всего, что в стадии перехода проявляется, наполняло мою мысль и воображе-

категории *причины* и *цели*. Это очень правильный прием. Вся философия есть не что иное, как работа над категориями, их точное определение и уяснение. Так учил Гегель, и Вы у него найдете бесподобные образчики этой работы. Знаете ли Вы книгу *Бакунина* «Основы веры и знания», вышедшую в 1886 году? Очень дурно написана, но в хорошем и истинно философском духе.

Если будете мне отвечать, то напишите что-нибудь о себе. Какой предмет Вы преподаете? Ваша или нет книга: «О понимании». Я видел о ней объявление в газетах.

Еще раз душевно благодарю Вас. Такие отклики, как Ваш, это то самое, чего жаждет каждый пишущий, в чем его лучшая награда.

Дай Бог Вам всего хорошего. Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1888, 27 янв. Спб.

II

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Предвижу, что мне придется много огорчать Вас молчанием, если Вы будете писать ко мне так много и так часто, как теперь. Благодарю Вас за доверие; читаю Ваши письма с искренним сочувствием Вашим стремлениям и волнениям, но не имею возможности отвечать и на десятую долю. Итак, зараннее прошу у Вас извинения.

Для меня ясно, что Вы не только хорошо пишете и обладаете большою гибкостью ума, но что сверх того лихорадочно возбуждены и рветесь и к истине, и к тому, чтобы сейчас же заявлять свои мысли. Очень меня трогает Ваша преданность тому, до чего Вы додумались, — то, что я называю *религиозным* отношением к истине и к ее исканию. Но зачем же торопливость? Вы ведь молоды, вы успеете сделать. Зачем Вам разбрасываться и истощать свои силы на порывистое писание и чтение. Если бы было в моей власти, я бы предписал Вам, во-первых, — регулярный образ жизни, а во-вторых, — чтение хорошей немецкой философской книги. Настоящее образование и настоящая зрелость мысли не достигается в три—четыре года, а только в десятки лет¹.

ние. И, словом, мне казалось, что «моя философия обнимет ангелов и торговлю». Об этом-то *потенциальном мире*, заполнившем мою душу, я, без сомнения, ему и писал «впопыхах открытия». *Примечание 1913 года.*

¹ Все это глубоко верно. Но, увы, надо иметь «ангела чтения» около себя, чтобы начать так читать, так изучать, так *готовиться*. *Этого* «ангела» никогда не стояло около меня, и я чувствую, что во всех вещах делания и писания я был всегда в сущности «не подготовленный». Это, конечно, отнимает у них определенную группу качеств; но есть качества, специфически принадлежащие *statusi nascentis* [от рождения (*лат.*)], и, думаю, эти качества у меня были. *Примечание 1913 года.*

Но простите мне за эти советы; я знаю, что советы, обыкновенно, бесполезны, да и у всякого есть своя манера развития и проявления¹. Думаю только, что *ждать* есть великая мудрость, — конечно, если человек не засыпает при этом душою, а устремлен к цели.

Что может быть проще, как дело об «Метафизике»². Хороший перевод метафизики Аристотеля — всегда будет иметь цену. Возьму на себя — пристроить его в «Журнале министерства». Но ведь торопиться некуда. Судя по Вашему рассказу, ни Вы, ни Ваш товарищ не приготовлены к этому труду. Если угодно — пришлите начало, — я сам посмотрю и дам на просмотр в редакцию.

Вообще, древние философы едва ли годятся для того, чтобы в них искать разъяснения своих вопросов и сомнений³. Нужно уже обладать хорошим философским образованием для того, чтобы понять ту ступень и ту форму понятий, на которой стояли древние. Они не писали систематически, и нам приходится самим приводить их в систему. Разве такое занятие годится для того, кто хочет из них научиться?

Ну, вот, я принял наставнический тон и, может быть, сказал что-нибудь Вам неприятное. Простите, ради Бога. Мне хотелось только выразить свое сочувствие, входя серьезно в Ваше положение.

Повторяю еще раз — меня очень трогает Ваше обращение ко мне; но Вы невольно ставите меня в положение виноватого перед Вами; поэтому не слишком сетуйте на меня. Дай Вам Бог всего хорошего.

Ваш преданный и душевно благодарный за сочувствие *Н. Страхов*.

1888, 23 февр. Спб.

III

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Немножко я посмотрел Ваш перевод «Метафизики». Конечно, перевод хорош, т. е. и верен, и понятен. Но мне хотелось бы еще большей строгости, именно — меньше прибавления слов, которых нет в подлиннике, и точного соблюдения правила: одно и то же слово подлинника должно переводиться

¹ Как все осторожно и умно. И везде Страхов был этим глубоко внимательным к чужому культурным умом. *Примечание 1913 года.*

² Аристотеля, — переводом коей с товарищем по учительству в Елецкой гимназии, *П. Д. Первовым*, я был занят этот и следующий год, и из нее (до переезда моего в другой город) мы успели перевести пять книг. Перевод был напечатан в «Журнале министерства народного просвещения». *Примечание 1913 года.*

³ И до сих пор я думаю, что Аристотель — никем незаменим. Его определения *вещей, понятий*, всякого рода именно *категорий*, физических и духовных, без коих невозможно никакое философствование, превосходны и (скажу, как институтка) — восхитительны. *Примечание 1913 года.*

всегда одним и тем же словом. Хорошо Вы делаете, что термины выставляете в скобках по-гречески. Перевод теперь отправлен в редакцию, и я просил всякого ему внимания.

Другой вопрос: введение и примечания. Все у Вас очень обширно.

Введение я прочитал с большим интересом, и два места — именно, о тоске, которая сказывается у позитивистов, и о неприличной шумливости пессимистов¹ — чрезвычайно мне понравились. Мне кажется, что тут сказывается Ваш особенный дар — большая нравственная чуткость. Вот Вы меня хвалите не за достоинство мысли и содержания, а за нравственные черты. Много Вы преувеличиваете, но вообще поняли так верно, что доставили мне минуты еще неиспытанной радости. Думаю, что Вам нужно *в эту сторону* направить свои писания. Когда я прочитал о Вашем способе² чтения книг, я его очень не одобрил. Ведь сам я так старался о связи и последовательности. Да и Вы, неужели Вы желаете таких читателей для того, что сами пишете?³

В Вашем введении есть, однако, несколько ошибок — *библиографических*; да и нет полноты, или большой близости к полноте. Все-таки оно интересно, но так велико и так слабо связано с метафизикою, что его, может быть, лучше напечатать отдельною статьею: «Наша философская литература по отношению к главным представителям философии» — или в этом роде.

Примечания длинны от двух причин: иные слишком элементарны, другие наполнены Вашими собственными рассуждениями, например объяснением *понимания* — категории, которую Вам едва ли удастся установить (да бросьте Вы, пожалуйста, Владиславлева). Вообще все не имеет достаточно ученой выправки. Нельзя, например, говорить, что вы следовали тексту Дидо; ведь это перепечатка текста Беккера⁴ и там на каждой странице указана страница Беккера, который один и отвечает за текст. И другое есть в этом роде.

¹ Тогда все были увлечены Шопенгауэром и очень скоро Гартманом, переводы коих постоянно печатались, и «мотивы из Шопенгауэра» звучали почти в каждой журнальной и газетной статье. Вообще «камаринский мужик» (русские) постоянно с гармоньей, но только «долго» не выдерживает никакого мотива. *Примечание 1913 года.*

² У меня никогда не было терпения читать от начала до конца книгу, и обычно, сняв с полки и «открыв где попало», я зато иногда часы простаивал, не отходя от полки и не дойдя до стула. Другой способ — «на сон грядущий», т. е., как поэзия после усталого дня. Но вообще где-нибудь «в середине». *Примечание 1913 года.*

³ Нет, «меня, пожалуйста, читайте от начала до конца». Я, конечно, — шучу... Но, кто знает, может быть себе я тоже хотел бы читателя «островками»... Этот способ чтения имеет свои качества. *Остро* прочитывается, *остро* запечатлевается. *Примечание 1913 года.*

⁴ Текста Аристотеля, установленного Беккером. *Примечание 1913 года.*

Вот Вам моя критика. А *необходимости* переводить именно «Метафизику» я все-таки не понимаю. Вы нуждаетесь в деньгах? Да и почему не прочитать в подлиннике прямо те места, которые Вас интересуют? Ведь на столько Вы знаете же по-гречески? Ведь Вы знаете, что «Метафизика» есть сборник, а не систематическое исследование.

Но первый мой совет Вам: учиться по-немецки. И Бэр, и Кант, и Гегель — эти два философа всего важнее по вопросу о потенциальности — существуют только по-немецки. Как хотите, а нельзя двигаться свободно в области мысли, не зная по-немецки.

Дай Вам Бог всего хорошего. Вы правы — мы зависим от высших сил, но все мы дети одного Отца, в котором живем и движемся и существуем. Откуда же та *трагическая тайна*¹, о которой Вы пишете. Чужие мысли только помогают моей, и я во множестве книг ищу и нахожу только *свое*. В этом и состоит настоящее чтение, т. е. такое, когда мысль работает бодро и вполне.

Простите меня. Еще раз повторяю, что Ваше сочувствие очень меня трогает.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1888, 18 марта. Спб.

P. S. Покорно благодарю за книгу²; но об ней уже после.

IV

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Давно собираюсь писать к Вам, но очень занят статьею против Вл. Соловьева, которую теперь пишу. Читали ли Вы его статью «Россия и Европа»? Если читали, то, прошу Вас, напишите об Вашем впечатлении. У Вас такая чуткость, и Вы можете судить со стороны, следовательно, гораздо правильнее.

Но пишу к Вам не ради этой просьбы. Редактор «Журн. Мин. Народн. Просв.» поручил мне уведомить Вас, что Ваше предисловие будет напечатано, как статья; пришлите только заглавие, а в тексте мы уже здесь сделаем нужные перемены. «Метафизику» редакция тоже принимает, но отошлет ее к Вам для поправок. Редакция просит 1) сделать перевод еще ближе к под-

¹ Не понимаю и не помню, к чему относится. Вообще же я был страшно юн в то время, а юные умы и души склонны к «тайнам» и «трагедиям»... Вероятно, что-нибудь из моего юного бреда. Бродишь, в сущности, в «перелеске»; и в каждом кустике, и в каждом прутье воображаешь видеть и пугаешься видеть «седой дуб», да еще с «ведьмой» и «колдуном» за ним, в дупле его, в ветвях его. «Обыкновенное человеческое». *Примечание 1913 года.*

² Должно быть послал «О понимании». *Примеч. 1913 года.*

линнику, избегая перифраз, и 2) выпустить примечания, кроме самых необходимых. Неудобны все примечания слишком элементарные, или слишком далеко уходящие от текста.

Нужно мне сообщить Вам при этом, что в этом журнале большая теснота — единственно ученый журнал, независимый от ученых обществ, и потому место для печатания очищается не скоро. Придется подождать месяца два, даже три. Не знаю; угодил ли я Вам своим посредничеством в этом деле. Извините за медленность, хотя и невольную.

Очень благодарю Вас за последнее письмо: в нем столько искреннего и тонкого сочувствия! И Вам я начинаю все больше сочувствовать. Ваши замечания о Данилевском, Ренане и Герцене — как все верно! И о газетах, конечно, верно¹, хотя и преувеличено. Читал я также в разных местах Вашу книгу и находил бесподобные страницы, например, где Вы говорите, что с религиею уже не враждуют, и почему. Но книга слаба в других местах, где много систематичности и общих обзоров и новых категорий. Мысль у Вас очень подвижна, и при такой подвижности легко делать всякого рода теоретические соображения, которые тем обильнее являются, что в них нет твердости и определенности. Когда-то меня мучило это легкое движение мыслей и я отделался от него тем, что стал искать опор в известных и неизвестных писателях. Мысль знаменитого философа, или та, которая уже напечатана где-нибудь в газете, составляет уже факт, не может уже подвергнуться умолчанию, уничтожению, а подлежит обсуждению. Вот почему я так люблю ссылаться на всякие книги, и говорить не от себя, а чужими словами, сопоставляя и толкуя места какого-нибудь автора. Тогда я чувствую себя на твердой почве.

Ну, простите — вот Вам моя критика; буду еще читать Вашу книгу — тогда скажу больше. Да отчего Вы сами ни слова не говорите? Как Вы на нее² смотрите? В чем видите ее достоинства и в чем недостатки?

¹ Вероятно, что-нибудь резко отрицательное (например, «запретить бы все»). Мысль о запрещении вообще всех газет в целях подъема культуры я провел года три спустя в «Сумерках просвещения», но Берг (редактор «Русского Вестника») выпустил. Вообще юноши стараются все «запрещать» и полны бывают всяческими «презрениями», на которые старость только улыбается. Старость знает, что «ничего нельзя поправить» и что «все в Боге», и — отрицательное, и — газета. *Примечание 1913 года.*

² Ну, — «как?» «Целый мир открыл»... — Оставляя шутки, я и до сих пор думаю, что книга («О понимании») совершенно серьезна. Шперк, впрочем, ее тоже не любил и называл «*Географией ума человеческого*» (что удивительно метко), предпочитая для себя «странствовать», чем «ездить по географии». Отчасти я скоро перешел тоже в «странствия», но это — дело *влечения*; а «по логике» книга все-таки основательна. *Примечание 1913 года.*

Пришло Вам скоро в подарок свои вторые издания «Борьбы с Западом» и «Критических статей». — Давно бы прислал, да немножко затрудняет меня возня с почтой. Дай Вам Бог всего хорошего.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1888, 29 апр. Спб.

Р. S. Вы знаете, что Эрнест Львович Радлов пишет для «Журн. Мин. Народн. Просв.» разбор Вашей книги¹.

V

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Только что кончил корректуру своей статьи против Соловьева (явится 1 июня в «Русск. Вест.») и тороплюсь написать Вам несколько слов. Благодарю Вас за Ваше письмо. Мне всегда совестно читать Ваши длинные и прекрасные письма — я ведь знаю, что Вы заняты гораздо больше меня. Боюсь, что моя статья не вполне Вас удовлетворит. Вопрос о самом Соловьеве, интересный для Вас и, конечно, для многих, я оставил совершенно в стороне. Я разбил²

¹ Не появился, — вероятно, не оконченный. В *те годы* и вообще несколько лет меня удивляло, каким образом *при восьми университетах и четырех духовных академиях* не появилось совершенно никакого отзыва и никакого *мнения* о большой книге (40 печатных листов), во всяком случае не нелепой или не только нелепой. Как-то я читал Ренана — «Аверроэс и аверроизм», — и дойдя (тоже «открыв случайно») до места, где говорится, что «когда умирал ученый, то у ворот дома его уже сторожили другие ученые, чтобы жадно раскупить оставшиеся после него манускрипты» — вспомнил о своей книге и почти расплакался. «Что же это за мертвая пустыня, Россия, — где думай, открывай, изобретай — и никому даже не захочется подойти и посмотреть, что ты делаешь. ... Вот тебе и книгопечатание!!...». Аверроэс и аверроизм — это из истории арабской образованности в Испании. *Примечание 1913 года.*

² Слова эти могут показаться нескромными ввиду большой репутации Влад. Соловьева; но всегда нужно помнить слова одного скромного ученого, сказанные *сравнительно о Страхове и Соловьеве*... Не привожу фамилии этого молчаливого и вдумчивого ученого, так как приведение этих его слов однажды (в «Русском Слове») было ему в высшей степени неприятно (он — большой почитатель Соловьева). Мы шли от Страхова вместе, и заговорили что-то о нем. Так как в то время «весь мир говорил о Соловьеве», — то я спросил его, что он думает о их полемике и вообще о них обоих. «Какое же может быть сомнение, — Страхов, конечно, *гораздо умнее Соловьева*». Я был поражен, и по-молодости, и по огромной репутации Соловьева, и что-то сказал. Отвечая на это «что-то», он добавил: «Но у Страхова, конечно, нет и малой доли того *великолепного творчества*, какое есть у Соловьева».

в прах только его статью, его историю, логику, физику и отчасти религию — насколько все это есть в статье. Об «русском духе»¹ тоже почти не говорю. Словом, я ограничил задачу «наинужнейшим», как мне показалось.

Главное, из-за чего пишу Вам, — хочу похвалить Вас за Бакунина. Вы отлично сделаете, если растолкуете эту книгу Вашим легким и ясным языком. У меня была мысль самому заняться таким толкованием, но вижу, что никак не удастся это сделать. Философ он вполне, но он прямо питомец Шеллинга и Гегеля — тут нет существенной разницы, да и нет того школьного подчинения, которое обыкновенно соединяется с понятием приверженца известной системы. Философия *немецкого идеализма* вообще чужда догматичности, дает свободу и вполне развязывает ум. Со временем будет же когда-нибудь это понято.

Но Вы можете написать Ваше толкование, вовсе не указывая на положение Бакунина по отношению к известным школам. Сам я навел кой-какие справки об этом, и постараюсь уяснить себе это отношение вполне, потому что Бакунин есть свидетельство силы и жизни этих школ, есть доказательство в их пользу.

Недавно он захотел познакомиться со мною, но мы виделись только один раз. Крепкий старик, еще с чернеющими волосами, лет 70-ти. Он мне сказал, что его книга дурно написана (что совершенно справедливо), что он сам иногда не может добраться, какая мысль внушила ему слова и фразы, напечатанные в его книге. «Я себя испортил, — говорит он, — я писал для себя и позволял себе самые странные выражения своих мыслей».

Но Вы правы в том, что содержание прекрасное. Совершенно правы Вы и в оценке Чаадаева².

Две эти фразы, в *обоих изгибах верные*, вполне и до конца исчерпывают «взаимное отношение» этих двух лиц, в которых в сущности ничего не было сходного, ни — умственно, ни — морально. Но собственно *критико-философское* и вообще *научное* превосходство свое над Соловьевым Страхов чувствовал, — и был вправе, в частном письме, выразить его. Почти не нужно договаривать, что в споре *шум* победы был на стороне Соловьева, а *истина* победы была на стороне Страхова. Но Страхов писал в «Русском Вестнике», которого никто не читал, а Соловьев — в «Вестнике Европы», который был у каждого профессора и у каждого чиновника на столе. И, как всегда, спор решил не «писатель», а «уважаемая редакция», которая дала писателю нужных 60 000 *своих* читателей. Страхов был измучен и угнетен этою полемикой, зная хорошо, что его «читать не будут», а Соловьева будут «читать и аплодировать» подписчики Стасюлевича, т. е. вся (условно) образованная Россия. *Примечание 1913 года.*

¹ Вероятно, я ему упоминал в своем письме о полном отсутствии у Влад. Соловьева «русского духа». Действительно, это — замечательно не русский, а *международный, европейский писатель*. Тут есть — и качество, но есть — и явный недостаток. *Примечание 1913 года.*

² *Эту часть своего письма я помню: я проводил ту мысль, что Чаадаев был увлекшийся католичеством русский человек, но — все-таки русский, и*

А Соловьев в «Критике отвлеченных начал» говорит нечто согласное с тем, что теперь, т. е., что нам назначена Богом не *культура*, а религиозная роль в человечестве.

Простите, многоуважаемый Василий Васильевич. Вашу книгу теперь примусь читать, — до сих пор не заглянул и в указанные Вами страницы¹.

Дай Бог Вам всего хорошего.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1888, 18 мая. Спб.

VI

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Прошу Вас откликнуться хотя несколькими словами. Получили ли Вы мое письмо с месяц тому назад? Читали ли Вы мою статью против Соловьева? После того и другого я стал ждать от Вас письма, и это ожидание все растет и, наконец, приходит к одному вопросу: что Вы делаете? Здоровы ли и благополучны ли? На этот вопрос мне и хочется прочесть от Вас несколько строк; теперь каникулы и потому не совестно Вас беспокоить.

Дай Бог Вам всего хорошего. Если Вы мною в чем недовольны, то скажите. Книгу Вашу почитаю, и то очень люблю, то нахожу новаторство без соответствующей новизны. Сам в потугах рождения новой статьи — «О времени, числе и пространстве»².

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1888, 19 июня. Спб.

без «коварства» в отношении к России, к православию, к русскому народу (мои тогдашние фетиши); Соловьев же по отношению ко всему этому совершает *предательство* (т. е. *тогда* писал я), и, прав он или не прав в статьях (их в *подробности* я не читал), — он является *возмутительным лицом* в нашей истории. *Примечание 1913 года.*

¹ Книгу Бакунина (это, кажется, брат сумбурного Бакунина) я не разобрал: но она — действительно *удивительна* с первых же страниц. Помню, я особенно восхищался его указанием на «живоверие» (живая вера) в человеке... Вообще, что же делают наши-то профессора университетов? Ведь это *образовательная* обязанность их — давать отчет читающему обществу о новых явлениях русской философской мысли?! *Примечание 1913 года.*

² Вот истинная *тема* Страхова; никто о подобных категориях не писал так хорошо, как он. Где, кстати, его архив? его недописанные статьи? Отчего нет его «Полного собрания сочинений»? Вот бы дело «Пути», да и дело бы Академии Наук. *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Давно чувствую себя перед Вами виноватым и сегодня хочу хоть немного убавить свою вину, пользуясь тем, что никто не пришел и что нездоровье заставляет меня сидеть дома. Вы имеете право ждать ответа на Ваше большое письмо; но, чтобы отвечать, нужно было прочесть Вашу книгу, или многое в Вашей книге, по тем указаниям, которые Вы сделали. Очень я обрадовался этим указаниям и начал читать, но на беду до сих пор не кончил. Перебили другие книги, письма, доклады в комитет¹ и т. д. Хотите ли, чтобы я теперь же сказал, что мне пришло на мысль?

Думал я: как не хорошо, что Троицкий² так односторонен. Вот для его слушателя закрыта главная струя, самая обширная и важная сторона философского движения; этот слушатель сам открывает то, что давно открыто, и вовсе не знаком с учениями, к которым ему следует примкнуть³.

¹ Ученый комитет Министерства народного просвещения, — с обязательством давать рецензии на учебники, и с платою 100 руб. в месяц. Страхов жил «чуть-чуть» — очень нуждаясь. Когда ему пришла «звезда» (через Георгиевского была прислана на дом в ночь на новый год, когда я сидел у него), он измученно спросил: «Из чего я буду платить?!» (около 60 руб., «за орден»). *Примечание 1913 года.*

² Профессор философии в Московском университете, коего и я слушал, и который вообще всякую философию считал «глупостью» (кроме позитивистов). Я, действительно, в университете ничего не слышал о бытии «германского идеализма». *Примечание 1913 года.*

³ «Германский идеализм» — чтб... Едва ли бы я к нему примкнул или с ним слился, если бы его и узнал. Дело в том, что Страхов не совсем понимал книгу «О понимании», и я это чувствовал все время знакомства с ним, и не совсем понимал так сказать *философскую часть* моего духовного организма, накладывая на него некоторые *свои схемы a priori*, взятые из этого германского идеализма. Он во мне искал Гегеля или части Гегеля, тогда как во мне не было ничего этого и вообще никакой части *немца*... Передам дело, как есть. Читая Уэвеля «Историю индуктивных наук» и отчасти Куно-Фишера «Историю новой философии», я был (в годы ближайшие по отпечатанию своей книги) поражен — отчасти унылостью, но гораздо больше радостью, — что действительно мои «Америки» открыты, но, с другой стороны, что это — действительно «Новый Свет», совершенно неведомый и никогда не вносившийся в русские университеты; так что по отношению к Троицкому, Владиславлеву, по отношению к Лаврову, Михайловскому, вообще *по отношению ко всей русской действительности и действительному содержанию русской духовной жизни, русской умственной жизни*, — книга «О понимании» была колоссальным новым фактом, была совершенной перестройкой этой жизни. Теперь об «открытии»: Боже, да разве Гегель не открыл вторично Гераклита, но никто решительно не скажет, что после Гераклита Гегель обязан был только заявить, что он «компилирует

Знаю я эту странную манеру Троицкого выдавать свое направление за общепринятое, господствующее, не подавать и виду, что оно вообще считается ересью, а в ходу совсем другие учения¹. На его месте я бы постоянно

Гераклита» или «примыкает к Гераклиту» и т. п. Все эти вообще споры о приоритете («кому *первому* пришло на ум») хотя не лишены исторического значения и исторической интересности, но по существу и лично — пусты, ничтожны. В сущности, есть немного схем человеческого ума или «прокатанных дорожек истории», по которым катится и вечно будет катиться человеческая мысль, и тут третьи и десятки не меньше «первых», ибо и «первые»-то покатались по этой дорожке не заслугою личного гения, а как обыкновенные умы, но очень ранние, и покатались по неодолимому *скату Вселенной* просто потому, что *он есть*. Все мы можем странствовать только «на Север», «на Юг», «на Восток» и «на Запад», — и никто этих стран горизонта не открывал, или 11-й открыл не меньше, чем первый. «Нéкуда больше катиться»... Но вернусь к тому, что же я нашел у Узвеля и Куно-Фишера: да *споры* XVII века о целесообразности или о причинности, разлитой в мире органическом!! «О понимании» и вся моя философствующая личность и философская судьба попадали как «в свое гнездо» в споры еще начиная с греков и по сей час о коренном устройстве мира, о коренном сложении Космоса, о веющих здесь (в Космосе) веяниях, силах, законах. Меня прямо бы обнял как любимого ученика грек Парменид за многие страницы главы «О существовании» (проблема о бытии *небытия*), тогда как в XIX веке Руси эти страницы вызвали (были отзывы в печати — журнальной) хихиканье и самое приложение прозвища «Кифа Мокиевич». Для русских и русской умственной жизни, для журнального и газетного философствования (которое всегда *было*) все, что не отдавало дубовым позитивизмом, — было *eo ipso* [тем самым (*лат.*)] «Кифа Мокиевич». Вот в такую-то пошлость и такую-то умственную грязь я и вошел с книгой «О понимании». По Узвелю и Куно-Фишеру, я радостно увидел, что я был не только прав в *самочувствии* во время писания «О понимании», — прав в том, что это все «нужно» и «хорошо», но что кроме Троицких и Михайловских, кроме «Вестника Европы» и «Русской Мысли», двух невежественных и претенциозных русских журналов, темы книги «О понимании» всегда (*как и меня*) неизъяснимо волновали человеческую мысль, начиная с «физиков» и элейтов Греции и до великих натуралистов и философов XVII—XVIII веков; что, не имея себе родного у русских, я весь западный мир имею себе *роднею*. *Примечание 1913 года.*

¹ Да, это была возмутительная вещь... Именно «приверженец-то английского позитивизма» Троицкий, как ранее его «позитивисты» вроде Лаврова, Чернышевского, Писарева, были сплошной «Кифомокиевичиной», их *личным мнением и убеждением*, которое они нагло с кафедры и из журналов навязывали читателям и слушателям как «тот последний результат европейского мышления», достигнув которого — вообще все прежнее откинуто и забыто и выброшено за борт философского корабля, как гниль и отслужившая свою службу ветошь. Еще поразительнее, что эта мальчишеская дурь философски-неспособных господ преподавалась по крайней мере с кафедры в «приказующем» мундире чиновника Министерства народного просвещения (незабываемое впечатление, как «позитивист» Тро-

полемизировал, постоянно выставлял свою особенность, а он — все сглаживает и замазывает.

Что наш ум содержит в себе нормы нашего познания — эта мысль провозглашена Кантом и до конца развита Фихте и Гегелем. Мне все кажется, что основания Вашей книги никак не могут разойтись с этим немецким идеализмом и что та *система категорий*, которую Вы дали, есть менее строгое и ясное повторение, например, системы гегелевских категорий. Чтобы дать Вам представление о системе Гегеля, я послал Вам очень хорошую маленькую книжку Розенкранца. Она написана чрезвычайно ясно и легко; но если Вы и не будете ее читать, то пересмотрите, однако, цепь этих категорий, только ряд существительных имен, крупно и отдельно напечатанных. Мне думается, Вы убедитесь, что это та самая работа, какую Вы вздумали сделать¹.

ицкий явился в расшитом золотом полном мундире «декана факультета», когда другие профессора были только в синих фраках, по какому-то торжественному случаю или торжественному приему гостей в университете), и что, таким образом, в сущности, «вихри буйные» радикальных редакций навязывались насильственно, навязывались «к экзамену» самым сухим, бездарным и замундированным Министерством народного просвещения в (якобы) реакционнейшую пору графа Димитрия Толстого и обер-прокурора Церкви Победоносцева, навязывались не как-нибудь тайком, крадучись, «под полой», а громогласно, с топотом лошадей и громом везомой артиллерии, в Москве, в Петербурге, да и везде!!!.. Еще курьезнее и даже совершенно странно, что в то время как неспособный к философии Троицкий «распространялся» с министерской кафедры, само министерство поручило способнейшему Страхову до утомления, до тошноты разбирать учебники по естественной истории для реальных училищ; а Владимира Соловьева, тоже идеалиста, не пускало в университет, потому что (собственные слова И. Д. Делянова) «он имеет мысли». Таким образом, мы вступаем здесь в какую-то чудовищную бессмыслицу русской бюрократии, русской ученой и учебной бюрократии, поистине напоминающей того святого сказаний и апокрифов, который «несяще отрубленную свою голову в руках зело плаче над нею»... Бросим и поистине плюнем на это *гадкое место* русской истории. *Примечание 1913 года.*

¹ Все это — отчасти *так*, но гораздо более — *не так*. У меня исследуется то, что я назвал «сторонами мира», соответствующими «схемам разума», — и исследуется, *как это лежит в мире*, то есть *космогонически*, а не логически и психологически. Дело не в том, что я наименовываю напр. «причинность» и «целесообразность», вещь — очень легкая, и *легко это выделить в «категорию»*: а в том, что с компактностью словаря, т. е. без болтовни и тумана, я изложил приблизительно на 70 страницах (не *понятие целесообразности*, а) строение, структуру *целесообразных* (в природе) *процессов*. И тут, я думаю, около «открытой давно Америки» есть все-таки множество «симпатичных островков», куда не заглядывал человеческий глаз. *Примечание 1913 года.*

Читал я Ваши рассуждения о законе причины и действия. Противоречие (видимое), мне кажется, в том, что *из самого понятия опыта* вывести а priori этого закона нельзя (ибо из этого понятия вообще ничто не выводится); следовательно, он выводится только из самого опыта (как и все, что признает познанием чистый эмпирик). Тут одно из другого следует, а ничуть одно другому не препятствует¹.

Читал еще о различии души и тела. Вы разнообразие и быструю смену явлений считаете за признак духовности. Почему же?

По воздуху вихорь свободно шумит.
Кто знает, откуда, куда он летит?

Когда тихо падает снег, посмотрите, что делается с мелкими снежинками: они прыгают по воздуху, *точно живые*, самым странным и *прихотливым образом*. (Простите — мне вспомнилось, как это красиво!) Конечно, духовность должна яснее обнаруживаться в *свойствах*, в характере самих явлений, а не в их порядке или беспорядке².

Но я еще буду читать Вашу книгу, а теперь пишу Вам только первые замечания, которых не хотел писать, пока не составлю более полного суждения.

То, что Вы пишете о себе лично, навело на меня грусть. Так я и предполагал, что Вам свойственная болезненная впечатлительность — неизбежный спутник всякой возбужденной мысли, всякого писательства. — Вам, как мне кажется, нечего еще больше себя возбуждать, а наоборот, — нужно себя успокаивать; я бы строжайше предписал Вам правильный образ жизни. Вы не владеете собою в занятиях. Так вот Вам задача: выучитесь

¹ Читаю все это как совершенно *чуждое себе* и отчасти непонятное, — как совершенно себе *непривычное*, новое и трудно воспринимаемое; между тем как в главах «О причинности» и «О целесообразности» у меня перо «само вперед летело», т. е. в *теме* я не чувствовал никакого препятствия для своей мысли. Отсюда я заключаю, что Страхов и я (или «германский идеализм» и «О понимании») движутся в совершенно разных морях, что мы *думаем* далеко не об одних предметах, и, словом, что тут — все разное. *Примечание 1913 года.*

² Книга «О понимании», везде излагая, *подспудно везде полемизирует*; это — на 737 страницах сделанная полемика «против Московского университета», т. е. того *осязательного*, что я перед собою имел 4 года. И мне надо было вышибить из рук, из речи, из «умозаключений» своих противников те аргументы, которыми они фехтовали. Отсюда — элементарность, плоскость суждений, доказательств. «Надо было полемизировать не с Парменидом, а с Михайловским». Конечно, — это слабая сторона книги. *Примечание 1913 года.*

владеть; попробуйте и увидите, что это не трудно. А я так радовался, что Вы женаты¹.

Скоро пришло Вам свою новую книжку: «Заметки о Пушкине и других поэтах». Пожалуйста, напишите Ваше мнение. То, что Вы пишете о статье «Наша культура» — совершенно справедливо. Нет в ней *одного* тона, и все заметили резкие вскрикивания. Но если бы я задался одним тоном, было бы хуже, вышло бы не сердито, а злобно² — чего я не хотел. Статья очень по-

¹ Увы, всякие советы вообще бесплодны (и все-таки их надо давать и даже *надо твердить*, дабы поплакал о себе советуемый). Жизнь наша течет из корня нашего рождения... Этот «корень» у меня был крайне смутный, хаотический и воспламененный. *Примечание 1913 года.*

² Глубоко тонкое замечание. Во всем славянофильстве и бесчисленных его полемиках нельзя найти *ни одной злобной страницы*, — и бедные славянофилы только именно «вскрикивали», когда палачи — поистине палачи! — западнического и радикального направления жгли их крапивой, розгой, палкой, колом, бревном... Да, это мученики русской мысли: и в полемике со Страховым «торжествующий» Соловьев со своим тоном «всегдашнего победителя» был мучителем. Страхов — спорил, строил аргументы; Соловьев хорошо знал, что дело «в настроении», и, не опровергая или слегка опровергая аргументы, обжигал противника смехом, остроумием и намеками на «ретроградность» и «прислужничество правительству» как покойного Данилевского, так и «недалеко уже до могилы» Страхова. Во всей этой полемике, сплетшей наиболее лучший, т. е. наиболее либеральный венок Соловьеву, он был отвратителен нравственно. Недаром проницательный и гениальный Шперк сказал мне задумчиво о нем, после 2—3—4 визитов к нему: «Соловьев в высшей степени эстетическая (т. е. в нем все *красиво*) натура, но совершенно не этическая». Никто не догадывается, что это вполне очерчивает Соловьева. Тихого и милого добра, нашего русского добра, — добра наших домов и семей, нося которое в душе мы и получаем способность различать нюхом добро в мире, добро в Космосе, добро в Европе, не было у Соловьева. Он весь был блестящий, холодный, стальной (поразительный стальной смех у него, — кажется Толстой выразился: «*Ужасный смех Соловьева*»)... Может быть, в нем было «божественное» (как он претендовал) или — по моему определению — *глубоко демоническое*, именно преисподнее: но ничего или очень мало в нем было человеческого. «Сына человеческого» (по-житейскому) в нем даже не начиналось, — и, казалось, сюда относится вечное тайное оплакивание им себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многоодаренный и *страшный человек*. Несомненно, что он себя считал и *чувствовал* выше всех окружающих людей, выше России, ее Церкви, всех тех «странников» и «мудрецов Пансофов», которых выводил в «Антихристе» и которыми стучал (т. е. *лицом их!*), как костяшками на шахматной доске своей литературы... Пошлое-побежавшее по улицам прозвище его «Антихристом», «красивым-брюнетом-Антихристом», не так пошло и собственно сказалось в «улице» под неодолимым впечатлением от личности и от «всего в совокупности». Мне брежжется, что тут есть настоящая *ноуменальная истина*, настоящая оглядка существа дела: в Соловье-

направилась, однако, иным, например поэту Кутузову, большому приятелю Соловьева.

Итак, Вы простите меня. Видите, сколько я Вам написал, стараясь отплатить за то великое удовольствие, которое доставляют мне Ваши пись-

ва попал (при рождении, в зачатии) какой-то осколочек настоящего «Противника Христа», не «пострадавшего за человека», не «пришедшего грешные спасти», а вот готового бы все человечество принести в жертву себе, всеми народами, всеми церквями «поиграть, как шашечками» для великолепного фейерверка, в бенгальских огнях которого высветилось бы «одно мое лицо», «единственно мое» и до скончания веков только «мое, мое»!! И — ради Бога «никакого еще лица», — «это-то, это-то и есть главное!» Жажда потушить чужое лицо (воистину, «человекоубийца б искони») была пожирающею в Соловьеве, и он мог «любить» именно студентиков, «приходящих к нему», «у двери своей», «курсисточек», или — мелких литераторов, с которыми вечно возился и ими окружал себя (всегда на «ты»), «журнальной компанией», «редакционной компанией», да еще скромными членами «Московского психологического общества», среди которых всех, а паче всего среди студентов, чувствовал себя «богом, пророком и царем», «магом и мудрецом». В нем глубочайше отсутствовало чувство *уравнения себя с другими*, чувство *счастья себя в уравнении*, радости о другом и о достоинстве другого. «Товарищество» и «дружба» (а со всеми на «ты») совершенно были исключены из него, и он ничего не понимал в окружающих, кроме рабства, и всех жестко или ласково, но большею частью ласково (т. е. наиболее могущественно и удачно) — гнул к непремennomу «побудь слугою около меня», «поноси за мной платок» (платок пророка), «подержи надо мной зонтик» (как опало над фараоном-царем). В нем было что-то урoжденное и вдохновенное и гениальное от грядущего «царя демократии», причем он со всяким «Ванькой» будет на «ты», но только не он над «Ванькою», а «Ванька» над ним пусть подержит зонтик. Эта тайная смесь глубокодемократического братства с ужасающим высокомерием над братьями, до обращения их всех в пыль и ноль, *при наружном равенстве*, при наружных объятиях, при наружных рукопожатиях, при самых «простецких» со всеми отношениях, до «спанья кажется бы вповалку», — и с секретным уходом в 12 часов ночи в свою одинокую моленную, ото всех сокрытую, — здесь самая сущность Соловьева и его великого «solo-один». Но это его «solo» было не в сознании, а в воле, муке-жажде. Он собственно не был «запамятовавший, где я живу» философ; а был человек, которому с чело-веками не о чем было поговорить, который «говорил только с Богом». Тут он невольно пошатнулся, т. е. натура пошатнула его в сторону «самосознания в себе пророка», которое не было ни деланным, ни притворным. «С людьми мне не о чем говорить», а с Богом — «говорится», «речь льется». Тут какое-то бреженье ему в себе «Моисея», тоже не ложное как *самоощущение*. Только вот Моисей за каждого «жидёнка» душу бы отдал... В нем (Соловьеве) был именно ложный пророк и ложный же Моисей, в основе — ложный Мессия (суть Антихриста), — и распознавалось это потому, что ни капельки, ни цветочка, ни крупинки в нем не было «дам другому», «полюблю *другого*», «покормлю *его*», «пособлю, поддержку, подыму, защиту *кого-нибудь*». Нет местоимений кроме «я».

ма. Дай Вам Бог всего хорошего, главное — мирного духа, бодрости, здоровья.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1888, 9 ноября. Спб.

VIII

Что мне с Вами делать, дорогой Василий Васильевич? Из Ваших длинных писем, доставляющих мне истинное наслаждение по множеству ума и чувства, по расположению ко мне (большему, чем я стою), увидел я, что ошибся в своем мнении об Вас. В первом Вашем письме всего больше меня обрадовало то, что Вы писали об Ваших отношениях к ученикам. Вы говорили, что на них легко действовать¹ и что они Вас любят. Я и подумал, что значит Вы учительствуете охотно и, следовательно, хорошо². А теперь, что же

Это и есть разница и *вся* розница между областями божественного, как самоотверженного и служащего, и демонического — как поглощающего и обращающего себе в службу, при полном сходстве и даже тождестве других «образующих линий» и форм и устройства всей вообще мировой, и божественной и демонической, пирамиды. Земля — основание; над нею пирамида в верх, к ангелам, солнцу, к Богу, откуда текут лучи света, жизни, устроения, блага; откуда все — *растет, здоровеет, долгоденствует, благоденствует*. Простое житейское добро. Но *точь-в-точь такая же* есть книзу пирамида, откуда поднимаются «к нам на землю» испарения, угар, путаница, злоба, разрушение, подкапывание, клевета, «революция», «социал-демократия», газеты, журналы, «Вопросы философии и психологии». Лес, пустыня, пустынный — одно; такое же *одно* — семья связанных друг с другом людей, с варевом к обеду, работою днем, сном без сновидений или с благами сновидениями ночью. Вот божественный порядок, божественная тишина, божественный труд. И совсем другое — улица, гам, клуб, кокотка, писатель. Здесь — демоническое безделье, или если «дело» — то злобное, разрушительное, кого-нибудь опрокидывающее, что-нибудь разрушающее, подо что-нибудь подкапывающееся. У Соловьева не было ни «иоты» от тишины. *Примечание 1913 года.*

¹ Все — в стремлении, в аппетите; но «еда» не всегда бывает похожа на аппетит. *Примечание 1913 года.*

² *Бесконечно* была трудная служба, и я почти ясно чувствовал, что у меня «творится что-то неладное» (надвигающееся или угрожающее помешательство, — и нравственное, и даже умственное) от «учительства», в котором, кроме «милых физиономий» и «милых душ» ученических, все было отвратительно, чуждо, несносно, *мучительно в высшей степени*. Форма: а я — бесформен. Порядок и система: а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался в тайне души комичным, и со всяким «долгом» мне в тайне души хотелось устроить «каверзу», «водевиль» (кроме *трагического* долга). В каждом часе, в каждом повороте — «учитель» отрицал *меня*, «я» отрицал *учителя*. Было взаиморазрушение «должности» и «человека». Что-то адское. Я бы (мне кажется) «схватил в охапку всех милых учеников» и улетел с ними в эмпирии философии, ска-

оказывается? Что Вы сами «мучитесь» и других «мучите». Да ведь это большое горе, и откуда же оно явилось? Неужели от географии и истории? Да это прекрасные науки¹, гораздо более содержательные, чем русская словесность.

Ну и по другим признакам я убедился в том, чего боялся, — в Вашей несоразмерной чувствительности, в силу которой Вы вообще несчастны и едва ли будете вперед счастливы, но в частности, конечно, испытаете много наслаждений, недоступных другим людям. Обыкновенная история! Так и хочется Вам крикнуть: берегитесь, уходите с этой дороги!

Вы хотите оставить Елец, а Елец я воображаю чем-то вроде Белгорода, в котором родился. Благословенные места, где так хороши и солнце, и воздух, и деревья. И Вы хотите в Петербург, в котором я живу с 1844 года, — и до сих пор не могу привыкнуть к этой гадости, и к этим людям, и к этой природе.

И что Вы будете здесь делать? Здесь учителя дают по пяти, по шести уроков в сутки. Настоящее Ваше место — сотрудничать в журналах, если бы Вы это умели сделать; но Вы едва ли справитесь и с собою, и с журналистами.

Приезжайте и поговоримте, если Бог даст, если положит нам на души хороший разговор.

Очень я дивился, что Вы угадали мою грусть, но вижу, что Вы не на все проникательны: Вы не угадали моей веселости, да кажется мои шутки в статьях Вас вовсе не смешат. Приезжайте и увидите действительность, не совсем похожую на Ваше идеальное понятие.

Меня одно очень порадовало: Вы начали чувствовать *болезненность* Достоевского; по-моему, он очень вреден для многих, я думаю и для Вас — теперь можно сказать — *был* вреден. Он бередил в других всякие раны, которыми сам очень страдал, и все доказывал, что это и есть настоящая жизнь, настоящие люди. Разумеется, в каждом вопросе он колебался, но думал, что так и нужно.

Об Вашей книге вот что прибавлю: категории, по Гегелю, растут одна из другой; все их разветвления как будто выходят из одного семени, и он пока-

зок, вымыслов, приключений «по ночам и в лесах», — в чертовщину и ангельство, больше всего в фантазию: но 9 часов утра, «стою на молитве», «беру классный журнал», слушаю «реки, впадающие в Волгу», а потом... систему великих озер Северной Америки и все (все!!!) штаты с городами, Бостон, Техас, Соляное озеро, «множество свиней в Чикаго», «стальная промышленность в Шеффилде» (это, впрочем, в Англии), а потом лезут короли и папы, полководцы и мирные договоры, «на какой реке была битва», с какой «горы посмотрел Иисус Навин», «какие слова сказал при пирамидах Наполеон», и... в довершение — «к нам едет ревизор» или «директор смотрит в дверь, так ли я преподаю». Ну, что толковать — сумасшествие. *Примечание 1913 года.*

¹ У меня никогда не было склонности к конкретному, и в этом-то и был ад. *Примечание 1913 года.*

зал процесс этого выхождения. Словом, для меня главная мысль Вашей книги — гегелевская; а что в книге много и нового и хорошего, это несомненно; но ведь на первом плане — главная мысль, а не те частности, которые, может быть, вовсе с нею не связаны.

Но Вы так много мне написали, что на все отвечать решительно невозможно. Самое нужное вот что: «Метафизика»¹ начнет печататься с февральской книжки, а статья Ваша — все еще не решено когда: в журнале большая теснота. Я заявил редакции желание сделать кой-какие поправки в библиографических указаниях, и вообще продержать корректуру. Заглавие Вы придумали хорошее, но если повторите мне его, то избавите меня от отыскивания в Ваших письмах.

Итак, до свидания! Дай Бог Вам счастливого пути и всякого душевного блага. Увидеть Вас, наконец, мне очень захотелось и от этого свидания я жду одной радости.

Ваш душевно преданный и благодарный *Н. Страхов.*

1888, 14 дек. Спб.

Розенкранца я послал Вам летом, когда Вы были в Липецке, *казанною* бандеролью в Елец, гимназию. Поищите: должно быть кто-нибудь получил книжку.

IX

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, дорогой Василий Васильевич. Сегодня я получил Ваше прошение² от нашего письмоводителя, с простыми словами: «А книги у Вас». Недели через две сделаю доклад, разумеется благоприятный, а затем — Ваша книга едва ли много скорее станет раскупаться. Это дело большой важности не имеет, и торопиться не было надобности. Гораздо важнее Ваша статья, и с нею не запоздайте. Меня испугало Ваше желание распространить ее; хорошо, если Вы сделаете ее *немного пространнее*, как Вы желаете; но я видел большое удобство в ее краткости, которую Вы и хвалились. Вообще, даю Вам совет и увещание, обращаю к Вам усердную просьбу и желание — пишите статьи небольших размеров³.

¹ Перевод аристотелевской «Метафизики». *Примечание 1913 г.*

² При представлении книги «О понимании» в Ученый комитет Министерства народного просвещения — для одобрения в фундаментальные библиотеки гимназий. Не помню, едва ли это не было сделано по (устному, при одной беседе) предложению А. И. Георгиевского, тогдашнего председателя Ученого комитета и лица всемогущего в Министерстве («вице-министр»). Но это — не наверное. *Примечание 1913 года.*

³ Хорошо советовать, трудно исполнить. Всякий *написанный* труд соидает в голове написавшего *форму*, которая неодолимо хочет подчинить

При Вашем обилии мыслей и легкости изложения это не должно быть трудно; из длинного можно сделать короткое¹, но не наоборот. Дело в том, что короткую статью всегда можно напечатать; а с большою статьею всегда будет затруднение, а иногда и непреодолимое затруднение. Если Вы желаете зарабатывать деньги писанием, то это Вам главный и необходимый совет².

Очень понравилась мне Ваша мысль остаться в Ельце и взять меньше уроков. Это настоящий выход из теперешнего положения, — наилучший, пока не представится более радикального средства. Здесь мы Вас не забудем; особенно если будете напоминать о себе статьями несколько раз в год. Но напрасно Вы думаете, что Георгиевский будет торопиться, и, вообще, что подобные дела скоро делаются. Я скажу ему при случае, который, ко-

себе *следующий труд*. После «О понимании» у меня всякое написание, за которое я садился, слагалось с первых же строчек, «парило» с первых же строчек, — непременно торжественных, протяженных, медлительных — в некоторый «ouvrage» [труд (*фр.*)].... Нужно было не год, не два уйти на какое-то *молекулярное перестраивание мозга*, когда «парение» посократилось, и я сделался способен написать «лирическую журнальную статью» книжки на три журнала, т. е. листов на 7—8—10 печатных: причем «музыку» мог продолжать сколько угодно. Так произошли «Легенда об инквизиторе», «Эстетическое понимание истории» и «Сумерки просвещения». Как некоему чуду и удаче я удивлялся и радовался, если удавалось написать статью только на одну книжку. Наконец, перехожу в газету: писать фельетон, ну в 700 строк! «Не могу»!! «Мало места»!! «Дух не входит». А нужда за горбом скребет: «пиши», «умей». Итак, все сокращаясь «в форме», я дошел до теперешних статей: но и теперь еще «чем длиннее, тем легче дышется», а «коротко — дух спирает». Но нужда все говорит: «Старайся». Ах, эта «нужда»: и ненавидишь ее, но в конце пути начинаешь и любить ее, как вечную старуху-спутницу за горбом, как хриплую «музу» с клюкой в руке, которая тебя погоняла много лет. И много била; но и много *заставила* сделать. Не будем на нее все сетовать, будем ее иногда и благодарить. Не одни жаворонки пели мне справа и слева в пути, но каркали и черные вороны... И в конце пути скажешь и им великое «прости». *Примечание 1913 года.*

¹ Ну-у-у-у... Совсем нет! *Примечание 1913 года.*

² Вся жизнь продолжался, повторялся. И это был самый страшный *черный ворон*. И «сколько горьких слез украдкой»... Возвращаясь к *положению литературы*, спросим: а что же Пыпин со своей «этнографией по русской словесности», в которой вообще строк было *океан*, а мыслей в океане 2—3 «своих», выслушивал ли «предложения», весьма походившие на *sine qua non*, т. е. на «приказ» — «писать покороче». Ни Пыпин, ни Стасов, ни теперь Слонимский, ни всегда Добролюбов или Чернышевский не выслушивали этого горького, этого страшного «*покороче*» бы, которое Страхов, конечно, говорил *не от себя*, а говорил предостерегающе другу то, что сам от редакторов слышал постоянно лет тридцать. *Примечание 1913 года.*

нечно, скоро представится. Наконец, успокойтесь — и отказаться можно без всякой обиды¹: довольно здесь кандидатов на всякие места.

¹ Теперь я припоминаю, что в бытность в Петербурге познакомился с Леонидом Николаевичем Майковым, издателем Пушкина и братом поэта Аполлона Николаевича М-ва. Все это были «свои люди», «свой кружок» у Страхова. Именно Леонид Николаевич, полный и добродушный человек, и сказал «им всем» обо мне, что мне надо увидиться с А. И. Георгиевским («вице-министр»). «Зачем» увидиться, ни они не сказали, ни я ничего об этом не подумал. Свидание было ужасно странное. Войдя в кабинет, я был поражен беспримерною в истории некрасивостью «владыки кабинета». Сел. Он немного расспрашивал, много сам говорил. Лицо, я думаю, выражало ум «деловой формы», злость к «сопротивлениям в службе», бесконечное упорство и даже прямо неспособность сказать «нет» после того, как однажды сказано «да»; и, наконец, даже неспособность понять или допустить, что «где-то там»... существуют философия, поэзия, звезды и нумизматика; существуют «барышни», «кормилицы», любовь и некоторый флирт; существуют «картишки» и политика. «Вне службы и служебного долга вообще ничего не находится», а «служба» самая состоит «в исполнении моих предначертаний», в гениальности которых он Бог весь как уверился, но уверился. «Уверился» (в тайне вещей) потому, что «вел за нос» как Д. А. Толстого, так и гр. И. Д. Делянова, бла-а-душнейшего мудреца, — «царя Берендея» учебного царства. Собственно «друзьям моим» надо было меня познакомить с И. Д. Деляновым, в коего при первом же свидании я вероятно бы беспamięтно влюбился, и тогда бы уже верно ему служил до гроба. Не буду скромничать и скажу полную свою мысль, что (завтрашние «Сумерки просвещения») я мог бы и вся натура моя рвалась к тому, чтобы стать при «Царе Берендее», который принципиально ничего не хотел делать, а только «играл на дудке», *настоящим устройтеlem ведомства школ*, причем опять-таки, «не практичный в делах мира», я взял бы себе «в исполнители» вот таких людей, как А. И. Георгиевский, т. е. взял бы «столпы несокрушимые», но дал бы им иное вдохновение, чем какое они получили в Каткове и Леонтьеве... Но оставим предположения. Я сидел. Он говорил. Видя, что я ничего не прошу, он в заключение и предложил мне 1) перевестись в Петербург и 2) одобрить книгу: «О понимании». Слова в письме Страхова и показывают мое смущение «быть скоро переведенным в Петербург», где *как учитель гимназии я*, конечно, быстро бы погиб. К учительству у меня не было никакой способности. Опять без скромности скажу, что настоящее мое *emploi* было дать вдохновение, толчок, импульс к преобразованию вообще всего ведомства министерства просвещения, к *стальному* заложению для него принципов, причем «инженерную» и «копательную» роль должны бы сделать другие, «подручные мастера», с коими во власти и «гордости» у меня не было бы ни малейшего соперничества, ни малейшего ревнования, и я мог бы быть около них хотя «шапкою невидимкою», оставив им все ордена, мундиры и пенсии. Но я едва ли мог бы и *хотел бы* быть уже попечителем округа, и вообще никогда бы ничьей воли не мог быть «исполнителем», не по гордости, а по неспособности даже понять чью-нибудь мысль, кроме своей. Которая («Сумерки просвещения») была вполне *достойная мысль*. *Примечание 1913 года*. P. S. Так как нумизматики и звезд, поэзии и «длинных философских

Словом, не волнуйтесь и трудитесь ohne Rast, ohne Hart¹.

1 февраля в «Русск. Вестнике» будет моя статья: «Последний ответ Вл. С. Соловьеву» — всего 12 страниц. Пришлю Вам оттиск, — пожалуй, два. Вот чем я был занят это время и почти все время проболел, хотя и не сильно, и даже выходил на воздух через день, через два. Теперь, слава Богу, все прошло.

Вы спрашиваете о статье Тимирязева — *май и июнь «Русской Мысли»* 1887 г. Какое, однако, отсутствие точности! Месяцы и все, что следует, обозначены в моих статьях «Всегдашняя ошибка»²; а Вы писали о Тимирязеве — и не сделали точной цитаты.

Но я нынче все что-то сбиваюсь на выговоры. Поверьте, дорогой Василий Васильевич, что это только от любви, что я всею душою желаю Вам спокойствия, бодрости и успешной работы. Ваш приезд оставил у всех у нас приятное впечатление, и мы Вас добром поминаем с Майковым, Кусковым и всеми, кто Вас видел.

Дай Бог Вам здоровья. Простите и не забывайте
Вашего душевно преданного *Н. Страхова*.

1889, 20 янв. Спб.

Х

Если будете посылать мне рукопись, дорогой Василий Васильевич, то пошлите *посылкой с доставкой на дом*. Такие посылки принимаются, но ценою не выше 25 рублей. Поэтому Вы и оцените в 25 рублей — достаточное застрахование.

Дай Бог Вам сил и труда, и всякого благополучия.

мыслей» такие лица, как Делянов, Толстой, Георгиевский, как (отчасти) сами Катков и Леонтьев, — не понимали и не воспринимали, то мои бедные «Сумерки просвещения» прошли для Министерства просвещения совершенно втуне, лишь слегка заставив ошетиниться их шетину (огромное неудовольствие профессора и друга Каткова, Любимова, на них). Вся эта (исчисленная) категория умов, чугунных и «среднего образования», были великолепные *инженеры, землекопатели, строители шахт*: но без тайны «разведывать золото». И они совершенно бесплодно и безрезультатно искорежили всю русскую землю, накопили везде своих ям и траншей (школы, гимназии, «уставы» университета и гимназий), нигде не отыскав золота, которое иногда «лежит на поверхности». *Нюха к золоту нет* в Министерстве просвещения: и все от невидимого условия, что в министрах никогда не было «золотой паутины по осени, носящейся в воздухе, с золотым паучком на ней»; что они не вздыхали о монетах; не любили Дункан; не любили петь «Аллилуия», не любили «протодиаконов»; не любили и не понимали «всей нашей Руси». В сущности, Министерство просвещения всегда было без «министра», а с «делопроизводителем» в мундире министра. И в этом — *все дело* «сего безголового ведомства».

¹ без отдыха, без спешки (*нем.*).

² «Всегдашняя ошибка дарвинистов», перепечатано в «Борьбе с Западом». *Примечание 1913 года.*

Вчера говорил с Георгиевским, именно похвалил Вас, между прочим, и за то, что Вы не желаете пока оставлять Ельца. «Да, да! это прекрасно», — отвечал он мне.

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1889, 26 янв. Спб.

XI

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Теперь, я так завален работой¹, что пришел в большое затруднение, когда получил Вашу статью, и несколько дней не мог даже собраться ее прочесть. Я предполагал, что статья у Вас готова, что она маленькая, что Вы мне ее пришлете сейчас после приезда в Елец, что припишете только одну или две страницы общих положений. Вместо того, получаю статью в три печатных листа и еще не конченную. До ее окончания не могу вполне судить об ней и не могу начать дела с редакцией.

Вчера был, наконец, у меня свободный вечер, и я прочел, что Вы написали. Думаю, что большею частью это покажется лишним для редакции «Русского Вестника». Вы вновь начинаете все дело и рассказываете то, что происходило в самом же «Русском Вестнике». Потом опять начинает-

¹ Глупая, тупая, бесплодная работа по прочитыванию представляемых в Ученый комитет Министерства народного просвещения учебников и по составлению о них докладов. Вот Страхова Георгиевский уже отлично и лично знал: но ничего не понимал (да и «некогда» за работой в «рудниках») в его личности и в превосходных его книгах. Настоящая роль Страхова, этого великолепного *методиста, методолога*, есть и была организация наукознания в университетах и духовных академиях; он был врожденным «Председателем Ученого комитета»: а самому Георгиевскому, по мелочности ума его, надо бы «рассматривать учебники». Но вышло наоборот. За тысячу (годового) жалованья рублей Страхов был законопачен в душный, узкий, без воздуха и дыханья, рудник рассмотрения «торгово-промышленных книжонок»; а философию в университетах читали чиновник — Владиславлев и нигилист — Троицкий (Петербург и Москва) и «вдохновляли собою» юношество, долженствовавшее завтра учить — в гимназиях. Так — все русские дела, особенно в этом несчастнейшем из министерств. Между тем простое передвижение Страхова и Соловьева (Влад.) на философские кафедры в Москве и Петербурге — в ту-то пору! — составило бы эпоху в университетах, в судьбах русской философии, и — самое главное! — в добром наставлении русского юношества, «о котором так заботилось ведь Министерство просвещения». Да, перед ним был открыт текст Пушкина, а оно «весьма усердно» читало стихотворения Баркова». *Примечание 1913 года.*

P. S. И так старалось, до поту, до бессонницы; до «Владимира 1-й степени» и титула «графа» — Делянову. Среди жемчужных зерен курица все отыскивает червячков.

ся изложение «Дарвинизма» и опять полемика с Тимирязевым. Но ведь это уже все было, и никакой редактор не решится через год повторить конченную полемику.

И Ваше изложение, и Ваша полемика, впрочем, очень хороши¹, и я бы охотно устроил Вам место, если бы это было летом 1887 г., а не зимою 1889 года.

Впрочем, необходимо было бы исправить маленькие неточности, да есть и места, которые нужно, мне кажется, выпустить.

Но я очень занят, у меня мало и сил, и времени, и потому ужасно огорчен, что должен откладывать всякие заботы об Ваших статьях. Если Вы написали *несколько страниц* (не печатных листов) об отношении *органического к механическому*², то это можно будет поместить в виде размышления к выпуску второго тома «Дарвинизма».

В «Вестнике Европы» № 2 появилась статья Фаминцына об «Дарвинизме». Придется мне об ней написать, хоть для апреля. Вот опять помеха — нельзя загружать журнала одним и тем же. Статья Фаминцына — 28 страниц — вот Вам пример краткости. Да еще — правильно ли Вы сочли теорию Дарвина за *механическое* объяснение?

Простите. Дай Вам Бог всего хорошего.

Ваш душевно Н. Страхов.

1889, 5 февр.

ХII

Грустно мне было, что я огорчил Вас, дорогой Василий Васильевич, и очень меня тронуло Ваше письмо, в котором Вы уговариваете меня не *сердиться*. До сих пор не удалось мне ничего для Вас сделать, несмотря на искренней-

¹ Это, как теперь припоминаю, *compendium* спора Данилевского против Дарвина; я был в высшей степени увлечен этим всем, и наконец *тезисы* дарвинизма и *анти-тезисы* Данилевского у меня свернулись, в мысли и языке так сказать в «минуты и секунды ученого часа». Рукопись никогда не была напечатана. Она представляла нечто вроде экстракта или учебника по «спору», и к напечатанию в журнале *литературно-политическом* была совершенно невозможна. *Примечание 1913 года.*

² Важнейшая тема методологии, как равно и естествознания. Она была напечатана (в «Журнале Министерства Народного Просвещения») под заглавием: «Органический процесс и механическая причинность». Считаю ее вполне *точной*, вполне *правильною*, необыкновенно для науки *ценною*. Задача ее была: изложить, указать, определить, вывести: 1) признаки, свойства, *устройство*, так сказать, целесообразного процесса, 2) и — процесса механического. В Испании XI века она была бы принята с «Браво! Браво! Давай! Нужно!» У нас просто на нее взглянули только, и с вопросом «что это» — отодвинули в сторону. «Наш Акакий Акакиевич ничему не удивляется и надо всем спит». *Примечание 1913 года.*

шее желание. Но постараюсь, и хоть чем-нибудь заплачу за Ваше доброе расположение. Третьего дня я был в компании людей Вашего возраста, был там и Вл. Соловьев; через час или полтора разговоров меня так поразила умственная мелкость моих собеседников, что на меня напала тоска: ну что с ними сделаешь и чего можно от них ждать? Но на Вас я надеюсь и уверен, что не обманусь. Пишите: 1) небольшие статьи, 2) о предметах интересных, 3) с ясным началом и ясным концом. Всего лучше писать о книгах — Вы ведь следите за русскими книгами. Разумеется, статьи присылайте мне.

Отвечаю на Ваши вопросы.

1) Что такое смерть? Механическое или органическое явление? А действие борьбы за существование основано на истреблении, т. е. на смерти.

Далее — новые формы организмов отчего являются? Не механически. А без этих форм ничего бы и не было.

2) Нужно различать *невероятное* и *невозможное*, в точном смысле этого слова. Энеида из рассыпанных букв — невероятное, но не невозможное¹.

Простите. Сегодня кончено новое издание «России и Европы» и завтра с разрешения цензуры книга будет в книжном магазине.

Дай Вам Бог всего хорошего.

Ваш преданный *Н. Страхов*.

1889, 15 февр. Спб.

ХIII

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Ваше письмо о печальных происшествиях в Ельце — очень огорчило меня за Вас — больше и сильнее всего за Вас, чем за других. Сколько Вам горя и волнения, и теперь и впереди! Смотрите же: делайте, что можно и должно, а остальное пусть будет как Богу угодно.

Странное впечатление: мне очень жалко Леонова², и Петропавловского, но и отраднo было читать Ваши похвалы им. Знаю, что Вы человек востор-

¹ Никакой памяти об этих спорах (или вопросах). *Примечание 1913 года.*

² *Иван Павлович Леонов*, полный, почти толстый, и очень высокого роста, — лет пятидесяти, помощник классных наставников (надзиратель) I, II, III и IV классов гимназии. Холостяк. Жил на краю города, на самом краю. Приехав в Елец и делая «визиты знакомства», я пошел к нему, как почти уже «к не учителю», последним: и издали услышал звон птиц, почти что с угла улицы. Дальше иду — звон все сильнее. Дрозды, синицы, Бог знает что и Бог знает сколько. Подхожу к дому: попал буквально в певчий птичник. «Это что такое, Иван Павлыч?» — спрашиваю его, выходящего в сени навстречу. У него была добрейшая и какая-то благородная и тонкая улыбка (на очень полном, «грузном» лице). — «Это мои дети, — пробасил он. — Что же, живу один, никого нет. Пусть будут птицы». Так он жил, всеми любимый и уважаемый, от директора до последнего ученика. Что же случилось с ним? На него, как и на другого надзирателя (для старших классов), Арцыбашева,

женный, но тут не могу Вам не верить. Значит, есть же на свете прекрасные люди; думать о них, знать об их существовании — уже отрада. А что один из них неожиданно умер, а другой неожиданно испытал жестокую обиду —

было возложено обязательство ходить по воскресеньям на зимний каток, — вовсе не для «ловить бы» учеников, как воображает обычно печать и общество, а для того, что *в его присутствии* ученики будут сдержаннее, и не позволят себе вообще недозволительного, — например неприличного. Так он мирно ходил, чередуясь с Арцыбашевым (из офицеров). В противоположность Леонову, Арцыбашев был очень нелюбим. Был один дурной исключенный ученик (фамилии не знаю), исключенный давно, а теперь уже великовозрастный, лет семнадцати. И решился он «отомстить и побить» Арцыбашева: но, придя на каток, увидел не Арцыбашева, а Леонова. Он был и питомцем Леонова, так как Леонов служил «с незапамятных времен». «Ну, все равно», решил он, и тут вслух, и как потом сказал на суде. И он быстро пошел на него, с угрозами и ругательствами. Леонов и по летам, и по росту был медлительен и неуклюж. На катке никого не было (надзиратель бывал для «возможных прияти»), и, видя положение, — Леонов стал уходить домой. Ученик — за ним. (Дальше рассказ Леонова мне): «Иду я, и все он старается стать впереди меня, заскочить вперед, — но я то или перехожу на дорогу с тротуара, или с дороги на тротуар, но вообще поворачиваюсь к нему или боком, или спиной (он был очень умен). Но (при повороте или что) там-то не успел. Он заскочил вперед и... сделал это» (ударил кулаком по лицу). Леонов заплакал (рассказывая мне). «К чести нашего времени», которое так гуманно «как нельзя более», — все окончилось мирно и без большой возни. В «защитники» исключенного и побившего ученика выступил местный, наиболее знаменитый адвокат, Александр Павлович Бутягин, — с надеждою сказать громовую речь против жестокого режима гимназий, только бездушного и только формального, «который доводит вот до чего!». Этот Александр Павлович был сыном виднейшего в городе протоиерея, в то же время законоучителя женской гимназии, и сам питомец этой гимназии, т. е. питомец побитого Леонова. Ну, произнес речь; побившего приговорили что-то к месяцу ареста, и в силу просьбы и «разъяснений» на суде адвоката — арест этот был заменен «домашним арестом». Леонов через год скончался. «Ничего не болит, В. В.», — говорил он мне, когда я посетил его перед смертью. Он сидел на лежанке, в валеных сапогах, в марте месяце, весь опав в теле и желтый. Поднял глаза на окно: «А вот как снег на дворе: смотришь на него, никто его не трогает, а *его все меньше*. Так и я. Все *меня меньше*... Куда живот девался, и руки худые (т. е. от плеч). Умираю незаметно». Вскоре он умер. У него был рак желудка. Однако «Бог поругаем не бывает»: знаменитый адвокат, вскоре — друг орловского архиерея, говорун и с интересами к литературе, виднейшее лицо города, все вел «крестьянские дела» о чем-то: вел... вел... успешно... успешно... Когда вдруг стали спрашивать какие-то «деньги», и их у него не «оказалось», — не свои деньги, а эти крестьянские. Был лишен права ведения дел, — и в необходимости как-нибудь «выкарабкаться» взял заимобразно у всех, что можно, — и у отца-протоиерея, и у местной мелкоты вокруг. Потом был восстановлен в правах «вести дела»: но кругом «свои» уже не получили заимобразно взятых денег. Совпало это и с другою линиею: «лопнуло терпение» у его многодетной, образованной и энергичной жены, и она потребовала развода. Отошла и она. Только «дружба

ведь это та случайность, которой мы все подвержены, общая доля хороших и дурных. Хотя я не дошел до такого состояния, чтобы радоваться смерти и обиде, но я уже понимаю, что можно прийти в такое состояние и что должно к нему стремиться¹. Другого выхода тут нет, а это — выход к свету и блаженству, это — положение, в котором для человека нет ничего страшного и все обращается в любовь и благословение. Я готов радоваться за Петропавловского², что он так рано ушел отсюда, что эта звезда упала прежде, чем потускнеть. Для него это лучше, а тяжело только для нас.

архиерея» поддерживала его в несчастиях. Но он был несокрушим, все любил еще литературу и все интересовался еще общественными делами. И вместе с архиереем обсуждал «возрождение православия» в Орловской губернии. Жена, отошедшая от него (и вышедшая замуж за одного видного московского присяжного поверенного, — как «первая любовь» его, и теперь очень счастливая), передавала мне, какой тайный ужас несла она двадцать лет. Вообще — одна из темных и страшных провинциальных историй. *Примечание 1913 года.*

¹ Несколько непонятны слова, очень точно переписанные с письма. Уж не в ответ ли на аналогичные слова моего письма? Может быть. *Примечание 1913 года.*

² Прекрасный по равновесию ума и души учитель приготовительного класса. Умер лет сорока пяти. Оба — из духовного сословия. У него было воспаление сердца; в городе были прекрасные местные врачи, Слободзинский и Ростовцев; но, не желая обидеть хорошего товарища по преферансу, военного врача Звягинцева, он обратился к нему. Тот, не сделав исследования или сделав неверное исследование, стал лечить его от желудка, «отказавшегося действовать». Промывательные, каломель и т. д., — «лошадиные дозы» каломеля. Все — желудок не действовал. Пока он не умер. Когда был позван, часа за три до смерти, Слободзинский, он выслушал и, поднявшись, сказал: «Что же вы зовете меня к трупу? У него болезнь сердца, а вы лечили его от желудка». Он умирал, когда я входил в комнату. В прихожей столкнулся с лечащим Звягинцевым. У него было красное, толстое лицо. «Что с ним?» «Плохо. Сердце ослабло». Что такое «сердце ослабло», я не понимал... Вхожу. Огромную фигуру сидит на привычной кровати Иван Феокистович и поднял на меня мертвые глаза. «Что вы?» — «Умираю». «Ну, что вы?! Что вы?!» Подхожу, беру голову. Голова холодная, как мертвая, и на лысине (в величину всего темени) крупные капли воды, как бы он голову выставлял из окна под дождь. «Что вы? Что вы?» Все зрелище — непонятное, непостижимое, страшное. «Да где же доктор?!» Но, взяв военную фуражку, доктор, не простясь и незаметно, вышел. «Иван Феокистыч! Не бойтесь, что вы?» А сам дрожу, и все дрожат кругом. Он валится в руках. «Положите, не могу сидеть». Стали его опускать на подушку. Голова — коснулась. Вдруг вижу — глаза его как шарики повернулись в орбитах: только белое (белок), а зрачки куда-то ушли. «Что же такое? что же такое?» Глаза закатываются. Они — *закатились*. Он умер. Все не верим. Все не понимаем. Такой гигант. Сорок пять лет. Всегда здоров. «Умер! Умер!» Старушка, квартирная его хозяйка, и ее молодая дочь-вдова, и ребенок их, лет шести девочка, разрыдались, пораженные ужасом, — как и все были поражены ужасом, жалостью и печалью. Он был прекраснейший человек. Царство ему небесное и вечная память. *Примечание 1913 года.*

Что касается до Леонова, то очень поразили меня Ваши слова: «Жизнь испорчена на самом склоне, *отравлены* последние дни старика». Как? Это мог сделать Рыльцевич¹? Есть такая власть у одного человека над другим? Нет, Бог этого не попускает, не может попускать; нет, мы не подвержены таким опасностям. Если Леонов стал уже скучать, как Вы пишете, то, я уверен, его несчастье может повести его к обновлению всей жизни, к тому спокойствию и самоотречению, при котором все радостно и ничто не тяготит. Мы христиане, для нас образец Христос, которому столько плевали в лицо, которого столько били по щекам, и Он простил их: «не ведят-бо, что творят»². Отчего же хоть в малой доле мы не приложим этого к себе? Какая может быть честь выше чести уподобиться Христу?³ Мы страдаем больше всего от наших понятий, и самое страдание должно нам показать ложность этих понятий. Впрочем, у нас еще держится совершенно иной дух. «Суворов на своем веку получил две пощечины». Вы это знаете. А недавно с моим знакомым, начальником одного из высших учебных заведений, случилась такая же беда. Государь призвал его, уговаривал остаться на месте, и он остался, и уже вполне успокоился.

Конечно, Рыльцевич отвратителен, — и невольно содрогаешься при мысли об этой злобе и бездушии всяких человеческих отношений. Но об Леонове я думаю с отрадою, вспоминая Ваш рассказ. Дай Бог ему здоровья, пока не вернется к нему спокойствие; дай Бог ему нового спокойствия, которое выше всей его прежней жизни.

Вы пишете мне о моих книгах, но я не могу понять, чего Вы желаете? Каких прав мне добиваться? Всего лучше, назовите такую книгу, права ко-

¹ Вот фамилия ученика. Я (выше) забыл. Леонов едва ли и умер не в связи с оскорблением, — и в этом *тоне* говорил мне перед смертью. Ниже рассуждения Страхова не верны: у Страхова есть философия, книги и *учебный авторитет*, и *будущая о нем память*, у Суворова — подвиги. Все это затушевывает «какую-то пощечину». А у Леонова — одна тихая почтенная жизнь, безвестная, и только с любовью и уважением «городка Ельца». Вдруг «на весь город» раздается пощечина, а «город» ничем и не реагирует на это, кроме мертвого постановления мирового судьи, да злобной речи «о гимназических порядках» виднейшего в городе лица (адвоката). Леонов вдруг чувствует, что «в этом самом месте», которому он принес всю свою жизнь, и кроме которого у него ни с чем на планете нет связи, он поруган и унижен, без заступничества, без ясных знаков, что кто-то его любит, понимает, ценит. Собственно, *дальнейшая жизнь* и была невозможна, и он умер с «слава Богу». *Примечание 1913 года.*

² Многое, возможное Богу при его Красоте и Величии, невозможно для человека «трех аршин роста и с жалованьем в пятьдесят шесть рублей». Все эти рассуждения не очень правильны. *Примечание 1913 года.*

³ Да вот «уподобиться»-то мы никак и не можем: ибо нет «равнения» сверху. *Примечание 1913 года.*

торой Вы желали бы дать и моим книгам. Мне думается, что Вы что-то смешиваете¹.

Простите меня. Я все еще очень занят, хотя главная тяжесть уже сошла с плеч.

Дай Бог Вам силы и здоровья.

Ваш душевно Н. Страхов.

1888, 25 марта. Спб.

P. S. Где кончил курс Петропавловский? Не в Гатчинском ли институте?

XIV

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Не знаю, будете ли Вы на меня сердиться, или нет, но я самовольно распорядился с Вашею статьею; первые пять страниц я отрезал и дал в «Русский Вестник», как рецензию на второй том «Дарвинизма». Эти страницы уже набраны, я продержал корректуру, и они явятся в апрельской книжке. Остальные страницы я отдал в «Журнал Министерства Народного Просвещения» под заглавием: «Органический процесс и механическая причинность» — хорошо ли так? Л. Н. Майков обещал мне поместить их в майской книге. Уверяю Вас, что лучше этого сделать невозможно было. Как Вы хотите, чтобы литературный журнал помещал подобную отвлеченность! И разве это критика — только назвать книгу, а потом и не думать об ней, и писать свое, на свою тему. Начало, которое будет в «Русском Вестнике», мне очень нравится; истинное свойство Дарвинова учения тут выставлено верно, ясно; взята самая глубокая черта². Что касается до *механического*

¹ Очень позорно для университетов, что они за такую книгу, как «Об основных понятиях психологии и физиологии», не дали Страхову доктора honoris causa [во внимание к заслугам (*лат.*)] философии, — каковая ученая степень давала бы право на кафедру в университете; и что вообще Страхов не был ни *позван* на кафедру, ни *послан* (министерством) на кафедру. *Примечание 1913 года.*

² Я тоже думаю, что как ни кратка эта рецензия, она улавливала существо дела, и была в самый центр системы (дарвинизма). Все факторы, указанные Дарвином, — *не живые, а мертвые, механические*: и хотя через них происходили и происходят *перемены* у животных и у растений, но именно — у них, а не в них. Не могло через них выйти *рождения* и *перерождения*, а Дарвин говорит о нем. Дарвин не был философом. Между тем философия бьется около понятий столь сложных и тонких, *около понятий наконец таких точных*, с какими зоологи и натуралисты вообще никогда не имеют дела. Поэтому гораздо раньше, чем какая-нибудь «великая теория», например в зоологии, станет *неверною*, или наоборот станет *правдоподобною* в глазах «собратьев по

процесса, то напишу Вам мое впечатление, когда прочитаю корректуру. Теперь я вижу только, что Вы истинно отвлеченный человек. Это беда. Это та беда, от которой всегда страдало и потеряло свою силу над умами гегельянство. Это — общие формулы, тавтологии¹, которые сами по себе не содержат познания, а составляют тот огонь, в котором должно очищаться всякое познание.

В апрельском «Русском Вестнике» будет и моя статья: «Суждение А. С. Фаминцына о «Дарвинизме»² и чуть было она не помешала помещению Вашей статьи.

Простите. Очень тороплюсь и занят жестоко еще недели на две. Дай Вам Бог всего хорошего.

Ваш душевно Н. Страхов.

1889, 17 марта. Спб.

науке» (биологов), она открывается во всей разительной ясности как или *неверная* или *правдоподобная* — философам. Уже со времен моего студенчества, хотя я был только филолог, но *с философскими в себе способностями*, не только «неверность», но *умственная пошлость* дарвинизма не возбуждала во мне никаких о себе сомнений, оставляя «все факты (открытые или замеченные Дарвином) верными». Факты — одно: и их никто не смеет поколебать. Но ведь факты надо *объяснить, объяснить*: и тут всегда философ вправе произвести могучее «veto», перед которым все зоологические кафедры повалятся. Могу сказать без предубеждения, что Дарвин, по всей конструкции его ума как только *великолепного наблюдателя и неутомимого регистратора фактов*, не мог бы не только *сам* сложить ту цепь мыслей, ту цепь последовательных выводов, от которых «некуда деться», — каковая мною изложена в «Органическом процессе и механической причинности», но не мог бы никогда и *усвоить*, «вдолбить себе в темяшку», уже составленных другим этих мыслей. Сужу об этом по данным «Автобиографии» Дарвина, — разительной по тону наивности. *Примечание 1913 года.*

¹ В «тавтологиях»-то и сила. Разве математика не начинается с них? В «тавтологиях» кажется «все *одно и то же* говоришь», — те же все слова, лишь немного переставленные: но после нескольких «перестановок», — которые для «беглого читателя» кажутся лишь вербальными, а на самом деле в них происходит медлительное и огромное поворачивание логического организма, — получаются выводы, где например дарвинизм просто пропадает как «нет». *Примечание 1913 года.*

² Почти не стоило писать Страхову: только чванливость и (служебно-ученая) высокопоставленность «академика» Фаминцына принуждала Страхова к полемике. Статью Фаминцына я *хорошо помню*, до чтения страховского ответа: она меня поразила не одним чванством тона, но и тем, что почти лишена содержания. Только правительственной терпимостью (или невежеством?) можно объяснить, что оно не прогнало давно метлой всех этих «Фаминцыных» с университетских и академических кафедр, и не позвало на место их таких людей *метода*, как Данилевский. *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый Василий Васильевич, Пишу к Вам наскоро, только чтобы сообщить необходимые известия. Опять маленькая неудача, очень огорчившая меня за Вас, но, в сущности, не стоящая того, чтобы Вы сами огорчались. Берг нашел невозможным напечатать в одном номере две статьи об дарвинизме, и потому Ваша статья отложена до майской книжки. Я бы поступил иначе, но не мог его переломить. Другая Ваша статья тоже явится 1 мая. Я уже продержал ее корректуру, и должен похвалить Вас, хотя это не так хорошо, как то, что будет в «Русском Вестнике»¹. Прекрасная задача, и многие выводы очень остроумны, например тот, что органический процесс может прерваться, а механический всегда своего достигает. Но — не видно методы, ни из чего не видно, что Вы вполне захватываете вопрос².

С нетерпением читал я, ожидая приложения найденных положений к органическому миру — и в заключение нашел одну страницу, где это приложение скомкано и сводится на несколько общих черт, только упоминаемых, а не развиваемых обстоятельно. Когда Вы дошли до цели, то тут-то Вы и охладели, и не пользуетесь тем, что сделали. Словом, тут Вы весь, с Вашей силою и с Вашими недостатками³.

Посылаю Вам два оттиска моей статьи, которая помешала Вашей. На этот раз я собою недоволен; по содержанию все хорошо, но я умею лучше писать, и на этот раз у меня не хватило одушевления.

¹ И тогда чувствовал, и теперь чувствую, что Страхов не уловил всей ценности «Об органическом процессе и механической причинности». Критика в «Русск. Вестн.» — штрих; а статья *испепеляла самую возможность, предупреждала самую возможность*, таких легкомысленностей, как дарвинизм. Теперь вот прошло двадцать лет; и что же осталось от дарвинизма? Но когда я писал те статьи, то — именно исходя из тезисов как книги «О понимании», так и этого «Органического процесса» — не сомневался несколько, что все это есть просто ерунда слов, перемешанная с великолепными фактами. Т. е. что *факты-то* Дарвина — все верны, но самый *дарвинизм* (объяснение живого мира из этих фактов) — это детский карточный домик, а не научная теория. *Примечание 1913 года.*

² Почти «наудачу» сказанные слова. Страхов или не понял статьи, а вернее всего — бегло ее прочел, как вне тревог «нашего сегодняшнего спора» (с Соловьевым или Фаминцыным). *Примечание 1913 года.*

³ Только с «силою». Мною построена была некоторая алгебра касательно явлений, о каких всегда может зыйти вопрос, «объяснять ли их по Дарвину или вроде Дарвина, в духе Дарвина, в стиле Дарвина, или — как-нибудь объяснять *иначе*». Тут именно разбита, в этой алгебре не Дарвинова одна теория, но все подобные ей, все ей аналогичные теории, теперешние ли *или будущие*, в применении к органическим явлениям. *Примечание 1913 года.*

Жду известий об Ваших делах. Если мое прошлое письмо Вас удивило, то скажите и об этом все, что думаете.

Дай Вам Бог силы и здоровья. А меня простите¹.

Ваш душевно преданный Н. Страхов.

1889, 7 апр. Спб.

XVI

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Только что хотел писать к Вам, как получил Ваше письмо. Прошу Вас, извините меня, что не писал раньше — виновата моя леность и неповоротливость. А писать надо было именно о Вашей статье, как я Вам это обещал. Но я забыл свое обещание, — уж Вы простите старика. А предыдущее Ваше письмо, от 12 апреля, хотя и писано Вами в тяжелом духе и тоне², но не содержит ничего, в чем бы Вам нужно было передо мною каяться, как Вы теперь делаете.

Статьи Ваши обе очень хороши, и я слышал им похвалы; например статью «Орган. процесс» хвалил Бестужев-Рюмин, историк. Мне очень понравились некоторые замечания; например, *разложение органического процесса на его элементы* и особенно указание *возможности перерыва, или прекращения этого процесса*. Но конец статьи мне не так понравился. (Да, кажется, я уже писал Вам об этом). Я ждал, что найду приложение найденных категорий к явлениям органического мира, и нашел только беглые и краткие намеки. Вообще, Ваши статьи, как и Ваша книга, страдают *неопределенностью предмета*³ и неопределенностью метода. О чем идет речь? О какой-нибудь книге? О существующей науке? О господствующем заблуждении? Словом, укажите то *место*, которое Вы хотите занять, тот *вопрос*, на который хотите отвечать, *примкните* себя и свою мысль к чему-нибудь конкретному⁴. Иначе Ваши писания не будут ни для кого важны и

¹ Правда, я тогда рассердился на Страхова, что он меня все «откладывает». Молодое нетерпение. Старик и без того со мной чрезвычайно много возился, и вообще был мне «отец». Вечная неблагодарность «сынов». *Примечание 1913 года.*

² Так и есть: «дух и тон» неудовольствия на Страхова, и в *следующем письме* я явно опасался, не обидел ли чем-нибудь его. Только теперь, когда самому 57 лет, понимаю, что нельзя обижать (и огорчать) старших. Тогда казался (себе) «всех умнее и всех замечательнее». *Примечание 1913 года.*

³ Только *отвлеченностью* (алгебраичностью): но «неопределенности», т. е. «каши», никогда не ношу в уме и не могло появиться в словах. *Примечание 1913 года.*

⁴ Темы и предметы совершенно мне чуждые тогда и теперь. *Примечание 1913 года.*

интересны¹, и не будут читаться. Потом, если Вы стали рассуждать, — нужно, чтобы виден был Ваш метод, Ваши приемы. Иначе никогда не будет видно, что вы исчерпываете предмет, что смотрите на него с наилучшей точки зрения. Вот у Гегеля Вы увидите (пожалуйста, читайте его), что развитие понятий совершается по диалектическому методу. Он и идет постоянно по линии этого метода, а не движется наудачу, неизвестно откуда и неизвестно к чему².

Очень мне грустно было читать Ваши жалобы на невнимание к Вам других; но поставьте себя на место этих других, ведь они тоже имеют право жаловаться на Вас. Я бы советовал Вам писать что-нибудь об литературе, о Достоевском, Тургеневе, Толстом, Щедрина, Лескове, Успенском и т. п. Вы много можете сказать хорошего, и все станут читать.

Виноват я перед Вами, что Ваша книга, которую поручил мне разобрать Ученый комитет, до сих пор не разобрана. Да, что мудреного. Разве это легкая задача. Но на этой неделе я примусь за нее и исполню свой долг, напишу доклад.

Досадно мне, что и в «Р. Вестнике» и в «Журн. Мин. Нар. Просв.» искажено Ваше отчество; и оба точно сговорились, поставили В. И. вместо В. В. Я никогда не понимал, как можно указывать год или имя, когда его не знаешь. Одна моя статья в «Журн. М.» была подписана И. Страхов.

Был я недоволен Вашим прежним письмом за то, что Вы не написали, как идут Ваши печальные истории в Ельце. Будете писать, то не забудьте. Ваши отзывы о людях исполнены любви, и это очень меня трогает и возвышает Вас в моих глазах.

Об Вашей «Метафизике»³ я говорил и укорял редактора; он отговаривался, но не отговорился. Буду продолжать. Леонид Майков вовсе не «простой добрый русский человек», — как Вы его определяете. Не хочу сказать о нем что-нибудь дурное, но простодушия и добродушия в нем нет; он тонкий и умный человек⁴; отнестись презрительно

¹ Вот то-то! Вот тут-то и убийство!!! «Помоги нам в спорах, и мы тебя начнем читать». «Помоги нашим книгам, — и мы поможем твоей!» У Страхова, с его литературным бедствием («терплю крушение!») это так понятно, да и писал он уже 65 лет: но собственно весь зов литературы, и научных книжек, таков. «К нам! К нам! Не начинай своего!! Со своим ты неинтересен и никому не нужен». Не таковы были арабы в XI веке. *Примечание 1913 года.*

² Ну, уж я-то всегда «известно откуда и известно куда». *Примечание 1913 года.*

³ Т. е. Аристотеля, — перевод и комментарии. *Примечание 1913 года.*

⁴ Известно, что в России особенно толстые люди суть особенно тонкие люди. Довольно «толстый» Л. Н. М-в издавал Пушкина, был «свой» и «близ равного» с А. И. Георгиевским: а более худощавый Страхов все корпел над учебниками за 1000 рублей в год, — сколько получает помощник столоначальника во всякой канцелярии. *Примечание 1913 года.*

к *Первому*¹, которого он вовсе не знает, он едва ли мог; мне думается, Вы приняли его важничающий тон за нечто более определенное.

Ну, простите. Прошу Вас пишите и всегда помните, что Вам легче написать пять длинных писем, чем мне одно короткое. Относительно же Ваших статей, я делаю все возможное. Я пришлю Вам скоро оттиск из «Ж. М. Н. Пр.», и теперь послал Вам Вашу рукопись только для того, чтобы Вы видели, что я, хоть и не пишу, но помню об Вас.

Дай Бог Вам доброго духа и всего хорошего. У Гёте есть:

«Печаль подобна воде: она тянет в себя, но в ней же мы видим отражение вечных звезд».

Простите меня.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1889 г.

XVII

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Пишу к Вам только для того, чтобы покаяться и известить Вас, что я не сдержал своего обещания, не представил 22 мая доклада об Вашей книге и отложил его до 20 июня. Мне хотелось составить довольно подробный отзыв, и я почувствовал, что, если буду подгонять к заседанию, то успею написать только небольшую заметку. Должен также сознаться, что заключение мое не будет особенно благоприятно; вероятно, мой разбор будет напечатан в «Журн. Мин. Нар. Просв.», и тогда Вы увидите, почему я не мог дать иного отзыва, несмотря на все мое расположение к Вам. Мне в некоторой степени больно критиковать Вас, но — *magis amica veritas*², и если я ошибаюсь, то против всякого своего желания, и даже с прямым желанием ошибиться скорее в Вашу пользу.

Теперь я собрался ехать к Л. Н. Толстому, где я пробуду числа до 15-го или 16-го. К несчастью, мне сегодня очень занездоровилось, и это напоминает мне, что самые твердые планы могут не исполниться.

Дай Вам Бог всего истинно хорошего, и не забывайте

Вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

1889, 24 мая. Спб.

P. S. От Толстого я вернусь в Петербург и пробуду дома до первых чисел августа. Пишу это в надежде, что Вы мне напишете.

¹ Учитель греческого языка в Ельце, с которым мы вместе трудились над Аристотелем. *Примечание 1913 года.*

² истина — большой друг (*лат.*).

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Очень обрадовали Вы меня Вашим письмом. Все так и было, как я Вам писал. Две недели прожил я в Ясной Поляне, потом вернулся домой и два дня дописывал свой доклад, а 20 июня читал его в Комитете. Простите меня: очень трудно мне писалось и весь разбор Вашей книги составит страниц 10—12, не больше. Когда я кончил чтение, то Комитет думал, что я предложу *рекомендовать*¹ Вашу книгу для приобретения в основные библиотеки, и все готовы были на это согласиться. Но я не решился на такое предложение, и потому постановили: просить редакцию «Ж. М. Н. П.» напечатать мой разбор, а голословной рекомендации не давать. Рекомендация ведь значит ручательство за выдающиеся достоинства книги. Ваша книга слишком своеобразна, чтобы можно было ее официально рекомендовать². Впрочем, Вы все увидите из рецензии. Вчера я виделся с редактором и дело это устроено.

Что касается разбора книги Меншуткина, то, сколько я вижу по Вашему письму, разбора тут не будет, а будут Ваши мысли, которые одинаково относятся ко всякому курсу химии и которые можно изложить независимо от какого бы то ни было курса. Разумеется, в «Р. Вестнике» это не годится. Но почему же не в «Ж. М. Н. П.»³. Если *четыре* страницы, то это всегда возможно. Очень радуюсь, что Вы пишете для «Р. В.» статью — тогда нет надобности и никакого удобства там же печатать и другую. Пришлите мне Ваши четыре страницы, — надеюсь, что всегда их помешу.

¹ На «рекомендации» гимназии, к уму их, не обращают никакого внимания; и вообще роль книги «О понимании» могла быть и должна была быть в университетах и духовных академиях, но почти непонятно, зачем бы ей быть в гимназии. Она вся вращается в *новом* для науки, есть «пытливость» и «пытание», худое или хорошее: а в гимназии *преподают известное и элементарное*. Предложил я ее на «одобрение» только по предложению (сколько помнится) А. И. Георгиевского. *Примечание 1913 года.*

² Ну, совсем «погибоша в канцелярии». — «Изобрели фарфор. Что делать?» Канцелярия в смятении: «Фарфор... по каким образцам? какого вида изобретатель? не *родня* ли нашему попечителю? Нет, только знакомый? В таком случае одобрить нельзя. Но и отвергнуть тоже неудобно: назначить комиссию № 11-й для рассмотрения фарфора». *Примечание 1913 года.*

³ Зачем я в химию залез — не понимаю. Это — умора. Впрочем, у меня есть память, что меня занимала разница между *определенными химическими соединениями* (прочными, как бы «держась за руки друг друга») и *растворами, смесями*, где такого «друг друга за руку» — нет. Вообще это все — *философия на границах механики и биологии*, и кой-какое право на нее у меня было. *Примечание 1913 года.*

Простите, что не отвечаю Вам на многое, что содержится в Вашем письме. Очень это трудно. Скажу лишь кое-что. Выходит, что Вашу жену¹ я видел не раз когда-то, в 1861, 1862 годах. Она была очень молода и очень красива. Все еще никак не понимаю Ваших отношений, но от души желаю Вам спокойной и чистой развязки.

Вы спрашиваете: «Не все ли равно: повторять зная, что именно *повторяешь*, или не зная о том, что *повторяешь*». Да я и написал в рецензии, что Вы обнаружили ум и талант, но что Вы пошли по старым путям, только не столь последовательно, как другие, проложившие и разработавшие эти пути. Вы *не повторяете* именно потому, что не доводите Вашей мысли до конца, или не достаточно строго ее ставите.

Ну, простите. Благодаря Бога, я здоров прекрасно, и моя поездка была преблагополучная: наслаждался Толстым довольно, хоть и не досыта. Какой удивительный человек. Чем дальше, тем больше питаю к нему любви и уважения. Он теперь весь погрузился в писание повести о том, как муж убил неверную жену².

Дай Бог Вам всего хорошего. А кстати: Вы никогда не отвечаете мне на вопросы моих писем, а я делаю их из искреннего участия и серьезно желал бы ответов. Во всяком случае, простите

Вашего преданного *Н. Страхова*.

1889, 4 июля. Спб.

XIX

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Вы нетерпеливы и волнуетесь непростительно. Разумеется, я пришлю Вам десяток экземпляров своей рецензии, как только получу их. Она не могла попасть в июльскую книжку, которая вышла 1 июля, и будет напечатана в августовской, т. е. 1 августа. Я уже продержал корректуру. Смотрите, только не слишком браните меня.

Когда я выеду (а я и сам не знаю, когда, куда, и выеду ли), я напишу Вам, по крайней мере, на сколько времени еду. Вероятно, на неделю.

Слава Богу, не могу жаловаться на здоровье, и работаю понемножку. Чувствую почему-то, что Вы в хорошем духе. Дай Бог всего хорошего!

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1889, 19 июля.

¹ Первую. *Примечание 1913 года.*

² Очевидно — «Крейцера соната». *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Напрасно упрекал я Вас в нетерпении: сегодня я узнал, что моей статьи нет в августовской книжке, — значит, она отложена до следующих книжек. Но я попрошу, чтобы ее не откладывали дальше сентябрьской, и очень прошу Вас извинить меня, что не догадался похлопотать теперь. Мне не пришло в голову, что редактор обыкновенно помещает наши доклады не по порядку времени, а как придется, по размеру страниц, которые он отвел для них в своем журнале.

Хотелось бы мне сообщить Вам что-нибудь приятное и интересное. В трех книгах «Русской Мысли» (май—июль) явилась статья Тимирязева¹ «Бессильная злоба антидарвиниста», где он отвечает на мою статью «Всегдашняя ошибка» и нападает на меня с ужасной яростью. Если Вам доведется прочесть, то прошу Вас, напишите Ваше впечатление. Придется отвечать; хотя коротенько. Думаю назвать статью — «О полемике из-за книг Н. Я. Данилевского» и сделать обзор всего спора с Тимирязевым и с Соловьевым. Признаюсь, жалкие результаты, — не спор вышел, а перебранка.

Писал ли я Вам, что Соловьев был у меня несколько раз и, видимо, старался рассеять неудовольствие, которое мне сделал. Две его статьи в «Вестн. Европы», — одна о церкви, другая о славянофилах — очень слабы, но очень занозисты; кажется, они не сделали большого впечатления. Читали ли Вы в «Ж. М. Н. П.» статью *Каринского* о логике *Троицкого*? Очень умна и учена, но, по обыкновению, не содержит ни выводов, ни общего взгляда.

Слава Богу, что не только этим одним я занят. Известный Вам Михайлов² писал мне с дачи, что Тимирязеву отвечать вовсе не стоит, а что лучше бы я *готовился к смерти*. Очень дико писать так, но этот совет вполне согласен с тем, что я чувствую и что делаю.

Если будет у Вас охота писать ко мне, то очень, очень меня утешите. Здоровье мое можно сказать блистательно, особенно когда сравню себя с знакомыми, которые то хиреют, то болеют.

Дай Бог Вам всего хорошего. Простите и не забывайте
Вашего искренно преданного *Н. Стрехова*.

1889, 3 авг. Спб.

¹ Тимирязев — в высшей степени талантливый ботаник, может быть, с черточками гения; но — не *методолог*. Через 20 лет после тогдашних «побед» своих (в журналах и публичных лекциях) он все-таки видит, что «храмина дарвинизма» вся рассыпалась, и следовательно, его «победы» были кажущиеся, а все усилия (защитить и прославить учение «своего друга» Чарльза Дарвина) — напрасны. *Примечание 1913 года.*

² Студент Спб. универс., энтузиаст Н. Н. С-ва. *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Благодарю Вас за Ваше письмо; очень Вы меня утешаете Вашими похвалами и притом удивляете чрезвычайно их тонкостью. До похвал я, признаюсь, жаден, потому что часто унываю в своем одиночестве, и похвалы дают мне знать, что я пишу не в пустом пространстве¹. Что же до Вашей тонкости понимания, то, видя ее, я только сокрушаюсь, что Вы не можете писать коротко. Такой ценитель был бы драгоценным приобретением для литературы, и я боюсь, что Вы не сумеете показать свой талант лицом.

Посылаю Вам Вашу статью об Дарвине. Аргумент, который Вы хотите выставить, совершенно верен; я его заметил, но он не подходил к общему плану моей статьи. Однако, если Вы прочтете теперешние статьи Тимирязева, то увидите, что его трудно пронять. Но, действительно, очень хорошо остановиться на одном пункте и так ударить, чтобы противник был опрокинут. Да не напечатают ли в «Моск. Ведомостях»? Сам я уже уговорился с редактором «Р. Вестника», что к ноябрьской книжке приготовлю ответ Тимирязеву, листа в полтора.

Вообще, когда прочтете новую статью Тимирязева, тогда можно будет вполне решить, что нужно делать. Вы меня очень обяжете, если сообщите мне Ваше впечатление. Л. Н. Толстой пишет мне так: «Последнюю статью Тимирязева прочел. Очень дурно, нравственно дурно, а потому неверно и всячески дурно». Что-то Вы скажете.

Теперь я пишу маленькую статью «Воспоминание об Афоне и об о. Макарии».

Лето у нас кончилось: дожди, ветры и холодки. Я простудился и должен сидеть дома, пока не пройдет мой бронхит. Кусков Вам кланяется: он работает понемножку, и не дурно. Иное даже превосходно — в прозе.

Любви все возрасты покорны,
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям.

Дай Бог, чтобы и с Вами так было².

Простите меня.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1889, 13 авг. Спб.

¹ Как прекрасно эти милые — «жаден», в котором ведь так унижительно признаться. Вот так никто о себе из западников не писал. Все они наелись до отвала славы, взаимно кормля друг друга восхвалениями. Поистине, *honny soit qui mal у pense* [да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает (*фр.*)] об этих словах Страхова. *Примечание 1913 года.*

² Верно, в ответе на рассказ о моей сердечной истории, завязавшейся у гроба И. Ф. Петропавловского. *Примечание 1913 года.*

XXII

Очень Вы меня порадовали Вашим письмом, дорогой Василий Васильевич. Если Вы довольны моею критикой на Вашу книгу, то чего мне больше желать. Вы тут самый взыскательный судья. «Довести до конца» — эти слова относятся к диалектике. Ее постоянно обвиняют и в произвольности и в софистичности; но в истинном своем виде она также тверда и несомненна, как математика. К несчастью, она редко доводится до совершенства, до конца, почему и заслуживает такие упреки.

Статью Вашу¹ я прочитал, очень одобрил и отправил в «Московские Ведомости» с надлежащею рекомендациею. Что будет, — разумеется, я Вам сообщу.

Дай Вам Бог всего хорошего.

Вам искренно преданный *Н. Страхов*.

1889, 14 сентября. Спб.

XXIII

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

С большим огорчением принимаюсь за письмо к Вам. Статью Вашу я нахожу имеющею такие недостатки, что не могу взяться за ее пристроивание. И совсем не потому, что она составляет возражение против моей статьи, а потому, что она ничего ясного не представляет. В ней нет одной главной мысли, и я сам едва могу сообразить, что Вы хотите сказать. Не могу я рекомендовать статьи, которую не могу хвалить. И если Вы хотите выступить, проявиться среди большой публики, то разве можно это сделать статьею, на которую всякий посмотрит, как на непонятную загадку? О чем в ней говорится? *Об органическом характере науки*. Представьте человека, которому это дело новое: разве он получит разъяснение его из Вашей статьи? Разве можно ссылаться на свою книгу, как на что-то известное? Нужно писать так, чтобы и тот, кто не читал Вашей книги, понимал, что Вы говорите².

Все Ваши недостатки, т. е. Вашего писания, сказались в Вашей статье. Отвлеченно, неопределенно, без строгого метода и твердой цели.

Вот Вам возражение, которого я не хотел поместить в свою рецензию. Когда Вы говорите о науке, или о *философии*, то всем известно, о чем Вы говорите. Но что такое Ваше *понимание*? Вы позабыли его определить, — так определить, чтобы было ясно его отношение к науке и к

¹ О дарвинизме, — против проф. К. Тимирязева.

² Никакого воспоминания о самой статье, и, кажется, ее нет в моих рукописях и вообще «архиве ненапечатанного». *Примечание 1913 г.*

философии. И конечно, оно не существует, как что-то выше их, или между ними¹.

В письме невозможно довести до конца эти объяснения. Мне очень хочется давать Вам разные наставления, но знаю, как это бесполезно, да и, боюсь, Вам будет неприятно. Скажу одно: пока Вы будете делать все порывом, наскоро², — ничего не будет хорошего. Жар — дело драгоценное, но нужно вполне владеть им. Из Ваших статей я нахожу обработанную только одну: «Проф. Тимирязев». Не вижу «Моск. Ведомостей», но уже недели две как мне присылали оттуда корректуру этой статьи, и я отправил ее назад с просьбою выслать Вам деньги и номера газеты.

Кстати: я Вам писал в ответ на то письмо, где Вы говорите о моей рецензии. Неужели Вы не получили? Я так и считал, что письмо — за Вами, а не за мною.

Не поверите, как это грустно, — отказывать Вам и противоречить. Вы меня немножко пожалейте. С великою радостью готов я хлопотать об Ваших статьях и держать их корректуру, но пусть статьи Ваши облегчают мне это дело, пусть будут ясны и привлекательны, чтобы весело было стоять за них, чтобы у меня их рвали из рук.

Простите меня. Слава Богу, я здоров, и в настоящую минуту очень занят. Кусков Вам кланяется. Попрошу его написать Вам об статье «Целесообразность и причинность»³, которую он теперь читает.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1889, 22 окт. Спб.

XXIV

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Вы так недовольны мною, что ничего мне не пишете. Между тем я все сокрушаюсь и раздумываю, как бы угодить Вам. Получил я новый журнал «Вопросы философии», и увидел, что он ведется по возможности хорошо и без сомнения имеет будущность. Вот место для Вашей статьи по ее содер-

¹ И «выше» и «между ними», насколько *схема возможного* (на строгих принципах построенная) может «очень просто» превосходить и быть вообще *обширнее* действительного, эмпирического... Страхов сам же в *официальной* рецензии сказал, что мною предложенный ряд наук неизмеримо *обширнее* всех до сих пор представленных так называемых «классификаций науки». *Примечание 1913 г.*

² Книга «О понимании», однако, писалась пять лет, и я мог бы, но ни строки не выпустил раньше ее окончания, просто по «не хочется писать *другое*». Вообще я скорей страдаю специализацией внимания и интереса, чем их *разъяснением*. *Прим. 1913 г.*

³ Никакой памяти. Вероятно, главки книги «О понимании» под этими заглавиями. *Примеч. 1913 г.*

жанию, совершенно неудобному для литературных журналов. Я бы и послал ее туда, но не могу послать с похвалами и требованием напечатать. Да мне и для Вас вовсе не хотелось бы, чтобы Вы начинали такую статью. Но напишите что-нибудь вновь, такое, чем бы Вы могли показать себя, — я всегда готов к Вашим услугам.

Впрочем, предлагаю Вам вопрос: хотите ли, чтобы я отправил туда Вашу теперешнюю статью? Как решите, так я и сделаю.

Статья «Отречение дарвиниста»¹, как я слышал, производит большую сенсацию; ирония попала в цель.

Вчера только я кончил статью для декабря «Р. Вестн.» «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского»; тут и ответ Тимирязеву, но вся статья только 18 страниц, что очень трудно.

От души желаю Вам всего хорошего и еще раз прошу извинить мой отказ.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1889, 11 ноября. Спб.

XXV

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Ваше огорчение, которое так ясно слышится в Вашем письме, поверьте, очень огорчает меня. Но как же тут быть? Надеюсь, что ни Вы, ни я не виноваты. Ничего я так не желал бы, как того, чтобы Вы могли действовать вполне самостоятельно, и это я Вам и предлагал. Не послать ли Вашу статью «Об органе характера науки» в журнал «Вопросы»². А потом мне пришла еще мысль, что я могу ее отдать в «Журн. М. Нар. Просв.» на том основании, что она есть возражение на рецензию³, и журнал некоторым образом обязан дать ей место. Хотите ли, я так сделаю? Что касается до «Русск. Вестника», то редакция мне же поручит составить о статье суждение, и у меня нет основания побуждать редакцию печатать, если я не убежден в пригодности статьи для литературного журнала.

Вы пишете о новой статье — «Место христианства в истории». Очень мне хочется ее прочесть, и заранее уверен, что она превосходна. Вот такими статьями о предметах общеизвестных и общеинтересных и нужно Вам завоевать себе имя. Отчего Вы мне ее не прислали? Не пришлете ли теперь? Вы пишете, кроме того, что она коротка. Отдельное издание чрезвычайно

¹ Против проф. К. Тимирязева. Напечатана в «Моск. Вед.» (см. предыдущее письмо Страхова). *Примеч. 1913 г.*

² Т. е. «Вопросы философии и психологии» Н. Я. Грота. *Примеч. 1913 г.*

³ Т. е. на рецензию Н. Н. Страхова; значит это была статья, *разъясняющая* книгу «О понимании». По всему вероятно, она и была неудачна, и Страхов справедливо не знал, что с нею делать. Но у меня нет никакого воспоминания о статье. *Примеч. 1913 г.*

невыгодно и в денежном отношении, и для известности, а помещение в журнале, напротив, хорошо и для того, и для другого. Наконец, оба способа можно соединить — напечатать в журнале и взять несколько сот оттисков, которые можно выпустить отдельно.

Итак, прошу Вас, ответьте мне хорошенько на следующие вопросы:

- 1) послать ли статью «Об орган. характере» в «Вопросы»?
- 2) не настоять ли на напечатании этой статьи в «Журн. Мин. Нар. Просв.»?
- 3) Не дадите ли «Место христианства» в «Русск. Вестник»?

«Крейцера соната» есть вещь удивительная, одна из самых крупных вещей Льва Николаевича Толстого. Только на днях я перечитал ее, но еще долго придется об ней думать. Она не будет напечатана в Журнале, а отдельно, и я Вам пришлю ее.

Много читал я и «Вопросы»¹ — очень, очень слабо пишут. Вспоминая именно *обработанность*² Вашей речи, я подумал, что она в сто раз достойнее красоваться на подобной превосходной бумаге. Но попробуйте посмотреть на *предметы*, о которых идет речь, и Вы увидите, чем они берут. Прошу Вас, подумайте, что Вы можете ошибиться в смысле тех упреков, которые нашли в моем письме. Какое я мог иметь побуждение быть к Вам несправедливым? Напротив, все меня располагало и располагает в Вашу пользу.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1889, 20 ноября. Спб.

¹ Т. е. «Вопр. философии и психологии». *Примеч. 1913 г.*

² Ничего в жизни никогда не обрабатывал, кроме двух единственных статей: «Цель человеческой жизни» и «О трех принципах человеческой деятельности» (редакция 3—4 каждой); и они — тянутся томительно, как мочалка. Книга «О понимании» (737 стр.) вся была написана совершенно без поправок. Обыкновенно это бывало так: утром, в «ясность», глотнув чаю, я открывал толстую рукопись, где кончил вчера. Вид ее и что «вот сколько уже сделано»: — приводил меня в радость. Эту радость я и «поддевал на иголку» писательства. Быстро оторвав уголок бумажки, я мелил под носом, и, как был в очаровании — мелилось хорошо. Это продолжалось минут 15—20—30 (не больше) — величайшего напряжения мысли, воображения, «надежды и добра», пока душа почувствует усталость. В этом «намеленном» я никогда ничего не поправлял и не было никогда ни одного зачеркнутого слова. Тогда (отдых) я придвигал толстую тетрадь (в формат листа, — великолепной рижской бумаги) и переписывал красиво, счастливо, спокойно «накопленное богатство». Это, — что «богатства еще прибавилось», — снова приводило меня в счастье, между тем за время переписывания душа отдохнула; и когда переписка кончалась — душа, как свежая, вновь кидалась в пар изобретения, «открытий», «новых мыслей», тонов и переливов чувства, тоже минут на 20, и все это опять мелилось на новом уголке бумаги. Так написана была книга, в которой, так обр., не было зачеркнуто ни одного слова. Но, разумеется, *план* и *смысл* книги сложились в голове задолго до «как сесть за нее»: однако страницы изобретались «тут за писанием» и не были известны даже за полчаса до написания. Кроме *схем*, которые слагались годами. *Примеч. 1913 г.*

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Пишу к Вам наскоро, для того только, чтобы сообщить, что Берг¹ обещал напечатать «Место христианства в истории», в январской книжке. Статья Ваша мне очень понравилась и верностью основной мысли, и точностью некоторых ее развитий. Пришлось откинуть только вступление² и прямо начать с того, какое преимущество история имеет перед другими науками.

Л. Майков говорил мне, что писал к вам, извинялся и обещал начать «Метафизику» с января. Я взял у него вашу статью о философской литературе; но еще не успел ее выправить, — скоро это сделаю и отошлю Гроту.

Дай Бог вам всего хорошего.

Ваш искренно преданный Н. Страхов.

1889, 1 дек. Спб.

¹ Редактор «Русского Вестника», перенесенного им в Спб. *Примеч. 1913 г.*

² Шперк (Ф. Э.) — человек глубочайше тонкого ума — сказал, однако, что это «откинутое вступление» (конечно, оно для журнала было неудобно) чрезвычайно его испортило. Ведь *дух начал со «вступления»*: и как было прерывать его в первом слове? В отдельном издании (Москва, 1890 г.) оно восстановлено. Заглавие, отличающееся гимназическою ясностью, было дано по рекомендации П. Д. Первова, преподавателя в Ельце и сопереводчика по Аристотелю; мое же заглавие, *которое следует восстановить и которое сказала душа как тему речи* (актовой, в Елецкой гимназии) было — «Об историческом положении христианства». Статья эта мне помнится как прекрасная по тону, по духу, — и в ней ни одного слова казалось бы не следовало перемещать. Ей я никогда и ни от кого не слышал порицания, а памятование ее слышал даже через 10 лет. Между прочим она вызвала письмо ко мне Шперка, с которого и началось наше знакомство (по письмам), перешедшее в дружбу. Объективное ее значение заключается в том, что в легком по форме наброске, но с задушевным волнением и большой верой, в нем показано историческое движение человечества, где, во-первых, «сказался Бог» и, во-вторых, где орудиями или проявителями Промысла являются *семитические и арийские племена*, Библия и Акрополь, арабы и Капитолий. Так как это не есть монография, диссертация и проч., так как она без «ученых примечаний», а есть *глагол из общества*, то отсюда и вытекает то главное ее значение в развитии *русской* общественности или *русской* (обывательской) вообще *мысли*, что она впервые, этою актовою речью в гимназии, выдвинула вперед всей истории арийский дух и (особенно) семитический дух, как настоящих *производителей* судеб человечества. Это *психологическое объяснение* истории (на место или наряду или в споре с объяснениями естественно-историческим или политико-экономическим или наконец юридическим) и составляет *суть* и *заслугу* «Места христианства в истории». Может быть, это aberrация, но мне даже казалось и кажется, что со времени этой статьи вопрос «о семитизме» и встал по всей

Пришло Вам и Вашу статью об *органическом характере науки*. Вы отступаете от нее; но разве вы убедились моими возражениями? Они очень общи и голословны, и я думал, вы за себя больше постоите¹.

XXVII

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Уже больше недели тому назад, продержал я корректуру вашей статьи «*О месте*»² и проч. Она мне понравилась еще больше прежнего. Книжка явится, однако, не раньше 6-го или 7-го, так как Берг запоздал, почему-то. Я просил 25 оттисков, хотя они вам не нужны при отдельном издании.

Предсказываю вам, что ваше выступление в «Русском Вестнике» будет блистательное. Я обращал внимание Н. Я. Грота на вашу статью.

Другую статью — «Заметки»³ я кое-где тронул, сделал поправки в библиографических указаниях и смягчил место о Троицком, да откинул начало и конец. Потом я послал ее Н. Я. Гроту и получил от него такой ответ: «Я еще не

своей значительности, не допускающий долее говорить «*о жиде*» и даже «*об евреях*», а о евреях — Судьбе, евреях — Роке, евреях — Персте Божиим и Плане Истории. Вопрос с рынка перебросился в алтарь. Конечно — это иллюзия, но каждый понимает хорошо только свою душу: в моей душе прошел *трепет о евреях* — и мне (иллюзия) казалось, что и весь мир затрепетал со мною, и думает не о «зависимости от Нила, от Волги, от Тибра» истории, не о «борьбе класса эвпатридов с классом геоморов» в Аттике, а о том, *как и куда Бог ведет человечество*. Переходя к суетному и земному, к сору и рублю, должен заметить, что эта статья как-то навсегда, для всего «потом», проложила в сору «улицу Розанова», «путь Розанова»; все как-то узнали и запомнили, что тогдашняя статья написана «*вот им*», никогда никто потом к принесенной мною рукописи не относился небрежно и с «не хочется читать»; и, словом, *эта* статья одна и сразу дала мне имя и положение, — не то в литературном мире, не то вообще в мире читателей. И это «положение» сразу же было прекрасное и серьезное. Во множестве случаев, через десятки лет, когда я уже очень много *разного* написал, — знакомство начиналось как с написавшим *именно* «Место христианства в истории», в Петербурге, в провинции, с русскими, с евреями, с духовными, со светскими. И я думаю — это было правильно. *Примеч. 1913 года.*

¹ Я вовсе не «отступал», как никогда потом и ни от каких статей (мыслей, чувств) не «отступал», а просто — «не вышло», «кишка» (тягучее); и я бросил как «непереваривающуюся пищу». *Примеч. 1913 г.*

² Т. е. «христианства в истории». *Примеч. 1913 г.*

³ «Заметки о важнейших течениях русской философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии». Она была написана мною как *предисловие* к переводу «*Метафизики*» Аристотеля, но (журнал требует своего!) Страхов посоветовал напечатать ее отдельно, и устроил в «Вопросы философии и психологии». *Примеч. 1913 г.*

прочитал статью Роз....., но для меня довольно вашей рекомендации..., чтобы сказать, что статья будет непременно напечатана. Постараюсь поместить ее в третью книгу, хотя этот вопрос решается мною теперь не единолично (а через комитет), ввиду скопления интересного и важного материала. Но я сам употреблю весь свой авторитет для напечатания статьи в третьей книге (2-я уже совсем готова и набрана — остается корректурная задача). Думаю, что это удастся». (Это писано 20 декабря).

Н. Я. Грот очень добрый человек и поражает своей искренней скромностью и удивительной деятельностью. Вот — пишите для него; сношения с ним так легки и приятны, что лучше желать нельзя.

С новым годом. Дай вам Бог всего хорошего. Вы знаете мою новость — избрание в Академию¹. Но я лучше бы желал, если бы мое здоровье поправилось; недели три, как похварываю.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1889, 31 дек. Спб.

XXVIII

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Получил я от Вас нехорошее письмо, очень печальное по смыслу и очень дурное по изложению. Что с вами? Вы вовсе не рассказали мне Вашей тоски. Попробуйте же дать себе отчет. Если это только физическое состояние, то его нужно выдержать и побороть. Для этого первое дело — воздержание, спокойствие; нужно избегать всякой усталости, быть чаще на воздухе² и пр.

Но Вы принадлежите к числу тех людей, которые действуют на меня всегда раздражительно; Вы *не владеете собой*, а всегда что-нибудь Вами

¹ «Член-корреспондент Академии Наук». *Примеч. 1913 г.*

² Есть у меня (должно быть) какая-то вражда к воздуху, и я совершенно не помню за всю жизнь случая, когда бы «вышел погулять» или «вышел пройтись» ради «подышать чистым воздухом». Даже в лесу старался заставить поскорей в сторонку («с глаз» и «с дороги»), чтобы немедленно улечься и начать нюхать мох или (лучше) попавшийся гриб, или сквозь вершины колеблющихся деревьев смотреть в небо. Раз гимназистом я так лег на лавочку (в городском саду): и до того ввинтился в звезды, «все глубже и глубже», «дальше и дальше», что только отдаленно сознавая, что «гимназист» и в «Нижнем» — стал себя спрашивать, трогая пуговицы мундира: «Что же истина, то ли, что я гимназист и покупаю в соседней лавочке табак, или этой ужасной невозможности, гимназистов и т. п., табаку и прочее, вовсе не существует, а это есть наш сон, несчастный сон заблудившегося человечества, а существуют... **Что?.. Миры**, колоссы, орбиты, вечности!!.. **Вечность и я** — несовместимы, но **Вечность** — я ее вижу, а я — просто фантом»... И прочее в том роде. *Примеч. 1913 г.*

владеет, и Вы с полнейшим бесстыдством говорите: *я не могу*¹. По-моему, это значит: я не хочу быть человеком и отказываюсь от своего сознания.

Как вы решились писать мне о самоубийстве?² До чего вы дошли. Не ссылайтесь на тягость и тоску; убить себя можно даже от того, что прыщик вскочил на носу. Разницы, в сущности, нет никакой. Но есть разница между человеком, для которого жизнь есть поучительный и воспитательный опыт, какова бы она ни была, — и таким, который не хочет ничему учиться и ни с чем бороться, а хочет только, чтобы ему было приятно.

Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

Отчаяние приводит к великим откровениям, и кто не испытал его, тому они недоступны. Вам нужно подняться на новую ступень, чтобы стать выше его. Терпите, уясняйте свое сознание, научайтесь новым мыслям, и будьте уверены, что Бог всегда с Вами.

Впрочем, я напрасно стараюсь в коротеньком письме подействовать на вас. Так это не делается. Вы сами должны трудиться и спасти себя, — иначе вас никто не спасет.

Простите меня. Хотелось бы поговорить с вами о своих литературных делах, но лучше отложить это до другого времени. Вы знаете — меня выбрала Академия Наук членом-корреспондентом. Вот награда, которая была

¹ Всегда «не мог» и ничего «не мог». Страху хорошо было «хорошо рассуждать» с почвы своей натуры. Мы все рассуждаем с почвы своей натуры. Но если бы я с почвы *моей* натуры ему сказал: «улягтесь на кровать, задерите ноги кверху и бросьте ветрила воображенья на все распутья», что бы он мне сказал? «Наученья» вообще невозможны. Возможны только факты, — и слава Богу — если около них есть *плач*. «Исправляются» лишь крохи человечества, 1/100 дробь его. Сих счастливых натур я не знаю; т. е. видел, но *внутренно* их представить не умею. *Примеч. 1913 г.*

² Добрый и *благородный* Страх: вот тон *друга!* Никто, ни даже «друг», исправить нас не сможет; но великое счастье в жизни встретить человека совсем другой конструкции, другого склада, других всех воззрений, который, *всегда оставаясь собою* и ни мало не вторя нам, не подделываясь (бывает!) к нам и не впутываясь своею душою (*и тогда притворною душою!*) в нашу психологию, в нашу путаницу, в нашу мочалку, — являл бы твердую стену и отпор нашим «глупостям» и «безумиям», какие у всякого есть. Дружба — *в противоречии*, а не *в согласии*. Поистине, Бог наградил меня как учителем Страхом; и дружба с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую я чувствовал — что всегда могу на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет. К молодежи я сказал бы эти слова: старайтесь среди стариков, среди пожилых *вовремя* запастись вот таким другом, и он сохранит вас как «талисман» Пушкина:

...От измены, непогоды...

и проч. и проч. *Примеч. 1913 г.*

мне очень приятна. Мне приятно и то, что тогда как меня мало знают, а Грот всем известен¹, этот самый Грот с большим почтением признает мои труды. Он очень милый и в сущности скромный человек. А я гордец: у меня большое честолюбие, — мне хочется что-нибудь значить для *лучших умов* своего народа. Гёте говорил, что это должно быть настоящею целью писателя.

Если даст Бог прожить деятельно еще несколько лет, я таки добьюсь кое-чего².

¹ Вероятно и даже наверно слова эти в ответ на слова моего письма, что «вот Грот, со странной *Реформой логики* — всем известен, виден, о нем во всей России говорят»... «тогда как Вы с истинно великолепными философскими трудами остаетесь в тени и мало известны», и проч. Тут нужно разобраться. *Мучит* вовсе и нисколько не «известность» или ее недостаток, т. е. мучит отнюдь не *зависть*: а — *несправедливость и тупость современников*, выражающаяся в неспособности *рассмотреть дело*, произвести *оценку*, устроить *справедливость*. Тут не «ура» хочется и не «bis! bis!» томит, а есть тоска о том, что — как вот Ренан писал в «Аверозэ и аверроизм» — новые мысли или прекрасные движения души человеческой «всем нужны» и «всех радуют», или, наоборот, «никому не интересны» и «всем скучны». *Завидования* тут нисколько не входит, жажды славы как шума, как «bis» — вовсе нет: есть великая потребность *братства и слиянности*, есть искание «ближних» среди «вообще людей». Если бы «Об основных понятиях психологии и физиологии» Страхова вызвало в Академии наук заседание, чтение, доклад, — если бы доклад об этой книге был прочитан в «Московском психологическом обществе», если бы Страхов видел, что Грот его читит не как «вообще Страхова», а ценит и понимает за *определенные* страницы в этой книге, за определенные мысли и тезисы его книг, его философских споров, то вот и *совершенно достаточно*, без всякого шума улиц и болтовни газет. Но этого-то и нет в холодной России, поистине в неодоушевленной России, где университеты — те же «департаменты» и «салоны», и дальше и *глубже* вообще салона и департамента Россия никуда не ушла и никуда не пришла. Вот это томит, и такое томление не есть неблагоприятное, а вполне человеческое. «Дружбы! близости! понимания!» — увы, об этом вздыхали и пророки, и разве этим великим томлением не томился Сам Христос с немногими учениками среди масс фарисеев и книжников. *Aeterna historia* [Вечная история (лат.)]... *Примеч. 1913 г.*

² *Ничего* не добился, и теперь, через 18 лет после кончины, имя Страхова лишь *немногими* помнится, почти исключительно в кругах *лично его знавших* людей, — а «образ его мыслей», т. е. его «главное», являет тот безнадежный туман, который он, человек *точного ума*, отбросил бы с негодованием, как что-то даже худшее *полного незнания*. Россия не воспользовалась его мыслями и не взяла его мыслей. Для России он есть *молчание*. Между тем он есть первоклассный мыслитель, и в жизни и во всех человеческих отношениях — безукоризненная душа. Что же это такое? что же это такое? Что же это за ужас? Потому что это есть ужас в темной и необразованной России, со «столькими-то школами», — когда мы видим *ум и книги* брошенными! *Кто* же не «брошен»? Да например Коган, печатающий пятым изданием «Историю всемирной литературы», а потом «Историю русской литературы», не имея вкуса ни к той, ни к другой литературе. Да шумят «теосо-

Простите. Пишите мне искреннее. Abstine et sustine!¹
Душевно преданный Н. Страхов.

1890, 5 янв. Спб.

XXIX

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Л. Майков просил меня известить вас, что в февральской и мартовской книгах будет напечатана вся ваша «Метафизика» и что он желал бы видеть продолжение, что может печатать его с июня. Корректуру вашего перевода держал *Верт*, опытный филолог; он кой-что выпустил из примечаний. Будет вам выслано 25 оттисков².

фы) со своими «астралами», «флюидами» и чтением мысли в животе како-нибудь индуса. Россия имеет *испорченное образование*, — вот в чем дело, и — *все дело!* — и каждая школа, всякая гимназия, каждый «благотворительный пансионик» распространяет дальше и дальше это «испорченное образование», и ничего другого не делает, как еще и еще плодит, родит и старается распространить этот же все умственный мрак, эту же все обледе-тельность души... «Испорчено *это самое место*», которое мы зовем «отечеством», «нашей *милой родиной*», «своей верой», «*святыней* всех». Испорчен *идеал*, а не *эмпирия*. Замутился, помутился *вкус*, родник оценок... «Когана, а не Страхова!» — «Кабак, а не Серафима Саровского!» Тут или *примы-кай сам* к «кабаку», или «отходи в сторону». Началось это *отдаленно и косвенно* действительно с Петра, прекраснейшие и нужнейшие реформы которого содержали, однако, тот ядовитый общий смысл, что «мы сами ничего не можем» и «все надо привезти из-чужа», а окончилось и въявь выползло на свет Божий в кабаке Некрасова-Щедрина и «Современника», который уже и не таился в дурном, который не драпировался в «цивилизацию» и «образованность», а запел песенку:

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу...

Прошла дубина по спинам русских, — литературная «дубинка», как завершение гражданской «дубинки» Петра, — и расквасила самые мозги «ту-пых отечественных голов», после которой они не «реформировались», а просто обратились в *небытие*. «Со Скабичевским» Россия просто обезголо-вилась, а «с Герценом-Михайловским» она просто стала фальшива, притворна, обманна, деланна, фразиста и пустозвонна. В «пустой звон» вообще нельзя вложить никакой мысли, а в «кабак» вообще нельзя внести никакой иконы. В России настала тьма, куда *нельзя внести идеал*, не поругав идеал, да и *самому* — не разбившись. Вот сущность дела. Но «и погромче нас были витии»... Умолкнем. *Примечание 1913 года.*

¹ Воздерживайся и терпи! (*лат.*)

² Ну, вот, это очень хороший пример. История переводов Аристотеля на европейские языки — это поистине «история», да и — поэзия. Это —

Ф. Н. Берг каждый раз, когда встретит меня, хвалит вашу статью, — говорит, что получает об ней много хвалебных писем, что ее все читают, — что она дала серьезный тон всему журналу и пр. А я, со своей стороны, прошу вас дать мне о себе весточку. Все время беспокоит меня мысль о вас. Что у вас делается? Всею душою готов бы помогать вам, но кроме вас тут вам никто помочь не может.

Дай Бог вам сил — нет, примите только те силы, которые всегда готов подать вам Бог.

Напишите мне хоть несколько строчек.

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1890, 5 февр. Спб.

энтузиазм и мудрость. Но на русский язык кроме давно устаревших, и никому не нужных, а зато *легоньких для усвоения*, моральных трактатцев Аристотеля, ничего не переведено. Не переведено *ни одно из его глубоких творений*, ни — «Органон», ни — «Метафизика», ни — «О душе» и «Физика». Вдруг два учителя в Ельце переводят первые пять книг «Метафизики». По-естественному следовало бы ожидать, что министр просвещения пишет собственноручное и ободряющее письмо переводчикам, говоря — «продолжайте! не уставайте!» Профессора философии из Казани, из Москвы, из Одессы и Киева запрашивают: «Как? что? *далеко ли перевели?*» Глазунов и Карбасников присылают агентов в Елец, которые стараются перекупить друг у друга право 1-го издания, но их предупреждает редактор «Журнала министерства народного просвещения», говоря, что министерству постыдно было бы уступить частным торговцам право первого выпуска книгою великого Аристотелева творения, и он предлагает заготовить 2000 оттисков, так как 2-го издания трудно ожидать. Вот как было бы в Испании при Аверроэсе. Но не то в России при Троицком, Георгиевском и Делянове. «Это вообще никому не нужно», — и журнал лишь с стеснением и очевидно из любезности к Страхову как к члену Ученого Комитета министерства берет «неудобный и скучный рукописный материал», и, все оттягивая и затягивая печатание, заготавливает «для удовольствия чудаков-переводчиков» официально штампуемые 25 экземпляров! Что такое «25»? — для России?! Ведь тут 4 духовных академий и 8 университетов; а «Метафизику», может, кому-нибудь захочется прочитать из частных философов, из учителей семинарии, из «будущих» кандидатов на философские кафедры. Почему не «100», — что ровно бы ничего не стоило, представляло бы всего 5 рублей стоимости скверной бумаги, на каковой печатается «Журнал Министерства Народного Просвещения»?! — «Да некому читать», «это — вообще никому не нужно». «Но ведь, однако, вы основываете гимназии, заботитесь об университете»?! — «Как же не основывать гимназии: статистика, конкуренция с Германией, на это можно миллионы бросить». — Так что же *суть-то*, «гимназии» или «конкуренция»? — «Конкуренция с Германией в просвещении и в статистике просвещения: а гимназии и университет и Аристотель — *черт их деру!!!*... Вот вам и «Петр Великий» или *суть* всего от «Петра до Щедрина». *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Как вы поживаете? Очень хочется иметь о вас вести; простите, что не писал вам — были у меня и болезни, и хлопоты, и занятия. Читали ли вы отзыв о «Месте»¹ в «Новом Времени»? Это я написал, хотя мне и совестно было хвалить вас под видом *беспристрастного* газетного отзыва (газеты ведь твердо стоят на своем беспристрастии). Но что делать! Нужны величайшие усилия, чтобы добиться рецензии на новую книгу в каком бы то ни было журнале². И больше я ничего не мог сделать.

А вот что не хорошо. Вашей брошюры не оказалось в Петербурге, по крайней мере в магазинах «Нового Времени».

Скоро пришлю вам 2-е издание 2-го тома «Борьбы с Западом»; я очень был занят этим печатаньем, все гнал, чтобы сдать в цензуру на Страстной, и это мне не удалось. Книга выйдет на Фоминой.

Кусков очень вам кланяется. Мы редко с ним виделись, — у его младшего сына была скарлатина.

От души желаю вам всего доброго и прошу не сетовать на вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

1890, 31 марта. Спб.

¹ Т. е. о «М. христианства в истории». Прекрасный этот отзыв добрейшего Страхова дал сейчас же продажу экземпляров 200 брошюры (при цене 20 коп.), — но, однако, и всего было распродано экземпляров 500. «Тема эта не существует в России», «у нас — водка, хлеб и радикализм, пенька и Шелгунов». Что такое «семиты» в России? «семиты и арийцы и их роль»? Даже странно спрашивать. В провинции я испытал истинный ужас, когда мне прислали обратно из магазина куль не продавшихся книг «О понимании» (было отпечатано в 600 экз.); а другой такой же куль, грозивший то же получиться в Ельце, — я попросил родственника продать на Сухаревой «за что-нибудь», и было продано что-то рублей за 15, — на обертку для «серии современных романов». «Вообще никому не нужно»... *Примечание 1913 года.*

² Вот в этом и дело или начало дела... Часто мне брежится, что *деятельная и зоркая* библиография есть почти «якорь спасения» для России, и, во всяком случае, она в журналистике *нужнее всех отделов*. К прискорбию нужно сказать, что именно в журналистике доброго и благородного содержания «библиография» является лишь «затычкою» около прочего, что она здесь совершенно случайна и ничтожна; и очень, напротив, деятельна в прессе пустых или искверканных идеалов. «Кабак» превосходно вооружен библиографией, этим «зазывом» и «призывом» к себе, «к водочке» и «революции». См. превосходную библиографию в «Русских Ведомостях», которая всякого красного таракана отметит и занесет в «бессмертные». В текущее время библиография почти во всей русской прессе сосредоточена в руках прилежных и бездарных евреев, которые проводят «Шиповники» и вообще всякую макулатуру, лишь бы была сдобрена «ядцем». *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Сказал я Леониду Майкову, что вам нужны оттиски, и он Вам пришлет их два-три. Он приготовил их полтораста, чтобы выпустить книжкою, и не посылал Вам, ожидая продолжения перевода, так что по окончании у Вас будет полтораста экземпляров «Метафизики»¹. За это ему нужно сказать спасибо. Вот Вам и работа, и деньги впереди.

Но зачем Вы не написали ему, а обратились ко мне? Вообще, есть не мало дел, которые могли быть сделаны помимо меня, где меня совсем не нужно, например посылка книги в Ученый комитет, в редакцию и т. п. Простите меня, но я не могу не сетовать на Вас, — зная, что Вы не хотите обременять меня, но не умеете различать, где я нужен и где нет. Книжку Вашу с прошением я передал в Ученый комитет; не знаю, у кого теперь она, а Вы даже и не помните Вашего поручения.

Очень мне жаль Вас; теперь я вижу, что Вы болезненно впечатлительны и что за Вами нужно ходить, как за ребенком. Пожалуйста, думайте об этом, — сознавайте, как Вы неудобны для других и для себя, твердите себе, что Вы взрослый человек, отвечающий за свои действия и которому стыдно говорить, что он может вести только себя как балованное дитя. «*Не могу, не умею*» — отвыкните повторять эти слова с такою развязностью. Сознание — великое дело; оно научит Вас не жаловаться на судьбу и на других людей; а это принесет Вам мир и понемногу Вы просветлеете.

Вашу статью я сейчас же стал читать и всю прочитал; мне было очень любопытно, и сначала я обрадовался, потому что Берг поручил мне просить у Вас статей для журнала. Но разочарование было очень грустное. О чем статья? *О красоте в природе?* Да тут только упоминается об этой красоте. Об рассуждениях Соловьева? Тоже лишь несколько слов. И затем — ни одного имени, ни одной выдержки, ни одного определенного предмета, а все общие положения и соображения, не приводящие ни к чему конкретному. Несмотря на многие остроумные замечания, я не вижу возможности согласиться с содержанием. Что рассуждения о красоте будто бы не могут иметь твердости, что существует *органическая энергия*, что движение всего сильнее в начале, что есть сила, называемая *целесообразность*², что гении бывают безобразны, и т. д. и т. д. (что они *убивают чужую жизнь*) — все это не

¹ Ничего не было получено, кроме 25 оттисков. *Примечание 1913 года.*

² Что же, меня *тянет* куда-нибудь, — разве это не *сила*? Если в организм вложена какая-нибудь *цель*, как в жизнь народа может быть вложена его «судьба», то разве движение ко всему этому не будет «сильным», «преодолевающим все препоны», и тогда эта пробивающаяся к реализации «судьба» или «цель» является *движущей силою*, — *causa efficiens* [действующей причиной], совпадающею с *causa finalis* [конечной причиной (*лат.*)]. Тут-то великие определения Аристотеля могли бы для *уразумения* пригодиться Страхову, который не мог оторваться от «своего единственного» Гегеля. *Примечание 1913 года.*

точно, неправильно выражено, все это не имеет ни занимательности парадокса, ни верности точной мысли. И как все длинно и бессвязно. Рассуждение не кончается, а тянется, тянется неизвестно куда. Я Вам советовал не писать статей больше 1 1/2 или 2 печатных листов. Но Вы не можете.

Я истинно огорчен и не знаю, что мне делать. Когда я получил «Место христ.», то я потребовал от Берга, чтобы статья была тот час напечатана, я не допускал ни отговорок, ни даже объяснений. Теперь Берг не нахвалится, слыша, как со всех сторон восхищаются Вашею статьею. А теперь — я не решусь даже предложить ему Вашего рассуждения *о красоте*. Если бы Вы сосредоточились хоть на статье Соловьева, — тогда листа полтора разбора этой статьи могли бы быть напечатаны. Но теперь я не берусь выделить никакого отрывка, — мое искусство кроить поставлено в тупик.

Вы теперь человек известный; в четырех журналах, «Рус. Вестн.», «Вопросах Философии», «Журнале Министерства народного просвещения» и в «Русском Обозрении» — Ваша статья не залежится, а будет тотчас прочитана и оценена. Итак, обращайтесь прямо в редакции и пишите так, чтобы Ваши статьи всегда были удобны для чтения и приятны для журнала. Так когда-то я действовал, и из всего, что я писал, только *одна* статья была забракована. Да это не беда, когда статья хороша сама по себе, а вот Вы сами чувствуете, что у Вас не вытанцовалось¹.

Прошу Вас, не сетуйте на меня; мне больно огорчать Вас, но что же мне делать.

Скоро пришлю Вам издание 2-й книжки «Борьбы с Западом» — оно только что вышло.

Простите Вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

1890, 17 апр. Спб.

XXXII

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Письмо ваше застало меня в то время, когда я усердно писал «О времени, числе и пространстве»², так что я исполнил Ваш совет прежде, чем Вы мне

¹ Статья эта — «Красота в природе и ее смысл» — мне самому не нравится. Мямленье какое-то. По *содержанию* я ее считаю важной и очень верной. Но нет формы, что-то тягучее, безжизненное. Она, впрочем, нравилась Перцову (П. П.) и кажется (отчасти) Шперку. Едва ли Шперк мне не сказал однажды о ней: «Это — прекрасно, потому что приводит *прямо к Богу*; Бог стоит заключением ко всей природе, которую вы рассматриваете». Она была года через 4 напечатана в «Русском Обозрении», и по напечатании Влад. Соловьев приехал ко мне познакомиться (после ругани и полемики). *Примечание 1913 года.*

² *Методическая* — и учебно-методическая, и учено-методическая, — даровитость Страхова всегда мне казалась (до знакомства в письмах) столь превосходящею все, что приходилось читать на русском языке (родного и

его дали. Опять скажу, Вы вообще удивительно верно понимаете меня; Ваши похвалы и упреки я готов принять почти без поправок. Вы правы, что я везде только расчищал дорогу, а потом почти вовсе не шел по ней. Ну что ж? Скажите мне спасибо, и ступайте сами.

А знаете ли, что меня останавливало? Те высокие требования, которыми я всегда задавался. Поэтому я ограничивался маленькою задачею, где мог быть ясен и точен. Не поверите, как мне трудно писать «О времени» и пр. Но, слава Богу! половина дела сделана и осенью, надеюсь, статья будет кончена. Каждый шаг в ней я обдумываю со всех сторон, и потому движусь медленно. Но главное — *я не могу иначе*, я не могу писать, пока не вижу, что ни по бокам ни сзади ничего нет, что угрожало бы опасностью¹.

Очень благодарю Вас. А теперь я примусь Вас упрекать. Во-первых, за чем Вы о себе ничего не написали. Меня радует, конечно, что Вы забываете о себе — условие благополучия; но три строчки должны быть в каждом письме — о здоровье и о своих делах. Не говорю уж, как меня трогает Ваша дума и забота обо мне — это мило до непонятности. Душевно благодарю Вас.

Во-вторых — Ваше предисловие к «Метафизике», хотя верно по общей мысли (т. е. что Аристотель лучше понимал мир и человека, чем, положим, Милль или Дарвин, и значит нужно учиться у Аристотеля); но развитием

переводного), что вместо крошечной формальной логики, проходимою в гимназиях, было бы прекраснейшим делом ввести, напр. в преподавание VIII класса, изучение его «Мира как целого», всего или хотя части. Это было бы полезнее смешной «гимназической химии» и смешного «гимназического Аристотеля» (формальная логика). Вообще при некоторых недостатках (именно — *творчества*) в Страхове было что-то «от Сократа», от его великого метода «*все растолковывать юношам*». И совершенно дико, что Министерство просвещения ничем от него не воспользовалось и даже не заметило «у себя *бриллианта* в руках»... Не умею себе объяснить этого иначе, как тем, что Страхов официально, с одной стороны, был чиновник, а с другой стороны, не был велик по чину, всего «действительный статский советник». — «Неужели действительный статский советник может быть Сократом?» Всегда в письмах я и старался подтолкнуть Страхова к писанию об *элементарных* и *вместе основных* понятиях, словах, определениях, категориях философии и *вместе космогонии*. Здесь он был первым, всегда оставался первым. Невозможно забыть его прямо *классической* книги — «Об основных понятиях психологии и физиологии». *Примечание 1913 года.*

¹ По-видимому, есть *два вида* писательства: 1) полет, 2) постройка. В корне их лежат вечные начала человеческого духа — *пророчествовать, философствовать*. Надежны книги и вообще писания только вторых, а первые лишь увлекают и творят жизнь. Страхов принадлежал к *строителям*, как обратно напр. Влад. Соловьев — к полетчикам. Процесс писания у Страхова был вообще труден; но, беря его книги, *читатель мог знать наперед*, что он берет что-то «оконченное», «без ошибок» и «без вредностей». Удивительно, что *такой-то* писатель, *такой-то* философ у нас вовсе безвестен: тогда как *чем же, чем* только русские не увлекались, не зачитывались! *Примечание 1913 года.*

этой мысли я *очень* недоволен. Например — современного учения об *энергии* Вы вовсе не знаете; это учение есть завершение декартовского механизма и только в этом смысле имеет значение, и только так и может быть понимаемо. А Вы пишете, что оно сходно с учением Аристотеля о динамисе и энергии. Ошибка ужасная, тем более ужасная, что основана на сходстве слов. Меня так это огорчило, вместе с Вашими рассуждениями в статье «О красоте в природе», вместе с толками Н. Я. Грота, Ал. Ив. Введенского и пр., что я даже решил написать для «Вопросов»¹ статью — «О законе сохранения энергии» и беру с собою книжки, чтобы обдумать и подготовить ее летом.

Беру с собой, т. е. я послезавтра думаю ехать к Л. Н. Толстому и провести там несколько недель. Если хотите порадовать меня письмом, пишите просто *Тула* (Ясная Поляна).

Посылаю Вам оттиск статьи о Щеглове². Писатель, любящий поминать трех китов, — А. Н. Пыпин³. Где я приписал Достоевскому *тучу вопросов*⁴ — не могу найти, а помню.

¹ Т. е. «Вопросов философии и психологии». *Примечание 1913 года.*

² Автор (теперь почти забытый) «Истории социальных систем». *Примечание 1913 года.*

³ На мой вопрос в письме. Пыпин (член Академии наук) до такой степени был наивен, что в редком из своих многочисленных сочинений по русской словесности и этнографии не возвращался снова и снова к ироническому упреку, что «по взгляду русского народа *земля стоит на трех китах*». Это Страхова утомило, и он сыронизировал — не называя имени Пыпина — что такие упреки, «все повторяющиеся у одного ученого», довольно скучны. У Страхова это сказалось с прелестной шуткой, — и я спросил, кто этот возмущенный ученый? Нужно заметить, в «Вестн. Евр.» Пыпин был не один такой. Если вдуматься, *весь* «Вестн. Евр.», с его явными и анонимными евреями, с его только явными немцами, с его академиками и профессорами, и вообще «не якшающийся с *чернью*», на самом деле не шел дальше «китов» и везде стремился «вырвать с *корнем* кита из созерцания русского народа», как главную отраву этого сознания, до истребления которой невозможно думать ни о каком улучшении в России. Какой-то земский начальник, в котором-то нижегородском уезде, раз, выскочив перед народом, что-то закричал и пригрозил кулаками. Пригрозил, но не побил. Так «Вестн. Евр.» целый год возвращался к этому поразившему его случаю, и больше написал о нем страниц, с несравненно большею желчью, чем о всем 1-м марте. Где все-таки, как-никак, был *убит человек*. Вообще «Вестн. Евр.», за 43 года многописания, сыграл колоссальную роль в установке шаблонного типа «русского интеллигентного человека», — и этот тип, если рассмотреть его в зерне, сводится к кусанью днем и ночью, к разговорам днем и ночью, к жалобам *urbi et orbi* [городу и миру, всем и каждому (*лат.*)] на то, что «вот и до сих пор к востоку от Вержболова еще полагают, что *земля стоит на трех китах*». *Примечание 1913 года.*

⁴ В его биографии, при (первом) «Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского», 1881—1882 гг. *Примечание 1913 года.*

А откуда Вы взяли, что я когда-нибудь был «задумчивым молодым человеком»? Едва ли так; большею частью я был тогда непомерно жив и весел. Но как раз около времени «Рокового вопроса»¹, меня придавило мое беспутство, и я замолчал.

Простите меня. От души желаю Вам всего доброго.

Ваш Н. Страхов.

1890, 6 июня. Спб.

XXXIII

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Душевно благодарю вас за Ваши письма, а также за Статью обо мне, в которой верно будет много хорошего, и глубокого, и для меня лестного. Любовь дает большую проницательность, а Вы за что-то очень меня влюбились. Не знаю, как Вы напишете *о религиозном* у меня, но, конечно, Вы правы, ибо все серьезное в конце концов сводится к религиозному.

Но Ваша просьба немножко насмешила меня и привела в затруднение. В Петербурге я старался добыть для Вас «Сонату»², мне обещали достать, но не сдержали слова. А здесь, в Ясной Поляне, труднее добыть ее, чем в каком-нибудь другом месте. Дело в том, что Л. Н. не занимается ни распространением, ни запрещением своих сочинений; он предоставляет их совершенно на произвол судьбы и сохраняет у себя только подлинник. Началось с того, что я сообщил Л. Н., что есть на свете Василий Васильевич Розанов, причем невольно вспомнил Добчинского. Ваше имя еще не дошло до Ясной Поляны, и я попрекнул Вас, зачем Вы не прислали Л. Н. Вашего «Места». Потом я стал Вас характеризовать и хвалить и особенно похвалил «Место христианства». Пожалуйста, пришлите, — это будет лучшей рекомендацией. Когда же дело дошло до портрета с надписью, то мне стало совестно. Вероятно, Вы не имеете понятия о теперешнем положении Л. Н. Слава его гремит по всему миру и растет с каждым днем. Прав К. Н. Бестужев, говоря,

¹ Статья Страхова во «Времени» Ф. М. Достоевского, за которую (по настоянию Каткова) был закрыт (роковым для правительства образом) этот славянофильский журнал. В *одном этом* случае Катков показал, до какой степени он был не философский ум, а только «боевик пера». Нельзя не заметить, à vol d'oiseau [с птичьего полета (*фр.*)], до какой степени правительство от отсутствия в нем какого-нибудь «философского присутствия» постоянно давило все ему самому полезное, необходимое, все нужное России, и в то же время кормило, поило и согревало плутоватую ехидну, которая в достаточной мере к 1-му марта ему «укусила грудь». Вот уж поистине «Крестянин и змея», это наше правительство; да оно же — «Пустынник и медведь» (две басенки Крылова). *Примечание 1913 года.*

² «Крейцера соната», в то время недозволенная для печати, но по всей России ходившая в литографированных списках. *Примечание 1913 года.*

что со времен Вольтера не было подобной репутации, такого отклика на каждое слово, произнесенное писателем, во всех концах мира. Каждый день здесь приходят письма из России, Европы, Америки, с выражениями сочувствия и восхищения; говорю *каждый* без преувеличения. Между этими письмами часто являются и просьбы о «Сонате», об автографе, о портрете с надписью. Такие письма остаются без всякого ответа, и Л. Н. показывал их мне не вовсе без насмешки. Вот почему я смутился, передавая Вашу просьбу.

Да будьте же похладнокровнее, дорогой Василий Васильевич! Ну что это у Вас вдруг загорелось такое бессодержательное желание? Пожелать, чтобы Л. Н. вдруг написал собственною рукою Ваше имя, которое слышит в первый раз. Пожелайте лучше, чтобы он Вас прочел, чтобы написал Вам свое мнение. Со временем этого можно достигнуть, и это, конечно, стоит желания. Впрочем, графиня обещала мне найти портрет Л. Н., и если не забудет своего обещания, за множеством хлопот, я подсуну портрет Л. Н.-чу. «Сонату» же, он говорит, Вам нужно искать у *Стаховичей*, жителей Ельца, если вы их знаете. Если не добудете, я пришлю из Петербурга, как только сам добуду.

Ну, простите меня за мое ворчанье. Мне нужно бы очень много писать, если бы я стал рассказывать о Л. Н. и о том, что тут делается и как я живу. Скажу одно — делаются великие дела, и радостно быть их свидетелем. У Л. Н. есть много планов новых повестей, и одну из них он теперь пишет. Он совершает великий труд, умственная работа его непрерывна, и он по-прежнему обилен мыслями и образами. Теперь он совершенно поправился. Я же в этой жаре ничего не делаю, и разговоры с ним составляют главное мое занятие.

Получили ли Вы мое письмо, где я говорю о Вашем предисловии к Аристотелю?

Если Вы Достоевского ставите выше Толстого, то это большая ошибка. Однако, очень любопытно, что Вы напишете.

Простите меня. Дай Бог Вам всякого успеха.

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1890, 30 июня. Ясная Поляна.

XXXIV

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Вот Вам портрет; Л. Н. заикнулся о желании надписать лишь свое имя, и я не стал настаивать. Все-таки у Вас будет память от него. Я давал ему прочесть Ваше письмо. «Все молодость»¹, — сказал он о Вас — и, я думаю,

¹ Как *полно, закругленно* и, конечно, истинно о тех годах. *Примечание 1913 года.*

справедливо. Ваше суждение о К. Н. Леонтьеве¹ поразило меня. Какая удивительная пронизательность. Все верно до последней точки.

Простите, что пишу Вам наскоро и мало. Мне и некогда, и в самом я писательском настроении. И портрет так долго задержал.

Дней через десять я тронусь отсюда, заеду дня на два в Ясную Поляну и к половине августа наверное буду в Петербурге.

От всей души желаю Вам и здоровья и всякого истинного блага.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1890, 24 июля. Воробьевка.

Р. S. Берга зовут Федором Николаевичем. Не бойтесь его: он беспокойный и придирчивый, но, в сущности, смирный. Еще раз простите, что мало пишу; но я сердечно благодарен Вам за Ваши многосодержательные и милые письма.

PP.S. «Русского Вестника» здесь не получают и потому не знаю, что там делается. «Р. Обзорение» — очень пусто. Статья Цертелева о Л. Н. Толстом — истинное безобразие, по неточности, неясности и даже по корректуре.

Что касается до Стаховича, то Л. Н. сказал мне, что Вы можете захватить его в «Присутствии» города Ельца и можете обратиться к нему (кажется Михаилу Александровичу) от имени Л. Н. Толстого с просьбой достать Вам «Крейцерову сонату». Пожалуйста, сделайте это — будет скорее, чем я успею добыть Вам в Петербурге.

Простите, *Н. Страхов*.

PPP. S. Мне очень трудно было бы пуститься в объяснение взглядов и впечатлений Л. Н. Толстого. Когда-нибудь я это сделаю печатно, или в разговоре с Вами. Вот почему я мало Вам пишу о нем.

¹ Только что, в июне этого года, бродя в саду «летнего клуба» в Ельце и зайдя в читальню, — я открыл новую книжку «Русск. Вестн.» и, увидя «Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр. Л. Н. Толстого», — был поражен (и привлечен) новизною *лица автора*, имя коего под этой статьей впервые прозвучало для меня. Но с тех пор и до настоящего времени, с колебаниями в «да» и в «нет» в смысле согласия, он стоит для меня как привлекательнейший образец русской литературы. В те первые минуты *смелость и гордость* Л—ва больше всего меня поразили. Он имел силу сказать вещи, каких никто в лицо обществу и читателям не говаривал. Говорили, и пуще, — *невежды*. В Л-ве же чувствовался аристократизм ума и образования. «Позвольте, не один Аскоченский требует *розги*, но и г. Вольтер». Леонтьев вообще действовал, как пощечина. «На это нельзя не обратить внимания», — произносил всякий читатель, прижимая ладонь к горячей щеке. Вот впечатление и действие. *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Вернувшись домой (14 августа), нашел я Ваше милое письмо, но до сих пор не мог отвечать Вам; на первых порах обступили меня всякие хлопоты. Письмо Ваше называю милым потому, что Вы очень хорошо написали о себе, о своем детстве и старчестве. Эти строчки вместе с Вашею благодарностью я уже передал в письме Л. Н. Толстому. Что до «Места христианства»¹, то эта статья его не заинтересовала; погодите немного. Л. Н. всегда бывает так поглощен своими мыслями, что все остальное кажется ему прах и суета. Он знает этот свой недостаток и сдерживает себя в отрицании. Но подумайте, какое великое достоинство эта нераздельная преданность одной мысли, одному чувству. Разумеется, ход этих мыслей и чувств имеет глубокую связь, и он так умен, что не упускает из виду ничего противоречащего и постороннего. Со временем он Вас оценит. Он с интересом читает полемику, которую я веду; Ваша статья обо мне вызовет его большое внимание. Посмотрим, что он скажет. Но верьте, — он человек вполне удивительный.

В первые же дни Берг принес мне Вашу статью «Три фазиса»² и я прочитал ее тотчас же с большим любопытством и удовольствием, но должен был согласиться, что *без переделки* ее напечатать нельзя. Неудачно — место о Добролюбове. Вообще, вся статья поверхностна, не по мысли, которая глубока и мне нравится, а по фактической подкладке, которая недостаточна³. Добролюбов действительно звал к общественной деятельности, но именно

¹ Мне думается (теперь) — *основательно* серьезный и старый человек смотрит *под ноги*, смотрит в «*теперь*», а не в «планы истории» (у меня), которые, во-первых, истинно «неисповедимы» и *не нам* в них проникнуть, а, во-вторых: *что же мы можем сделать* с этим планом, если бы даже в него и проникли? Ну, он развивается, идет: а мы, маленькие человечки, барахтаемся в нем, как лодочка в океаническом течении, и — *не понимая*, и — *немошные*. Толстой, с своими 70-ю годами и памятью Крымской войны, и отодвинул как «не нужное» «Место христианства в истории» Елецкого учителя, которое было занимательно для него и для елецких учителей, но несколько не занимательно вообще. И Страхову-то следовало погладить меня по голове и, сказав «паинька», прибавить: «посмотрим, *что будет дальше*». Тогда я в высшей степени напоминал свою Веру (17 л., гимназия Стоюниной), которая, не умея вымыть чашек, все устремляется душой к «страданиям Байрона». *Примечание 1913 года.*

² «Три фазиса в развитии русской критики». Перепечатана в книге «Литературные очерки». *Примечание 1913 года.*

³ Слабая сторона всех моих сочинений. *Примечание 1913 года.*

— к революции, к разрушению, к осуществлению социализма¹, к тому же, к чему звали полоумный Чернышевский и совершенно зеленый Писарев. Все они исповедовали нигилизм, и начало этой проповеди непременно нужно указать в Белинском, в последнем его периоде². Это было общее движение,

¹ Наступил этот *рак русской истории*, который именуется «социализмом», и который заключается именно в *равнодушии к общественным делам*, в равнодушии к тому, «крепки ли мосты в нашем уезде», «не попадает ли лен, превосходно родящийся у крестьян, в руки евреев-скупщиков», «есть ли у нас в уездном городе порядочная библиотека», «соответствуют ли учебные заведения уезда нуждам, быту и уровню образования его мещанства, купечества и крестьянства», — и в *вылающей* занятости ума, сердца и воображения тем: что будет в России через сто или двести лет, не будем ли мы все 17-летники Сократами, которые в содружестве с Периклом и Аспазией, т. е. «с нашим *развивателем* Иваном Ивановичем и его подругой Катериной Семеновной», будем построять новую Афинскую республику, с архонтами, членами Совета, «отнюдь без губернаторов и без царя», — и эта республика будет все читать Писарева и Чернышевского, рубить топором иконы, истреблять «лишних паразитов» («Пчелы» Писарева), т. е. всех богатых, знатных и старых, а мы, молодежь, будем работать на полях бархатную, кем-то удобренную землю, и растить из нее золотые яблоки, которые будут нам родиться «не как при старом строе». И — мир на всей земле, и — песни по всей земле. К этой мечте, которая есть основа и сущность социализма, его «душа» и «архей», профессоришки и жидишки (Лассаль и Маркс) придумали счетную арифметическую машинку, которых вообще может быть очень много, и не в них дело. Теперь: мечту эту, *совершенно благородную*, нельзя, однако, не назвать «раковой опухолью» нашей общественности; потому что где же *мосты, училища, торг яйцами и льном, ссуда* под будущий урожай и т. п.? где все «теперь» и всякое «под ногами»?!! Пришел практический еврей, пришел реалист еврей, без гимназии и до гимназии, но уже как будто еще при фараонах усвоивший «четыре правила арифметики» и учет векселей, усвоивший еще там галстух и котелок, и забрал «всю практику» в свои руки, с 100 проц. барыша на всем. И, смотришь, через двадцать лет у него «в мальчишках» служит, и с *благодарностью за ласку*, русский былой социалист-мечтатель, все еще по ночам при сальной свечке почитывающий Писарева и Лассалья, которых и еврей считает «первыми мировыми писателями», но считает без особенного волнения и не упуская из виду точного баланса своего «гнездышка-дела». Так «переворот» совершается, но не в пользу архонтов и «Аспазии Семеновны», а Мордухая Елиазаровича и его Рахили Яковлевны, с их тетеньками, свояченицами, племянниками, с их «щучкой в вечер пятницы» и субботними огоньками на белой скатерти. *Примечание 1913 года.*

² *Предпоследнем* по счету 1910-го года (*последний его юбилей*) и *последнем* по счету до этого 1910 года, т. е. *по счету, тянувшегося почти полвека*. В мокрой квартире, чахоточный, необычайно талантливый и благородный Белинский «гаскал каштаны из огня» для миллионеров Герцена и Огарева, для темного кулака Некрасова с Панаевым и Краевским, и писал им *нужные* бешеные статьи против «ancien régime» [«старого порядка»] (*фр.*), etc., иносказательно и непрямо, для правительства неуловимо, но для всех понятно. Социализм вообще есть прибежище от тоски действительности; а «действительность» была для Белинского все время мучительною и тоскливою, «черною».

поток отрицания, захвативший почти всю литературу. Конечно, в основе лежат нравственные требования, стремление к общему благу, и в этом смысле можно сказать, что нигилисты дали литературе серьезное настроение, под-

Но «черна»-то она стала от приятелей, похлопывавших его по плечу, называвших его «первым русским критиком», называвших его «вождем всей молодежи», кем он и был, и никогда его не спросивших: «а сколько он платит за квартиру, и не кашляет ли и жена его, как кашляет он?» «Дружба — дружбой, а табачок — врозь». Какой талант и какая служба перед молодежью и обществом у Краевского? — *Ноль*. — У Белинского? — *необъятна*. А Белинский получал — *грош*, тогда как Краевский — *сотни тысяч*. Таким образом, «несправедливость социального строя» была у них, в редакции «Отечественных Записок», — того «журнала в желтенькой обложке, книжку которого» какой-то идеалист, читатель или писатель, просил «положить себе в гроб под голову вместо евангелия». Но как же о «приятеле», о «тут у нас, в редакции», — закричишь?! И слова, бешено рвавшиеся *собственно против своих*, Белинский перебрасывал в другой лагерь, в совершенно «сторонний огород», какого-то «правительства», какого-то «старого строя», о котором что же он, теоретик и идеалист, знал кроме анекдотов, рассказываемых ему толстым «кулаком» Краевским и жилистым эксплуататором Некрасовым?! Таким образом, все его сочинения последнего периода, периода последней чахотки, последней нужды, последнего отчаяния, похожи на письма с не тем адресом, какой был в душе, какой наполнял ум и пылал в сердце, а с совершенно другим адресом, с неверной прописью имени и фамилии приемлющего в руки лица. Обстоятельства его жизни и биографии совершенно ясно это показывают, и не было только удостоверения, *понимал ли он сам это?* Поразительное, почти предсмертное письмо его, напечатанное в юбилей 1910-го года, вдруг показало, что весь этот ужас и неверный адрес его сочинений он всю жизнь трагически понимал, но «похвалы друзей», да и вся обстановка вокруг, сдавили ему горло, сделали невозможным правдивый крик: и он помогал поварам, которые жарили его, рыбку-Белинского, на сковородке в своем масле. («Да этой черной низости, какую мне делали эти люди («социалистического» оттенка), той гадости, несправедливости и бесчестности, какую они проявили в отношении меня и труда моего, черного труда черного поденщика, — никогда не делали Греч и Булгарин»). Теперь подставьте-ка во всех его сочинениях вместо «Греч и Булгарин» другие и настоящие имена, с *живой ненавистью и молча носимые Белинским*, именно имена «Краевского и Некрасова», да отчасти и «Герцена и Огарева» (вот Кетчеру эти филантропы купили сухонький домик и подарили; а сделай они *то же* или сделай *подобное* Белинскому — и он был бы спасен): и что же тогда получится от «последнего фазиса Белинского»?!

Белинский — русский; *еще русский...* Его пора перетащить по настоящему адресу, — его, лучшего толкователя Пушкина, которого вскоре затоптало сапогами движение, им же начатое, провозглашенное, поднятое. Правительство наше безмерно наивно и неопытно, но оно не есть злое правительство и низкое правительство. Все муштрует полки, строит крепости, льет пушки, с петровским эмпиризмом и петровской безыдейностью. Напротив, общество-то наше «с социальным оттенком» вовсе уже не наивно и вовсе не эмпирично, а «клюет» во всех идеях, ко всем им равнодушно, и только знающее, где «растет малинка». Вот оно эту «малинку» и собирает, с мыслью — «на наш век хватит». Черная тупость правительства, конечно, возмутительна, барабанные

няли все вопросы¹. Но сделать они ничего не сделали, и напр. деятельность Л. Н. Толстого составляет их отрицание, отвергает их начала, — в чем и

генералы рвут сердце. Но все это как-то недалеко и не язвительно, да и мы не должны здесь преувеличивать «по Белинскому и Грибоедову», вообще «по литературе», и помнить, что между «генералами» были Ермолов и Черняев, а между «лицами правительства» были граф Киселев, да и вообще вовсе не «анекдотические люди». *Мы своей истории не знаем* — вот в чем дело, и ни Иловайский, ни Делянов, Толстой и Уваров русских мальчиков и девочек русской истории не научили; а Потебня, Буслаев, Тихонравов, Сахаров, Снегирев, Хомяков и все Аксаковы — в учителя русского юношества никогда не были позваны и *даже не были до учителя допущены*. В этом все и дело, отсюда и сила Белинского и обаяние его «последнего периода деятельности». Это — хорошая монета в руках кулаков, скупщиков, прасолов литературы, от Краевского до Стасюлевича; и это — золоченые щепки в глазах серьезно образованного человека. Просто — *этого нет*, пуф, прах, ничто. К опубликованному последнему письму Белинского параллелью и завершением является «Зина» Некрасова, идеалистка-девушка, повенчавшаяся с ним перед смертью его... Конечно, «вся в пылу», она не знала *в точности*, не знала — *веря* — ни истории его отношений к Белинскому, ни особенно истории мошеннического обобраяния им разведенной жены Огарева (1-й): где он отнял, полу-выманил, у больной, старой, нервной и алкоголичной, но глубоко идейной и интересной женщины, 95 000 рублей; и выманил и отнял таким способом и через третье, ему подчиненное, лицо, так что ни пожаловаться, ни закричать было нельзя. Когда «Зина» узнала, вскоре по смерти его, всю закулисную сторону «русского социал-демократического лагеря», «народнического», «не эксплуататорского», — бедная отрясла прах журналистики от ног своих, и ушла куда-то на восток к сектантам, «баптистам» или «евангеликам», но подальше от Петербурга, от радикалов, от социалистов. Так *comedia erat finita* [комедия окончена (*лат.*)]. *Примечание 1913 года.*

¹ Конечно, вопрос с *нигилизмом* не так легок. Конечно, для него были *действительные* основания, а в первой фазе своей он привлек в Россию давно ей недостававшую когорту людей *трезвой и суровой правды и зова к практическому подвигу*. Споткнулось, кажется, все дело именно о «социализм». Если бы нигилисты не уткнулись головой в эту дыру *всеобщего отрицания*, а стали мостить мосты и чинить дороги, строить школы и учить «по-Рачинскому», «по-Псалтири» и «Часослову» (*народно и исторически*) — все было бы спасено, и при своей энергии и неустанности (*новое* в России явление, *никогда не бывалое!*), то они в двадцать лет сделали бы Россию неузнаваемой и дали бы ей сравняться *даже с Германией*. Да, с *Германией*, — вот что было в обещании. Но тут постарались Чернышевский с «прокламациями» и Герцен с «Колоколом», которыми чудесно воспользовалось знаменитое «III отделение». III отделение все толкнуло «как можно левее», всему указало быть жестоким, глупым и бессмысленным: для чего стоило только вызвать «семинаристов». Семинаристы «делали», а III отделение «показывало кому нужно» великие и героические «дела» их. И все было смято и раздавлено в глухой свалке, в темном, неосвященном переулке. Нигилизм был прав в отношении *феноменов* русской действительности, но он двинулся против самого *ноумена* этой действительности, и не справился естественно, и погиб тоже естественно. *Примечание 1913 года.*

значение ее в текущей нашей литературе (не *sub specie aeternitatis*)¹. Не могу согласиться, чтобы Добролюбов к чему-нибудь приготовил своих читателей, и, во всяком случае, нигилизм есть центральное явление и следствие, перед которым другие семена и побег отступают на задний план².

Очень трудно мне писать и не знаю, довольно ли ясно я сказал. Во всяком случае, Вы правы, что фазиса *три*, что они друг друга дополняют; но средний фазис иначе нужно характеризовать. Да! Григорьев уже писал лет 10 или 15, когда выступил Добролюбов³. Он есть фазис прямо развившийся (по контрасту) из Белинского. А что у нас писатели имели роль учителей, наставников — издавна, испокон веку, — также несомненно и не есть новость. Скорее, это значение начинает теряться.

Итак, решите как сделать. А мне очень бы хотелось, чтобы Ваша статья была напечатана. Пожалуйста, не сетуйте на меня.

Знаете ли Вы книгу кн. Сергея Трубецкого «Метафизика в древней Греции»? Вот прекрасная книга, — я читал ее летом. Если достанете, скажете мне спасибо. Да не напишете ли об ней для «Русского Вестника» или «Русского Обозрения»?

В Ясной Поляне и в Москве я виделся с Мих. Александр. Стаховичем, и он обещал мне послать Вам «Крейцерову сонату». Он очень милый и скромный человек, с большой начитанностью. Если не получили, то наверно скоро получите.

Простите меня. Дай Бог Вам всего хорошего.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1890, 26 авг. Спб.

XXXVI

Целую Вас от всей души, дорогой Василий Васильевич, за Вашу статью обо мне, — это определение я сам себе давал, когда думал вообще о своих писаниях. Меня и удивляет и трогает, что Вы все это поняли и высказали⁴;

¹ с точки зрения вечности (*лат.*).

² Т. е., что в деятельности Д—ва было не много творческих, созидательных элементов; главное было — просто *столкнуть, уничтожить*. Не «quidquid» [«чтобы»], а «*nil*» [«ничто»] (*лат.*). *Примечание 1913 года.*

³ Т. е. ошибочно, что я его отнес к *третьему* и последнему фазису, считая реакцией против Добролюбова и проч. *Примечание 1913 года.*

⁴ Действительно, Страхов — *вечный педагог*. Даже полемизируя с Фаминцыным, с Тимирязевым, Бутлеровым, он как будто *внушает* им истинные приемы мышления, истинные методы философствования, а не столько занят опрокидыванием их мыслей, и нисколько не занят их уязвлением (обычные приемы полемики). Страхов *вечно болен о читателе*, о путанице в уме его и о притуплении в русских читателях нравственных и всяческих вкусов; он был «мамкой», «дядькой»: и это несколько даже отразилось в общем старообразном его положении в литературе. Это же было и одной из причин его неуспеха. «Ах, этот старик вечно учит!..» И молодежь пробежала *мимо* его. Но в Страхове, *в нем самом*, содержится вечная необходимость «вернуться к нему». И вернутся, и оглянутся, не наше поколение, то следующее или следующие... *Примечание 1913 года.*

сердечно благодарю Вас! Да и менее общие замечания — как верны и как прекрасно сказаны! Вообще, почти все, что прямо ко мне относится, очень хорошо; что же касается до рассуждения о славянофилах и западниках, то оно очень остроумно и глубоко, но слишком отвлеченно и поверхностно с фактической стороны. Поразительна и свежа мысль, что западники — более русские, более допетровские люди, чем славянофилы; но напрасно говорить, что славянофилы равнодушны к русской истории, народной словесности и т. д. Тут факты против вас. К. Аксаков, Хомяков, Киреевские, Гильфердинг и т. д.¹ И нигилизма Вы не знаете, потому не видите, что западничество принимается худшими² сторонами русской души, что нигилизм его логический плод. Об Европе Вы чудесно говорите и очень хорошо останавливаетесь в суждениях, смотря на нее, как на загадку. Но об этом вопросе так много писано, что — не говорю привести и разбирать, а хоть бы только упомянуть, что есть-де решения этой загадки, — нужно бы было. Вижу, что и тут Вы выступаете ярким примирителем, неукротимым обобщителем; не могу этому не сочувствовать, но не могу и не заметить, что дело у Вас ведется слишком быстро. Однако положение, что спор славянофилов с западничеством имеет всемирное значение — какая бесподобная и бесподобно сказанная мысль.

¹ Меня, однако, удивляло, почему не славянофилы написали такие труды, как «История с древнейших времен», в 29-ти томах (С. М. Соловьева), или «Исторические монографии», что-то около 17-ти томов (Костомарова); также все-таки западником был и великий Буслаев. Вообще «русская история» и «славянофилы», даже «русский быт» и «славянофильство», как-то «знакомы-то знакомы» между собою, и даже кажутся «друзьями», — но, однако, пробежала и пробегает какая-то «черная кошка» между этими «близкими знакомыми». *Примечание 1913 года.*

² Вот это — глубоко; Герцен был, в сущности, дурной человек, и только свет солнца его талантов залил это, и не допустил рассмотреть. И «нигилизм», конечно, уже содержался *implicite* даже в реформе Петра Великого; и *докончил* эту «реформу», сказал ее последнюю мысль. Что нигилизм вообще есть «что-то последнее», грань чего-то, «пропасть»: «обрыв» — это невольно чувствуется. В «нигилизме», собственно говоря, мы и сейчас существуем; «нигилизм» тянется, таким образом, более уже полвека; *более или менее «мы все — нигилисты»,* и выход из него или преодоление его в себе каждым — дело величайшего труда и страдания. Главным нашим «нигилистам», вроде Чернышевского, Писарева, Зайцева, Шелгунова, Скабичевского, Желябова, Перовской, в голову никогда не приходило, что они суть *ленивые* люди, плывущие по течению, — косные люди, неспособные поворотиться *по-своему*, люди не оригинальные, шаблонные, «как все», без звездочки во лбу, тусклые и неинтересные. А они-то «Байронами» расхаживали, распускали павлиньи хвосты, учили, «обновляли», «развивали». Бедные курочки, «пришедшие ко двору», — «механическая обувь», выделяемая не поштучно, не по мерке заказчика, а «вообще» и целыми «партиями», — люди «правительственной системы» (системы Петра I) и, как говорится в промышленности и торговле, — «по Высочайше одобренному образцу». Со своим «я» и «против течения» были единственно славянофилы. *Примечание 1913 года.*

Это я писал уже дня три назад, но до сих пор не могу собраться окончить письмо к Вам. Простите меня! Я еще обдумаю Ваши похвалы и Ваши порицания и напишу Вам; но теперь я весь поглощен писанием ответа Вл. Соловьеву. Вы, конечно, знаете, что он опять выкинул штуку в «Русской Мысли»¹. Я сперва сердился, потом успокоился и теперь пишу непрерывно и все разогреваюсь. Напишите мне Ваше мнение: ведь нужно ему отвечать?

Ваши «Три фазиса» просто не дают мне покоя²: как и что я с ними стану делать? Нужно хорошенько вчитаться и потом выправить середину. Но прошу Вас, дайте недельку срока.

Об Вашей статье в «Вопросах» нужно бы очень много говорить. Я думаю, что Вашего сомнения, точно ли я борюсь с Западом, и Вашего укора мне в теоретизме, — не поймет почти никто из читателей³. А что Вам откры-

¹ Книжка «Русской Мысли» лежала у Стр-ва на столике, придвинутом к чайному (овалом и большому) столу, где у него лежало «текущее чтение», какой-нибудь трактат по физике на немецком языке, и вот «Русская Мысль». Беря эту книжку со статьей Соловьева, он (мне и другим) говорил: «Вот — видите? Книжка вышла (такого-то) числа, и, следовательно, печаталась (такого-то числа). Вы читали? Нет? Я вам прочту только несколько выражений (унизительные, ругательные). А та-ко-го-то чис-ла (слышите!!!) он со мной пил чай и вино на Курское вокзале, был до приторности любезен, и я, не подозревая ничего, говорил с ним если не как с другом, то и не как с врагом. О-н ни-че-го об ста-ть-е не сказал, а она пе-ча-та-лась». И он бросал книгу на стол. «Теперь судите, что это за че-ло-век!!!» Действительно, это было просто — *дурное*. Не — философия, не — литература, не — разные теории, а кривое лицо, кривая душа, темная, в которую человек (Страхов) «оступился». Именно после этого (вот «питья на вокзале чая») Страхов совершенно перестал выносить Соловьева, выбросил его из сознания своего как «что-нибудь», и тут сказалось великое шперковское (о Соловьеве): «эстетический человек, а не этический человек». Вечный «учитель», Страхов не мог перенести в «учительстве», в стезях учительства — поступка, какой совершается в темном переулке темными людьми. Последующее отношение Страхова к Соловьеву было отвращающееся. Так, идя с похорон Я. К. Грота, я от него выслушал негодующее упоминание о нечаянном и невольном столкновении с Соловьевым на улице: «Как же, и он (Соловьев) *был* (на похоронах)! Разве вы его не знаете в лицо? И опять подошел ко мне и протянул руку, которую я, взяв, — с отвращением *бросил*». *Примечание 1913 года.*

² Ужасно я много *возни с собою* дал Страхову. Сам я никогда и ничего у себя не умел исправлять; и (должно быть нуждаясь в деньгах) просил Страхова «выправить» статью, обещавшую рублей семьдесят. Однако статья, как она перепечатана в книге, и была напечатана в журнале — без всяких поправок Страхова. Почему и как это вышло — не помню. *Примечание 1913 года.*

³ «Непонятность Розанова» есть одна из изумительных «для Розанова» сторон. Вас. Сил. Кривенко как-то встречается со мной в редакции газеты: «Сейчас говорил о вас с Константином Петровичем (Победоносцев), которого встретил на бульваре (прогулка). *«Темно пишет, я не понимаю»* (т. е. не понимал статей в

ли мои «Воспоминания о Достоевском», я не могу догадаться. В «Воспоминаниях» я был очень сдержан; это не была свободная статья; я писал правду, но ту, которую прилично и уместно было напечатать в самом «Собрании сочинений» Достоевского. Вообще, я пишу *холодно и сухо*¹; но бывает у меня скрытый огонь, который Вы иногда хорошо видите. Почему Вы не находите у меня хорошего патриотизма? Об «1 марта» я *один* написал, — это мои статьи об нигилизме². Польский вопрос я почувствовал *сердцем* — ведь во мне боль говорила.

Вижу, что Вы не поняли *внутреннего выхода* из рационализма, — правда, мое объяснение слишком кратко; нужно написать об этом книгу³. Слово

«Новом Времени»). Тут есть какая-то идиосинкразия меня: между тем как *все*, Нувель, Дягилев, Философов, Перцов — понимали меня в каждом слове, понимали в оттенках, в недосказанном (статьи в «Мире искусства» и в «Н. Пути»). Так же понимают, *как я сам себя*, даже студенты университета и духовной академии. *Почему это? Что?* — Ignotum [неведомо (лат.)]... Может быть, дух разных генераций? Уже «не то поколение»?.. *Примечание 1913 года.*

¹ В сущности, — *вовсе нет!* Хотя Страхов постоянно наукообразен и философичен, всегда «правилен» и «последователен, наконец, хотя он повсюду цитирует других, *говорит свою мысль чужими словами*, но у него постоянно *есть пульс* в этих построениях и даже в чужих словах: так он много жару, надежд, убеждения, наставничества *соединяет с мыслью*. Наоборот, есть *шумные писатели*, был шумный Скабичевский, шумный Шелгунов, а уж Чернышевский просто «гремел», — и тем не менее они все были, в сущности, *холодные писатели*; как и Герцен есть блестящий и *холодный писатель*. Мне кажется, теплота всегда соединяется с *грустью*, и у Страхова есть постоянная тайная грусть; а те все были «пресчастливы собою». *Примечание 1913 года.*

² Помнится, в «Руси» И. С. Аксакова, — ряд превосходных по мысли и по горячности статей. Позднее на *прямую тему* о «нигилизме», и все в связи с 1-м марта, писал Н. П. Гиляров-Платонов, но это было уже потом. *Примечание 1913 года.*

³ Чудная тема; вот бы ею заняться Страхову. Раз он упомянул о «книге», значит у него и роился рой мыслей на эту тему «около книги объемов», — но он оставил об этом лишь несколько строк в предисловии к «Миру как целому». Где же, однако, хоть приблизительно, этот «выход» из рационализма, из логики Аристотеля и наукословия Бэкона Веруламского? В бесконечностях религии. Мир создан не только «рационально», но и «священно», столько же «по Аристотелю», сколько «по Библии», столько же «для науки», как и «для молитв». — Хозяйство. Хозяйка печет пироги. Но если бы кто подумал, что это есть сумма «пекущей печи + необходимости еды», тот ошибся бы глубочайшим образом, ибо хозяйка разбила бы формы горшков, посуды, не «ожидая она к обеду *любимого мужа*» и не пеки она пироги «с молитвою». В центре всего лежит *молитва и любовь*. Так весь мир — этих животных, этих растений — согревается и связывается тоже любовью и нам непостижимую верою. Частицу этой «веры» (религии, молитвы) мы находим даже в том, что «растения не растут дерево к дереву», как стоят «солдат к солдату в шеренге роты», — в том, что есть «ландшафт», «поля» и «лес», «нива» и «колокольчики». Что не улавливается уже никакою ботаникою, и против чего Аристотель, однако, не спорит. Это уже входит не в его «Есте-

«вражда» употреблено мною метафорически, — так, например: «эти два понятия *враждебны* одно другому». Может быть, неудачно выражение, но смысл не тот, который Вы даете.

Ну, простите мне. Еще раз от души благодарю Вас. Бесподобные замечания о моей ненависти к невежеству¹, о моей объективности, о простоте изложения и проч., и проч., все это меня тешит несказанно, и не могу я не чувствовать Вашей доброты, теплой, чистой любви ко всему высокому и умному. Дай Бог мне вполне заслужить ее, дай Бог Вам сохранить этот пламень и найти для него более достойных писателей и встретить более достойных людей².

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

13 сент. 1890. Спб.

ственную историю», а в его «Реторику» и «Пиитику». В мире проглядывает лицо человеческое, даже Лицо Человеческое, — в коровах, лесах, колокольчиках. И мы не только умом постигаем мир, но и трепещем сердцем к миру. Тут брежитесь вдали Египет с его священным «поклонением животным»; с его таинственным припаданием царей к груди Гатор (Афродита)-Коровы. Священные токи проходили через мир животный и человеческий, растительный и животный (Древо Жизни); не появлялось еще красивеньких маленьких скульптур (греки), но весь Мир, целый Универзус был Образом Поклоняемым, в котором лобзали не истуканов сделанных, а Живые Существа. Было *питание* взаимное каждым существом всех и всеми существами каждого, — от которого малым остатком сохраняется наша «еда», символ древнего питания «от сложения мира». Все всем было родное; все во всех было единое. Человек был главою организма живых существ, от них не отделимою, а не медною «короною» на мир, в сущности с ним не слитою (теперь). Элевзинские таинства, «Озирианские таинства» в Египте, — были «последним», уже утаиваемым остатком этого древнейшего единства мира, равнобожественного и равно-животного, равно-человеческого и равно-растительного, — где (в таинствах) поклонялись «прорастающим семенам» каких-то быстро прорастающих (в одну ночь) растений, да ячменному зерну, да прочим «мелочам». «Этого никому не надо открывать» — это древнее, чего современники уже не поймут или худо перетолкуют на «языке улиц и грязного своего воображения». *Примечание 1913 года.*

¹ Как Чернышевский и прочие были просто «любителями невежества», «адораторами тьмы»... *Примечание 1913 года.*

² Как спокойно и тихо, какой благородный тон! Вот *строки*, каких нигде не отыщешь в сотнях томов нашего литературного нигилизма, с их (Чернышевский) — «давай мне», «только мне», «все мне». Этот гнусный тон, от Чернышевского до Михайловского, тон всеядного кабака и захватистого дома терпимости («всех гостей — *ко мне!*») стоял 50 лет в нашей журналистике, в ее господствующем течении, и развратил читателя, развратил публику, сгустив тот *цинизм*, с которым «нет sprawy никому». Его не одолели и гиганты, как Достоевский и Толстой; и Михайловский, шутиво полемизируя с ними, знал, почему он говорит *таким тоном*. «Против Достоевского — я пигмей, около Толстого — я прохвост: не публика — *у меня*, а — не у них. А помещик-озорник и идиот с 1000 душ крестьян — и сильнее и умнее и талантливее и пригожее, чем какой-нибудь умница и философ всего только с 20-ю крестьянскими дворами за спиной». *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Покорно благодарю за письмо. Мне же давно следовало бы написать Вам: я читал Вашу статью¹ о Достоевском (Берг спрашивал моего совета), очень ею заинтересовался, и должен был и похвалить, и побранить Вас. Похвалить за глубину и тонкость понимания — как верно Вы угадали его мучения и отсутствие в нем² веры! Помните ли Вы место о любви к ближнему?³ Вы считаете его обмолвкой, неудачною страницей, — а оно выражает точнейшим образом чувства Достоевского⁴, — Вы много в нем поняли, но до этого еще не

¹ Должно быть в рукописи — «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». *Примечание 1913 года.*

² Может быть, для будущих времен интересно будет сообщение, что в 80-х годах минувшего столетия Россия и общество русское пережило столь разительно-глубокий *атеизм*, что люди даже типа Достоевского, Рачинского и (извините) Розанова предполагали друг у друга, *атеизм, но скрываемый*: до того казалось невозможным «верить», «не статочным» — верить!! Как, что переменялось, переменялось со страшной незаметностью, но — «Гость пришел в Ночи и тихо, — и сел»; и мы «очень просто верим», и я знаю, что у меня «за стеною — Гость, друг, реальный, как мои дети». «Мы все верим, очень просто». Почему? как? *Когда начали верить?* Неизвестно, неисследимо. Я сам (в обществе, в истории) пережил *день за днем* эту главу ее, и сам не знаю, «когда все случилось». Но верю. И верю *теперь* Достоевскому. И поверю всякому, кто скажет, что он — «верит». Тогда, в сущности, я не верил Достоевскому, *потому что сам не верил*, и только хотел верить (очень хотел), но казалось «не статочным ни у кого». «Переменялась погода историческая», «погода религиозная», земля из «знака Геркулеса» перешла «в созвездие Овна» (положим), и посыпались в душу, в цивилизацию «совсем новые звезды», «новые аэролиты», новые *из иных звездных миров* снопы света. Я уже два раза встречал юношей, у которых *с шестого класса гимназии* стала в душе мечта — сделаться священником. *Примечание 1913 года.*

³ Страшное место, что «ближнего нельзя любить», а (с насмешкой) — «разве что дальнего»; «ближний» же должен для пробуждения любви к себе переодеться «приблизительно в оперный костюм». Эти слова Достоевский влагает в уста Ивана Карамазова (беседа с Алешей, перед рассказом «Легенды»). *Примечание 1913 года.*

⁴ Ужасное наблюдение Страхова, который, *конечно, лучше всех нас*, теperешних, — *лично не знававших Достоевского*, — знал его: знал в ежедневном общении по журнальной работе, да и в уединенных кой-когда беседах, в своем роде «за перегородочкой» и «в трактирчике». В конце концов, почти со слезами скажем, что в 70-е, 80-е годы *русские пережили страшную трагедию души*, трагедию именно мирового холода, «пока планета перелетала от Геркулеса до Овна», — и *никто никого не любил*, страдал от этого и все-таки не любил. Конечно, приписание Достоевским старцу Зосиме «такой любви ко всему», птичкам и прочее, к мальчику и т. п., очень подозрительно. «Точно дует в кулак, весь заледенев», или «топочет ногами на моро-

дошли. Да вообще, там много превосходного, и много такого, что, по-моему, не вполне верно. Но все это любопытно и достойно чтения. Если что требует поправки, то, я думаю, толкование на Апокалипсис в конце статьи — это чересчур, и нет ни малейшей надобности прямо истолковывать его, как Откровение¹. От этого пропадает сила мысли, примешивается посторонний элемент.

Как бы то ни было, я поздравил Берга с Вашею статьею. Между тем она написана пренеудобно. Ведь это целая книга, ее придется разбить на три книжки, не соблюдая естественного деления, и я предсказываю Вам, что ее немногие прочтут и немногие поймут.

Все-таки спасибо Вам.

От Толстого еще не было письма, после выхода «Вопросов философии» с Вашей статьею². Он был болен припадком своей весенней болезни, но, слава Богу, поправился, и я жду, что скоро мне напишет. А вот Вам моя просьба: есть у Вас оттиски статьи обо мне? Пошлите один Пл. А. Кускову, а другой Ее Пр-ву Ольге Александровне Данилевской по адресу: *Таврич. губ., Ялтинского уезда, станция Байдары*.

Кусков пишет то продолжение, о котором Вы меня спрашиваете, и очень хорошо пишет.

Сам я чувствую себя очень недурно, и теперь усердно работаю над статьею: «О законе сохранения энергии» для январской книжки «Вопросов». Это будет все на тему *о времени, числе и пространстве*.

Вы спрашиваете, можно ли написать в «Русском Вестнике» в защиту Толстого? *Нельзя*, — такой уж редактор. А почему Вам не попробовать в «Русское Обозрение»? Я бы был очень доволен. Сам я собираюсь писать о нем уже несколько лет — да вот никак не соберусь. Впрочем, защита ему не нужна, — никто повредить ему не может, все он опрокинет.

Пока простите меня и дай Бог Вам всего хорошего.

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1890, 16 окт. Спб.

зе», чтобы отогреть их. Несчастные. И помолимся за них. (Н. В.: Все вышли из Гоголя и жили *сейчас после Гоголя*. В Гоголе же — мировой центр или фокус «ледникового периода»). *Примечание 1913 года*.

¹ Рачинский (С. А., Татев) тоже мне говорил, что «Апокалипсис, — конечно, *апокрифическая книга*, ни малейше не могущая быть принимаемою в равном достоинстве с Евангелиями». Между тем Рачинский вполне церковно верил в Христа, христианство, в чудеса и все. Это — очень любопытно. Кроме одного Достоевского, «чувство Апокалипсиса» вообще не было пробуждено в нашем обществе 80-х годов. Тогда именно все «пролетали через другие миры», — и когда мы влетели «*вот в наш мир*» — чувство Апокалипсиса «у всех пробудилось». Мнение Страхова и Рачинского — просто странно «для нас», для Мережковского, Розанова, Евг. П. Иванова, для всего круга «Религиозно-философского общества». Для нас «Апокалипсис» — *свой*, то есть «точно будто стал своим», «душевным». Мне он страшно был близок в пору писания «Легенды об инквизиторе». *Примечание 1913 года*.

² О Страхове (см. 1-я статья этого сборника). *Примечание 1913 года*.

Дорогой Василий Васильевич,

Вы пишете мне такие умные и милые письма, а между тем все спрашиваете, не замечаю ли я у Вас умственного расстройтва? По совести — ни теперь, ни когда видел Вас здесь, я ничего не находил у Вас, кроме очень обыкновенной нервности, притом ничуть не бросающейся в глаза. Вы пишете про Ваше расположение уходить в себя, — конечно, это не хорошо, но опять самое обыкновенное дело. Конечно, владеть своим вниманием¹, быть совер-

¹ Должно быть — жаловался Страхову: это есть и было за всю жизнь, с первых классов еще гимназии, самое отяготительное свойство, *практически разбившее всю жизнь мою* (с коим я мог бы вовсе погибнуть, если б не Суворин, и, до известной степени, — все Суворины, и, пожалуй, вся, в этом отношении удивительная, редакция — в сумме сотрудников — «Нового Времени»: что никогда я не мог сказать себе: «ты должен слушать» — и *слушал бы*. «ты должен то-то говорить» — и *говорил бы*, «ты должен то-то делать» — и *делал бы*. Как ни поразительно, я около сорока лет прожил «случайно в каждый миг», это была 40-летняя цепь «случайностей» и «непредвиденностей»; я «случайно» женился, «случайно» влюблялся, «случайно» попал на историко-филологический факультет, «случайно» попал в консервативное течение литературы, кто-то (Мережковские) — пришли и взяли меня в «Мир Искусства» и в «Новый Путь», где я участвовал *для себя случайно* (то есть в цепи фактов *внутренней жизни* «еще вчера не предвидел») и «накануне не искал»). Обыкновенно скажу: «Смотри! смотри! ты должен смотреть», или (на публичном чтении, «лекция в Соляном городке»): «Слушай! слушай! Это — интересно! говорящий — милый человек!»... Но никогда это не могло продолжаться более 1 1/2—2—3 минут: после чего я ничего не слышал, ничего не видел. Таким образом, я никогда не владел своим вниманием (отчего естественно был «невозможный учитель»), но, напротив, какое-то *таинственное внимание*, со своими автономными законами, либо вовсе не известными, либо мне не открывавшимися, «владело мною». *И ни одно мое намерение в жизни не было исполнено*, а исполнялось, делалось мною, с жаром, с пламенем — *мне вовсе не нужное*, не предполагаемое и почти не хотимое, или вяло хотимое. Нужно заметить, «делая все со страстью», каким-то таинственным образом я все это делал и холодно: и мне бы ничего не стоило «страстно участвуя (положим) в патриотической процессии» сейчас (миг влияния) перейти к участию в «космополитической процессии». Пример объяснит явление. Иду по улице. Кого-то хоронят. «Кого?» — «Пергамента» (член Государственной Думы). — «Посмотрю всех либералов»; и присоединился. Тут — Шингарев, бывший всегда мне очень симпатичным. Тары-бары, студенты за руки образовали цепь, и, увидев это в первый раз, — я подумал: «Хорошо». Так идя и болтая — проводил (безумно далеко) до Смоленского. Когда при входе вдруг подумал: «Да я с ума сошел? За кем я иду? Какое мне дело до Пергамента, и всей идущей толпы, Милюковых, Родичевых, с которыми я ничего общего не имею». Вошли в ворота кладбища: и когда «вот сейчас опускаться в землю» и «речи», я повернулся и пошел равнодушно назад, не зная, для чего собственно прошел пешком весь город. Но так же, как это «за Пергаментом», в котором мне «понравился, собственно, Шингарев»,

шенно свободным от внутреннего беспокойства и самоуглубления — вот нормальное состояние человека. Но до серьезного расстройства еще бесконечно далеко. Впрочем, вот Вам совет: Вы сами должны знать, чем Вы себя расстроили, и вперед избегать этого самого. Главное — отдых, отсутствие всяких напряжений и излишеств во всем, — в сне, бдении, пище, питье и т. д. Будьте только воздержаны и спокойны: здоровье само придет, если не будете злоупотреблять своим телом. Если вспомните, то не раз я упрекал Вас в беспорядочном образе жизни¹. Еще раз прошу Вас — поберегите себя. Будьте терпеливы, и увидите, что через год, два, все пройдет. Какая-то таинственная сила поддерживает наше тело и направляет в нем все к наилучшему содействию душе².

Простите меня. Я очень занят своею статьею об *энергии*, письмо Ваше очень огорчило меня — и я запоздал ответом. Пожалуйста, не забывайте писать ко мне, а я на днях пришлю Вам свою книгу.

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1890, 15 ноября. Спб.

XXXIX

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Одну карточку я уже Вам достал, при самых трудных условиях, причем упрекал Вас и даже подсмеивался. Теперь Вы опять просите карточку — другого писателя, — нет, уж извините, я хлопотать не стану. А книга К. Н. Леонтьева³ замечательна, и я рад, что Вы ее прочитали и что она Вам понравилась. Это — эстетический славянофил, который увлекается и религиною, и народностью, и гордостью, и смирением, и всем на свете. Он очень чуток, и пишет изящно; беда у него одна: много вкуса и мало денег и здоровья. Впрочем, не стану осуждать.

проходило и другое все, — любовь, дружба, религия, две женитьбы, участие в прессе, в лагерях, в партиях. «Симпатичное лицо» могло увлечь меня в революцию, могло увлечь и в Церковь, — и я, в сущности, шел всегда к людям и *за людьми*, а не к «системе и не за системою убеждений». Вся, напр., моя (многолетняя и язвительная) полемика против Венгерова и Кареева вытекла из того, что оба — толстые, а толстых писателей я терпеть не могу. Но «труды» их были мне несколько не враждебны (или «все равно»). *Примечание 1913 года.*

¹ Не думаю. В сущности — самый регулярный человек, лениво-регулярный. «Чтобы выйти из нормы» — надо придумывать и *постараться*: вот «постараться» я никогда не мог. *Примечание 1913 года.*

² Какие прекрасные слова о теле, какой благородный взгляд на тело. *Примечание 1913 года.*

³ «Восток, Россия и славянство». *Примечание 1913 года.*

Книгу же инока Парфения я Вам, пожалуй, пришлю. Она называется «Сказание о странствовании и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле — инока Парфения»¹. Вышла в Москве в 1855 году, и было второе издание. У меня была ссылка на эту книгу в «Поездке на Афон».

Статью свою «О законе сохранения энергии» я кончил, отослал и уже успел получить из Москвы корректуру, продержав и отослав. Она выйдет 5—6 января. Пожалуйста, прочитайте. Ваша статья о Достоевском начнется с января. Берг говорил, что нужно бы кой-что сократить, по его мнению, но я посоветовал ему оставить так, как есть. Сокращать — мудреное дело. Итак, Вы перестали писать — не кручиньтесь. Времени перед Вами много, только берегите себя. Вышла недавно «История новой философии» — *Ибервега*; переводчик *Колубовский* прибавил статью об русской философии, и там есть параграф и о Вас — перечислены все Ваши сочинения, сделана характеристика строках в сорока, чуточку больше, чем обо мне. Довольны ли Вы, что попали в историю? К несчастью, соседей множество, и со многими из них ничуть не лестно стоять рядом.

А Соловьев написал еще статью против меня в декабр. кн. «В. Европы». Если Вы прочтете и напишете Ваше мнение — очень одолжите. Он разозлен донельзя и ругается. Не стану отвечать, по крайней мере долго промолчу.

Здоровьем могу похвалиться, если не считать маленьких простуд. Бронхита не было ни разу — это чудо. Если же что мне тяжело — так одиночество, и то лишь в дурные минуты.

От души желаю Вам здоровья, и всякого добра. Если писать письма Вам не вредно, то сделайте дружбу — пишите. А я постараюсь послезавтра послать Вам инока Парфения.

Простите меня. Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1890, 12 дек. Спб.

Леонтьева я давно знаю, но не описываю Вам его, чтобы не согрешить; он очень не дурен был собою и великий волокита; несчастным он быть не способен²; живет в Оптиной Пустыне и получает пенсию по месту цензора.

XL

Вы спрашиваете, дорогой Василий Васильевич, отчего я не пишу к Вам. Да некогда мне. О, простите меня и не думайте, что я не считаю себя виноватым. Но переписка у меня накопилась большая; писать легко и быстро я не

¹ Удивительная по изяществу и духовной красоте книга. Из нее страницы — просятся в хрестоматию, между прочим — по русской бы словесности. *Примечание 1913 года.*

² В ответе, очевидно, на мое (в письме к Страхову) подозрение в эту сторону (впечатление от стиля и от образа мыслей Л-ва). *Примечание 1913 года.*

умею; продолжаю еще читать, т. е. учиться, и замышляю еще писать, т. е. обдумываю. Все это вместе так меня поглощает, что, несмотря на мое полное невежество в отношении к знакомым (я не плачу им визитов и ко многим вовсе не показываюсь), времени у меня нет¹. Между тем Ваши письма так мне интересны и отрадны, что совесть меня мучит за мое молчание. А отвечать на все очень трудно. Да и пишу я очень мешкотно. Вот Вы так быстро пишете, что, напр., имя «кончающего в Спб. университете» я и не мог разобрать. *Шперк*, что ли. Но я вообще очень радуюсь Вашему успеху. Статью Вашу заметили, и говорят о ней и спорят. Ю. Николаев² написал недурно. Конечно, Вы гораздо обильнее его мыслями, но, правда, он опытнее и больше знает. Я его тоже постоянно читаю, и только радуюсь, что у нас теперь явились такие критики, каких давно не слышать было³.

¹ Вообще человек с *сосредоточенною деятельностью*, или с каким-нибудь «удавшимся» призванием; идущим на *общую пользу* и должен быть эгоистом. Это эгоизм не к «я», а к «нужно всем». Поэтому, кроме интимного и прекрасного, *чем питается душа*, чем «сам живу», все должно и вправе быть оставлено, — знакомства, визиты, частная корреспонденция и т. п., берущие у нас чуть не половину жизни, времени, энергии. «Извините, в картишки не играю», ни — «для хорошей даже компании». Очень просто. *Примечание 1913 года.*

² Псевдоним писавшего в «Москов. Ведом.», в «Русск. Вестн.» и «Русск. Обозрении» *Юрия Николаевича Говорухи-Отрока*. Едва ли это не был наш лучший критик за 80-е и 90-е годы, обстоятельные, умные и хорошо написанные статьи которого погребены в забытых листах газет и никогда не были собраны и изданы. Вот бы дело «Пути». Посмотрите у радикалов: *opera omnia* даже Ангела Богдановича из «Соврем. Мира» собраны, у которого на том печати едва ли есть 2—3 не то чтобы хороших, но хоть каких-нибудь, мысли. У консерваторов — все лежит, и никто ни о ком не заботится. «Эти бояре — не поворогливы». *Прим. 1913 года.*

³ У Ю. Николаева был прекрасный *тон письма*. Он был дворянин, — кажется, очень несчастный в личной жизни. С изданиями, где он участвовал («Московск. Вед.» и «Рус. Обозр.»), он не очень сливался, — как, в сущности, вовсе не слиты были с ними и Страхов, и Розанов. «Где же печататься» и «все равно». Говоруха-Отрок был сначала «революционер-народник», где-то в Харькове, кажется, но — из дворян и еще без «разночинной» черни в себе. Как-то (помнится, рассказывали) он сидел ипил один (или в компании) пиво на веранде какого-то загородного сада, что ли: к нему вдруг подходит «лохматый», с *чернью* господин и говорит ему дерзкие слова, в том смысле, что «не проданся ли он правительству», за какую-то статейку в местном органе печати, где — ну, например — он упомянул о Боге, или что «у Добролюбова не все прекрасно». Вспыливший Говоруха (дворянин) чуть ли не бросил стаканом в наглеца. Сейчас «бойкот» против него, в местных «с.-д. кружках». Травля, клевета, обычная в *черни*. Он порвал «с нашими», — переехал в Москву, и в силу «негде писать» стал сотрудником в «Московских Ведомостях», выговорив себе (мне говорил) абсолютную свободу от редакторских советов и непоправимость редакцией своих статей. Нужно заметить, впрочем, что консервативные журналы и газеты никогда себе не позволяли вмешиваться в «личность» автора-сотрудника, никогда от них не

В полемике с Гротом он был очень хорош; одно только место в конце, где он назвал Грота чиновником, — не совсем литературно. Впрочем, Грот Бог знает что понаписал.

Что я думаю о нынешнем царствовании? Конечно, многому радуюсь, а Вышнеградскому в особенности, — мы с ним приятели, были товарищами в Институте (Педагогическом), так что я отлично знаю не только его способности, но и то, что сердце у него чистое и высокое. Но ведь одного человека мало. Государь удивительный, а людей все нет. Да, потом, я так хорошо знаком с нашим фанатическим, узким, щепетильным ретроградством. Впрочем, — возьмите предисловие к 2-му изданию 2-го тома «Борьбы»¹, — там есть мое мнение о современных делах. Прогресс у нас есть — усердно наблюдаю малейшие его черты; но хотелось бы крупных явлений, в роде Вышнеградского, — а их не видно.

Статья моя *об энергии*, видно, не очень заняла Вас; но здесь есть на это Кутузов², очень чуткий как умственным вещам; он для меня, как термометр, и я вижу по нему, что «Из истории нигилизма»³ не может возбудить большого одобрения, напротив, закон *энергии* — привел его в восхищение, какого я почти ни от кого и не ждал. Грот в своем письме не написал даже простой вежливой похвалы.

Ну, каждый думает о своем. Вашей статьи я еще не читал в печати, нужно будет перечсть. Кутузов очень заинтересовался и нетерпеливо ждет продолжения.

П. А. Кусков сегодня читал мне свои «прозаические отрывки» под заглавием «Наше место в вечности». Есть превосходные и важные мысли.

Пока, простите. Здоровье мое вполне хорошо. Прошу Вас, не забывайте меня своими письмами и не взыскивайте за мое молчание.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1891, 30 янв. Спб.

требовали «во всем с собою согласия», беря лишь *общее сочувственное направление*, не более. Вообще консервативная печать (Катков — исклечение) была очень просвещенная и очень свободная. Ни малейшему *унижению*, никакому *прижиданию* душа ни одного сотрудника там не подвергалась, и это было до того «общим правилом», что *обратного* — «нельзя себе представить». *Примечание 1913 года.*

¹ ...с Западом в нашей литературе». *Примечание 1913 года.*

² Граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов, благородный поэт, недавно скончавшийся. Поразительна его судьба *полной неизвестности* в читающем обществе, у «читающей России». Его задавила молчалием радикальная вобла, которой принадлежит вся почти пресса. *Примечание 1913 года.*

³ «Из истории литературного нигилизма» Страхова — текущие полемки «тех дней», с Чернышевским, Добролюбовым и вообще с мнениями «Современника». Книга мелочна по фактам, к 1891 году утратившим живость, интерес и отчасти понятность и самую памятность. Но как «литературная хроника» — она ценна. *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Так я вовсе не хочу, чтобы Вы мне не писали. Мне очень хочется знать, как Вы поживаете, что думаете и что делаете. Я только просил не сердиться, если не на каждое письмо отвечу. Да мне писать о себе нечего: как Вы меня видели в доме Стерлигова¹, так я там и теперь сижу.

Сообщу Вам новость, которая теперь всего меня наполняет, хоть и знаю, что она займет Вас гораздо меньше, чем меня. Не раз я удивлялся тому, что и Вы, и Говоруха-Отрок, и другие пишущие не питают того удивления и расположения к Л. Н. Толстому, как чувствую я². Что за причина? Казалось бы явление до того блистательное и глубокое, что люди умные и чуткие должны очень заинтересоваться. Новость вот в чем: жена Л. Н. Толстого была 13 апреля принята Государем и Государыней. Разговор был долгий — почти час, и все ее просьбы были уважены. «Крейцера соната» явится в полном собрании, и с этих пор сам Государь будет цензором Толстого — того, что он вперед задумает напечатать. Государь был очень милостив, а графиня очень оживлена, и если бы Вы имели о ней понятие, то могли бы представить, как сильно ее чистосердечие и прямота должны были подействовать на Государя, не терпящего фальши. Графиня просила избавить мужа от утеснения цензуры, которое мешает ему предаваться писанию художественных произведений. Государь заметил, что Толстой пишет против Церкви. Графиня отвечала, что ничего подобного он не хотел печатать и что вообще он не занимается распространением этих своих мыслей, например в простом народе, и даже в своей семье, где некоторые члены (сама графиня, Андрюша и пр.) очень преданы Церкви. Графиня жаловалась, что про ее мужа Бог знает что рассказывают и печатают, что у него утащили некоторые рукописи и без спросу литографировали, перевели и пр. Государь спрашивал: «Каков он в семье?» и графиня описывала весь свой быт, положение детей, характер мужа и пр. Она выразила все то великое уважение, которое к нему питает вся семья³.

¹ Близ Торгового моста, по Крюкову каналу, в 5-м этаже. *Примечание 1913 года.*

² Тут очень важно *личное впечатление*, которое могло быть чарующе и которого нам всем недоставало, тогда как Страхов ежегодно летом гащивал у Толстого. Однако *история* нас оправдала и не оправдала Страхова. *Примечание 1913 года.*

³ Вообще во всем этом деле в высшей степени «не удалось» Толстому и (против обыкновения) «удалось» правительству. С невероятной грубостью Толстой не оценил всей деликатности отношения к нему Государя, — и вместо того, чтобы хоть только деликатно продолжать свое отрицание Церкви и государства, начал это отрицание переводить в шумную гласную ссору, чего-то добываясь именно «на виду» и для «народа». Работа его не была тихая и внутренняя, не была работа «души», а именно — публициста. Государь соб-

Вот Вам новость, которую посылаю вместе с поздравлением с праздником.

Дай Вам Бог всего хорошего.

Ваш искренно преданный Н. Страхов.

1891, 19 апр. Спб.

XLII

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Вы спрашиваете, можете ли жить литературным трудом? По вашему таланту в этом деле, конечно, можете; но по неумению справляться с своим талантом и с собою, — едва ли. Вам нужны перила, чтобы не упасть и знать надежную дорогу, — говорю в денежном отношении, а не в умственном. Впрочем, я Вас так мало знаю в этом отношении, что право не могу судить¹.

ственно очень много сделал для него, сжав большим внутренним усилием долг и личную жажду защищать Церковь, им определенно и горячо любимую, и «защитником» коей его видел весь народ, и призывал к этому долг Государя. Здесь все было величественно, исторично и прекрасно — со стороны правительства: как и всегда, когда выдвигается лично Государь, со своим широким зрением и мировой благостью. Но Толстой воистину повел себя как «разночинец», начав трепать «курс богословия» Макария, который никто, кроме самого Толстого, не считал сколько-нибудь серьезною книгою (см. Гилярова-Платонова о Макарии-историке и богослове). Критика Толстого была *смешна* в глазах славянофилов, и ему следовало бороться не с Макарием, а с Гиляровым или с Хомяковым. *Примечание 1913 года.*

¹ Все эти вопросы мои были *больные*, и ответы Страхова были *больные* же, и как те, так и другие вытекали из того, что оба мы стояли ногами на *большом месте* России, — больном, захирелом и болотном, с гнилыми ядовитыми испарениями в себе... Можно себе представить радикала-социалиста в провинции, с *моим призванием к литературе*, которое я чувствовал в кончиках пальцев, с моими темами, и с огромным уже философским трудом за спиною, — и другого социалиста в столице, знающего пять иностранных языков и 35 лет пишущего по предметам критики, философии и естествознания, — которые бы переговаривались — «можно ли *жить* литературным трудом?» Конечно, ни одного такого *тоскливого разговора* не было между Шелгуновыми, Скабичевскими, между Благодетельными, Некрасовыми и Протопоповыми, и между Михайловскими, Пыпинными и Кривенко. «Петербург создан для нас и мы созданы для Петербурга»; «приезжайте, — поле готово, вспахано, засевайте его словом своим, мыслью своею, и пожинайте урожай сторицею, урожаем славы, положения, денег, исторической памяти». Вот все *ихние* разговоры, не только талантов, но и третьестепенностей. *Серия* журналов и газет ищут и жадно рвут каждую радикальную статью, — и, конечно, ни один журнал не удержит гонорара, ибо это значило бы лишиться талантливого сотрудника, которому есть куда пойти и кроме этого журнала. Этот-то успех, заранее обеспеченный, создавал тон *полной вере в себя* у «стучащегося в дверь литературы», и смелое, открытое, *зовущее* открывание ему двери «оттуда». Так нача-

Например, в последнем письме Вы обещались не ждать моего письма, и писать. Вместо того Вы принялись ждать и бранить меня, несмотря на мои усердные извинения. Вам хотелось моего письма, — но лучшее для этого средство — написать ко мне.

лись *все* литературные карьеры первых, вторых и третьих талантов, работавших в западническом и по преимуществу в радикальных и социалистических журналах, начиная «Отечественными Записками» и кончая «Русскою Мыслью» Лаврова-Гольцева. Там — свет, там — солнце, там — успех: ибо там *разрушалась историческая Россия*, эта проклинаемая Россия, эта ненавидимая Россия, с ее «православием и народностью». Штурмующие — в успехе: значит — штурмуемые в отчаянии. Тоска наших переговоров, и страх, и тревога моя, наконец «неуменье распоряжаться деньгами и талантом» вытекали из того, что я входил в голодную крепость, стены которой разрушены, гарнизон пал, и в которой вообще можно было только умереть с голоду, быть убитым или заболеть и умереть от горя. А у меня были жена и двое маленьких на руках. Что такое два «консервативных журнала» — «Русский Вестник» и «Русское Обозрение», оба издававшиеся отчасти при помощи частных (староверческой — «Русское Обозрение») субсидий, оба недолголюбивавшие друг друга (конкуренция собак в голодной степи), которые могли как платить гонорар, так и не платить, ибо куда же к черту сотрудник пошел бы из неплатежного журнала, раз у него есть напор мыслей и он «пишет» (неодолимо). «Пишешь — и пиши», — и «печатай у нас»: все равно никому не нужно, журнал существует не твоими статьями, а субсидиями от купца или от сановников, и вообще все это дело существует не потому, чтобы кому-нибудь было нужно, а что «есть Берг и может быть редактором» и «есть Александров и тоже может быть редактором», и «одного знают Морозов и Т. И. Филиппов», а другого «знают Победоносцев и Витте». А *ты* тут при чем?! Страхов или Розанов?! Да ровно «ни при чем» — «а так, пишете статейки». «Вы и пишете, а мы будем печатать». Эта *никому ненужность* всей вообще консервативной печати, конечно, не побуждала бы никого и идти сюда, если б не то обстоятельство, что в полуразрушенной крепости, в кладовых под спудом, не хранилось таинственное «завещание Руси», в своем роде «магическое золото Рейна» вагнеровской трилогии, — да и что-то гораздо лучшее, чем и это «Золото», и всякое «Завещание». Хранилось — *Все...* О, не попы наши деревянные, которые сами не знают, для чего они существуют, и преспокойно все состоят подписчиками «Будильника», «Стрекозы» и «Русской Мысли», — и не премудрости Синодального управления, — наконец не «соперничество Витте и Победоносцева», свершающее «последний фазис нашей истории», а —

«Христос»,
«Христианство»,
«История»,
«Человечность».

Зарыто в кладовых все *благородство* человечества, все накопленное за много лет усилий... А «на штурм» идут разбойники, или безумцы, которым «разорвать бы все», и — тогда «все будут счастливы». Вот положение. И один, и другой, — я, Страхов, Говоруха-Отрок, — пробирались и пробирались в крепость, чтобы немножко еще поддержать ее... *Для чего?* Там — *лучшее*. Устал говорить. Возвращаюсь к тому, что все указания Страхова были *пустые*, и не о *лице моем* он должен был говорить, а о том *безнадежном*

Ах, как это скучно! Вот и теперь, — я не могу понять Вашего положения и состояния, Вы почти ничего об нем не пишете.

Бергу об отгисках напишите сами. Эти поручения решительно ни к чему не ведут. За что он может на Вас сердиться? Кроме похвал, он ничего не слышал об Вашей статье.

Бога ради, не волнуйтесь и не отдавайтесь мыслям, для которых нет никакого основания.

Например: уже с июля 1890 года редактором «Журнала Министерства Народного Просвещения» состоит *Василий Григорьевич Васильевский*, знаменитый византист, а Вы пишете, что *Майков* должен на Вас сердиться. Разумеется, ни тот, ни другой и не думают об Вашем Аристотеле. Теснота в Журнале великая.

Ваше восхищение от К. Н. Леонтьева меня очень трогает, как знак Вашей горячей преданности всему умному и изящному. Но не знаю содержания Вашего восторга; думаю, что Вы преувеличиваете, а главное думаю, что самому Леонтьеву это вредно. Вы пишете: «Сколько изящества в его «Национальной политике, как орудие всемирной революции!» Да, он хорошо пишет, но мысль несообразна и расплывающаяся. Все народы теперь стремятся к политической самостоятельности, а когда ее достигнут, принимаются усиленно подражать Франции и Англии. Факт верный, — что культурная самостоятельность (притом *как будто на время*) убывает при достижении политической самостоятельности. Но ведь тут два течения независимые, одно идущее поверх другого, а вовсе одно не составляет (каким-то тайным образом, чуть ли не при пособии сатаны) орудие другого¹. По пословице: «Сум

положении вообще литературной местности, на которой стоял сам он и куда я готовился перешагнуть. Еще замечу, что «нашими бы читателями» была, конечно, вся Русь, т. е. не какие-то жалкие 10 000—20 000 тыс. читателей или подписчиков хотя бы «Вестника Европы» и «Русской Мысли», а миллионы читателей, если бы... они, увы, не были *безграмотны!* А «школа» такова, а Министерство просвещения таково, что, поучившись в его училищах года два-три, года четыре-пять, каждый решительно выходил «нигилистом» и также шел на штурм «старой развалившейся крепости»... *Примеч. 1913 г.*

¹ Никакого «Сатаны» нет, а просто «сапоги лучше шьют французы», и освобожденный болгарин «*учится у француза шить сапоги*», «у немца он учится приемам педагогики» и у англичан — «искусству делать сукна». Не у «братьев же русских учиться», когда они вообще ничего не умеют и предпочитают ходить босиком, чем *прилежно поучиться шить сапоги*. «Прогресс» и «цивилизация» есть просто *сумма высших технических умений*, и ими обладают «французы, немцы и англичане». Другой вопрос, как «могла цивилизация свестись к *искусству шить сапоги*», непременно «с французским каблучком у дамских ботинок»? Это — действительно вопрос. Нет — *тем*, нет — *задач*; мир *покорен* (в сущности), отношения международные в самой Европе урегулированы осторожной дипломатией, «Бога нет», «церкви не нужно», а если кому «нужно — то пойдти в *готовую*», в православную, католическую или в лютеранскую; свобода приблизительно всем обеспечена парламентаризмом... Что же, черт возьми, делать, как не шить сапоги «с

hoc non est propter hoc»¹. А впрочем, все его рассуждения интересны — ведутся с воодушевлением и живым воображением.

Дай Вам Бог здоровья. Сам я могу похвалиться, что уже давно не хворал. Работы, которые у меня на уме, вот какие:

«Воспоминания о ходе философской литературы».

«О геометрических понятиях».

«Логика естественной системы».

Кажется, есть и немножко бодрости. От души и Вам ее желаю. Не забывайте меня, не браните, и верьте искреннему расположению

Вашего преданного *Н. Страхова*.

1891, 5 мая. Спб.

Что Вы читаете? Читали ли «Сочинения» *Шелгунова* и «Историю новейшей русской литературы» — Скабичевского?

XLIII

Бедный, бедный Василий Васильевич! Вот какую мерзость Вам приходится перенести. Хуже всего тут то, что невозможно не волноваться, что нужно напрягать всю твердость, чтобы выдерживать нелепые представления о потере чести и т. д. Пьяный дурак² хорошо знал, что он *хочет* сделать, и, в

французским каблуком», до упаду натанцоваться в них, уснуть, проснуться, работать шесть дней и опять танцовать, а кому надо — помолиться. «Шаблоны готовы для всего» и они «готовы» просто оттого, что долго жили, долго трудились, долго действительно совершенствовались. Да: писать стихи. Не всем пишется — а кому пишется, тот и пишет. Опять «ничего» впереди. Наиболее «обещающая картина» все-таки — социализм, и в него идут огромными толпами, «всем уловом сельдя на Ньюфаундлендской банке», — как «в наиболее обещающий кинематограф» с наиболее потрясающим зрелищем. Все — это «по-французски», и — без всякого «сатаны». Не «сатана» же сочинил таблицу умножения. *Прим. 1913 г.*

¹ «После этого не значит, что из-за этого» (*лат.*).

² Ничуть не «пьяный»... Случилось со мной то же, что с Леоновым. Физический очерк был следующий. Учились в шестом и втором классах два гимназиста, Михеевы, — оба тихие и милые мальчики; по всем предметам шли хорошо. Никогда никаких неудовольствий с ними не было. Внутренней стороны мальчиков, впрочем, я не знаю, говорю о наружной, и, может быть, она не отвечала внутренней, жалующейся или сплетнической. Отец их был в полицейском управлении письмоводителем, и когда там случалось бывать (паспорт или что) — бывал до тошноты угодлив, льстив, как, впрочем, почти все «родители», воображающие, что учитель «готов съесть гимназиста», если ему (учителю) не польстить, а если польстить — то «поставит четыре». Против этой дикой психологии приходилось бороться все годы учительства, — точнее, приходилось ее молча терпеть. У меня оба Михеевы учились на «четыре». Но однажды, очень может быть неосторожно (допускаю — и несправедливо «по рассеянности») я

сущности, не его удар, а это злое намерение, этот расчет на людские пред-
рассудки — вот что гнусно, вот за что стоило бы его больно прибить. Но Вы
поступили так, как и я, вероятно, поступил бы при подобном случае.

поставил «два по географии» младшему мальчику. Поставил и забыл. Через
день или два во время обеда мне подают или записку с просьбой «поговорить»,
или устную о том же просьбу от «родителя ученика», и, как всегда, — я велел
прислуге сказать, что «дома». Как теперь помню, встал из-за первого кушанья,
с неудовольствием, что не дали доесть второго и «благочестиво уснуть». Вхо-
дит Михеев, усатый, средних лет, худощавый и высококий, и сейчас же начинает
кланяться, — противными чуть не поясными поклонами. Он пришел извинять-
ся, что сын его «Митя» или как «опять не выучил урока», но что «вперед этого
не будет», а «однако не повлияет ли это на годовую отметку и не останется ли он
на второй год». Я сказал, что «не останется» и «не повлияет», и так как никакой
темы разговора не было, а котлеты остывали, то опустил голову и не перебивал
его речь, пока он выговорит всю свою экзетику. Было что-то тоскливое, тянущее
и глупое. Но и раньше его разговор в полиции не отличались содержатель-
ностью. Я решил «претерпеть». Сладкая речь его продолжалась, потом прерва-
лась, я упорно не раскрывал рта, ожидая вожделенного «извините и прощайте».
Стоял, как я сказал, опустивши глаза. Как вдруг по левой щеке почувствовал
такой силы удар кулаком, что свалился на диванчик возле. Поднявшись, я видел
его уже убегающим (в прихожую, через комнаты). Я вышел за ним: он торопли-
во надевал пальто. Поразительно, что мной овладевала жалость к нему: «Бог
вам простит! Бог вам простит!» — сказал я ему в бок (одевается) и в спину
(уходит). Затем чувство: «черт знает что случилось. Чего я не понимаю. И с чем
не знаю, как быть». Почти в недоумении я и написал об этом Страхову, — мо-
жет быть (не помню) прося совета. Но никогда у меня не было мысли ни жало-
ваться, ни судиться, — по всегдашней моей пассивности. Кстати, сам Михеев
думал, очевидно, о суде, и через прислугу подал мне на завтра утром извини-
тельное письмо, также все «кланяющееся и извиняющееся» (как устная его речь).
Я, прочтя, положил на стол, — но, вернувшись (с уроков), не нашел его. Оче-
видно, прислуге он что-то «дал» и, войдя, взял письмо обратно, как «обличаю-
щий о факте документ». После слов моих «Бог вам простит» это выкрадывание
письма мне показалось особенно противным. Из «потом» интересно следую-
щее. Приблизительно полгода я вообще ничего от удара не чувствовал, — ни
унижения, ничего. Как не было и как не случилось. Но через полгода, а правдо-
подобнее через год или полтора года, я стал чувствовать непрерывную, неумол-
кающую ни днем, ни ночью боль и тоску именно от *униженности* пережить
удар, «получить удар, и именно «по лицу». Я думаю, есть нечто метафизичес-
кое и особенное в «строении лица», вот «лицевых костей», в «благородной
коже» вот именно лица (и только *его*), почему и *возникло* самое «давание по
лицу» как способ тягчайшего оскорбления... Не забудем, что *здесь*, на неболь-
шом пространстве, помещены все органы благородных, «человеческих» чувств,
ухо и дар музыки, глаз и талант живописи, обоняние и вкус... «Устами» мы
говорим. Вдруг этим «говорящим устам» наносится удар — как падает на них
камень, скала, падает и поражает их натура, «дикое» и «сильное». И «уста»
умолкают, «божественное лицо» в человеке разбито. «У статуи отнята голо-
ва», и что такое «статуя» тогда? Ничего. Торс, ноги. «Не нужно». Это «не нуж-
но» и «нет меня» и происходит после удара. Происходит тягостная внутрен-
няя борьба между усилием «сохранить себя» — без «головы»-то — и между

А что теперь делать? Да идти обыкновенным, открытым путем. Конечно, объяснить все директору, даже если бы никто не знал об Вашей обиде. А потом, искать наказания обидчика. Лучше всего, если бы Вы могли обратиться к административной власти, а не к суду. Вот где случай, когда общие юридические формы не годятся и где следует поступить патриархально, по существу дела. Я не хочу сказать, что Вам нужно отомстить за себя; Вы хорошо сделаете, если простите обидчика, но прощение имеет полный смысл только тогда, когда есть возможность и не простить¹.

О, Боже мой, как трудно жить на свете! Не ропщите, что Вам выпали на долю беды, которые других минуют, — у других есть, может быть, более тяжкие². От всей души мне жаль Вас. Да что это за пога-

почти невозможностью сохранить («где голова?»). Словом, я пережил совершенно определенно потребность смерти, приближение к самоубийству, — умом абсолютно чувствуя, что «ничего собственно не случилось», что «встретился со злым человеком», который, вероятно, вымучивал у детей «непреренно *четыре и пять*», а в то же время внутренне их жалел, и эту жалость к им же самим замученным детям перенес, как гнев, на третьего. Основываюсь на словах заплакавшего крошечного гимназистика, Бори Г.: «Не ставьте мне *три*, отец меня порет за *тройки*». Вообще, пусть навсегда читатели поймут, что есть что-то страшное и тайное в лице человека, которое ни *снимать* с индивидуума, ни *разбивать* его, *портить*, — ни вообще, наконец, *прикасаться* к нему иначе как поцелуем и ласкою не должен никакой смертный. Sic et nota bene. *Примеч. 1913 г.*

¹ В сущности, я поступил хотя и инстинктивно, но самым мудрым образом. Ничего. «Что делать, когда статуя разбита?» Ничего. Выбросить щебень (самоубийство, — *инстинктивно правильное*). Но я надеялся трудиться, жить, писать, бороться: это *билось во мне* как главная жила, как пульс сердца, лет, я думаю, с 11-ти. Помню, что *до поступления в гимназию*, открыв какую-то у брата книжку, я прочел, что «в Индии были две великие поэмы, «Магабарата» и «Рамайана», и т. д. То я долго стоял («трясаясь») перед открытой книжкой, и если не заплакал, то были слезы в душе (я всегда был патриотом): «Ничего в России нет, — нет вот такой «Рамайаны» и «Магабараты»... *Ничего нет...* Бездарный, слабый народ. *Не великий духовно и умственно*». И помню, и в эту секунду, и вокруг этой секунды, раньше, потом, я поклялся быть именно «писателем», «поэтом и мудрецом», как «Гомер или Платон», — и непременно *для России*, «для бездарного этого народа, всеми забытого и справедливо презираемого», написать «великие, вечные вещи». Это было все время гимназии и университета, и я потому собственно и не учился (в них), что были — «глупости», «арифметика и Закон Божий», только отвлекавшие меня от «великих вещей». Этот вот «пульс» и сохранил мне жизнь, — которая вообще часто произошла мимо самоубийства. *Примечание 1913 г.*

² Конечно, «более тяжкие»... Все эти, в сущности, *счеты самолюбия*, «меня оскорбили», «меня ударили», — глупы и пусты, если их сравнить с такими вещами: «не любит жена», «нет *средств* жить», «болезнь». Конечно, чтобы устранить одно из таких *настоящих зол*, — каждый лег бы под бичи. И в 57 лет «охотно лег бы». Тот случай в Ельце мне представляется теперь просто глупостью. «Кто-то расколол щипцами орех за столом». Не больше. *Примечание 1913 года.*

ный город¹ Ваш Елец? Что за нравы, что за люди! В Министерстве, как мне случилось слышать, Елецкая гимназия почему-то на очень дурном счету².

Ну, будьте же мужественны. Или — учитесь мужеству, твердой уверенности в себе, если не тверда у Вас вера в Бога. У Сенеки есть такое рассуждение:

«А что станет делать мудрец, когда ему надают пощечин? То, что сделал Катон, когда получил оплеху: не вспылал, не стал мстить за обиду: он даже прощал ее, а сказал, что обиды не было» («De constantia» [«О выдержке»] (лат.) С. XIV³).

Но я чувствую, что, что бы я ни писал, все может показаться Вам холодным и посторонним рассуждением, обидным в минуту глубокого огорчения. Лучше повторю, что душевно сострадаю Вам, что жалею, что не могу быть при Вас и всячески выразить Вам свое сердечное участие, ободрить, утешить Вас в Вашей обиде, хоть и мнимой, но очень тяжкой. Дай Вам Бог сил. Ему нужно быть преданным до конца.

Ваш Н. Страхов.

Р. S. Конечно, и без моего совета Вы не станете делать лишнего шума, будете избегать внимания зевак и глупцов. Не ясно Вы пишете: никто не был свидетелем. Обидчик может отречься?

¹ Очень милый, в общем, — с прелестными единичными людьми и благородными нравами. Был там Рыльцевич; но ведь был — и Леонов. Этого никогда не надо забывать. Где Илион — там и Тирсит, но есть и Приам; где Иерусалим — там найдется и Иуда, но есть и Божия Матерь. Город — никогда не плох. Город — святыня, потому что он «множество». *Примечание 1913 года.*

² Был очень хороший директор, покойный Николай Александрович Закс: строгий, добрый, заботливый об учениках, «гроза» снаружи и «мед» внутри. Он никого не оскорбил никогда, все сберег, что мог, — был учен и был превосходный преподаватель на уроках (древние языки в старших классах). Вечная ему память. *Примечание 1913 года.*

³ Ну, это довольно не мудро, и вообще «древние», по душевной еще неразвитости, не пример нам. Они ходили без штанов, в рубашечках и латах, вечно дрались, вечно толкались на форумах, в полях, в лесах, и им «природная» колотушка, даже если приходилась по лицу, ничего не значила. Кстати: в древности ведь вовсе не было этого гадкого и жестокого, этого намеренного и с сознанием «оскорбить» и «лишить чести», — нанесения удара по лицу. Это — одна из мерзостей новой цивилизации, как алкоголь и сифилис, как «дамская шляпа с пером и с булавкой» и «мундир такого-то министерства». Все — в связи. Нервы взвинтились, души разрыхлились и ослабели, — и все это поливается «кислотою» пощечин. «Сложная цивилизация». *Примечание 1913 года.*

Ах, проклятая злоба. Что меня возмущает, так это коварство бешеной собаки¹.

XLIV

Бедный мой Василий Васильевич, Вполне (кажется мне) понимаю Ваше положение и очень об Вас жалею. Употреблю все старания, чтобы помочь Вам, и Майков согласен хлопотать вместе со мною. Сегодня я просил за Вас Аничкова², но тут открылось, что в Министерстве нет списков вакансий учителей, а бывают известны только вакансии директоров. Следовательно, все зависит от попечителей³, и нужно к ним обращаться. Киевский скоро будет здесь и можно будет налечь на него. Вообще, нужно будет разыскать всякие пути. Хотя мы с Майковым и стоим тут близ центра, но силы у нас нет никакой, кроме кой-какого личного влияния. Пишу Вам наскоро, чтобы только уверить Вас в своем живейшем учас-

¹ *Все письмо*, конечно, холодное, как философа и ученого, «поднимающегося на цыпки (пальцы ног), чтобы пожалеть». Философ не носит в душе образа человека *с любованием*: и может произнести суждения о «разбитой статуе», а не воссоздать ее. Воссоздаст — жена, возлюбленная. Безмолвно она проведет рукой по щеке: и статуя ожила. Оживают от *прикосновения*. И «прикоснуться» сумеет одна женщина. Нет, права моя вечная мысль — «женщиною спасется *все*». Не женщиною мужеобразною, похожею «на нас», и которая сейчас делает шум в истории, а женщиною «в себе», нам противоположною: которая с чувством безграничного умиления «проводит рукой по лицу» всему падшему и оскорбленному. В конце концов прав древнейший «матриархат», правление городами и странами «матерей отечества своего»: они — *выносили*, они — *родили*, пусть они и потом *устраивают* и *охраняют*. Мужчина же пусть работает, рубит срубы (домов), проводит дороги, несет физический труд, а не «мудрый», предоставив «мудрость» старухам и пожилым, ну или просто зрелым молитвенницам, супругам, матерям, «софиям» («София» — Премудрость Божия, изображается в женственном образе, и *нельзя ее представить в мужском образе*). Мужчина — деятель; а «план всего» принадлежит безотчетным недрам беременного живота. В конце концов и *здесь* все принадлежит ему и его *мистике*. *Примечание 1913 года.*

² Директор департамента Министерства народного просвещения. *Примечание 1913 года.*

³ Т. е. от попечителей учебных округов. «Пошла писать губерния»... Мало кто знает, до чего наша министерская «машина» неповоротлива, и чтобы сделать *самомалейшее дело* — на это часто «все министерство *скоро* не способно». Этим (отчасти) пользуются социалисты и вообще «борющиеся», штурмующие, с принципом *личной у каждого деятельности*, с принципом *одиночки-воина*, который *сам* все предпринимает, задумывает и исполняет; «без канцелярии». Как «канцелярия *при мне*», так «я ничего не могу сделать»: суть бюрократии. *Примечание 1913 года.*

тии. Не падайте духом — летом Вас непременно переведем¹. Не в беде главное, а хуже беды наши мысли. И меня-то уже никак не опасайтесь. Скоро напишу Вам больше.

Ваш Н. Страхов.

1891, 13 мая. Спб.

XLV

Дорогой Василий Васильевич,

План мой вот каков: по моей просьбе мне сейчас дадут знать о приезде киевского попечителя и я приму все меры, чтобы он устроил Вам место у себя. Будете мне писать, то напишите, что Вы знаете о харьковском и казанском попечителе; очень возможно найти здесь, в Петербурге, средства подействовать на того или другого. Аполлон Николаевич Майков принимает в Вас самое живое участие.

Извините меня за то, что я так резко указывал Вам на беспорядочность Ваших писем. Вы меня избаловали Вашим добрым расположением ко мне, но верьте, что я очень ценю это доброе расположение и от сердца отвечаю на него.

Вы жалуетесь на неустройство Вашей жизни, на то, что все у Вас не полюдски, и стараетесь устроить себя, как другие устроились. Мне очень хотелось бы сказать Вам что-нибудь успокоительное, например так: не жалуйтесь и не завидуйте. Вам суждено навсегда жить среди таких волнений, такова Ваша натура, и Вашими жалобами и внутреннею досадою Вы только ухудшите все дело.

Сейчас получил Ваше письмо от (неизвестно от какого числа — Вы не наблюдаете времени, но, к счастью, на почтовом штемпеле стоит 18 мая). Благодарю Вас за сообщение Ваших интимных обстоятельств², и, разумеет-

¹ Спешный и неперенный переход из Ельца в другой город был вызван условием выехать *это же лето непременно* из Ельца, каковое условие было включено в договор (устный), на основании коего я вступил в новый брак.

² Семейных. Я застрял в «законе», «законности»... «Законы» вообще необходимы и благодатны как нормы, как шаблоны, как «рельсы, по которым все едут». Но случается — «попадет нога под рельс»: попросту бы развинтить в *этом месте* рельс, приподнять и вынуть ногу живого человека из-под рельса. «Нельзя. Цивилизация. Так поступить было бы дико. А нужна: 1) дать эстафету на конечную станцию, 2) запросить мнение врача и экспертов на конечном пункте, долго ли может человек пролежать под рельсом, 3) получив справку, дать телеграмму на другой конечный пункт, чтобы выслали с ближайшим поездом машину для подъема рельса; но 4) оказалось, что машина в починке; и тогда 5) попросить человека еще полежать, когда наконец его можно будет освободить цивилизованно, научно и гражд-

ся, еще усерднее желаю Вам помочь. Даст Бог все устроится. Как нарочно, я решил до августа не трогаться из Петербурга и, следовательно, мне можно будет следить и хлопотать. Смотрите же, сообщите все сведения, какие получите от округов, где Вы предполагаете поменяться местами¹. Мне кажется, Ваше место хорошее, 24 урока и 1200 рублей в год — ведь так? (а не так, то напишите все точнее и подробнее); следовательно, найти заместителя не должно быть трудно. В случае надобности могу обратиться и к министру, хотя от него не легко добиться прямого решения.

Дай Вам Бог здоровья и бодрости. Сам я не могу жаловаться и на несколько лет, кажется, меня еще хватит. Простите
Вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

данственно». Человек между тем умер, — на что, как и в прежде бывавших случаях, никто не обратил внимания. Это-то, или тенденция *так* относиться к *живым* людям и к *текущим* несчастиям, вызвала негодование библейского пророка к Иерусалиму: «Вы построили у себя закон на законе и правило на правиле», и т. д. (богословы знают, у *какого* это пророка), и слова апостола Павла: «А если законом оправдание, — то Христос *напрасно умер*» (т. е. «за грехи наши», — и вся жертва Его была бесплодна). Из закона как *удобства*, как *облегчения* всем, — люди сделали закон как *неудобство* и *затруднение* для всех; по *рельсам* не ездят, а рельсами завязывают в узел руки и ноги человека, и заставляют лежать недвижно. Таково все тысячелетнее «каноническое право», которое по приведенному слову апостола Павла и *возникать-то никогда не имело права*, а оно тысячу лет держит семью и всех семейных людей в своей железной путанице, в своей деревянной недвижности, в своем сердечном окаменении. Конечно, если бы «духовное начальство» вот так, как Страхов или Ап. Н. Майков, — едва ли раза два меня видевший, — принялись хлопотать, говорить, чтобы «вынуть ногу из-под рельса», то мое и подобные моему «дела» кончались бы в полгода, в короткие месяцы. Куда!!! *Никто не захотел и слушать из духовных*. Участиливое слово еще я слышал от жандармского офицера в Ельце — не помню его фамилии и дай Бог ему здоровья. Но от духовного лица, никогда и ни от одного, я не слышал ни одного заботливого слова и даже никакой готовности выслушать, в чем дело. По глубокой рассеянности, я много лет этого не клал им «на счет», пока раздраженная переписка с Рачинским на эту тему не дала мне заметить: «А, так вот *откуда* мое несчастье, вот от *каких* благочестивцев, старающихся о возрождении Руси, о сиянии православия, — и благовестующих, что настало, с ними и с их «церковной школой на Руси», благодатное царство на земле». Эта догадка через несколько лет дала мне (в 1897 г.) толчок повернуть все «к язычеству». «Лучше танцующая Дункан, чем ваши мякинные и со вашими бородами лопатой». Больше в Дункан правды, больше *ясности*, стократно больше *доброты*: потому что с ней — *природа* (язычество). А вы — всего только мертвецы с нашитыми по позументу крестиками (орнаментация одежды). *Примечание 1913 года*.

¹ Т. е. учительскими. Обычный способ, за неимением свободных вакансий, списаться с учителями других гимназий, — и предложить поменяться местом службы. *Примечание 1913 года*.

Р. С. О Скабичевском и Шелгунове я спрашивал только ради шутки. Об К. Н. Леонтьеве замечу, что его мысль (упрощение и смешение разнородного есть разложение, а усложнение и выделение особенного есть развитие) есть ничто иное, как приложение органических категорий, которые сознательно употреблять стал Шеллинг, *der grosse Philosoph*¹ (как стоит на памятнике в Мюнхене). У Гегеля это дело взято всего глубже. Впрочем, посмотрите «Россия и Европа», глава 6-я — «Отношение народного к общечеловеческому». Леонтьев очень даровит и изящен, но вкус у него несколько развращен, а идей у него, в строгом смысле слова *идея*, нет.

1891. 21 мая. Спб.

XLVI

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Неужели я виноват, что от Вас нет никакого отзыва? А я так жажду читать Вашу обильную и согретую чистым чувством речь. Имею право просить Вас написать: мне любопытно знать, что с Вами делается. Сам же я как был, так и есть. Всякие события проходят лишь мимо. Даже досадно, что голод тревожит меня только в известиях и в размышлениях, и что я все сижу по-прежнему у своего стола.

Простите меня. От души желаю получить от Вас одни благополучные известия.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

Вы пишете о К. Н. Леонтьеве? Очень рад за его память. Никто не способен написать такого тонко сочувственного отзыва, как Вы.

Для «Русского Вестника» готовлю статью «Итоги современного знания» (это все — борьба с Западом).

LXVII

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Получил я Ваше письмо очень радостное² и очень загадочное. От души я обрадовался Вашему счастливому настроению, и дай Бог, чтобы оно продолжалось и чтобы мои опасения за Вас оказались пустыми бреднями. Но почему Вы не написали мне, что такое неожиданно случилось? Ведь Вы меня уже много посвятили в свои тайны.

¹ великий философ (нем.).

² Должно быть, обвенчался. *Примечание 1913 года.*

А об месте Вы ничего не пишете. Значит, дело Вашего перевода¹ стоит на той же точке. Не так ли? В этом отношении скажу Вам, что послать прошения к попечителям, как Вы это предполагали, очень полезно, даже совершенно нужно. С нашей стороны, т. е. со стороны Ап. Н. Майкова и моей, могу сообщить Вам, что за Вас очень прощены:

1) директор Департамента Аничков, 2) московский попечитель граф Капнист и 3) киевский попечитель. Они с радостью сделают, что можно, и от Капниста, может быть, Вы получите предложение перейти из Ельца на другое место. Между тем, сообщите мне, если что-нибудь и как-нибудь начнется — с этой стороны или с какой другой. Здесь можно поспособствовать и поторопить.

Что касается до Женских курсов, то они теперь так исправлены и сокращены, что не представляют опасности сами по себе, без тех общих опасностей, какие свойственны Петербургу. Начальник Василий Петрович Кулин очень хороший и очень уважаемый человек. Одним словом, благонадежность курсов теперь равняется благонадежности всякого другого петербургского заведения².

Собираюсь прислать Вам свою статью о Л. Н. Толстом, уже давно странствующую между органами печати и органами цензуры. Успеется.

Простите меня. Здоровьем я нынче все хвалюсь, и Вам того же желаю.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1891, 13 июня. Спб.

P. S. Не успел заклеить своего письма, и получил Ваше из Москвы. Если мы будем ждать один другого, то дело никогда не кончится. Разумеется, когда Вы примете какое-нибудь место, то нужно известить всех Вами и за Вас прощенных лиц, что дело сделано. Тут обиды никакой не будет. Но решить дело *вместо Вас* никто не может. Если Царицын Вам не нравится, то и не берите его. А так как гр. Капнист на сих днях обещал Вас со временем или

¹ Т. е. в другой город на службу. *Примечание 1913 года.*

² Двоюродная сестра моей невесты, прелестная, умная, религиозная провинциальная девушка, стала у отца проситься «на курсы в Петербург». Т. к. она мне казалась настолько изящной и развитой, что «больше некуда», то я был против поездки «в неизвестный Петербург», «да еще на Курсы». Письмо Страхова я показал отцу, девушка и отправилась. И сделалась, года через два-три «социал-демократической обработки», озлобленной нигилисткой, почему-то ненавидящей Россию и все русское. Вышла замуж за маленького социал-демократа, и только в том благополучие, что народила (теперь) около девяти детей. Вообще в социализме (и «курсах») одна сторона хорошая (серьезно): много венчаются и обильно рожают. Я думаю — от общего оживления и «на радостях» («скоро придет вождеденный строй»). В консерватизме по этой части все закисло. *Примечание 1913 года.*

сейчас же перевести, то понаведайтесь к Высотскому¹ и подайте гр. Капнисту прошение о том, чтобы он дал Вам в своем округе другое место, напишите ваши желания — какое. Словом, не торопитесь и не переставайте действовать. Здесь, в Петербурге, можно достичь одного непременно — оставить за Вами место, которое Вам удобно; но найти это место, — вот что трудно, а здесь и едва ли возможно. Найдите — и все будет сделано. Напишите прошение киевскому попечителю — действительно Киевский округ самый благодатный.

Простите Вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

Прошения Ваши напомнят попечителям их обещания, и Вас эти прошения ничем ведь не свяжут.

XLVIII

Вот что мне пишет директор Департамента, Николай Милюевич Аничков: «Я говорил с гр. Капнистом о желании г. Розанова перейти на юг, в другой округ. Гр. Павел Алексеевич хотя не имел случая познакомиться с литературным трудом г. Р., ставит его, как преподавателя, очень высоко, и потому жалеет о его возможном уходе² из Моск. уч. округа. Граф Капнист весьма

¹ Правитель канцелярии московского учебного округа. Весь учащий персонал округа и обращался к нему, просил его, получал от него «твердые обещания», — равнозначные «уже исполнению», как знали *практически* все. Попечителя же никогда никто из учителей в лицо не видал (по крайней мере, я не слышал, чтобы его когда-нибудь кто-нибудь видел): и — черточка *недавних* времен — округом таким образом управлял человек, не имевший права ревизовать, и, следовательно, *глазом* не видавший ни одного учителя *при деле*. Рачинский (С. А.) по какому-то поводу, улыбаясь, заметил о ком-то: «Достиг потому, что *с глазу на глаз* поговорил с Высотским». От него зависел и мой перевод. Как позднее я узнал, граф Капнист, побывав в Петербурге, дал Высотскому распоряжение перевести меня инспектором в какую-то гимназию или прогимназию, и затем уехал в деревню. Но я уже сговорился, свидясь в Москве с братом Николаем, директором Бельской (в Смоленской губернии) прогимназии, перевестись к нему учителем, на место Константина Вас. Вознесенского, моего университетского товарища, который поступил на мое место в Елец. *Примечание 1913 года.*

² Интересно «посмертно» (или для *меня* — заочно) узнать, как врут провинциальные даже сановники («попечитель округа» и «граф»), приезжая в Петербург. Граф Капнист не мог не знать из ревизии Брянской прогимназии добрейшим и благороднейшим Яковом Игнатьичем Вейнбергом (окружной инспектор, распушивший всех преподавателей действительно ничему не учившей прогимназии), что преподаватель я — очень дурной; но «принимают участие в Петербурге» — и он сказал, что «высоко ценит (никогда в глаза не виденного) преподавателя». Напротив, о «литературной деятельности» он знал, — так как по совету доброго профессора Герье я ему «поднес» (т. е.

ясно намекнул мне, что если г. Р. предпочтет не оставлять Московского округа, то он может получить место инспектора прогимназии, напр. в Рязани.

переслал книгу «О понимании», которую, конечно, он не читал, ибо людям дела вовсе некогда читать, а ему, графу, и «без дела» просто не хотелось. Все же, однако, «писать чиновнику — не полезно». Потом, именно по мере того как развивалась моя литературная деятельность, и она уже не могла быть не видна в округе («Легенда об инквизиторе»), «Эстетическое понимание истории», «Место христианства в истории» и много других, более мелких вещей), я чувствовал служебное кольцо *отброса* и *заброса*, куда-нибудь в «дыру» и в «одиночестве», стеснившееся и явно чьей-то рукой стесняемое над моей головой. Из Ельца я переехал в гор. Белый, как «куда-нибудь», — в 130 верстах от железной дороги и с 3 1/2 тысячами жителей. Город был до того глух (он состоял из *одной* «Кривой» улицы, от которой начинались проулки — в поле, но в проулках было дома три-четыре, с огородами), что однажды волки разорвали ночью свинью (не убранную) *между собором и клубом*. Здесь был директором мой брат, Николай Вас. Розанов, — прекрасный педагог и прекрасный администратор, — к тому же человек очень начитанный и *comme il faut* [порядочный (*фр.*)] во всех отношениях. Продержав его здесь одиннадцать лет, округ *на другой же* год после моего перевода в Белый предложил ему чуть-чуть более видное место в Вязьме (где он через два года умер, от Брайтовой болезни). Когда брат мне сказал о предложении ему перевестись — я не мог не почувствовать эту враждебную руку именно в отношении *себя*; и так как ко «мне» не было причин быть враждебным, то отнес это именно к тому, что «вот за тебя *просили в Петербурге*», да еще «ты и пишешь, — *выскачка*». Конечно, я брату об этом не сказал: но не мог скрыть от него ужаса — остаться с Кривой улицей, свиньями и коровами по проулкам, и волками вокруг, — и *без родной*, т. е. его, *семьи*. Перевод (его) совершился: и я погрузился в ту воистину «тьму», о которой, как о чистилище или о чем-то у Данте, можно сказать: «Lasciate ogni speranza voi qu'entrate» [«Оставьте всякую надежду вы, сюда входящие»] (*ит.*). Если брат, с его талантами педагогическими, просидел здесь одиннадцать лет, и на него *никто не взглянул* (из округа), сколько лет пришлось бы сидеть мне с (известною округу) педагогической неспособностью? До пенсии и могилы, как «утопленнику» из Пушкина. Тогда (*ближайший* повод написания был другой, — рассказ о своей службе прекраснейшего преподавателя, г. Строгонова) я решил написать и напечатать «Сумерки просвещения» и «Афоризмы и наблюдения» (продолжение их), это разъяснение вообще «русского (и европейского) просвещения», не без задней и гордой мысли показать и округу с его «Высотскими» и с его засушенными судаками (чиновники окружной канцелярии), с его «графами» и «Аничковыми», что провинциальный учитель может быть гораздо умнее их всех и *доказательно* назвать «глупостью» все дело, с которым министерство возится, как медведь с отталкиваемым бревном. Статья действительно раздражила Делянова, и приехал к владетелю «Русского Вестника», Ф. Н. Бергу, когда-то редактор *катковского* «Русского Вестника» и теперь член Совета министра просвещения, Н. Любимов. «Он был здесь, требовал прекращения печатания статьи, говоря, что это разрушает все катковские традиции, и даже позволил себе кричать и топтать ногой. Но статья мне нравится, и я отказал ему» (слова Ф. Н. Берга мне, когда я переехал в Петербург и свиделся с ним). Только с помощью Т. И. Филип-

По словам гр. К., для Р. всего необходимее иметь мало уроков¹, т. е. не быть только учителем, а потому место инспектора значительно облегчило бы его, дав ему казенную квартиру и оклад жалованья по должности, причем уроки его могли бы ограничиться 6-ю в неделю, вместо» и пр. «Недавно я встретился с Ап. Н. Майковым и услышал полное сочувствие такой мысли. Вследствие сего и чтобы устроить судьбу достойного человека, я полагал бы, что было бы всего лучше, если бы Вы написали ему о таком разговоре гр. Капниста, и если г. Р. найдет, что это — лучше, чем перемещение на юг, то съездил бы он в августе, когда гр. К. вернется из отпуска, в Москву, переговорил бы с попечителем и, вероятно, дело устроилось бы, а предварительно можно было бы г. Розанову написать к гр. Капнисту, послать свои литературные труды и проч. Граф человек очень внимательный к подчиненным² и вполне готов помогать им»³.

Вот, дорогой Василий Васильевич, по-моему, прекраснейший план. Что Вы скажете? И действительно, Вы выиграете в досуге и в почете, если и не выиграете в климате.

Черкните мне, что Вы получили это письмо — направляю его в Москву⁴.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1891, 14 июня, Спб.

пова я вырвался из Белого. Кстати, упрекают меня в «заискивании перед начальством»: но за «Сумерки просвещения» меня могли как угодно *наказать* в министерстве, и если ничего не сделали, то лишь потому, что мое «теперешнее положение» — учительство около свиней и волков — представляло собою то естественное наказание, больше которого не было в руках округа. Хуже было (и *возможно* для округа) вовсе «исключить из службы»: но тогда естественно и понятно для округа я перешел бы всецело к литературной деятельности, и в округе отлично знали, что «тягостнее будет посидеть в Белом». *Примечание 1913 года.*

¹ Удивительная заботливость, «совсем отеческая». *Примечание 1913 года.*

² ???! *Примечание 1913 года.*

³ Т. е. если попросят в Петербурге. Прослужив 13 лет в Московском учебном округе, т. е. *все время его попечительства*, я никогда его в лицо не видел, и никогда не слышал, чтобы он когда-нибудь выезжал «для обозрения вверенных его попечительству богоугодных... то бишь учебных заведений». Когда я позднее спрашивал, почему он был «попечителем», мне объяснили, что у него были хорошие бакенбарды, представительный рост и приятный голос. *Примечание 1913 года.*

⁴ Жил я, сейчас «после венца» и «на радостях», в Лоскутной гостинице, с «молодой уважаемой женой» («друг» в «Уединенном»); но быстро растратившись (страшно дорогая гостиница), — перебрались мы с «подругой» на Воробьевы горы, в староверческую семью. Прихожу в Лоскутную — справиться, нет ли писем. *Не давая пачки мне*, пышный швейцар пересмотрел и сказал — «Нет». Я уплатил за труд просмотра двугривенный — и пошел назад. Между тем именно это *столь важное для меня письмо* и было уже у швейцара. Он его отыскал, когда я вторично зашел и сказал, что *наверно есть*, потребовал. Между тем уже до этого, встретясь в Москве с братом-

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Порядочно Вы напутали. Зачем было не подождать? Зачем показывать письма? Такие люди, как Майков и я, не имеют *никакого значения* ни для какого округа, и всякое влияние новых неприятно для людей распоряджающихся округами и желающих властвовать беспрекословно¹.

Вашу беду я рассказал сегодня Аничкову и, если еще Вы не сделали дальнейших шагов, если еще не поздно, то вот что он предлагает:

Напишите Вы два письма, одно к Капнисту, другое к Вейнбергу (так ведь? он управляет округом?) и выскажите в этих письмах, что Вам известно (напр. через меня и Аничкова) полное расположение графа дать Вам место инспектора (и пр.) в Рязани, вероятно свободное или имеющее открыться, и что Вы с великою радостью готовы взять это место. Притом благодарите графа за его внимание и желание способствовать Вашим трудам и т. д.

Итак, два письма — одно графу, другое Вейнбергу (чтобы он знал, что Вы хлопчете). Оба письма пришлите мне, Страхову. Аничков сказал, что эти письма нужно доставить ему к 3 июля, когда он вернется откуда-то; тогда он пошлет к тем, кому они писаны, с приложением собственных писем и к графу, и к Вейнбергу. С улыбкой прибавил он, что надеется на успех².

директором и с К. В. Вознесенским, я уговорился, *за отсутствием какого-либо исхода*, на перевод в гор. Белый. Так вялая, тупая неряшливость прислуги собственно и была причиной моего *законопачения в гор. Белый*. Инспекторство в таком прелестном городе, как Рязань, конечно бы вполне меня удовлетворило. Хотя, может быть, оттуда бы я уже не попал в Петербург. «Что Бог ни делает — все к лучшему», — скажешь бабушкиным афоризмом. *Примечание 1913 года.*

¹ Вообще это одна из самых гнусных и *для служащих невыразимо тягостных* вещей — «власть» начальства, ревнивая даже к тому, чтобы ее «попросили со стороны», и сейчас же, по невозможности мести к просящему за вас, — обращающаяся против бессильного, т. е. против «вас», — «за которого просили». Я все время чувствовал большую жуткость, когда за меня «просили»: неодолимым гипнотическим способом я чувствовал, что это сгущает нерасположение ко мне, и когда перевели в Белый, а не в Рязань, был чуть ли не рад. Я чувствовал, что в Рязани, да еще на видном месте инспектора, меня «съедят» из округа, «путями, их же Ты, Господи, веси», — подведут под какую-нибудь неприятность, в чем-нибудь уличат на ревизии, какой-нибудь оплошностью воспользуются, и все равно втихомолку спустят «для пользы службы» (такой есть служебный термин, — не «придирчивый» и наказующий) в Белый, в Жиздру, куда-нибудь. *Примечание 1913 года.*

² Еще бы: Аничков при «Царе-Берендее» собственно управлял всей администрацией министерства, как Георгиевский *законодательствовал* в нем («писал планы» и «проектировал»). А в Москве — как я и все учителя знали — было «рыльце в пушку», по части «назначений» и «мест»; и в сем случае, когда «просили из Петербурга» и особенно «просил Сам-Аничков»,

Держитесь тех выражений, которые найдете в выдержке из письма Аничкова, я ведь Вам ее прислал.

Да! Напишите, что Вы согласились на перевод в Белый, еще не зная о разговоре графа с Аничковым, но что, узнав, не можете не желать этого лучшего места и не благодарить графа.

Ваш Высотский, очевидно, над Вами важничает и Вас притесняет. Зачем Вы с ним связались¹. А Вас я браню от всей души — ну можно ли так пассивно² поддаваться.

Очень желаю, чтобы это письмо застало Вас еще в Москве, и, несмотря на все Ваши грехи, прошу Вас написать о том, как пойдет дело и известите, где Вы, куда, когда и пр.

Ваш (Вы видите) искренно преданный *Н. Страхов*.

1891, 20 июня, Спб.

L

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Пожалуйста, справьтесь в Лоскутной: дня через два после Вашего письма (т. е. 20 или 21 июня?) я Вам отвечал, бранил Вас и давал наставления, как действовать. Ради этих наставлений я ходил к Аничкову, рассказал ему, что

не могло быть речи о простодушно-честном ответе: «*За кого вы просите, ведь он плохой учитель, а в инспектора, т. е. по администрации, и вовсе не годится. Испортит дело и разобьется сам*». Аничкову решительно нечего было бы ответить на такое возражение, да и никакого предлога даже рассердиться на отказ. Но Аничков хорошо знал свое министерство, что тут «просто устраниваются» и «вас терпят (напр. попечителя) потому, что вы послушны, а не потому, чтобы вы были сколько-нибудь полезны — для дела». Эти «мелочи дела» не бесполезно иметь в виду всякому, кто думает: «Отчего и зачем у нас появилось 17-е октября». *Примечание 1913 года.*

¹ Очень трудно «не связаться» карасю с поваром. Только нас (*всех* вообще учителей — знаю по рассказам) жарили в ту пору без сметаны, на сухой сковородке. *Примечание 1913 года.*

² Просто даже теперь (в независимости) *страшно* читать. Иван Игнатьевич Пенкин, инспектор закрытой за *безлюдность* Брянской прогимназии, явившись с орденом и в мундире в канцелярию, нет — в **Канцелярию**, сказал Высотскому: «Что же, Ваше—ство, Вы *предполагаете со мною сделать?*» (его рассказ мне). Слава Богу, — ему дали место инспектора же в Ельце. А могли сказать: «Дадим **годовой оклад...** Но **вакансий нет...** и вы уж пожайте в (полную) **отставку**». Карасек бы и испекся, без возможности протестовать, жаловаться, даже громко плакать. Ибо что же ведь делать, если **вакансий нет???** Так что «пассивному поддаванью» можно только улыбнуться. Как это карась, когда его несут за спину на сковородку, не будет «пассивно поддаваться»?!! Нет, 17-е октября и *свобода прессы*, конечно, *адски была необходима*; ею злоупотребили, злоупотребляют: и все-таки — благодатна свобода, благодатен открытый рот! *Примечание 1913 года.*

Вы сделали, и он научил меня, как поправить¹. Когда Вы не отвечали, я подумал (уж извините), что Вы уехали из Москвы, не оставивши в гостинице нового адреса. Вы видите, что я и теперь считаю возможным обвинять Вас в такой нераспорядительности. Если мое письмо пропало, то это истинная беда. Теперь время ушло и нужно будет ждать.

Да напишите, прошу Вас, в каком же положении дела? Что Вы хотите делать? Почему остаетесь в Москве?

Фельетоны Ваши² читаю с жадностью; какая чудесная тема, какой бесподобный тон. Слышится человек доброй и честной души. Но Ваша страсть к отвлеченности, по-моему, много портит. Я думаю, Вы никогда не скажете «Русский Вестник», а всегда: *один из журналов*, не скажете в *июньской книжке*, а непременно: *недавно*. Конечно, оно красивее, напр. так: *одно из наших повременных изданий*, или так: *мы недавно читали*³... А между тем, я готов рассердиться.

¹ И весь этот труд благородных, ученых и старых людей «брошен в дыру» через то, что швейцар (переодетый в ливрею мужик) поленился внимательно переглядеть пачку писем, и не увидел красивейшего и отчетливейшего страховского почерка: «...*Розанову*» на конверте. То-то нас «иностранныцы забивают», и «евреи в успехе». Да поймешь немножко и суровость старых времен к «простолюдину». Что же если этот простолюдин или «спит», или «почесывается», или «о бабе думает», — на работе, на часах, везде, в церкви, в поле. *Примечание 1913 года.*

² В Москве «с молодой женой» мы остались по безденежью столь страшному, что (живя у крестьянина на Воробьевых горах) раз «прилучившемуся нездоровью» я прошел *пешком* верст за шесть в аптеку по *рельсам паровой конки*: ибо на лекарство было что-то полтинник, а на конку даже 10 коп. — *не было*. Тут, в отчаянии, я написал Грингмуту (заведовал «Моск. Ведом.») — «Почему мы отказываемся от наследства шестидесятых годов», и дальше как продолжение — еще фельетона два или три. Это дало возможность расплатиться, есть, лечиться и вернуться в Елец. На Воробьевых же горах тогда жил и милый Яков Игнатьевич Вейнберг, добряк-крикун, — окружной инспектор Московского округа, управлявший (за выездом главного начальства, — которого *всего* он был образованнее) округом. Вот к *нему-то* мне и надо бы было пройти; и, уверен, он даже «разговорился» бы со мною. Его я видал сидящим на крылечке домика. *Примечание 1913 года.*

³ Гениально по остроумию. Нет, Страхов бывал и *остер*... Но вот что надо заметить. *Тон* этот образовался сам собою и естественно из того, что ведь *действительно* в то время ни одна из житейских тем, ни одна из обыденных тем, журнальных ли, политических ли, меня не занимала, — а занимали исключительно темы и предметы самые *далекие* и *общие*: о «понимании» (вообще всех вещей мира), «место в истории христианства», «о трех принципах человеческой деятельности», «цель человеческой жизни», «сумерки просвещения» и проч., и проч., и проч. Ничего *уже* и *конкретнее* не то чтобы я «не хотел взять», но — не входило в голову; от всего более цветного, личного, минутного, нужного, прямого — болела голова, да и просто о таком *не была способна думать*. Уже *ставя* темы — я «рассуждал», и оттого заголовки статей (очень характерно) были длинные, сучковаты, сложны, чуть не с придаточными предложениями. Это все, т. е. *вся психика*, — и *передалось в тон*... Какой-то «державный». *Примечание 1913 года.*

Первая статья драгоценна по фактам, выставленным в их точном свете. Вторая очень хороша по философской мысли; но на любопытный вопрос не дает — или, скорее, *почти* не дает — ответа. Слишком обща. А потом есть смешение понятий и неточности: *вода разлагается при высокой температуре*. Вообще образование элементарных веществ есть *какой-то другой процесс*, не похожий на образование сложных веществ.

С нетерпением жду третьей статьи. Да Вы не читали моей статьи: «Толки о Л. Н. Толстом»? Ее не пустила цензура. Если не читали, то, вероятно, мы с вами сойдемся в чем-нибудь.

Прошу Вас, напишите мне поскорее. Через неделю, т. е. 24-го, 25-го, — я еду в Москву и дальше.

Простите Вашего преданного *Н. Страхова*.

1891, 17 июля, Спб.

LI

Отзовитесь, дорогой Василий Васильевич! Что Вы поделяваете? Как поживаете? А если что нужно, я готов и отвечать, и помогать как умею. Но теперь так тороплюсь, что пишу Вам только эти несколько строк. Так ли я написал Ваш адрес?

Дай вам Бог всего хорошего!

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1891, 17 сент. Спб.

P. S. Я Вам напишу и упреки, но только после.

LIИ

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Душевно благодарю Вас за письмо; как Вы все тонко понимаете. Ваши похвалы моей статье так верны и точны! И Вы справедливо пишете, что до сих пор «добрые, наивные сердца» не хотят знать моих писаний. А знаете ли еще отчего? Вот Вы похвалили у меня «элементарную простоту»; я очень бьюсь из-за этой простоты, много из-за нее стараюсь; а «добрым, наивным сердцам» она-то и не нужна¹ — им хочется возвышенного, туманного, не рассуждать, а восторгаться.

¹ Увы, «добрым, наивным сердцем» оказался и друг Н. Н. Страхова, неизменно посещавший его *среды*, ныне редактор ученого «Журнала Министерства Народного Просвещения», Э. Л. Радлов, столь в общем почтенный и добродетельный человек. В своем только что вышедшем «Философском

Очень радуюсь, что Вы благополучно себя чувствуете, и дай Вам Бог всего хорошего. Вашего брата я уважаю, по Вашим словам и по тому, что он для Вас сделал. Один упрек у меня есть и Вам и ему: это — показывание писем. Какая наивность! Да вообще, употреблять *в дело* чужие письма можно лишь с разрешения писавшего; а эти письма уж никак для того не годились. Вот и теперь, Вы приходите в умиление от хлопот, на которые готовился один из здешних начальников. Но ведь он это делал вовсе не для Вас — он Вас не знает, не читал ни одной строчки, и очень бы удивился, если бы получил от Вас растроганное послание.

Несмотря на то, все это ужасно мило с Вашей стороны, и вообще сердиться на Вас нет никакой возможности. Но почему это Вы обрекаете себя на молчание? Н. Я. Грот спрашивает Ваш адрес и очень желает Ваших статей. Научитесь только справляться с собою; пишите так, как написано «Место христианства», не длинно, содержательно, с началом и концом. Ваши статьи в «Моск. Вед.» я читал все и не скажу, чтобы был доволен, хотя есть в них превосходные темы. В Москве я познакомился с Говорухою и с Лопатиным (с ним, впрочем, сперва в Рязанской губернии). И тот, и другой — интересные люди, Лопатин, кроме того, очень симпатичен. Говоруха написал презлые и умные статьи об Скабичевском и Андреевском. Но все это тема для длинного письма, которое некогда писать.

А что я пишу? Ничего — говорю с сокрушением. Несколько статей начаты — ни одной не продолжаю. Может быть, почти наверное, скоро поеду в Крым на месяц, и когда вернусь — тогда уже примусь серьезно за дело.

Что такое Белый? Вы хоть бы чуточку описали. Об Ельце я имею понятие — проезжал еще тогда, когда не было железной дороги!

Словаре» он о Страхове... написал *четыре* строчки! «Из трудов Страхова имеют интерес *полемиические* с Соловьевым (какой «бог», подумаешь), а книги носят характер пропедевтический»... Т. е. как бы «для подготовительного класса» философии, если не для подготовительного класса даже гимназии только. Так вот для какого *resumé* «бился и старался» 67-летний, добрый, благородный старец. Это... такая могила... такой «крест православный» над могилою!! Вот — и «перекладинки», вот — и «покоился он», все — «по-православному», в ледяной стране вечного забвения и вечной неблагодарности. А уж Радлову ли бы не написать о Страхове: *еженедельно* видал, сам *компетентен*, и сам — скромный, хороший, *твердый* русский гражданин служилого типа. Но и он... кажется, об Иванове-Разумнике и Луначарском (нигилисты) говорит длиннее и почтительнее, чем о Страхове. «Не надо! Не надо! Скучно!!» И он сжался в служилом делопроизводстве, в этом «Словаре», — и бросил на могилу друга даже не скорлупу ореха, а скорлупу подсолнечного семечка. «Был голоден при жизни, голодай и на том свете». Ужасно. *Примечание 1913 года.*

¹ Какие времена! Даже *идилично* как-то читать, что «проезжал еще без железной дороги»... Точно страница из Грановского и Киреевских... Да, — железные дороги просто тем, что они *провелись* и через них все *уторопилось, ускорилось*, имели более умственного и вообще психологического дей-

Простите. Дай Бог всего хорошего.
Ваш искренно преданный Н. Страхов.

1891, 29 сент. Спб.

Ректор Моск. Дух. Академии Антоний пишет Гроту, что он *в восторге* от моей статьи. Он прислал мне свою брошюру о Л. Н. Толстом.

ЛIII

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Вот сколько времени я не отвечал на Ваше милое письмо. Но с Вами я беседовал, — читал Вашу статью в корректуре, а теперь гляжу на нее уже в первой книжке «Русск. Вестника». Простите, я ждал больше, именно больше Леонтьева, больше ссылок на его исторические взгляды и всякие писания. У него можно найти много тонких и остроумных вещей, так что читатели были бы поражены и побеждены¹. Кроме того, пример из *развития болезни*, по-

ствия на людей, на города, на страны, чем напр. у нас «Современник» со всеми Скабичевскими. «Железная дорога от Москвы до Петербурга» есть более *литературный факт*, нежели основание «Вестника Европы» или закрытие «Отечественных Записок». Сам Стасюлевич есть только «приложение» к железной дороге, — в своем роде «французская гастрономия» на одном из ее буфетов; и Стасюлевич, и Пыпин, негодующий на «трех китов». Вот, кто победил и кафедралы, и пап, и Лойолу, и победил Руссо и его мечтательную, волшебную эпоху! «Не надо! Не надо *ничего!* Отвертывай свисток!..» И свисток гулко разнесся по обоим полушариям. *Примечание 1913 года.*

¹ Удивительно глубоко: «*читатели* были бы *поражены и побеждены*». Так и есть. Читателя (умного) Л—в сразу «берет в друзья». Но знает наша злобная журналистика, в чем дело. «Ни гу-гу! Замолчать!! *Не допускать читателя до книги*». Эти «похороны литературы», настоящие похороны *настоящей литературы*, стояли в нашей журналистике 50 лет, пока «в награду за добродетель» не повалилась вся эта уже более не «литература», а пресса, в карман Вербицкой, в «библиотечки» Рубакина, под засаленный пиджачок «часового мастера» Горнфельда и в объемистые лапы «Шиповника». — «Где литература?» — спрашивает прохожий. — «Тю-тю», — отвечает встречный. — «Отчего?» — «Да *чего же* вы хотели, когда от общества все *прятали*, прятали «Современник», прятало «Русское Слово», прятали «Отечественные Записки» и «Дело», прятали Михайловский, Щедрин, Горнфельд, показывая из-под полы полу-Вербицкую—*Лисарева*, и естественно-научного Нат-Пинкертона — Молешота-Фохта. Тогда общество сказало: «Зачем нам *подделки под Нат-Пинкертона*, мы *лучшее прямо перейдем к Нат-Пинкертому*». Так «прошла слава мира сего», и все склонилось от утреннего Герцена к вечерней Вербицкой. Встали утром с головной болью, заснули к вечеру мутным сном.

...О, хоть бы ночь!

Хоть бы Вечная Ночь...

как говорит Апухтин («Мухи»). *Примечание 1913 года.*

моему, вовсе не удачен; в сущности не болезнь усложняется, а только сначала врач не умеет ее рассмотреть¹, а потом видит все яснее и яснее, по мере более сильных проявлений.

Видите, какой я придирчивый; но верность главной мысли и прелесть Вашего изложения все у Вас искупают, и я с нетерпением жду Вашей второй части².

Не согласен я и с той мыслью, будто бы в Анне Карениной меньше реалистических излишеств, чем в «Войне и мире». Именно в *Анне* много страниц (напр. смерть брата Николая), где рассказ как будто вовсе останавливается, получает совершенно неестественную медленность и дробность. Конечно, мало связи между романом Левина и романом Вронского; одним словом, нет свободного и широкого художественного приема, который в «Войне и мире» вообще господствует и часто достигает бесподобной живости. Возьмите хоть Бородинскую битву, или Шенграбенскую. Но Леонтьев обманулся тем, что в *Карениной* взят спокойный идиллический тон, взяты светлые и красивые стороны быта, и не заметил трагедии, которая кроется под этой идиллией. Он не верит и в *Каратаева*; но разве он может сказать, что этот мужик изображен не верно? Или что Пьер не просто к нему относится, а под влиянием славянофильской теории? Леонтьеву, как и Норову, показалось, что у Толстого унижено дворянство, изображено не довольно красиво, да вдобавок поставлено ниже простого народа. Но Толстой всюду, и прежде и после, ставит простой народ, солдат, мужиков, образцом доблестей, ничуть не думая особенно обличать дворян. Он был тогда даже очень предан аристократизму. Да не выдержала его душа, и безмерно гордая и безмерно нежная. Он отказался от всякой мысли о превосходстве своей породы, или о своем особом достоинстве перед другими людьми.

Простите меня. Все это время я был занят большими хлопотами, так что не успел написать Вам. Да притом, Вы видите, я разом явился в двух журналах, в «Русск. Вестн.» и в «Вопросах». Маленькая статья «Ответ» очень дорога мне по мыслям; жаль, что я не выразил их сильнее.

¹ Ну, это *придирчиво*. Конечно, — не только «врач не заметил», но и болезнь *все растет*, и организм в росте болезни и приближении к смерти — *упрощается*, теряет *формы*, *границы*, все в нем *деформируется* и становится просто *массою*... Труп есть масса вещества, и только. *Примечание 1913 года.*

² Вся вообще статья о Леонтьеве («Эстетическое понимание истории»), недурно начатая и недурно конченная (1-я и 3-я книжки «Русск. Вестн.»), испорчена и дурна от всегдашнего моего неумения *делать цитаты* из критикуемого автора. Всегда это суть «тряпки», повешенные на веревку: причем развешивающий не знает, *куда их повесить*, и причем тряпки несхожи ни по форме, ни по цвету, ни по существу с веревкою. Все мои «цитаты» никогда не имели ничего *родного* с моею статьею, управлявшеюся *воображением*. При всем старании и прилежании я лучше не умел их делать. Восхищен местом; понимаешь его *ценность* для критикуемого автора; приказываешь себе (да и очень хочется) *взять его*; взял, вставил: *смотришь* — совсем другого цвета, *тона*, чем окружающий (мой) текст. *Примечание 1913 года.*

Благодаря Бога, я довольно здоров. Желаю и Вам всякого благополучия. Простите, что не исполнил Ваших просьб; но я об них подумываю и пришло Вам свою «Борьбу».

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1891, 6 янв. Спб.

LIV

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Сегодня только прочел в корректуре Вашу статью для мартовской книжки и — простите меня! — вычеркнул последние две строчки, где Вы говорите о «блаженстве безумия»¹. Не нужно читателю знать, что Вы так мало цените² разум. А статья вообще³ удивительная, увлекательная, горящая умом и чувством. Вас подкупают обобщения, Вы слишком любите трагические и идиллические картины, — и, несмотря на то, нельзя не признать верности многих черт, бесподобно схваченных и выраженных. Но есть и ужасные преувеличения и неточности. В каком розовом свете является у Вас послепетровская история! В действительности она⁴ отвратительна по убийствам, жестокости, разврату. Вы пишете, что мы занимались поэзией, искусства-

¹ Никакого воспоминания. Но очень интересно это «нечаянное восклицание» или «сорвавшийся выкрик» (души) в отношении к последующей «вот-уже-близко»-истории: и декадентство, и мистицизм, и буря, и тоска, и Ницше, и все, и Антихрист! История как бы скатывалась в безумие, как сани по обледенелому скату соскальзывают в овраг: и тогда пассажир, обыватель, писатель, с бесконечным ли грехом на душе или с неисцелимою бедою в обстоятельствах жизни, — говорит «о блаженстве» лучше оврага, лучше безумия, чем о дальнейшей езде по такому мучительному, чем о дальнейшей вообще *такой же* жизни. *Примечание 1913 года.*

² Конечно, не «ценить» разум нельзя; но нельзя его и переоценивать. Есть глубокое, великое слово — *ум*, как сила умственная *организующая*, как сила умственная *синтетическая*. Он не совсем то, что «разум», сила анализа, *раз-бора* и очень часто *умерщвления*. *Ум* — это и *любовь*, и *духовное благородство*. 60-е годы все бежали вперед «разумом» и провалились в дыру; потому что с ними не было *ума*, не было его благородной, сотворяющей, предохраняющей силы. *Примечание 1913 года.*

³ Последняя треть статьи о Леонтьеве; она также произвела впечатление на Рцы (Ив. Фед. Романов). *Примечание 1913 года.*

⁴ *Страшно*, что самые важные моменты истории, самые мучительные минуты жизни человечества, имеют над собою *нестираемые* «да» и «нет»... К ним относится — реформа Петра, с «адом» и «раем» в ней; да и впереди, в бесконечном «впереди» — тоже с раем и адом. «Может — *выползем*, может — и *погибнем*», скажем, оглядываясь на нигилизм, на поскакавшую вперед Россию с Екатеринами, с Анной Иоанновной, с Бироном и декабристами, с Пушкиным и Чернышевским. *Примечание 1913 года.*

ми, науками¹, а государство и церковь охраняли милых детей, преданных таким прекрасным занятиям². Да, это удивительно! — можно и *так* взглянуть на дело. Но в действительности совершенно другие черты стоят на первом плане, и горько подумать, как ничтожны были наши занятия поэзией, искусствами и науками³.

Но я не кончу, если стану писать хоть сотую долю того, что приходит в голову по поводу Вашей возбуждающей статьи. Одно прибавлю: аналогия между смертью организма и тем *однообразием*, в котором Леонтьев видел смерть народов, решительно не верна. Смерть организма есть нечто быст-

¹ А разве не так от Пушкина до Менделеева, от Ломоносова до Академии Наук, до Академии художеств, Придворной певческой капеллы, ученого Эрмитажа и его коллекций? *Все* — было, и нельзя закрывать глаза на великое «да»! *Примечание 1913 года.*

² *Было* и это, была эта тенденция. Однажды в редакции «Нового Времени» на мои слова, что «государство наше всегда было бездушно к наукам, к книгам», Скальковский сказал, побрякивая часовой цепочкой, но *страшно серьезно*: «Полноте! *Правительство* наше столько сделало для училищ, оно представляет такую непрерывную заботу об ученике и книжке, что если бы общество и родители, города» и пр. ... Не помню окончания речи: смысл был тот, что *школ основывается* — бездна, а в них — *не учатся* (ученики, семья, общество, город). Я опешил: действительно, напр. в г. Белом, где волк-ка разорвали свинью между собором и клубом, были: 1) VI-классная мужская прогимназия, 2) III-классная женская прогимназия, 3) духовное училище (прогимназия семинарии), 4) городское училище. *Чего еще? Кому?* Вообще, взгляд Скальковского (К. А.), который был не только остроумен, но и чрезвычайно умен, который *всю жизнь страшно много читал*, и книги исключительно серьезные, преимущественно исторические (в переезд, напр., по Средиземному морю, от Одессы до Марселя, он прочел *всего* С. М. Соловьева), — взгляд этот, *конечно, справедлив*; конечно, в отношении «наук» и просвещения правительством наше всегда было честно, заботливо, и шло куда впереди «земства», «общества» и «курсисток», «Григория Петрова» и «А. Ф. Кони», которые были всего только «стриюцкие» (термин Достоевского) около просвещения, шумевшие, но которым бы *никогда Эрмитажа не собрать*, а собрали бы они всего-навсего «библиотечки по-Рубакину». Было что-то *бронзовое* в правительственных заботах о просвещении, и «новое золото», из Варшавы и от жида, в криках и шуме о просвещении общества, газет, Пыпиных и Стасюлевичей. Все-таки Буслаев был «чиновник Мин. нар. просвещения», а «от общества» были Кукшина («Отцы и дети»), Цебрикова и Чернышевский, был и есть «народный университет Шенявского», с I ¹/₂ нигилистами, читающими там «все науки». Это — страшно, но этого забыть нельзя. Покоримся судьбе своей, — *нищенской* в «общественных усилиях». Горько это и страшно, но истинно, что только там и *солидно*, где «был позван *чиновник*». Проглоти, читатель, эту пилюлю, — от многого выздоровеешь. *Примечание 1913 года.*

³ Увы, улы, улы — и *это истинно!!* Именно «рай» и «ад» сжаты в одной ладони. «Узнаю Господни судьбы», — скажешь обернувшись на историю. «И — плачу! проклиная! — но и веселюсь о Господе!!» *Примечание 1913 года.*

рое, трагическое; она бывает очень разнообразна, никакого упрощения и уравниения при ней не происходит. Иное дело *смерть*, иное дело — *вымирание*, происходящее медленно¹. Вообще, когда проводятся слишком далекие аналогии и слишком высокие обобщения, — у меня руки опускаются: ну что и как тут рассудить? Все и верно, и неверно, и на правду похоже, и противоречит ясным фактам.

Но я напрасно так Вас *критикую*; никогда тому не бывать, чтобы исполнилось мое усердное желание, чтобы Вы стали владыкою² Вашего чудесного таланта. Не Вы им владеете, а он Вами, и когда он капризничает — ничего не поделаешь. Фельетонов Ваших я ждал, но не дождался: верно «Моск. Вед.» нашли их слишком отвлеченными³.

Об моих «Итогах» Вы пишете слишком кратко и неясно. За что Вы меня хвалите? И чем первая половина лучше второй?

Насчет издания Ваших статей скажу, что давно бы Вам нужно издать отдельно «Легенду о великом инквизиторе». Издавать же сборники — дело трудное; можно не выручить своих денег.

¹ Однако, не есть ли смерть *естественная, от старости*, — в своем роде «вымирание индивидуума?» *Примечание 1913 года.*

² Уже Платон («Пир» или «Федр») сказал, что в некоторой слепоте сотворяющего («талант») содержится секрет его *силы, обаятельности, «чудес»*. Что народ и выражает через — «Бог устроит *все к лучшему*», а автор через то, что вообще все вперед и дальше *«пишет»*... «Уроки» нам задает Бог; и к чему нам особенно в эти уроки *вглядываться*. Помни сердце свое (свое *внутри*, а не свое *будущее*), и вот *его* чистым и невинным сохраняй или *постарайся* сохранить в каждую единично минуту писанья, — не забываясь, где придется поставить «точку» и «куда» пойдут строки. Страхов точно забыл о Платоне, — а был таким «платоником». *Примечание 1913 года.*

³ Грингмут (Вл. А.), очень охотно их начавший печатать, однако жаловался, что они едва переносимы («по отвлеченности, по вечному рассуждению») для газеты. «Вы должны знать, что газета *читается в конке*, и всякая статья должна быть интересна читателю *до конца, раньше конца*, — на том месте, где он бросит лист, *выходя из конки*». «Газета обязана давать *интересное чтение*, а не интересные идеи, для чего есть журналы и книги», — и (увы) ведь это действительно закон, *lex, закон ежедневного листка!* Что делать. «Немудрено победить мир, но мудро победить его *в наших условиях*», — проблема и Наполеона, и журналиста, да и всякого в сущности смертного. Перед Грингмутом у меня много вин (время поворота влево), и да простит он хоть некоторые из них из могилы. Он был честный, хороший консерватор, и ошибочно его охалили только «прислуживающимся правительству». Но недостаток его был, что он был весь «не *наш*», — не «субъективист» и не «фантаст». Его *трезвость* толкнула многих и в том числе толкнула и меня подумать, что он не был честный писатель и человек; но «левые годы», когда он ни от чего не отрекся и никуда не перебежал, показали его правду. Память его не велика, но честна. *Примечание 1913 года.*

Покойный К. Н. Леонтьев не имел успеха — а почему? Ни одна повесть, ни одна статья не имела стройности и законченности¹. Все у него было то, что называется *плетением мыслей*². Был и талант, и вкус, и образованность; недоставало душевной чистоты³ и добросовестного труда. Читателей иногда очень трудно обмануть.

Простите меня! Дай Бог Вам всего хорошего!

Вам душевно преданный *Н. Страхов*.

Р. С. Пришлю Вам и «Вечные истины», и «Основные понятия» — чуточку погодите. Недавно я узнал приятную новость: «Россия и Европа», 2000 четвертого издания, опять на исходе, и нужно будет готовиться к новому изданию. Недаром такой успех этой книги; я уверен, что читатели в ней ищут *понимания России* — и как много находят!

1892. 20 февр. Спб.

LV

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Давно уже я все сокрушаюсь об Вас, об разных Ваших неудачах, о том, что Вам отказали в «Московск. Вед.» и в «Вопросах», о том, что бестолково Вас печатают в «Русск. Вестнике», о том, что не имела успеха Ваша статья об Леонтьеве, что не напечатана особой книжкой статья об «Легенде», и т. д. К Вам нужно бы приставить литературную няньку, которая за Вами бы ходила, выправляла бы Ваши статьи, держала бы корректуру, издавала бы отдельно и вела бы переговоры с журналами; некоторое время я исполнял дол-

¹ Ну, вот у Страхова все «стройно и закончено», имеет «ясную тему и определенный конец», — но *ничего не вышло*, и успех лишь ему в конце жизни «побрезжился», а на самом деле (*resumé* Радлова) не было никакого. Нет, — другое: «под черными звездами мы родились», не «в своем Небе пролетаем». Но настанет и уже настает другое Небо. *Примечание 1913 года.*

² Ну, уж... именно *не плетение*, а как стальное огниво ударяет кремень и искры сыплются! Да *весь Леонтьев* может быть изложен в одной странице и рассказан в один час... Он поразительный *по ясности и целостности* писатель. *Примечание 1913 года.*

³ Душевной чистоты — если понимать в смысле «VII-й заповеди», — у него не было; но он был именно *душевно-чистый человек и писатель*, шедший всегда прямо, никогда не лукавивший, никого не обманывавший, без хвастовства, без наглости в себе, без тщеславия и вообще «семи смертных грехов писательства». Неужели же это роковое слово о «прелюбодеянии», да еще отвратительно растолкованное нашими богословами, тупо и злодейски включившими в «прелюбодеяние» и супружество со многими женами, и имение простых наложниц, что решительно никогда не порицается Библией и, следовательно, в объем «VII-й заповеди» вовсе не входит, — неужели это неопределенное и смутное слово кассирует всю душу, все качества?! «Только *не пожелай женщины* — и ты чист». «Пожелал? Согрешил? Пал? О, — тогда все в тебе *черно!*». *Примечание 1913 года.*

жность этой няньки, но я думал, что воспитание конечно. А вот Вы на своих ногах как нетвердо ходите!

Ваше последнее письмо уже совсем огорчило меня. Что же это за напасть! В какую трущобу¹ Вы попали! Конечно, Вам можно бы выйти в отставку, приехать в Петербург и здесь жить писанием, пока не найдется места в какой-нибудь гимназии. Я к Вашим услугам, несмотря на свою хилость и на разные затеи, которые хотелось бы выполнить, пока есть силы. Да почему Вам бы не устроиться и в Москве при «Москов. Вед.» и «Русском Обозрении»? Да и при «Вопросах Фил.»? Да и при «Православном Обозрении». Нужно бы только подыскать Вам няньку — уж Вы меня простите, мне кажется это довольно точным выражением.

О Леонтьеве я все очень хорошо знал², но не хотел говорить Вам; знаете: *de mortuis etc.* Вот он Вас обольстил своим умом и своею эстетичностью;

¹ *Белый* — очень милый город для себя. Но все-таки, потолкавшись в университете и гимназии, несешь в себе некоторый клубок мыслей, клубок порывов, — на который какой резонанс в наших провинциях? с их голубым небом и такими звездами? При Лютере, при Микель-Анджело, каждый городок, каждый Салерно или Аугсбург, жил так, как и вся Италия или Германия. Те же «турниры», те же «миннезингеры», те же вопросы общие, «сколько ангелов может стоять на конце иглы». Почему же там было не жить Меланхтону, Лютеру, Леонарду да Винчи. В ту великую и вообще во все святые эпохи истории было равно жить, что в Афинах, что в Аргосе. Но поживите-ка «в Аргосе» в XIX веке... Так пять лет я выжил в Брянске, и вдруг эта же жизнь открылась в Белом: «Отчего вы сходили тогда не с червей: взяли бы ремиз». — «Так пришли бубны, король и дама?» — «А слышали, та замужняя сошлась с почтмейстером». — «А та барышня уж стара». — «Будет ревизия?» — «Нет, ревизии не будет». Именно с XIX века, с проведения железных дорог и «окончательной централизации», все стекло в один мозг, в столицы, оставив тело страны бесчувственным и почти бездыханным. Настал какой-то «окончательный папа», и «окончательная кокетка», и «окончательный министр», и «окончательный философ», который есть журналист «на все руки»... *Примечание 1913 года.*

² Со слов Рцы (начало переписки с ним — из Белого), да отчасти и комментируя (в душе) слова Рачинского (С. А.): «Я отскочил от Леонтьева-студента с каким-то ужасом и омерзением», — я, должно быть, сообщил Страхову, что Леонтьев был *utriusque naturae (sexus) homo* [обоих полов человек (*лат.*)], — с влечением к субъектам своего пола. Теперь, после «Люди лунного света», я смотрю на это совершенно спокойно, с мыслью — «не мое!», и далее этого не простирая осуждения. Это явление в античном мире было спокойно принято и вошло в открыто законом нормируемые явления; его философски и религиозно объяснял Платон, сам состоявший в категории людей этого цикла. Но затем под влиянием Библии, для которой, как для закона чадородия, люди *utriusque sexus* были в высшей степени враждебны (хотя в Талмуде есть одно место, говорящее о жителях Содомы, что «они забыли Бога от счастья», и вообще говорящее о них *(без отворачивания)*)... — под влиянием ужаса к Содому и Гоморре, точно занавес железный упал около этого явления, — и отделил его от зрителей, слушателей, от законодате-

между тем это одно из отвратительных явлений. Религия, искусство, наука, патриотизм — самые высокие предметы вдруг подчиняются самым низким стремлениям, развратной жажде наслаждения и услаждения себя.

лей, царей, ученых, иереев. Явление, однако, продолжало существовать. Но оно никогда даже не называлось полным именем и вслух, — и это умолчание было всего более причиною такой страшной вражды к нему, вражды и презрения, злобы и омерзения, что этот «грех» стал тягчайшим отцеубийства и детоубийства. Затем были попытки защитить его, своим крахом еще углубления презрения к нему. Прошли, таким образом, тысячелетия абсолютной мглы над «мужелюбием» мужчин и «женолюбием» женщин. Пока появилась знаменитая книга Вейнингера — «Пол и характер». В начале же ее он указал на весьма часто встречающийся у женщин так называемый «узкий таз», «плоский таз», который есть попросту (и в том гениальная острота его наблюдения) мужской таз. Роды при нем невозможны: младенца приходится дробить на куски и вытаскивать мертвым. «Что же это такое?» — спросил Вейнингер. — И ответил, — как это лежит в природе, — что эти в высшей степени часто встречающиеся явления и никогда никем нравственно не порицаемые суть начало перерождения женщины в мужчину, суть уже начало содомии. Это — существа «со всем половым аппаратом женщины», но — «не могущие родить», стало быть «не должныствующие и зачинать»? Что же им остается и что они вообще есть?!! Ответ следовал и неодолимо шептался, что «остается» все то, что делается, а делается «есть» то, чего имени не произносится. Содомия вышла из-под покрова ночи. Мне кажется, вторым крупным шагом здесь была книга «Люди лунного света». Вейнингер я прочел до этого «узкого таза у женщин» и так был поражен, что «согласился со всем дальнейшим», — но «перелистывая» дальнейшее — бежал только глазами его всегда верные и изумительные наблюдения, отмечая его volo [хочу (лат.)] и «моральные суждения», вытекавшие из личной природы его как содомита (Вейнингер был, бесспорно, содомит) и мне совершенно чуждые. Книга «Люди лунного света», во всяком случае, произвела совершенно независимо от «Пол и характер» Вейнингера. Она открыла колоссальную религиозную роль бессеменных людей, — людей без способности и без призвания к оплодотворению (аналогия в растительном мире — махровые цветы, без семенной пыльцы); и — изумительное ее действие вообще на строй, на течение, на характер и направление всемирной цивилизации, цельной всемирной истории. Без преувеличения можно сказать, что «Люди лунного света» производит коренную переработку идеи плана всемирной истории, бросает совершенно новый свет на него. Явления самые возвышенные, необычайной мировой оценки себя, получили в «корень» себе, в «зерно» себя, то самое «проклятое» со времени Содома и Гоморры явление, о положительном и добром значении которого никогда никто не думал. Кое-какие явления «опустились», и параллельно начало подыматься «мужелюбие» — «женолюбие»: пока — уравнившись, как две бадьи из колодца — они сцепились и перелились одна в другую. В этом «переливании» вод из бадьи в бадью», в сущности, переместились все всемирные оценки: и нельзя не назвать это «магическою бадью», «магическим сосудом», где все замесилось и откуда все разъяснилось. Это и prima philosophia, и primum movens [первая философия и первая причина (лат.)]. Из utriusque sexus — гений лиц, гений Сократа, Платона, гений и нашего Леонтьева. Это суть Люди Тайны, Люди

И все это получает особый оттенок; в религии — «священное волшебство», как прекрасно выразился Арх. Антоний, и сладострастная борьба между грехом и страхом; в науке — дилетантизм с подчинением любимым целям; в искусстве — услаждение всякою пакостью, мужеложством, роскошью, всякою внешнею красотою (интересно, что Леонтьев не имел никакого понятия о достоинстве стихов и даже о размере); в патриотизме — мечтания об аристократии, о всякой власти и гордости и т. п.¹.

Мне известно немало людей подобного направления; таковы процветающие до сих пор кн. Мещерский, поэт Апухтин и пр. Другие идут в эту же сторону, но на полпути удерживаются совестью и умом. Лучше не буду никого наказывать. Меня очень возмущает это нравственное уродство, и я с ним никак не в силах помириться. И подобные господа осмеливаются нападать на Л. Н. Толстого и выставлять его заблудившимся и вредным. Эти сгнившие сифилитики приходят в ужас от человека, у которого иногда на полчаса высыпает крапивная лихорадка.

Неисповедимости, — врожденные маги и иереи (не в церковном, конечно, значении) человечества, его вожди, законодатели, пророки, предсказыватели. Из них же был Рафаэль, — несмотря на (бездетную) возню с Форнариною; были отсюда и Микель-Анджело, и Леонардо да Винчи; был отсюда — Шекспир, *отчасти* отсюда — Гёте. Вдруг все изменилось. Чего «назвать вслух нехорошо было» — засветилось как *личная особенность* первых гениев человечества. Явно, что Леонтьева тут уже не приходится «обвинять». Я пишу это совершенно открыто, потому что, несомненно, в ближайшем будущем должна начаться переоценка вообще этого колоссально-значительного явления; оно должно получить другие меры, другие законы, другие мысли о себе и просто — себе. *Примечание 1913 года.*

¹ Здесь Страхов тоже *глубоко прав*; прав не меньше, чем Леонтьев. Вообще «мы» не меньше правы, чем люди лунного света с их «платонизмом», с эстетикой, героизмом, звоном и высокими звездами. — «Звезды-то звезды, а ты *мой рубль подай*», — говорят мозолистые руки. — «Ты мне херувимской не пой, а разведи с женой, потому что она сбежала к актеру, а мне варить варево некому, да и баба нужна». Попросту... Страхов гениально становится на сторону «попросту». Это не «отскакивание в сторону» тоже эстета-Рачинского, которое бессильно победить лунный свет, ибо, в сущности, само имеет зерном эстетику и этот лунный свет, «нравится» и «не нравится», «хорошо» и «отвратительно». На «отвратительно» Рачинского Леонтьев всегда может ответить: «А мне — *нравится*». Напротив, Страхову ему нечем будет ответить. Щи, хлеб, правильное жалованье, правильная постоянная баба — это «кит», на котором «все держится». Леонтьев может сказать: «А музыка?» — На это мы скажем, что *музыку мы слушаем*, а «сами — не музыканты», и «к литургии придем» — *но* «сами не иереи»; и добавим, почесав затылок: «Мы — земледельцы, *геоморы*, и если хлеба не наработаем, то умрет и *музыкант*, и *иерей*». Вот — разграничение, и — примирение. Леонтьев — великий принцип, но — не весь. Он — *прав* (в эстетике), но — и ограничен. Хотя Страхов тоже не вправе восклицать: «Отвратительно», ибо хоронит этим

Шум божественной эллинской речи...

(из какого-то стиха). *Примечание 1913 г.*

Будет мне, однако, злобствовать. Посылаю Вам свою статью. Ну! какова же глушь, если нельзя найти даже «Нового Времени»!

Рецензию на «Мир как целое» Вы, пожалуйста, пишите. Как возможно, чтобы для нее не нашлось места!

От души желаю Вам здоровья и всего истинно хорошего. Платон Александрович¹ постоянно об Вас спрашивает и Вам кланяется. У него все благополучно, хоть он и не очень весел.

Простите Вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

22 апр. 1892 г. Спб.

LVI

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Ваши печальные размышления о некоторой *ненависти* между людьми, может быть, пришли Вам на ум также от моих резких суждений о разных литературных явлениях. Когда я вспомню, как Вы расположены к нежности и к идеализации, то живо представляю, что на Вас мои порицания должны действовать неприятно. Но не думайте, прошу Вас, что во мне говорит ненависть, — нет, скорее простая трезвость взгляда. Есть вещи дорогие, которыми поступаться никогда нельзя. Грехи К. Н. Леонтьева его личное дело и не в них важность. Кто же свят, кто может бросать камни в других? Но важно разращение мысли, грех против Духа Святого.

Пишу Вам наскоро, и, главное, вот по какому поводу. Если Т. И. Филиппов читал Ваши статьи и очень хорошего о них мнения, то вот Вам покровитель, который может Вас совершенно устроить. Он великий любитель литературы и постоянно благотворит писателям. Он может дать Вам место в контроле, притом такое, что оно не будет Вас обременять. Говорю Вам наверное: если Вы к нему обратитесь, он самым усердным образом примется Вас устраивать.

Да, слава Богу, есть у нас Леонтьевы, Филипповы и многие другие — люди с талантом, с большими душевными силами, мало известные большой публике. Хорошо и то, что есть и переизвестный Соловьев (он написал против моей *Справедливости* и пр. преехидную статью в «Русск. Обозрении»); теперь Вам раздолье — есть кого судить, есть чем восхищаться — что Вы особенно любите. Но только стойте крепко на своих ногах, а не то все будет ни к чему².

Простите меня! Дай Вам Бог всего хорошего!

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1892, 11 мая. Спб.

¹ Кусков. *Примеч. 1913 г.*

² Какой прекрасный, благородный тон. Вот *мудрость старости* и та высшая справедливость, какая вытекает не из равнодушия ее, но из того, что старость все видит, все озирает, оглядывается назад, глядит вперед; *ничем* не увлекается и все забывает для Бога. Юноши, — помните старость, и в увлечениях возраста своего «отложите нечто» для этого последнего десятка лет, который благословите как самое лучшее, когда все пройдете и всем пресытитесь. *Примеч. 1913 г.*

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Если Вы сердились на меня, то Вы были не правы. Тысячу раз я думал об Вас и собирался писать к Вам. Нужно было и благодарить Вас за две Ваши статьи, за разбор «Мира» и за «Фазисы» в «Русск. Обозрении». Сколько тут для меня приятного. Предполагаю, что «пленка благоразумия», в которой Вы меня упрекаете в «Русск. Вестн.», есть опечатка, хотя и не мешающая понять Ваш упрек. Но я все больше начинаю дивиться, каким образом я успел привлечь Ваше сочувствие. Ведь я пишу сухо, холодно, рассудительно; а Вы так и порываетесь ко всему теплomu, увлекающему чувству и воображению. В разборе «Мира» весь параграф V принадлежит Вам, хотя Вы эти мысли приписываете мне: так Вам не хочется остановиться на той границе, где я остановился! Немножко удивило меня, что Вы говорите о *прихотливости* моих очерков, о *прихотливом перебегании* от одного предмета к другому. Уверяю Вас, что ничего подобного у меня нет, а напротив, слишком много последовательности и связности. Но, простите, не стану Вам возражать и подробно разбирать Вашего разбора. В письме это сделать невозможно, а можно только сказать, что я Вам душевно благодарен. 1 ноября появится разбор «Мира», писанный Лопатиным — жду не без нетерпения.

А вот Вам новая пища: в «Вестн. Европы» за октябрь статья С. Трубецкого о К. Н. Леонтьеве. Статья жестокая: в отношении к Леонтьеву она меня почти радует; но ведь она писана, чтобы посредством Леонтьева уронить славянофилов и чтобы поднять знамя *вселенской правды* Соловьева. «Борьба с Западом», уверяет Трубецкой, теперь уже *опошллась*. Данилевский — *зоолог в славянофильстве* и т. д. Очень неприятно все это велееречие московских пророков, за которым не стоит ничего ясного.

Но скоро и мне, кажется, придется просить Вашего снисхождения. Я пишу «Несколько слов об Ренане» и, правду сказать, пишу без особенной охоты¹.

Пока — простите! Не забывайте меня Вашими письмами. Как Вы верно заметили, что Соловьев втайне² меня ненавидит! Но Вашей похвалы, что я

¹ Статья его о Ренане — одна из самых прелестных (в «Борьбе с Западом»). *Примеч. 1913 г.*

² Да, — *было!* И за что?! Страхование не был гений. Но он вот как «комендант Белогорской крепости» («Капитанская дочка»): тоже стоял верно и честно на страже той науки, философии, литературы, какую знал и какая была. Был «обыкновенный пропедевтический человек» (Радлов) и тут был чист, как дитя или как Андреевский кавалер. Что он был «не гений» — до этого было мало дела Соловьеву, это было «тем лучше» для него. Но его голубиная чистота в небольшом деле измучила «великого публициста» и «мирового философа», — и в другое бы время, в иных странах, в средневековье, он бы вообще предпочел «дышать во вселенной один», без этого на него устремленного глаза бескрылой старой птицы, полуголодной, но в белом оперении. Вот это перышко его и измучило. *Примеч. 1913 г.*

«встал выше минуты», я не принимаю; ничего такого я не делал, не заметил за собою (я поправляю *стал* вместо *встал* и говорю в этом смысле). Что касается до оттисков, то тут трудно водворить порядок, и при всех моих стараниях Берг успевает обижать и меня.

Все это я отвечаю на Ваше письмо 12 мая; мне помешало отвечать наступление каникул; а второе Ваше письмо пришло, когда меня не было в Петербурге.

Прошу прощения за все это и от души желаю Вам всякого благополучия.
Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1892, 7 окт. Спб.

LVIII

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Письмо Ваше очень огорчило меня. Во-первых, оно так сухо и нелюбезно, что я подумал, Вы недовольны мною за что-нибудь, но не могу догадаться за что, потому что ни в чем не виноват перед Вами. Вы ни слова не пишете о себе, и ни о чем другом, кроме моих недостатков. Тут какое-то недоразумение; мне показалось странным выражение *пленка благоразумия*¹, но я очень

¹ В статье моей о Страхове; упрек или полуупрек молодой и неопытный. Кто без «пленки благоразумия» проживет, если он не свободен, если вступит в многообразные с людьми связи и отношения, в которых (отношениях) он не есть господствующий и верхний, а или — нижний, или — всего чаще и обыкновеннее — средний, промежуточный. Таким образом, невозможно за «пленку благоразумия» упрекать человека, как горло и легкие нельзя упрекать, если они кашляют от пыли, — и нельзя упрекать вообще *существо человека* за его болезни и слабость. «*И рад бы, да сила не берет*». «*Рад*» бы — это есть добродетель», а «*сила не берет*» — тут никакого нет порока, а — *жалость положения*. О ней все скорбим с Адама, и об этом нечего разговаривать. «Пленки благоразумия» не было у Калигулы, у анахоретов в пустыне и у Диогена в бочке: но Страхов жил не в бочке, не в пустыне и не на троне. *Примечание 1913 года.*

Р. S. Пожалуй, как *учитель гимназии*, я имел некоторое право на этот упрек. Учителя кто может не обидеть? Обижает общество, в сущности и самым злым образом — обижают (ничего не ведающие о положении учителя) ученики, высокомерно обижает округ и окружное чиновничество (замечательно: *никогда* не обижает директор гимназии, даже самый сухой и чиновный). В силу этой необыкновенной приниженности учителя, у них есть «общее правило поведения», которое я называю абсолютным отсутствием «пленки благоразумия», и учителя очень зорко следят друг за другом, чтобы этой «пленки» ни у кого и *нисколько* не появлялось. Поэтому все они, в сущности, «петухи», очень ревнивые к своей независимости, не пасующие никогда перед директором и «манкирующие» начальству. Это — очень милая в них черта, чрезвычайно трогательная. К несчастью, они совершенно плохо учат (не умеют учить), но в смысле «чести» — часто доходят до рыцарства и

хорошо понял, что Вы хотели сказать. Все-таки за указание моих недостатков я Вам благодарен — Вы правы, хотя я смотрю на дело несколько иначе.

Но всего хуже то, что Вы просите, — нет, не просите, а просто желаете или требуете от меня совета об деньгах. Деньги величайшее зло потому, что кто не умеет их держать в руках, тому они вечно бывают нужны, тот осужден на то, что их никогда у него хватать не будет, и он постоянно будет мучиться мыслями об их добывании. Мне очень приятно было узнать, что Вам хорошо платят; 80 рублей за лист и 10 коп. за строчку — хорошая плата, по моему мнению. Правда, я получаю 100 руб. за лист и 15 коп. за строчку, но только недавно, не более пяти-шести лет, а прежде получал меньше Вашего. Право, не умею Вам посоветовать; может быть, при нынешнем развитии печати, Вам можно получать и больше, но все-таки незначительно больше. Вы заработали 1000 руб. в 10 месяцев, и Вам кажется это мало¹. Мне не кажется. Прежде, когда я жил исключительно литературой, я зарабатывал до 2000 и более, но я их зарабатывал преимущественно переводами, больше

героизма. Один из таких был упомянутый выше Строганов в городе Белом, уволенный помощником попечителя Садоковым (Кон. Ив.) в чистую отставку за «неумение служить с начальством» (директором гимназии), каковое «неумение» выразилось в том, что — будучи учителем древних языков — он взял из гимназической библиотеки книги, чтобы за лето подготовиться к чтению классиков в следующем году. Директор потребовал, чтобы он «поставил на место их» (казенная собственность), тот — не послушал: директор (чего вообще *никогда* не бывает) нафискалил в округ, и учитель был уволен без всякого объяснения, и не был выслушан ни в каких оправданиях (т. е. не приняли самую попытку оправдаться). *Прим. 1913 года.*

¹ Просто не узнаю себя, — но почти уверен, что Николай Николаевич Страхов чего-нибудь не понял в моем письме. Я так был обрадован первому гонорару в 110 рублей из «Русского Вестника», присланному при любезной записочке Ф. Н. Бергом, и настолько был доволен вообще этою платою (и *до сих пор* обычно в журналах, не споря, получаю 100, 80, 75 рублей, *никогда больше*, — а у Шарапова и у Перцова — Мережковских в «Нов. Пути» писал вовсе бесплатно), что вопрос высоты платы мною никогда и ни в одной редакции не поднимался, предлагаемое — никогда не оспаривалось. Иное дело — следующее: и Берг, и Александров («Русский Вестник») и «Русское Обозрение») вскоре перестали *вовсе уплачивать*, отговариваясь — «нет денег» и «уплатим потом». Но этот воистину ужас положения настал только потом, по моему переезде в Петербург, приблизительно в 1894, и дальше, годы. «Денег нет» всегда, и я выпрашивал, вымалывал за статьи, уже месяца 2—3, иногда более, иногда полгода назад, напечатанные. *Без сомнения*, я у Страхова спрашивал, как «вообще обходиться с деньгами», почему у меня всегда их не хватает, «хотя платят отлично, 80 рублей в журналах и 10 коп. за строчку, и я выработал в год 1000 рублей», тогда как не «на 1000 же живут писатели, публицисты, газетчики, *не имеющие государственной службы*, каких большинство». Вот это, вероятно, и было в моем письме, и некоторые строки письма Страхова показывают, что письмо было именно «спрашивающее» и «недоумевающее», а отнюдь не претенциозное. В этот 1892 год этого тона и *этого смысла не могло быть. Примечание 1913 года.*

всего с немецкого. Вообще же я всю жизнь прожил на очень малые деньги. За редакцию «Зари», и прежде — «Отечественных Записок», я получал только 100 рублей в месяц¹. Что делать. Умственный труд не такое дело, чтобы можно было точно переключать его на деньги.

Ваш фельетон «Еще о мозаичности»² и проч. привел меня в восхищение. Вот величавый и спокойный тон, вот философское течение мыслей. Но, уж извините, конец я нахожу скомканным и темным.

«Он и не подозревает, к какому трудному вопросу подошел» и проч.

Отсюда и до конца — так смутно и неразборчиво, что страх. Дон-Жуан мало помогает, а химера, убитая во Фригии, — чистая загадка.

С самую мыслью, которую Вы высказываете в этом конце, я, конечно, не согласен. Во временном воплощается вечное, и между ними нет коренного раздора, нет вражды на смерть, и все это не лежит за пределами ума.

Скоро пришлю Вам мою книжку «Воспоминания и отрывки»³.

Простите, от души желаю Вам здоровья и всего хорошего.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1892, 25 окт. Спб.

¹ Удивительно... Конечно, в радикальных и либеральных изданиях дело обстоит совершенно иначе. Все те — и «редакторы», и «сотрудники» — отходили от литературы с домами, с состояниями (Краевский, Некрасов, Благовосветлов, Стасюлевич). Входя в консервативную, а вернее — в *уважительно-народническую* литературу, писатель знал заранее, что он — входит в бедность, в вечную угрозу нуждой, причем размеров этой угрозы совершенно невозможно предвидеть; и выходит, имея крики за спиною из-за стола жирно кушающих литературных бар: «видите — *его*, видите — *куда он идет*: он идет сманиваемый *богатством*, сманиваемый *щедрой наградой правительства*». Так Страхов «служил правительству», а Владимир Соловьев «страдал от правительства»; так Достоевский, в квартире Свечного переуллка, «загрэбал деньги от правительства», а Стасюлевич в своем каменном доме на Галерной улице был «угнетен правительством». И т. д. Так как консерваторы презирали отвечать на это, а те, за жирным столом, все-таки этим молчанием не стеснялись и продолжали орать: «*Мы — ушли в стан погибающих, — за великое дело любви*», а «Достоевский, Страхов и Константин Леонтьев находятся в стане *ликующих, праздно болтающих*», то этот монолог — один утвердился в обществе, ему верили в провинции, да еще и до сих пор эта легенда не вовсе рассеяна. *Правдивой биографической литературы у нас вовсе не написано*, и, конечно, не Венгеров, не Скабичевский и не Овсяннико-Куликовский, равно не Рубакин станут рассказывать гимназистам и студентам денежные секреты литературы. *Примечание 1913 года.*

² «Московские Ведомости»; полемика с Михайловским. *Примечание 1913 года.*

³ «Воспоминания об Афоне» и проч. *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Истинно утешили Вы меня своим письмом. Наконец-то! Да тут какая-то теплятия: все последние дни я думал писать Вам и как-нибудь затронуть Вас за живое. А Вы вдруг отвечаете мне на мои мысли. Очень грустно иногда оканчиваются самые лучшие отношения¹. Сперва люди сближаются своими общими сторонами, и это им очень радостно; но потом они узнают друг у друга и другие стороны — связь слабеет и даже переходит во вражду². Ваши первые письма ко мне были для меня большою радостью; потом я убедился в Вашем прекрасном таланте — новая радость. Откуда могли возникнуть неудовольствия? Но вот Вы пишете, что из-за К. Н. Леонтьева. Значит, *Вы рассердились*; потому что я ничуть не изменял своих чувств и ничего не мог понять в Вашем охлаждении. Я думал, что Вы обиделись за резкие мои мнения об Ваших статьях, что я взял слишком развязный тон. А выходит другое. Вот Вы какой ненадежный человек. По случаю денег, я и в мысли не имел подозревать Вас в жадности; напротив, я, как Вы знаете, подозревал

¹ Увы — да! Ах, люди: культивируйте дружбу. Нет более достойного сада для поливки, для удобрения, для постоянной заботы. Сколько забот, усилий мы кладем на службу, на деньги, на увеличение состояния; тогда как *хорошая дружба* — когда оглянетесь назад перед могилой — окажется дала вам более счастья, больше хлеба, больше чаю, чем «высокопоставленность» и богатство. «Хорошая дружба» — применяя материальные измерения, — то же, что «теплая и сухая квартира» в общем укладе зимнего устройства. Без «теплой и сухой квартиры» не радуется стол, не радуют гости, даже жена и дети «только раздражают». «Все — сыро», «все — холодно»... Поэтому «хорошая, долгая дружба» — второе после *семьи* и неизмеримо ценнее службы и богатства. А *трудно* ли приобрести ее? Да *будь сам другом другому* — и уже друг *отзовется*. *Примечание 1913 года.*

² Ужасающая вещь, то есть *вражда*, в которую (очень редко) вырождается дружба. Тогда лучше предусмотрительно и издалека надо перестать видеться. Весьма нередко дружба кончается из-за «неоказанной услуги», «неоказанной помощи». В сем случае — это *ложный конец*, и даже едва ли он не заканчивает, в существе, *ложной дружбы*. «Дружба» не должна истекать из общности путей и из нужды «взаимопомощи». Доселе — *товарищество*, *со-путничество*, и это далеко еще не дружба. Великое слово «друг» применимо к «душа в душу», — иногда душ очень различных, убеждений — вполне несходных; но так, чтобы «впадинки» одной души вкладывались в «выпуклости» другой; чтобы была в сущности *гармония*, — и, м. б., не одна душевная, но и телесная, двух существ. «*Не знаю, почему-то нравится*», — «почему-то он мне симпатичен»: это — *корень* всего, корень настоящих, глубоких дружб. Вообще «*de amicitia*» [«о дружбе» (*лат.*)] можно и нужно написать целый трактат. Глубокое об этом исследование, — в нашей литературе совершенно новое по теме, — написал священник-профессор *Павел Александрович Флоренский*. *Примечание 1913 года.*

Вас в избытке тароватости. Вообще я часто со страхом думаю об Вас. Что Ваши сношения с Т. И. Филипповым? Ведь Вы недовольны местом в Белом. Отчего Вы никогда не пишете о Ваших личных обстоятельствах.

Статья Ваша «Сумерки»¹, конечно, очень хороша, из лучших Ваших статей, хотя я слышал жалобы на темноту изложения. Но статья «Цель жизни» (а ведь Вы у меня похитили заглавие?) я никак не могу похвалить — точно не Вы писали. Великое стремление к точности и раздельности, но в самом деле немало смутности и смешения².

¹ «Сумерки просвещения» — написаны уже в г. Белом; считаю ее из лучших своих статей; может быть (вместе с «Афоризмами и наблюдениями», как *окончанием* их), это даже самая лучшая, верная, *окончательная* статья из всего мною написанного. Собственно, ни в «Месте христианства», ни в «Легенде об инквизиторе» я не был зрел; и вот это *зрелое*, удовлетворяющее меня и до сих пор, появляется впервые здесь. *Примечание 1913 года.*

² Мне самому совершенно не нравится. Она написана была студентом, на IV и, может быть, даже на III курсе; и тщательно потом обрабатывалась. Не понимаю, почему «у Страхова взял заглавие»? У него я не знаю такой статьи. Но вот великое, что мне не удалось как-то выразить в этой статье:

Sunt destinationes rerum.

Sunt metae rerum.

И —

primae sunt divinae,

secundae sunt — humanae.

[Есть предназначение вещей.

Есть цель вещей.

... первое — от Бога,

второе — от людей (*лат.*)].

Здесь различается *мир божественный* в природе, и — *мир случайный* — *произвольный* — *людской*. Вся книга «О понимании» выросла в тот поистине священный час, *один час* (за набивкой табаку), — когда, прервав эту набивку, я уставился куда-то вперед и в уме моем разделились эти *destinationes* и эти *metae*, с пропастью между ними... Отсюда *до сих пор* (57 лет) сложилось, в сущности, *все* мое мирозерцание: я *бесконечно* отдался *destinationes*, «как Бог хочет», «как из нас растет», «как в нас заложено (идея «зерна», руководящий принцип всего «О понимании»), и *лично-враждебно* взглянул на *metae*, «мечущееся», «случайное», что «блудный сын-человек себе *выдумывает*», в чем он «*капризничает*» и... «проваливается». Этим «часом» («священный час») я был счастлив года на два, года на два был «в Пасхе», в «звоне колоколов», — воистину «облеченный в белую одежду», потому что я увидел «*destinationes*», — вечные, от земли к Небу тянущиеся как бы растения, вершины коих держит Бог, поистине «*Все-Держитель*». Отсюда, теперь я припоминаю, вырос и мой торжественный слог, — так как «кому открылись *destinationes*, — не вправе говорить обыкновенным, уличным языком, а только языком храмовым, ибо он есть жрец, не людьми поставленный, а Богом избранный: т. к. ему одному открылась воля Божия»

А я написал о Ренане, об Фете — все я поминаю покойников¹. Теперь вдова Фета просит сделать издание всех его стихотворений. Принялся я собирать его письма — очень живо чувствуется, что жизнь прошла уже, кончена, что пора сводить последние счета². Вдобавок, я болен, болело ухо, и вот уже больше месяца сижу дома, один среди своих книг³ — свидетелей не исполненных замыслов и любознательности, превышающей меру моих сил. Не могу сказать, однако, чтобы дурно себя чувствовал.

(*destinationes* в мире), и т. д. Я хорошо помню и отчетливо, что, собственно, с этого времени я стал и религиозным, т. е. *определенно и мотивированно* религиозным, тогда как раньше только «скучал (гимназическим) атеизмом», не зная, куда его деть, и главное — *куда выйти* из него. Вот «куда выйти» — и разрешилось в тот час. Это было тоже на Воробьевых горах, но за несколько лет до 1892 года, вероятно в году 1880-м. «О понимании» раскрывало одно из *destinationes* — *умственное, мозговое*. «Разум — *потенция* всех наук; и, следовательно, *уже теперь* из рассмотрения Разума определяются все будущие науки, все *Полное Ведение*, — разумеется, лишь в схематических линиях, а не в материальном составе». И т. д. *Примечание 1913 года*.

¹ Все мы под старость «поминаем покойников», и вот (57 лет) мне теперь живее, чем окружающие меня живые, — «покойники» Рцы, Шперк, Страхов. Что это? Какая таинственная связь? Отчего она так жива и дорога? «Что-то веет оттуда»... «Откуда? «что веет?» Руками не умеешь схватить, а сердце чувствует... И страшно, и радостно. Но вот еще что: после смерти *все благоуживается*, и «покойник» действительно как-то «благороднее живых». Да уж не суть ли они немножко «боги»? «Светлые души их блуждают там», и они, правда, как небожители, «отчерневшись здесь». *Примечание 1913 года*.

² Так вот и я торопливо издаю теперешние книги, с neodолимым чувством — «нужно подвести итог», «скорей, — не успеешь», и тогда «никто не сумеет разобраться» (сгруппировать статьи). Что это? Что все значат эти призраки. *Прим. 1913 года*.

³ Удивительное было количество, красота и смысл книг. Тут я видел (впервые и единственный раз в жизни) «Principia» [«Начала» (*лат.*)] Ньютона, в первом и во втором (друга Ньютона) издании; и *editiones principes* [основные издания (*фр.*)] Джордано Бруно. Особенно один шкафчик, возле дверей: «первые издания» всех величайших философов мира. Книги занимали *все поле стен* страховской квартиры (и прихожей), — с выбросом всех, довольно многочисленных и бесплатно им получаемых, журналов (продавал с весу татарам). Все это были *исключительно классики ума человеческого*, и — поэты (но уже с меньшей полнотой и выбором). Из портретов кроме его собственного (неудачного — работы Репина) — еще помню портрет Ап. Григорьева. Кажется, даже портретов Н. Я. Данилевского и Достоевского не было. Над кроватью его, во второй комнате, было несколько картин, между ними «День» и «Ночь» Микель-Анджело. Эта и была над кроватью, прочие — подальше. Никаких кушеток и никакой мягкой мебели у него не было, — кроме кожаного дивана под собственным портретом, куда садились пившие чай. Постоянно по средам у него бывали — Кусков и Стахеев (сожитель по квартире в давнее время, но без всякой нравственной связи со Страховым), часто — Радлов и Майков (Ап. Н.), реже — В. Г. Васильевский (византист) и проф. Каринский (философ). *Примечание 1913 года*.

Вы как-то напали на меня за сочувствие словам Тэна, и уверяете, что Вы ариец, а потому не сочувствуете нирване¹. Но ведь буддизм — арийского происхождения; семиты именно отличаются жизнелюбием² (несмотря на

¹ Тяжело сказать, но не могу скрыть, что в кабинете Страхова была и статуэтка противного Будды. Противного — потому что он безбожник. А безбожный мудрец хуже верующей собаки. С верой — весело; с верой — хорошо; с верой — «люблю» и «любим»; с верой — растут яблоки, цветут вишни; при вере — барышни танцуют. Но какой же вальс затанцуешь в нирване?! Будда или знаменитый шопенгауэрровский «Сакья-Муни» испугался 1) болезни, 2) старости и 3) смерти. Положим... Чернеет все при виде смерти. Так. Скорбим. Мучимся. Не уменьшаем ее. Но ведь она что-то *прекращает*, что-то *останавливает*. — Что??!! — *Путь! Жизнь!...* Пусть жизнь *кончится*, и это действительно ужасно, рыдательно: но рыдательно от того именно, и даже *лишь в меру того*, насколько она *была и есть прекрасна!* Смерть потому только слишком черна, что *жизнь слишком светла!* — *Была и есть!!!* А, так вот в чем дело: **конец** страшен, ибо великолепен **путь!** Этот-то великолепный **путь** и погашал Будда, чрезмерно испугавшийся, тогда как самый испуг должен быть умерен, не должен быть чрезмерен, и *ни в каком случае* не должен отбрасывать тени назад, на самый путь. Ибо если нет «пути» — нет и «конца», и поистине смерть не страшна тому, кто *не жил*. Будда, чтобы избежать «смерти», и изобрел это «не жил», «не живите» (заповедь), «ничего нет» (нирвана). Он победил смерть... да! Но какую ценой? Погасив жизнь. «Пошел на базар купить корову, но, испугавшись, что может купить ошибочно, — взял да и потерял деньги: теперь ошибки не будет». Печальное «не будет». Будда возвращает мир к «до сотворения мира», и «нирвана» его в сущности совпадает с тем «хаосом», где «не было ничего видно», — **но откуда потом все возникло**. Это **все** «до сотворения **всего**», именуемое «буддизмом», — очень глубокомысленно, очень головоломно; но не возмещает одной прелестной улыбки, с которою поутру девушка выходит в сад и, нарвав свежих роз, возвращается в свою комнату, и, поставив их в стакан с водою, — на них любуется. Правда — розы увянут, и стакан разобьется, и девушка умрет; но отчего же, однако, я буду больше сосредоточиваться мыслью на этом «через 30 лет», и — тоже «утро», и — тоже «час», когда девушка будет умирать, а стакан будет разбиваться, чем вот на этом **теперь** стакане и розах и девушке и улыбке? Грозные и печальные изречения Будды, или (соответственнее натуре «безразличной» нирваны) мычания Будды, не доказаны в том, не доказаны до тех пор, пока сам Будда или кто-нибудь из учеников его не доказал, почему в том будущем часе, угрожающем часе, **бытия больше**, чем в часе теперешнем и счастливом?! Там — бытия **не больше**. *Количественно* — там столько же бытия, т. е. в *часе* на 1913 г. столько же бытия, сколько и в часе 1920 года (когда, положим, я умру). Но суть в том, что **путь есть движение**, — и уж так не Будда, а Господь устроил, что в движении **бытия больше**, чем в покое, и в ходьбе больше бытия, нежели в «лег и уснул». Посему-то Бог-Вседержитель и есть *благой*; а — не *черный*, как Будда, которого надо просто отодвинуть. *Примечание 1913 года.*

² Очень глубоко... Самая *суть* семитизма, юдаизма — есть *жизнелюбие*, есть вечная «земля» и «земное». И только оттого, что семитизм вечно «с молитвами», ежедневно «с молитвами», — а у нас, христиан, молитва *всегда удаляет* от земного, ну согласимся — *возвышает над земным*, от этого

книгу Иова), и, очевидно, семитические влияния исказили некоторые из основных понятий наших о судьбе и назначении человека. Семиты поставили Бога так далеко от мира, что потом все усилия греческих мудрецов и подвижников не могли наполнить этой бездны, и наши религиозные взгляды составляют компромисс между пантеизмом арийцев и семитическим пред-

все вообще христианские богословы, все христианские толкователи Библии, приписали и ей это коренное христианское устремление «от земли к Небу», «разрыв с землею» и т. д. И через это, можно сказать, «провалили» (богословы) на все время своего бытия и на все время своего торжества настоящий, правильный и прямой взгляд на Библию, т. е. на фундамент собственных религиозных воззрений. *Обмолвка Страхова*, — однако, не длиннее, чем только обмолвка, — не должна быть, однако, опущена из внимания. Если бы он ее развил или начал в нее только вдумываться, — все его мирозерцание, вынесенное из Белгородского Духовного училища и семинарии тамошней, и лежавшее в нем фундаментом, в сущности, до самой смерти — начало бы перестраиваться. Этот фундамент вовсе не был плохой или легковесный. Составляет чрезвычайно благородную и великую черту Страхова, что, став ученым, знаменитым критиком и настоящим философом, — он тем не менее мудрым взглядом рассмотрел, что те «первые уроки в семинарии», бедненькие и слабенькие, от плохих (вероятно) преподавателей выслушанные, но которые суть порождение «всего сложившегося в христианстве», «всего сложившегося в церкви», за вереницу веков их бытия, — серьезнее, солиднее, возвышеннее, благороднее, чем шумящий «в веке сем» Дарвин и Спенсер, да и его любимый Гегель. Здесь и лежит грань мудрости, отделяющая его от «свинопасов» «Современника», тоже вышедших из семинарии, но которые неблагоразумно сейчас же побежали за Поль-де-Коком и Спенсером, как воистину «блудные сыны» Отчего Дома, как дети неблагодарные, грубые и пустые. Вот, собственно, громадное преимущество *серьезности*, какое он имел над Добролюбовым и Чернышевским; серьезности нравственной, серьезности умственной; серьезности и благородства. Он смотрел на этих писателей как на стоящих у ног своих, в бесконечном — *внизу*, там, где грязь, там, где *пыль*, там, где *суета*; понимая, чего *они никогда не были в состоянии понять*, что «хотя преподаватели в Белгородском училище действительно были плохие», и «попивали», и «льстили начальству», но *суть не в них*; что остается независимой и вечною та суть, что Псалом 90-й Давида «Помилуй мя, Боже», и «Книга Иова» из скучной «Священной истории Ветхого Завета» *Рудакова* — неизмеримо возвышается над 12-ю томами «Полного собрания сочинений» *Белинского*, в издании Солдатенкова, и над «Синтетическою философиею» Герберта Спенсера, которую тогда все читали и зачитывались... Он остался *спокоен* со своей «Белгородской семинарией»: принял все комья грязи и весь смех злобы на свое имя («*тупица* Страхов» — выражение Тургенева)... И когда пронеслись десятилетия, и вот теперь мы все разбираемся «в деле», мы видим, что могила его светится и имеет смысл, а те могилы потухли и смысла не имеют, как не имели и при жизни уже смысла. Ибо отвергли *вечное*, а он жил и умер с *вечным*, как «верный раб Великого Господина». «Помилуй мя, Боже»: вот *этих слов* на том свете никак не могут выговорить теперь Тургенев «с Виардо» и Чернышевский «с барышнями». А Страхов их выговаривает легко, ибо и на земле безмолвно читал их в скромной и тихой душе своей. *Примечание 1913 года.*

ставлением Бога. Помните — *неслиянно и нераздельно*, — «две природы», «две воли», «три ипостаси».

Однако простите. Не сердитесь на меня никогда; если же рассердитесь, то прямо пишите, за что. Я же буду вперед подписываться так, как один из моих милых знакомых:

Ваш преданный и в чувствах неизменный *Н. Страхов*.

1893, 22 янв. Спб.

LX

«Детский лепет, детский лепет! Странно и досадно читать, — так все незрело, слабо, косо! А какая жалость! Ведь дитя такое милое, доброе, горящее лучшими чувствами! А какой слог, какое прелестное течение речи, какая выразительность и образность, и в глубине — какое понимание высших задач жизни и вопросов мысли!»

Вот что я подумал, дорогой Василий Васильевич, прочитавши Вашу статью «О монархии». Меня просто сокрушают подобные явления. Я невольно вспомнил Влад. Соловьева. Разве не похоже? Разве не даровитый человек, разве дурно владеет словами? Но неисцелимая путаница мысли, не дающая ничему созреть и сложиться, сумбур самых высоких понятий, полная воля извержения всяких слов и мыслей, — погубили все плоды, которые мог бы принести этот талант. Вы мне во сто раз дороже и милее его, по Вашей сердечности и по свойству Вашего таланта, но Вам предстоит подобная же судьба¹. Вы написали мне письмо об Ваших недостатках, а также и о Ваших достоинствах; все очень верно, одно худо — я вижу, Вы не плачете об Ваших недостатках², Вы их себе простили; Вы ими чуть не хвастаетесь. Если так — беда.

¹ В *глубочайшей основе вещей* Соловьев был, в сущности, *вовсе не умнее* — «при всем гении»... Это есть целая категория людей, философов, писателей, политических деятелей, которые именно «при гении» — просто «не умны». Как это происходит, и почему, — трудно понять: а на ощупь — чувствуешь, «когда кончилось все» (смерть) — видишь. Именно — сумбур, шум, возня, пена, — конница стучит, артиллерия гремит. Час минул. И нет ничего. Один картон, да и тот порванный, лежит в стороне. Таковую роль имеет бесспорно «богословие» Толстого, на которое он *потратил столько усилий*, и «три единства», «три власти», «всеединство» чего-то, — и еще какие там «единства», которыми стучал Соловьев. Все — пустота. Кроме — стихов. *Примечание 1913 года.*

² Тут у меня есть немного хитрости: постоянно о недостатках плачу, — различая среди их губящие от поверхностных, но не на виду (скучно и не для чего), а про себя. Мне кажется, в противоположность предыдущим, у меня «гения» — нет; но очень много им недостающей «осмотрительности под ногами», которая меня не покидает даже в самых безумных экстазах. Все время сближения с Соловьевым я чувствовал, сидя в комнате, на извозчике, что около плеча моего «пена и прах», как с Толстым, в единственное свидание: «Он смотрит *только на себя, кроме себя, он ничего не видит*, — и оттого не понимает элементарнейших вещей в религии». *Примечание 1913 года.*

Мне горько особенно потому, что дело зашло о таких предметах, как *монархия, религия, наука*. Я чувствую, что эти важные вопросы опять тонут, опять извращаются и распускаются в тумане. *Гибнет работа мысли* — то, чем я всего более дорожу, чего нам недостает, что одно крепко и может нас спасти. Я с ужасом вижу, что русские умы движутся и управляются громкими словами¹, сладкими чувствами, всякими соблазнами красивых и восторженных чувств и форм, но что серьезно мыслить они не способны. Как все трудно на свете, как мучительно трудно. Февраль «Русского Обозрения» весь пропитан каким-то фанатизмом, т. е. слепым и неумолимым пристрастием². Удивительно, до чего мы дошли — никак я этого не ожидал! Качнулись в одну сторону³ и потом настолько же качнулись в противоположную! Спаси нас, Боже! Когда же это кончится? Часто одним утешаюсь:

Еще лежит ночная тень,
Еще далек прекрасный день,
Но благ Господь! Он знает срок,
Он вышлет утро на восток!

Мне нужно бы написать Вам возражения на Вашу «Монархию», но послушайте, если можете слушать:

Вы верно поняли, что при истинном христианстве никакая политическая жизнь невозможна⁴, — и не видите, что и монархия равно не

¹ Вот этого с начала литературной деятельности никогда не было: и по вульгарной причине. Я чувствовал, что *хорошо пишу*, что «Бог это дал». Для чего же мне «громкое слово», «громкая фраза», раз я вообще знал, что могу написать (пусть стыдно признаться) «великолепную *страницу*», т. е. написать что-то *больше* (пространством) «слова» и «фразы», строчки или трех строк, — написать во всех тонах, оттенках, и проч., и пр., и пр. «Фразистость» всегда есть «в помощь» бессилия; фразистость — литературное «на цыпочках». В таком не нуждался. Иное дело — очарование мечтою: мечты, и опять самой разнообразной — была бездна; мечтаний — *противоположных*, — начиная от «монархии» и до «братства всех» (республики) — откуда и рождалась «возможность всех *тонов*». Вообще, мне нужно было *сокращать* себя, *убавлять* «я» в «я» и еще в «я»; *упрощаться*... Эту множественность «я» в «я» Страхов и принимал за «порывистость», «невладение собою», «восхваление своих недостатков». Тут был «не *тот адрес*» и не то *имя*. *Примечание 1913 года*.

² Как хорошо все, как верно! Только «безмощные фразеры» радикализма, или оскопленные либералы вроде Стасюлевича, — не умели рассмотреть в Страхове драгоценную помощь гражданскому развитию страны, не умели рассмотреть прекрасного и глубоко свободного гражданина. Но Страхов — *думал*, а наша «гражданственность» всегда заключалась в этом «говоренье»: и *говоруну* возненавидели *мыслителя*. *Примечание 1913 года*.

³ Т. е. нигилизма и политического отрицания. *Примечание 1913 года*.

⁴ Суть политики, я думаю, отрицается *сутью* религии; о «сегодняшнем» и «здесьнем» (местном, «тутошнем») не думается тому, кто чрезмерно испуган или чрезмерно обрадован «вечным» и объемлющим Вселенную. Посему первоначально святой и политик или пророк и царь не совпадают... *Примечание 1913 года*.

основывается на Евангелии¹, как и республика²; Вы порочите древний мир и даже не упоминаете, что же представляет новый мир³, что он со-

¹ Все-таки суть *покорности*, содержащаяся, например, в идеалах апостола Павла, отвечает сути царского «верноподданного». *Примечание 1913 года.*

² Нельзя, однако, забывать, — а я во время писания «О монархии» совершенно об этом забыл: что средневековые *les cités*, средневековые «коммуны», были превосходным типом *республик*, — и уж, несомненно, не были «от Антихриста». Вообще следует помнить, что *новый тип* монархии, пожалуй, столь же глубоко атеистичен, как и тип новой республики; «австрийские чиновники», или «сподвижники Наполеона», или теперь «чиновники прусские» — насколько не более «христиане», — нежели современники Дантона и Сен-Жюста... *Наше время*, теперешний человек вообще, безбожны, — вот в чем дело; и, право, все равно с высших точек зрения, *что он устраивает, как он устраивает*. О них сказано, о *таких* городах: «Отрясите прах от ног и уходите вон отсюда»... Да и, пожалуй, таковы нынешние «иереи», что тоже, потолкавшись около них, — возьмешь котомку и палку и пойдешь куда глаза глядят.

В сущности, статья моя «О монархии», вызванная первым разоблачением Панамы, была задумана очень объективно в гимназии, т. е. в пору преподавания истории в гимназии, и именно — в Ельце. Очень спокойно, переходя к Августу, я думал:

христиане
императоры
германцы и кельты...

как все *совпадает!* как все — *одновременно!!*

И —

язычество
республики
эллины-римляне.

Опять — полное совпадение, совпадение по *трем линиям!*

Тогда-то впервые я спросил себя: да уж не есть ли *монархизм* естественная форма общественной жизни *христианской души?* И ответил, или у меня «ответилось»: — *Да!*

Где же центр, связывающий все это?

Христианство — абсолютный пессимизм,
Язычество — абсолютный оптимизм.

Одно (язычество) — радость о земле, надежда на землю, привязанность к земному; другое (христианство) — скорбь, мука и тоска о земле и на земле, и устремление «по ту сторону отсюда», «в пустыню», а всего вернее, тверже и основательнее — *за гроб*.

Теперь я определяю или «в душе моей определяется» язычество как какое-то космическое, планетное чувство «утра», чувство юности, молодости, детства; а христианство — как космический вечер, сумерки, близость ночи; как планетная старость, как планетная дряхлость. Во всяком случае, эта «слепая моя идея» не прошла, в сущности, и теперь; *юно* выраженная, она очень стара. И верным ухом Страхов расслушал здесь сквозь «незрелую политику» — очень мучительную проблему. *Примечание 1913 года.*

³ Очень глубока, очень ценна мысль Страхова. Действительно, мы все кричим: «Осанна! Осанна!» — а как оглянемся, то увидим везде духовные

здал? Роль христианства у Вас только разрушение, и ничего иного, как разрушение. И тогда монархия есть диктатура, есть учреждение высшей и всемогущей безусловной полиции над людьми, над хаосом личностей, — есть наименьшее и неизбежное зло. То, что Вы написали про Грозного, про Николая I и про французских королей, — это ужасно, и потому что косо, и потому, что может быть не понято в духе Вашей мысли, разумеется, милой и хорошей. Нет, не созреть нам в смысле истинных граждан! Идеал наш чересчур высок, и мы будем только плакать о его недостижимости и улаживать себя терпением и всякими нежными мечтами и чувствами¹. Мы слепы, решительно слепы, не можем видеть действительности; мы века останемся угорелыми, мечущимися куда попало. «Бородатые дети», — говорят об нас англичане.

Ну, простите меня, Бога ради, и не истолкуйте в дурную сторону моих выходов. От души желаю Вам всего хорошего и прошу верить неизменным чувствам

Вашего преданного *Н. Стрехова*.

1893, 23 февр. Спб.

Р. S. Все еще я нездоров, ношу повязку на ухе и боюсь много выходить. Пишите, сделайте милость.

консистории и красноносых заседателей в них с отдувшимися карманами. Вид сей ужасен, но ужас еще более увеличивается, когда заседатели духовных консисторий, поднимаясь с засиженных своих кресел, тоже вместе с нами и одобрительно к нам кричат: «Осанна! Осанна!» Тут — вспотеешь. Тут — такая тоска приступит к горлу, что «античный» и «новый мир» закружатся; и остановится кругооборот на таком градусе, откуда видны египетские аписы, римские Венеры, греческие купидоны и вся «прорва» их странных таинств. «Нет, уж если *так*, то я лучше хочу доить египетскую корову, чем одолжаться понюшкой табаку у секретаря духовной консистории в табельный день». Вспоминаешь древних богов; вспоминаешь минувшие века. Зовешь не «Вера! Надежда! Любовь!», а — «Эвредика!» и как их еще длинноволосые эллинянки. И если кого будут судить за это «в последние времена», то не нас, которые не знают, куда обратить взоры в последней муке, а тех, которые всех «повели за собою» и «управляли железом железным».

Нет, есть *что-то* — и не теперь, а вечно, не физически *есть*, а метафизически — почему античный мир вообще никогда не будет и *не должен* забыться. Самому христианству он для чего-то нужен, нужно это «напоминание у дверей», *голос* «в сновидении», «сон Навуходоносора». Упрек, угроза, что «Кто основал утверждения земли» с *того конца* — может Он же аккуратную скатерть христиан, где «все так расположились» за столом, — сдернуть с «другого конца».

И потухнет свет.

И все заплачут.

Вот для чего нужна улыбка Афродиты и «Ио, уплывающая на Зевсе во Фригию» (так, кажется). *Примечание 1913 года.*

¹ Очень хорошо. Есть минуты и «вершки пространства», где идеализм становится бесчестен. *Примечание 1913 года.*

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Много, много хотелось бы мне сказать Вам, и очень жаль, что не могу видиться с Вами и поговорить. Когда переберетесь в Петербург, может быть, — это еще удастся. Получивши Ваше письмо, вспомнил я о том раздражении, с которым недавно писал Вам. Прошу Вас, если что-нибудь такое Вас огорчило, простите меня. Мрачные мысли и раздражение нападают на меня часто. Не знаю, успели ли Вы понять что-нибудь в моих упреках, и не надеюсь объяснить Вам лучше дело и теперь. Мне очень мило Ваше душевное настроение и в статьях, и в том, что Вы пишете об Вашем ребенке (с которым от души Вас поздравляю) и о себе, и т. п. Но когда Вы пренебрежительно смотрите на свою литературную деятельность, когда в конце статьи говорите, что не можете признать того, что утверждали вначале (так, я помню, писал и Чернышевский), когда... Будет, будет! я чувствую, что раздражение во мне опять подымается.

Почему статья Волынского *подлая*?¹ Я вполне убежден в его искренности и глупой восторженности. Поэт Мережковский в своей книге «Об упадке» и проч. сказал, что Волынский есть ныне единственный воодушевленный критик, от которого можно многого ждать.

Бога ради, простите меня. Дай Вам Боже здоровья и всякого благополучия. Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1893, 28 февр. Спб.

Яков Петрович — есть Яков Петрович, — забыл Вам написать².

LXII

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

«Формуляр коллежского советника В. В. Розанова отправлен был в канцелярию Государственного Контроля 15 марта за № 4658. Из полученного ныне отзыва Государственного Контроля видно, что Розанов с 16 марта переме-

¹ Не помню: какая-нибудь *моментальная* моя вспыльчивость на какой-нибудь *оттенок тона* и пр. у Волынского. От души приношу ему извинение за тогдашнее дурное движение души своей. Волынский — не удачный, но уж во всяком случае добросовестный писатель русской литературы. Его критика на 60-е годы была *героична* и в истории русской литературы никогда не может быть забыта. *Примечание 1913 года.*

² Должно быть — о Полонском. Я получил от него поэму «Собаки» и, верно, хотел поблагодарить письмом, и запросил об имени и отчестве, которое *приблизительно* знал как «Яков Петрович», — но не был уверен, и для твердости запросил у Страхова, «*так ли*». *Примечание 1913 года.*

щен на службу в контроль с назначением на должность чиновника особых поручений VII класса при государственном контролере».

Итак, что же Вы не едете? В чем беда? Верно, опять в том, что лежит где-нибудь давно пришедшее извещение о Вашем переводе. Во всяком случае, я душевно рад. Пожалуйста, приезжайте. Мне нездоровится всю зиму и теперь уже неделю сижу дома.

Дай Бог Вам всего хорошего.

Простите Вашего преданного *Н. Страхова*.

1893, 31 марта. Спб.

LXIII

Или Вы меня знать не хотите, или уж очень погрузились в писание. Не зайдете ли завтра, часу в 9-м вечера? Впрочем, и остальные утра и вечера (кроме вечера вторника) прошу Вас к себе и готов побывать у Вас. Мы совсем не видимся¹. Но настали теплые дни, когда это непростительно; до июня я остаюсь в Петербурге, а потом уеду до холодных дней. Давайте видаться почаще.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1893, 15 мая. Спб.

LXIV

Вы говорили, дорогой Василий Васильевич, что по субботам свободны; если так, то не зайдете ли ко мне завтра около часу — пить чай и беседовать? А в воскресенье вечером я, по уговору, буду у Вас. Да и в другие дни — не удобно ли Вам будет заходить ко мне перед контролем? Тут так близко. Вот бы утешили, и мы перед отъездом, по крайней мере, наговорились бы.

Ваш душевно. *Н. Страхов*.

1893, 4 июня. Спб.

¹ «Не виделись», потому что один славянофил с длинной бородой все звал к себе: а у меня (сейчас после переезда) шла уборка книг, т. е. расстановка их по полкам в «классификации». И вот книги лежат на полу, все — в рядах, я запыхался, и дорога каждая минута: как опять зов от славянофила. А он был начальник, отказаться и «не идти» — неловко. И вот — иду. И сидим друг с другом, нос к носу, сопим. Слова не лезут, мысль не лезет никакая. «Ну, что же, братушки, — и, конечно, великолепно». «Православие и русские песни» — и опять прекрасно. Но что же далее? Так сопим часов до десяти вечера. Встаю, пытаюсь начать прощаться. «Посидите еще». Опять сажусь. Опять ни слова. Не о чем говорить. Он был единственный пример совершенно неразвитого славянофила, какого я за жизнь встретил; а очень высокопоставлен. Придешь в 12 часов ночи, с отчаянием посмотришь на лежащие на полу книги, и уснешь «глухим сном» ничего не сделавшего человека. Завтра утром — на службу. Обед. Сон. Но как коварный вечерний час — опять зов от славянофила: «посидеть». Тут я стал от славянофильства повертывать «влево». Ни в какой области цивилизации я такого сопенья без слов не ожидал и, вероятно, не было. «Вспомнишь эллинов»... *Примечание 1913 года.*

Дорогой¹ и многоуважаемый
Василий Васильевич,

Наконец я могу курить, думать и писать. 14 июня я был уже в Эмсе, но когда стал пить воды, почувствовал себя очень больным² и очень медленно оправлялся, так что не мог похвалиться приятным началом своего заграничного проживания. Слава Богу, все пришло теперь в порядок и впереди, надеюсь, все пойдет как по писанному.

Здесь нашлись знакомые, г-жа Резвая, сенатор Малковский и проч.; но, разумеется, почти весь день провожу в уединении и молчании — чего ради отчасти и устроил я себе эту поездку³. Хоть и лениво, но много думаю, и часто приходит мне на мысль Петербургская сторона и колония писателей, которая там живет⁴. Милые люди! Удивительно приятно мне это расшире-

¹ Все-таки должно быть лично я симпатичнее, чем в писаниях: несмотря на идейную переписку и все *связывающее*, что из нее вытекает, Страхов нигде в предыдущих письмах не переступал за далекое «многоуважаемый». И — сейчас перешел на более теплый эпитет, едва я приехал в Петербург. Отсюда правило для моих критиков: «*не все* в Р-ве так худо, как кажется в его *сочинениях*». Все-таки «человек» выше и *подлиннее* его «сочинений». *Примечание 1913 года.*

² Вот странное действие вод: значит, они *показывают* болезнь, ранее предполагаемую и скрытую, — которая была для самого больного незаметна. *Примечание 1913 года.*

³ Для «молчания» ездил — переутомленный разговорами и посетителями — Влад. Соловьев на Иматру; и, как я слышал, «чтобы хоть на ночь побыть одному» — Победоносцев садился в спальный вагон «Петербург — Москва». Не пишущие не могут вообразить себе той потребности «молчания», какая образуется у писателя, и оно есть одно и главное исцеление на их болезни и все. Вообще же и отдаленнее, еще вопрос, где *корень* цивилизации, в «молчании» или «шумной *ауры*» [народное собрание (*греч.*)]. *Одно* — корень, но и *другое* — такой же корень. Еще: в монархиях — молчание, в республиках — шум. И еще последнее; канцелярии — *тихи*, парламент — *говорлив*. Кто сильнее? Мировой вообще вопрос, что сильнее — «молчание» или «говор». Василий III «все дела решал *запершись* сам-третей у постели»: и победил бояр и удельных многочисленных князей; как Август победил патрициев. И, наконец, «пустынники» победили мир (история христианства). Вообще есть метафизика молчания, — и не решен великий спор, *кто* сильнее, оно или его вечное отрицание, говор, площадь, улица. *Примечание 1913 года.*

⁴ Это, кроме «длиннобородого», были Н. П. Аксаков, автор «Духа не угашайте» и других трудов богословских, стихотворных и публицистических; И. Ф. Романов («Рцы»), ничего заметного (в то время) не писавший; шумный С. Ф. Шарапов и — я. Страхов, изголодавшийся по *личному* славянофильству, по отсутствию живых славянофилов, «которых можно пощупать руками — и они шевелятся» (ибо другие — покойники), очень обрадовался, встретя через меня этот кружок. Но... Но... Все это было «издали», из «Торговой улицы», где он жил. *Примечание 1913 года.*

ние моих литературных знакомств. Нужно поддерживать друг друга и мыслью, и словом, и делом. Какие мечтания! Люди заняты каждый своими мыслями и своими планами, и так трудно сходятся и в мыслях, и в характерах!

Послушайте, однако, что я тут надумал. Хочу прибегнуть к помощи Вашей и Вашего кружка — в двух важных делах:

1) Мне хотелось бы, чтобы явилась маленькая статья (не больше печатного листа) «Нечто о славянофильстве». Нужно указать, что ярые нападки на славянофильство и всякие его похороны¹ доказывают только его силу в настоящую минуту. Нападки делаются по старой манере: или клеветают на славянофилов, или говорят, что прежние были-де хороши, но теперешние никуда не годятся. К славянофильству приплетают всякие глупости, какие встречаются у глупых патриотов, но забывают его сущность, которая всегда чиста и неизменна, и теперь, очевидно, стала крепче и яснее для большинства читателей; она беспрестанно искажается, но в хороших умах существует в своем истинном виде.

Ну, извините: Вы, может быть, лучше это поймете, я хотел только намекнуть, в каком роде мне хотелось бы статье².

2) Великая была бы для меня радость, если бы кто взял на себя определить отношение книги Рюккерта к книге Данилевского. Мне непременно предстоит это дело, но не могу Вам выразить, какую лень я чувствую при этой мысли. Эти две книги не имеют между собой ничего общего³; Рюккерт

¹ Тогда появились, вслед за смертью К. Н. Леонтьева, статьи князя С. Н. Трубецкого и П. Н. Милюкова в этом смысле. Оба «хоронившие» славянофильство ученые, однако, могли бы оглянуться на тот факт, что уже одно появление в славянофильстве такой гениальной личности, как Леонтьев, в самом конце XIX века, показывало могущество этой старой почвы, — могущество идейных корней, в ней заложенных. В корнях все и дело. Слиянные в одно народность и христианство, — т. е. Церковь — вот ее корень. Эмпирически, сейчас, она могла быть полна слез оплакивания. Но когда же над Иерусалимом пророки не плакали. Если «плакали» — значит, было о чем. Так и Церковь: чем укоряемее сейчас она, тем выше ее вечные начала. Однако, по существу дела, после смерти Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева, в те мрачные для славянофильства в смысле личного состава годы, Страхов был, собственно, единственным представителем славянофильства, и ему, понятно, хотелось закричать в глубокой старости: «Верю! Хочу! Есть!!» «Верю, будет!» Собственно, когда он мог бы это сказать — только теперь, с появлением в Москве второго расцвета славянофильства, в лице гг. Кожевникова, Новоселова, Флоренского, Андреева, Цветкова, с примкнувшим к ним С. Н. Булгаковым, и целым книгоиздательством «Путь». Вообще, теперь — Страхов совсем поонел бы. А «теперешние» должны чутко и благодарно прислушаться и присмотреться, как он держал гаснущую свечу в старческих руках. Примечание 1913 года.

² Ему, очевидно, хотелось, чтобы я это исполнил; но вечное «некогда»... Примечание 1913 года.

³ Между тем до сих пор многие верят Влад. Соловьеву, будто Данилевский «украл» у Рюккерта его мысли, и «Россия и Европа» есть плагиат с

пускается во всякие рассуждения, но не держится никакой определенной мысли; мельком он говорит о типах, но это не те типы, какие у Данилевского. Если рассматривать зачатки мысли о национальностях в истории, то нужно бы взять 1) Гердера, 2) Шеллинга и Гегеля, 3) Вильгельма Гумбольдта. Тут везде можно указать, что *человечество* все больше и больше оказывается отвлеченным понятием, а реальность народностей выступает все яснее¹.

Ну неужели же мне придется писать на обе темы? У меня так много набралось своих особенных тем! На первую тему я подбивал написать В. И. Ламанского, но до сих пор не добился даже того, чтобы он прочитал «Национальный вопрос» Соловьева. До сих пор он не читал такой знаменитой книги! На

немецкого. Соловьев мог бы понять, что *самый ум Данилевского* был не компилятивный, — и если он не пошел за Дарвином, странно было вообразить, что он начнет «компилировать с (безвестного) Рюккерта». Данилевский вообще *этого не мог, не умел*. — Дар компиляции и плагиата, — им же переполнены все русские профессора, — есть именно *дар*, и очень тонкий, ажурный; к которому несколько «медвежья» натура русского антидарвиниста, виноградаря и рыбоведа (охранение рыбных промыслов в России) была совершенно непригодна. Нельзя тайно не подумать про себя, что сам бурный Соловьев в мусть и пену свою вовлек без особенных ссылок внизу страницы весьма и весьма много чужих идей, и средневековых, и манихейских, и просто обычно католических. Вот *его* бы следовало проверить с источниками в руках, и это могли бы сделать такие ученые, как Н. Н. Глубоковский или М. М. Тареев. *Примечание 1913 года.*

¹ Кажется, это одна из тех проблем, которые вечно *будут* и до конца никогда *не исчерпаются* мыслью человеческой. Видится, будто «есть только *народности!!!*». — «Есть **Мы**» и «такие, как *мы!!!*» — это навсегда останется столь же страстным криком, таким же отчаянным исповеданием, как и иное растворяющее, поглощающее: «Полноте!.. Не *вечно ли* небо? Не *одно ли* оно? И разве тебе, русский, тебе, Киреевский, не драгоценная сестра та *не названная по имени финикийка* из Сидона, что сказала Пророку: «Что тебе и мне, человек Божий, — ты пришел умертвить моего сына», и т. д., и т. д. Есть что-то именно *растворяющее* национальную душу, что-то *далекое и конечное*, где нации исчезают. Есть такое, когда русский, француз, немец, итальянец, грек утирают рукавом глаза, плачут, — и уже не говорят, а лишь сквозь слезы мычат что-то, — а глаза ясны, а на душе легко. Это — **конец**. И немногие — дойдут до него.

Но не против этого *растворяющего* борются народности: их «я» и «мы» справедливо поднимается, когда на них идет напором обшмыганный космополитизм, который так же *беднее* всякой национальности, как «международный» банкир, международный шулер и приказчик «универсального» магазина Мюр-и-Мюрилизи беднее всякого русского пастуха и скуднее всякого цыганенка.

Так что острая стрела «национальности», гордая, сверкающая, неколебимая и неуступчивая, — это упорное **Я** — оно столь же истинно и вечно, как голубой свет вдали, завидя который все склоняются и с умершим «я» говорят:

Он! они!! оно!!!

Примечание 1913 года.

вторую тему я подбивал написать А. И. Георгиевского, отлично знающего обе книги: по Рюккерту он даже читал лекции, когда был профессором в Одессе. Но он очень занят — и чем же? — псалмами, которые изучает в подлиннике, по-еврейски¹. Бывают такие кудрявости во вкусах и занятиях!

Ну, что Вы на это подумаете и скажете? Не прошу непременно, чтобы Вы писали мне за границу; но если будет у Вас охота, то напишите: Deutschland, Ems, post-restante². Здесь я пробуду еще недели три, да во всяком случае распорядюсь, чтобы письмо дошло.

Время терпит; вещи изменяются, но не быстро. Меня поразило, до чего Эмс остался неподвижным. Выстроена русская церковь — вот новость. Приезжал сюда из Висбадена священник — коротко остриженный, с усами и большой эспаньолкой — и служил обедню. После Евангелия стал говорить проповедь, очень хорошо, просто, — нашим дамам не понравилось. А мне не понравилась ересь; он напоминал две заповеди: 1) возлюби Бога и 2) возлюби ближнего, и говорил, что вторая *особенно* полезна для души. А ведь Христос сказал, что первая есть бóльшая, и, конечно, она³ главная, а не вторая.

Много разных разностей мог бы написать Вам, но лучше отложить до разговоров, до конца августа, когда, Бог даст, вернусь в Петербург..

Простите меня. Дай Вам Бог всего хорошего. Варваре Дмитриевне низкий поклон.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1893, 4 июля (16). Эмс.

LXVI

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

Вот уже суббота и одиннадцатый час вечера; значит Вы не придете, а завтра мне нельзя вас навестить. Между тем у нас устроилось свидание философов; в понедельник вечером, т. е. часов с девяти, будут у меня Каринский и

¹ Вот неожиданно! Но ведь это совершенный показатель русского таланта. За это А. И. Георгиевскому можно простить много из его «классической гимназии» (которую *он* собственно, — отнюдь не Толстой, отнюдь не Катков, — организовал). *Примечание 1913 года.*

² Германия, Эмс, до востребования (*нем., фр.*).

³ Вот *откуда* Страхов мог бы начать критику Толстого. Впрочем, навсегда надо иметь в виду (и его разные беседы со мной утверждают меня в этой мысли), что в Толстом он видел «страшно ценное для (позитивной до-толе) жизни России явление», а не то чтобы сам как *слушающий и ученик* примыкал к Толстому. Последнего не было. Раз, поведя рукой, он сказал безнадежно: «Все последователи Л. Н.—ча почему-то тупые люди». В другой раз он остановил меня: «Вы так резко (устно) нападаете на Толстого, — и это мне печально. Поверьте, я сам *вижу темные* в нем стороны, но...» и т. д. *Примечание 1913 года.*

Радлов. Не зайдете ли? Утром ни завтра, ни послезавтра часов с 12-ти меня не будет дома, буду в Комитете.

Очень желаю Вас видеть.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1893, 16 окт. Спб.

LXVII

Ну, уж извините, дорогой Василий Васильевич. Хотел я сегодня Вас проведать, да опять случилось дело, по которому нужно быть совсем в другом конце города. А вам не совестно не казать глаз? Дай Бог, чтобы Вы были здоровы, и если не можете побывать у меня, то черкните мне несколько строк, напишите, что у Вас и с Вами делается. Сам я все еще здоров и изо всех сил пишу «О задачах философии истории». Вот и все мое житье.

Целую Вас. Варваре Дмитриевне мое почтение.

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1893, 7 ноября. Спб.

LXVIII

Очень досадно, что меня не было дома, дорогой Василий Васильевич. Поздравляю Вас с началом печатания. Только Вы очень торопитесь; верно, еще не скоро Вы подпишете первый лист к печати. Завтра — воскресенье и никаких дел не делают; а после завтра я найду к Варгунину и скажу ему еще раз, что говорил и я, и Анна Григорьевна¹. Конечно, Вам нужно выбрать бумагу; сделайте это так: нужно зайти *внутри* Гостиного Двора со стороны Большой Садовой и разыскать там бумажную лавку Варгунина. Там Вы спросите *г. Туганова* — он-то и есть мой добрый знакомый; он Вам покажет бумагу, Вы выберете, и скажете ему, *по требованию какой типографии* он должен отпускать эту бумагу. Больше ничего и не нужно; типография сама будет брать бумагу.

К сожалению, завтра не могу побывать у Вас: нужно писать для Комитета. А кстати: в заглавии той статьи моей, которою Вы так недовольны, стоит: «Попытка точно постановить вопрос». Но Вы вопросов без решения не любите. Напрасно! Оно очень любопытно.

До свидания! В следующее воскресенье напрашиваюсь к Вам обедать.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1893, 11 дек. Спб.

P. S. Повторяю: торопиться некуда. По воскресеньям Варгунин заперт.

¹ Достоевская. Должно быть — поручительство перед бумажною фабрикою, что деньги за бумагу будут уплочены. *Примечание 1913 года.*

LXIX

Мне нездоровится, дорогой Василий Васильевич, и несколько дней просижу еще дома. Если б не то, давно бы я побывал у Вас — приехал уже в среду, 5-го. Не зайдете ли как-нибудь? Дай Бог здоровья! Варваре Дмитриевне большой поклон.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1894, 11 янв. Спб.

LXX

Дорогой и многоуважаемый
Василий Васильевич,

Чтобы просить за г. Овсянникова¹, нужно знать его имя, отчество, чин, лета, время службы, пенсию и пр. — словом, все то, что давало бы о нем совершенно определенное понятие. Это всегда забывают и дамы и многие кавалеры. Пожалуйста, напишите об этом г-же Овсянниковой.

Какое горе, что Варвара Дмитриевна больна! Сегодня я собирался к Вам, но должен был вернуться домой за теплым пальто, — и так меня задержали, что я не мог выгадать времени для поездки на Петербургскую².

Получил вчера печальную новость: Мария Петровна Шеншина, вдова Фета, скончалась.

Простите меня, и от души желаю Вам здоровья и благополучия.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1894, 22 марта. Спб.

LXXI

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Очень хотелось мне поговорить с Вами о Вашей статье. Поэтому, захватив ее оттиск, сегодня в половине третьего я зашел в Контроль. Сказали — Вас нет, и я поехал на Петербургскую. Там справлялись у Варвары Дмитриевны

¹ Овсянников, Николай Николаевич, инспектор Нижегородской гимназии, где я учился, затем директор народных училищ Тверской губернии, инициатор «концентрической системы преподавания истории» у нас, — автор многих трудов, особенно по изучению Нижегородской ярмарки. Очень начитанный, и сам себя называвший Рудиным. О нем, очевидно, просила его жена, Елизавета Алексеевна. Многочисленные дети их все пошли в педагогическую службу. Сын Алеша был моим товарищем по гимназии. *Примечание 1913 года.*

² На Петербургскую сторону, — где я и «колония славянофилов» жили. *Примечание 1913 года.*

(очень радуюсь, что ей лучше), и узнали, что Вы ушли на службу. Я опять пустился в Контроль, но опять не нашел Вас. Так проездил я все время до настоящей минуты.

Из чего следует: напрасно искать друг друга, не уговорившись и не уловившись наперед. И еще: не хорошо Вы делаете, что не зайдете ко мне хоть на пять минут, зная, что утром я всегда дома, кроме понедельника, а вечером не бываю дома чрезвычайно редко¹.

Ваш преданный *Н. Страхов*.

1894, 24 марта. Спб.

Тверь, Семеновская ул., д. Нечаева. Елизавете Алексеевне Овсянниковой².

Помогай вам Боже, дорогой Василий Васильевич. *Н. Страхов*.

1894, 26 марта. Спб.

LXXII

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Я обещал Вам принять издание Вашей книги³ на себя, и ничуть не отказываюсь от этого обещания. То есть, если Вам будет предстоять уплата, которой вы не можете сделать из выручки, то я Вам помогу. Поэтому можете кому Вам угодно говорить, что издание принадлежит не Вам, а мне. Но печатать о том⁴, я думаю, нет надобности; это неловко и для Вас, и для меня. Это выз-

¹ «У Торгового моста» (Страхов) и «Петербургская сторона» (я) — представляют расстояние столь далекое, что — «точно переплывать Атлантический океан». И поездка (в конках) к Страхову, в сущности, делала «неработоспособным» весь день. *Примечание 1913 года.*

² Вероятно, списан адрес (для моей нужды) с письма Ел. Ал. Овсянниковой, — каковое письмо, с просьбою о муже, я, вероятно (для ясности и полноты понимания, в чем просьба), переслал Н. Н. Страхову. *Примечание 1913 года.*

³ «Легенда об Инквизиторе» Ф. М. Достоевского — первое издание. Напечатать ее книгою посоветовал Н. Н. Страхов; но когда Т. И. Филиппов узнал о намерении моем выпускать ее отдельным изданием, то отнесся столь неблагоприятно к этому, что я вынужден был искать, «кому бы приписать издание», и спрашивал Страхова, нельзя ли «ему» (приписать). В это время степень материальной нужды моей дошла до крайней степени (100 рублей в месяц, при плате 37 рублей за квартиру), и между тем Т. И. Филиппов в разговоре сухо и зловеще предсказал, что это положение может еще ухудшиться от издания. Понимать это можно было очень растяжимо и неопределенно, но тут, во всяком случае, было нечто зловещее. От Страхова отношения мои к Филиппову были скрыты мною (отношения — необъяснимо и немотивированно антипатичные, с обеих сторон). *Примечание 1913 года.*

⁴ На обложке книги — ad oculos Т. И. Ф-ва. *Прим. 1913 г.*

вало бы разные вопросы, которых, в сущности, нет, и разные помехи, тоже мнимые.

Дай Вам Боже всего хорошего.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1894, 12 апр. Спб.

LXXIII

Завтра не могу быть у Вас, дорогой Василий Васильевич, ни утром, ни вечером — подошли разные хлопоты.

А работать я буду и очень желаю перечесть «Легенду»; поэтому, если можно ее получить, буду очень рад.

И Виндельбанду рад.

Постараюсь выгадать время и побывать у Вас, а Вас прошу к себе.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1894, 8 мая. Спб.

LXXIV

Дорогой

Василий Васильевич,

Очень Вы меня огорчаете: Вы не только пишете *необдуманные статьи*, но в письме ко мне вы хотите возвести необдуманность в принцип. Зачем люди думают? — спрашиваете Вы¹. Гораздо спокойнее, не думая, повторять чу-

¹ Странный вопрос-тезис — как странны и неприятны мне все статьи того времени. Все они объясняются крайней материальной стесненностью, подобной которой я никогда в жизни не переживал, и оглянувшись на которую до сих пор смотрю на эти годы, 1893—1898—9 (переход в «Нов. Вр.» и оставление службы в Контроле) с каким-то подавленным страхом.

Душа наша — в тисках жизни; в тисках квартиры, в тисках обеда, в тисках долга в мясную и зеленую лавочку. История с Филипповым разыгралась так: он передал мне через Аф. В. Васильева, что «жаждет меня (только что приехавшего в Петербург) увидеть; можно бы и «так» пойти, — но я пошел в приемный день (среда), и когда форменный фрак (контрольный; а учительский я подарил с отвращением кухарке в Ельце) был готов. Бывают люди антипатичные видом, — и подозреваю, что я был таков на тот час. В приемной кабинета Т. И. Ф-ва я ходил взад и вперед с час, — и как сейчас помню («всегда мысль не о том, что к *сейчас относится*») пытливо и страстно размышлял, отчего *тело погребенного фараона* клалось приблизительно на высоте $\frac{1}{3}$ — считая снизу — пирамиды (общей высоты ее), и так как камера с телом была собственно «вписана в треугольник», — если представлять пирамиду в разрезе, — то из каких именно египетских идей все это могло вытечь? из каких тенденций мысли? из каких вкусов? Как вдруг высокая дверь отворилась, — и ко мне медленно и маленькими, усталыми шажками стал подходить человек невероятно большого объема. Подняв глаза, я

жие слова и верить, что все за нас другие обдумали. Вашей статьи в июльской книжке я еще не читал — здесь нет. Если пришлете мне оттиск, сделаете большое одолжение. И «Конца спора» тоже не читал; но он здесь скоро получится.

«Легенду» мы теперь читаем вместе с Л. Н. Толстым, но пока добрались только до начала легенды: немножко устали, но верно отдохнем при дальнейшем чтении. Пока ничего не скажу.

уже знал, что это Филиппов. Вид его был благ, мягок, добр; и седые волосы по-русски были расчесаны на две стороны, — пробором по середине, по-кrestьянски. Я все смотрел. Когда, подойдя ко мне и ничего не сказав, он нагнулся и, трижды поцеловав, сказал: «Еще отдания Пасхи не было» (т. е. «христосуются»). Я ничего не сказал. Он вздохнул. И что-то сказал. Что — я не помню. В «сию неизъяснимую минуту» и возникла та антипатия между нами, отчета в которой я никогда не мог себе отдать, но которая заключалась в «терпеть не могу» с обеих сторон. Жизнь — в шутках, улыбках, остроумии; жизнь во всяком случае — в движении; здесь же — в тихой приемной (никого не было) и особенно в тихо склонившейся ко мне фигуре я увидел или почувствовал такое отрицание *движения*, такое до *преисподней* доходящее запрещение шутить, говорить и двигаться, что почувствовал, что я умираю, и точно сделал движение — выскочил из могилы. «Выскочить из могилы», должно быть, он и прочел на моем лице; и, очевидно, в душе его шевельнулась: «А, так вот как...» И с тех пор началось мое закапывание... Мать написала жене (узнал через несколько лет, когда уже все кончилось): «Не доводи нужды до мужа, — скрывай все, не расстраивай его». И она, пока я считал в Контроле, сносила все в ломбард, что было возможно. И все — не хватало. Из острых минут помню следующее. Я отправился к Страхову, — но пока еще не дошел до конки, видел лошадей, которых извозчики старательно укутывали попонами и чем-то похожим на ковры. Вид *толстой ковровой* ткани, явно *тепло укутывавшей* лошадь, произвел на меня впечатление. Зима действительно была *нестерпимо* студеная. Между тем каждое утро, отправляясь в Контроль, я на углу Павловской прощался с женой, я — направо в Контроль, она — налево в зеленую и мясную лавку. И *зрительно* было это: она — в меховой, но *короткой, до колен*, кофте. И вот увидев этих «холено» закутываемых лошадей, у меня пронеслось в мысли: «Лошадь извозчик теплее укутывает, чем я свою В...»... такую нежную, никогда не жалующуюся, никогда ничего не просящую. Это сравнение судьбы лошади и женщины и судьбы извозчика и «все-таки философа» («О понимании») переполнило меня в силу возможно гневной (т. е. она *может* быть гневной, хотя вообще не гневна) души таким гневом «на все», «все равно — на что», — что... можно поставить только многоточие. Все статьи тех лет и, может быть, письма тех лет и были написаны под давлением единственно этого пробужденного гнева, — очень мало, в сущности, относимого к тем предметам, темам, лицам, о которых или против которых я писал. Я считаю все эти годы *в литературном отношении* испорченными. Приход Перцова (П. П.), и вскоре предложение им издать сборники моих статей, — было собственно началом «выхода к свету». У меня не было до этого самых знакомств, самого видения лица человека, который бы мне помог куда-нибудь выбраться. *Примечание 1913 года.*

Все время я был занят писанием: кончил статью «Исторические взгляды Рюккerta и Н. Я. Данилевского». Это полемика с Соловьевым.

Здоровье мое, слава Богу, очень хорошо, хотя старость не приходит да и не проходит. Лето стоит здесь холодноватое, и часто у моих любезных хозяев бывают легкие заболевания; но все обходится благополучно. Л. Н. по-прежнему кипит мыслью и деятельностью. Но об этом расскажу Вам, когда вернусь, — в письме немного скажешь.

Работы у меня здесь очень много: и по Ученому Комитету, и по своему писанию, и, наконец, по корректуре — присылают из Петербурга. Потому Вы на меня не сетуйте. Приятно только то, что когда устану, — кругом готов отдых и развлечение.

Простите меня. Дай Вам Бог всего хорошего. Варваре Дмитриевне мое почтение и всякая похвала за то, что бережет Вас. Просите ее быть осторожной.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

P. S. Кусковым и Ганзенам¹ усердно кланяюсь.

14 июля 1894 г.

Ясная Поляна.

LXXV

Многоуважаемый
Василий Васильевич,

Я уже дома, у Торгового моста, и уже здесь получил Ваше письмо. В Москве я заходил к Александрову и была речь и об Ваших «Афоризмах»; он говорил об них как о статье, которую собирается печатать, и я похвалил ее. Так и вышло, что без Вашего письма я сделал то, чего Вы желали.

Ваши денежные затруднения очень меня печалят, и думаю, что сбережением окурков папирос они едва ли много поправятся. История с Бурениным и проч. тоже меня не радует, и обо всем хотелось бы поговорить с Вами. Одно хорошо: что вы пишете о Казерио. Написать стоит, и мне тоже пришла эта мысль, даже кой-что набросал. Но я напишу так, что статью сейчас напечатают, а Вы, чего доброго, никак не попадете в рамки. Статью Вашу «Что нашли» и проч. прочитал я уже здесь и развел руками. Нет, уж лучше поговорим при свидании.

Во всяком случае, дай Бог Вам здоровья, и Варваре Дмитриевне.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

P. S. Вы бываете близко от меня: загляните.

1894, 15 авг. Спб.

А я в Парголово едва ли успею собраться.

¹ Ганзены — Петр Готфридович и Анна Васильевна, переводчики на русский язык «Сказок» Андерсена, Киркегора и других датских и норвежских писателей. *Примечание 1913 года.*

LXXVI

Завтра, в четверг, меня не будет дома, дорогой Василий Васильевич. Мне нужно быть в Павловске и там обедать. Но очень жажду Вас видеть; поэтому прошу и требую — назначить другое время. Пожалуйста.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1894, 17 авг. Спб.

LXXVII

На всякий случай (т. е. если Вы не зайдете завтра) пишу Вам, что в пятницу вечером ко мне собираются Радлов и Каринский. Не вздумаете ли и Вы присоединиться к нашей компании? А между тем допросите у Шперка, что такой Гильшер, которым он так восхищается? Я прочитал его¹ афоризмы.

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1894, 22 ноября. Спб.

LXXVIII

Дорогой

Василий Васильевич,

Вчерашний обед² очень меня опечалил. Вы больны, чем-то огорчены (верно, моею статьею?), много работаете и очень нуждаетесь. Не могу ли я чем-

¹ Т. е. Шперка. С Анной Лавровой (жена) и с ребенком Шперк «отошел от матери», — аки «блудный сын» от богатого «Отчего Дома», — и, мечтая, гневаясь, не умея писать (странная идиосинкразия собственно *на бумаге*, — при глубоко ясной и интересной устной речи), — начал на «наследственные» после отца 3000 рублей издавать брошюру за брошюрой, крошечного, в 16-ю долю листа, формата. И — в полном недоумении, «куда деваться» и «что делать» с собою. Вскоре — желая себе обеспечить будущее — купил с братом землю и усадьбу «для травы в кавалерию»; брат (младший его) хозяйничал и продавал траву, хотел заводить пчел, — Федор Шперк бродил, читал, безумно увлекался Ницше и Федором Сологубом, и писал эти брошюрки. Анна Лаврова кормила ребенка и молчала. Он был счастлив и несчастлив. Счастлив, как безумные, и несчастлив, как безумные. Вскоре они землю продали или с землей что-то сделалось, он поселился в сырой квартире священника (текло в зале со стен, и священник, отказываясь разорвать контракт, отвечал по поводу сырых стен, что больному жильцу «не надо ехать к сырому воздуху на берег моря, потому что сырой воздух он имеет в комнатах»; т. е. притворился непонимающим, что такое в квартире «сырой воздух»). Шперк, рассказывая с улыбкой об этом, имел силы не гневаться. Вскоре он перешел в православие и умер от чахотки, перешедшей в скоротечную. *Примечание 1913 года.*

² Т. е. вероятно — обед у меня. Жена позвала его вообще приходиться по воскресеньям обедать, и эти обеды его всегда были мне и нам душевным отдыхом. Его постоянная ясность, доброта и мудрость клали спокойствие и

нибудь помочь Вам? Например, у меня теперь есть деньги и я могу заплатить за Вас Николаеву, а мы потом сочтемся. Что Вы на это скажете? В былые времена я часто делал это — новыми займами, уплачивая старые. Пожалуйста, примите мое предложение, и отдохните.

Вообще, Вы очень меня утешите, если будете здоровы, спокойны и станете благополучно и твердо пользоваться и наслаждаться Вашей известностью и Вашим талантом.

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1894, 28 ноября. Спб.

LXXIX

Вернувшись домой, принялся я читать, дорогой Василий Васильевич, Ваши афоризмы¹ в 12-й книжке, и пришел в восхищение. Как вы хороши, когда хорошо пишете! Характеристика учителей — прелесть. Обличение сознательной фальши — поразительно! Ну, когда-нибудь я Вам похвалю это подробнее, — и откладываю всякие критические замечания.

Есть у меня просьба к Вам. Мне нужен «Сборник» Данилевского, и сегодня я непременно хотел взять его у Вас, да забыл! Будьте добры, захватите его, *когда* пойдете на службу, и оставьте у нашего швейцара. А если зайдете сами в пятый этаж, то очень, разумеется, утешите. Только по понедельникам я утром не бываю дома.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1894, 11 дек. Спб.

P. S. Праздник Маркса не сегодня, а в следующее воскресенье. Чуть было я не дал маху!

LXXX

Как поживаете, дорогой Василий Васильевич? Когда Вас не видеть, я всегда очень о Вас беспокоюсь². Две недели я просидел дома — простудил горло. Вчера стал выходить, но с большою осторожностью, только раз в сутки. Не

на душу всех, с кем он сидел. Вместе — он *никогда не был пассивен и вял*, — и в живости его, без уторопленности, прекрасно отражался его высокий талант. Приглядываясь к нему, вспоминая его, думаю, что Страхов был талантлив редчайшею в Россию формою таланта (от этого Тургенев и не заметил его в нем), которая у греков обозначалась словом εὐστροφουσύνη — *благодарие*. Он именно был *благодаром*, и сколь многим прытким тупицам в Петербурге он казался «недостаточно даровитым». Для меня его *труды и личность* сливаются совершенно в одно. *Примечание 1913 года.*

¹ «Афоризмы и наблюдения». *Примеч. 1913 года.*

² Вообще я от Страхова скрывал свое положение (материальное), чувствуя, что он уже много для меня сделал, что утруждать его в его годы и

будете ли завтра, в среду? Если нет, чкните мне несколько слов, что и как с Вами. Варваре Дмитриевне усердно кланяюсь. И простите

Вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

1895, 7 февр. Спб.

LXXXI

Я все еще болен, дорогой Василий Васильевич, перенес довольно сильное обострение своей простуды. Сегодня прочитал Вашу статью, и очень захотелось мне с Вами браниться¹. Если Вам можно зайти, то не только исполните евангельскую добродетель, но и окажете ревность к литературе.

Варваре Дмитриевне желаю здоровья и благополучия.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1895, 14 февр. Спб.

LXXXII

Вчера Вас не было, дорогой Василий Васильевич. Что Вы и как? Очень хочу повидать Вас. Не могу ли я у Вас в воскресенье обедать? Прошу Вас черкните мне две строчки — подаю Вам на то пример.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1895, 15 марта. Спб.

LXXXIII

Никуда я не гожусь, дорогой Василий Васильевич. Сегодня я болен, послал записку Достоевской, что не могу у нее обедать, а от нее получил записку, что меня она ждала вчера, что я обещал ей быть именно в понедельник. Так я все перепутал: простите меня и Вы, и Варвара Дмитриевна.

Впрочем, я теперь сам не свой: с того дня, как умер Вышнеградский², у меня все перепуталось в мыслях. Сегодня чувствую какое-то кишечное расстройство, прегадкое.

Прошу Вас, извините меня. И дай Вам Бог здоровья!

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1895, 4 апр. Спб.

P. S. Пожалуйста, не забудьте моей середи.

опять — страшно, да, собственно, и видя, что он сам весь «в зависимостях» и «бессилен». Его *книжки* — то же, что мое бедственное «*О понимании*», — на каких-то «любителей» и, в сущности, «без читателя». А начальник Георгиевский «переводит псалмы»... «По-русски» все... *Примечание 1913 года*.

¹ Должно быть, опять какая-нибудь «выходка» (подспудно — от нужды). Страхов справедливо видел мою литературную гибель («слово — не воробей, выпустишь — не поймашь»), и она действительно гнила. *Примечание 1913 года*.

² Вышнеградский (министр финансов) был школьный (по Педагогическому институту в Спб.) товарищ Н. Н. Страхова. Он нередко у него бывал и высоко ценил его деятельность как министра и любил как человека. *Примечание 1913 г.*

В воскресенье я написал Вишнякову о Вашей статье, дорогой Василий Васильевич. Он не отвечал. Тогда я вторично писал ему вчера. Сегодня пришли за Вашей статьею, и Вишняков пишет, что она пойдет в июнь, что теперь уже нет места, что он был занят юбилеем, что мой отзыв «послужит Федору Николаевичу»¹ укором, что он не одобряет содержания статьи».

Очень досадно, но беда небольшая: хорошо, что статья пойдет целиком — это было необходимо. Все еще сижу дома; но завтра надеюсь выйти.

Дай Бог здоровья Вам и Вашим. Простите Вашего *Н. Страхова*.

1895, 14 апр. Спб.

¹ Федор Ник. Берг, редактор «Русск. Вестн.», Вишняков — директор-распорядитель «Товарищества Общественной пользы», к которому за долги по печатанию и за бумагу перешел уже, или стал в это время переходить, «Русск. Вестн.». Берг, «весь в тисках», раз сказал мне, почти со слезами (и унижения, и ярости) в глазах: «Вон *они* уже сидят все там...» «Они» — это были «ближайшие сотрудники журнала и друзья Берга», которые всегда, приходя к Вишнякову (добрейшей и простейшей души человек, но необразованный) ранее редактора, усаживались рядом с кабинетом редактора, или в самом кабинете, и говорили вслух при нем и *для него*, «до чего журнал ведется не так», «какие статьи печатаются!», и «нет ли чего-то темного, денежно-темного в принятии и одобрении таких статей от авторов»... «Журнал падает!» и «спасти его можно только переменою редактора!». Вишняков, не понимавший ничего в литературе и журналистике, становился недоверчив к Бергу, но его толкали и к более «решительным» действиям. Берг должен был скоро уйти, и на его месте уселся Дм. Ив. Стахеев, всегда пунцовый, всегда в шутках и русских присказках, всегда в богословии, — купец родом. Сейчас же он открыл у себя «день недели» и вечно непризнанный романист увидел себя окруженным литераторами. Раз (но только *один* раз) и я у негопил вечерний чай, — причем он объяснял, как дешево купил особенную свою легкую и изящную, «именно для литераторов», мебель. Он всегда мне и казался добродушным; когда Страхов, в ответ на мои похвалы его характеру и душе, сказал: «Это — *мрачайшей души* человек». Не объясняя, да и я не расспрашивал. Теперь потекли в журнале романы и стихи Стахеева, «которые он писал, как Золя: от 11 утра до часу; потом — два часа прогулка. Обед. И опять — два часа за рукописью. Прогулка. Ужин. Сон. И завтра с 11-ти — опять за рукопись». «А что отбрасываю, главки, страницы — то из них составляю новую повесть, покороче, уже придумывая связующие сцены». «Так писал Золя, и пишу я». Но его литература была менее оживленная. Раз он прислал мне томов 12-ть повестей и романов: и я начал один. И почувствовал то же, что на приеме Филиппова: умираю!!! Так что, кто хочет лишиться себя жизни, мог бы вместо мучительной уксусной кислоты заставлять себя «выпить до дна» роман Стахеева. *Прим. 1913 года.*

LXXXV

Очень желаю видеть Вас, дорогой Василий Васильевич, и хоть что-нибудь знать о Вас. Прошу об этом усердно. Самому мне все нездоровится и потому не мог забраться на Петербургскую. Теперь уже одиннадцать часов вечера; записки от Вас нет и потому решаю завтра идти обедать к Иван Павловичу. Простите Вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

1895, 29 апр. Спб.

LXXXVI

Многоуважаемый
Василий Васильевич,
Завтра, в воскресенье, я буду дома до 4 часов и потом вечером с 8-ми часов. Зайдите ко мне и получите чек, по которому в понедельник или во вторник можете получить деньги¹ между 10-ю утра и 4-мя пополудни.

Вот так и делается это дело.

Дай Вам Бог здоровья!

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1895, 13 мая. Спб.

LXXXVII

Напишу Вам только несколько строк, дорогой Василий Васильевич, на Ваши присылки и на Ваше милое письмо. Дело в том, что теперь почти 27 по Реомюру, и я томлюсь и млею. Статью Вашу читал Л. Н. и я перечитывал. От Л. Н. Вы заслужили похвалу, что хорошо пишете и делаете тонкие замечания. Но столько слишком общего и неточного, что в целом почти ничего не выходит. Сам я искренно Вас благодарю и, разумеется, не огорчаюсь, разве за Вас, что у Вас на этот раз не вполне вытанцовалось. Книга Лебона оказалась не серьезным сочинением, а фельетоном, хотя и очень интересным.

Чувствую себя вообще хорошо, стал полнеть²... Дней через десять собираюсь ехать отсюда дальше. Покорно Вас благодарю! Варваре Дмитриевне пошлите мой поклон. Простите Вашего душевно преданного *Н. Страхова*.

¹ Расчет с типографией Николаева за напечатание «Легенды о Вел. Инкв.». *Примечание 1913 года.*

² Увы!.. Имеет вообще значение «сглазень», и никогда вслух не надо говорить о хорошем состоянии своего здоровья. Демоны — «глухонемые», как и назвал их Тютчев. Они оглушены Богом, пораженные Им в борьбе. И слышат только громко, вслух произносимое; но по тупости (оглушены) вовсе не могут читать наших мыслей. Поэтому вслух всегда надо несколько жаловаться на здоровье, охатъ (изредка) и говорить «плохо». Тогда они оставят вас в покое (так я живу много лет, не хвораю). Мне случилось знать чело-

Р. С. Главного и не сказал: Л. Н. бодр и здоров и усердно пишет новую повесть. Меня это и радует, и удивляет: в такой жар! Сам я не пишу и почти не думаю.

95. VII — 23.

LXXXVIII

Дорогой

Василий Васильевич,

Вы мне не пишете, вероятно, потому, что не получили моего письма из Ясной Поляны, а, может быть, и потому, что заняты работою. Между тем я уже погостил в Белгороде, в Киеве, в Севастополе и теперь гощу в Мшатке. Все идет благополучно, но я тем яснее чувствую приближение дряхлости. Господь дал, Господь и отнял, — будь благословенно имя Господне!

Статью Вашу о Толстом я читал только в Киеве — «Русский Вестник», как известно, не удостоивает Толстого присылки своих книжек. Статья Ваша довольно-таки огорчила меня¹.

века, очень доброго, расположенного, — которому достаточно было сказать при встрече: «Как вы *хорошо* выглядите», — как «порадовавший своим видом» к вечеру или на другой день захварывал. Она была очень пылка и не удерживалась от таких восклицаний при виде одного или другого из своих детей: и этого именно «благополучного» поражала как удар болезнь, недомогание, беда, случайность. Римляне знали «*bonus eventus*» и «*malus eventus*», «хороший случай» — «дурной случай» (есть *боги* этого на монетах). «Демоны» именно заведуют «худыми случаями» и наводят их на человека, о котором *слышат*, что он «благополучен», — и завистливо наводят особенно в том случае, если радость о них выражает добрый человек. Так что сам *сглазывающий* отнюдь не есть злой, худой человек. Из писем читатель постоянно видит, что Страхов радовался состоянию своего здоровья последние пять лет, между тем как к нему подходила неумолимая смерть. *Примечание 1913 года.*

¹ Статья эта — оставляя в стороне внутренние качества — могла быть понята как *грубая* по форме, и была именно так понята в печати, — и вызвала жесточайшие на меня нападки, между прочим, Михайловского, по поводу ее именно предложившего раньше Струве «исключить меня из литературы». Замечательно, что все эти крики *по содержанию* совпадают с упреком добрейшего директора «Т-ва Общ. пользы», Вишнякова: «В. В., Толстой с вами *брудашфта* не пил, как же вы обращаетесь к нему на *ты*». Но Вишнякову, по причинам, я не мог объяснить, что «ты» мы говорим Государю, Богу, и говорим вообще *всякому*, получаем право говорить *всякому*, если говорим с ним под углом Вечных Беспokoйств. А моя статья была такова; и мое волнение во время ее писания было как ни при каком другом писании (*внешняя* об этом память — что «щипало в носу» при писании; каждый знает, что это значит). Тон Страхова, — который любил и ценил Толстого больше Вишнякова и Михайловского, — в письме совершенно спокоен, и он меня ни за какую грубость не упрекает. Но я далек от того, чтобы *теперь* защищать статью, — в то время защищаемую (в душе) всячески. *Примечание 1913 года.*

Толстой боится смерти — не доказано.

Рассуждения Толстого о смерти все неосновательны — не доказано, а говорится только, что это *показал*¹ Михайловский. Значит, его нужно читать. Между тем тут же приведено замечание Михайловского, показывающее, по-моему, что он ничего не понимает².

Странно! Описания смерти и мысли Толстого о смерти составляют предмет величайшей важности и достойны самого прилежного изучения. Но Вы к этому неспособны, не умеете вникать в чужие мысли; да от Вас все заслонено вопросом, верит ли Т. в бессмертие или не верит, и о самой смерти Вы не желаете думать.

Ну, простите меня. Мне все хочется с Вами спорить, а это ни к чему не ведет у нас с Вами. Лучше отложу до свидания другие замечания³.

«Духа не угашайте»⁴ прочитал я до конца и был очень доволен. Поучительная и отлично написанная книга. Жаль, что ее никто не будет читать.

Сам я многое задумывал писать и ничего не написал. Между тем этою зимою придется писать — стыдно жить без работы. Этот стыд бездействия много мешал моему удовольствию в житье на прекрасных местах и среди милых людей.

¹ Это было в ироническом смысле. *Примечание 1913 года.*

² Потому-то, ради иронии, я и привел совершенно глупое суждение М-го. *Примечание 1913 года.*

³ В бытность у Толстого в Ясной Поляне, я заметил ему, что встречал отличной души торговцев, подобпытных тому, какого он описал в «Хозяине и работнике»: они копят, торгуют, радуются прибытку, и несколько не жадны, отлично относятся к «подручным своим» и суть полные, на мой взгляд, христиане. Не забуду живости, с какой он поднял голову и глубоко активно сказал: «О, да! да! — Конечно!!», как бы продолжая мысленно или лишь по старости не договорив: «И я таких знавал, богаты — и полные христиане!». Так как я имел в виду именно «Хозяина и работника», и, оспаривая его взгляд на «хозяина» *при жизни, в торговых трудах его*, становился на точку зрения всех возражений Толстому в этой моей статье, — то я почувствовал, что и *тогда* ни мало Толстой не был раздражен моею статьею, а горячее заступничество в ней Церкви, вероятно, даже одобрил. Вообще по существу-то, — *морально*, — статья была очень права. Она только *написалась* не хорошо, как не хорошо писалось все в то время, по объясненным выше причинам. *Примечание 1913 года.*

⁴ Николая Петровича Аксакова — в пользу того, что Отцы и Учители Церкви всегда были против угашения духа и почти за свободу печати. Столько же авторитетов и цитат, сколько Аксаков набрал в пользу *этого* тезиса, можно было набрать — и *против*. Вообще его метод *inductio per enumerationem simplicem* слишком элементарен и вовсе не убедителен. Свободолюбиво ли христианство, Церковь? Всегда нужно помнить возражение епископа Антонина (на Религ.-фил. собраниях), что Церковь «экскоммуникативна в отношении всех однородных с собою значительностей», т. е. в отношении всех других авторитетов и исповеданий (т. е. *против* свободы), — и что иною она быть не может по абсолютной природе своей, — как *верховное и конечное исповедание*... Это уж не *induct. per enum. simpl!*.. *Примечание 1913 года.*

Простите меня. Дай Бог Вам всего хорошего. Варваре Дмитриевне усердно кланяюсь.

К 1 октября надеюсь быть у Торгового моста и найти Вас здоровым и благополучным.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

P. S. Здесь стоит еще лето в полной красе.

1895, 13 сент. Мшатка.

LXXXIX

Завтра, в воскресенье, не могу быть у Вас, дорогой Василий Васильевич. День вышел такой хлопотливый, что заехать на Петербургскую мне невозможно. Досадно очень, что не увижу Варвару Дмитриевну. Но все это исправится со временем. Я еще не видел доктора, и вообще нужно многих людей повидать, и некоторых не очень добрых.

Простите Вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

1895, 7 окт. Спб.

XC

Завтра, в среду, не буду вечером дома, дорогой Василий Васильевич. Но я Вам всегда рад и потом расскажу, отчего так случилось.

Ваш *Н. Страхов*.

1895, 17 окт. Спб.

XCI

Многоуважаемая

Варвара Дмитриевна¹,

Может быть завтра, в воскресенье, Вы будете ждать меня к обеду. На этот случай пишу Вам, что не могу быть у Вас. Из верных источников узнал я, что Василий Васильевич уехал по поводу смерти брата². Душевно жалею, что его постигают такие несчастья. Очень желал бы навестить Вас и все от Вас услышать; но мне это трудно, и я усердно прошу Вас извинить меня.

Ваш искренно преданный *Н. Страхов*.

1895, 11 ноября. Спб.

¹ Ко мне в дом. *Примечание 1913 года.*

² Димитрия, в Кострому. *Примечание 1913 года.*

ХСII

Завтра, в воскресенье, я буду у Вас, дорогой Василий Васильевич, по обещанию. Пишу Вам это потому, что в понедельник¹ мне никак не доведется заглянуть к Вам, как мне этого ни хотелось бы. Вообще, со мною случилась маленькая беда, которая может помешать мне в разных отношениях, а Вы будьте ко мне снисходительны.

Ваш душевно преданный *Н. Страхов*.

1895, 2 дек. Спб.

ХСIII

Завтра я у Вас обедаю, дорогой Василий Васильевич, по заведенному порядку. Можно ли? Второпях я не успел спросить Вас.

Ваш *Н. Страхов*.

6 янв. 1896 г. Спб.

ХСIV

Вы правы, дорогой Василий Васильевич. В воскресенье мне не быть у Вас, да и ни у кого: доктор засадил до середины. Но ведь Вы зайдете хоть разок? Очень утешите

Вашего искренно преданного *Н. Страхова*.

20 янв. 1896. Спб.

* * *

Городская телеграмма: Павловская ул. № 2.
Василию Васильевичу Розанову. —
24 января 1896 г.

Страхов сегодня утром скончался. Первые панихиды хотят устроить в 12 часов.

Ганзен

¹ День ангела жены. *Примечание 1913 года.*

Письма В. В. Розанова к Н. Н. Страхову

1

22 янв. 88

Многоуважаемый
Николай Николаевич!

Несколько раз собирался я уже писать Вам, но всякий раз письма мои оставались недописанными, часто по неуверенности, что они дойдут к Вам, часто от сомнения: что из этого выйдет, и до писем ли посторонних людей Вам. Раз это было по прочтении Ваших заключительных слов в «Воспоминаниях о Достоевском» (Соч. Д-го, изд. 83 г., т. 1, стр. 328—29), другой раз по прочтении Вашей книги «Об основных понятиях физиологии». Наконец теперь, прочтя Ваши возражения Тимирязеву, и именно Ваши заключительные слова в этой статье, я решаюсь писать Вам, хотя и не знаю Вас лично.

Есть бесконечно много вопросов, о которых мне хотелось бы слышать Ваше слово, но из них главный — о причинности и целесообразности, как в их применении к органическому миру, так и в применении второго вопроса (о целесообразности) к жизни самого человека. Я очень много думал об этом, и знаю, что Вы также думаете об этом. В течение долгого ряда лет я ни разу не имел случая говорить с кем-нибудь об этих вопросах, и думаю, что беседа о них с человеком интересующимся есть не только высшее наслаждение, но и высшая радость в жизни. Но как говорить о них в письме? Скажу только, что я пришел к убеждению, что процессы причинный и целесообразный есть только два вида одного высшего процесса — *потенциального*, который объединяет их в себе; именно, в причинном процессе мы наблюдаем неопределенную потенциальность (способность данной действительности перейти со временем в неопределенное множество иных реальностей, в ней не предусмотренных), а в целесообразности мы имеем определенную потенциальность (способность и стремление данной действительности перейти в будущем в один определенный вид бытия, в ней уже предустановленный). И чем больше, вот уже не первый год, я вдумываюсь в явление потенциальности, тем больше прихожу к мысли, что оно именно есть ключ к разумению всего — мира, жизни и человеческой деятельности; и в самой потенциальности заключен целый сложный мир законов, сил, процессов — словом, это не просто 2—3 слова, известным образом соединенных, но это область, открывающая целый мир нового познания, и притом такого, которое может объяснить почти все прочее. Но писать об этом в письме решительно невозможно.

Но и не этот теоретический интерес есть главная причина настоящего письма. Уже давно, будучи студентом 3-го курса, я прочел Вашу книгу «Борьба с Западом». Ваша нравственная личность стала несказанно дорога для меня, и то, что Вы, столь любящий науку, столь тревожащийся за наш народ и за текущую действительность, все еще остааетесь одиноким в нашей литературе (*vox clamantis in deserto*¹), внушало мне какое-то смешанное чувство любви и жалости к Вам. От всех Ваших сочинений за последние годы веет какою-то невыразимою грустью, безнадежностью. Я думаю, Вам невыразимо тяжело жить. Вы столько любили и любите, а Вам отвечают равнодушием. И вот мне хотелось сказать Вам, что не так одиноки Вы, как можете думать, и что никакая любовь не проходит и *здесь*, на земле, напрасно. Насколько мне приходилось наблюдать, есть известный склад, тип умов (точнее — душ), как-то не потенциальных по отношению к Вам — они, правда, прочтя несколько страниц Ваших сочинений — оставят их; Вы просто неприятны им, ничего в них не затрагиваете. Итак, то, что этот тип людей от 60-х годов и до последнего времени царил у нас — это есть единственная причина равнодушия к вам, и Вы должны смотреть на это как на временное, как на преходящее. Но Вы (в статьях о Пушкине и в конце ответа Тимирязеву) отчаиваетесь и в будущем. Знайте же, что есть другой тип души человеческой, и именно он теперь с чрезвычайною энергиею пробивается к жизни (здесь опять скрытая потенциальность, действующая в истории), который родствен Вашему духу, и, прочтя 5—6 страниц ваших сочинений, уже всюду и непрестанно ищет их. Вы просто не вовремя родились, вы по рождению человек 60-х годов, а по духу 80—90—100-х. Ваша жатва придет; но, быть может, это и хорошо, и необходимо было в историческом развитии, чтобы Вы не нашли сочувствия у окружающих: имей Вы успех, и общество, народ наш, будущие поколения не имели бы лучших страниц Ваших сочинений. Великая психическая сила, живущая и действующая в истории, в Вашем лице жертвует счастьем и радостью индивидуума для нравственного воспитания общества, — страшная, темная истина, но, однако, истина. Целесообразный процесс, через который движется жизнь народов, может приходиться к своим целям, только пользуясь теми причинами, которые уже есть в действительности: подумайте, мог ли бы Исаия быть тем, чем мы его знаем, если бы его не окружало страшно развращенное, павшее общество. Причинность нигде не нарушается в истории (или в природе), с нею, с ее железным суждением приходится считаться началу духовному, разумному, и этот счет мы наблюдаем в том (мне почти страшно писать это), что, по крайней мере, *некоторые* виды добра, блага не могут появиться иначе, как из *зла*, и поэтому зло необходимо, желательно в жизни и в природе. Когда я думаю об этих страшных вещах, об этом скреплении добра со злом, я думаю, что Бог не всемогущ, что он связан, что вне Его есть какая-то страшная и темная сила, о которой мы только догадываемся и с которою едва удается бороться Бог.

Да, и об этом я говорил бы с Вами, ибо я знаю, что Вы не так думаете, что у Вас светло на душе, когда Вы думаете о Боге. Но я все отвлекаюсь в

¹ глас вопиющего в пустыне (*лат.*).

сторону. Я хотел сказать Вам, что все Ваши мысли считаю истинными, Ваше душевное настроение есть и мое душевное настроение, Ваше отношение к окружающей жизни, к нашей науке и литературе мне дорого и близко, разница между нами та, что Вы уже на краю могилы, а я еще молод. И я хотел сказать Вам, что сколько бы я ни жил и что бы ни сделал, я всегда буду делать то, что вы одобрили бы, всегда буду помнить Вас, Ваши мысли, Ваши чувства. Простите за нескромность. Но ведь я Вам пишу как человеку, с которым я сошелся мыслью и чувством и который мне дороже и ближе, чем физически близкие люди. Мысль, что я Ваш ученик, никогда не оставит меня, но когда ученик любит своего учителя, а не просто считает его знающим и умным только, ему тяжело не знать, не видеть своего учителя. Я прошу у Вас Вашего портрета. Мне кажется, Вы так отвлеклись уже от окружающей действительности, что живете миром своих мыслей и чувств, что к Вам можно обратиться с этою скромною просьбою, и Вы как простой и добрый человек не откажетесь исполнить ее.

Не скрою, что по прочтении Ваших мыслей в кн. «Об основных понятиях физиологии» мне думалось поехать в Петербург и познакомиться с Вами. Но, кажется, Вы не живете в Петербурге в вакационное время. Я не оставляю этой мысли и теперь. Будучи учителем гимназии, я имею свободное время только на каникулах. Если бы Вы позволили, я приехал бы к Вам летом — но при условии, если это нисколько не стеснит Вас; может быть, вы любите уединение и Вам неприятно всякое постороннее лицо. Я могу также, хотя с гораздо большим трудом, приехать на Святой в Спб. Только Вы тогда, вероятно, будете очень развлечены необходимыми отношениями к знакомым.

Не знаю, что подумаете Вы и об этом письме, и о моей просьбе Вашего портрета. Знаю только, что в этом если и есть странное, то нет ничего дурного.

С глубоким уважением остаюсь Василий Розанов.

Мой адрес: в г. *Елец, Орл. губ.* Учителю гимназии Василью Васильевичу *Розанову.*

P. S. Я первый год служу в полной Гимназии, и ученикам VII кл. (где я классный наставник) даю ваши книги. Если бы Вы знали, до чего восприимчивы, как доверчивы ученики в этом возрасте. У нас не знают, что делать с юношеством, а я, насколько вижу их, решительно не знаю, чего нельзя бы с ними сделать. Мне всякий раз смешно становится, когда я вижу этих возмужалых детей, таких больших и так детски наивных, или лучше доверчивых, все чего-то ждущих, внимательных к каждому Вашему слову. Когда они высказывают свои нелепые мысли, я называю их «глупенькими», и они так и теснятся вокруг, желая знать, почему они «глупенькие»; а кто-то сочинил, что это самолюбивая и злая молодежь, и самоуверенная. Когда я думаю о нашем юношестве, я все вспоминаю библейское сказание, что отпал от Бога и стал Сатанюю не обыкновенный ангел, одинаковый с прочими, но лучший из них всех, самый близкий к Богу. Я это объясняю тем, что величайшая

жажда добра, любви и истины, когда встречает что-нибудь не так, напр. незаслуженное высокомерие, пренебрежение к своим добрым инстинктам, то тотчас обращается в противоположное тому, чем был. Вы близки к Суворину: отчего Вы не дадите ему мысль, чтобы он издал в «Дешевой библи.» Киреевского: «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», «XIX век» и пр., а также кой-что из других писателей той же школы. Хотят распространять мысли славянофилов, а их сочинения составляют библиографическую редкость, и ничего не делается для того, чтобы уничтожить печальную необходимость для русских людей читать только издания журналистов. Что мне — апатия, — или просто недогадливость, не знаю.

Конечно, Вам некогда мне отвечать, но хоть несколько строк и портрет! Ваше молчание глубоко огорчит меня, а ответ и портрет несказанно обрадует.

2

3 февр. 88

Не могу выразить Вам, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, той радости, которую я почувствовал сегодня утром, когда, придя в гимназию, увидел Ваше письмо; взяв конверт в руки и почувствовав портрет, я уже знал, что это от Вас. Итак, то, о чем я так часто думал и чего порою так страстно желал — войти в духовное общение с Вами — все это сбылось. Ваше доброе письмо и слова его: «Не могу отказываться отвечать Вам и попробую удовлетворить Вас своими письмами» дает мне смелость вторично писать Вам. Передо мной Ваш портрет и Ваше письмо; я не хочу откладывать письма к Вам и пишу его, хотя лежу по легкому нездоровью в постели.

Я думаю, Вы правы, когда говорите, что не нужно свидания. Пославши Вам письмо, я все думал, что скажу Вам, если увижусь, и притом после написанных писем? Тут невольно будет некоторое несоответствие между предполагавшимся и между действительностью, это будет чувствоваться и вызывать замешательство. Кроме того, я совсем не могу лично говорить о том, что меня особенно сильно интересует, — говорить все незначащие слова, о которых даже и не думаешь в то время, когда говоришь их, — а значащее так и остается невысказанным. И потом, судя по портрету, в Вас столько цельности, силы, Вы так чужды всего того темного, что потом превзошло в наше поколение, так исковеркало и замутило нашу природу. У Вас может быть много грустного на душе, но вы не можете нуждаться (я все смотрю на портрет) в состраданье, сожалении, а мы... Я потому так и люблю Достоевского, потому смерть его так страшно поразила меня, что он понял не только светлое, но и все темное в подростках наших, и это темное обвил такую любовью, таким состраданием. Мир праху его, доброго, милого человека. Когда я перечитываю его сочинения, и особенно «Брат Кар.», я все припоминаю то место Библии, где говорится, как люди, изгнанные из рая, пошли и построили себе города, и изобрели многие искусства; вот это ощущение

чего-то невозвратно потерянного, это чувство, что все, что мы ни делаем, делаем с тайной заботой не помнить о том, о чем вечно думаем, в сущности; жажда испытать какую-то великую грусть, найти хоть какую-нибудь радость в своих шумных, тревожных (в душе противных давно) удовольствиях и трудах — все это сказалось в сочинениях Достоевского. В своей совокупности они представляются мне песнью, исполненной тоски и отчаяния, павшего человека, который пока ничего не знает о возможности спасения. Простите, если я пишу очень дурно и очень неясно.

Кроме того интимного, что сказывается в Ваших сочинениях между строк, меня всегда привлекало Ваше отношение к текущей науке, глубокое сознание ее падения, несмотря на внешние успехи, Ваши замечания об отсутствии твердости и отчетливости в понятиях современных ученых о том, что такое наука, каковы истинные ее задачи, что значит действительно объяснить то или иное явление или факт. Когда я читал «Дарвинизм» Данилевского и Ваше «Об основных понятиях физиологии» (также об эмбриологии, и «Мир как целое»), я все думал: «Ну да, вот это и есть наука, а вовсе не работа Тарханова, Тэта (книжка которого мне очень не нравится, Вы ее читали судя по одной ссылке), ни тем более десятки диссертаций, которые пишутся лишь для получения ученой степени, *большую часть без всякого интереса к науке*»; именно отсутствие интереса к знанию, отсутствие какой-либо пытливости ума и составляет коренное, центральное зло нашей науки, университетов и пр. Судя по статье Тимирязева (О Данилевск.), я думаю, что она имеет одно и истинное (безусловно) объяснение: он просто не интересуется вопросом о происхождении органического мира; отсюда — остроумничанье и затемнение доводов Дан-ого. И мне часто приходит насмешливая мысль при виде всего, что совершается в текущей научной литературе, спросить просто и открыто: «Да что такое наука?» Я убежден, что из попыток ответить на этот вопрос, дать правильное и точное определение науки, стало бы тотчас ясно, что значительная часть того, что преподается в наших университетах и пишется в книгах, лишь по недоразумению называется наукой, в действительности же имеет очень мало отношения к ней. Науку можно определить как совокупность истинных знаний о том, что есть постоянного и общего в единичных явлениях и предметах природы, и притом таких знаний, которые или слагаются, или имеют целью сложиться в полное понимание этого общего и постоянного. А у нас все путают с наукою простую «совокупность истинных знаний»; это так же мало походит на науку, как куча щебня на шоссированную дорогу. В науке мы давно забыли о целях и все любимемся средствами.

Письма имеют то неудобство, что все отвлекаешься в сторону. Года 2 назад, когда я всюду встречал неодобрение своим занятиям (я учитель истории и географии) философией, я раз в раздражении сказал очень близкому человеку (тоже нападавшему): «Если бы моих занятий и течения мыслей не одобрил Страхов, я, вероятно, на очень долго времени оставил бы их и вообще усумнился бы в правильности пути, которым иду; Вы же все только раз-

драгаете меня без всякой пользы». Об этих-то мыслях я и хотел сказать Вам. Вы просите, чтобы я Вам написал о себе. Я напишу о том, что я думаю.

Кто знает цель чего-нибудь, тот знает смысл его. Поэтому лишь тот может ясно и спокойно жить, кто знает цель жизни; не было времени, когда бы я этого не думал, но в течение приблизительно 7—8 лет я думал, что истинная цель человеческой жизни есть счастье (утилитаризм, который бессознательно усвоил лет 14—15, должно быть). Так как другого убеждения у меня не было, то естественны были мои попытки вывести все из этого убеждения и привести свою жизнь в соответствие с этой идеей. Долго рассказывать, но скажу только, что я был измучен и извращен этими усилиями. Что такое счастье? Удовлетворенность. Какая удовлетворенность? Наибольшая (продолжительность и напряженность ощущения); отсюда исчезновение качественных различий в желаемом, граней между добром и злом: нет более категорий нравственного, прекрасного и полезного, как *самостоятельных* и поэтому требующих *отдельного* удовлетворения и исполнения, есть только одна вытянутая и дрожащая струна — удовлетворенность, которая должна быть полна и продолжительна. Отсюда: для достижения всякого большего добра может быть совершенно всякое меньшее (ибо чистое добро вообще неосуществимо), а так как категорий нет в добре, то, след., также может быть совершаемо и подлое (нравственная категория) и отвратительное (категория прекрасного).

Продолжая дальше развивать основное положение, приходим к вопросу: чье счастье есть цель человеческой жизни? Наибольшего количества людей, потому что в нем оно и является наибольшим. Отсюда: не только единичная личность, но и вообще всякое меньшинство (хотя бы само по себе и очень большое) может быть принесено в жертву для счастья большинства; отсюда — молоховы жертвы, политические преступления (у других).

Целью должно быть счастье большинства — кем определяемое (выбираемое)? Наибольшим количеством людей; ибо избранное другими, оно для наибольшего количества людей может быть не удовлетворением, т. е. не счастьем, и след. теория вся разрушается. Поэтому если большинство требует, чтобы, положим, вешали священников во имя прогресса, — нужно вешать их; если оно требует, чтобы жгли ученых и мыслителей, — нужно жечь их, не имея права (*не имея возможности по недостаточности какого-либо основания*) рассуждать, хорошо все это или нет. Если меня самого, если всех утилитаристов «наибольшее количество людей» считает вредными и желает повесить, то, со своей точки зрения, я или они все не только ничего не должны говорить против этого, но должны сами повеситься, сознавая всю правоту и истинность свою именно в момент, когда они вешаются или их вешают. Нет и не может быть никакой свободы мысли, не зависимой от суда народного, науки, нравственного учения или искусства.

Наконец — цель всегда есть нечто неподвижное и вечное по отношению к средствам, т. е. все эти возможные в будущем молоховы жертвы — должны продолжаться бесконечное время, прихотливо изменяясь в истории сообразно желанию «наибольшего количества людей».

И в заключение: так как цель есть нечто предварительно сознаваемое, то, след., и всякое данное удовлетворение, которого я ожидал, уже прошло ранее через мою мысль, сознание; жизнь в мельчайших звеньях своих должна быть строго сознательна, т. е. рефлексивна, но всякое истинное удовольствие, каждая радость испытывается нами лишь 1) при непосредственном отношении к действительности; 2) при цельности этого отношения. Здесь же мысль предваряет каждое ощущение, и все ощущаемое анализируется на свои элементы и тщательно взвешивается в этих элементах заранее.

Итак, ценою великого страдания, ценою извращения всей истории и всех сложившихся человеческих понятий не будет куплено даже самое малое наслаждение, самая преходящая радость. Идея счастья есть идея страдания, никогда не кончающегося и ничем не утолимого. Как очарованный, стоял я перед этою чудною и страшною идеею, столь правильной в своем развитии, столь невозможной для выполнения, и не видел никакой возможности поколебать ее основания. Это продолжалось несколько лет. Физически и духовно я был изможден ею, все нравственные и эстетические инстинкты мои были или подавлены, или полуподавлены, я сам наполовину разрушил себя, все думая об этой идее (т. е. размышляя собственно, потому что она уже давно стояла передо мною вся раскрытая, ясная, во всех ее изгибах, но находясь в каком-то *состоянии думанья* — этого термина не умею выбрать). Я уже давно перестал пытаться выполнять ее, — а находился в каком-то несказанном удивлении, испытывал величайшее любопытство к ней.

Что я так долго не мог выйти из нее и понять ее ложность, я теперь объясняю себе только тем, что я жил все это время *внутри* этой идеи, все развивал входящие в нее понятия, спускался к основанию и всматривался в него или поднимался вверх, в ее последние отпрыски. Наконец я подумал (и это было для меня открытием и освобождением): счастье как конечная цель человеческой жизни не есть нечто найденное, но придуманное; она искусственно построена, но не открыта. Это есть свойство цели — давать удовлетворение, когда она достигается, а человек — это субъективное ощущение, испытываемое им при достижении действительных целей, объективировал и сделал целью — отсюда все извращение человека и жизни при стремлении к этой странной цели. Сказать — «цель человеческой жизни есть счастье», столь же нелепо, как сказать, что «цель топора состоит в том, чтобы быть твердым» или «цель того, что я иду, в том, чтобы ноги мои касались земли». Но если так, если все-таки жизнь может быть осмыслена лишь тогда, когда знаешь цель ее, то, след., эта цель должна быть открыта, найдена (в противоположность счастью, которое как цель придумано, изобретено). Найти истинную цель человеческой жизни или деятельности можно, лишь раскрывая природу человека. Цель его деятельности лежит в его деятельной природе, но лишь не обнаруженная, закрытая еще. Природа его состоит из тела и духа; но в теле все функции имеют круговой характер, т. е. повторя-

ются, не изменяясь; итак, конечной цели человеческой жизни нужно искать в духе. В нем (духе) нужно различать его первозданную природу, и то, что привлечено в него историю и текущую жизнью; во втором, очевидно, не может скрываться конечная цель человеческой жизни, так как оно временно. Итак, эта цель может быть скрыта, заключена лишь в первозданной его части, и именно в ее форме, строении. При первом же анализе мы открываем в нем разум, чувство и волю; первый стремится к истине, второе к добру, третья — к свободе. Итак, достигнуть всей истины, осуществить все добро и стать вполне свободным есть конечное назначение человека; раз все это разнородно, оно уже не может быть принесено в жертву одно другому, и, след., наука, напр., абсолютно свободна, и моя личная деятельность в ней не может быть подавлена волею всего даже человечества: стремясь к знанию, я стою перед моею первозданною природою и Тем, из кого изошла она. Ни мне до людей, ни людям до меня *здесь* нет дела. Чувство распадается также на формы, и одна из этих форм, чувство нравственное, состоит из чувства доброты и правдивости; на последнем особенно удобно проверить, что добро есть цель того, что есть первозданного в человеческом чувстве: правдивость есть отсутствие всякого изменения внутреннего мира человека на пути к своему внешнему выражению; и ясно, что лишь внешнему влиянию мы можем приписать такое изменение; ложь есть поруганная правда и, следовательно, она могла явиться только позднее ее. И т. д.

Я, кажется, уже кончал курс в университете (Моск.), когда эта мысль осветила мое сознание. Если идея счастья как верховного начала человеческой жизни была моею истинною учительницею, которая изошрива моя мысль, настолько она была способна к такому изошрению, то эта вторая идея — что человек имеет некоторое естественное назначение, что оно может быть открыто, и это открытие может быть совершено через рассмотрение первозданной человеческой природы, дало все (и думаю, уже на всю жизнь) *содержание* моему уму. Я уехал, кончив курс, веселый и счастливый в Брянск, где сделался учителем истории и географии в 4-х классной прогимназии. Там было много досуга, и я написал там книгу «О понимании». В ней нет ничего из того, о чем я здесь говорил Вам: я как-то не могу писать с интересом о том, что уже продумано и решено (потому и это письмо, верно, нехорошо); интересно только неизвестное. Не скрою, что из Университета я вышел с глубоким отвращением к преподаваемой науке (кроме лекций Буслаева, Герье и Стороженко, которые очень интересны) и с полным убеждением, что наука прежде всего должна определить свою сущность и цели и затем уже сознательно идти к ним. Применяя свой способ находить цели, я обратился к первозданной части разума и нашел, что он слагается из схем: 1) существования и изменения; 2) сущности; 3) свойств; 4) причинности; 5) целесообразности; 6) сходства и различия; 7) числа. Этим схемам разума соответствуют в Космосе стороны бытия, т. е. самое существование и пр. Дать полные теории этих сторон бытия, рассматривая их в самих себе, без отношения к тому, в чем они проявляются, затем рассмотреть их прояв-

ление в единичных вещах и явлениях и, наконец, в самом Космосе — это есть единственная и конечная задача науки ли, философии ли, не знаю, но, во всяком случае, того, что должно быть нормальной деятельностью человеческого разума. Эту конечную форму умственной деятельности я назвал «пониманием», т. к. кроме указанных объектов нет ничего, к уразумению чего человек мог бы стремиться. Разрабатывая теории причинности и целесообразности (форма этих процессов различна, результаты их также не одинаковы, вообще в них много особенностей), я был поражен невозможностью подвести под первую развитие органического мира (раньше, пока я не занимался этой теорией, я был бессознательный дарвинист) и, не называя дарвинизма, сказал, что никакое причинное объяснение органического мира не может быть достаточным. Потом прошлую зиму я прочел с истинной радостью Ваши мысли о физиологии и эмбриологии, а нынче летом книгу Данилевского, затем Вашу всю полемику с Тимирязевым.

Вот уже 4 часа ночи пробило, а я все пишу. Прежней радости и света нет во мне. «Господь посетил меня страданием», — думаю я часто, когда становится почти невыносимо жить, и страшно, при этой мысли я всегда нахожу, что хотя страдание по-прежнему тяжело, но я не ощущаю при нем никаких мутных чувств. Мне часто представляется, что Бог любит людей, но что он Сам слаб и борется с какою-то тьмой; он жалеет людей, и когда они отрываются от Него, он посещает их страданием, которое очищает всегда душу. Немного месяцев назад я уже думал, что кончу скоро сиделкой в какой-нибудь больнице, но теперь чувствую себя легче. Иногда стараюсь забытья, но все ненадолго. Чего мне недостает? Жизнь не несчастлива, чужда всяких страстей, но вполне безрадостна, и это все.

В прежние годы, когда я думал о Вас, я всегда думал: он стар и устал бороться; пусть он не знает меня, но я буду его верным учеником. Теперь, когда я Вас знаю, я прошу Вашего благословения в свой будущий путь: идея Божества (хотя в странной, но, конечно, исполненной любви и со стороны Бога, и со стороны человека), идея целесообразности в органическом мире, идея духовности души (ведь тавтология вышла, а ее отвергают) — это и для меня дорогие и заветные мысли.

Также дорога мне и Ваша любовь к нашей литературе, и отвращение к журналистам и политикам, о которых вы говорите, что они всегда обманщики. Но главное дорого, что Вы столько лет стояли один (ибо я по складу ума и чувства не знаю другого, подобного вам, есть только близкие по содержанию убеждений, как Данил., Достоевск., Л. Н. Толстой). Простите за это длинное и, может быть, фантастичное письмо. Если что уже очень дурно в нем, то оно может объясниться моим нездоровьем. Как бы хотелось знать Вашу мысль о Громеке, о Вл. Соловьеве. Я почти прошу Вас не отвечать на это письмо, если Вы так утомляетесь писать. Только 2—3 слова (не больше одной странички), на дороге ли я стою.

С глубочайшим уважением *В. Розанов.*

15 фев. 88

Многоуважаемый
Николай Николаевич!

Не думал я никогда беспокоить Вас какою-нибудь просьбою, но совершенно неожиданно пришла такая минута, что я хотя и с крайне стесненным сердцем должен просить теперь у Вас совета, указания или помощи. Мне очень трудно писать это письмо, вызвать у вас хотя бы на момент чувство усталости от него. Дело касается, однако, Аристотеля, перевода его «Метафизики». Чтобы Вы поняли меня и извинили за это письмо, я никак не могу писать очень кратко; я хочу сказать об очень сильном, чрезвычайном побуждении, которое принудило меня к этому письму.

Вот уже года 2, присматриваясь к разным сочинениям (между прочим у Куно-Фишера в изложении философии Лейбница, у Вас в книге «Об основных понятиях физиологии», у Уэвеля в «Ист. инд. наук» — в статье о Кювье, у Гогоцкого, у Данилевского в «Дарвинизме»), я все больше и больше приходил к убеждению, пожалуй, к догадке, что корень дела, ключ к разрешению множества вопросов, которые для меня — или разрешить, или не жить, лежит у Аристотеля. Чтобы дать вам понятие о той совершенно особенной, мучительной жажде проникнуть в тайники его философских понятий, скажу Вам несколько слов, которые не сочтите нескромными — они необходимы: когда я писал свою книгу, я не имел за собою никакого другого авторитета, кроме чисто субъективного убеждения (хотя и основанного на доказательствах, но лишь для меня, быть может, достаточных); все, что я слышал в Университете и что мне приходилось читать не только у наших писателей и ученых, но и заграничных (у Ланге в «Ист. матер.», у Тэта и пр.), являлось отрицанием и глумлением над тем, в истинности научной и глубокой жизненной важности чего я был убежден. Вам будет понятно все, если я в коротких словах скажу, что дух человеческий определен (определение выведено) у меня как *форма форм*, и на этом именно основано доказательство его бессмертия, невозможности для него разрушиться; разум определен как *потенция* понимания, в котором последнее так же предустановлено в своих формах, как в семени предустановлена форма растения, из него развивающегося; наблюдаемый в природе процесс усложнения и совершенствования всех существ, начиная от простых химических соединений, и далее, через минералы аморфные и кристаллы до организма растительного и животного имеет под собою, как производящую и объясняющую причину, процесс распада смешанной потенциальности на определенную и неопределенную, причем полного своего выражения этот процесс достигает в человеке, его красоте физической и духовном творчестве, здесь лежит разгадка чудных явлений роста, цветения, образования семени и смерти, напр. растений; понятие о Божестве получается, если с человеческой природы в самой себе мы снимем предельность и недействительность, откуда в человеке — жажда религиозного, в истории — Откровение; здесь в основе лежит тайна отно-

шения потенциального к действительному, стремление первого ко второму, направление вторым к себе первого; процесс усложнения государства и развития протоорганизма в органический мир есть проявление целесообразности, и именно — распадение идеи на понятия, понятия на многообразные представления, в которых всех оно сохраняется и полнее выражается; государство есть система психических состояний, соотносительных и неприродных, отражающихся в деятельности целесообразным процессом, в котором господствующий и направляющий член есть «благо» — откуда разложение идеи блага на составные термины может повести к открытию конечной формы или цели политической деятельности и исторического развития; форма и процесс (в отличие от простого изменения — определенный) есть 2 основы всего мироздания, на которых все держится и из которых все истекает в нем; все это скудно в перечне — но ведь это последняя станция, на пути к которой было много приключений, радостей и горестей.

И вот одинокий и унылый, но безгранично верящий, присматриваясь к разным книжкам, я вижу, что был в древности ум, в котором есть что-то до чрезвычайности близкое и родственное; правда, на него теперь ссылаются лишь с насмешкой, говоря о его фантастических *представлениях* о вселенной (напр. Узель), но кроме этих представлений, вовсе не важных, есть у него какие-то чрезвычайно гибкие понятия, до чрезвычайности много объясняющие; умные люди ссылаются на него с уважением; меня чрезвычайно поразила ссылка Каткова в «Очерк. древн. пер. греч. фил.» — понятия δύναμις и ζυερευεία в своих латинских терминах potentia и actus (я только actus не очень понимаю; в своем сочинении я всегда говорил о потенц. и действительности; верно он соответствует у меня «образующемуся существованию», но мы до этого в «Мет.» не дошли) служат ключом к понимаю самых сложных и глубоких систем философии. В них, как в таинственных символах, выражена целая система мысли и стало понятно то-то и то-то (главное — изменение); сюда же относится и странное, непере译имое выражение τὸ τί ἦν εἶναι, которым он обозначает сущность каждой вещи. О добрый Николай Николаевич! Простите за это длинное, глупое письмо, но ведь я первому Вам говорю все это; другие ничего бы не поняли и не поверили бы. Я начал переводить «Метафизику» Аристотеля, но текст страшно труден, многие предложения просто без глагола, страшно неясны и темны. В гимназии я все думал о разных вещах (какая цель жизни и верен ли утилитаризм), и, как в тумане, мелькнули передо мною древние языки; потом, по всеобщему предубеждению, я считал все это ненужным, а главное, я очень неспособен к языкам. Перевел кое-как первые 6 глав 1-й кн. «Мет.», на седьмой остановился; это было в Брянске, там никто не интересовался философией, были только карты; поймете ли Вы мое чувство, когда я стоял перед этой чудной темой, в которой была разгадка всех моих сомнений, и простите этот эгоизм — он (отчасти) и есть то темное, о чем я писал Вам о себе, но это не все мое торжество, оправдание моих мыслей, бессонных ночей, того энтузиазма и надежд, с которыми я писал свою книгу. Измученный и убитый, я стал просить в Округе, чтобы меня перевели куда-

нибудь в полную гимназию. До чего я поглощен был всеми этими мыслями и интересами, чтобы объяснить это, скажу только, что моск. проф. Герье (историк, чрезвычайно образованный, умный и благородный человек) предлагал мне держать экзамен на магистра, и я под предлогом незнания языков отказался от этого, а когда он настаивал, говоря, что это не необходимо, я просто отказался, потому что года на 3 пришлось бы заниматься посторонними предметами, напр. психологией, которая меня не интересует, или интересуется, но с метафизической лишь стороны, как учение о духе, который как форма форм и проч. Меня по моей усиленной просьбе перевели в Елец нынешнее лето. Здесь я соединился с одним учителем, хорошо знакомым с греческим языком и интересующимся философией, хотя и с позитивной стороны; я убедил его приняться за перевод «Метаф.» Аристотеля, и он согласился с удовольствием (он вообще очень хороший человек, честный, серьезный и деятельный, хотя и со вздорными новыми убеждениями). Вы, конечно, поймете всю мою радость; сперва мы переводили вместе, а потом по совершенному бессилию моему разделили труд — он переводит, я пишу объяснения по существу. О, простите меня за нескромность (здесь уже ненужную), но я пишу эти объяснения с тем же удовольствием и легкостью, как если бы писал объяснения и дополнения по второму изданию своей книги; даже начинается «Мет.» с того же, с чего я начал — с различия между знанием и пониманием и с указания, что сущность науки состоит в последнем; но у меня почти все подробнее изложено, и потому мне писать все очень легко. Теперь переведена и объяснена уже вся 1-я и 2-я книги (всех 14), кроме того, переведена 3-я и часть 4-й. Вследствие невероятной почти трудности текста (по составу «Мет.» — сбор почти черновых набросков Ар-я) мы приобрели перевод Бартелими С.-Иллера; помню, в ноябре пришла книга в гимназию; так как мы совершенно не знаем, что делать с термином $\tau\acute{o}\ \tau\iota\ \eta\upsilon\ \epsilon\iota\upsilon\alpha\iota$ (букв. «то», «что»? «было быть»), уже встретившимся у нас (в ант. философ. он передается терминами «чистое понятие о вещи» и «форма» — но это вовсе не перевод, а догадка), то я сейчас же открыл соответствующее место и прочел: «Le mot de Cause peut avoir quatre sens différents. D'abord il y a un sens où Cause signifie l'essence de la chose, ce qui tout qu'elle est ce qu'elle est» (vol. 1, Metaf. d' Arist., p. 25)¹; я в волнении закрыл книгу: глава о сущности у меня начинается словами: «Как, кажется, ошибочно думают те, которые утверждают, что сущность есть одно во всем» (я думал о Спинозе, Платоне и Ар-е, о последнем, как оказывается, неверно) и пр., и далее: «Это отношение, а через него и природу сущности можно выразить таким образом: «Она есть то, что делает то, в чем оно есть, тем, что оно есть» (курсив, «О поним.», стр. 261) и далее, превратив это определение в другие, получаю, что сущностью бывает во всем вещество и форма (образующие процесс). У Ар-я происхождение понятия $\tau\acute{o}\ \tau\iota\ \eta\upsilon\ \epsilon\iota\upsilon\alpha\iota$ не объяс-

¹ «Слово «причина» может иметь четыре различных значения. Сначала причина выражает сущность вещи, то, что делает ее тем, что она есть» (Том 1, «Метафизика Аристотеля», с. 25) (фр.).

нено, т. е. почему он дал такое странное название для сущности вещи; у меня определение выведено, и, конечно, я могу объяснить, как оно произошло. — Это все мои радости, мои восторги, и Вы простите, что я пишу о всем этом лишь отчасти к делу. Послали мы перевод в журнал «Вера и разум», вчера вернули назад его с письмом, что-де это капитальный труд, но будет труден для большинства наших читателей; мне предложили участвовать в журнале: не напишу ли что-нибудь по новой философии, да не забывал бы и академических деятелей (в переводе я сделал очерк направлений философского изучения у нас в связи с перечнем существующих переводов, и уже, конечно, благородного Карпова не забыл). Теперь, что делать? В этом недоумении я и обращаюсь к Вам. Я и сам не хочу, но и в особенности мой товарищ безусловно не станет переводить лишь для моего удовольствия; печатать отдельной книгой — это снова входить в страшный долг, из которого я еще не окончательно выпутался после издания своей книги. Не примет ли «Журнал Мин. нар. просвещения», в котором Вы участвуете, и, след., можете спросить. Ведь это же лучше — печатать пустяки, потому что они занимательны, и отбрасывать серьезное, п. ч. оно для большинства трудно. Что за странная вещь — вечно трудиться над средствами и отворачиваться от цели! Древние языки заставляли нас учить и с вниманием подчеркивали всякую η в extempore, но вот мы выучились, почувствовали интерес к высочайшему проявлению греческого духа, желаем передать его нашему народу (какой стыд, что «Органон» и «Мет.» не переведены, — ведь на армянский язык переведены по Гоготскому), и вот говорят: «Нет, это не нужно, и вообще совершенно лишнее, неинтересное». Понимаете ли Вы, Николай Николаевич, что это может зародить такие темные чувства, такую глубину презрения, неуважения ко всему бессмыслию нашей жизни, которого тем, которые руководят нашим обществом и на что-то надеются, не нужно ни в ком пробуждать. Этого неуважения уже слишком много и ни к чему делать его справедливым. Но это все в сторону. Я у Вас прошу указания и надеюсь на помощь; если и печатается еще Радлова «Зад. этики», то лишь с большими промежутками, и в этих промежутках могла бы быть помещена «Метафизика». Теперь она у меня лежит в столе — великое сокровище, никому, говорят, не любопытное; да в учении о форме ведь разумное объяснение религии, государства; ведь это не прыгающие атомы, созерцание коих столь легко и приятно всем.

Вчера я показал Ваш портрет одному учителю — странному соединению симпатий к Америке, свободе, республике (я думаю) и к христианству. Он долго смотрел на портрет (он не молод, хорошо знает людей) и сказал: «Я не знаю его сочинений, мне ничего не случилось читать, но одно могу сказать, что много очень в нем любви (я молчал и ждал), т. е. это человек, который мало о себе заботится, живет для других». Я стал ему рассказывать Ваши отношения к Данилевскому, лекцию Тимирязева и Вашу статью последнюю («Рус. В.», декабрь); он слушал с сочувствием; оказалось, что не читал ни Дарвина, ни Данилевского; я упомянул о переводе Куно-Фишера: «Батюшки, да ведь у нас все сумасшестввовали когда-то в семинарии от него: бывало, начинают К.-Фиш. и начнут не только спорить, рассуждать, но

просто чудное что-то выходило». Много Вы заронили добрых семян своей деятельностью. Лет 7 назад, когда я раз сомневался в полезности чего-либо, в ненужности всякой деятельности, я рассеянно взял со стола томик Куно-Фишера, и чтение его доставило мне столько отдыха, удовольствия, что я, помню, написал на последней странице (я сейчас справлюсь) 1-го тома: «Честь и слава Куно-Фишеру, написавшему эту прекрасную книгу; честь и слава Страхову, переведшему ее; честь и слава Тиблину, давшему средства для издания. Вот как можно еще трудиться для одного добра, без примеси зла» (тогдашняя мысль — о неотделимости добра и зла, и, след., цель оправдывает средства); оно давно вышло из продажи, я уже купил у букиниста, а полезнее и приятнее для чтения я книги не знаю — что бы Суворину издать 2-й раз вместо «Ист. Петра Вел.» Брикнера — ведь он и вздору много издает. Такое длинное письмо вышло, что стыдно посылать. Скверная, низкая мысль где-то в заднем уголке моей души стояла все это время (кстати, я никогда не мог понять мысли Платона о *простоте* души): «Ему ответили, а он и привязался». Но я знаю, это только моя скверная мысль: старая, с детства как-то развивавшееся чувство, что кому-то неловко от меня, кому-то мешаю. Вы верно теперь заняты статьей Вл. Соловьева о Достоевском и Вас, и, быть может, думаете полемизировать. Этот переход в мерзкий «Вестн. Евр.» после «Русск. Вестн.» и его слова о Каткове мне чрезвычайно неприятен в нем. Неужели это измена знамени? А я его когда-то очень любил и еще теперь все-таки очень люблю, только жалею о нем, его самого жалею. Читаю с чрезвычайнейшим любопытством книгу Бакунина «Осн. в. и знания»; она месяцев 5—6 лежала у меня, но его гераклитовские изречения, какое-то выскакивание всех мыслей из душевной глубины, а не спокойное развитие их меня оттолкнуло до того, что я просто не стал читать: у меня столько наболело на душе высокомерное и насмешливое отношение «ученых» к философии, что всякая книга, чуждая спокойствия и совершенной доказательности, во мне поднимает почти злобу: ну, думал, вот еще на потеху профессор. написано. Но его книга всего более возбуждает во мне интерес необыкновенного любопытства именно способом изложения: он ничего не доказывает, только высказывает положения, утверждает, но если читать очень внимательно, то видишь, что все это истинно, или гораздо правильнее; чувствуешь, что это как будто не извне воспринимаешь, а из тебя выходит: до того все ясно и очевидно правильно само собою, лишь только уразумеешь смысл написанного (хотя вместе с тем чрезвычайно оригинально). Такой книги я еще никогда не читал. Чрезвычайно интересно знать, кто автор. Но как у нас, слава Богу, пробуждается интерес к философии. Скоро, скоро настанут другие времена, и от гнусного легкомыслия нашего времени и пыли не останется.

Весь Ваш В. Розанов.

Итак, ради Бога: не напечатают ли «Мет.» Ар-я в «Жур. Мин. Н. Пр.», а если нет, то нет ли издателя?

2 мар. 88

<Приписка перед текстом>

Я засяду за Куно-Фишера летом. Ведь она хороша. Боюсь только, что не так Вас понял. Вы хотели указать Канта или Гегеля, или вообще не историка. Лето посвящу К.-Фиш.

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Вы извините меня, что я так к Вам обращаюсь, как к очень уже близкому человеку; в этом нет нескромности и навязчивости; гораздо раньше, чем я написал Вам первое письмо и Вы узнали, что я есть на свете, я уже привык к такому обращению к Вам. Во-вторых, ни на это, ни, если случится еще писать, на другое письмо, я не жду Вашего ответа. Как мне ни дорога каждая Ваша написанная строка ко мне, мысль, что это затрудняет и тяготит вас, перевешивает свою тяжестью радость получения ваших писем. Теперь, сделав эту оговорку, я уже буду без боязни писать.

Что мне делать, если я совершенно не знаю немецкого языка (не учился ему в гимназии)? Это я говорю в ответ на Ваши слова, что нужно взять какие-нибудь хорошие немецкие сочинения. Потом из долголетнего опыта я убедился, что прочитывать книги почти бесполезно: так много важного ускользает от внимания, что потом, при новом возвращении к книге, уже прочитанной, часто бываешь поражен даже важностью и ценностью незамеченного. Поэтому я читаю, напротив, очень мало, и только то, что меня очень интересоваляет: с каждой книгой я живу некоторое время, думаю о ней ночью, когда просыпаюсь, и на досуге снова и снова открываю ее, где попал, и прочитываю что-нибудь. При таком чтении всегда будешь несколько невежествен, многого будешь не знать такого, что общеизвестно. Но это удивительно как хорошо образует (не образовывает только), даже воспитывает. Я так читал Ваши «Об основных понят. физиол.» и так живу теперь Вашим «Мир как целое». Так, я убежден, должен читать всякий, кто учится для себя. Но я буду следовать все-таки Вашему совету, и что если я мало прочту; как хотелось бы познакомиться с Лейбницем; Вы тоже его очень цените, и я даже из Ваших указаний люблю и его, и Аристотеля. Вы всегда цените и последнего, в ссылках «вот где свет», думал я, читая Ваши ссылки. Но чем я бесконечно заинтересован, это Бэрм и его мыслями о целесообразности и ее явной роли в эмбриологических процессах. Сужу по ссылкам Данил. и Вашим. Нет ли чего-нибудь на русском языке? Если да, то если б Вы хоть не теперь, но когда-нибудь черкнули мне заглавие какого-нибудь сочинения. — Но я отклонился.

Я думаю, что бы Вы ни написали мне в письме, ничто не будет для меня неожиданно, ново: настолько я вжился в Ваш образ мысли по Вашим кни-

гам. Это я говорю по поводу того, что есть упрекающего в Вашем письме. Мне было почти неприятно, когда Вы спросили в 1-м письме, не моя ли такая-то книга, и я должен был сказать «да»; совершенно тягостно было все писанное об Аристотеле. Я знаю, Вы думаете, что в литературной деятельности есть нечто развращающее; я также думаю это. Получив Ваше письмо, я несколько дней все больше и больше вдумывался в это странное явление (т. е. что литер. развращает); тут тайна, страшная и трагическая; с первого взгляда это кажется смешным и уродливым, а потом внушает необыкновенную жалость. Когда я пишу, я, конечно, интересуюсь лишь тем, о чем пишу, посторонней мысли нет никакой. Но когда я написал, являются страшные и темные мысли. Человек — человекоубийца по природе своей; я хочу убивать чужие мысли, хочу, чтобы чужие души жили не своею жизнью, а моею жизнью. Я близок к тому, чтобы плакать, когда это пишу, близок к ужасу и отчаянию. Повторяю, тут тайна, какая-то мерзкая и космического характера. Я думаю, насколько человек производит, настолько он умирает (тем, что он умирает всю почти жизнь) и это как в физическом, так и в духовном смысле; та часть умирания, которая входит в Вас, когда Вы отдаетесь сильной психической деятельности (сказать яснее — когда у Вас рождаются мысли), пробуждает жажду другой, объективированной жизни, точнее: жизнь, потухая в одном, лишь переходит в другое, и Вы, поэт, художник или мыслитель, есть лишь жалкая, бессильная вещь, в которой совершается эта объективация жизни, и, совершаясь, — является в форме желания вашего жить в мысли или в чувстве другого. Мы люди здесь — не деятели, но лишь сфера проявления иных могущественных деятелей, темных и неразгаданных. Что делать, мы можем здесь лишь скорбеть и молиться.

Я получил чрезвычайно доброе письмо от П. А. Кускова, в котором он, между прочим, пишет, что вы уже видели мою книгу и что мне следует послать экземпляр Вам. Я посылаю его с этим письмом. Не сочтите это нескромным и дурным.

Я и еще один учитель здесь (кот. имеет почти все ваши книги), мы боимся, что «Р. и. Евр.» Данил. будет расхвачена раньше, чем успеешь выписать. Я ее читал лет 8 назад и еще перечту с удовольствием. Вл. Соловьев, мне думается, верно характеризовал его, назвав «эмпириком и реалистом»; когда я писал вам как-то, что по складу ума и чувства у вас есть особенность, ни с кем не разделяемая, я именно думал об этом, но не нашел нужного слова. Вы чрезвычайно субъективны, и это есть именно то, что так связывает Вас с читателем, что пробуждает в Вас совершенно иные чувства и мысли, нежели какие пробуждаются беседою только с умною книгою. «Дарвинизм» я прочел нынешнее лето; когда я читал его, мне все хотелось, чтобы его перевели на немецкий яз. (я думал о Вас); только когда немцы сказали бы свое слово об этой книге, Тимирязевы и К⁰ должны были бы молчать. Кстати, когда я прочел в Вашей статье в «Рус. Вестн.», что можно было бы чрезвычайно удобно пересмеять его статью и что Вы думали уже об этом, во мне вспыхнуло почти глгучее сожаление, что вы этого не сделали. И так продолжалось

все время, когда я в следующей статье не прочел заключения. По грусти, по какой-то чудной праведности и чистоте чувства, это мне кажется лучшим, по крайней мере, самым благородным местом в Ваших сочинениях. И я понял, что Вы и не должны были пересмеивать. Ваша литературная целомудренность удержала Вас от того, чтобы изменить своей природе. Пересмеивающую, остроумную статью, вероятно, перечли бы гораздо больше людей, но это не для Вас. «Я есть то, что есть, и я буду то, что есть». Это было всегда Вашим девизом. А даже у Достоевского колебалось в руках знамя. Я с улыбкою перечитываю порой его полемику с Добролюбовым: все-таки подавался, все-таки боялся. Но когда Вы мне прислали свой портрет, я совершенно понял, что в ваших руках знамя и не могло никогда колебаться, что способность писать хоть чуть-чуть не то, что думаешь и чувствуешь, это не то, что чуждо Вам, а все равно как будто где-то на луне происходит и Вы даже не знаете, что там делается. Простите за болтливость.

Аристотеля нельзя не печатать потому, что им как философом не интересуется мой сотрудник и он *не может переводить* иначе как для печати; когда я замедлял комментарии, он сердился, хоть и не высказывался почему. Я хочу ознакомиться с ним для того, чтобы ознакомиться с его понятиями *о потенциальности* (это самое главное), которые он первый ввел в философию и уже, вероятно, хорошо разработал. Таким обр., изучение Ар-я для меня есть не цель, к которой, раз поставив ее перед собою, я мог бы идти не спеша, но средство, через которое нужно переступить. *А этого нельзя сделать, не печатая теперь же.* Мой товарищ ввиду неопределенности положения с печатанием уже теперь приостановил перевод, и занялся переводами с французского — работами по педагогике, которой он, истинный любитель и знаток, которою интересуется действительно (а об Ар-е он и не подумал бы без моего предложения перевести и напечатать). Хотя Ар-ь и средство для меня, но в Брянске я думал (считая себя способным к переводу) отдаться этому великому и образующему средству года 4. Но этого нельзя, невозможно. Дня через 3 я пришлю Вам начало работы: предисловие и перев. с объяснениями 1 и 2 кн. У Барт. С.-Ил. не перевод, а изложение своими словами почти; а объяснения ограничиваются почти только замечаниями: «Это место находят темным Швеглер и Бониц, и я также не чувствую себя в силах прояснить его», или «Это чрезвычайно верно, что доктор, леча больного, имеет дело не с общим, а частным» и пр. — Наш перевод, быть может, и тяжел, но очень точен. Мы по временам над передачею ясного и понятного уже места (предложения) просиживали часа 2, ища непременно *точного и удачного* русского слова. Вообще чего другого, но аккуратности, отсутствия небрежности в нем не недостает. В случае если «*Жур. мин.*» откажет в печатании, мы немедленно станем печатать выпусками. Поверьте, тут нет легкомыслия, а лишь *необходимость, нужда*. Иначе невозможно переводить; вся работа уже теперь *стала*.

От слов Вашего доброго письма: «Поверьте, в умении ждать заключается великая мудрость» и «у всякого, впрочем, бывает своя манера развития и проявления» повеяло на меня лучшими местами ваших сочинений¹. Как я рад, что знаю Ваш почерк. Что бы Вы мне ни сказали, какой бы даже очень сильный упрек, если в первые минуты мое сердце и сожмется от боли, я перенесу это и приму его с благодарностью и, извините, любовью. Вы не можете ничего сказать с дурным чувством. Когда я пишу это, я опять смотрю на Ваш портрет. После Достоевского Вы навсегда будете наиболее близки, дороги моей душе. Я не буду ждать на это письмо никакого ответа, и мне будет даже неприятно получить его.

Ваш В. Розанов.

5

31 мар. 88

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Так был занят все эти дни составлением экзаменационных программ к засед. совета, что не имел ни минуты свободной, — быть может, к лучшему, потому что не утомлял Вашего внимания. Вчера был вечер свободный, и я собрался к Вам писать, но, кстати, решил уже доставить себе полное удовольствие и достал от товарища 2-е изд. 1-го т. Вашей «Борьбы с Западом» (у меня есть 1-е изд.) и «Росс. и Евр.» Данилевского, которая, наконец, пришла сюда. Но, может быть, это только в виденном мною экземпляре, но портрет Данилевского мне показался не очень хорош — не совсем ясен, отчетлив. Кой-что посмотрел у него — об ежедневной прессе (газетах) и ее влиянии, о мнимой борьбе между Востоком и Западом в истории и пр. Удивительно трезвый и ясный ум. Над прочими нашими славянофилами он имеет то громадное преимущество, что совершенно чужд всякого мистицизма. Быть может, это делает его менее глубоким, нежели они, но для массы читающего общества — неизмеримо более убедительным, по моему мнению, — убедительным неотразимо. Чтобы не соглашаться с ним (и в «Рос. и Евр.», и в «Дарв.») есть только одно средство — не читать его (я уверен, что и Тимирязев только *просмотрел* «Дарвинизм»). При этом он пишет удивительно живо и занимательно. Я помню нынче летом, когда я читал в его «Дарвинизме» о безразличных и вредных признаках у животных, случился невдалеке пожар (в полночь), и я едва мог оторваться, чтобы побежать на пожар. Как хорошо то, что Вы говорите в предисловии о судьбе *книг* у нас, и как грустно все это. Какая разница с XVII в. на Западе, с временами Декарта, Бэйля. Громадный «Словарь» Бэйля расхватывали из библиотек, дожидаясь очереди, как в наше время у театральных касс, а во времена Декарта вывешивали на улице предложения решить ту или иную задачу по геометрии, как мы вывешиваем афи-

¹ Не знаю, правильно ли я называю это мне дорогое чувство словом Resignation [смирение (*фр.*)].

ши. Какая любознательность, какие прекрасные интересы в массе общества! А у нас — купили в Москве ученую свинью в цирке за 2000 р. и съели (лет 5 назад). Доживем ли мы (т. е. Россия) когда-нибудь до истинной наблюдательности, до истинной человечности? По характеру, по значительности, по ясности — параллель между Бэйлем и «Дарвинизмом» сама собою напрашивается: поднят глубочайший вопрос знания, на него дан неожиданный ответ, открывающий ошибку в давнишних убеждениях общества — и какая разница в отношениях публики, университетов, печати. Как правы Вы в своих взглядах на прогресс. Я, грешный человек, приписываю все это (т. е. страшный индифферентизм ко всему серьезному, а также и неспособность к умственному напряжению, продолжительному по крайней мере) сильному развитию периодической прессы (главное — газет) и также нашему школьному образованию (гимназии): представьте себе, что с 9—10 лет до 18 через душу человека ежедневно проходит 8—10 впечатлений (уроки в гимназии и приготовление уроков дома, не имеющих между собой никакой связи, предметы различные, напр. алгебра и география), Вы, человек вдумывающийся, психолог, представьте себе, чем должна стать человеческая душа, в течение 8—10 лет не испытывавшая ни одного *цельного, не разорванного* впечатления: нет времени ни любить, ни ненавидеть, ни задумываться над чем-либо, ни заинтересоваться. Какая поистине *tabula rasa* должна установиться в человеке, *tabula*, иссеченная мелкими и тусклыми черточками. Отсюда этот страшный душевный холод в подрастающих поколениях, безжалостность, отсутствие сострадания — нигилизм, убийство государя. Нервы у всех так *долго* и так *мелко* трясли, что они, наконец, стали совершенно не способны ни к какому сильному и глубокому потрясению. Этот основательный фундамент душевной пустоты и поверхностности, который заложен для всякого в гимназическом курсе, столь же основательно довершают потом газеты: с 18 лет и до конца жизни через душу каждого человека ежедневно же проходят в газетном листе десятки впечатлений, из которых каждое вызывает к себе некоторую долю внимания, и так как этих вниманий много, и каждое из них не похоже на другое, то по необходимости все они — мелки и мимолетны. Данилевский говорит, что газеты не имеют влияния, что не они действуют на образование в нас убеждений. О, они делают гораздо больше, — они делают нас не способными *ни к каким убеждениям*. Я смотрю так, что в повсюду установившейся в Европе регулярной школе и в ежедневной прессе мы имеем ту самую черную и страшную дыру, в которую умирающий и судорожный Иван Ильич чувствовал, что его толкает какая-то сила; это — томительный коридор, в который (как в Ринг-Театре в Вене) случайно забрело европейское общество и в конце которого оно найдет свою духовную смерть. Страшно то, что остановить шествие по этому коридору невозможно. Спасаются из него лишь избранные, люди с чрезмерно сильною душою, с задатками (потенциями), которых не задавить, но много ли их, да и зачем их спасение, когда толпа в силу тех же причин не услышит и не может услышать их голоса. Если бы я был Государь, я бы попытался все-таки остано-

вить это движение, откровенно объяснив, в чем дело, и затем уже действуя без колебаний. Можно бы дать абсолютную свободу науке, не бояться никаких чисто атеистических книг, и взамен этого, показав, что не истины мы боимся, но лишь смерти тех, кто ищет истину, изъять газеты и разрушить правильную школу. Я знаю, что правильная школа делает одно большое и хорошее дело — приучает к труду, уничтожает праздность. Но это и все; газеты же совершенно ничего хорошего не делают, а только отвлекают людей от всякого дела (это в частности, а в общем — понижают психический уровень). Я знаю, мои слова не покажутся Вам, как всякому другому, бредом сумасшедшего; о периодической прессе и ее развращающем влиянии и Вы такого же мнения. Но если так, то зачем же колебаться и не желать ее конечного уничтожения? Я, по крайней мере, сделал бы так, чтобы отнять лишь у них привилегию дешевой почтовой пересылки, особое покровительство государства, пусть посылают по той же цене, как простые письма, оплачивая по весу почтовыми марками. Пересылка самой дешевой газеты стоила бы 21 р., и их никто, кроме богатых людей, не стал бы читать.

Во 2-м изд. 1-го т. «Борьба с Западом» я прочел Вашу 2-ю статью о Ренане («Истории без принципов») и об Аксакове. Обе статьи чудно хороши; первая — по тонкой наблюдательности, вторая — по силе и глубине чувства. Вы в одном месте сомневаетесь, что, быть может, не полно сказали об Аксакове; совершенно полно, и так хорошо, что не нужно лучшего ни в отношении к нему, ни в отношении к Вам. Я сейчас же вынул Ваш портрет, ибо то, что в первом письме Вы говорили об «утомленном взгляде», вся эта дорогая черточка в Вашем лице (и именно тяжелая для Вас самих) отразилась в Вашей статье. Не знаю, как *теперь* Вы смотрите на будущее, но я верю, что мы победим, т. е. победит серьезность и исчезнет легкомыслие; верю в это я на основании представления о той мистической силе, которая управляет ходом истории и в проявлениях которой есть та же неправильность, те же как бы скачки в противоположные стороны, о которых Вы говорите в отношении к развитию зародыша в приложении к «Основн. понят. физиологии». Сегодня мы еще все легкомысленны, веселы и самоуверенно «делаем прогресс» (Ваше выражение), а завтра же, под наитием этой мистической силы, вдруг захолонут, захолонут сердца всех, и люди почувствуют такую горечь, такое отчаяние, что легкомыслие отпадет от них, как лишняя глина от делаемого горшка — в руках Творца нашего духа и нашей истории, ибо наши души и наша история в Предвидении Бога есть именно какой-то формируемый горшок в руках гончара (эта мысль есть в одном месте Библии). Без этой веры в мистическую силу, с уверенностью лишь в действии правильных законов прогресса, — не стоило бы жить, я бы не мог жить. Очень нужно лезть в какое-то болото.

Вы извините, что я Вам пишу такое длинное письмо. На него также не нужно будет никакого ответа, а прочесть его уже не будет трудно. Удивительно (я вчера подумал), что сколько бы Вас ни читал я, чтение нисколько не утомляет меня. Это я приписываю совершенной простоте и естественно-

сти Вашего писания, отсутствию чего-либо специально литературного в нем, всякой техники. Нельзя утомиться, читая частное письмо, и поэтому же нельзя утомиться, читая Ваши книги. Как сидел дома, прихотливо и свободно, ничем не стесняясь и ни о чем не заботясь, так и начал читать Ваши статьи, без какого-либо принорования к ним, без какого-либо приготовления себя к чему-то постороннему или нарядному: в них чувствуешь себя тоже дома, все так же свободно, прихотливо. Это потому, я думаю, что при писании их не было никакого изменения внутреннего мира (необходимо естественного и правдивого) на пути к своему внешнему выражению, никакого принорования к тому, чтобы выразиться хорошо. Но уже из древних кто-то сказал (видите, как были умны), что хорошо только то, о чем мы не думаем, будет ли оно хорошо (т. е. в делах и в словах). Я вчера писал к студ. Михайлову (он очень Вам предан) об Стороженке, моск. профессоре, и так как когда писал об нем, по некоторой причине думал и об Вас, то у меня в первый раз сложилась и мысль об некоторых Ваших особенностях, противоположных с теми, которые я подметил в Стороженке, слушая его лекции. В противоположность ему, Вы никогда не бываете (в книгах) вульгарны, и это есть то, что вместе с естественностью, которая делает чтение легким, делает его вместе и занимательным; вульгарным же я называю все, что обычно в сфере мысли и чувства, к чему уже привык слух, что несколько не ново. Поэтому каждый кусочек (от красной строки до красной) я читаю с одинаковым интересом. Если присоединить сюда Вашу совершенную свободу, даже нельзя сказать «мысли или чувства», но как человека, во всем его духовном строе, во всех его движениях и симпатиях, то мне кажется, я скажу все, что нахожу в Ваших сочинениях, почему они привлекают меня. Впрочем, центральное понятие — отсутствие вульгарности, как впадения в обычное, то, что у всех или во всех; мне приходят на память прекрасные слова Баратынского:

Но поражен бывает мельком свет
Его лица *необцим* выражением.

Вот эти чудные слова, гораздо более содержательные и глубокие, нежели как выражено в этих слишком скромных стихах, сказанных о себе нашим милым поэтом, я применяю и к вам, но только не «мельком» и не «бываю» я поражен, достаточно привыкший к вульгарному в нашей литературе (это в самом деле характеристика для целой эпохи, т. е. в слове «вульгарность»). Я помню, года 2 назад я был поражен, когда прочел у Вас обвинение в «тупости» Штрауса, т. е. поражен свободой Вашего чувства и мысли: этого бы никто не решился произнести в нашей литературе. Только Герцена я тоже не очень люблю, слишком уж блестящ, почти счастлив в красоте своего языка и мысли, и боюсь, боюсь я, не говорит ли он иногда таких мыслей, которые даже и не очень-то вот теперь кажется верной, да жаль, уже нашлось для нее чудное выражение, нельзя оставить. Не очень мне симпатичен; преобладающее чувство в отношении к нему (после чтения Ваших статей) — жалос-

ти, грусти за него, но и вместе чего-то чуждого, холодного; у меня к Ренану даже больше доброго, человеческого чувства (все сужу по Вашим статьям): гасконады его — ведь это то смешное, что так глубоко человечно, что мирит и приближает к нему: «И ты, столь блестящий и далекий — брат мой, с моими слабостями, такой же смешной, как и я». Нет ничего хуже этого холодного литературного блеска. Это атмосфера, которая заволакивает от нас писателя, делает его холодным и чуждым для нас.

Как я смеялся, когда прочел в Вашем письме сожаление о моем способе чтения книг и слова: «Ведь сам я так старался о связи и последовательности»; добрый, добрый и дорогой Николай Николаевич! Неужели Вы подумали, что я не прочитывал от начала и до конца же Ваших книжек, и так серьезно подумали, и так грустно сказали! Я их прочитывал и потом любил возвращаться, т. е. раскрывать, где начало, и снова читать, что можно делать лишь с невульгарною книгою; да и как бы я стал читать по порядку «О вечных истинах» и «Об основных понятиях жизни» (удивительно хорошо здесь о вечном единстве, неразделимости нашего сознания, — методические замечания о науке, во 2 ч., о задачах физиологии и об эмбриологии), когда без последовательности здесь все непонятно. В умственном, в научном отношении я считаю Ваши сочинения не менее образующими, чем и в нравственном, и если в последнем отношении они согревают, радуют: «не все еще пропало, есть же люди и так чувствующие», думаешь, то и в первом отношении они в высочайшей степени доставляют умственное удовольствие (а главное — Ваши методические замечания о науке); я уже много лет думал о них, как о лучшем подготовлении по ним ко всяким научным занятиям: они заставляют глубже вдумываться в существо жизни и в каждый единичный предмет, которым она *занимается*.

Теперь два слова деловых о «*Метафизике*»:

1) Замечания Ваши о самом переводе мы оба прочли, приняли во внимание и будем их держать.

2) О тексте Беккера, а не Didot — внесем при корректуре, т. е. исправим.

3) Прочие ошибки, а главное, неполноту библиографическую, в *Ельце* нет никакой возможности исправить; сделали все, что можно было, больше ничего нельзя сделать: нет никаких нужных книг, выписывать самим — нет денег.

4) Если редакция исправит ошибки или внесет прибавление — будем благодарны, и только; если нет — пусть ошибки остаются.

5) Примечания, если очень длинные, пусть сокращает, вычеркивая все лишнее (хотя жаль, ох, как жаль, если что действительно важное зачеркнут, напр. об индукции — искусству у Аристотеля).

6) Предисловие, если печатать отдельно статью, нужно переделывать, *выпустив* все, специально к Аристотелю относящееся, а главное, *дополнив* рассмотрением специальных философских сочинений на русском языке,

вроде Лопатина «Основные задачи философии», и *масса* в том же роде, а это — дистанция огромного размера, на прохождение коей я не могу решиться. Это значит работать (и не в Ельце) несколько лет. О переводе же всегда можно лишь упомянуть. Это упоминание, хотя, к сожалению, как Вы говорите, не полное, мне дорого, ибо бедненькие русские ученые трудились и трудятся точно в пустыне, или, вернее, в темном и пустом погребе — никто-то их не приласкает и не поблагодарит. Все ссылаются на разные «Archiv für etc.» с наслаждением для себя и без пользы для кого-либо другого. Поэтому

7) было бы в высочайшей степени приятно, если бы в «Журнале М.» напечатали предисловие вместе с «Метафизикой»: пусть недостаток связи с самой «Мет.» — так и останется недостатком; что делать? Ведь все равно, будут ли его читать как предисловие или отдельную статью.

8) Если даже это положительно и безусловно невозможно, пусть, пожалуйста, напечатают отдельную статью под заглавием: «Наша **переводная** литература по отношению к главным представителям философии» (ибо ведь лишь о переводах и по поводу их там говорится; о прочем же, дополняя, я не имею возможности говорить).

9) Греческий язык я знаю весьма плохо, слишком, слишком плохо для того, чтобы читать «Метаф.»; и вообще должен Вас предупредить (это на случай чтения Вами моей книги) с грустью, что степень моих знаний в чем-либо скудна, во всем, что касается хорошего образования — я беден ужасно. Но чтобы Вы уже совершенно не пренебрегали мною, напомню Вам, что понял же я Вас и понял все (до последней строки) в «Дарвинизме», а сосчитайте, сколько широко образованных людей ничего не понимают в Ваших книгах, и Тимирязев ничего не понял в «Дарвинизме»; есть у Вас одно прекрасное местечко (радующее и ободряющее) в «Мир как целое», но мне стыдно напоминать. Сознывая свою скудную образованность, я, однако, нисколько во всем прочем, т. е. в правильности суждения и в правильности взглядов моих на мир и на жизнь, основанных на этом суждении, не сомневаюсь и вовсе не желаю преклоняться теперь перед судом или осуждением профессоров, хотя бы их было и очень много. Я просто думаю, что в самой науке они ничего не понимают, не понимают того целого, над чем трудятся, а часто даже и своей специальности (напр., органического мира, если отвергают целесообразность). Моя тоска, сомнение, можно ли трудиться для науки *плохо* образованному человеку, целые годы (5) сомнения и тоски — все это в прошлом, все это кончено и отрезано, и я теперь ясен и тверд и не нуждаюсь ни в подкреплениях, ни в разуверениях. Вы еще не знаете, как читающие в Унив. философию работают над нею, мчась с *jour fixe* на *jour fixe* («Он успевает в день побывать на 2-х, иногда 3-х *jour fixe* ах»), — сказали мне об одном, когда я спросил, неужели он всегда ведет такой образ жизни. Это я запомнил и не забуду).

Вот я опять написал такое письмо, что стыдно посылать (т. е. длинное). Если бы Вы знали, как обрадовали меня словами Вашего письма, что мое сочувствие к Вам как писателю и понимание Вас — доставило Вам удоволь-

ствии (Вы сильнее выразились). Если сопоставить с этим Ваши грустные чувства в статье об Аксакове и Данилевском в «Р. Вестн.», если сопоставить с этим, что, и живя в глухом городе и обдумывая разные вопросы, я с восторгом находил, что и вы об них думаете так же (разумею особенно целесообразность в органическом мире и отвращение к науке, как к куче знаний, а вчера, в статье о Ренане — и Ваш взгляд на цитаты и на компиляции), что во всей своей одинокой, без всякой опоры совершавшейся жизни я только в Вас одном уже давно нахожу и опору, и сочувствие — Вы поймете все, что соединяет меня с Вами, и радость, что *я мог вернуть хоть частицу того, что Вы мне дали*. Извините за бессвязность всего выражения, но подчеркнутое место совершенно ясно и говорит все, что нужно. Об «Метаф.» написал Вам на тот случай, если бы «Ред.» спросила у Вас, как поступить, вот-де «то-то» и «то-то неладно».

Ваш В. Розанов.

Удивительная книга Бакунина: я думаю, он самостоятельный философ вроде Гейлинкса или, быть может, Мальбранша. Или это нелепо? Статья о *внимании* и все, что на этом основывает он, т. е. о Боге, как Предвечном смысле «саморазумении» мира и пр., наконец, о смерти и жизни — все удивительно, для меня совершенно ново — «само собою разумеется» (я даже полюбил его *чудные* выражения). Вы мне все пишете: «Дай Вам Бог хорошего». — «Дай и Вам Бог хорошего, спокойствия, надежды, веры в нашу Россию и живой любви со стороны людей, Вас непосредственно окружающих».

6

<после 29 апреля 1888 г.>

Простите, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, что я не сейчас же отвечаю Вам: я, правда, в тот же день вечером, когда получил Ваше письмо, написал к Вам, но тогда был так страшно утомлен занятиями, что благоразумно оставил письмо непосланным. Теперь я несколько свежее и могу ответить Вам лучше, как кажется (у нас болен директор и свои обязанностям по наблюдению за экзаменами и просмотру работ по *всем предметам* распределил между классными наставниками, а я кл. наст. в VII кл.).

Вы спрашиваете меня о впечатлении, которое производят статьи Вл. Соловьева «Росс. и Евр.». Я расхожусь в своем впечатлении со всеми: ее все читают здесь, комментируют, т. е. разумею разный народ, питающийся духовно журналами, и таковы все, все общество, конечно. Никакого Чаадаева я в нем не вижу. Чаадаев прочел Жозефа де Местра, был чрезвычайно поражен им и сильно, с сильным чувством и, как я думаю, с живою болью за свое отечество написал свои «Письма»; конечно, потом наступило и у Чаадаева фанфаронство, тщеславие (читали ли Вы все разные мелочные воспоминания о нем), но в *момент писания* он был глубок и силен, и потому его письма

хороши, не вызывают никакого раздражения на автора, вообще есть нечто достойное уважения, хорошее. Нужно Вам сказать, что до «Росс. и Евр.» я и Вл. Соловьева чрезвычайно ценил: вместе с Вами, Л. Толстым, Достоевск., Громекой (кажется, все) я считал его поборником, двигателем того нового направления в нашей литературе и жизни, которое характеризуется религиозным настроением, и мне казалось — это настроение все будет разрастаться, и с ним и в нем Россия выступит на совершенно новый путь развития исторического, что кончится наше вековое легкомыслие, что в том глубоком страдании, которое уже чувствуется всеми, именно как симптом надвигающегося религиозного процесса, — мы очистимся и наконец-то станем серьезны; ну и т. д. Когда он стал помещать свои стихотворения в «Вестн. Евр.», мне уже это показалось странным и подозрительным. Вспомните, что Достоевский ни разу в 13 т. не произнес имени «Вестн. Евр.» (хотя его там часто задевали, и он любил отвечать, полемизировать) — так велика была его ненависть к этому журналу всяческого индифферентизма и почти нескрываемой ненависти и презрения к России. Вл. Соловьев был другом Достоевского, разделял мысли о высоком религиозном и историческом призвании России. См. его «Три речи о Достоевском», а главное (ради Бога не забудьте), посмотрите стр. 431 «Критики отвлеченных начал» от слов «третья сила, долженствующая дать человеческому развитию его безусловное содержание, может быть только откровением того высшего божественного мира, и те люди, тот народ, через который эта сила имеет проявиться, должен быть *посредником* (курсив его) между человечеством и сверхчеловеческою действительностью... (потом ищет, какой это народ, и продолжает) а эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру славянства, и в особенности национальному характеру русского народа», и пр. еще более интересное. Ради Бога, не позабудьте это посмотреть (только 2 стр.). Кому я ни показывал это место, все, прежде спорившие, говорили, помолчав: «Да, конечно, он теперь совершенно переменял свои мысли». Для знающего дело, конечно, и без ссылок ясно, что он переменялся, скверно, позорно переменялся, снизошел до плоской журнальной статейки, а выступал как проповедник, как пророк, — но *не всем это ясно*, ибо многие познакомились-то с ним впервые из статьи «Россия и Евр.», а раньше просто знали, как какого-то очень ученого и блестящего писателя. А когда Вы будете писать в журнале, помните, что Вы в значительной степени пишете для толпы, которой не должны оставаться неизвестными прежние мысли «знаменитого писателя», это важно для дела, которому Вы служите. Он сам пишет так, как будто и вечно тоже думал и говорил, — вещь чрезвычайно страшная.

Но я отвлекся. То-то и мучительно в его статьях, то-то и пробуждает горечь и неуважение, что они написаны вяло, безжизненно, равнодушно. «Ты не только не любишь, но и никогда не любил своего народа», — думается, читая их; «ты хотел его вести к чему-то великому и вдруг обозлился, как мальчишка, видя, что никто за тобой не идет, что ты только литератор, а уж никак не пророк и не апостол чего-то нового и высокого; посмотри на свою

злость, и ты увидишь, что не по *своей* неспособности не пошел за тобой народ, а что ты сам не был способен повести его к чему-нибудь. Ты мечтал о соединении церковей — и твои мечты только обсуждались в двух-трех журналах, и притом чрезвычайно и обстоятельно, так что ты и возразить ничего не мог» (статья Стоянова в «Вере и Разуме»), и пр. Вообще он не имеет успеха, об этом и говорить нечего. А между тем он человек огромного самолюбия (как теперь оказывается), это оскорбило его и вот — и вот он частью мстит за это оскорбленное самолюбие, частью... ведь он знал, как Стасюлевич и целая огромная, господствующая в литературе партия примет его, понесет на руках, и он с вершины здания, где стоял, хоть и без особенного результата, но все же с достоинством, вдруг ринулся на эти протянутые руки. Заметили ли Вы в его статье слова о Владиславлеве, Сергиевском и Новом университетском уставе, о хрюкающих свиньях и завывающих волках — ведь это прямо подпевающие нотки редактору. Даже скверно писать об этом, и мог он, Соловьев, до этого унизиться. Не Чаадаев он, а Рудин: «Талант есть, а вот натуры-то нет».

Вторая статья «Рос. и Евр.» написана гораздо лучше первой: в первой меня до того взорвало это фанфаронство, это высокомерное отношение к «ползучим теориям» честных и благородных тружеников со стороны летающего по верхам философа, что в письме к студ. Михайлову я назвал ее просто мерзостью (он высоко ставит Соловьева и тоже считает его Чаадаевым и спрашивал моего мнения о нем). В кои-то веки нашелся человек, который положил свой труд на то, чтобы дать теоретическое обоснование стремлениям своего народа, робким, подавленным, несмелым к самостоятельной, *внутренно* свободной жизни, — и вот, не говоря о мелких комках грязи, которые в него бросали, является уже крупный человек и, как хотите, все-таки *не с достаточным уважением* к нему относится; это я вижу в том, что не обсуждает очень обстоятельно, подробно его взгляды. Ваш ответ будет интересен, но не в отношении к нему, а в отношении к Вам самим, т. е. если Вы более обстоятельно формулируете некоторые свои взгляды, а также изложения славянофильства (если бы так, как в «Вечных истинах» или в «Основн. понят. физиологии»); но, простите, что это я пишу; но помните, мне это виднее со стороны, что будет лучше, если Вы будете во время писания больше, так сказать, смотреть внутрь себя, нежели на лежащие перед Вами статьи его. Критика с ним почти по необходимости вышла бы мелочная: он казуист и, треплясь с какими-то побочными мелочами, думает, что разрушает сердцевину. Мысль о культурно-исторических типах — мысль величественная, простая и неопровержимая; это простая мысль о том, что в саду есть разные деревья и каждое растет по-своему и бывает тем или иным, смотря по семенам, которые были брошены в землю. Правда, французский садовник сможет заметить, что они все одинаковы, ибо, смотрите, — он их всех подравнивал, и они стали неотличимыми по виду, но ведь это же заблуждение — деревья и вправду различные, хоть и стали похожи др. на друга. — Но довольно об нем. Еще одна мелочь: «Смотрите, нас трое: вот и Данилев-

ский приписал: «Кажется, начинает оказываться Россия таковою»; *мимо-летное* замечание, вырвавшееся в горькую минуту, от того тот и кричит: «Смотрите, добрые люди, он переменял *миросозерцание*».

Вот написал письмо, а о чем забыл... От всей души благодарю Вас за хлопоты с «Метафизикой» и за присылку Ваших книг: «Критич. статьи» и «Борьба с Западом». В оправдание могу лишь сказать, что то первое письмо и начиналось благодарностью за хлопоты с «Метафизикой». Что касается до нее, то 1) перевод мы просмотрим, но это не может быть выполнено ранее чем через месяц и тогда вышлем ее в Редакцию (я думаю, Вы уедете к тому времени на дачу; если бы Вы — на случай письма — мне сообщили свой личный адрес).

2) Примечания, мною писанные, я просмотрю сам и сделаю следующее: перекрещу двумя хертами (X) те, которые совершенно уничтожаю. Их будет большинство. Некоторые большие примечания я все-таки сохраню и, зачеркнув их одною чертою (/), попрошу редакцию их оставить; если она согласится, то пусть печатает «Метафизику» под тем заглавием, как она прислана, т. е. П. Первова и *Вас. Розанова*. Если она и их выбросит, пусть печатает просто: **перевод П. Первова** (это очень важно, чтобы она не ошиблась; иначе может для меня выйти бесконечно большая неприятность). Я греческ. яз. знаю плохо, и перевод ему принадлежит; мне же принадлежит лишь инициатива, предисловие и примечания. Перевод, впрочем, редактируем вместе. Ради Бога, это не забудьте. Я, впрочем, напишу это и в Редакцию, когда будем посылать рукопись. Лучше же всего, я думаю, будет оговорить (если некоторые примечания и останутся), что перевод принадлежит П. Первову, а объяснения В. Розанову. Ну, простите, что так долго мучу Вам этим. Пожалуй, что Вам и ничего не нужно говорить в Ред., я обо всем напишу; разве при случае скажете.

3) Для введения, когда его будут печатать, пусть будет заглавие: «Наша философская литература по отношению к главным представителям философии» (как Вы советовали; если у Вас мелькнет в мысли случайно другое заглавие, будьте добры, дайте его — я буду благодарен, равно и за все поправки и дополнения, которые сделают в Ред.); его нужно будет подписать одним моим именем, а не двумя (не Павла Первова — очевидно, наша совместная работа расклеивается).

4) Я вам не писал потому, что боялся утомлять Вас, тем больше что писать кратко, как видите, абсолютно не умею. Я думаю летом написать разбор (т. е. почти только излагающий) книги Бакунина, которую я нахожу удивительной и интересной. Как он своеобразен, ни на кого не походит! Можно ли его разбирать только как самостоятельного философа (мне думается — да), т. е. без ссылок: «Вот как он развивает такую-то (общеизвестную) философскую идею? Если б Вы мне написали письмо всего в 3 строки — «можете разбирать как самостоятельного». Это для дела будет нужно; летом у меня будет абсолютно свободное время, ибо переводить «Мет.» не будем. Я просто ему хочу оказать услугу (т. е. Бакунину); бедненький — писал, писал, а

тут абсолютное молчание. Но это, впрочем, в том случае, если придет очень сильное желание писать, а то иначе у меня ничего не выходит, особенно если преднамеренно.

5) Благодарю Вас за добрые слова о некоторых местах моей книги. Как я на нее смотрю? Нужно Вам сказать, что очень продолжительная теоретическая работа как бы искажает ум, что-то переворачивает в нем, и уже совершенно теряешь способность смотреть *не с этой перевороченной точки зрения*; поэтому и я, быть может, ложно смотрю на нее (книгу), но уже не в силах смотреть иначе, как уже выразил в 2-х ее местах: в «Заклучении» (стр. 725—737) и еще в конце 2-й, большой, книги, стр. 688—692. Их легче прочесть по печатному, чем в письме, — а мне пришлось бы переписать только, да и в письме, обращаясь *к лицу*, я не хотел бы повторить этого и не могу; можно иное думать, чего никогда не выскажешь, ну а в печати, говоря в воздух, можно все и высказать, что думаешь.

Я в одном только уверен, что наука в том виде, как она существует (у нас особенно, да и везде теперь, как кажется), есть большое, хилое и замирающее *по отсутствию в людях любознательности* растение, и его едва ли спасут премии, оклады университетские и академические, почет от общества ученых; ее сущность замирает неудержимо, и остаются лишь видимость, наружные призрачные формы, в которые некогда живая и могучая она вылилась — точно старая кадка, из которой уже вылезла ящерица.

Когда я все это думал в унив. и у меня было много и желчи, и сожаления, тогда, чтобы доказать, что данная наука не есть наука в действительности (я хотел было написать полемическую брошюрку по выходе из унив.), пришлось обдумать *критериум науки вообще*, а для этого нужно было выработать понятия о науке вообще, т. е. *что она, о чем и какова* должна быть и пр., и все это разрослось в книгу, которую удобно было бы назвать: «Впечатления и мысли юного Анахарсиса в умирающей Элладе» (кажется, он был в Элладе); если она вышла слишком тяжела и серьезна, то лишь по моему нерасположению ко всему веселому. Простите, добрый и дорогой Николай Николаевич, что я позволил себе шутку; уже с детства я как-то приучен говорить о себе не иначе, как шутя, хотя часто бывал серьезен. Что Радлов разбирает мою книгу — не знал. Буду чрезвычайно рад, каков бы разбор ни был. А то, что в темном погребке-то сидеть; иногда так хочется свету, воздуха. Эх, все глупые, молодые мысли, «не ко двору».

Ваш весь В. Розанов.

7

<после 19 июня 1888 г.>

<Перед письмом — приписка> Утро. Письмо такое длинное, что стыдно посылать. Сегодня, взяв у Куприянова «Русский Вестн.», еще раз просматривал разные места Вашей статьи; при втором чтении дисгармонии почти нет или очень мало. Все читается легко, хорошо и интересно. При пер-

вом чтении цельность впечатления перебивается выписками из Соловьева; и из-за деревьев, как они ни хороши, незаметно леса, который всегда (для меня) лучше их, т. е. общий тон и течение мыслей — чувств важнее удачных отдельных мест. Следовало бы Вам побольше задеть «Вестн. Евр.» — если Соловьева и К⁰ и так нужно задеть, отчего этого не сделать со Стасюлеви-чем. Это [quo] usque tandem?¹

Только что начал читать, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, Ваш ответ Соловьеву: долго я старался, до сих пор, достать июньскую книжку «Русского Вестн.» — и ничего не мог сделать; наконец вчера заполучил ее в Липецке, на минер. водах, где лечусь от нервов, — и прочел.

Так сердито Вы еще никогда не писали (разве только одна страница против Вагнера и кое-что о Тургеневе — но и то добрее), и так сильно (помоему) Соловьев еще ни разу не был унижен в нашей литературе. Но это и поделом; в смысле самоуверенности, неуважения ни к чему, кроме себя самого, в нем есть нечто почти хлестаковское, и мы всегда как-то склонны относиться к таким господам особенно почтительно: он всегда был небрежен со своими критиками (Столповым и др.), а они, даже когда, очевидно, чувствовали себя сильнее его, относились к нему как-то бережно, чересчур деликатно. Вы первый дали ему *урок*, отнесли к нему небрежно, как к поверхностному мыслителю, почти прямо назвали его холопом и нахалом, ничего не любящим и едва ли способным что-нибудь любить серьезно, отдельные суждения его — софистическими, жалкими, убогими. Хорошо, что Вы сделали это после того, как к Вам самим он отнесся, хотя и небрежно же, по существу, но, однако, обставлял и прикрывал эту небрежность деликатными уважительными замечаниями; открыто же небрежно он отнесся лишь к Данилевскому и к самому *делу*; и Вы, конечно, поступили благородно, вступившись резко за то и другое, почти мстительно.

Статья его действительно разбита, и все значение ее уничтожено, но только для кого? Я дал здесь, прочтя сам, Вашу статью одному замечательному человеку — волынскому помещику Куприянову, 75 л., помнящему Данилевского по «Заре» и Вас по статье «Роковой вопрос» (по поводу коей закрыли жур. Достоевского): он в свое время читал статью Соловьева, но не знал, что Вы ему будете отвечать; сегодня, встретясь со мной на вечернем гулянье, он сказал тотчас же о Вас: «Да, он отлично его (Сол.) разделал». Таково первое впечатление, и оно, я думаю, одинаково для всех: «Да только толку-то от этого никакого не будет, — прибавил он тотчас, — их много, а нас мало, и они люди предубежденные: статья Стр-ва хотя и верна, но ее не будут читать западники, или и прочтут — не примут во внимание» (Куприянов сам — деятель по наделению крестьян землею в Западном крае, и был лично знаком с Аксаковым и Катковым; по бодрости, ясности духа, и — странно,

¹ Доколе будешь? (*лат.*)

таково все Ваше поколение — красоте и росту удивительный старик; так на портрет и просится; пишу Вам это потому, что Вы, кажется, любите хороших русских людей). Его слова, разделяемые и мною, относятся, конечно, ко всякому спору в наше время, когда живое искание правды иссякло, кажется, совершенно во всех.

Для меня лично, кроме всего хода ваших опровержений и во всяком случае любопытного и не бывалого зрелища разделки Соловьева, было очень важно все, что Вы говорите о буддизме и вообще о религии в истории, о том, что это не мешает существованию культурно-исторических типов. Признаюсь, до чтения Вашей статьи пример буддизма, а также и христианства меня сильно смущал, и строка, Вами подчеркнутая у Соловьева, как-то проскальзывала незаметно. Теперь ясно, что универсализм некоторых религий, а также и общечеловеческая сокровищница нимало не мешает существованию культурно-исторических типов. Ваши замечания о жестокости единения (в противоположность культ.-ист. типам) и потом об инерции в деле покоя, равно как и движения, делают Соловьева смешным, каким-то мальчиком, не умеющим одновременно держать в голове и 2-х мыслей. Замечательно, что его теория единения есть лишь повторение того, что у Достоевского в «Бесах» говорит студ. Шатов в первом, иступленном разговоре со Ставрогимым, о «Народе-Богоносце» и пр. страницы 3 неизъяснимо прекрасных рассуждений, но, теперь я вижу, после Ваших замечаний, рассуждений жестоких, ведущих к страшному насилию. Конечно, об этом и раньше можно было сообразить, но Вы оттенили и дело стало ясно. Можно и теперь еще любить единение, можно находить его в истории, даже стремиться к нему, но уже это придется делать с ясным и твердым сознанием, что тут есть некоторое неотделимое, страшное зло — зло насилия над человеческою личностью, над его свободою, нарушение великого правила Канта — никогда не смотреть на человека как на средство, но только как на цель (удивительное правило, как подумаешь глубже и особенно применительно к частным случаям жизни, которые переживаешь).

Не могу еще не сказать Вам об одном особенном ощущении, которое испытываешь, читая Вашу статью: в отдельности все Ваши едкости, насмешки над Соловьевым метки, удачны; для того, против кого они направлены, — больны, со стороны читая, — невольно улыбаешься. Но в общем, в них нет свободы, той особенной естественности и непринужденности, которая является, когда насмешка выливается из самой природы человека. Для всякого читателя ясно (и я это понял более, нежели прежде), как мало смеющегося в Вашей душе, как серьезно, сумрачно и печально Вы настроены как человек и писатель. Видно, что улыбку на Вашем лице может вызвать только какой-нибудь особенный случай, что-нибудь досадливо мешающее, и эта улыбка — только невольное желание поскорее удалить от себя досаждающий посторонний предмет, чтобы он не мешал течению Ваших постоянных мыслей, столь далеких от всякой улыбки. Словом, — Ваши насмешки всего менее отличаются добродушием и невольностью; они желчны и вместе непри-

вычны для Вас, что встречается очень редко, мне никогда не встречалось, кажется. От этого и статья Ваша против Соловьева совершенно не похожа на все Ваши остальные статьи, где Вы всегда спокойны или одушевлены чем-либо положительным, до последней степени ясны, просты и естественны, а когда относитесь к кому отрицательно, то в немногих простых и ясных словах, и всегда только с чувством скорби, сожаления. Поэтому для того, кто уже привык к Вам как к писателю, она непривычна и, я сомневаюсь, не составляет ли дисгармонии. Конечно, важно знать, до какого мстительного чувства Вы преданы своим идеям и убеждениям, откуда вытекает и Ваше одушевление, и Ваша грусть, и вся Ваша долгая литературная деятельность; в этом смысле она очень важна. Совершенно гармонируют в ней с общим характером Ваших сочинений лишь некоторые отдельные места, где Вы на время оставляете в стороне Соловьева; из них самое лучшее, необыкновенно верное замечание о *выкидывании* знамен, и особенно о том, что из этого выходит, о том, как всякий раз утомленная публика начинает поглядывать по сторонам: «Ну, а не выкинут ли еще какого-нибудь знамени?» — и бежит к нему со скуки. Вообще во всех Ваших сочинениях места, где вы высказываете общие замечания о судьбе и характере нашего просвещения, — необыкновенно хороши; видно, что в это вы долго и глубоко вдумывались, пожалуй, — постоянно только об этом и думаете. В формуле «БУДЕМ САМИ СОБОЙ» (в параллель древнему «познай самого себя») — формула всего славянофильства, формула всего нашего исторического утверждения как идеала в будущем и отрицания как осуждения в прошедшем и настоящем. Это простой и дивный завет, и если он не запомнится, не станет мыслью и формулой нашего общества, то лишь потому, что Вы и вообще так хорошо пишете, что отдельные очень хорошие места не выделяются из вообще хорошего, из множества других удачных же выражений. Уже гораздо раньше, беря карандаш с целью отметить особенно хорошие мысли и выражения Ваши, я иногда затруднялся, находя иной раз 3—4 страницы, в которых хотелось бы удержать в памяти каждое предложение. (Очень хорошо еще о либеральной скорби и о различии между человечеством — как организмом и родом, в коем есть виды. Для меня ранее это было смутно, неясно).

Ну, теперь о себе. Вы как-то спрашивали: почему я ничего не говорю о своей книге, в чем вижу ее недостатки и в чем достоинства, и я Вам отвечал, кроме ссылки на некоторые страницы, маленьким шутивным сравнением себя с Анахарсисом. Послав письмо, я тотчас же уже почувствовал, что всякая шутка в разговоре с Вами неуместна и нескромна, и прошу Вас считать то письмо просто результатом ужасного нервного переутомления; инстинкт мне не подсказал, и от усталости я не подумал, что сказал нечто неуместное. Теперь скажу Вам обстоятельно:

1) Отсутствие какой-либо эрудиции, знакомства с литературой и историей предмета есть основной недостаток моей книги; этого недостатка я не смог возместить по незнанию языков, к коим совершенно не способен, и еще по следующей причине: я совершенно не владею собою, почти как па-

ралирик парализованной ногой, и в деле занятий не я их направляю, куда хочу, но они, т. е. собственно течение мыслей, абсолютно произвольное и постоянное, повертывает меня как утлую лодку без парусов и без руля, то туда, то сюда, но отнюдь не в ту сторону, куда по благоразумию я хотел бы пристать. Сколько раз я задавал себе *урок*: прочесть и изучить вот такие-то и такие-то книги, для ознакомления с историей философии, и никогда не мог выполнить этого: читаю — просто не понимаю отдельных предложений, или еще хуже — дочитываю страницу, и вдруг, опомнившись, замечаю, что вот уже 2-я страница, как я читаю лишь механически, вовсе не думая о том, что читаю, совершенно как гоголевский Петрушка алгебру. Только книги, *прямо* отвечающие на вопрос, в данную минуту меня занимающий, или отвечающие общему ходу моих мыслей, скорее предположений, я поглощаю с жадностью; так я поглощал все Ваши сочинения, ибо, смею Вас уверить, в смысле гармонии душ, настроений нравственно религиозных и воззрений на науку и философию — Вы не имеете читателя более гармонирующего с Вами, чем я; в равной степени со мною — быть может, есть, но больше — нет. Так легко и без всякой трудности я проглотил «Дарвинизм» — ибо он фактически и философски подтвердил мои мысли, догадки о целесообразности в органическом мире. Так как я чрезвычайно желаю, чтобы в России было много и хорошей рыбы (в особенности хрящевой), то я с удовольствием прочел бы его исследования о рыболовстве и несколько ночей продумал бы о разных способах устройства рыбных заводов, ловле и проч., но какую-нибудь «Теорию материи» философскую — не стал бы читать, просто потому, что это меня не интересует, так в свою жизнь я не прочел ни одной логики и психологии (это так страшно сказать, что пусть будет в секрете) — ни учебника, ни Владиславлева, ни Д. С. Милля — читал отрывками, открывая где попадется, и в свое время выучил лекции Троицкого в Унив. В особенности к учебникам и к диссертациям на ученые степени я чувствую органическое, совершенно непреодолимое отвращение (в Универ. и в гимназии я тоже учился или плохо, или так себе). Отсюда —

2) отсутствие «ученого аппарата» (мне об этом уже писал студент Михайлов); но — в Университете, когда приходилось писать разные сочинения, я приделывал к ним «ученый аппарат», — и даже без особенного труда, и с огромным удовольствием, делал ссылки на языки, коих азбуки не знал, и на книги, коих никогда не читал, — а на диспутах видел, как оппоненты обвиняют диссертантов в том, что они воруют друг у друга цитаты (точно деревенские бабы — яйца), и почувствовал, что все это такая мерзость, фальшь, отсутствие искренности, любви и уважения к себе — к предмету, коим занимаешься, что в своей книге если бы и мог, не приделал бы никакого аппарата; хотя и с очень большим трудом, с обычным лганьем, я и мог бы это сказать, но, конечно, не хотел.

3) В вопросе о том, есть ли знание причинного сцепления во внешнем мире опытное или априорное, я высказал 2 различных и противоречивых суждения — одно во 2-й гл. 1-й кн., другое — в главе «О методах изучения».

Этого вопроса я для себя не разрешил, не знаю и, если меня кто-нибудь стал бы бить за него, — не стану даже кричать, ибо — по праву. Словом, тут я не знаю и приму то мнение, которое докажут.

4) Самое начало книги, первые 3 страницы, испортил ужасною запутанностью языка (это приделки, сделанные при отдавании рукописи в печать); предисловие недостаточно выясняет цель книги — она лучше выяснена в «Заключении», кое и есть настоящее предисловие. Местами приведены неудачные или повторяющиеся примеры и пр.; вообще есть места дурные, слишком сжатые, скомканные от переутомления (я все боялся умереть до окончания книги, слишком спешил высказать свою долгую, упорную мысль и сказать: ну, теперь вагон, в коем еду, может разламываться сколько угодно; тут субъективная любовь к своей мысли, и верна ли она объективно, я об этом не могу знать). Если хотите узнать, как и почему я написал свою книгу, прочтите XV, VIII, стр. 528—530, где я писал не только по личному опыту, но секретно и про себя.

Достоинства:

1) Всю книгу (таким образом, кроме причинности) я считаю верною и неопровержимою. В ней нужно различать: а) основную мысль, б) ряд частных изысканий и исследований. Их достоинства и недостатки совершенно не связаны между собою, одно нисколько не зависит от другого: а) основная мысль выражается в Предисловии, Заключении, конце XX главы, в двух главах 1-й книги и в *строе*, в порядке изложения, в плане двадцатой главы 2-й книги, также и 3-я книга сюда относится. Эта мысль заключается в том, чтобы дать понятие и построение науки, не относящееся к тому временному состоянию, в каком она находится теперь, но такое, которое, вытекая из ее существа, — должно пребывать вечным. Наука и философия — только части *понимания* (вот еще мало я выделил понятие о нем как процессе и как состоянии нашего ума, знания, которое является, когда процесс окончен, — это большой, для меня вредный недостаток, — его нужно было восполнить в предисловии же), это несомненно так же, как то, что «физика» есть часть «естественных наук» или все науки — часть «совокупности знаний», кои, однако, не допускают своей организации, а понимание — допускает. Словом, моя цель, определяя строение науки, была: указать, что именно может быть узнано человеком, на что, следовательно, наука может быть направлена, ну и пр. Поправки в *выполнении* этой основной мысли могут быть сделаны, но она сама — вытекающая из мысли о потенциальности нашего ума, из того, что в скрытом виде в нем уже предустановлена некоторая *сеть познания* — я убежден, вполне верна, неопровержима и плодотворна. С нею нельзя не согласиться, признав потенциально существование в нас идей, а отрицать это последнее — значит согласиться, что душа — *tabula rasa*.

б) *Частные исследования* занимают все XX глав II книги; в смысле достоинств языка и одушевления чувства — лучше написаны главы «О мире человеческом»; самыми лучшими теориями я здесь считаю в гл. XIII учение о душе: прошу Вас при случае прочесть ее и написать мне свое мнение, и

теория государства, стр. 618—640; как хотите, хотя они и не обставлены цитатами, но я не знаю, почему мысль, обставленная доказательствами, не может наряду с нею занять места в науке.

Самые существенные в научном отношении находятся в сухой, первой половине II книги, в словах о Космосе, в особенности теории существования, изменения, сущности и целесообразности. Согласитесь сами, что все это для нас, вечно употребляющих название этих явлений, было до сих пор почти голыми именами, и точно, подробно и доказательно объяснить, какие представления и понятия мы должны соединять с этими именами, — это хорошо, это достоинство. Лучшие места здесь: объяснение потенциального и образующегося существования и приложение его к минералам, растениям и животным, здесь особенно важна стр. 178, центральная, и все, что вокруг нее. Я думаю, Вы согласитесь с моими объяснениями, у Вас я находил много родственного; второе лучшее место — это о видах, о формах изменения: о различии между явлением и процессом, стр. 209—212 — о типах процессов, стр. 241—250. Разделение процессов на замкнутые, сомкнутые и раскрывающиеся и указание, как размещена в них форма процесса, его закон и процессующее вещество — это я считаю самым ценным во всей моей книге: я еще был студентом, когда написал его, и живо помню, как, заломив после этого руки в боки и выйдя вечером на гулянье, — горделиво посматривал на всех проходящих, на «презренную, суетную и неумную толпу»; извините за шутку, но право — это верно все, и, кроме того — ведь обнимает всю природу, от ссыхания комка глины и до обращения небесных светил и роста растений. Если бы ученые всей земли, собравшись, сказали мне, что это неважно или неверно, я бы не поверил, и даже просто из неуважения к ним ничего *не стал* бы отвечать.

Ну, простите, что так долго говорил о своей книге; оправдываю себя лишь тем, что Вы спрашивали. Да, кстати, то, что Вы назвали «новыми категориями и излишней систематизацией», почти несомненно относится к тому, что я называю «вещами и явлениями в Космосе» — но здесь, как много оговорено в главе «О существовании», стр. 200, и относится и ко всему последующему, все имеет значение лишь примера, совершенно так, как пишутся в арифметике после каждого правила примеры. Здесь систематизация совершенно не имеет значения и важны лишь подробнее развитые взгляды, хотя и они, конечно, не принципиальны для всякой книги, стоят особняком. — Я желал бы, чтобы Радлов написал свой разбор серьезно — тогда ему моя бесконечная благодарность, но это — ввиду возможности в ответной статье подробнее высказаться, исправить кое-что и прочее; важно также и для расхода книги, кою пока — хоть в печь бросай. Но я ожидаю, что Вы при случае, не скоро хотя, напишете мне в письме *Ваше* мнение о книге, и особенно об ее *основной мысли* и о местах, *теориях, мною указанных теперь*. Я вообще человек мало послушливый, но уже если кого слушаюсь, если кто за-

ставит меня если и не пересмотреть мнение, то очень крепко призадуматься — то это Вы, и это не только у нас в России. Вообще, Ваш авторитет по чрезвычайной склонности Вашей к вдумчивости во все и к анализу — для меня из всех мне известных людей — высший авторитет. Я так думаю, и если прочие не думают так же, то я, по обыкновению, только сожалею о них (извините за шутку). Еще 2 слова о теме: как, не будучи ученым, я решился издавать книгу об науке? Что значит сей *поступок*? Но извините, тут вопреки одному частному Вашему замечанию: «нельзя свободно двинуться в области мысли, не зная немецкого языка» — противопоставляю весь ряд Ваших книг: я думаю, что человек прежде всего должен быть «самим собой», всегда внутренне свободен и «*homo sum et nihil humanum*» etc.¹; совершенно не понимаю и не хочу понимать, почему русский человек не может столь же свободно высказывать свои воззрения на мир, на природу человека и на жизнь, как это делает любой француз или немец. Здесь против Вашего, — правда, в 2 строки лишь — замечания я вступаю за *русский* народ.

Но довольно. Мне еще хочется сказать Вам несколько лично о себе, о своей личной жизни, просто как близкому человеку, больше, нежели кто-либо из лично меня окружающих. Я только нынче летом, лечась в Липецке, стал задумываться крепко, что не всегда же лично я могу жить лишь обдумыванием разных теорий, что в своем роде, но только с другого конца — *homo sum et nihil humanum*... Почти все пишущие и живущие интересами науки и литературы ведут какой-то странный образ жизни, как-то странно оторваны от ее радостей и интересов частных, единичных. Было время, когда я думал, что мышление может совершенно наполнить жизнь, что за ним можно и не ощущать, что в сущности лишен всего. Но я не думаю больше этого. И вот у меня явилась страстное, мучительное желание — устроить себе жизнь, захватить хоть какой-нибудь тот остаток *простой счастливой* жизни, который для меня еще быть может возможен, и от которого я до сих пор отказывался как-то спокойно и даже равнодушно. Я не буду Вам объяснять подробностей, но скажу лишь, что 6 лет моей семейной жизни были для меня и во внутреннем, и во внешнем отношении каким-то дантовским адом, в коем перегорела душа моя; это были долгие дни вечного страха, почти мистического ужаса, горя, отчаяния, всего, чего хотите, но только не спокойствия, не радости. Я почему-то теперь не в охоте писать, и поэтому, верно, выражаюсь плохо, но скажу лишь, что все, что я пережил, было очень серьезно, сумрачно, и своеобразно в такой степени, что если Вы составите обо мне представление на основании обычных фактов семейного неустройства — то наверно ошибетесь. Ощущение какой-то мистической руки, которая разбивает человеческие сердца и направляет так или иначе нашу жизнь вопреки всем нашим чаяниям, усилиям и ожиданиям — я чувствовал все

¹ «я человек, и ничто человеческое» и т. д. (*лат.*).

это время ясно; независимо от общего хода своего умственного развития, или, вернее, посябая ему, моя личная жизнь сделала меня мистиком — религиозным человеком, заставив серьезнее задуматься и почувствовать такие вещи, о которых раньше я особенно не заботился.

На основании всего этого, мой дорогой Николай Николаевич, мною и овладело некоторое фаустовское чувство или, пожалуй, чувство банкира, потерпевшего крах: именно, страшная неудовлетворенность теоретизмом и жажда примкнуть сухими губами к радостям обычной, маленькой жизни, о которой я до сих пор высокомерно позволял себе не думать, чрезвычайная жажда спокойствия и любви не от далеких людей или будущих поколений (в сущности эту надеждою живут пишушие, кроме, разумеется, самого интереса к делу, но уже тут человек, а не сердце), а хотя от кого-нибудь, кто около меня, чье любящее лицо я вижу перед собой. Все это устроить будет очень трудно, особенно с моею необычностью, неумелостью (даже 4-го класса гимназисты в деле жизни иногда читают мне мораль, конечно, при возможном случае, а в классе уже я им читаю мораль). Во всяком случае, если я этого не сделаю теперь же, в течение 1½ — 2 лет, я уже никогда не успею сделать. А с этим вместе и теоретическую работу вместе с писанием придется пока отложить. Это я говорю насчет разбора Бакунина, коего, впрочем, пока перечитываю во 2-й раз; ужасно много у него противоречий насчет того, суть ли единичные материальные вещи — тоже одаренные смыслом саморазумения, или нет — и тогда они вовсе не существуют.

Ваш В. Розанов.

Мой адрес все же: *Елец. Гимназия.*

8

<25 ноября 1888 г.>

Вчера получил, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, Вашу книжку о Пушкине и др. поэтах; что касается Пушкина, то с многочисленными Вашими заметками о нем я был знаком давно: как только вышло издание Пушкина, сделанное Поливановым, я купил его и прежде всего прочел по указателю все примечания из Вас (извините за слог) и Ап. Григорьева — это было задолго до знакомства с Вами; а на днях, зайдя к одному учителю вечером, я вошел поздороваться к его нахлебнику, гимназисту 3-го класса, и увидав у него раскрытую «Складчину», сейчас же прочел Вашу статью о Пушкине — она по верности мыслей и по прекрасному тону (чуть ли последний не самое важное в сочинениях?) из самых лучших Ваших статей: это то же, что книжка «Об основных понятиях психологии и физиологии». Я был рад, что у Поливанова даже не упоминается имя Писарева, ограничивается Белинским, и Пушкин обработан в духе А. Григорьева и Вашем: видите, это уже чрезвычайно осязательный плод Вашей деятельности. Я сам очень много думал о Пушкине и частью самостоятельно, частью под влиянием Ваших статей об Ап. Григорьеве (в критических очерках о Л. Толстом и Тургеневе) пришел к

тому же взгляду на Пушкина, как и весь Ваш кружок; но слова Ваши о борьбе Пушкина с иными идеалами, с иными типами человеческой души поразили мою мысль необычайным, новым светом: это удивительное слово, удивительная формула для обозначения части нашей истории, задач нашей умственной жизни после Петра I: в сравнении с этой всеосвящающей мыслью все, написанное Белинским, мне показалось незначительным, бледным: ты эстетик был, а не открыватель великих мыслей. Но: есть действительно типы красоты человеческой, и они совершенно то же, что Вы постоянно называете *категориями* ума в отношении науки, и всеми силами утверждая достоинства одного типа, мы не должны забывать, что делаем это лишь потому, что сами принадлежим к нему, и если нам чужды другие типы или мы называем их ложными, то не потому, что они дурны или действительно ложны, но просто потому, что не гармонируют с нашею душою. Мне думается то, что я пишу Вам теперь, чрезвычайно важно: все типы, созданные жизнью и историею, или равнозначущи, или мы совершенно лишены возможности выделить, которые из них прекраснее (если хотите — по недостатку в нас лично соответствующей нравственной категории). Поэтому, что касается Лермонтова, я думаю, Вы ошиблись в тоне своем относительно его: когда я у Поливанова прочел ваши слова о нем, о том, что он *неестествен* и *холоден* — мне это ужасно понравилось, даже нравится и до сих пор; но когда я смотрю на вопрос в его целом, думаю, Вы не правы: он есть совсем не то, что наша художественная школа (Л. Толстой и др.) и что Пушкин, и нельзя его ценить, сравнивая с ними. Иначе мы впадем в ошибку такую же, в какую впадали критики Достоевского, называя его произведения болезненными и фантастическими. Всякое явление в жизни, в природе и в литературе имеет свою цель, свое значение, словом, есть «вещь в себе» прежде всего. Заметьте: нужно было прочесть Ваши замечания, чтобы почувствовать неестественность некоторых стихов в «Сказке для детей»: а если ее не чувствуешь, много раз перечитывая, значит ее нет (ибо другие неестественности всегда же ведь чувствуешь), или точнее: тут есть неверность, но она пуста, незначительна, ее не видишь, как, может быть, не видел и сам Лермонтов, ибо *его все внимание было* устремлено на другое, на что невольно устремляется и душевное внимание читателя — и это главное, это истинное содержание его произведения верно, прекрасно, естественно, глубоко искренно. Мне очень хочется, чтобы Вы, дочтя это письмо до настоящих строк, прочли (всего 1½ стр.) в моей книге одно место: о различии между художественностью и поэзиею, стр. 510, внизу, с V: не различая этих двух явлений в сфере литературы, каким одним аршином будем мы мерить «Скупого рыцаря» и «Войну и мир» — такого аршина не существует: это литературные категории. Перечитав свое место, я, кстати, нашел даже там слово «вычурность и уродливость» (в смысле отсутствия сходства с действительностью): я не думал о Лермонтове, а указал недостаток, который у него случайно встретился — и я рад, ибо это подчеркивает мою мысль.

Почти наверное, я приеду в Спб. на Рождество и тогда увижу и Вас; я почти столько же, сколько рад буду (заинтересован) видеть Вас, буду в Вас

заинтересован еще видеть человека, который близко знал Достоевского, так сказать, осязал его руками. Не знаю, вдумывались ли Вы также внимательно в некоторые места его сочинений, в разные там и сям разбросанные «словечки», как я, но я вынес из всех моих размышлений о нем, что в душе его был такой хаос, такой предвечный или скорее «послевечный» сумрак царил там, что страшно и жалко становится за него; за его личность и за его жизнь. Для меня он есть синтез всего истинно человеческого, безусловно великого, что может представить из себя человек как личность, как ум и сердце — но он был несчастный человек, веровавший в Бога «с надрывом», сомневавшийся в Нем; я почти отождествляю его с Злым духом, явившимся Христу в пустыне: ради Бога, прочтите в «Бесах» (изд. 1-е полное) со стр. 229, со слов «Но вам надо зайца», всего одну страницу, и еще в «Подростке» стр. 363 со слов «Есть такие, что и верят...» всего строк 7: только слова «и должны быть они» (безбожники) до сих пор для меня загадка, чуть ли не интереснейшая в природе: что они значат? какую тайну человеческой судьбы выражают? И прочтя эти два места и сопоставив с «Легендой об Великом Инквизиторе» и с письмом к Майкову, где он собирается написать роман, в котором выразить вопрос, всю жизнь его мучивший: о бытии Божиим (и без сомнения выразил всю свою тревогу в Легенде об инквизиторе и в «Pro и Contra»).

Простите за безалаберность письма: но я почти готов буду плакать, если Вы не перечтете мною указанные места; еще одно из главных желаний: хочется в Петербурге послушать оперу, особенно не услышу ли «Сомнамбулу» — помните, что говорил о ней Л. Толстой в «Альберте»: еще немножко — и нельзя вынести. В прошлом году видел я в Москве 2 раза «Фенеллу», и оба раза в некоторые моменты слезы у меня начинали течь — от мысли, как может быть человек благороден, как он бывает счастлив, когда поборает в себе чувство мести, забывает себя и решается спасти своего оскорбителя. Еще не могу Вам выразить всей чудесной, мною никогда не испытанной поэзии — в «Зимней сказке» Шекспира на сцене Моск. Малого театра: а какой-то идиот в «Нов. Вр.» назвал пиесу устарелой ветошью, игрушкой, на которую сам Шекспир, «конечно», не мог смотреть серьезно. И после «Зимней сказки» — какая гадость показались все наши произведения, какие я смотрел на театре, какая пошлость и мерзость и то, о чем они написали, и то, как написали.

А немецкой книжки Вы мне не посылали (Розенкранца)? Идея категории как порядка явлений (или знаний), не сводимых к другому, но лишь обобщающемся с ним в чем-то высшем — нет ее важнее в философии, и если Бог пошлет мне силы написать сочинение «О потенциальности», ради которого с такою

Тоскою глубокой и страстью безумно мятежной

хочется мне вырваться из своего учительства, которое не дает ни времени для занятия, ни, главное, *возможность хотя бы 15 часов кряду думать об одном чем-нибудь*, не думать о морях, заливах и проливах, о войне «Алой и

Белой Розы» и всем прочем, до чего мне нет дела, что я с каждым днем начинаю ненавидеть более и более, до отвращения, до неистощимой озлобленности, до нервного заболевания, — если мне удастся иметь досуг, я думаю применить эти категории к физической природе и, особенно, к явлениям нравственного порядка. Ах, дорогой Николай Николаевич, сколько мыслей в голове, и... должен день за днем — вытаскивать учебнички географии и истории и приготовляться по ним к урокам, а там идти в класс, чтобы мучить и мучиться. Но это — секрет.

Я все отвлекаюсь в сторону: я хотел сказать Вам, что то, что вы называете категориями, не совсем то, что у меня сказано в главе «О схемах разума и сторонах существующего» — хотя и очень близко, как близко к этому учение об ассоциации идей. Берите только то, что у меня есть: я говорю об отношении между разумом и наукою, как ботаник стал бы говорить об отношении семени дерева к самому дереву: если в семени — категории — ну тогда и у меня категории. Но мне кажется, в категориях нет *динамического* начала, нет ἀσκήτης γένεσως¹ для знания, а в разуме как в *определенной потенции понимания* она есть. Нет, я думаю, что основания моей книги хотя и близки со многим, даже со множеством мыслей, высказывавшихся в философии (мне случалось читать потом почти буквальные совпадения), однако в целом своем, по всему своему замыслу и по множеству выполнений — она никого не повторяет. Я думаю — это так, иначе я бы ее истребил и повесился: тогда для чего жить? кому я нужен, для какой радости жить?..

Не думайте, что я теперь волнуюсь: напротив, совершенно спокоен. Пока я начал статью, которая есть выполнение Вашего одного указания (насчет нравственной стороны): «О вечности христианства». Мысль:

1) Закон полярности в истории и в распределении исторической роли рас.

2) Семиты, их психический склад (субъективность), их религиозная миссия.

3) Арийцы, их психический склад (объективность), их творчество в истории.

4) Евангелие разрывает семитическую замкнутость и, сохраняя в себе всю чистоту духа, которою запечатлена Библия, обнаруживает черты, которые мы находим лишь у ариев.

5) В Ксенофане и особенно Сократе, Платоне и Аристотеле появляются черты психического склада, какой мы находим лишь у семитов.

6) Христианство и христианская цивилизация есть высший синтез истории, целесообразно двигавшийся.

Довольны ли будете? Затаенная мысль и цель моя правило: ищи мудрости с кротостью, брось чарующие образы Фаустов и Прометеев — все это не то, сочиненное; но, стремясь к чистоте души и кротости, — не бойся испытывать природу — это более всего угодно Богу, здесь святость. И еще: брось

¹ упражнение в творении (*греч.*).

Л. Толстой свои рассказы «О трех старцах» — это узко, скудно, бессодержательно, никогда не удовлетворит человека иначе, чем на миг.

Но так нет времени создать в себе настроение! Не самому писанию мешают занятия географией и историей, но именно *установке* какого бы то ни было настроения — и с ним тона. А без этого все слова и все мысли — «медь звенящая».

Все думаю о деле и не могу написать: что же предисловие к «Метафизике» Аристотеля и сам Аристотель? И какой это чудак написал в «Журнале М. Н. Пр.», что — эврика! — учение о переселении душ Пифагора — ведь оно есть и у индусов: да еще бы, почти оно только и есть в брамантизме, а все остальное следствия, и это все написано уже у Новицкого. Но простите меня, если я сделал бестактность, написав об этом; очень уж меня поразило, когда я прочел.

Всего никогда не упомянешь: давно уже я хотел выразить Вам мою благодарность за слова о Щедрина в «Критических очерках», необыкновенно удачные и абсолютно верные. Никогда с юных лет не мог я читать этого писателя, и хотя не знаю его лично и ничего об нем, но раз как-то прочтя у него намеки о позитивизме, почувствовал, что он должен быть вонюче глуп и необразован. А если бы Вы знали, какие кругом восторги от него. Все отечество проплывавает. И еще (не знаю, Вам ли пришла эта идея впервые) мысль о рациональной, забыл, физиологии или анатомии в «Мире как целом» — гениально хороша, так что как я ни люблю всего, что Вы написали, я сожалел, что Вы не отдали всю жизнь ей только: но такова Россия: в ней каждый еще должен делать множество дел вместо одного великого. Объяснения Ваши, почему минералы ограничены плоскостями и почему у человека лишь 5 чувств — поразительны; вот Вам и иллюстрация того, что я называю «Пониманием», это и есть истинная наука, как я ее разумею.

Все пишу и забываю главное: поблагодарить от всей души за присылку книжки о Пушкине, и не будете ли вы добры и снисходительны ко мне: не пришлете ли мне (немножко страшно просить, скажете, отчего не купите?), если у Вас есть лишний экземпляр, книги Ап. Григорьева: по моему предложению его выписали нынче в гимназическую библиотеку, и я на днях увидел и его портрет, и осмотрел содержание, т. е. предмет статей. Теперь читаю книгу Клод Бернара, которую Вы разбираете в «Основных понятиях физиологии».

Ну, прощайте. Пожалуйста, при случае, не забудьте сказать слово о «Метафизике» Ар-я и предисловии в ней. Уже 1/2 года прошло со времени отсылки их в Ред. и пора бы поместить их. Ваш

В. Розанов.

Ел. — 25 ноября 88 г.

Не забывайте меня при случае и письмами. Они всегда мне доставляют огромное удовольствие. Да неужели Вы в моей книге решительно не находите оригинальных мыслей? Ведь такое совпадение на пространстве 700 стр. невероятно.

Как-то, когда я пишу к Вам, то уже не хочется переходить ни к каким другим занятиям, даже и неотложным. Так вот и теперь еще пишу. Для меня, по крайней мере, Ваш образ мыслей ясен, и истолкование его требуется лишь в смысле большей подробности, отчетливости (я все говорю о Вашем ответе Соловьеву); в чем состоит наша национальная особенность? Я думаю: в характере нашего отношения к жизни и ее отдельным проявлениям, ну, положим, даже к науке; в этом смысле Пушкин национальный поэт, в этом смысле Долли (в «Анне Кар.»), когда сидит в заплатанной кофточке у Анны (в имении Вронского) и *что и как* она в это время думает (особенно *как*), — это глубоко национальный характер, и я чувствую, что он не только русский, но и что нигде нет и никогда не будет уже этой *особенной складочки души*: также в «Дарвинизме» Данилевского и в Вашем *способе* писать и в Вашем отношении к науке, в том, как вы разбираете их вопросы — я вижу национальное; к сожалению, это улавливается лишь в очень немногих словах: «Простота, незанятость ничем, кроме своего предмета, ясность духа» — ну, а больше, да и эти слова лишь ходят около того, что хочется назвать и не умеешь. Вот в этой трудности найти выражения и заключается чрезвычайно трудная сторона спора с западниками. Они хлыщут себе потоки речей, благо все готово, и хоть смысл уже выветрился, но зато ведь сколько же звону, — и общество часто и судит по продолжительности звона. На это Вам приходится отвечать немногими словами, и сколько бы живого чувства и мысли ни скрывалось под этим — кто об этом знает, кто это захочет понять?

Это относительно самого главного, складочки души, чувства нашего народного. Но что касается *содержания* особенного, то здесь можно уже гораздо больше формулировать, хотя это, мне думается, уже второе, то что вытекает из складочки души, а не первое, не самостоятельное; да и как он (Соловьев) мог сказать: «Когда им приходится говорить об особенностях, то они или молчат, или говорят бессмысленные вещи», и это в заключение, как общий отзыв о славянофильстве. Это даже прямо недобросовестно в самом обыкновенном литературном смысле.

Ну, почти опять не могу писать от утомления. Сегодня я встал в 7-м часу утра и весь отдых был — несколько-то пройдешься по комнате. Вашу манеру говорить свои мысли чужими словами — я давно знал, и, насколько я знаю из разговоров, относительно понимания ее нет разногласий; но я приписывал это совсем не тому, о чем Вы пишете, — а слишком живому отношению к жизни, к тому, что думают и чувствуют люди и как они (в литературе) учат: «Вот это так и следует, это чрезвычайно хорошо, а вот это — совсем глупость, и злая глупость», — слышится мне за всеми Вашими ссылка-

ми; это происходит из Вашего страстного желания, чтобы учили так, а не иначе; Вы стоите за толпой писателей и одному подставляете ко рту трубу, а другому закрываете рот и смотрите: «Ну что из этого выйдет, *каков будет тот, кто слушает эту многоречивую толпу*». И я думаю, что это так, по крайней мере частью. Не знаю, не будет ли Вам неприятно то, что я скажу: я читал как-то статьи Михайловского о Л. Н. Толстом, там, кроме разного другого, брани и пр., есть одна любопытная замечка о Вас, всего строчки три, но в них чувствуется, и я *знаю*, что он видит в Вас *большую силу*; нечто вроде того, что Ланге, сравнивая Сократа с Корнелем, сказал о последнем; сообщаю это потому, что меня это чрезвычайно заинтересовало. Вы, верно, не читали, и я Вам приблизительно передам: «Стр. это не только подумает, но и скажет» (не помню, но что-то очень характерное в том, за чем скрывается много домашнего, про себя, обдумыванья Вашей литературной деятельности и образа мыслей). Он, во всяком случае, умный человек (хоть о Достоевск. невыразимо скверно и *глупо* пишет), и я даже думаю хороший, — но фанатик Дьявола, и за градом бросаемой им грязи и камней совершенно не видит того, во что бросает. Только то, что как будто все любит себя, — это в нем скверно невыносимо для меня, но, по-видимому, он от этого отделаться не может; своего рода — врожденная идея.

Полемика Ваша с Солов., кстати, пришла, чтобы Вам высказать много, много своих взглядов, чтобы то, что рассыпано там и сям отдельными штрихами, отдельными мыслями, соединить в целое в поздние свои годы, но я не хочу не верить, что Вы еще будете долго жить. Только берегите свое здоровье, не утомляйтесь много. При очень регулярной жизни можно ведь очень долго жить. Да осторожнее бы Вы ездили. Вот как плохо случилось с Данилевским. Еще раз желаю Вам всего хорошего.

Ваш В. Розанов.

9

<декабрь 1888 г.>

Многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич! Отчего Вы мне ничего не напишете? Уж не сердитесь ли Вы на меня, не недовольны ли мною за что-нибудь? Вы можете все сказать; чтобы Вы ни сказали мне дурного — мне будет только стыдно за себя, может быть очень больно, но к Вам я останусь по-прежнему.

Как я рад, что когда-то своим первым письмом вызвал в Вас светлое, радостное чувство! Мне кажется, Вы мало радостного видели в жизни; даже когда Вы светло и хорошо говорите о русском народе, чувствуется какая-то напряженность; только о поэзии нашей, о Пушкине, Вы говорите свободно и легко. И между тем так уже стары, так пора Вам испытать покой и счастье.

Дай Вам Бог хоть немножко счастья и радости.

Мало кто так упорно и хорошо трудится, как Вы. Когда я Вас читаю, я думаю, что многие Ваши слова далеко пойдут, т. е. во времени, и также никогда не забудется или время от времени всегда будет вспоминаться Ваш способ отношения ко всему, Ваш дух, Ваше настроение. В создании этого *настроения* (мне кажется, насколько я знаю нашу литературу) Вы также оригинальны, также являетесь начинателем в нашей литературе, как Данилевский оригинален в создании 2-х мыслей: о культурно-исторических типах и о скрещивании как постоянном инвильяторе подбора, и которые также никогда не забудутся. И насколько я понимаю и предвижу, после всех волнений, после всяких искажений человеческого образа, какие нам, без сомнения, придется еще увидеть в своей истории, когда все перегорит и все уляжется — подымется в нашем обществе и литературе это Ваше настроение — всегда спокойное и чистое, полное любознательности и религиозности, уважения к человеку, *серьезное и доброе*. Ну, пошли Вам бог всего хорошего. Не знаю, приеду ли в Спб., — очень дорого будет. Кланяйтесь, пожалуйста, милому и доброму Кускову и скажите, что мне очень стыдно, что я ему еще не ответил, но — время! время! кому тебя хватает! Но непременно мне напишите только 2 строки: «Я на Вас не сержусь». (Если еще припишете: «Я Вас с удовольствием увижу» — тогда уже *непременно* приеду в Спб., а мне, сказать по секрету, очень хочется: что деньги, вещь наживная!)

Вы не сердитесь, что я иногда пишу глупости и как бы в веселом тоне. Вот и это письмо я начал писать почти в грустном настроении и с желанием сказать Вам что-нибудь очень хорошее, теплое; у меня все была мысль: как бы я согрел Вас, облил все Ваше существо теплом и светом, чтобы Вы отдохнули от своей жизни, чтобы на Вашем усталом лице вдруг появилась *беззаботная улыбка*, послышался бы из груди смех, веселый, как в детстве; ведь давно, десятки лет этого не бывало? Все хочется это написать, и вдруг почему-то сам пришел в светлое настроение.

Только ради Бога сей же час ответьте на это письмо. Ибо я очень тревожусь и, не успокоившись, мне тяжело будет ехать в Спб.

Ваш В. Розанов.

10

<1888 г., конец>

Многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич!

Благодарю Вас за присылку Ап. Григорьева, такую скорую, что я совсем успокоился насчет нескромности своей просьбы. Но пишу я не для этого. Мне просто захотелось поболтать с Вами, без всякой цели и даже о неопределенном содержании. Скажу Вам по секрету: сегодня я был в баньке, а этот день для меня всегда праздник: после нее я позволяю себе не делать — и даже не думать ни о чем *нужном*, а только о приятном, или даже вовсе ничего не думать. Я стал было разрезать и просматривать Ап. Григорьева, но

потом вдруг захотелось писать Вам. Книжку Вашу о Пушкине я почти кончил. Она вся хороша, очень хороша, а лучше всего в ней все-таки слова:

«Скажут имя твое — пролитой аромат». О, говорите мне сколько угодно, что это бессмысленно, но всякий раз, когда я встречаю (лишь бы не в проповедях, где все как-то глупо выходит) строку из Библии — она всегда всего лучше бывает; это какая-то чистая, чудная красота, и, прочтя одну строку, хочется плакать, плакать о том, что ты не способен к такой красоте, что можешь только понимать и чувствовать ее, но не создавать, что она приходит лишь к тебе, а не живет в тебе. Нет, не прав Ренан, когда отдает предпочтение арийцам перед семитами; за одну книгу «Руфь» я отдал бы всю нашу литературу или, по крайней мере, очень большую долю ее. Всякий раз, когда я читаю Библию, мне почти гадко и стыдно становится, что у нас были Бальзаки, «Хромые бесы», плутоватые авторы «Свадьбы Фигаро» (вот забыл имя!), даже нашего «Ревизора», скрепя сердце и запрягивая вглубь души свою любовь к нашей милой литературе, я осуждаю. На сцене всемирной истории мы все какие-то кривляки, точно Каиновы дети, изгнанные из Рая, отчуждившиеся от Бога, о которых так хорошо сказано в Библии: «И построили себе города, и изобрели многие искусства» (не помню буквально). Мне думается (или точнее — я чувствую, что без этого нельзя жить, незачем жить), что все народы земные соберутся к Сиону, по словам Исаяи, и этим завершится история (хотя не кончится, но будет существовать без развития). Евреи примут христианство, а христиане впервые почувствуют Библию (чего вовсе нет, а особенно между духовенством).

Затем в Вашей книжке все хорошо о Пушкине; не помню, писал ли я Вам, но без Ваших объяснений Ап. Григорьев долго не был бы принят, может быть (по нашей лени к трудному чтению), никогда; и вообще, Ваше отношение к нему и Данилевскому, то, что Вы всегда выдвигаете их вперед себя — есть одна из самых светлых и благородных черт Вашей деятельности, личности, писаний; я думаю, это когда-нибудь будет очень оценено. По нашим временам, когда всякий думает только о себе, это редко и хорошо как пример или хотя бы как очень отрадный факт. Затем хорошо очень все предисловие. Вообще, предисловия у Вас всегда и чрезвычайно хороши, и это вредит несколько самым книгам, где тон не всегда бывает ровный; но неужели эти неровности тона и у вас зависят от работы в журналах? Это ужасно жалко. О Достоевском я уверен, что если бы он жил на вершине Монблана и никогда не видел лица человеческого — писал бы точь-в-точь так же, как писал. Это все пустяки, что от срочности работы его романы со стороны построения дурны. Тут отразилась просто его психическая организация. — Лучше всего в «Предисловии» место, где Вы говорите о 1-м условии быть критиком — о способности к восторгу. Его теперь вовсе нет в критиках; они не только слишком тупы для этого, но и слишком устали. Их почти нельзя осуждать; только зачем пишут?

Все более и более открываю я в Вас желчные стороны, ранее ответа Вл. Соловьеву мне вовсе неизвестные. Все, написанное о Некрасове, написано с тайною мезью... с тонкою психологиєю, почти с представлением его лица, его сердца в минуты чтения; говорю об «объективной критике», о полном издании его писаний, писем, *записочек*, о воспитании в Александринском театре и пр. Это все ужасно справедливо, все заслужено им, и, когда я прочел ваши слова о мести за все то, что проделывали над истинными поэтами журналы, им руководимые, когда вспоминаю еще недавнюю злобную статью о Мее (кажется, в «Сев. Вестнике») и выдержку из этого поэта, полную неизяснимой грусти, я почти радуюсь, что это Вы написали. Только любя Вас как человека и писателя, я все-таки жалею, что писало это — перо, которое Вы держали в руках. Я бы хотел, чтобы это было написано, чтобы осталось, но только не Вами. Ради Бога, берегите себя от этого на будущее время. Я, по крайней мере, так думаю и чувствую. Что это нехорошо, и особенно в Вас нехорошо, не гармонирует с Вашим лицом, со всем Вами написанном.

За Полонского, конечно, Вас стоит поблагодарить; это самый прекрасный поэт нашего времени. «Кузнечик-музыкант» и «Ночью в колыбель младенца» — лучше этого нет ведь в нашей литературе, есть только равнее. — Об Алексее Толстом Вы мало написали; следовало бы дополнить, хотя бы просто в форме «позднейшего дополнения при издании», о нем. Вы знаете, конечно, ряд его стихотворений, посвященных какой-то женщине, очевидно, им любимой и умершей (не могу справиться — книгу отдал), — выше этого по грусти, по благородству и нежности нет в нашей литературе. Это бы надо отметить, самые стихотворения привести (их 5—6), ибо их нередко не замечают, и вообще публика знает их меньше, чем его былины и сатиры, по-моему, или скучные, или грубоватые. Напишите мне, отметили ли вы эти стихотворения. Мне ужасно стыдно Вас об этом спрашивать, но вместе с этим я очень боюсь, чтобы Вы умерли, не испытав от них наслаждения; между прочим, одно говорит о том, как жаль было бы этой женщине самой себя, если бы она могла сама со стороны взглянуть на свою печаль; Вы, верно, знаете.

«Два мира» Майкова я впервые прочел после Вашей критики. Мне показалось слабо, холодно и искусственно. Мельком прочтенная у Ап. Григорьева фраза о нем, что у него лица — какие-то тени, с привешенными к ним ярлыками, мне думается, верно. В 5 страницах прозы у Тертуллиана больше сказались оба мира, чем у него в стихотворной поэме. Я думаю, он сам не перечувствовал этих 2-х миров, видел и поразился их коллизией, как внешним и грандиозным явлением, но этой коллизии никогда не носил в себе. Для этого нужно в себе поносить кое-что бесовское, а потом святое, что возможно, но очень редко бывает и к чему Майков, конечно, не способен. Слишком, должно быть, счастлив для этого. Все пописывал стишки да рассказы из русской истории, да думал о будущем бессмертии, что-де был один из

немногих, державших знамя поэзии в непоэтическое время. Извините меня за скверный тон, но во всяком счастье, в самодовольных мыслях есть что-то антиэстетическое, и это возмущает меня. Кстати уж, об эстетике: зачем Вы оставили в «Критических статьях о Тургеневе и Толстом» псевдоним «Косица» — это ужасно некрасиво, и нужно было и Вам, и читателям забыть это. Прощаете ли Вы мне, что я все это пишу? Я вдруг вспомнил Ваш портрет и Ваше серьезное и утомленное лицо, и мне страшно будет посылать это письмо, даже слишком...

Ну, Бог со стихами. Я представляю себе, как я приеду к Вам; я всегда в своем поведении завишу от моментального настроения, и если, придя к Вам, смущусь — верно, промолчу весь вечер и только буду потихоньку замечать за Вами. Вы, верно, тоже не разговорчивы; я Вас представляю так, что Вы или совсем не смеетесь, или только изредка, когда вся обстановка требует смеха, и насильственно; мало говорите; все видите и все понимаете в человеке, и хорошее, и дурное — (ставлю по Вашему примеру 2 знаменательные черточки). Вообще я думаю, Вы психолог не менее, пожалуй, Достоевского, и более внимательно и зорче присматриваетесь к непосредственно предстоящему. Но как я зол, вот уже несколько недель, за фразу Арсеньева о Вас: «Странное мнение (Достоевский высказал), что из г. Страхова выйдет хороший критик». Так всегда скажет «Вестник Европы»: что-нибудь ужасно злобное, цепляющееся как шип за душу читателя, несправедливое и всегда в 2-х словах, точно жемчужину обронят. Я вот несколько недель не могу побороть в себе гадливого и злобного чувства на эти слова, которые нет-нет и опять вспомнятся. Главное, знает, что несправедливо, злится на то, что о себе сам знает, что бездарен до последней степени, что как ни пыжится, не может сказать ни одной интересной строки, ни одной оригинальной мысли, никакого нового замечания, и вот обрывает ядовитую каплю на другого. Что это мало «Новое Время» над Стасюлани ругается. Если бы я был в Петербурге, я бы принял с удовольствием (тайно) участие в какой-нибудь пакостной травле всех сотрудников «Вестника Европы» и считал бы даже это веселым и благородным, лишь по шутовности дела не подписал бы фамилии. О, как все, любящие русскую литературу, должны ненавидеть «Вестник Европы»! Ну вот, написал Вам письмо, которое почти и посылать не стоит по неважности всего написанного. Напишу, наконец, важное, о чем начинаю упорно думать.

1. Достоевский — все-таки болезнь: болезнь духа, болезнь русской истории; им нужно переболеть и от него освободиться. Не настало даже время этого перебалывания; общество его не знает и не понимает. Будет целый период нашего общественного развития, когда души нашего общества, как в колесо машины, втянутся в Достоевского; прилепят к нему со слезами, со страданиями, с болезнями, но... Это увлечение — тревожная и страшная вещь; Достоевский странный писатель, и от него надо будет освободиться. Он нам

никогда не объяснит, как он перешел к «Осанне», и вовсе не всякий, читающий его, сможет это сделать. — — — Словом, впервые я начинаю думать, что от него нужно освободиться. Весь цикл его мыслей и чувств — болезнь.

2. Случалось ли Вам когда-либо думать о странном сходстве некоторых явлений нашей психической жизни, насколько они появляются у нас и в особенности в литературе, напр. в Л. Толстом и в Достоевском, — с чертами психического склада финикийян, насколько он выразился в их религии? Куда-то идет русская жизнь, только я очень боюсь, куда она идет. Как бы не ошибиться, и вместо Иерусалима не попасть, мимо его, в Тир и Сидон? Кроме известного о религии финикийян, сумрачной, чувственной, исполненной мистического влечения к страданию, — в ней должно быть было нечто, неудержимо влекущее к себе, если евреи, уже имея Библию и чувствуя ее красоту и святость, все-таки вечно влеклись к ней (даже Соломон!!).

Несомненно, в истории много мистического, и я очень, очень боюсь этого мистического.

Вам вечно преданный В. Розанов.

11

10 янв. 89

Только что окончил, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, дважды и со страхом и тщанием переписанное Прощение в Ученый Комитет, кое и пошлетсЯ назавтра утром одновременно с сим письмом. В прощении я говорил, что 2 экземпляра книги моей «будут представлены одновременно с сим прощением» *Вами*, как Вы это мне позволили сделать, т. е. положитьсЯ на Вас, что Вы достанете в магазине Суворина. Оговорил это в прощении потому, что писал его и все боялся: бумага получится, а книг нет, рассердятся, разбранятся, и я вместо удовольствия получу огорчение, и т. д.

Только что ушел от меня учитель Кедринский, коему я все рассказывал про Вас и про свои перипетии в СПб., отдал с Вашею надписью «Заметки о Пушкине» и обещал Ап. Григорьева.

Отыскал также свои заметки о споре Данилевского с Дарвином и посмеялся: они озаглавлены «Признание проф. К. А. Тимирязевым теории Дарвина опровергнутою», и с того и начинается, что содержанием и характером своей статьи проф. Тимирязев признал теорию Дарвина незащитимою больше и т. д. Это я от жара и злости уже очень распалился, но вышло сие очень ловко и искусно.

Теперь же я пишу «тихо и мило», и так как это будет мой 1-й дебют в журналистике, то немножко пространнее, чем сперва думал: сперва я думал прямо, переписав свои заметки, — прислать Вам; а теперь, так как именно это дебют, то вставлю их в рассуждение, кое начинается мыслями о различной судьбе в истории нашей литературы и науки, о немощах второй, затем о труде Данилевского, чуждом их, затем *вставка*, затем мысли о том, что значение книги Данилевского — *освобождающее* (открывающее возможность приступить к исканию истинных объяснений органического

мира), *центральное* (ибо она может послужить средоточием целого движения научного, как тело Патрокла для троян и данайцев) и, наконец, в высшей степени идейное: ибо тут явился вопрос о причинности и целесообразности. Затем цитаты из *Тимирязева* о достоинствах дарвинизма как механического объяснения органического мира и мои пункты: 1) свойства всякого причинного процесса; 2) свойства целесообразного процесса, им противоположного, и предложение г-ну Тимирязеву: или 1) опровергнуть что-либо в моих положениях о причинности и целесообразности, или 2) самому уже определить, целесообразность или причинность лежит в основе органического мира. Довольны ли Вы, мой дорогой учитель и наставник, по мыслям, но, к сожалению, и несчастью моему — не по тону и, быть может, не по настроению. Нет у меня ни Вашей ровности, ни спокойствия. Или придет это?

Теперь самое главное:

1. Не помните ли Вы, в каком номере и за какой год помещена *статья Тимирязева*? Кажется, *июнь* 1886 года? или 1887 г.?

2. Я все время ехал в Елец с истинным ужасом, что меня Георгиевский переведет учителем в Спб. или куда-нибудь близко к нему (этого, ради Бога, не говорите милому Платону Александровичу, а то он меня неистово разругает, а ему я не могу всего высказать, что говорил и раз писал Вам, что я не гожусь в учителя, и, кроме Ельца, учителем нигде не хочу быть). Здесь все-таки спокойнее, но вечно на виду и начеку, чего я абсолютно не выношу по особенностям своей организации. Притом, я могу в Ельце отлично устроиться, отказавшись от неприятных для меня классов, я могу сохранить за собой тысячу руб. жалованья и руб. 500 зарабатывать писанием в журналах, ибо мыслей у меня очень много, и лишь бы журнал принимал. Словом, без должности в Мин. Нар. Просв. я в Спб. не перееду, а должности учителя в Спб. не приму, и тут дилемма: принять для меня — это все равно, что удавиться, а с другой стороны, если Георгиевский предложит (а пожалуй, ему Майков скажет) — отказаться нелегко, и я пропаду, пропаду... даже от одного страха, еще ранее перевода. Поэтому: не будете ли Вы так добры, не скажете ли, не объясняя причин, как-нибудь, смеясь, и вообще не в важном разговоре, Георгиевскому, что вот-де Розанов, странный учитель, приезжал сюда — спрашивал насчет должности в архиве (ведь не одна же должность в Библиотеке Публ. архивная?), но учителем переводиться вовсе не хочет. Я думаю, передавая Вам мои книги для рассмотрения, он Вам скажет что-нибудь обо мне, и тогда вы можете это сказать. Я все хотел об этом Вам сказать в прощальный вечер, но при Кускове не мог, потом думал с дороги Вам написать, но вот пишу теперь только. Ради Бога отклоните от меня зияющую пропасть петербургского учительства.

Ваш В. Розанов.

29 <января 1889 г.>, воскресенье

Только что, вернувшись домой часов в 10, прочел, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, Ваше письмо насчет посылки рукописи на дом (вы говорили раньше, и я бы не забыл), сел и, дописав еще 1 страницу — закупорил в бандероль и с сим письмом одновременно посылаю Вам под Ваше исправительство. Ерунду, которую я было писал насчет сравнения нашей литературы и науки, — я бросил накануне получения Вашего 1-го длинного письма: иду домой как-то и все думаю, что вот надо скорее посылать, а я еще не дошел даже до имени дарвинизма и Данилевского, и так «скудно мне стало», как молодому парню во «Власти тьмы». «Да к чему все это я пишу?» — вдруг осенила меня мысль: это не имеет никакого отношения к предмету (самая для меня отвратительная вещь в сочинениях) — и как это я подумал, вдруг почувствовал почти гадливое чувство ко всему написанному и, придя домой, сейчас начал снова: это было, должно быть, 18; на другой день получаю Ваше письмо тоже с осторожным намеком не завираться в сторону. Теперь все кончено, и я чувствую — хорошо, т. е. нет ничего неуместного. Но уже вините себя: Вы дали мне идею написать «Органический мир и механическая причинность», и, ради Христа, устройте, чтобы Берг, кроме посланного Вам, взялся в следующем номере еще поместить стр. 20 — о невозможности применять механические начала к орг. миру и о целесообразности в нем и пр. Ей Богу же, я хорошо напишу. Притом он мне (Берг), рассматривая мою книгу, сказал: ну, конечно, такую книгу неудобно печатать и пр., т. е., следовательно, от больших вещей все-таки не отказывается. Но я, поверьте, чуток ко всякому Вашему слову, и кроме собственного отвращения к длиннописанью — и из нежелания стеснять Берга не буду, по возможности, писать долго. Как, по-моему, проврался Тимирязев со своими «чистокровными породами»: ведь он сам не понял, что написал: отрицание от дарвинизма, ибо чистокровная порода = первое отклонение, изменение формы, кое еще < вида и никогда не может сохраниться вполне («один предел»); я так уверен, что он тут *абсолютно* попался, что позволил очень подтрунить над ним, чтобы его разозлить: ибо это курьез невозможный: сочинить, прочесть публично, переработать и напечатать и все-таки не заметить, что с пафосом и бешенством, думая, что нападает, — утверждать то, на что хочешь напасть. Но, ради Христа, Вы раньше печати посмотрите все, и тут и вообще все, не наврал ли я сам где-нибудь ужасно, вроде мускулов по отношению к душе (хотя, по-моему, если не принимать во внимание... чего-то случайного в организме, не само для себя функционирующее в теле, я прав). О, простите, ужасно устал и спать хочу. Какая, должно быть, тварь Ясинский, кот. читал о стихотв. Пл. Александр-а. Живо представляю себе бездарного полячишку (все полячишки бездарны), злящегося на весь мир за то, что сам неспособен сделать ничего хорошего. Но какое, однако (судя по речи Андриевского, но об этом не говорите Пл. Алекс., он не догадывается),

отсутствие порядочности в литературном кружке, той небольшой порядочности, которая соблюдается во всяком клубе, среди всех порядочных людей. «Я должен уважать каждого, кто не сделал ничего дурного, низкого; и не должен допускать никакой двуличности, особенно соединенной с наглостью» — без этого же правила нельзя пускать в общество. Удивительно! Если что найдете изменить у меня — пожалуйста (только не о Тимирязеве).

Ваш В. Розанов.

13

8 февр. 89

Так-то скучно мне стало, дорогой Николай Николаевич, что Вы ничего не пишете мне. Верно, нашли что-нибудь нехорошее в посланной статье, или неверность в изложении Данилевского, или бледность этого изложения, или что-нибудь нехорошее в тоне моем там, где говорю от себя. Бог знает, писать, в сущности, очень мудроно: живешь тогда, точно замуравившись в каком-то мешке, и не чувствуешь, и не можешь чувствовать, что уже давно смешно то, что ты там делаешь, и это видно для всех, кто ни засовывает голову в твой мешок. Нет, писать не легко, а очень, очень трудно; а писать хорошо — почти невозможно: нужно, чтобы кто-то стоял выше тебя и водил твоей рукой, кто видит вне, внутри далеко и по сторонам и никогда не ошибется. От безделья стал писать другое простое предисловие к «Метафизике» Аристотеля, которое на этой неделе отошлю в Леониду Н. Майкову (так, кажется, его зовут? Я все перезабыл, и не знаю, брат ли он Ап. Н. Майкова: они что-то уже очень не похожи, да и разница в годах большая). Без предисловия нельзя же, как говорит Достоевский в «Дневнике писателя», и написал также чудное рассуждение «О большой и малой медведице и о многом другом». Помните, мы с Вами раз говорили о чрезвычайной простоте, отсутствии важничанья в Пушкине, эта сторона всегда необыкновенно привлекала меня и в Достоевском: сколько невозможных шуток, ужасной безалаберности в его сочинениях, во всех лицах, им выведенных, и чувствуешь, что он любовался на эту безалаберность. Я думаю, он и «Вестн. Европы» оттого особенно ненавидел (только раз упомянул его по поводу Грановского, а ведь в «Отечественных Зап.» напечатал целого «Подростка»), что в нем нет ничего безалаберного, все даже очень прилизано, точно у чиновника в именинный день. Ну, вот я и заболтался. Не знаю, продолжать ли мне писать статью «*Органический мир и механич. причинность*». Может, продолжения не нужно, не примут или вообще нечего писать. А между тем в Великом poste у меня почти не будет свободного времени. Так право трудно жить. И Вы забыли, должно быть, прислать мне два оттиска Вашего ответа Вл. Соловьеву: а я уже обещал один Кедринскому. Кстати, получив от Вас Ап. Григорьева, я передал бандероль Кедринскому и сказал, что Вы и без того были слишком любезны, что отпустили «Заметки о Пушкине» и «Соч. Ап. Григорьева» по такой цене, и будет невежливо, если мы не возвратим Вам расхо-

ды по пересылке. Он взял у меня бандероль на днях; я ему говорю, ну что, послали ли марки, и он говорит, что собирается Вам написать письмо при этом. Но он (учит. лат. яз.) один из тех, которые, вернувшись с имянин в 2 часа ночи — садятся проверять тетрадки, да и написать к Вам письмо в первый раз — тоже вещь нелегкая, как я на себе испытал. — Я не буду ему ничего говорить, пусть делает, как знает. Всякое дерево должно расти, как растет, и всякое дело делаться — как делается. Раз приходит ко мне учитель Петропавловский (семинарист, восхищенный Америкой) и я, говоря о разнообразии Ваших интересов и сочувствий, показал ему «Алфавит духовный». Я что-то делал механическое, кажется шил, а он начал читать его — очень хорошо читает, с выражением — и мы так-то хорошо прослушали с час его. Удивительно успокаивающее впечатление он производит, и, конечно, потому, что сам из редких людей, нашедших силу, мощь — успокоить себя. Большой души человек был, а, верно, в молодости много разных чувств и желаний испытал. Как-то последние дни все вспоминал, засыпая, Ваши слова о Пушкине: «Неужели мы будем осуждать цветок в пустыне за то, что он цветет и благоухает, а не чахнет, как все вокруг него» — удивительная формула и ответ на четвертьвековые обвинения. Это сохранится. Как можно многое иногда сказать сравнением, и как убедительно: спорить невозможно, хотя я думаю, что при этом сравнение покрывает не всю истину (т. е. не в Вашем примере, а вообще). Во всяком случае, это сила, это оружие. И Вы хорошо сделали, что окружили его мягким колоритом: победа, выигрываемая без борьбы, — лучшая победа. Враги не бегут от Вас, а переходят к Вам, влекутся. Ваш В. Розанов.

Пожалуйста, напишите мне о статье, Вам посланной, и не стесняйтесь в осуждениях: я чрезвычайно терпелив, и каким-то душевным вывертом умею становиться вне мною написанного, т. ч. не очень и больно.

14

Фев. 89

Извините, дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич, что не тотчас благодарю Вас за подарок, разумею Ваши статьи и в особенности «Россия и Европа»; последней книги я никак не ожидал. Читал я ее в старших классах и кое-что еще раз и с огромным интересом просмотрел в прошедшем году, когда ее выписал мой товарищ Кедринский. Статьи Ваши обе прочел с удовольствием. Когда окончил читать «Последний ответ Соловьеву», почувствовал удовольствие, что Вы не полемизировали, и тотчас же сформулировал общее правило: «При отсутствии полемики то, что проигрывается в частностях, выигрывается в целом» (под полемикой я разумею здесь не деловой разбор чужих мыслей, но, так сказать, литературную часть, его сопровождающую, как то остроумие, горячность и пр. — Хотя впрочем все,

что Вы сказали в осторожно-оберегающих словах о его философских произведениях, должно заставить его очень поморщиться. Он, конечно, хотел порисоваться беспристрастием и, так сказать, героическим благородством, когда отрекся от значительности своих философских работ, и то, что человек, судом которого он не может не дорожить, заметил: «Нет, отчего же, там есть все-таки и хорошие мысли, которые не без пользы можно прочесть» — это должно его задеть и в глубине души обидеть. Но как хотите, по-моему, он больше публицист, даже проповедник (уж никак не хочется сказать «про-рок»), ловкий спорщик, но не аналитик: сидеть и с любовью разбирать какую-нибудь мысль, явление природы или вообще какой угодно объект — это не его дело; он слишком горяч и субъективен, чтобы быть артистом-исследователем. Вот почему он, должно быть, ничего не делает для науки. Я, когда думаю о нем, все припоминаю слова Лежнева: «Гениальность-то, может быть, есть, а вот натуры-то и нет».

Посылаю Вам статью свою, так как Вы написали, чтобы я не стеснялся в этом. Не знаю, удовлетворит ли она Вас или, скорее, не думаю этого. Когда я перечитал ее как-то несколько страниц (чего никогда не делаю) — мне показалось очень скучно. Что делать? Я тоже не в ударе. Действовала тут и мысль, что вот раньше писал не то, что нужно; что отчего ничего не отвечает Л. Н. Майков о том, принимает ли новое предисловие к «Метафизике», которое я ему послал, и еще все беспокоила мысль, что нужно скорее все это кончать, а то опускаешь свое учительское дело; следовательно, не было спокойствия и радостного, хорошего настроения духа, при котором я только и люблю писать. Кстати, я сейчас понял, что Вам не понравилось в посланной статье «Орг. мир и мех. причин.» и о чем Вы сказали, что нужно было бы выпустить, — и мне стало ужасно стыдно, что я мог так писать. И знаю, почему не понравилось.

Написать короче «Органич. мир и мех. причинность» я никак не мог. Но если Вы найдете, что это должно, то, мне думается, статью можно сократить чисто механически (что Вам не будет трудно): именно, все пояснения, которые сопровождают каждое отдельное подчеркнутое пояснение, можно будет прямо выпустить. Тогда она сократится вдвое. Но тогда, ради Бога, попросите редакцию сохранить рукопись: может, на досуге я обработаю это, приложу изложение «Дарвинизма», которое послал Вам и, главное, — дополню мыслями о потенциальности, докуда дошел в них, и издам отдельной маленькой брошюрой. Поэтому, если Вы будете совершенно когда-нибудь свободны, пожалуйста, прошу вас, вместе с теперь посылаемую рукописью верните мне ее обратно: у меня нет черновой, иначе как на маленьких кусочках, целость которых невосстановима. Что нужно будет из посланного ранее выпустить, я выпущу.

В посылаемом Вам теперь есть одно место, с которым (судя по нашему разговору в Петербурге, от которого мы куда-то отвлеклись и забыли) Вы верно не будете согласны: это насчет того, почему же Дарвин не объяснил, откуда возникают мелкие индивидуальные отличия. В сущности, это то са-

мое, что ответил Данилевский, сказав, что в дарвинизме творческое начало заменено практическим, и он, как будто (и также Вы, насколько я понял), допускает, что это возможно. Не знаю, прав ли я, но я никак не могу отвязаться от мысли, что это невозможно и что совершенно случайных (=беспричинных) индивидуальных изменений «нет, не было и быть не может», говоря языком Данилевского. Если Вам это не очень неприятно, прошу Вас, сохраните это место в моей рукописи.

Ужасно боюсь, что хлопоты по помещению рукописи в журнале Вам будут неприятны, особенно потому, что посылаемая Вам материя — довольно сухая для литературного журнала. Я, пожалуй, и отказался бы от этого, если бы не одна хотя смешная и глупая вещь, но от которой уже нельзя отвязаться: я, правда, очень торопился писать, и когда по приезде из Спб. меня все приглашали к себе товарищи, я иногда отказывался, говоря, что книга Данилевского уже вышла в продажу и нужно, чтобы отзыв появился скорее, что я — занят теперь. Таким образом (ради Бога, не смейтесь надо мной или, по крайней мере, не очень, добродушно лишь), если теперь он не будет помещен, мне придется всем сказать, что я не сумел написать чего-нибудь, что мог бы принять журнал, что очень стыдно. Ну, вот видите, какие глупые мысли занимают меня иногда. Мне и смешно, и очень совестно всего этого, и я бы никому не сказал. Так что если есть хотя малейшая возможность поместить, пожалуйста, поместите. Что нужно переправить или вычеркнуть, сделайте. Как я рад за Платона Александровича (пишу о фельетоне Буренина); и я думаю, что все сказанное там — верно. Я от Пл. Алекс. очень давно не получаю писем и скукаю по ним. Все боюсь, не сердится ли он на меня. Это было бы для меня не только величайшим огорчением, но и положительно горем. Лучшей души человека я не знал, кажется, и абсолютно ни на кого не похож. Передайте ему и Елизавете Александровне мой поклон. Я в их семью влюблен, как, помните, был влюблен в дом Щербацких Левин. Ну, прощайте. Еще раз простите за хлопоты, которые Вам все делаю. Если приеду на будущий год в Спб., отдам Вашему переплетчику Данилевского, Ап. Григорьева и все Ваши сочинения (я видел у вас переплет 2-го т. Данилевского — замечательно хорош, и теперь ничего не переплетаю, ожидая возможности переплести так же).

Ваш В. Розанов.

Извините, пожалуйста, что в рукописи некоторые места зачеркнуты: это я сделал только сейчас, и попорченные листы переписывать — значило бы еще задерживать отсылку ее.

В. Р.

21 мар. 89

Только что получил Ваше письмо, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, и спешу принести Вам мою глубокую, *горячую* благодарность за все Ваши хлопоты: все, что Вы сделали (т. е. разделили статью), — прекрасно. Ну, теперь я спокоен. Только ради Бога — чтобы в «Ж. М. Н. Пр.» не позже *мая*: я уже смотрю на это, как обещанное, со стороны Л. Н. Майкова. Все, что Вы пишете об отвлеченности, тоже хорошо и верно. Статью Фаминцына я читал и хотел было Вам сей же час написать о ней, но пора-то была такая печальная, что я не мог взять пера в руки. *Эльпе* меня примирил с нею несколько, но первое впечатление было (простите ли Вы мою *ужасную* нескромность, но я пишу Вам промелькнувшую у меня мысль): вот статья, под которой я ни за что не подписал бы своего имени, не смел бы ее снести ни в какую редакцию, в коей половина — ненужное, невозможное в литературном журнале (перечень *содержания* глав «Дарвинизма»), а другая половина — невозможное примирение дарвинизма с целесообразностью. В общем же — бесцветное, скучное мялянье. Но, повторяю, это первое впечатление, и, быть может, перечитав статью, я изменил бы свой взгляд на нее; кстати, уже отослав Вам свою статью, я на досуге перечел еще раз Вашу «Всегдашняя ошибка дарвинистов» и Фаминцына читал после нее. Сколько у Вас силы суждения, отчетливости и раздельности в исследовании занимающей задачи, заглядывания в каждый уголок ее; и вот ваш, так как Вы не читаете лекций, Фаминцын с видом третейского судьи произносит, что при различии Вашего взгляда и Тимирязева (он ничего не говорит об обстоятельности, доказательности) читателю остается только примкнуть к Тимирязеву (ибо читает лекции). Боже, неужели у Вас не поднимается вся желчь при этом, не за себя, о нет, а за то: что такое, наконец, наша наука, имеет ли она что-нибудь общее с исканием истины (всегда кропотливым, внимательным) и с уверенностью, что раз над чем-либо остановились, о чем есть основание предполагать, что тут — истина, решающее значение имеют лишь *доказательства*. Невольно вспоминаются слова героя «Записок из подполья» Достоевского: «А что, господа, не взять ли нам всю эту ахиною (=жизнь общественная) за хвост и не стряхнуть ли ее к черту» — самое революционное словечко в нашей литературе. Но — Бог с ними.

У нас за это время случилось несколько событий в гимназической жизни, и такого характера, что мне стыдно, что я написал выше все, не рассказав Вам о них: на маслянице директор поручил двум помощникам классных наставников ходить на каток — наблюдать за гимназистами, катающимися на коньках (скоро за ними в сортир будут посылать надзирателей); и вот в одно из воскресений часов в 12 утра в первый раз вышел старый Леонов (60 лет) — и получил от выгнанного несколько лет назад Рыльцевича оплеуху, не как Леонов, а как классный надзиратель, из-за которого его когда-то оставили без обеда и потом дома высекли. Если бы получил я, если бы получил кто другой из учителей — я бы не так удивился, и даже — не так негодовал.

Но Леонов был любим всею гимназиею (ученики) за свой безукоризненный такт, за всегдашнюю доброту к воспитанникам. Рыльцевич пристал к нему на катке (катающихся почти не было), тот пошел домой, он его все провожал, стараясь схватить его, угрожая и ругаясь, и наконец у самой квартиры — сделал то, что назвать стыдно, скверно. На другой день (в понедельник) приходит он в гимназию, и нужно было видеть, как старик на седьмом десятке лет, сев в угол, плакал, как ребенок. Вся гимназия была взорвана: это был человек, против которого *ни один* ученик ничего не имел, которому, едва бывало, случится захворать — все гимназисты спрашивают, что с Иваном Павловичем? На моих глазах если ему случится подняться в верхний коридор (он болен ногами и ему поручен нижний коридор) — ученики VII—VIII класса окружают его, просят зайти в класс, считая за честь для себя его внимание. Директор поехал к властям и поднялся шум: доктор Слободзинский, лучший здесь в городе, до того был возмущен (он очень уважал Леонова), что сказал раз в обществе: если я буду лечить этого негодяя (Рыльцевича), я не ручаюсь, что не отравлю его. Гимназисты старших классов подали адреса, и один из них, от VIII класса, замечательно хорош по энергии и благородству. Но не в этом дело, а в том, что теперь все сводится на нет: дело в том, что Рыльцевич хотя ударил Леонова, но, по соображению судебного следователя, — не на самом катке, т. е. не при исполнении обязанностей, — и дело будет направлено к мировому; оно еще не сложилось, но уже сводится на нет. Рыльцевича, кот. и раньше уже буйствовал в городе, раз в отца даже своего стрелял, — думали было засадить, но отец (писарь в Окружном суде) упросил председателя суда, и тот на слова прокурора (только что приехавшего сюда нового лица) о том, как это возмутительно и пр., — высказал, что горячиться нечего и что заключение (там в тюрьму, что ли, или куда еще *предварительно* — не знаю) есть мера слишком серьезная. Конечно, все это произносилось с надлежащею сановитостью и, вероятно, с важным почмокиванием губами. Нужно Вам вообще сказать, что здешние судейские вообще игнорируют все гимназическое, учителей и прочее, без какого-либо другого основания, кроме того, что мы не получаем, как они, 3—5-тысячных окладов и не можем сорить деньги по клубам, а занятые с утра по ночь (поправление тетрадок) работою, не можем жуировать в обществе и, следовательно, в городе представляем из себя какой-то темный уголок, в коем если кто и оскорблен — то трудно даже и рассмотреть, кто именно, и как, и почему. В этом роде про нас уже много произносилось фраз в клубе и в разных обществах; я нигде не бываю и потому не слышу, но как об этом поговаривают — прислушиваюсь с величайшим любопытством.

Недавно как-то старик Леонов остановил меня на пути в класс: «Так-то, Вас. Вас., чувствуешь себя угнетенно; прежде бывало то занимало, другое — теперь все как-то точно отошло все куда (трогательная напр. черта: он одинокий человек, и вся его комната и даже сени увешаны клетками с птицами, за которыми он ухаживает). Итак, жизнь испорчена на самом склоне, отравлены последние дни старика, а там гнусные индифференты боятся под-

лого негодя посадить под стражу из гуманности. Но я всегда думал и знал, что наша российская гуманность, и в частности судебная, вся истекает из жестокости, из отсутствия сострадания. Но довольно.

Только что произошел этот факт, захворал слегка (маленькое давление в верхней части груди) бывший учитель подготовительного класса Петропавловский, помните, о котором я Вам рассказывал, что он, ходя по бульвару, все рассказывал с увлечением, как в Америке хорошо, сколько школ, свободы жизни и пр., а у нас все плохо. Здесь, и, следовательно, вообще из живых людей, это был самый близкий ко мне человек, на которого я любовался не только с нравственно-умственной стороны (гармония натуры), но даже с физической: мужчина лет 40, высокого роста и прекрасного сложения, с добрыми глазами и необыкновенно благородным ртом, который даже в такие зрелые лета еще безумно увлекал женщин (но никогда не пользовался этим, сам увлекаясь). Встречал я много людей, которые превосходили его умом, образованием, даже благородством характера (стремительностью и пр.), но лишь в одном чем-либо, но никто из известных мне людей (и за много лет) не представлял такого равновесия всех сторон, такого гармонического соединения достоинств ума, сердца, внешних привычек, такта и притом не искаженного ни одной дурной привходящей чертою. Всегда любовался я им, но одна черта всегда меня удивляла, поражала: за долгое время нашего знакомства — он ни разу никого не осудил, и это при большой пронизательности, знании людей, опытности. Бывало, на все мои желчные, злые слова против кого-нибудь он всегда говорил: «Ну, Вас. Вас., не забывайте же Вы, что во всяком человеке живет *искра Божья*», а я все, бывало, отрицал это. Еще его любимое выражение было: «Бог любви есть», и он весь был свет, любовь, снисхождение. И он умер, прохворав 1½ недели (раньше никогда не хворал): была легкая простуда груди, кажется — что-то в сердце, а доктор, его приятель по обществу (он не обратился к лучшему, Слободзинскому, к которому и я, и другие ему советовали обратиться — из боязни обидеть лечившего знакомого доктора), приняв болезнь за желудочную, все хохотал, говоря: «Вот расхворался, а ничего нет», и видя, что болезнь не уступает что-то, стал давать сильные лекарства, вызвал болезнь сердца, — и он умер от паралича его. В 4 часа пополудни что-то с ним случилось; я в 6 пришел к нему: смотрю — клокочет у него что-то в груди, и сам он мертвенно-бледный и быстро с усилием дышит. Он поднял глаза на меня: «Ох, умираю», — сказал только. Я вышел к докторам, спрашиваю, что с ним. «Плохо, сердце ослабело», — отвечает мне лечивший его постоянно доктор. Я стал держать его голову — совершенно холодная, и точно роса на лице и лбу, — пот. С каждыми 5 минутами становилось хуже. Его причастили. Грудь вся была обставлена банками. «Лечь мне», — сказал он, я подложил подушку под спину, он оперся, но потом сказал: «Совсем лечь». Перенесли подушку в изголовье; часть банок надо было отнять. «Доктор», — закричал я; но они все были где-то в дальней комнате, верно, папироски покуривали. Мы с банками положили его в постель и завернули ноги. «Ах, душно», — сказал он, и

все что-то мучительно шевелился в постели, потом перестал, что-то бессмысленное появилось в лице. «Что это делается с ним?» — подумал я, видя, что глаза как-то выкатились и стали подвертываться под лоб. Вошел священник и начал читать отходную, пришел доктор (его в обществе зовут «долдон» — красный: и вечно в клубе в карты играет), приложил ухо к сердцу и сказал, что умер, взял шапку и с другими докторами ушел. В зависимости от начавшегося паралича сердца у больного сделался отек легких (водянка, отсюда — клокотанье), и когда его положили в постель — вода залила его и задушила. Все так страшно, так жалко преступно. На этой неделе *долдон* в обществе врачей читал реферат о болезни его и смерти, прося помощи докторов-сотоварищей разобраться в этом трудном деле, ибо в городе слышатся обвинения против него, ибо умерший был всеми любим за свою серьезность и достоинства характера; определили после многих толков, что диагноз был верен (т. е. ведь он его потом придумал), но лечение неправильно было, лишь ухудшало больше (рецепты в аптеке записаны, и их не переделаешь), общее же заключение — что умерший мог бы жить. Пришел я после похорон домой и, вспоминая его, как он, точно живой, рассуждает (его всегда заслушивались), невольно запел слова: «Моего б Вы знали друга, он был бравый молодец, в бравых перьях статный воин — первый Дании боец»; ведь слова о бравности и статности так шли к нему: никто в городе не мог с ним сравниться. А какая доброта была, мне потом хозяйка рассказывала: приходит он и, рассказывая о болезни одного молодого учителя (начинающаяся чахотка, как предполагают) и говоря о жене его и недавно родившемся ребенке, заплакал. И все это при уме, при огромном знании жизни и людей. Удивительный был человек, добрая память ему.

Наконец, 3-го дня и со мной случился казус: поставил я ученику 4-го класса, не умевшему показать на карте о Цейлон, двойку. Он пошел на место, сел, а потом встал и говорит: «Если меня из-за географии оставят на 2-й год, я все равно не останусь в гимназии, и тогда с Вами расквитаюсь», и еще что-то, я от волнения не расслышал: «Тогда меня в гимназии не будет — и Вас не будет»; поговорил и сел. Через несколько минут встает: «Я это сказал в раздражении, когда я раздражаюсь — никогда не могу себя сдерживать, и прошу у Вас извинения». Я попросил его сесть на место: «Я сяду, но вот запомните, что я уже перед всем классом извинился». Он был раньше уже записан, и я как дежурный классный наставник сидел с арестованными. «Что побудило Вас к поступку такой важности и каковы вообще Ваши представления о людях, с коими Вы вступаете в отношения?» — спросил я его; он мне разъяснил, что вообще никого не считает выше себя, а пригрозил мне потому, что хочет выделиться из среды класса, показать, на что он способен; но, вообще, расспросы мои нашел длинными и сказал, что через 2 часа к нему придет репетитор и ему нужно приготовить к его приходу греческий перевод; я сказал: «садитесь», но заметил, что, вероятно, ему уже никакие переводы более не нужны будут. У этого ученика более 150 000 капитала, и он любимец матери, коя ненавидит старшего брата (ученик VII класса, ти-

хий малый) и хлопочет у адвокатов, не может ли она все имущество передать по смерти 2 сыновьям, обойдя старшего (говорят, она — удивительная по уму помещица, но к старшему сыну питает органическое отвращение); я все это знал и видел, где корень того, что в IV классе он уже никого не считает выше себя. Сегодня на 2-м уроке написал директору докладную записку о случившемся, в большую перемену собрался совет, и все учителя единогласно постановили уволить. Завтра ему объявят об этом, а я сегодня после уроков купил трость, ввиду вероятной необходимости защищаться от юного барича.

Так-то поживаем мы в Ельце. В ту же субботу (3-го дня вечером) придут ко мне две сестры Первова (с коим я перевожу «Метафизику»), ученицы VII класса здешней гимназии и просят у меня — нет ли матерьялов для темы: «Был ли Пушкин национальный поэт». Что такое, думаю, кто об этом писал? Разом вспомнил, что ведь Достоевский об этом говорил на Пушкинском празднике; взял Достоевского и стал им читать самонужнейшие места из его речи, читаю и вдруг вспомнил Ваши «критические статьи о Тургеневе» и там — изложение идей А. Григорьева о борьбе в душе Пушкина европейских типов с типом простого и доброго; бросил Достоевского, взял Вашу книгу, прочел им об Ап. Григорьеве со слов о его жизни за границей, выдержку из Онегина (получается: «фу, бредни, фламандский сор»), еще кое-что из Вас, потом тороплюсь, тороплюсь и стал сам объяснять идею эту (объяснение Пушкина) с увлечением, страстно; старшая (очень умная) сестра глаз с меня не сводит. «Понимаете ли, понимаете ли», — прерываю я свое объяснение, а сам глаз от нее не могу оторвать от желания перелить в нее всю гениальную мысль; долго молчала: «Да, понимаю, понимаю, начинаю понимать», и кончилось, что Вы и Ап. Григорьев имеете еще чудную душу, которая Вас перечтет и усвоит все, что надо; я дал им Вашу книгу, загнув нужные листы. У них отличный учитель словесности, и, верно, остановится на этой мысли, — тогда объяснит всему классу. Эх, зачем Ваши книги не одобрены Уч. ком., сколько вреда от этого, если бы Вы знали. Я Вам советую при случае передать об этом Георгиевскому, т. е., что книги Ваши в педагогической среде почти неизвестны — по чисто внешней причине — не одобренности Уч. ком.

Ваш В. Розанов.

16

Апр. 89

Получив Ваше письмо и оттиски, многоуважаемый Николай Николаевич, и за вторые очень благодарен. Статья Ваша, действительно, несколько бледна, но трудно, мне думается, было и написать что-нибудь иначе против такой бестолковой статьи, как Фаминцына. По-моему, единственное истинное отношение к статьям и Тимирязева, и Фаминцына есть отношение смешливости. Что моя статья будет напечатана в мае, это, конечно, неважно; пусть

только она будет *подписана*. Вы сами сообщили мне, что это важно для распродажи моей книги, важнее, чем одобрение ее министерством. А кстати, что же последнее так затянулось? Но не скрою, что огорчило меня все, что Вы написали мне о механической причинности. Конечно, все это зависит от невнимания, от развлеченности другими заботами и делами, но я невольно подумал, что если уже от Вас не могу я найти внимания, то, может быть, очень долго, до конца жизни, я ни от кого не встречу его. При таких условиях пропадает решительно всякая охота писать, всякая энергия труда. Для кого писать, с какой целью? А делать что-либо абсолютно бесцельно, так, здорово живешь — я не могу. Исследования философские неинтересны — ну и не надо их: это вещь такая же простая, как то, что не нравятся мне апельсины — я и не ем их; *через это не переступишь*. Корова ли не ко двору, двор ли не по корове, думал я о себе часто, но только есть какая-то тут дисгармония, которую уничтожить я не в силах. Но это — тема невеселая, и потому прерву. Кстати, еще несколько слов *не по существу* дела: я скоротал конец статьи, потому что скоротать самые положения о механизме было невозможно, а с другой стороны, Вы сказали, что статья отнюдь не должна быть больше нескольких страниц, и, во всяком случае, меньше печатного листа: видите, как *удобно* писать в Ельце, не рваться в Спб.; то, для чего достаточно было бы пяти слов при свидании, вызывает здесь или ненужное писание 30 страниц (первая, мною посланная Вам статья), или порчу статьи. И вообще прежде, чем что-нибудь напечатать в журнале, я уже так натомился в журналистике, что невольно подумываю об удобстве просто писать книги; но тут другое затруднение — книг никто не читает. Поистине милое положение человека, который не хочет посвятить себя вину, любви и картам. Но оставим это.

У меня есть к Вам две просьбы: нельзя ли сделать, чтобы мне было прислано по оттиску моих статей, когда они будут помещены в журнале: дело в том, что все журналы у нас директор держит недели по 2 у себя в кабинете, и, след., 2 недели я не увижу своих статей; но это не главное: главное то, что у меня нет *черновых*, а между тем лето нынешнее я все проработаю над маленьким сборником исторических рассуждений и особенно над книжкой о потенциальности, первую главу которой и составит статья о причинности и целесообразности, помещенная в «Ж. М. Н. П.» Следовательно, если у меня не будет оттиска, мне придется для типографии переписывать с печатного — вещь невозможная по своей скуке и ненужной трате времени. Это одна из моих просьб — насчет высылки *оттисков*. Другая просьба гораздо более существенна: печатание «Метафизики», о котором Вы писали прошлую зиму, что оно назначено редактором к апрелю или маю — до сих пор затянулось; это уже целый год, и дожидаться 2-го года — вещь до крайности тягостная. А между тем там лежит еще моя статья, которая тоже производит мешающую тесноту в журнале; нельзя ли сделать так: перенести печатание статьи в «Рус. Вестн.», и начать хоть с июня печатание «Метафизики». Статья пусть будет озаглавлена: «Заметки о главнейших влияниях

западноевропейской философии на русскую литературу» или что-нибудь в роде этого. Вы писали, что она легко и занимательно написана, и, во всяком случае, она не будет несколько тяжела для «Рус. Вестн.»: ведь это простые очерки. Мне бы очень хотелось этого потому, что вообще хотелось бы что-нибудь поместить в «Рус. Вестн.», а между тем занявшись обработкой 2-х маленьких книжек — надолго не буду в состоянии что-нибудь для него написать. Ради Бога, устройте это. Простите, если что переписал в этом письме — это зависит от моего особенного настроения теперь — просто очень уже не весело на душе.

Ваш В. Розанов.

17

21 апр. 89

Грустно было мне очень, многоуважаемый Николай Николаевич, прочесть Ваше письмо, — но что делать. Жаль очень трехмесячного труда, который я щипками и урывками отрывал от своих служебных обязанностей, не меньше жаль и денег, которые ожидал получить за статью. Для хорошей обработки статей нужен прежде всего досуг, которого у меня только есть 1½ месяца летом, не разорванного в 8 классах гимназии, с учениками всех возрастов и с необходимостью обдумывать самые разнообразные события истории. Учителство мне мешает хорошо работать для журналов, а работая дурно, я отдаляю от себя возможность развязаться с ненавистным учительством. Но из этого заколдованного круга я вырвусь же, и не позднее двух лет. Только доношу фрак, летом сшитый, и нового шить не стану.

Больше всего тронуло в Вашем письме любовь ко мне, явное расположение, сожаление, которое сказывается даже в журьбе. Именно за Вашу любящую журьбу я Вам более всего благодарен, ею тронут и за нее целую Вас, как самого близкого, совершенно родного человека. Я, впрочем, так именно, как родственные, и понимал наши отношения, и только потому Вам все и пишу в письмах, что Вы мне *все простите*: только по отношению к Вам одним у меня и сложилось это убеждение, и мне в голову никогда не придет написать кому-либо другому то, что я Вам пишу. По отношению к обременению Вам спасибо, что Вы так поняли, что я не *умею* различать, где могу обойтись и без Вас: например, мне в голову не приходило, что я могу послать статью в «Рус. В.» или куда-нибудь, не посылая предварительно Вам: я думал, что именно *Вас* я этим обижу, что уже больше не спрашиваю Вас. Ну простите, дорогой мой и хороший, в другой раз буду аккуратнее. Жалеть же Вашего труда я всегда жалел. Теперь буду писать (в будущем) прямо Бергу: только Вы не сердитесь. Малейшее Ваше слово, и я опять готов послать Вам.

От любви и внимания ко мне или от чего другого (я всегда думал — от усталости читать статьи в рукописи, особенно мелко написанные и, следовательно, раздражающие), но, по-моему, Вы ко мне все-таки очень строги, строже, чем к своим противникам в журнале. Пусть название статьи «О кра-

соте в природе» не совсем подходит к ее содержанию, но ведь первое изменив, можно бы приноровить ко второму, напр. «По поводу статьи Вл. Соловьева «Красота в природе». Но разве содержание совсем дурно? Бессодержательнее ли она, чем многие статьи в № 1 «Вопросов» Грота? Бессвязнее ли, чем статьи Тимирязева против Данилевского или Фаминцына о том же? По справедливости, положи руку на сердце, не могу согласиться. Вы говорите «не точно, не правильно выражено», — но ведь Вы поправляете и Клода Бернара и вообще отвлекаетесь от требовательности своей, не возлагайте «бремена неудобноносимые»; если мысль выражена даже кое-как — нужно не отбрасывать ее, но обрабатывать и улучшать, вносить в нее поправки и дополнения. На то критика, так слагается теория идей: они не появляются готовыми и непровержимыми, они высвобождаются из-под «неточностей» и «ошибок», как цыпленок выклевывается из яйца, а не сразу бегают и несут уже яйца. Итак, здесь, с требованием точности и безошибочности выражения, Вы «неудобноносно» строги. И так ли еще мы, наша русская литература, философия и наука богаты мыслями, что нам дана должна быть забота об освобождении от всего невыработавшегося здесь, об отбросе лишь назревающего? Перехожу от выражения к содержанию: Вы пишете — оно не имеет ни занимательности парадокса, ни верности точной мысли. Боже упаси меня писать когда-нибудь парадоксы, и самой громкой известности я никогда не куплю самым остроумным парадоксом. Я пишу только то, о чем думаю, что оно или истина, или очень близко к истине, — настолько, что я ближе к ней подойти не могу. И даже в том, что Вас, очевидно, неприятно поразило в статье, я думаю и не могу не думать, что оно близко к истине или совершенно правильно: как Вы будете отрицать, что творчество в самом деле расшатывает организацию человека? Да Вы это самое почти говорили, когда писали прекрасные строки «пламени мысли, который бежит по строкам», и чего все это стоит, как нелегко все это достается, как многое уносит из человека это творчество (в панихиде по А. Григорьеве). О нетвердости рассуждений о красоте я говорю только то, что они не могут иметь той степени убедительности, как, напр., рассуждения геометрические или об упругости газов, и разве это не так, разве эстетика есть точная наука? И если мы ее любим и ценим, мы сами должны оговориться, какую степень достоверности имеют они, а не дожидаться, чтобы это сделали позитивисты и надругались над нами, говоря, что мы не умеем отличать достоверное от недостоверного и, стало быть, на нас полагаться трудно. Разве в причинности энергии явлений не ярче в самом деле по мере того, как они близки или далеки от своего источника? Нет силы, называемой целесообразностью, но есть внутренняя целесообразность в организмах и их формировании, и что же такое «динамическая телеология», о которой говорит Бэр и которую цитирует с уважением Данилевский во 2-м т. «Дарвинизма». Поистине, даже от этих мыслей, которые Вы признаете худшими в моей статье, я не могу отказаться; думаю положительно, что они правильны и если не будут и высказаны мною — буду сожалеть об этом.

Другое дело — медленность в движении этих мыслей, не яркая их очерченность и, главное, их разнообразие в одной и той же статье. Все это я признаю как недостаток (Вы видите, что я говорю не из самолюбия, а по убеждению: верьте или не верьте, но самолюбия у меня никогда *не было и не будет*), но почему не допустить статьи, где ряд рассуждений, а не развитие одной абсолютно нераспознаваемой мысли. И, в сущности, у меня есть даже единство мысли: тождество жизни и красоты на всех ступенях, трансформации одного и того же от букашки до религиозных представлений. Я так думаю; почему мне не высказать этого? Кому это кажется нелепым или смешным, пусть опровергают: на то критика, на то полемика. Уверен, что мог бы отстоять все свои мысли. Быть смешным я никогда не боялся, и, когда издавал свою толстую книгу, заранее знал, что буду всем смешон: учитель географии, сочинивший новую философию, — что может быть курьезнее? И Вы в «Вестн. Евр.» так и сказали о ней: «Вот один из наиболее любопытных курьезов нашей мнимой самобытности»; для меня важно быть правым, любить истину и уметь находить ее — все же прочее несущественно.

Я думаю, кроме сказанного в письме Вашем, Вы нашли что-нибудь в моей статье *особенно дурного и*, сберегая меня, — не хотите, чтобы она была напечатана, а, щадя мое самолюбие, — промолчали об этом и сказали о другом, что я не могу считать иначе, как написанным на 3. Тогда (если мне уже очень больно будет выслушать) напишите прямо — *не печатайте*; я всегда Вас послушаю без объяснений. По рассеянности я всегда могу провраться и сказать нечто невозможное в литературе.

Но вот что Вы нехорошо сделали: написали, что все-таки некоторые места статьи Вам понравились, и не перечисляя их, т. е. предметов, о коих рассуждения нашли верными. Не могу Вам и сказать, как мне приятно и до последней степени лестно всякое выражение одобрения с Вашей стороны, каждая похвала: «Слава Богу, он считает меня даровитым человеком» или «человеком тонким», — думал я несколько раз о Вас, читая Ваши мысли. Это же дает надежду на небесполезность в будущем своего труда, на способность если не теперь, то хоть когда-нибудь сказать ценное слово, которое не умрет со мною. И потом это и потому важно, чтобы знать, где должен искать плевел в своих мыслях, а где есть в них и пшеница. Уверен, что Вам понравилось место, где говорю о сознании каждою религиею своей недостаточности и что нужно быть сострадательным к вырождающимся родам. Когда писал, думал: «Это ему должно понравиться». Вы еще не знаете, что, когда я пишу (и всегда при этом думаю о Вас), стараюсь иногда отгадать Ваши мысли и написать так, как будто это Вы сказали.

Теперь о литературных делах: потому мне неприятна дурнота моей статьи, что летом, освободившись от всяких строчных работ, — думал всецело отдаться критике Достоевского. Чувствую, что если не сделаю этого теперь, то уже никогда не сделаю, и мне это жалко. Приблизительно лет 12 я жил под совершенным его обаянием, и мне говаривали иногда: «Да Вы сами из его героев, оттого и любите»; но со старостью начинаю совершенно от него

отпадать, а года еще через 3, может быть, он уже станет представляться мне чуждым совсем. Я счастливее и удовлетвореннее теперь, чем прежде, и собственно настоящая пора писать на него критику у меня уже прошла, но не хочу упускать того, что еще осталось, что еще может быть сделано.

Есть у меня еще 24 стр. «Паскаля» — но они недокончены, хотя написаны хорошо положительно, т. е. и в смысле слога, и тона. Но летом я не буду даже его кончать, чтобы жить исключительно Достоевским. Если бы удалось!

Если уже решительно никуда нельзя пристроить «Красоту» — верните мне ее; я все-таки попытаю ее послать от себя к Гроту или Цертелеву, не поправляя — за совершенным недосугом. Теперь во время экзаменов — и пера некогда брать в руки. Вас искренно и глубоко любящий

В. Розанов.

Ради Бога, не забывайте меня письмами.

Какая мне еще пришла мысль: не послать ли мне статью самому Соловьеву, со словами: вот что имею я сказать против Вас и по поводу Вас, и думаете ли Вы, что тут содержится нечто заслуживающее опубликования.

18

Май 89

Получил на днях, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, отиск статьи своей и рукопись; благодарю Вас и за присылку, и особенно за труд корректуры, труд скучный и утомительный в высшей степени. Вы верно очень недовольны мною за предыдущее письмо, приняв во внимание все, что Вы для меня сделали, но во мне очень сильно говорило чувство ревности к Тимирязеву и Фаминцыну, каждое слово которых Вы так старательно обдумываете, так внимательно поднимаете и отвечаете на него: неужели я не заслужил, чтобы Н. Н. написал мне хотя одно письмо о механизме, на который я употребил, верно, больше времени и сил, нежели Тимир. и Фам. на свои статьи, вообще обдумать который было очень трудно, несмотря на кажущуюся аксиоматичность всего написанного. Притом я хотел летом заняться составлением книжки о потенциальности, куда вошло бы и рассуждение о механизме — самой важной в моей жизни, выражающей мою последнюю и главную мысль, и, не помню, писал ли я Вам, но наверное хотел написать, что Ваше мнение о механизме гораздо важнее для меня (ввиду книжки), нежели то, будет ли она теперь же напечатана; если не написал Вам об этом, то лишь отвлекшись в сторону и прочтя в Вашем письме: «О механизме напишу после чтения корректуры»; и я ждал с огромным нетерпением. Что касается до Л. Н. Майкова, то, когда я был у его брата, он в разговоре о переводе как-то переврал фамилию Перлова — вообще отнесся к нему пренебрежительно, и я это очень запомнил; он, без сомнения, очень добрый, простой русский человек, но с тем особенным эгоизмом и высоко-

мерием сытого человека, к которому очень способны русские; бедный Первов столько трудился, и вообще это такой благородный и самоотверженный человек, каким, дай Бог, быть самому Майкову, и, не зная человека, нельзя относиться к нему свысока. Но я бы стерпел, если бы на Страстной неделе не умер от воспаления мозга его 5-летний сын, который был у него один и, судя по болезни жены, кажется, у них уже не будет больше детей. Мальчик был так хорош, и я всегда с ним играл, бывало; отец, конечно, был в страшном горе, и, когда я вспомнил о Майкове и его сытости, когда люди так глубоко страдают, у меня шевельнулось недоброе чувство. Так как Вы выразили живое участие к нашим здешним в одном письме, то напишу Вам еще, что учитель Травин, за которого так боялся покойный Петропавловский, действительно умирает в чахотке, и, как я слышал вчера, уже теперь не может встать с постели, и все бранится, раздражительный такой. Вчера жена его (совсем молодая и неопытная женщина) присылает ко мне за 6 руб. «до 20-го», я спрашиваю, что ведь этого не хватит, еще 10 дней осталось, а она отвечает, что у барина есть немного денег, но он не дает на провизию, все кричит, что ему нужны деньги, чтобы после экзаменов в Самару ехать (это доктор его обнадежил); «а какая ему Самара, дальше Троицына дня не проживет, доктор сказал у себя дома, что у него уже обоих легких нет». Он же и жена думают, что это нейрастения, нервное истощение от труда (это *им* доктор сказал). Столько горя кругом, сколько нынешний год, я никогда не видел. А прошлый год было так весело, и все мы, бывало, так часто собирались вместе, болтали и играли в карты. — —

Ну, добрый Николай Николаевич, перемогите себя и простите меня за предыдущее письмо; забудьте его. В жизни есть столько действительного и страшного страдания, совершенно неизбежного, что мы, пока еще оно обходит нас, должны благодарить Бога за свою счастливую жизнь, должны почти радоваться маленьким огорчениям, потому что это еще не настоящее. Я что-то не так пишу, и не умею хорошо выразить своей мысли. Это у меня всегда так — могу написать мысль, только пока та совершается, а как прошла и установилась — нет.

В напечатанной статье мне нравятся только *3 строки курсива* в определении случайного, и я это ценю; смотрел у Милля — у него определения нет и только как бы боком касающиеся рассуждения; смотрел у Данилевского выписку из Бэра о случайном: превосходные рассуждения и местами почти в тех же терминах, как у меня, и — с удовольствием увидел — определения, формулы все-таки нет; поэтому, как важное определение, я это ценю. Но все остальное мне показалось ужасно скучным и тяжело написанным, так что для читателя, что называется, с ветра берущегося за журнал, т. е. о дарвинизме особенно не размышлявшего, покажется непонятным и неважным, и он не будет просто читать. Немножко заглянул и в рукопись — о механизме, правда, очень отвлеченно: все слова и слова; но это уже очень дурное впечатление, конечно, когда с середины, с запятой начинаешь читать; я тем себя утешаю. Мне Радлов написал несколько строк, где, между прочим, выразил

желание зрелости (и, конечно, прав, и хоть я и смеюсь теперь, но только от воспоминания, что в эту минуту у нас VIII класс пишет по геометрии на экзамен зрелости), и очень хотел бы узнать его слово, *только одно слово* (если бы Вы спросили его от моего имени?), находит ли он рассуждение о причинности **более зрелым, чем то, что читал он в моей книге**, и вообще видит ли успех, улучшение? Мой взгляд о причинности гораздо обстоятельнее, полнее, внимательнее написано, чем что-либо в моей книге. Там, как Вы верно выразились в одном из своих писем, только *общие обзоры*, за которыми почти не было возможности останавливаться на частностях.

Если бы Вы мне написали что-нибудь, т. е. хоть просто коротенькое письмо, я был бы Вам очень благодарен; буду ожидать с большим нетерпением. На лето достал себе «Логика» Гегеля и кой-что даже уже просмотрел.

Ваш В. Розанов.

19

Июнь 89

Многоуважаемый

Николай Николаевич!

Надеюсь, что здоровье Ваше поправилось, Вы съездили к Толстому и теперь снова в Спб., а потому и пишу Вам согласно с Вашим ожиданием. Что разбор Ваш моей книги замедлился, этому я, в видах большей подробности, могу только радоваться. Но ради Бога — пусть он будет напечатан в «Ж. М. Н. Пр.», — а то что же я до сих пор ни слова не читал о своей книге; это больно мне и стыдно для отечественной философии, коя, занимаясь всякими спиритизмами и шарлатанством за границей, а в лице Лесевича — даже новостями испанской литературы, даже слова не хочет сказать о русской книге по философии.

Боюсь, что Вы, как в одном из своих прошлогодних писем, смешаете задачу (цель) моей книги с тою, которую преследовал Гегель в логике и метафизике: тогда я ничего не ответил Вам, потому что Вы судили лишь по нескольким случайно прочтенным отрывкам, но это вовсе не так: у Гегеля цель — изъяснение действительности, природы физической и духовной из развития идеи, которая в этом развитии создает категории; кажется так; но во всяком случае несомненно, что его философия есть *изъяснение*. Я же задался целью построить конечную форму умственной деятельности человека, исходя из мысли, что ум есть потенция, в которой строго предустановлена эта конечная форма; так. обр., моя книга по характеру своему есть *построение*; объяснения, которые включены в нее, несущественны, лежат вне ее цели, и имеют значение ряда исследований, которые вовсе не зависимы от целого книги. Деление, классификации знания всегда, конечно, существовали, но лишь того, которое есть, а не возможного, так как они не исходили строго из принципа потенциальности ума. Возьмите, в пример, классификации Бэкона или О. Конта. Наконец, что касается частных исследований, то тут, конечно, много может быть ошибочного (как я в одном месте книги и оговариваю) или повторяющего то,

что уже было высказано ранее, но 1) какие неизвестные в европейской философии истины открыла русская философия, т. е. совокупность наших книг по философии? Итак, если иногда или часто я повторяю, что было сказано на Западе (как Вы мне часто писали об этом), то не все ли равно повторять, зная, что именно повторяешь, или не зная о том, что повторяешь; здесь, следоват., я не хуже других; 2) оттого же, что некогда было нашим философам повторить всего, что сказано было на Западе, или потому, что этого нет на Западе, то, во всяком случае, в нашей литературе совсем никогда не изъяснялись такие явления, как существование, изменение (отчасти), причинность и целесообразность, и просто назывались эти явления, и (я уже это наверно знаю) в моей книге впервые дано очень подробное изъяснение этих всеобщих и элементарных явлений природы. 3) Будучи вообще самостоятелен от предисловия и до заключения, я с тем вместе могу быть, конечно, нелеп, глуп в суждениях, то и тут, кроме внутреннего критерия, меня поддерживает то, что после издания уже книги я встречал совпадения с моей книгой, напр. у Каткова в «Очерках древней философии», т. е. не Каткова, а древних, также у Куно-Фишера и др., — что все не свидетельствует о моей глупости. Если сверх всего прибавить глубокую мою религиозность, веру в бессмертие души, уважение к нравственности, государству и вспомнить, что все это вышло из нигилизма, которым я был пропитан с 12—13 лет (никак не позже), путем самостоятельных усилий мысли, то, кажется, я имею право мужественно смотреть в глаза всем своим соотечественникам, и в том числе тем, кои занимают кафедры философии и создают русскую философскую литературу.

Но довольно; это все поверхность, тень жизни, а я узнал и ее саму, и теперь уже я называю Вас не многоуважаемым только, но и дорогим Николаем Николаевичем: удивительно, что при мимолетном знакомстве мне все-таки хочется вам говорить все подробности о своей жизни.

То, чего так долго, так мучительно и всегда напрасно искал я всю мою жизнь — любви счастливой, равной, с тем добрым и ясным светом, которым может светить только жизнь народа, без умничаний росшая тысячу лет, — это, наконец, я имею. Говоря об умничаньи, я разумею мой несчастный брак, где сошлись 2 несчастные существа и привязались друг к другу в каком-то первом экстазе; экстаза хватило года на два, затем наступили годы сумрака, который темнел все больше и больше, и мы вовремя разошлись, чтобы избежать чего-нибудь ужасного и преступного. Скажу только, что в браке моем, т. е. в побуждениях к нему, все было исключительно идейное, с самым небольшим просветом простой, обыкновенной любви, и то лишь с надеждою на самое короткое ее продолжение. Но и идейная сторона оказалась обманом: я думал найти в жене верного спутника и друга жизни, поддержку в нравственных трудностях, о которых думал в то время, и нашел именно в этом только холод и отчуждение. Все, мною недоговариваемое, Вы, может быть, яснее поймете, если я скажу Вам, что моя жена — старшая сестра Надежды Прокофьевны Сусловой, доктора очень известного в Спб. Может быть, Вы когда-нибудь слышали о ней, п. ч. в свое время она жила в Спб.

Когда я встретился с нею (в период выхода моего из гимназии), она была уже далеко от него, и все, на что я надеялся, чего ждал и к чему стремился, и на что даже намек не было в окружающей жизни, я увидел в ней осуществленным. Она стояла необыкновенно высоко по ясности, твердости и светскости своих воззрений над всем окружающим, и была одинока и несчастна в то время так же, как и я все мое детство и юность: только друг в друге могли мы найти поддержку; и, несмотря на страшное неравенство лет, стали мужем и женой. Но все это кончилось, и навсегда.

Теперь я люблю без всякой примеси идейного, и без этого же полюбило меня доброе, хорошее и чистое существо. Мы рассказали друг другу свою жизнь, со всеми ее подробностями, не скрывая ничего, и на этой почве взаимного доверия, уважения и сочувствия все сильнее и сильнее росла наша дружба, пока не превратилась в любовь. Дай Бог нам сохранить чистоту в отношениях, потому что жениться я не могу, и только теперь я впервые почувствовал, что в самом деле кое-что в нашей жизни, в устройстве нашего счастья зависит от законов и учреждений. По последним — мы можем разлучиться с женою и я могу жить с кухаркой или развратничать по публичным домам, но никак не могу жениться на уважаемой и любимой женщине. Это требуется во имя Евангелия, во имя союза Христа с церковью. Но Бог с ними, я не хочу теперь говорить ничего этого.

Но все-таки страшно подумать, как же мы будем любить друг друга, оставаясь чужими, как устроится наша жизнь? «Как-то темно в будущем» и у меня, как говорит моя бедная Варя (ее имя), думая про себя и свою любовь ко мне. Но мы будем заботиться друг о друге, беречь и жалеть друг друга в жизни, — этого уже довольно, чтобы жизнь не показалась холодной и бесприютной.

Еще 2 слова ДЕЛОВЫХ: как Вы думаете, примет «Русский Вестник» статью коротенькую, написанную в форме рецензии на «Очерк химических воззрений» Меншуткина: мне хотелось бы высказать мысль о том, что в природе целое предшествует части, и тело первее атомов; заглавие: «О вероятной причине химического сродства», всего страницы 4 печатных, не более. Писать — 2—3 дня, и мысль эту мне чрезвычайно хочется высказать, чего нельзя, нет случая и, что особенно скверно, быть может, *не будет* и возможности высказать вне рецензии. Меня останавливает то только, что книга Меншуткина вышла уже в 1888 г. *Будьте любезны, напишите мне об этом: мне это чрезвычайно важно.* Может быть, уже на эту книгу была рецензия? Может быть, она уже давно вышла для рецензии теперь? Может быть, она слишком специальна для общелитературного журнала? Верно, Вы видите время от времени Берга, не спросите ли его? Тогда — черкните мне два слова.

Пока пишу статью для Берга (или издам брошюрой) — «О праве государей и народностей»; но вот беда: во время экзаменов, когда пера и в руки взять обычно некогда, было вдохновенье, и я, кажется, ее всю проговаривал про себя; а теперь, как и всегда *после* вдохновенья, — скука смертельная думать и писать. Не знаю, что выйдет.

Ваш В. Розанов.

Жду ответа, особенно об Меншуткине. Если Вы Берга не увидите, не спросите ли его *запиской* о том, что мне нужно знать, т. е. может ли быть принята рецензия на книгу Меншуткина?

20

Июнь 89

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Хотел писать Вам длинное письмо, все о своих личных делах и разных вообще мыслях, которые у меня вызваны ими, а также о всем, о чем вы жалуетесь, что я не пишу (простите, все перебивают другие мысли), и напишу, наверное, но не сейчас, а Вы мне — ради Бога:

1) *Напишите свой новый адрес*, когда выедете из Петербурга. Вы писали, что выедете в первых числах августа, неизвестно куда и на сколько времени.

2) Пришлите 1 экз. рецензии на мою книгу: представьте, я и до сих пор не видел майской книжки «Ж. М. Н. Пр.», а теперь не получить тем паче, что директор живет на даче и почта идет к нему прямо. Может быть, рецензия уже явилась в июльской книжке? или будет в августовской? Ради Бога — сделайте эти две мои просьбы.

Пишу я «Р. В.» не «О праве государей и народностей», а о Паскале по поводу перевода его «Мыслей» Первовым, и тут мне захотелось сделать услугу ему, да и высказать вообще разные мысли. Вы скажете: что вы за сумасшедший, начинаете одно, а кончаете другим, но я всегда был с примесью сумасшествия. Ужасно тороплюсь, ибо знакомый человек идет на почту и торопит.

Простите Вас искренне любящего *В. Розанова*.

21

Авг. 89

Милый и дорогой Николай Николаевич! Зачем Вы так пишете — готовиться к смерти (т. е. нужно Вам): бросьте Михайлова и не читайте даже писем, которые он Вам пишет, — кроме глупости, он никогда и ничего не может написать. Живите и делайте свое дело спокойно, не торопясь: с таким нетерпением я жду, когда вы напишете о *времени*, мере и пространстве. Ваши философские рассуждения мне нравятся больше, чем критика: в них столько покоя, — хотя Вы меня осуждали, что я (в книге) все иду куда-то в лес, не разбирая уже существующих дорог, но сами, в сущности, потому так и интересны, что никогда не бываете вульгарны в мыслях; Вы ходите, правда, около больших дорог, но собственно бродите вокруг них по цельным, непроторенным местам. Кстати: сегодня, обедая, я случайно взял Ваш «Последний ответ Соловьеву»: как хорошо, в сущности, написано; он мне понравился

211

гораздо больше, чем при первом чтении, т. е. произвел ясное и отчетливое впечатление: я любовался каждым абзацем (от новой строки до новой). Мне думается, что Вас вообще недостаточно читать один раз, и это происходит оттого, что Вы обдуманно пишете; следовательно, у Вас нет слов лишних, которые делают достаточным чтение всякого другого один раз: лишние слова — это место отдыха во время чтения, их не замечаешь, а попав на интересное место, уже достаточно отдохнул, чтобы читать внимательно.

Я Вам не говорил, кажется, но меня ужасно, до боли оскорбляло за Вас то, что на Вашу исполненную внимания и достоинства статью «Всегдашняя ошибка дарвинистов» Тимирязев ни слова не отвечал; и вдруг с радостью узнаю из Вашего письма, что ответил, заметьте: долго подумав и со злобою. Самых статей я не видал, и вообще я, не бывая в клубах, совершенно не вижу никаких и никогда журналов. Верно, в августе раздобудусь «Рус. Мысл.» и прочту. Вы, пожалуй, отвечайте или не отвечайте. Не хотите ли вот что: пришлите, если у Вас цела, мою статью против Тимирязева, которую Вы не нашли возможность поместить в «Рус. Вестн.»: там есть одно место, где я доказываю (и Петропавловский покойный сказал, что неопровержимо убедительно, хотя сам был дарвинист), что Тимирязев, в сущности, вполне согласился с Данилевским и отказался от дарвинизма: там есть насмешка над ним, но я ее, конечно, выпущу, а напишу не больше 4-х страниц заметку: «Отказ проф. Тимирязева от дарвинизма», предпослав 2—3 слова о том, что теперь уже ему поздно горячиться, нечего более писать — и поместить эту заметку в «Русс. Вестн.» — тогда Вам не нужно ему отвечать, и это будет ему достойным наказанием. В этом месте своей статьи я поднял одну мысль Тимирязева, которая вообще не была замечена Вами обоими в жару полемики, и она чрезвычайно видна, решающая для всего спора. Впрочем, как хотите. Прочту непременно и статью Каринского: как хотите, но я всегда считал недостойною низостью со стороны Троицкого, что в своем учебнике логики он не упоминает чуть ли не единственной в нашей литературе логической монографии Каринского (классифик. выводов), помещая различных лесевичей. Это неблагородно. Вообще Троицкий узок, как селедка, хотя толст, как баран. Я не люблю его и не уважаю (кроме преданности англ. фил. — это все же убеждение).

Что критика меня будет в сент. — это все равно; только пришлите от- тиск.

Ну, мой дорогой и хороший: нужно бы Вам писать о своих делах, как обещал, но всего 20 минут до свидания у меня, а я еще сижу в белье. Я и счастлив и несчастлив: счастлив полною любовью, абсолютною преданностью; несчастлив, и иногда невыразимо глубоко, до отчаяния, что я уже не заслуживаю этого счастья, что она была бы счастливее, полюбив другого. Она выдержала сперва неприятности дома (старушка мать, хозяйка Петропавловского), но теперь мать примирилась, видя, что любовь наша совершенно чиста: только мы видимся каждый день от 7—11 часов вечера. На днях была ужасно неприятная сцена, доведшая и до истерического плача, с

братом ее покойного мужа, очень грубым человеком, 2 года кончившим медицинский факультет, который, приехав из Москвы на время в Елец и узнав про ее любовь, в очень грубых словах стал ей говорить, почему она не устраивается, выходя замуж (она хороша собой и многим нравится здесь и всегда нравилась, а главное — у нее чудный, редкий характер по общим отзывам), что годы уйдут (ей 26 лет), и тогда будет поздно. Это так взволновало и меня, что я ей написал, что ее не забуду, но пусть она отстаёт от меня, если не ради себя, то ради дочери (7 лет) своей. Она проплакала всю ночь и сказала мне на другой день, что если я этого требую (я написал, что буду несчастен, видя расстройство ее жизни) — она оставит меня, но не забудет и никогда не выйдет замуж, и никого другого не будет любить. Не знаю, что дальше у нас будет: как могу я быть спокоен, когда я ничем для нее не жертвую, а она для меня всем. Ну, простите, обнимаю Вас и крепко целую. Извините, что на простой бумаге: не мог сейчас найти почтовой, а захотел писать тотчас.

Ваш весь *В. Розанов*.

О Паскале будет большая статья — иначе не умею писать, с биографией. Не сердитесь. Мне очень хочется написать о Тимирязеве, а главное: очень легко и важно; пришлите мою статью, я напишу, если уже не для «Р. В.», то для «Ж. М. Н. Пр.».

22

<между 13 августа и 14 сентября 1889 г.>

Прочел, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, новые статьи Тимирязева. Вы писали: «Его трудно пробрать»; по-моему — даже невозможно, потому что он пишет как будто *ничто о ни о чем*: никакого содержания, никаких мыслей, за которые бы можно было ухватиться. Разве скрупулезно разбирая его статьи, очищая их от потоков ненужных и Бог знает за чем наставленных слов — можно кое-что получить в конце концов, против чего можно было бы возразить. Он сделал то, от чего Вы отказались во «Всегдашней ошибке»: пересмеять Ваши статьи; но сделав это многословно, с тайным сознанием своего бессилия возразить по существу, впад в ужасно смешные вещи (улыбка Азы Грея), в тон мальчишеской хвастливости (даже говорит о себе в 3-м лице по поводу своей диссертации, где впервые в чем-то опроверг Негели). Вообще место его статьи, где он говорит о себе, что для него все авторитеты нипочем, и при этом сердится, что кто-то и как-то дерзнул усумниться в его авторитетности, — одно из самых смешных в нашей литературе. Вы бы недурно сделали, если бы, кой-где подчеркнув, — воспроизвели эту страницу в своем ответе. Вашею статьею он чрезвычайно раздражен, и главное — раздражен за себя лично. Я слышал от одного студента, кот. недавно видел и кот. его слушает в Москве, что он — ужасно

тщеславен: «Его лекции почти невозможно слушать, и многие не слушают, п. ч. он все рисуется на них, старается говорить красноречиво, и для этого часто перед носом слушателей переделывает уже произнесенные фразы». Я думал об нем лучше и серьезнее.

Упомяните тоже, что если критику Фаминцына, кот. такой же ученый, как он, он считает бестолковой (по правде, я думаю, что это так), то почему же нельзя признать бестолковыми и его писания? Одним словом, спросите, почему он считает себя не вообще профессором и ученым, но каким-то особенным ученым, совершенно исключительным профессором? Его разъяснения должны быть очень забавны.

Посылаю Вам свою статью с просьбою ее *пристроить*: я бы Вас не утруждал, если бы: 1) Вы давно уже не написали мне, чтобы я присылал Вам то, что думаю печатать, и 2) если бы всякая такая пристройка крайне мешкотна и, в конце концов, может быть неудачна. Вы писали о «Моск. Вед.»; я никогда туда не обращался, и статью, от моего имени написанную, едва ли бы приняли; если Вы пошлете — будет другое дело; нельзя ли еще ее пристроить в «Новое Время» — через Буренина это было бы Вам легко; если же это невозможно ни там, ни здесь по ее величине — тогда уже устройте в «Жур. Мин. Н. Пр.», в октябрьской книжке; как жаль только, что этот прекрасный по содержанию журнал никто не читает. Во всяком случае, пусть статья не зачеркивается: довод, в ней высказанный, мне хочется сохранить и раньше или позже провести в печати. Напишите мне, находите ли Вы мое изложение верным, ясным (сразу понятным) и убедительным. Я особенно старался об этих трех качествах. Только грустно думать, что никакая убедительность в наше время не действует: мы все и вечно рассеянны, развлечены, заниматься литературою теперь крайне неинтересно, бесплодно. Вы правы — мы трудимся в пустом пространстве. Сознание этого есть одна из причин того, что самую маленькую действительную и благородную радость, которую я испытываю от кого-нибудь из окружающих меня, маленьких же лиц, я не променяю на самый громкий литературный успех. И вообще литература — прах, прах... может быть, самый тленный, дающий наиболее горечи и дыма из всех видов человеческого праха. Я почему-то вспомнил о милом и добром Платоне Алекс. Кускове и всей его семье; вот те радости и те интересы, которыми он живет, его привязанности и вообще его сердце — это не прах. Как я люблю его, с его живостью, верою в себя и свое достоинство. Вы знаете, в Пет. он возил меня, показывать, где стоял дом, где жили его родители, и рассказал всю свою жизнь. Я ему ужасно давно не писал, думаю с 1/2 года. Ради Бога, не забудьте ему передать мой поклон, и его жене, и всем милым детям. Должно быть, Марфинька была недавно именинница: я подхожу в гимназии в стенному календарю и вижу — Марфы, вспомнил сейчас же ее и свой первый приход к нему, когда меня встретили его старший сын и она. Счастливое и достойное семейство; как жаль только его старшую дочь.

Ив. Павл. Леонов, о котором я Вам писал, что его ударили по щеке, уже два месяца лежит болен, все ничего не ест, и только теперь определили док-

тора, что у него рак желудка. В последнее мое посещение он вспоминал свое детство, все в форме эпизодов, разных случаев и со слезами. Прощаясь со мною, он сказал: «Передайте мой поклон Вашему петербургскому другу» — это он вспомнил Ваше письмо, где вы пишете о нем — я его дал тогда же ему прочесть. Он совершенно бодр духом и хотя не знает, что у него рак, но (уже недели 2—3) говорит мне, что чувствует, что не встанет: «Истаю, как весной снег»; болей пока у него не появилось еще, и только недавно началась икота и рвота; раньше вся болезнь состояла в отсутствии всякого аппетита и в прогрессивном исхудании (он был очень полон, хотя не толст). Я не уговаривал его, что он выздоровеет, но старался только поддержать высокое настроение его духа, выражал радость видеть, что он готов и умереть с таким же достоинством, с каким жил, без малодушия, с твердым сердцем и твердою мыслью. Он в самом деле был удивительный старик. Я как классный наставник всегда руководился его советами, и он, кажется (даже наверное), любил меня. Какое мы жалкое поколение сравнительно с Вами, стариками. Я почему-то вспомнил рассказ Л. Толстого «Два гусара» — славный рассказ, и как грустно после него делается.

Ну, мой хороший и добрый Николай Николаевич, вот я опять написал Вам длинное письмо, и хотя поздно, но описываю печальные происшествия в Ельце, о которых Вы спрашивали. Ив. Яковл. Травин, который был в чухотке и о нем еще жалел покойный Ив. Феокрстович Петропавловский, уже помер еще в июле месяце; я проводил у него почти каждый день часа по два. Умер он без всяких страданий. Но в жизни редко бывает хорошее без примеси чего-нибудь гадкого: недели за две до его смерти их квартирная хозяйка подняла огромные скандалы против его жены, и я должен был вступить; после его смерти на 3-й же день она требовала — выехать с квартиры; тут было много подробностей, о которых рассказывать очень долго, но выставивших ее с самой дурной, безжалостной и неблагодарной стороны: между прочим, покойник перевел в VII кл. ее сына, поручив на совете повысить ему годовой балл из лат. яз. с $2\frac{3}{4}$ на 3, что требуется для допущения до экзамена. И едва он умер — такая история с его вдовой, которую он любил, и она его любила. Между прочим мальчишка ее, гимназист VII кл., чтобы выпроводить ее с квартиры, нарочно становился перед ее окнами и перед окнами отца покойника, старика, в рубашке без сюртука и жилета. Я случайно знал о ее чрезвычайной развратности (у нее обширная квартира для гимназистов, и она делала поползновения соблазнять их) от Бражникова (как-то приходится родственником Н. Я. Данилевскому — по матери), в нынешнем году окончившем курс и бывавшем у меня. Я пошел к ней и потребовал, чтобы она не срамила Травину скверными словами и сплетнями, и в споре рассказал ей все ее смешные и развратные проделки с гимназистами. Когда я потом рассказывал у нас в канцелярии о ней инспектору Федюшину, семейному человеку лет 50, он засмеялся и сказал: «Я удивляюсь Вам, неженатым учителям или живущим без жен, — Вам дорожить бы такими женщинами, а Вы чего-то топорщитесь» — ну что делать с такими свиньями.

Тут еще вышли истории, уже лично со мною, которые чуть не разразились скандалом в Совете; в оном директор с инспектором начали рассуждать в подобном же тоне о разных материях и людях, с шуточками и оскорбительными для других замечаниями, и все ради того, что Совет — конфиденциальное учреждение и из коего ничего не должно быть выносимо. А я сказал в кружке учителей, что за подобный тон можно очень легко, когда он касается порядочной женщины, получить по физиономии, и тут еще кое-что случилось; меня товарищи уговорили бросить дело (с директором), и я послушался, хотя разрешение его *принципиальнее* было бы интересно. Я очень боялся, что меня переведут из Ельца, и потому все и бросил.

В. Розанов

23

<сентябрь — октябрь 1889 г.>

Получил и прочел, дорогой Николай Николаевич, Вашу критику на мою книгу. Что же вы писали мне: «*Magis amica veritas*»¹ и пр. (или уж не изменили ли Вы принципы во время писания, что мне было бы очень больно, неприятно). Я думал прочесть очень жестокую критику и нашел очень деликатную; но об этом потом, а главное: удивительно, что в такой крошечной заметке Вы сказали все существенное; признаюсь, я раньше думал: ну, как писать на такую большую книгу маленькую критику, нужно писать тоже том; т. е. я не видел даже *способа* написать критику и был заранее уверен, что Вы все не так напишете: 1) или не заметите сущности книги, скажете, что в ней толкуется обо всем, а вот, в частности, разберем-ка это, и разобьете меня в нем (напр., как Вы говорили о теории государства), и я готов был Вам отвечать, что это нисколько не задевает книги, ибо все частности ее — почти что пример; или 2) думал, что Вы будете говорить (как в письмах ко мне) больше о логике Гегеля, чем о моей книге. И вдруг с удивлением вижу, что Вы сделали совершенно все так: взяли основную мысль книги и совершенно отбросили частности. Только жаль, что Вы (при Вашей едкости довольно бы 15 строк) недостаточно внимательно остановились на мысли, что *разум есть определенная потенция познания*; вся ведь книга моя носит до известной степени условный характер: я даже не очень настаиваю на 7 категориях (в заключительных словах 1-й части): безусловное в ней есть только мысль о том, что по самой природе своей разум есть (до соприкосновения с внешним миром) нечто *живое и органическое*, что лишь не обнаруживает по невозможности своей жизни ранее, чем даны объекты для него; а раз они даны — он *начинает искать науку*. В частности, благодарен Вам за ту деликатность и осторожность, с которою Вы касаетесь отсутствия в моей книге ссылок на литературу предмета и вообще историческую сторону дела: здесь Вы поберегли меня, и я Вам за это благодарен. Но это — все, так сказать,

¹ «Сильнее дружбы правда» (лат.).

отрицательного характера, т. е. Вы не сказали о дурном, что есть в книге, точнее — что скрывается за нею, во мне самом и в моих знаниях. Но есть в вашей критике и положительные слова, которые мне дороги очень и делают Вас еще более дорогим для меня. Они следующие: «На *каждой* странице мы находим *некоторый труд* мысли», и еще: «вполне удивительно терпение и внимание, с которым автор *разработал* свою систему человеческих знаний». Вы когда-то писали мне, что я понял Вас и что это доставило Вам радость. В этих, мной приведенных словах Вашей критики, и Вы обнаружили, что поняли меня, и слова эти доставили мне высочайшее нравственное удовлетворение: наконец-то нашелся человек, который понял, чего, какого труда стоило написать мне эту книгу, и как безгранично много пришлось подумать над ней: я все (когда писал) держал план в голове, но всякий раз, когда переходил к новой главе своей книги, со всею силою, забывая все на свете, вдумывался в ее содержание; именно в каждую страницу вложен труд мысли, и что Вы заметили эту морфологию моей книги (так ли я употребляю этот термин, может, нужно бы сказать — гистологию) — это в высшей степени удивительно для меня, в высшей степени ценно. Ум или талант, если они есть, — это от Бога данное, и не может составить предмета гордости (в хорошем смысле), удовлетворения: но труд ума, каков бы он (ум) ни был, но внимание к предметам познания, горячее желание проникнуть в них — это уже не Богом дано, это принадлежит нам самим, может составить предмет нравственной гордости; я это знаю за собою, и хотя молчал, но эта гордость у меня была. Вы это поняли и признали, что это так, есть. Заметил и кусательное место Вашей критики, в конце: «Они требуют, конечно» и т. д. до слов «но нельзя не сочувствовать» и пр. — оно очень центрально для всей критики, хотя и сказано глухо, не сразу понятно. Но я подумал, во-первых, что Вы вообще в умственной области (как и в стихах, помните в Спб. слова об А. Толстом) очень строги, когда ничего не одобряете, а во-вторых (говоря очень серьезно), *feci, quod potui*¹. Нравственного удовлетворения это суждение Ваше (если даже оно справедливо; кстати, я совсем не понял: почему имеет цену только то, что доведено до конца, т. е. не понял ни того, к чему именно это относится: к классификации ли, к идеализму. Но из коего уже должен бы быть исключен всякий эмпиризм и пр., и не знаю также, что за конец, о коем Вы говорите) не разрушает, а как для человека (а не суетного автора книги) оно для меня главное, почти все. Ну, простите; только тоже и верно вы отметили эмпирическую основу книги (стр. 127): «Автор берет все дело скорее как факт, как вывод из наблюдения над ходом всякого мышления» — это недостаток книги, но ведь эти места я писал тотчас по выходе из университета, и вообще первые 2 главы и 2 последние написаны в такой юности (2 последние (кн. III) еще в университете), в которой по справедливости ничего требовать нельзя. Теперь бы я не повторил многих, даже наивных, мест этих частей книги: но смотрите, начиная с главы о *существова-*

¹ сделал, что мог (лат.).

нии, — все уже гораздо серьезнее, мужественнее. Словом, я рос и развивался сам с писанием книги, и ничего в ней не переделывал, так что моменты моего роста и развития я поместил в главах о добре и зле, в мыслях об религии и пр., даже вложил действительно пережитые мною моменты душевной жизни. Ну, еще раз простите, и спасибо Вам за все, за ваше доброе отношение ко мне. Ради Бога, напишите хоть 5 строк: что Вы получили мою статью о Тимирязеве и что думаете сделать с нею; я очень беспокоюсь.

Ваш В. Розанов.

24

<1889 г., осень>

Посылаю Вам, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, статейку с ужасной боязнью, что вы откажетесь ее поместить, — я бы хотел в «Русск. Вестн.». Но, по-моему, она имеет общий интерес, написана легко и даже с увлечением и в ней нет никаких отвлеченностей, кроме одной, которая за это и отнесена в примечание. Написана она по поводу Вашей рецензии на мою книгу: через несколько дней по ее получении у меня образовалось столько мыслей, желаний и всего прочего, что я начал писать, даже не думая, что из этого что-нибудь выйдет и куда-нибудь это пойдет, а потом явилось страстное, в высшей степени нетерпеливое желание все это напечатать, и именно в «Русск. Вестн.». Вините себя: я, как некоторые старые девушки, до того уже привык к мысли, что издал книгу неудобочитаемую и в неохотно-чтущее время, что у меня почти замерло всякое желание и надежда увидеть себя когда-нибудь понятным и оцененным, и когда изредка меня спрашивали: «Да о чем написана Ваша книга», я смущался и скорее переводил разговор на что-нибудь менее тяжелое. Вы пробудили Вашей рецензией все эти заснувшие желания и надежды, многим особенным, что Вы в ней сказали и что *подсмотрели* в моей книге, хотя там это не выражено ни одной определенной строкой. Это-то меня и взволновало и повлекло с неудержимой силой вперед: мне вдруг захотелось сказать отчетливо и так, чтобы все слышали: ну, да, вот в чем состоит моя мысль, и я думаю, что она верна и не могу думать иначе, пока мне не докажут, где именно скрывается ее ложность. Вы как-то в письме писали мне: «Очень грустно мне было читать Ваши сетования на невнимание к себе» и пр.; ну, вот, теперь удобный момент, и Вы сами это сказали: откройте мне дверь, и этой услуги я *никогда* <пропуск в рукописи> ...раз в жизни и иметь значение для всей жизни. Если напечатать в «Русск. Вестн.», я сейчас же напишу нечто вроде открытого письма «Ответ гр. Л. Н. Толстому на вопрос о цене человеческой жизни» — и если тот энтузиазм, с которым я писал посылаемую Вам статейку, продолжится — напишу с величайшим одушевлением, ибо ведь это главная моя мысль, совершенно не высказанная в моей книге, и вот — наконец, я ее выскажу. О, Господи, да неужели же все это разрушится по каким-то там редакторским соображениям, да что же такое, наконец, журналистика, если не

выражение мысли общества, и к чему она нужна после этого? Я не могу без некоторой лености писать критические статьи о писателях, ибо все это, в сущности, для меня постороннее, вовсе не вытекает из моей мысли, но пусть же Берг откроет журнал для выражения того, что составляет эту мысль, не осрамлю я его, не унижу журнала, да и, наконец, борьба за мысли, что душа человеческая есть нечто живое и устроенное, что можно определять цели человеческой деятельности, что наука и все прочее должна развиваться и что значит органически развиваться — да неужели же бороться за это в общелитературном органе, отнюдь не тяжелым слогом и не в отвлеченных формулах, нельзя? Ведь существует же вообще полемика в журналах, т. е. там появляются ответы и возражения, и почему только для меня это нельзя? О, вот в такие-то минуты и начинаешь ненавидеть Елец или Брянск, где сидишь и кусаешь ногти.

«А годы проходят, все лучшие годы», и, право, во мне скоро разовьется от этого старческая хандра, озлобленность мелочная и равнодушие ко всему большому.

Или все это я напрасно повыдумал, и Вы спокойно отдадите мою статью в «Русск. Вестн.»? Но уже если в «Русск. Вестн.» никак, никакими способами нельзя (хотя почему бы, почему бы) — тогда, ради Бога, поместите в «Жур. М. Н. Пр.» — и у меня есть еще непреодолимое желание (так как этого журнала никто не читает и все, в нем сказанное, не есть *отчетливо и слышно для всех сказанное*) после напечатать ее отдельно брошюрой и разослать в редакции наибольшего числа газет и журналов. Или все это глупости, за которые я должен стыдиться?.. Напишите мне *добрый совет обо всем*. Кстати, что найдете в моей статье неудобным, нехорошим, ради Бога, или вычеркните, или (простите за просьбу) переделайте, перемените выражения или даже целые места; я бы и сам сделал по Вашим указаниям, но это — для спешности, ибо ведь все-таки статья есть ответ, и не должен же он очень запаздывать за требующим ответа. Вот еще секретнейшая просьба: дней через 8 я пошлю в Москву для напечатания мою прошлогоднюю актовую речь «Место христианства в истории» — все лето я хотел ее переделать, но ничего не вышло, теперь в маленьком предисловии оговорю, почему она является без перемены, и напечатаю: это всего 26—30 стр. и, кажется, очень удачно написанных о предметах, в высшей степени интересных для меня, с величайшим убеждением в истинности и важности всего, что в них сказано. Для этого мне нужно будет руб. 50—60, и если бы «Русск. Вестн.» принял мною посылаемую статью не просто за ответ на рецензию, за помещение коего я еще должен ему быть благодарен, но за настоящую статью для журнала (да так оно и есть) и выслал бы мне (как стыдно говорить!) деньги за нее; но это не самое главное — главное, чтобы она была напечатана, и именно в «Русск. Вестн.».

Ну, я Вам верно порядком надоел; так скучно мне было давно не получать от Вас писем: спускаясь из классов после 4-го урока, я всякий раз кричал швейцару: «Есть мне письмо?», и он мне отвечал: «Никак нет, В. В.,

должно пишут», и я в самом деле утешался, что пишут, и надеялся вот-вот придет от вас письмо. Теперь же перестал уже и спрашивать и решил, что вы очень заняты ответом Тимирязеву: каким идиотством отзываются его заключительные слова к каждой главке: «Да, логика мстит за себя жестоко» — часто ведь они без всякой связи с содержанием самой главы; какое беспредельное хвастовство в словах: «Несколько лет назад молодой русский ботаник защитил магистерскую диссертацию, и 1-й тезис его был такой-то»; «этот ботаник был не кто иной, как я» — он себя объективизирует, он любит себя издали, это невыразимое мальчишество; какое смешное и глупое у него объяснение «Покрывала Изиды» — вот уж в пору только самому плохому журналисту из эпохи «Дела», и тут «либеральную идею включить», так сказал бы покойный Достоевский; и с больной головы на здоровую — говорит о «потоках брани» в Вашей деликатной статье (это обвинение, неправду которого он знал, применимость его к нему самому тоже знал — меня возмутило более всего). Не знаю, почувствовали ли Вы, но я почувствовал в его статьях тайное и очень горькое сознание своего бессилия, неспособности далее бороться, и статьи написаны только для того, чтобы замаскировать свой стыд, обнаружить который уже слишком больно ему, он этого не может, и потому Вам ответил, — как-нибудь, громко, бестолково и дерзко, так чтобы за шумом сим не видно было ни истинного положения дела, ни его безысходного положения, чтобы, по крайней мере глупые (верно их много между непосредственно его окружающими людьми), поверили, что он прав и торжествует. Ну, простите, дай Вам Бог всего хорошего и более всего — здоровья и охоты работать, я бы всего больше желал — в области философии. Увидимся ли мы когда-нибудь? В первый раз пришла мне эта мысль, и как-то горько стало, что, быть может, нет, и даже страшно. Какой-то я мнительный стал и суеверный. Должно быть потому, что перевалил за средний возраст, туда, к концу, где открываются начала «живых миров» (как замечательный 1-й разговор с Раскольниковым Свидригайлова — о болезнях и привидениях).

Ваш В. Розанов

25

<до 20 ноября 1889 г.>

Жалею, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, что статья моя «Об органическом хар. науки» (так, кажется) вышла нехороша — я Вам вполне доверяю, со стороны лучше судить. Меня огорчил не Ваш отказ ее поместить: если бы Вы ко мне относились индифферентно — Вы бы ее передали в *Ред.*, и, конечно, уже не Ваше было бы дело, если б она ее не одобрила; это же я все понимаю, и что Вы ей не дали ходу, это я приписываю только Вашему теплому, участливому отношению к себе, так думаю и *всегда* думал. Огорчило меня то, что Вы сказали о моей книге в письме своем и о других статьях. Но не буду ничего говорить об этом, во-первых, не желая пробуждать в

себе чувство горечи, которое уже утихло, а во-вторых, — чувствую бесплодность этого, нецелесообразность. Напрасно было бы думать — сделать отчетливым и убедительным в письме то, в чем не могла Вас убедить моя книга и статья, и многие прежние письма. Когда я читал Ваше письмо — меня резала, извините, несправедливость каждого Вашего слова; статьи *необработаны*, — может быть, недокончены? Да, но не необработаны: неужели в каждом предложении «Орг. процесс и мех. причинность» не видна крайняя обдуманность, самая жизненная обработка, к какой я способен. Но *оборвать* конец или *не обработать* половину, которая уже сделана, — это вещи разные; да и как же Вы не поймете, что и конец я оборвал лишь потому, что Вы мне написали: *пишите короче*, и затем меня же упрекаете. Еще больше взволновало меня то, что Вы написали о книге; но лучше буду молчать.

Я рад, если статейка моя против Тимирязева ему причинит неприятность: он, начиная с публичной лекции, написал столько мерзостей, нравственных прежде всего, и столько пустой болтовни, что я чувствую к нему нечто вроде личной мести, радуюсь каждой его неприятности, всему, что могло бы его оскорбить или опозорить.

Пока ничего не пишу: составляю только хронологические таблицы с характеристиками веков — для учеников, которые издам.

Вся моя надежда теперь, в смысле распространения в большой публике, на статейки: «Место христианства в истории» — не больше 39 стр., обдумывал тему я несколько лет, когда еще писал свою книгу, — кажется, вылилась она у меня так стройно по мысли и так тепло по разлитому чувству, что я рассчитываю на самый большой успех. Почти противно говорить об успехе, ввиду задушевности, с которою я ее писал, и по поводам, которые вызвали все те мысли (одна из самых крупных ссор с женой, женщиной болезненной и несчастной, и воспоминание о давно умершей матери, женщине тоже очень несчастной и, кажется, тоже болезненной): помню я переехал в гостиницу от жены, и вот когда ходил по коридору и все думал о своей жизни, детстве и вообще о людях — у меня вдруг вспыхнула мысль о христианстве, о христианском способе отношений как о последнем и вечном идеале истории; потом на эту мысль или, скорее, желание нанизывались в течение лет другие мысли, основания исторические, психические наблюдения и пр.

Вот если хотите для меня сделать доброе дело, помогите мне с этой книжкой: боюсь, не задержала ли ее цензура (верно, духовная), я должен бы был уже получить корректуру. Если да, я пошлю Вам рукопись, и тогда Вы посмотрите сами, что можно из нее сделать, куда поместить; а если напечатают, пришлю Вам несколько экземпляров и, ради Бога, устройте, чтобы она была разобрана в «Русск. Вестн.» и, сколько можете, в «Нов. Вр.» и «Ж. М. Н. Пр.»; в другие редакции я отсюда уже отправлю — вот только бы хоть список их получить: у Вас есть, Вы его давали Кускову; не пришлете ли *тогда* и мне, я его возвращу Вам в целостности, так что Вам писать его мне не к чему будет.

Должно быть Ваши «Воспоминания об Афоне» были перепечатаны в «Церковных ведом.», п. ч., встретившись со мной на именинах, один свя-

щенник, не зная, что я Вас знаю, заговорил с большим удовольствием об этой статье, и именно в «Церк. вестн.», а не в «Русском <вестнике>», и я узнал из некоторых подробностей, что это статья именно Ваша. Мне так особенно понравилось место о дребезгах цивилизаций, разбитых европейскою, и очень пожалел, что Вы ничего не написали о Турции, что именно Вы почувствовали в ней мертвого, как это ощущалось у вас. Очень обдуманно написана и статья об А. Григорьеве. Кстати, Ваши все критические статьи, Ап. Григ. и «Росс. и Евр.» Данилевского на днях поставлено выписать в учебную библиотечку к нам. Ну, до свидания, и желаю Вам всего хорошего, больше всего здоровья. Ваш

В. Розанов.

Не можете ли исполнить очень большую просьбу: Л. Н. Толстой написал «Сонату Крейцера» — где и когда будет напечатана, не знаю, и потому ужасно боюсь здесь не достать или достать очень поздно. Не будете ли Вы добры, когда она будет напечатана (он, верно, Вам пришлет оттиск) — прислать мне, хоть только для прочтения, *один оттиск*. Извините, что утруждаю Вас этой просьбой — она из любви к вашему любимцу.

26

<21 ноября 1889 г.>

Многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич! Спасибо Вам за письмо Ваше и за добрый подарок — разумею книгу и 2 «Нов. Времени», в которых я, впрочем, уже ранее прочел Вашу статью. Там важны исторические справки о судьбе книги Данилевского, и вообще все основательно. Ваши статьи о нигилизме начал читать, и они мне нравятся, как и все, Вами написанное. Читал я все это время, с восхищением, какого давно не испытывал, 2 т. Леонтьева «Восток, Россия и славянство»: вот ум, вот убежденность, вот язык и тон! Ради Бога, не можете ли Вы мне достать его карточку, какими-нибудь судьбами — мне без конца хочется знать, горбат он или что: без сомнения, физически уродлив, стар, зол, умен без конца, без конца же несчастлив. Никем я не заинтересован так, как им. Нет, по силе ума — славянофильская партия куда превосходит западную!

Вот уже более года все собираюсь обратиться к Вам и еще с просьбой: и у Ап. Григорьева, и вот теперь у Леонтьева читаю я ссылку на мне совершенно неизвестную книгу: инока Парфения какие-то странствования. Что это такое? Не можете ли Вы мне их прислать для прочтения? Или сообщить заглавие книги *точное*, и есть ли она у Суворина, можно ли к нему обратиться? Впрочем, я уже достану хоть когда-нибудь, лишь бы узнать точно название. Я все больше склоняюсь к православию и только ищу выражения его духа; вчера, накануне Введения, я пошел в церковь к Введению — маленькой церкви, против коей живу: правда, у меня обстоятельства личные

горькие, и я могу быть растроган, но вчера всю Всенощную неудержимо плакал от умиления и от красоты всего богослужения и всех песнопений и толпы народа молящегося (была давка сильная). Так дружно, так хорошо молились все, и я «оторванный от ветки листочек дубовый», как и все мы, пропадающие образованные люди, стоял, молился и плакал и в редкие минуты, когда вспоминал о своей литер. деятельности, думал, что никогда и ничему не буду служить и не могу служить лучше, как приведению общества к этому чистому и радостному свету, кот. есть в религии, в церкви, в мирной толпе молящихся людей, у которых нет зависти друг к другу (в это время), нет злобы бедных к богатым, презрения богатых к бедным и пр., и все они слеплены в одном хорошем, братском чувстве, когда молятся. И вчера же только я как-то непосредственно ощутил, что и в католическом, и в протестантском храме не может быть так хорошо, как в православном, и не может быть таких глубокомысленных и *верующих* по тону песнопений, как в православном. И тут же, слушая эти песнопения, все думал — какое счастье сочинять их, еще лучший тон придать голосу; а смотря на образа — думал, какое счастье рисовать эти образа и все лучше и лучше выражать в них религиозное чувство, чувство скорби Бога за человека или прощения ему и пр. Поистине, в первый раз вчера я был истинно православным. И понял, что будут и среди художников, и среди композиторов люди, которые почувствуют себя иначе, чем наши художники и музыканты, и все будет у нас, все — и культура, и другое искусство, и другая философия — с чертами святости, с пониманием этого и стремлением к этому.

Да, странно все это было, и много я вчера пережил, во многое поверил и сердцем и умом как в *возможное*. А весь этот порыв чувства обусловлен был тем же, что чувствую себя очень несчастным от неспособности сделать чье-нибудь счастье. Мое здоровье ничего себе, и, перестав заниматься писательством, я чувствую себя хорошо, но вот женщина, которая отдала мне все, не оставив для себя ничего, — видимо, и сильно потрясена в здоровье. Не дал я счастья жене своей и не умею дать и теперь. Для чего живет такой человек, как не спросишь?

Весь Ваш *В. Розанов*.

Не забудьте об книге Парфения.

27

<конец ноября 1889 г.>

От души благодарю Вас, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, за Ваши хлопоты с моими писаниями, и радуюсь их полному успеху. О печатании «Метафизики» с января я сообщил Первову и он, бедный и трудолюбивый человек, в совершенном восторге; страшно боюсь, чтобы Л. Майков снова не отложил: мне еще ничего, я не так уже близко лежу сердцем к

литературным делам, но для Первого это будет глубоким огорчением. Передаю и от него Вам глубокую благодарность. За свою статейку, которую Вы хотите, выправив, отправить к Гроту, тоже глубоко Вам благодарен: там мне особенно ценно 1) все хорошее, что сказано о Карпове, переводчике Платона, и вообще о русских *трудолюбцах* не новейшей антипатичной формации, и 2) о заслугах схоластики, о невозможности позитивизма, тождественности понятия дифференцирования с понятием целесообразности; по всем этим вещам я очень желаю, чтобы статейка была напечатана и прочитана. Дай Вам Бог успеха у Грота. Но читали ли Вы его объявление об издании журнала философского, помещенное в «Русских вед.»: какая невозможная вещь, какое детство, поражающая наивность! Но, может быть, наивность для редактора — удобная вещь, и даже условие для журнала философского — чтобы он пошел в публику. Чуть ли наше общество особенно в текущий момент не таково, что всякая *строгая* мысль есть почти в высшей степени ему непонятное и даже почти враждебное. В нашей умственной жизни точно будто совершился какой-то перерыв и теперь приходится начинать сначала, т. е. чтобы быть понятным, с детского и наивного лепета.

Я получил корректуру «Места христ. в истории» и, поправив нарочно, для замедления, велел еще прислать себе корректуру. К Рождеству все-таки верно не будет отпечатано, и для меня большая будет забота уберечь выпуск из типографии хотя бы одного экземпляра до выхода январской книжки «Рус. Вестн.»: правда, типограф, мой знакомый, удивительно аккуратный и исполнительный немец. Мне в печати как-то не так понравилось, как в рукописи: всякое чувство, будучи *напечатанным*, кажется лишним, хочется его поубавить. Так и в этой книжке во многом хотелось бы мне видеть поспокойнее тон. Я чрезвычайно рад, что Вы находите ее верною: наконец-то Вы меня одобрили. Только жаль, что она за невольною сжатостью очень неразвита: как удобно было бы, без всякого труда и интересно, проследить объективный характер арийской истории на самом беспримесном цвете ее — греко-римской жизни: вспомните статуи без глаз («зеркало души»), учение Аристотеля, что форма есть сущность всего, упадок трагедии в Еврипиде, который первый стал изображать развитие страстей, наконец слабость семейной жизни и преобладание общественной — на площади, в народном собрании, на форуме или в сенате. Так же и в новой жизни — Локк и его учение о *tabula rasa*... — это главное, а трудность, с какою принимается в европейском обществе всякая противоположная мысль.

Чувствую я себя не очень хорошо что-то, и именно в душевном отношении. Уж очень неопределенно и даже тревожно мне будущее, а настоящим я жить никогда не мог. От души желаю Вам всего хорошего, и, главное, — здоровья.

Ваш В. Розанов.

Будьте добры, досмотрите, чтобы мое имя *не* перевернулось в «Рус. Вестнике».

<конец ноября 1889 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Спасибо Вам за теплое участие ко мне, которое чрезвычайно меня всегда трогает; я не избалован им, говорю это не по брюзгливости, но потому, что это факт, и если смерять, как многое я люблю (и в деле идей, и в отношении к людям, и притом *в это время* не думая о себе) и как мало (мне думается) действительно хорошего во мне любят, — то право нелегко иногда становится.

Зачем Вы опять меня спрашиваете о статье «Об орг. хар. науки»: я же написал Вам, что полагаюсь на Ваше суждение, и если Вы думаете, что она дурна и скорее может мне повредить, то зачем ее печатать? К сожалению, у меня нет черновой, и я не могу проверить свое впечатление, которое прежде было удовлетворительно. Пришлите ее как-нибудь обратно, при случае или в свободное время.

Но не сделаете ли Вы вот что: как уже давно лежит в «Ж. М. Н. Пр.» мое предисловие к «Мет.» Аристотеля, и не можете ли Вы дать ему, наконец, ход. Вы, конечно, теперь забыли, но два года назад писали, что оно написано живо и недурно, и обещали кое в чем только ее исправить. С другой стороны, Л. Н. Майков мне положительно обещал в Петербурге скоро напечатать ее: теперь прошло ровно 12 мес. с тех пор, и она все не напечатана; я и не напоминал ему об ней (у А. Н. Майкова), он сам вызвался. Будьте добры, скажите ему, чтобы он это сделал и без всяких откладок (как же он не понимает, что этого нельзя делать, что это есть ложное обещание или попросту ложь); а если он будет отговариваться занятостью места в журнале, попросите его вернуть статью, и тогда нельзя ли напечатать в «Вопросах»; только в статье есть место неудобное для Троицкого; будьте добры, переделайте его или вычеркните, чем-нибудь заменив связь. Это не потому, чтобы место это я теперь уже понял как ложное, но потому, что Троицкий, кажется, в числе членов Ред. «Вопросов» и статью, для него неблагоприятную, не примут. Заглавие для статьи, за которым только и была прежде остановка — «Заметка о русской переводной литературе по философии» или «Заметка о важнейших влияниях западноевропейской философии на русскую философскую литературу». Я бы лучше желал, впрочем, чтобы она была напечатана в «Ж. М. Н. Пр.», между прочим, потому, что он платит, и еще потому, что никакой неприязни его Ред., хотя она и поступает крайне раздражающим образом (до сих пор не печатает перевода «Метафизики»), — я не желал бы. Но опять думаю, зачем же Л. Майков и Радлов поступают так? Какое может быть желание работать над переводом, когда напечатания двух первых книг его приходится ожидать два года и все без твердой уверенности в том, что он хотя когда-нибудь будет напечатан. И зачем они, имеющие, как пишется в учебниках, «поощрять науки и искусства», не поощряют труда, но с вели-

чайшим неглижерством его отталкивают. Простите, но я не могу не видеть в таком образе действий простого пренебрежения важных господ к каким-то там учителяшкам, которых как ни обижать, они все стерпят. Но это, в свою очередь, может пробудить желание относиться без всякого уважения к важным господам. Я уже предлагал несколько раз Первову печатать «Метафизику» выпусками маленькими и на свой счет; но он убеждает меня, что она совсем не будет покупаться. Так дело и стоит в каком-то бессмысленном положении. А еще в Спб. Л. Майков мне показался простым и добрым. Каюсь в своем глупом мнении.

Слова Вашего письма об удобстве для журнала («Рус. Вестн.») статьи «Место христианства в истории» — так меня соблазнили, что я посылаю Вам ее; она написана очень четко и хоть кое-где помарана и вообще имеет домашний вид, но я ее не переписал ввиду того, что если что-нибудь с нею можно сделать, то нужно делать скоро. Из типографии я еще не получал корректур, — во всяком случае, до Рождества она не будет готова. Но когда она и будет уже отпечатана, *выпуск ее в продажу можно задержать*, типограф — мне знакомый и очень снисходительный человек и согласится продержать у себя издание один или два месяца. А тем временем ее можно напечатать в журнале, и, уже напечатав, — выпустить в продажу самое издание. Но тут у меня к Вам великая просьба и надежда на Вашу редакторскую способность *убавлять и дополнять*: как увидите сами, статья имеет *форму актовой речи*, и сколько я ни придумывал, не мог придумать, как ее переделать в статью; поэтому-то я Вам и не пересылал ее для «Рус. Вестн.» и все лето пытался ее переделать, но вместо этого начал писать несколько других статей, а переделки не вышло. Может быть, Вы найдете способ как-нибудь это сделать: откинуть ли начало и заключение, или, что переменив в ней — сделать так, чтобы не было обращения к публике, или, поместив в неизменном виде и кое-что оговорив в примечании, — словом, придумайте что-нибудь, как Вы прекрасно сумели придумать со статьею, написанной как рецензия книги Данилевского, разделив ее на две статьи. Скажу Вам, что я, между прочим, и потому не мог ее переделать, что мне жаль было выпустить мысли о целесообразном развитии истории и о христианской цивилизации, которые высказаны только в предисловии и в заключении, и, насколько возможно, сохраните их и Вы. Одним словом, Вы все и лучше, чем я придумаю, сумеете сделать. В случае, если статья Вам не понравится или Вы найдете трудною ее перестройку, верните, пожалуйста, ее мне назад. Итак, чтобы не забыть:

1) «Об органическом хар. науки» — никуда не помещайте и пришлите мне при случае назад.

2) Статью «Заметка о русской переводной литературе по философии» попросите Л. Н. Майкова или напечатать без откладываний, *согласно его точному и ясно выраженному мне обещанию*, или вернуть, и в последнем случае — пошлите ее в «Вопросы» Грота.

3) «Место христианства в истории» если, переделав, можно поместить не позже январской книжки в «Рус. Вестн.» — тогда будьте добры, переде-

лайте и поместите. Позже — в высшей степени неудобно потому, что издание отпечатанное и готовое к выпуску будет уже лежать в типографии. Типографу строго-настрого я закажу — не выпускать ни одного экз. из типографии.

4) «Сонату Крейцера», будьте добры, — пришлите мне, когда она появится.

Дай бы Бог, чтобы что-нибудь уладилось.

Ну, будьте добры по-прежнему и не браните меня, что я так обременяю Вас просьбами. Ваш искренно и глубоко преданный

В. Розанов.

Во всяком случае, даже уничтожение набора, при плате из «Рус. Вестн.», мне будет выгодно: он стоит только 24 руб.

Почти самое главное забыл Вам сказать: мне потому еще хочется издать статью, Вам посылаемую, что в ней в примечании и в самом конце впервые выражен принцип потенциальности, сказано о нем то, чего я еще не знал, когда писал и кончил книгу; и вообще она продвигает *далее* мысль, мною выраженную в книге. Напишу ли я когда-нибудь, как много лет думал, особое сочинение о потенциальности — не знаю: кто может поручиться за будущее; и потому мне так не хочется оставлять заброшенным то, что я хотя в виде кусочка, но уже написал об этом принципе (нужно бы говорить — явлении).

Жду ответа от Вас на это письмо с величайшим нетерпением. А что же статейка о Тимирязеве?

29

<конец декабря 1889 г.>

Получил я, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, «Страстия инока Парфения» и, развернув неизвестную посылку от неизвестного книжного склада и увидав, что это такое, не мог не почувствовать к Вам самой живой, горячей благодарности. Спасибо Вам не столько за книгу, сколько за Вашу точно заботливость обо мне, за Ваше внимание ко всякому движению моей души. Никогда я не встречал этого даже от людей близких, т. е. близким по умственным интересам, и никогда этого не забуду. Удивительна вообще наша связь с Вами, возникшая исключительно из чтения книг и ставшая такою прочною, продолжительною, полною интимности. Это может родиться только тогда, когда в книги действительно перелита жизнь писателя, его индивидуальное, его ни с кем и ни с чем не смешивающееся я.

Читали ли Вы статью Грота против Ю. Николаева (в «Московских Ведом.») и ответ на нее? Это маленький скандал, и он плох потому, что произошел *внутри* партии. Ю. Николаев (его литературные фельетоны я все чи-

таю) — очень хороший знаток нашей литературы в ее историческом развитии, напр., он очень хорошо знает Дост., Чаадаева и массу писателей, о которых я имею, напр., самое поверхностное понятие. Кроме того, он просто умен, т. е. от природы, — качество неестественно редкое в нашей теперешней литературе. Поэтому Грот, если будет с ним еще полемизировать, верно вступит в самое неловкое положение, т. е. Николаев обнаружит такие стороны его дарования, литературной карьеры и ума, которых он (Ник.), очевидно, не хочет обнаруживать, щадя человека, теперь *нужного*, очень полезного, хоть и наивно полезного. Вообще это неприятная история. А впрочем, кто знает, может, именно скандал-то тут и сыграет самую полезную службу, т. е. привлечет к «Вопросам» самую широкую публику. Грот, защищая Лесевича, Оболенского, Михайловского и др., так сказать, привлекает их сочувствие, а уж это такие неумоляющиеся трубы в нашей литературе, что каков бы ни был исходящий из них голос — он ревет и все заглушает кругом. Ю. Николаев очень умно и горячо поддерживает славянофилско-религиозно-метафизическое движение в нашей литературе, — конечно, всеми силами унижает последних могикиан 60-х годов. Ну, да Бог с ними.

Инок Парфения я уже много прочел. Самое существенное в нем — конечно, тон, душевное настроение. Между прочим, я рад, что это бывший раскольник и его отзыв о них таков, что я меньше начинаю уважать раскол и больше становлюсь ортодоксом. Этого давно бы нужно. Ибо, в сущности, все мы, религиозные искатели, в сущности, еретики, т. е. ужасающе неортодоксальны. Это дурно. Дай Бог, чтобы ход истории нашего общества был таков: от атеизма к горячке ересей, от горячки ересей — к ортодоксии, и горячая, а не индифферентная жизнь в ней.

Я бы желал, чтобы Вы подольше пожили. Чтобы не сглазить, но вообще Ваше здоровье для Ваших лет хорошо. Вы удивительно еще свежи. Пожить теперь нужно, потому что мы, кажется, увидим хорошие вещи. Как Вы думаете о теперешнем царствии? Я с наслаждением вчера прочел у Леонтьева («Национальная политика как орудие») слова: «В России в *общем* дела идут хорошо». Как я люблю этого Леонтьева и как радуюсь, что ему «на краю могилы» есть чем порадоваться. Не напишете ли Вы мне его адреса? Я радость и надежды Леонтьева разделяю. Какой молодец Вышнеградский. Это — русский Кольбер. Думали, что русские абсолютно неспособны к финансам, и вот нашелся человек, переумнил жидов и немцев. Удивительно и сладко это видеть. Нет, молодцы русские при всех их пакостях, — а уж таких пакостников все-таки в истории еще не бывало. Но они пакостники от нечего делать, а когда есть дело — становятся серьезны. За это-то их и можно любить. Ну, простите, поздравляю Вас с Новым годом и крепко, крепко целую. Если хотите мне сделать удовольствие, не пишите мне «уважаемый», а «дорогой» — страх не люблю всякой уважаемости.

В. Розанов

<до 5 января 1890 г.>

Получил я, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, уведомление от Грота о принятии моей статьи, которую Вы ему отослали, и снова тронуло мое сердце Ваше участие ко мне, заботливость. Спасибо Вам, ни от кого я не встречал такого внимания, как от Вас и еще Кускова (пожалуйста, поклонитесь ему, доброму и неизменно милому). Прочел также Вашу статью «по поводу книг Данилевского». Читал и все думал о Вас, о Вашей литературной деятельности и о причинах трудного и медленного распространения Ваших мыслей в обществе. Сколько людей с неизмеримо меньшим дарованием, не говоря уже о честности и серьезности Вашего отношения к своей деятельности, — имеют успех и распространение больше, чем Вы. Не мешает ли этому слишком большая Ваша осторожность, отсутствие порыва, желая перевернуть все вверх дном и поставить на своем, что Вы считаете истиною? В Вас слишком много рефлексии и слаба воля, Вы все думаете, размышляете, но не стремитесь, не порываетесь (по принципу потенциальности — это, правда, так и должно быть: разум не развивается из ничего, но в него преобразуются другие душевные силы, напр. воля). Другого условия для успеха, кроме страстного порыва, у Вас тоже нет: я говорю о наивности. Посмотрите на Грота: ни под одною его строчкою Вы не подпишете своего имени, и, однако, — какой успех, как известно всем его имя, хотя, правда, никто и не знает, что собственно стоит за этим именем, чего он хочет, кроме известности, и за что стоит, кроме того, что сам хорош. Тоже Тимирязев. Но об этом тяжело говорить.

Хотел было я, прочтя о письме Вл. Соловьева в Ред. «Вестника Европы», написать тоже нечто вроде открытого письма Вам по поводу всей вообще Вашей полемики с Тимирязевым и Соловьевым, чтобы напечатать в «Руск. Вестн.», — страниц бы 5 можно написать, хорошо и с надеждою заставить над многим задуматься, но оставил это за неспособностью что-либо делать, за трудностью писать даже это письмо.

Вы бы мне серьезно написали: что, не заметили ли Вы, в мою бытность в Спб., какой-нибудь болезненности во мне, симптомов помешательства или чего другого. Помнится, Вы про Громеку сказали, что уже при свидании с ним чувствовали, что он кончит нехорошо. Что-то очень нехорошо я себя чувствую, очень несчастным, очень тягочусь жизнью. Мысль у меня совершенно ясна, и вообще, будь желание, я мог бы работать еще долго, хорошо и (если бы очень захотел) с успехом. Но, верите ли, самый большой литературный успех, и продолжительный, равно карьере свою и жалованье я отдал бы за недолгую радость личную, покой душевный, которого не нахожу и на который не надеюсь. До того дурно у меня на душе, до того трудно, что не знаю, что и делать. Когда сижу еще в гимназии, рассказываю или слушаю урок, — механически отвлечен бываю от этой душевной тягости, а как один — является тягость жизнью до невозможности. Не знаю, переживу ли этот

год. Не люблю я никакой физической боли, но если бы были легкие способы умирания, если бы продавали опиум в аптеках, нисколько бы я не задумался умереть. До того мало счастья, до того бесконечна жизнь. Не думайте, что я обманут в том, о чем писал Вам летом: все хорошо, и я, по-видимому, счастлив, а жить не хочется. Весь Ваш В. Розанов.

Вы спрашивали в одном из Ваших писем: «Отчего Вы скоро отказались от статьи «Об органич. хар. науки», мои возражения были голословны». Но я не от содержимого ее отказался, не мысли свои признал ложными (поистине, думаю, что все там справедливо), но согласился с Вами, что она *дурно написана*, т. е. расположена и изложена (вообще — форма неудовлетворительна). Вам со стороны это виднее. Получив, еще раз ее посмотрел в 2—3 местах, и все мне опять понравилось, но думаю совершенно спокойно, что это — субъективный обман. Только, когда я читал Вашу статью «Спор из-за книг Данилевского» и думал вообще о Вашей литературной деятельности (о чем писал выше), задумался: не обманываетесь ли Вы сами насчет способов делать свой образ мыслей общеизвестным. И опять вспомнился мне Грот: знаете ли, у него есть статья (5—6 стр.), и он публикует даже о ее продаже «во всех известных магазинах»: «В чем состоит моя философия?» Он наивен и имеет успех. Почему в себе не допустить известной наивности, почему иногда не поверить в свои силы больше, чем, быть может, они заслуживают.

Недавно случайно прочел многие Ваши страницы из воспоминаний о Достоевском. Как хорошо все написано, сколько мыслей, могущих стать афоризмами; решительно, Вы оцениваетесь по достоинству лишь при втором чтении. Я и прежде все это читал, но многие выдающиеся достоинства заметил впервые: в Вас надо вчитываться. Прощайте, устал физически и душевно. Дай Вам Бог лучше чувствовать себя, чем я: если бы Вы знали, с каким нетерпением жду «Крейцерову сонату» Толстого.

31

<после 5 января 1890 г.>

Только что прочитал Ваше письмо и спешу благодарить Вас за него, больше всего — за Вашу строгость, суровый и презрительный тон к моему слабодушию. Спасибо за все. Я, правда, как-то душевно слаб: Вы не поверите, мне 34 года, а я не помню ни одного случая, когда бы я принудил себя к чему-нибудь, что нужно, или удержался от чего-нибудь, чего хочется. Но не думайте, что это оттого, что я дурной человек: я — созерцатель, и мне просто лень делать какие-либо усилия; я все о чем-нибудь думаю или чем-нибудь волнуюсь, не имеющем ничего общего с окружающей действительностью. Действительности же этой, равно и своей внешней жизни, я позволяю течь куда угодно и как угодно. Также не думайте, что я в чем-

нибудь *невоздержан* (Вы об этом уже не раз упоминали): трудно найти более воздержанного человека, чем я, и притом во всех отношениях; и это потому, между прочим, что именно как созерцателю — мне легко всякое воздержание. Я просто не думаю о том, от чего воздерживаюсь. Вообще о частной моей жизни и поведении Вы, по-видимому, имеете неправильное представление, что-то лишнее думаете; нет более скромной, тихой и, в сущности, очень правильной жизни: почти все дни у меня проходят один на другой.

Причина тоски моей — моя семейная неустроенность. Если бы рассказать Вам, что я вынес в 7½ лет моей брачной жизни, Вы бы изменили обо мне мнение, признали бы во мне огромный характер, если не в активном смысле, то в пассивном, вынес все это я, могу с гордостью сказать, с достоинством: я ни разу не вышел из себя и ни разу не сказал жене неделикатного слова, ни разу не пожаловался на нее постороннему человеку; если говорю это Вам, то потому, что, не живя больше с нею, я считаю наш брак разрушенным и ее — посторонним для себя человеком. Но мне трудно и больно думать, что, не попытав никакого семейного и вообще личного счастья, в первую половину моей жизни, я не испытаю его, кажется, и во вторую, что мне не удастся уже по чисто внешним причинам устроить себе тихую и радостную жизнь. Не думайте, что я человек минуты: я обзираю всю свою жизнь в ее целом, и видя, как неудачна она была, и что, кажется, и не будет удачи — мне становится очень трудно, очень грустно. Если Вы присоедините сюда чрезвычайную тонкость и яркость моих ощущений, что же я чувствую хоть одну соединяющую нас нить, я бываю совершенно открыт. Единственное мое притворство по отношению к людям — это что я не говорю о их недостатках им, хотя иногда их и чувствуя, думая, что и мне также молча прощают, верно, многое, раз есть что-нибудь, за что меня *вообще* любят. Во всем же прочем я всегда и безусловно правдив, и веду себя один или с другими так, что между моим внутренним миром и его внешним выражением нет никакого несоответствия, нисколько не преломляется первый на пути к своему выражению извне. Это я называю правдивостью и считаю ее долгом всякого человека. Ну, прощайте. Я так был благодарен за Ваше письмо, что сел писать его сейчас же, т. е. в гимназии, в перемену. Поэтому, быть может, оно немного бессвязно. Вы извините меня за это.

Ваш *В. Розанов*.

По-моему, истинное честолюбие: жить своею мыслью и чувствовать в мыслях и чувствах других людей, Вы его отчасти достигли. Но, странная фантазия — это всегда мне казалось некоторым видом человекоубийства, и я ощущал в этом смесь высшего <...>

<март 1890 г.>

Спасибо Вам, дорогой и добрый Николай Николаевич, за ту помощь, которую Вы мне оказали заметкою в «Нов. Вр.» и всегда прежде оказывали: без Вас мне не только было бы очень трудно, но, по всему вероятно, я так бы и сгнил за каким-нибудь новым большим трактатом и умер бы с горечью, несчастный и озлобленный. Если этого не будет, и я выскажу все, что мне хочется, и это будет узно, выслушано и понято, больше всего этим обязан Вам; так и буду помнить это навсегда, и Вы не забывайте этого. Необходимо всякому человеку запастись добрыми делами, чтобы был легок смертный час, и я всякий раз чувствую легкость душевную, когда мне удается или удавалось его сделать.

Пишу теперь очень кратко, так как очень тороплюсь на праздниках окончить статью «Что выражает собою красота природы»: по изложению, я думаю, она Вам едва ли понравится; так трудно, даже невозможно, пища урывками, — писать одушевленно, но, написав ее, кажется, я надолго сделаюсь свободен от всякого рода теоретических мыслей, накопившихся у меня по отношению к органической природе, к человеческим расам и развитию истории. Нужно же было их высказать — и я рад, что сделал это наконец. Но подробнее напишу Вам, когда буду посылать ее (через неделю), а пока — Христос Воскресе! и целую Вас крепко, крепко, с самой горячей благодарностью.

Ваш *В. Розанов.*

Удивляюсь, почему у Суворина нет «Места хр.», — он не согласился взять более 50 экз., хотя я предлагал ему все издание, и так как взяло Московское отделение магазина, то, может быть, в Спб. даже и не попало. Но делать аккуратно все эти дела из Ельца очень трудно; я посылаю одновременно с этим письмом — и в магазин с вопросом об отсутствии «Места» в Спб. и с предложением поправить дело в этом.

Еще 2 слова: я получил от какого-то г. Шперка письмо, из Спб., насчет «Места» — очень одушевленное в своем роде и, что меня очень радует, письмо от пр. Герье, которого я лично знаю и которому послал брошюру месяц назад. Он пишет по смыслу то же, что Вы в заметке, признает содержание глубоким и изящно выраженным и извещает, что послал ее в Саппел, в Италию, жене и дочери, которые там 2 года пользуются хорошим воздухом. Поэтому видно, что он, правда, был заинтересован ею; иначе, к чему бы посылать: там, конечно, у них много хороших книг. Я жду от Вас «Борьбы с Западом»: здесь образовался еще один Ваш поклонник, в высшей степени серьезный человек, но несколько неподвижный — Смирнов, препод. женской гимназии (словесность), и при изучении Пушкина рекомендует руководиться Вами. Но здесь такая глушь, что, кроме меня, Кедринского, Вашего старого поклонника, и Смирнова, — ни у кого нет Ваших сочинений.

<до 17 апреля 1890 г.>

Окончил я, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, свой труд, если и не многолетний, то многомесячный, и посылаю Вам на рассмотрение. Тяжело мне это делать, в особенности ввиду того, что Вы писали о своих недавних болезнях, которые, быть может, и не совсем еще прошли. Читать 62 стр. в рукописи — об этом и подумать страшно. Не найдете ли Вы возможным, почитав *кое-где*, на выбор несколько мест, произнести над ней свой суд перед рецензором? Что касается корректуры, то при печатании не найдут ли возможным пересылать мне? Я в тот же день буду высылать обратно — поправленную, и верно, больше одной корректуры держать не нужно.

Мне же ужасно хотелось, чтобы она была помещена в «Русск. Вестн.»: она не специальное, чем «Всегдашняя ошибка дарвинистов», и меньше по объему; содержание ее хотя и серьезное, но не отвлеченное; предмет же взятый достаточно разнообразен и, мне думается, может заинтересовать: явление красоты в природе, целесообразность в развитии органического мира, ход образования человеческих рас, теория исторического развития, объяснение гениальности и, наконец, религии — обо всем этом серьезный читатель «Русск. Вестн.» может прочесть не без интереса. По слогу и содержанию я считаю статью написанную на *три*, и не может же Берг требовать, чтобы ему всегда и непременно писали только отлично. Так невозможно работать, не хватит ни у кого сил. И между тем работу, которая стоила уже много труда, где высказаны серьезные мысли, нельзя бросать по тому одному, что она написана просто удовлетворительно. Пусть он не отягощает слишком людей, которые искренно и по мере сил готовы работать в его журнале.

Если решительно Вы найдете невозможным помещать статью в «Русск. Вестн.», тогда уже придется поместить ее в «Вопросах» Грота. Но я нахожу тут огромные неудобства:

1) Там есть уже моя статья, которая, вероятно, будет помещена не в 3-й, а в 4-й книжке. И, следовательно, 2-ю статью придется отлагать до следующего года; но тогда она явится анахронизмом, ибо служит разбором Вл. Соловьева, который в 3-й же книжке печатает «Красота в искусстве», которую я бы должен был принять во внимание для статьи, имеющей появиться в начале следующего года. Но мне легче написать вновь две статьи, чем переделать одну хоть маленькую; я не умею это делать: пример — «Место», которое лежало у меня 1½ года, и я ничего с нею не мог сделать. Уже Вы придумали, как поступить.

2) В «Вопросах», верно, ничего не платят или почти ничего: издает Абрикосов, на отличной бумаге, работают любители, что же тут останется труженику. И я бы прошлый год не стал за этим особенно гнаться, но теперь для меня плата — почти важнее самого помещения: я с упорством, коим обладаю, несмотря на свою слабонервность и вечные жалобы, решил все-таки устроить свою семейную жизнь, ездил для переговоров в Нижний к жене на

Рождество, она от свидания уклонилась, но, как мне ее друзья передавали, не прочь от развода. Для него нужно тысячи 3 денег, и я живу теперь на 60 руб., остальные откладываю и решил, энергично зарабатывая журналистикой, — скопить требуемое количество через 2 года.

В 3-х, до августа я буду делать решительное испытание: могу ли перейти на журнальное поприще, зарабатывая в нем около 60 руб. в месяц (что я считаю достаточным для жизни в провинции, очень скромной, всецело семейной). Если скажете *да*, через год, не позже, я оставлю учительство. Всякий человек себя жалеет, и не могу я не жалеть себя, свою душу и свою жизнь: куда она уходит, что сделалось с моим сердцем, с моим умом, со всеми заветными мечтами? И не говорите мне, что и всем тяжело; я очень хорошо понимаю различие и знаю причину его, хотя и не хочу говорить. Неужели я так мало способен, что не могу просуществовать журналистикой, которою существуют же сотни людей, и с желанием комфорта, о котором я несколько не думаю, и с меньшею легкостью писания. Будьте сочувственны ко мне, ободрите меня в этом трудном деле.

Не знаком ли Вам еще кн. Цертелев, который стал издавать «Русское Обозрение»? Оно, верно, с философским направлением, и так, как там, верно, платят, как в «Русск. Вестн.», — то туда бы можно пристроить мою статью.

Я просил письмом Редакцию «Жур. М. Н. Пр.» выслать *хотя 2 оттиска* нашего перевода; письмо отослано давно, я получил плату за помещенное в обоих книжках, февр. и март, но оттисков не получал. Ввиду того, что книжки журнала у нас учителям не выдаются, а лежат у директора $\frac{1}{2}$ года да $\frac{1}{2}$ года в переплетной мастерской держатся, а между тем для перевода одного и того же места оригинала всюду одним выражением нужно иметь перевод свой перед глазами — он не может быть продолжен впредь до получения не менее 2-х оттисков. При свидании, будьте добры, передайте это Л. Майкову.

Я Вам послал, кажется, прошение в Ученый комитет об одобрении «Места»; но Вы меня не известили, дали ли ход ему и каков был результат. Тоже послал я ее и толстую свою книгу в Учебный комитет при Св. синоде — но результата тоже не знаю. Пока сижу у моря и жду погоды.

Ну, прощайте, мой дорогой и добрый, и еще раз простите меня, что не в меру здоровья Вашего отягощаю Вас просьбами. Что делать, вы же у меня один. Если когда прежде огорчал Вас — простите мне все. Больной я человек — не знаю, как доживу век.

В отношении дела, о котором Вам писал, чувствую себя тяжело — сначала легче было, а потом думки-думки пошли. Если бы Вы видели меня, как я встретил Светлое Христово Воскресенье: подлец вздумал показаться мне, когда я говел, и нарочно прошел передо мною. Его раскаянному письму, первому и второму, я поверил и вдруг почувствовал, когда он проходил передо мною, что он издевается надо мною, хочет еще мучить меня. Никакого гнева у меня не было, но горько было так, что и не знаю. И потом остальные дни Страстной недели и за Заутреней, хотя и не видел его, все думал еще об этом и о своей судьбе, и о беспомощности выйти из нее. Вспоминал, как кончал

курс, в гимназии особенно — самое розовое мое время, время таких чудных надежд, такой веры в людей. Больше чем себя теперешнего — жалел тогдашнего себя. Сколько любви было у меня к людям, желания помогать им всегда и теперь — одна ненависть, совершенное безучастие, одно желание — схорониться куда-нибудь, чтобы никто меня не видел и я никого не видел. Погибла моя молодость, и, кроме тревог и усталости, ничего не несу с собою в старость.

Прощайте. *В. Розанов*

34

<до июня 1890 г.>

Дорогой Николай Николаевич! Пишу по поводу 2 т. «Борьбы» характеристику Вас как писателя и ученого на основании всех Ваших сочинений — для «Русского Обозрения», стр. 10, — но, кажется, *выходит*. Больше писать, т. е. письма, некогда. Наконец-то я отблагодарил Вас за все, что вы для меня сделали. Там будет много для Вас нового. Вам преданный и любящий

В. Розанов.

Я старался Вас: 1) понять на всем протяжении, 2) определить и оценить. Здоровы ль Вы? В Петербурге ли? Что с Толстым? Отчего Вы мне не достанете «Крейц. сон.» — она уже есть в Ельце, но я ее не видал. Не сердитесь ли Вы на меня. Если да, простите, в чем виноват, против Вас я не могу быть очень виноват, т. е. по существу, а лишь с внешности.

35

<до июня 1890 г.>

Простите, дорогой Николай Николаевич, что так долго не собрался Вас поблагодарить за «Мир как целое» (а что Вы мне не прислали статью о нравственности в «Новом Времени». Вы, бывало, делали это — это было бы особенно для меня любопытно, как новая ветвь Ваших умственных интересов).

Не писал я вам оттого, что у нас настало страдное время: без малого десь пришлось исписать программами, каждой в 2-х экз., в каждом классе по всем отделам и в некоторых — за несколько предыдущих классов. Писал я писал, до одурения, и все недобром поминал Вашего Георгиевского; может быть, и не поминал бы одновременно, уже лежа в постели, не читал чудных записок Никитенко в «Русск. старине»: вот был чудный человек, бессмертия достойный; и откуда такие родятся, т. е. с таким умом и сердцем. Поистине, это слава России, это честь русской крови.

Ну, там у него довольно много сетований на нашу бюрократию, и, составляя программу, я в тысячный раз припомнил, о чем прежде думал и к

чему так поразительно слепо наше высшее начальство: подумайте, какие несообразности: одно и то же министерство в одно и то же время назначает 1/2 годовые экзамены в Университете, считая слишком ненадежными годовые, ибо известно, что учащиеся занимаются лишь к экзамену; и назначает 4-х годичные в гимназии, и притом для младших классов: скажите, как мальчик 10—11 лет будет стараться учиться ввиду того, что *через 4 года* ему придется сдавать экзамен. Ведь это же идиотизм: а переходная отметка (годовая) дозволена 2 1/2 и даже 2 1/4: спрашивается — что думало министерство о качестве знаний, приобретаемых при таких условиях. И ведь эти-то полужайки должны в 4 классе сдавать громадный экзамен в 4 классе за весь курс географии сразу, причем предусмотрительно сказано: экзамены должны быть произведены все не более как в течение 3-х недель, т. е. занятия в году их к тому должны подготовить (в 1-м и 4-м классе не остается ни *одного* дня на повторение). А в объяснительной записке сказано, что экзамен *отнюдь не должен быть испытанием памяти*: как же это, рассуждать с учеником о реках России, когда он их не умеет назвать и показать? А одних перечней географических мест в 4-х книжках географии достаточно, чтобы их одолеть в 4 года.

И вот результаты: ученик VII-го класса (в Ельце) на просьбу указать Альпы — указывает их в Тульской губернии; ученик 3-го кл. на вопрос: в какой реке крестился Иисус Христос, смело отвечает (сам вызвался): в Ниле. Ученик, перешедший в 3-й класс (из Спб. округа), на вопрос, что такое Персия? в какой она части света? город это, государство или река? — ничего не отвечает; ученик VI-го класса, отвечая по истории, не может найти на карте Европы ни Франции, ни Германии. А между тем как *красивы в чтении* учебные планы и объяснительные записки. Умен Георгиевский, очень умен; только уж самоуверен слишком. Скажут: скверные учителя: да отчего же им не быть скверными, если они нигде и никогда не учились, как учить, а преспокойно проходят одно за другим; если из тысяч идиотических циркуляров по округу, выслушиваемых в Педаг. совете и принимаемых *к исполнению* — ни в одном не упоминается даже о том, как учить, к чему при преподавании стремиться.

Я все собираюсь когда-нибудь об этом писать или по крайней мере упомянуть, — конечно, не раньше, как оставя службу.

Мне хотелось бы написать о «Мире как целое» небольшую статейку в «Русск. Вестн.», но раньше июня за работу журнальную я сесть не могу, а Берг, верно, поторопится дать раньше отзыв, и мой будет уже не нужен.

Вы, верно, мной недовольны; будьте снисходительны к моей слабости. От некоего Рцы, писавшего в «Благовесте» и издавшего любопытную книжку «Листопад», я узнал ужасные вещи о Леонтьеве, т. е., кажется, однако, не оставляющие никаких сомнений. Как грустно жить на свете; и как странно устроен человек, и какая загадка жизнь, т. е. историческая. Что же Вы мне все ни слова, ни слова не черкнете...

Ваш В. Розанов.

<до 6 июня 1890 г.>

Простите, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, что до сих пор Вас не поблагодарил еще за 2-й т. «Борьбы с Западом». Я тотчас же прочел там 2 статьи «*Роковой вопрос*» и «*Перелом*» и написал Вам письмо, но поместил в него строк 5 лишних и на другой день письма не отправил, а тут наступило столь трудное время экзаменов, что за письмо невозможно было взяться, и вот теперь я впервые свободен настолько, что пишу Вам. Как хотите, но «*Роковой вопрос*» и невозможно было понять иначе, чем понял Катков: главная его мысль, о возможности новой культуры, нежели европейская; и о праве во имя ее бороться с высокою представительницею европейской культуры, Польшею — только сквозит, только бледно мерцает сквозь очень определенные, почти резкие слова о высоте вообще польского образования в сравнении с русским. А так как поляки, уже в течение столетий идущие по пути европейской цивилизации, даже и не подозревают (как многие и теперь, у нас и повсюду) самой возможности новой цивилизации, то, естественно, в своих политических стремлениях они могли опираться только на свое вековое убеждение, а уже, во всяком случае, не на мысль, даже в 30-х годах столь новую, что раз 5—6 собеседников в Праге, толкуя об этой идее, вдруг закричали: «Разбежимся», боясь, что в случае падения потолка в комнате сия важная идея не будет иметь на земле ни единого представителя. Конечно, не на подобные идеи могут опираться национальности в своих политических стремлениях. Таким образом, статья Ваша могла и должна была послужить теоретическим оправданием для польского мятежа. И тон, которым она написана, в высшей степени характерен, вовсе не похож на обычный тон Ваших статей. Я разумею чрезвычайную определительность, резкость и насмешливость Ваших слов о русской культуре: у Вас нет тут обычной грусти, а есть почти грубая резкость: в Вас виден теоретик, много продумавший над всеми этими вопросами, долго взвешивавший ценность наших культурных приобретений, и когда ему случилось заговорить обо всем этом, — он заговорил столь твердым и уверенным тоном, какого нельзя было ожидать от «задумчивого молодого человека», каким вы тогда были. Но, нужно Вам сказать (возвращаясь к мысли своей в начале письма), у Вас вообще есть этот недостаток, даже неосторожность: говорить о главном, о положительном менее, как-то не доканчивая и не столь уверенно, нежели о том, *сквозь что* Вы дошли до этого главного; вспомните Ваши необыкновенно важные, глубокие и столь краткие слова о вечной борьбе против рационализма, которую ведет человек. Эти все слова очень привлекают к Вам читателя, заставляют думать над Вами, но они в высшей степени затрудняют составления яркого и отчетливого образа Вашего мышления. Словом, существенное в природе и в жизни у Вас только указывается, изучается же отчетливо и в превосходных по точности словах только несущественное, то, рассмотрев, что мы

должны его оставить, чтобы перейти к существенному. По всему вероятно, это оттого, что Вы и сами большую часть своей жизни, своего труда и умственных сил потребили на то, чтобы пройти сквозь это несущественное, преодолеть его, поняв, и, так сказать, целая жизнь Ваша отразилась на манере Вашей литературной деятельности. Кстати, я все еще жду Вашей статьи «О мере, числе и времени» — отчего Вы ее не пишете, *оставив все другое*; в Ваши годы нужно быть до последней степени аккуратным в выборе занятий, не терять ни одного дня на труд, который может быть выполнен без Вас. Вам будет грустно умереть, не высказав какой-нибудь важной мысли, и, я думаю, к числу их принадлежит мысль о «времени, мере и числе». Я думаю, это будет нечто вроде Ваших превосходных рассуждений о *точках зрения в «Основных понятиях физиологии»*. Кстати, есть ли около Вас очень преданный Вам и *умный* человек, который сумел бы разобраться в Ваших бумагах, всегда привести их в порядок и извлечь из них, что и как нужно. Л. Майков был бы в высшей степени способен к этому, но тут нужен *верный и простодушный* Босвел, а он смотрит в Джонсоны; вообще тут нужно отсутствие гордости и эгоизма — вещь совершенно невероятная и невозможная в наше время.

Извините, что я заговорил о том, что соприкасается к смерти, руководствуясь мыслью о ней. Мы тогда только можем думать, что достигли полной душевной ясности и гармонии, когда спокойно смотрим на смерть, когда она не внушает нам больше ни чувства отвращения, ни ужаса, как Ренану. Какой это, однако, несчастный человек, и как понятна его грусть: столько жить, так много трудиться и изучать и достигнуть столь малого для своего внутреннего содержания. А между тем он уже старик, ему уже некогда еще научиться, еще приобретать.

Будьте добры: 1) пришлите мне отпечаток вашей статьи «Соц. с-т» Щеглова; 2) сообщите фамилию ученого и писателя, который о чем бы ни писал, — непременно где-нибудь поместит насмешку о трех китах (в «Мире как целом»). Я недавно опять и неудержимо смеялся над вашими словами о нем, и мне неудержимо захотелось узнать, кто это; 3) понравилось ли Вам новое предисловие к «Метафизике» Ар-я? Последние слова его, где я выразил чувства благоговения к нему и почти личной любви от слов «это был царственный ум...» меня вполне и совершенно удовлетворяют. Я, правда, много лет думал о нем — действительно любил его даже за недостатки. Мне раз пришла смешная мысль — с каким бы удовольствием я поступил к нему в слуги, чтобы вечно видеть его, всегда за ним подсматривать и им любоваться. Я бы очень хотел приобрести его хороший портрет — повесил бы над своим письменным столом. 4) Где сказаны Ваши слова о Достоевском: «Достоевский — это туча вопросов»; может быть, я взял бы их в эпиграф статьи о нем.

Ваш В. Розанов.

<до 30 июня 1890 г.>

Верно Вы не получили, дорогой Николай Николаевич, моего письма, в Пет. посланного. Только что кончил и посылаю Гроту статью о Вас для «Вопросов»: я получил от него любезное письмо с просьбою — приготовить за лето статью для «Вопросов», и послал разбор Вас, начатый по поводу «Борьбы с Западом», но сведшийся к определению вообще Вас. Знайте, нет ничего труднее Вас для разбора, это говорю я, читавший и перечитавший все Ваши статьи. Поэтому, как бы мало Вас ни удовлетворил мой разбор, — думаю, что выполнил неизмеримо трудное дело, которое в силу самой его трудности долго бы никто не выполнил: всякий оставит в начале. О чем не писали Вы? Что из этого не связано в *Вашем* мировоззрении, не участвовало в образовании его частей или не отразило склад Вашей души? Чему посвящена специальная книга, коею можно было бы ограничиться, не писали ли Вы почти о всем Вас занимающем в каждой книге хоть по несколько, однако, значительных строк; и как критику не растеряться в всем этом, да еще перепутанном с множеством критики чужих взглядов. Я просто сердит на Вас за ту трудность, которую Вы мне доставили. Но удовлетворите же и Вы меня.

Вы теперь у Толстого: не может быть, чтобы в Ясной Поляне не было литографированного экз. «Крейцеровой сонаты», кою многие, слышу я, в Ельце читают, а я, наиболее желающий и достойный ее чтения, — даже не видел ее. Пришлите, ПОЖАЛУЙСТА, экземпляр ее, если нельзя открыто — то почтою, в посылке. Знаете еще мое тайное желание, которое вдруг пришло мне на мысль недели 1½ назад: без особенного доверия к Вам я бы его не высказал, но говорю потому, что все Вам привык говорить. Итак, вот в чем дело: Толстого все сочинения я знаю, *люблю* его, хотя менее Достоевского, но ценю как художника выше его и *люблю вторым* после него: этого, кажется, достаточно. Верно, я его никогда не увижу. В моей голове вслед за критикой Достоевского у меня связана мысль написать статью: «В чем заключается главный вопрос гр. Л. Н. Толстого и где лежит главная ошибка его решения» (это по поводу вопроса о цели жизни). Словом, хотя я и не говорил до сих пор о нем ничего с Вами, но он мне удивительно как близок, родствен и дорог. Не могу Вам выразить всего, что не только ощутил, но и пережил при чтении «Анны Карениной».

Кто не знает, что прикоснуться к очень близкому человеку всякому хочется. Как я жалел, узнав о смерти Достоевск., что так и не успел его увидеть, хотя мог в свое время сделать это на Пушкинском празднике. Теперь и моя просьба: если будете посылать мне «Крейцерову сонату», попросите его (если это Вам не очень трудно) подписать на ней: «Дорогому такому-то (т. е. мне) на память». Простите, ради Бога, за фантазию, но если бы Вы и он знали, как мне будет горько в ней разочароваться, — Вы бы это сделали. Пусть он вспомнит Платона Каратаева в «Войне» и Вы — Ваши слова о духе «простоты, добра и правды» у него, — теперь я с духом простоты, доб-

ра и правды прихожу к Вам и прошу во имя же этого «прекрасного дела» (Ваши слова) — сделать мне простое, маленькое удовольствие, но очень дорогое для меня — отчего его не сделать? Если б Вы, хотя уже от себя, прислали мне еще его кабинетный портрет хороший — Вы бы меня невыразимо обрадовали, если бы с подписью от него, неизмеримо бы обрадовали. И отчего Вам не обрадовать меня? Разве я не заслуживаю этого? Не знаю, что еще и написать, чтобы понудить Вас исполнить мою просьбу. Скажу только, что связи и далеких людей, соединяющие, бывают крепче и чище связей между близкими физически людьми. Ну, вот теперь я буду ждать с великим нетерпением ответа от Вас, и *посылки непременно, ради Бога.*

Верно ли я определил в своей статье, что скрытый центр Ваших размышлений, научных и литературных исканий есть *религиозное*? Что к нему непосредственно примыкают Ваши психофизиологические разыскания? В статье моей о Вас будет много для Вас нового, что Вы знаете о моем отношении к Вам только по письмам.

Ваш В. Розанов.

Грот мне за статью прислал 86 руб.; новая статья о Вас — 28 стр. моего мелкого писания. Я жив и здоров; не очень, как всегда, счастлив; завтра сажусь за продолжение прерванной для Вас статьи о Достоевском.

38

<до 24 июля 1890 г.>

Многоуважаемый
Николай Николаевич!

Стыдно мне и смешно было за свою просьбу, когда читал Ваше письмо — но ничего, пусть ребячество, отчего же нам не быть иногда «ребятками» только: со Стаховичем я не знаком и прошу Вас прислать мне «Сонату» хоть из Спб. (экая беда, сколько времени ждать); портрет, *если можете*, устройте. Но главное меня порадовала живость Вашего письма: я и прежде слышал, что Вы любите гр. Толстого, а не цените только его, но теперь Вы дали мне почувствовать это осязательно — и я рад, главное за Вас самих. Помните (простите, что я такой молодой говорю Вам это, но если бы Вы знали с каким чувством я это говорю): выше любви ничего нет, простой и светлой привязанности одного человека к другому, и это чувство до такой степени дорогое, что почти не веришь, что оно есть, и уже несомненно, что оно свыше.

Но, это все чувства падшего ангела, каковым сделались мы все в лице Адама; оставим их.

Читали ли Вы статью Леонтьева в «Рус. Вестн.» о романах Толстого? Кто он такой, по положению, по имуществу, по психологии — мне бесконечно захотелось узнать. Какой хаос по изложению — и какие умные замечания, даже до удивительности (заметки о **Долохове**, и курсив: я, как прочел, просто

готов был побежать к Толстому и *инквизиторски* спросить: почему над злым Долоховым и кн. Болконским одними только не посмеялись?). И как спросил *хитро* Леонтьев. Но сквозь ум — какая самоуверенность до наглости, какая как бы сухость сердца, и этот «государственный бич над «народом-богоносцем», которого он требует, подсмеиваясь над Достоевским. Отвратительный человек, должно быть, но как запоминаются его слова.

Знаете, давно я хотел сказать Вам, и уже по поводу гр. Толстого, кстати, скажу теперь: у него и у Вас на протяжении сочинений есть по странице до того поразительно неопрятных, скажу прямо: дурных и ложных, что я не мог читать без какого-то содрогания. У него — это когда Пьер оставляет больного Платона Каратаева под деревом и уходит. **Собачонка** остается с Платоном и ее вместе с ним пристреливают французы, как отставших, и он, он Толстой нашел какой-то противоестественный изворот мысли ли, чувства ли, чтобы сказать: да, это так, этому научился Пьер у Пл. Каратаева, здесь мудрость и тайна (в повороте судьбы?). Боже, какая страница; он, столько почувствовавший, не почувствовал жестокости и мерзости, собачонка умирает с человеком, а человек от человека уходит, и это просвещенный, что-то понявший в жизни, научившийся. Противоестественно, гадко. У Вас же в «Воспоминаниях об Афоне» о снеговых хребтах, будто бы в угоду которым люди живут...

Но не буду распространяться об этом. Мне все представляется, что Вы, большие писатели, знакомы только с писателями же, т. е. людьми, не совсем обыкновенными, житейскими, простыми. Мне все мерещится, что, судя о жизни и людях, вы что-то просмотрели самое главное, самое лучшее и так, бедные, умрете, не узнав «чем люди живы», до некоторой степени сами несчастные. Не могу отвязаться я от этой мысли, что бы мне кто ни говорил. Я Вам не передавал своего впечатления от визита у Ап. Майкова: с какой грустью смотрел я на этого старика, погруженного в бедные заботы о том, чтобы после смерти от него, в разошедшихся рукописях, не остались черновые нежелательные произведения и потом, верно, не испортили его «полного собрания стихов». Бедный, бедный человек: «как высок умом, как благороден сердцем и вместе как» — не помню дальше, что говорит Гамлет. И тут же Пл. Ал. Кусков, жизнь и кровь, и толпа любящих ребятишек его, все смуглых и веселых, — какие все мысли это навеивает: разве эти дети, этот будущий мир радостей и тревог, благородного и доброго, хоть, может быть, подчас и глупого — не стоят Ваших лучших стихотворений? И я не мог внимательно слушать Ап. Майкова, все мне казалось мертвым и деланным в его артистически убранном кабинете, и он сам — бедная мумия в великолепном саркофаге. И не думайте, чтобы я упрекал, мне хотелось быть только одному и все думать, и даже поплакать над бедною судьбою человека.

Вы мне сказали в Спб., что Ал. Толстой был удивительной души человек, одна из прелестных натур, и это я запомнил, удивился и обрадовался. Может Вы и о Л. Толстом сообщите мне что-нибудь, из чего я вдруг почувствую в нем полноту жизни, яркой, действительной, а не в объективирован-

ных образах. Как буду я рад, как хочу я отвязаться от своих неприятных мыслей. Сообщите мне о нем какую-нибудь его здоровую шутку, громкий хохот, что-нибудь беззаботное. Я раз с удовольствием прочел в чьих-то воспоминаниях, как он сказал Тургеневу: «Что вы дрыгаете своими демократическими ляжками» — это, верно, иронизируя над демократизмом его тенденций, конечно, в угоду и притворно. Но довольно. Посылаю Вам «Место», как Вы желали, и Вам — брошюру из «Вопросов».

Но какую вещь я сделал. Вместе с Вашим письмом мне принесли письмо Берга: смотрю мою «О трех фазисах в развитии русской критики» он принял (1 л. печатный) и пишет, что тотчас ее напечатает (там много об Ап. Григорьеве, но в общем она только так себе, Вы, однако же, прочтя, непременно напишите мне свое мнение, да и не в двух уже словах, Вы ужасно скупы на суждения в письмах). Но это не главное, а вот что он пишет: «Странно мне, многоув. В. В., что Вы обращаетесь ко мне: г. Ред. Я, кажется, имел удовольствие познакомиться с Вами прошлым годом в Спб., и мое имя Вы можете прочесть на обертке каждого № «Р. В.», — и теперь горю от стыда, от досады. И мог же я, проклятый, отправить статью, не справившись у Вас об имени и *отчестве*, а на обертке написано только: Ф. Берг. Не знаю, что и сделать — до того неловко. Во всяком случае, извинюсь перед ним, посылая статью о Дост. Ради Бога, сообщите мне имя и отчество: Федор...

Не знаю, как-то напишу о Достоевском, но тут я поместил характеристику о Гоголе, от которой и сам в восхищении: до того верно, ново и смело, т. е. собственно это развитие одного Вашего замечания, что Дост. *дополнил* Гоголя, я же говорю, что вся наша новая литер. явилась как отрицание Гоголя, как борьба против него. Но прочтете — увидите — и всего 1½ стр., с жаром и, кажется, убедительно. Этим я доволен. К сожалению, разбор будет большой. Но Вы так этого не любите, что не буду Вас раздражать объяснениями.

Пожалуйста, отвечайте мне. Ваш преданный

В. Розанов.

Письмо Ваше с критикой предисловия к «Мет.» получил. Спасибо Вам за каждое слово, которое говорите о моих писаниях. Там ведь хорошо же и важно строгое отделение предметного содержания философов от их принципов, точек зрения. Вы знаете, Лэвель, напр., всех философов древности по тому и оценивает, догадывались они или нет о шарообразности земли и о движении вокруг солнца. Это ведь тоже, в своем роде, как говорить о трех книгах — та же бездна остроумия.

В «Трех фазисах» я напал в примечании на г. Букву (фельетоны в «Рус. Вед.») в защиту Барсукова, авт. «Жизни Погодина» — и тоже доволен этой защитой благородного труженика против вертопраха. Верю, Берг не выпустит примечания. Вы, прочтя, скажите мне, хорошо ли я сделал.

Вы, верно, не читаете «Моск. Вед.», и поэтому сообщу Вам, что как вышли «Вопросы философии» с моей статьей, так в литературной критике,

споря с Влад. Соловьевым, Николаев сейчас же воспользовался моей статьей, взял из нее длинную выдержку и назвал ее всю превосходной. Я считал ее написанной на 4 — это меня обрадовало очень: первая ссылка, значит и моя мысль в дело пошла, кому-нибудь пригодилась. Как появилась Ваша рецензия на «Место», брошюра ужасно быстро пошла: магазин Суворина, не взявший больше 50 экз. на комиссию, сейчас же взял еще 100 и через 11 дней еще 300 — теперь она не в типографии, но в магазинах, и то хорошо. Спасибо Вам от всей моей души.

Не забудьте главное: имени и отчества Берга.

39

<после 24 июля 1890 г.>

Спасибо Вам, дорогой Николай Николаевич, за Ваше письмо. Как бы Вы хорошо сделали, если бы в самом деле взяли (и, конечно, печатно) за свои впечатления от Л. Н. Толстого, его личности, его психики и пр. Передайте ему мою признательность глубокую за портрет, кой я сохранию, как его драгоценную память. Как хорошо он обо мне сказал: «Все молодость». Спасибо ему; но если бы это была правда! А кто же знает, может и так: что во мне есть что-то детское еще, это я знаю и глубоко берегу в себе, и сижу с боязнью, не исчезнет ли оно. Но, конечно, это перемешано и с высшей степени противоположным, — истинным старчеством. Только середины-то во мне и не хватает — здоровой мужественности. Не то бы я делал и не тем бы был, если б обладал этим мужеством.

Грот писал, что «восхитился» моей статьей о Вас: думаю, что местами вообще о славянофильстве, места же о Вас я положительно считаю слабыми. С замиранием жду Вашего мнения о ней. Там много и о Вашей психологии, много о статье «Поездка на Афон», коей я воспользовался для выяснения Вашей психики. Боюсь, не показалось бы Вам бессовестным мое залезание в чужую душу — но я иначе не умею писать; да, в сущности, это и интересует меня всего больше. Статью о себе Вы будете читать в 4-й книжке «Вопросов психологии». Что-то о ней скажете. Напишите умное письмо мне о своем впечатлении. Вы вообще очень кратки, но я и коротенькие Ваши письма читаю с жадностью.

Рад, что угадал Леонтьева: он в высшей степени меня заинтересовал личностью своею. Но я хотел бы только где-нибудь в собрании посмотреть на него, какое у него лицо; но вовсе не хотел бы с ним познакомиться. Мой идеал знакомого — Платон Ал. Кусков и его семья, и изредка, для бесед, человек, как Вы. В Ельце же я не имею никого.

Стахович — здесь очень важный барин, кажется, самый богатый в уезде помещик, и мне стеснительно к нему обратиться. «Вот еще привязывается», — подумает он. Я лучше подожду, а Вы уж удружите мне, пришлите из Спб., хоть и не торопясь. Удивляюсь: Стахович имеет «Сонатy», а Вы нет. Все у

Вас делается в Спб. как-то навыворот. Знаете, я долго был убежден, что Вы не можете ее мне прислать, а забыли о моей просьбе. Отчего Вы мне не написали, прочел ли Толстой «Место христианства», и если да, то понравилось ли оно ему хоть сколько-нибудь. Гроту я сообщил, что Вы готовите ему статью, и он пишет мне: «Весьма рад известию, что почтенный мой Н. Н. Страхов собирается прислать нам работу, да еще по столь интересному вопросу. Напишите ему, что он этим поддержит наше дело, как никто другой, ибо его имя старое, всем известное и всеми действительно образованными людьми глубоко уважаемое». Работайте же, думайте, как много людей, ценящих умственные труды, ждут каждой Вашей заметки.

Вам я не отвечал, п. ч. это время ездил в Белый, Смоленск. губ., к брату, и только сегодня вернулся и прочел Ваше письмо.

Ваш В. Розанов.

40

<август 1890 г.>

Многоуважаемый и дорогой

Николай Николаевич!

Получил Ваше письмо — и спасибо; спасибо и за «Крейцерову сонату». Дописываю я статью — точнее, критическую работу «Легенда о Великом Инквизиторе», разобрannую в связи с общей характеристикой и определением таланта Достоевского и на основании всех его сочинений. Разбор самой «Легенды» — очень детален. Над этим я работал все лето, и, к счастью, до сих пор еще сохраняю живость и интерес речи; не знаю, хватит ли до окончания, но оно уже недалеко. Дописываю последние свободные дни. Вы думаете, я ленив, а я вот встаю в 6½ утра и работаю до половины девятого, встаю после дневного сна в 4 часа, еще 2 часа работаю и вечером, возвращаясь домой перед самым сном, еще пишу. Трудятся ли у вас так в Спб.? Я все лето не имел свободных 1½ часов сряду; говорят, очень похудел, но сам чувствую себя ничего. Программы, Вы знаете, переменялись, директор наш, жалкий чиновничиска, ввел на уроках истории курьезное чтение греческих и латинских памятников, кое отнимает у меня все свободное время.

Дорогой Николай Николаевич: не сделаете ли мне милость, что и как нужно не исправите ли *сами* в «Трех фазисах» — убавьте силу выражения и пр. Я же изнемог от труда и забот и переделывать статью раз написанную, не зная как и что и куда гнуть, — мне слишком, слишком трудно. Это особенно трудно и потому еще, что все делать я буду не по убеждению, ибо в журн., как «Русск. Вестн.», нужно именно такие примиряющие статьи; не нужно друг от друга отплевываться, литература и без того уже достаточно расплевалась, друг друга не читают, а прямо считают подлецами и идиотами. Это невыносимо, для писателей тяжело, для читающих без конца вредно. Смотрите, что за читатели, наконец, становятся теперь: романы-то едва понимают, в «Тамаре Бен-Давид» трудные места пропускают. Простите, если письмо мое

очень бессвязно, я пишу его тотчас по прочтении Вашего — чтобы не откладывать. Мне было бы очень дорого, если бы «Три фазиса» были напечатаны в *сентябре*. Нельзя ли как-нибудь? Это — ввиду «Великого Инквизитора». Право, я уже пришлю Бергу крупную вещь. Ваш В. Розанов.

Пусть теперь уступит и поторопится. Да не переделает ли статью он сам, если Вам некогда? В случае совершенной уже невозможности пусть пришлет ее мне — я переделаю. Известите меня, когда будет печататься 3-я книга «Метафизики». В журнале «Вера и Разум» — воспользовались уже переводом и на основании его — двигают статью, с очень лестными отзывами, ссылками. Это хорошо. Автор и Аристотеля характеризует, и украл, разбавив, лучшие строки об Ар-е из Предисловия. Я от души смеялся и был рад. Пусть воруют, но только бы наша работа шла в дело. Какая бедная мысль, и почему она? Если к чему я никогда не питал ни интереса, ни любви — то это к историческому человечеству и какому бы то ни было его благу. Человечка, лицо — всегда любил, человечество, да и вообще всех, кого не знаю, — никогда.

Стыдно писать о себе, но думаю, бедный, что мой разбор «Легенды» будет одна из больших, серьезных и ценных работ у нас критических. Я ею доволен на всем протяжении. Именно — его я и считаю своим вступлением в литературу, раньше все было эпизодично, обрывки работ, а не цельная работа. Но ради Бога не отвлекайте меня, т. е. сами поправьте «Три фазиса»; я тоже непременно хочу, чтоб она была напечатана — там очень хорошо о Карамзине и о переживании нашим обществом разных духовных настроений, в связи с прежним внешним удивлением перед Европой. Перечтите или вспомните это место, оно должно Вам очень понравиться, для чего и протисните статью в журнал. Ну, простите, час ночи.

Ваш В. Розанов.

Еще раз извиняюсь за письмо и мелкий почерк, верно, утомительный для Ваших глаз.

41

<до 13 сентября 1890 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Я только что получил Ваше письмо: слава Богу, что все хорошо. А я, долго не получая от Вас письма, очень тревожился о впечатлении, какое произвела моя статья на Вас. Но — еще раз слава Богу — Вы отнеслись к ней и поняли так же, как и я Вас. Вот отношения, которые дают большое удовлетворение. Да, я Вас впервые начал читать курсе на 3 или на 4 Университета, — и с тех пор, т. е. лет 9, Вы были для меня самым привлекательным писателем и мыслителем, и хотя я, скорее, ленив читать — Ваши статьи я по нескольку раз перечитывал. Я и сам сознаю, что, произведя критику Вашего

духовного строя, — сделал большое и важное дело; у нас так редки общие оценки друг друга в литературе. И как написалась статья, удивительно: я уже начал писать о Достоевском и вдруг точно приспичило: я отложил в сторону бумаги о нем — и начал писать о Вас статью — окончив, опять продолжал о Достоевском. Я очень рад, что это сделал: что можешь написать — всегда должен написать.

Но главное, для чего пишу: так как Вам некогда, то пришлите мне назад «О трех фазисах» — я переделаю ее сам; теперь я кончил разбор «Легенды» и просматриваю ее, т. е. ко времени прихода моей статьи из Спб., успею окончить просмотр. Следов., буду свободен для переработки «Трех фазисов». Статьи Соловьева в «Р. Мысли» я не читал, но только читал отзыв о ней, хорошо написанный, Ю. Николаевым в «Моск. Вед.» (по-моему — он хороший критик).

Ю. Николаев хорошо говорит, что Соловьев борется не против Вас, а для нужного впечатления, для втоптанья в грязь славянофилов, дабы очистить поле своей идее — соединение церквей на условии нашего безличного слияния с католицизмом. Поэтому убедить его — Вам невозможно. Вы, так сказать, не совпадаете в целях полемики. Кажется, так, впрочем, повторяю, я сам статьи его не читал. Вы только не забудьте мне прислать оттиск своего ответа ему.

Ну, прощайте. И я Вас крепко целую и крепко жму руку, желая здоровья прежде всего.

Ваш В. Розанов.

42

<до 16 октября 1890 г.>

Многоуважаемый и дорогой

Николай Николаевич!

Я Вам не писал долго потому, что был нездоров. Ко мне приехал племянник Яким (доучивается в 7—8 классе гимназии, окончив 6 классов в Бельской прогимназии), пришлось менять квартиру, и простудился при перевозке. Но теперь мне лучше. Статью Бергу я стал переделывать, но — отложил ее до Рождества. Главное — болезнь задержала все, да и работать в учебное время я решительно не могу: мысли настолько рассеиваются уроками, что можно писать только худо. Напишите мне что-нибудь, как Ваше здоровье, пишете ли статью о времени, числе и мере и пространстве. Жду ее с нетерпением. Поклонитесь от меня Платону Александровичу — так совестно мне перед ним: до сих пор не собирусь ему написать. Но я слишком его помню, и не проходит недели, чтобы я себя не упрекал за леность. Пишет ли он продолжение в прозе книги «*Наша жизнь*»? Вы говорили как-то, что он так хорошо начал. Вот человек, удивительный по душе для нашего времени. Дай Бог ему всего хорошего. Не сетуйте на меня, что очень мало пишу — нездоровится. Напишите же мне, пожалуйста, не сердитесь ли за что на меня.

Ваш В. Розанов.

Вы писали когда-то: «Толстой прочтет Вашу статью обо мне со вниманием»: ну, что же, прочел ли, или понравилась она ему, или нет? Но как я счастлив, что *Вы* ее одобрили: а я, признаюсь, очень опасался, что вызову Ваше неудовольствие ею — очень я объективно ее писал. Вы все говорили, что я волнуюсь и увлекаюсь. А вот нет же: я в состоянии писать о самом близком человеке как-то так, как будто бы он был где-нибудь на луне. Когда я сажусь за письменный стол, мой мозг, точно гуща, какая выступает из-за того, чем я обычно живу, что я обычно есть, и говорят мысли или чувства самые душевные мои и самые глубокие, которые точно не знают моего внешнего человека (говоря старым слогом), и мой внешний человек, хотя знает об этом внутреннем, но вообще они живут каждый своею особою жизнью. Не знаю, удачно ли я выразился, но хотел сказать только, что, когда пишу, — удивительно как отвлекаюсь от всего текущего, временного, прихотливого и капризного, чем живу всегда. Что Вы ничего не напишете о «Крейцеровой сонате»? Справедливы ли обвинения, что она в высшей степени безнравственна? Принял бы «Русский Вестник» статью *в ее защиту*? И если да, отчего Вы не напишете? Вас никто не обвинит в безнравственности, и Вы могли бы помочь Толстому.

43

<до 15 ноября 1890 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Спасибо Вам за письмо Ваше, спасибо за доброе отношение к статье о Достоевском. Пишу Вам в большом беспокойстве, и его источник в моих личных делах. От тяжести души выскажу Вам его, а также и с надеждою, хотя и неверною, что Вы как человек, очень много видевший людей и очень разнообразных, скажете мне и слово опытного и проницательного человека.

Только сейчас узнал я вот что: доктор по нервным болезням, а также психиатр, по имени Россолимо (в Москве) сказал месяц тому назад женщине, о привязанности к которой я Вам писал год назад и которая ездила к нему в Москву посоветоваться о здоровье, сказал, не подвергая ее расспросам еще, но только долго смотревши на нее, что она находится под влиянием человека гораздо ее сильнейшего душою — очень развитого, что этот человек — душевнобольной, и если заблаговременно не примет мер — то должен будет сойти с ума, но что она, находящаяся под влиянием этого человека, может помешаться гораздо раньше, именно в год приблизительно. Это хранилось от меня в тайне и только сегодня я узнал всю истину. Она сказала ему, что любимый ею человек занимается литературой, с большой страстью.

Он сказал, что так как оставить это ему (т. е. мне) немислимо, то, по крайней мере, я должен на несколько месяцев прервать свои занятия, и начать заниматься, сколько можно меньше.

Здесь трое молодых докторов еще ранее то же говорили обо мне (все лично со мною знакомые) и находили меня тоже все ненормальным душевно.

Я Вам скажу, в чем я *сам* чувствую себя ненормальным: я совершенно, и уже лет от 16—17, не могу заняться или сколько-нибудь заинтересоваться непосредственно находящимся передо мною; от этого в гимназии я едва мог кончить курс, а в университете ни одной решительно лекции, как бы она для всех занимательна ни была, не прослушал внимательно от начала до конца: после первых слов впадал в задумчивость и уже ничего не слышал. Теперь лишь с усилием выслушиваю первые слова отвечающих учеников и затем погружаюсь в какое-то забытье. Отсюда ненормальность в моих поступках, манерах и пр.

Вы видели меня 2 недели и скажите искренно, правдиво — правда ли, что я ненормальный, правда ли, что могу влиять столь искажающим образом на близкого, душевно связанного человека? Болезни во мне нет, но *должен ли я лечиться?* Литературу я решительно оставляю на неизвестно какое время, — но что делать с этой вечной забывчивостью от окружающего, с вечно и бессознательно бегущими мыслями? Ради Бога не оставляйте меня словом Вашим, в котором я нуждаюсь.

Ваш В. Розанов.

44

<после 12 декабря 1890 г.>

Спасибо Вам, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, за письмо. Вы были, верно, очень заняты статьей о сохранении энергии и потому как-то забывали меня письмами. Буду ждать с нетерпением странствований инока Парфения, и уже решил их читать в сообществе с моими елецкими друзьями. Как Вы могли усомниться в том, что я прочту, и с величайшим интересом, Вашу статью о сохранении энергии?! Как-то я снова читал Ваши статьи о Толстом — и все думал, как мало я сказал о Вас в своей статье, как почти *все подробности* — опущены; а они-то и представляют главный интерес, на них-то и можно было бы остановить мысль читателя. Но у Вас так *разнородны* эти подробности, что, остановившись на одном, — осветишь лишь с одной стороны и можешь внушить читателю мысль, что она или главная, или, что еще хуже, одна только и есть. Я думаю, что моя статья не удовлетворит Вас, и в письмах к Вам до ее появления хотел Вас подготовить к этому неудовлетворению и оправдывания трудностью (что правда) — но, слава Богу, все вышло хорошо. Грот остался ею в высшей степени доволен. «Ваши статьи все читают, — писал он мне, — и все находят их свежими и оригинальными». Он ее читал еще в корректуре своему тестю Лавровскому и по его совету просил у меня разрешения переменить заглавие, на что я, конечно, согласился. Уже по выходе ее мне писал, что лучшего сотрудника по вопросам нашего умственного развития он и представить себе не может. Вообще он ко мне стал благоволить. Я, однако, по-прежнему считаю его

ребенком, который никогда не обещает быть особенно серьезным и умным, и его мнение может быть интересно лишь настолько, насколько он передает мнения других. Он сослужит отличную службу нашему обществу своим журналом, но это, так сказать, служба вне предначертаний: и столб, который подпирает крышу, служит ей и человеку, но, как сказал бы Аристотель, не знает, что служит.

Я ужасно рад, что мы совпали с Вами во взглядах на Леонтьева. Да и как не совпасть: кто же может понимать его иначе. Что же это за умница, так бы и поцеловал его в голову. Я рад, что он был красив, и ожидал, что он был волокита. Это видно по всему — по изяществу натуры, по презрению к ученым фрачишкам, по «позднего раскаянья порывам», кои чувствуются у него. Я даже думал, что он очень распушен, неудержимо увлекающ был в свое время, человек с слабым самообладанием. Когда я читал его «Византизм и славянство», мне ужасно хотелось написать о нем статью под названием «Эстетическое понимание истории» и, быть может, это я сделаю со временем.

Спасибо Вам глубокое, что отговорили Берга сокращать мою статью: «Легенда» при разборе приведена у меня в кусках почти вся, и я очень и очень долго думал о всем неудобстве этого: но она выражена с такой силою, сжатостью и страстью, что сокращенно передавать ее — значило бы *пересказывать* монолог, то есть отнимать у него всю силу, сделать для читателя непонятным даже, почему именно его комментируешь.

От П. А. Кускова я получил длинное и очень хорошее письмо, которое меня успокоило совершенно в том, что он меня помнит и по-прежнему расположен ко мне. Много там таких строк, которые похожи на него, как портрет, т. е. очень выражают его живую, нетерпеливую и правдивую природу. Много умного в мыслях о литературстве, — я вздохнул и согласился. Да, я думаю, есть нечто искалечивающее в литературном труде. И именно в том, почему мы самые дорогие наши мысли и чувства не храним в себе, а выносим наружу. Тут есть что-то нехорошее, нецеломудренное. После 2—3 дней радости, увидев свою статью напечатанною, я всегда испытываю какое-то грустное чувство, дурное, кающееся. Я отчетливо чувствую, что сделал что-то дурное, не в меру достоинства человека, унижающее и пачкающее душевную чистоту и высоту. Нет, литература никогда не может насытить человека.

Ваш В. Розанов. Пишите же мне.

45

<до 30 января 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Простите, что столько времени не писал Вам: меня тотчас после Вашей статьи заняла и статья Бекетова в № 6, «Вопросов ф. и пс-ии», тем более что в начале она однородна с Вашей по характеру. Статью Вашу прочел я с удо-

вольствием: она более подробно развивает Вашу мысль о том, что мы в предметах находим осуществленными те стороны, которые соответствуют прилагаемым к ним понятиям нашим. Из последней статьи это яснее, чем из соответствующей главы «Об основн. понят. физ. и психол.». Для меня и для большинства читателей также нова, занимательная мысль, что закон сохр. энергии есть лишь приложение известной с Гюйгенса теоремы, и также — что он последнее торжество механической жизни в физике. Важно это указание на окончательное разрешение физики в механику; важно и то, что даже физические предметы и явления этим еще вовсе не исчерпываются, но лишь познаются с одной определенной стороны. Мало только сказано в Вашей статье о переходе взаимном явления одного из другого (соотношение сил) и о том, что же мы можем думать об остальных и, очевидно, важнейших сторонах мира физического, кои механикой не захватываются. Вообще Ваша статья хороша тем, что помогает *разобраться* в своих мыслях: сказать себе — что именно познано и что непознано. Это ясно и убедительно.

Статья Бекетова *в общем* слаба мне показалась: какая-то смесь ребяческого со старческим. Он радуется истинам, которым, очевидно, радоваться нечего — так они малы и вульгарны; и еще у него нет фанатизма: кажется, его менее озадачил умник, хотевший христианство заменять полицией, чем Данилевский. Какие жалкие эти ученые 60-х годов, уже теперь старики (разумею — Фаминцына), как-то всего боятся и вместе ничего не боятся, много хочется, но и от всего готовы отказаться. «Вот природы-то и нет», — вспоминаются классические слова Лежнева; их время, должно быть, скоро, скоро пройдет. Даже удивительно, как они с такою, так сказать, гладкостью ума, его незацепистостью, могли все-таки делать открытия.

Как я и предвидел, скандал с Гротом разыгрался. Ю. Николаев в фельетоне за 14 или 13 января вскрыл его головную полость, и вся публика может созерцать, какой сумбур там лежит. Да, странная вещь литература, и страшно за тех, кто, выступая в нее, даже и не подозревает, что можно с ним сделать. Сколько опороченных репутаций (как г. Градовский, купленный жидами). Но и поделом: к такому чистому и святому делу какие же люди подходят! Удивительно: безграмотный полицейский почему не содрогается перед своею совестью, а писатель в этом именно (в советах со своею совестью) менее всего нуждается. Право, литература — это поприще самых незстетических, самых неблагоприятных нравственно людей и очень неумных. И она-то имеет всесветное влияние.

Отчего Вы мне так подолгу не пишете? Шперк, кончающий Спб-ский университет, очень умный и начитанный малый, кот. письменно познакомился со мною из-за «Места христианства», пишет, что в «Легенде» ужасно лишни все цитаты, что в целом статья **вымученная** (меня ужасно поразило), что он объясняет тем, что я **перечитал** Д-ского, пересидел над его изучением и мне как бы надоело об нем писать. Правда ли это? Как было бы грустно, если бы только начиная писать — я писал вымученные статьи. Больше всего в ней ему понравилось рассуждение о мистическом взаимодей-

ствии личности и об абсолютном значении человека. Я долго не мог вспомнить, что это такое и о чем речь, а потом припомнил, что это по поводу «Преступления и нак.», и также припомнил, что это я действительно писал с интересом к предмету. О Гоголе слова он очень ограничивает, но, признаюсь, у меня есть что-то (и ужасно давно) очень враждебное к Гоголю, как будто он что-то обидел, кого-то задел. Я лично не люблю Гоголя, хоть и восхищаюсь его художеством; но убежден, что он действительно художник-карикатурист. Он возвел карикатуру до художества, до искусства и сделал это так хорошо, что его приняли за великого мастера искусства, который творит жизнь из себя или ее воспроизводит, тогда как он только искажал все, к чему ни прикасался. Будьте добры, без объяснений напишите Ваш взгляд на Гоголя, а также о вымученности. Ваш

В. Розанов.

Когда Вы будете писать продолжение статьи о *мере, времени, числе и пространстве* — верно, уже по частям она у Вас готова?

46

4 февр. 91

Только что получил Ваше письмо, дорогой Николай Николаевич, и не могу выразить Вам, до чего ему обрадовался: не получая так долго ответа, я все думал о Вас, и даже часто ночью, и уже собирался Вам писать длинное письмо и, по обыкновению, сочинял его в уме: «Отсюда вижу, что вы начинаете разлюбливать меня», и хотел во что бы то ни стало поправить прежние отношения. И вдруг Ваше письмо все рассеивает; я вижу, что Вы меня по-прежнему уважаете и любите, и заботитесь, а только некогда писать. Но я, когда долго не получаю писем, всегда ужасно беспокоюсь и ищу, чем я мог огорчить или сделать неудовольствие тому или иному человеку. Теперь я буду покоен, и Вы не утруждайте себя — Ваши лета уже немалые и Вам не разрываться же на части с работою, замыслами, приемом людей и письмами. Но все-таки хоть 10—15 строк напишите мне, чтобы я знал, как Вы себя ко мне чувствуете.

Ф. Э. Шперк — один из умнейших, проницательнейших и искреннейших людей, коих я встречал. Я до того много (и постоянно) вижу поганого среди молодежи (умственно, нравственно, в смысле образования и любознательности), что всегда удивляюсь, читая его письма.

Вы очень ошиблись насчет моего впечатления от «*Закона сохранения*» — я не просто с интересом прочел ее, а с увлечением; вся беда, что, сидя за обедом, когда я читал, я не мог встать и писать письмо и от нетерпения стал перелистывать журнал и, попав на статью Бекетова, стал и ее читать, и письмо все откладывал и откладывал. На Грота не обращайтесь вниманием — он ничего не понимает в умственных вещах, хоть и думал *реформировать* ло-

гику. Экий ребенок! Хотел Вам я, прочитав о «Сохранении энергии», написать следующее: у Вас есть манера, сделав цитату, выражаться: «Итак, вот что говорит NN 1 о том-то», и дальше рассуждать. Для меня-то ясно, что Вы из множества литературы о предмете выбрали эти 16—20 строк потому, что нашли в них формулу занимавшей Вас мысли — но другие могут не понять это или не захотеть понять. Отыскав 119 стр., читая в которой слова: «И вот Ренан утверждает», я почти вскрикнул: «Какая неосторожность!» Напишите Вы «объясняет» — и уже все будет другое, а то в контексте, при чтении целой статьи имеет тот вид, что Вы исходите из чужих утверждений. В Ваших прежних книгах есть много таких неосторожностей, — именно, только не то слово поставлено, какое нужно для обозначения Вашего действительного отношения к предмету. Не все и не всегда Вас будут понимать так, как я.

Книга «Из истории нигилизма» очень важна в историческом отношении, и ею, наверно, будет пользоваться каждый хороший историк литературы, когда будет касаться литер. 60-х годов: у Вас есть необыкновенный дар цитат, и, беря Вашу книгу, историк литературы будет знать, что в ней уже указаны все центральные пункты и ему удобнее повторить Вас об них, нежели самому отыскивать эти пункты в необозримой литературе журналов. Я в особенности с интересом прочел у Вас об «Что делать»: роман этот я читал, когда был гимназистом, но после Ваших выдержек, где рассказывается, как NN гулял по бульвару, дожидаясь открытия немецкого или французского магазина и пр., и пр., впервые понял, какое жалкое, бездарное произведение нашего нигилизма. Равно Ваше замечание, что нигилисты потому счастливы, что для них не существуют обычные затруднения человеческого существования, — поразительно верно. В «Законе сохранения» меня всего более привлекает еще вот что: что Вы, литературный критик, в такое время так глубоко, с таким вниманием и, очевидно, много лет погружены в созерцание глубочайших и очень *детальных* вопросов физики. Это разнообразие интересов Ваших, в отношении к каждому из них как специалиста, меня всегда поражало и нравилось. Из самых выдержек Ваших ясно видно, как глубоко Вы занимались ими. Но я не сказал Вам этого ранее, только потому, что не тотчас по прочтении сел за письмо. Будьте добры, поклонитесь от меня Кускову; никому я не желал бы такого успеха, как ему.

Ваш В. Розанов.

Я написал в «Моск. Вед.» статью «Несколько слов о Гоголе», где подробнее вник в сущность его творчества и в психическое действие на душу человека — ввиду ответа Николаева. Если б Вы мне написали — угадал ли я? Там — сопоставление с Пушкиным. Мне казалось убедительным. Как не обратил Николаев внимания на указание на Фемистоклюса и Алкида — ведь это так ясно, и только почему-то незамечено было. Вот писал о Д-ом, а пришлось разбирать Гоголя. Очень, очень верю я, что разобрал внутренность Гоголя верно. «Вот, это сам Бог дал мне дар по читаемому разгадывать душу

пишущего» (Вы мне так писали и говорили), сказал я, посылая статью в «Московские Ведомости», и на разгадку Гоголя, такого великого и могущественного писателя — смотрел как на указание свыше. Но, в самом деле, как много таинственного и глубокого запутано в литературе и как вообще все это еще не разобрано.

47

<между 19 апреля и 5 мая 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Простите, что долго Вам не отвечал; а что долго от Вас не получал писем — на это чрезвычайно сетовал, — сетовал настолько, насколько может сетовать человек среднего возраста на человека Ваших лет: подумайте, ведь во всю эту зиму Вы прислали мне только *одно* письмо, в январе, а прежде писали каждый месяц и иногда по 2 письма. — Но не сердитесь и на сетование, ибо оно и вытечь могло только из хорошего чувства к Вам.

За Толстого ужасно рад, и т. к. Вы его любите, как самого себя, то поздравляю Вас.

Скажу Вам новость: от К. Н. Леонтьева, первой умницы нашего века, вдруг получаю письмо (1 страничка) и «Отец Климент Зедергольм» и «Анализ, стиль и веяние». Сегодня я ему написал ответ. Вы знаете, до чего я его люблю и поймете мою радость. Сколько изящества в его «Национальная политика как орудие всемирной революции».

Еще новость: я хочу жениться и перехожу на другое место из Ельца. Пока еще не приискал, куда перейти: все учителя, которым предлагал меняться местами, отказались. Не невероятно, что придется в конце концов прибегнуть к покровительству Вашему, Л. Майкова, А. Майкова и Георгиевского, дабы перевестись куда ни на есть.

Не забывайте меня; не думайте обо мне дурно; я все тот же добрый малый, вечно ропщущий на свою судьбу, вечно боящийся погибнуть и вечно смеющийся смехом Фальстафа, когда удалось избежать какой-нибудь опасности. Какая статья была по поводу моего мнения о Гоголе в «Южном Крае»? Правда, я назван ничего не понимающим дураком, но так хорошо, благородно, что можно обнять назвавшего; и говорю Вам это вовсе не шутя. Вообще по отношению к себе я очень *объективен*.

С неудачными хлопотами о переводе я до того обозлился, что хотел вовсе бросить учительство и содержать себя журналистикой. Говоруха-Отрок написал: «Заклинаю Вас не делать этого, Вы не вынесете необходимого труда»; спасибо ему за горячее участие. Но мне хотелось бы выслушать еще и Ваше мнение; Ведь живут же люди журналистикой? Отчего мне нельзя жить при легкости изложения мыслей и при «обилии их», а след., и тем, о котором Вы мне как-то писали.

Ради Бога, скажите Бергу: отчего же он не высылает и, по-видимому, не хочет выслать 25 оттисков «Легенды»: это странно, не имеет автору даже 1-го экземпляра своего труда. Вообще присмотритесь, не гневается ли он на меня? Вот еще пропасть! И за что на меня все так сердятся, когда я всех люблю и всем стараюсь угодить — решительно не понимаю.

Верно, и Л. Майков сердится за то, что так медленно подвигается перевод «Метафизики». Он прав, и я ужасно неблагоприятен: следовало нынче всю зиму заниматься ей, а я все пытался составить статью для «Вопросов» и, конечно, не успел. Кстати, не высказал ли он суждения о «Легенде»: мне чрезвычайно дорого было бы выслушать его мнение как «умного и тонкого человека». Ну, простите, желаю Вам всего хорошего и прежде всего доброго здоровья. Ваш

В. Розанов.

48

<начало мая 1891 г.>

Дорогой и добрый Николай Николаевич! Верно я чем-нибудь огорчил Вас, может быть, даже обидел и поэтому Вы не пишете мне так долго. Больно видеть мне, что Вы на меня сердитесь. Простите мне мои недостатки, насколько можете; верьте, у меня неиспорченное сердце; только очень неправильно я воспитался и развился.

Хочется мне Вам сказать одно дело, и тяготит оно меня, и мучительно сказать. Но в Вашем отношении к себе я видел как бы отца и потому скажу. Со мной случилось несчастье, случилось то, о чем я никогда не думал, чего не ожидал в жизни, и притом фатально или, по крайней мере, без всякого частного повода, хотя общая причина для случившегося и была, быть может. То, о чем я Вам писал прошлый год, что оно случилось с Леоновым, стариком надзирателем, случилось со мною. Во время обеда сегодня раздастся тихий звонок, я высылаю прислугу отпереть, она отпирает и говорит, что пришел какой-то господин с кокардой; я велю ей спросить фамилию, она говорит, что Михеев. Высылая через полицию паспорт жене, я познакомился в прошлом году с ним в полицейском управлении, он там служит, что-то пишет, где он сказал мне свою фамилию; у нас кончил курс его сын, еще другого он собирался отдать в гимназию, чем и объяснялось его желание познакомиться со мною. Сын его кончил у нас курс, и хорошо, а нынешний год поступил в 1-й класс маленький сын, прекрасный во всех отношениях мальчик, скромный и очень старательный. Я велел его пустить и, выйдя из-за обеда, позвал в соседнюю комнату, мой кабинет. Он очень извинялся, что потревожил меня, казался смущенным, но оправдывался, что забота о сыне заставила его это сделать. Да, он хорошо учится, успокоил я его, и если в чем не успевает, то это единичные случаи, не имеющие общего значения. Но он очень запутанно начал объяснять мне, что вот он был несколько дней болен и он не знает, какие у него баллы, и он как к классному наставнику пришел ко мне справиться; я сказал, что за время, когда он был болен, у него и нет, конечно, баллов, а какие он получил, придя в гимназию, — ему выставлены

в дневник, и он всегда может их видеть сам; но что тревожного, дурного ничего нет, а если бы было, гимназия уведомила бы его, отца, об этом, и он был бы вызван. Все это говорю ему, несколько досадуя на то, что он пришел так не вовремя и совершенно по пустому делу. А с тем вместе чувствую, так как стоял к нему очень близко, что он несколько выпивши, и все говорит одно и то же, не кончает. Я потому, говорит, осмелился беспокоить Вас, что вот он и сегодня получил дурной балл. По какому предмету? По вашему, из географии. Да, он получил 2+; и это первая двойка у него, а там стоит 4, в предыдущий урок поставленная. Я потому, говорит, и пришел, что лучше заранее принять меры, что вообще не мог не озаботиться, в чем именно и по каким причинам не успевает. Да никаких причин, говорю я, нет, я спрашивал его только сегодняшней урок (реки Европы, до Волги), и он приготовил его не так внимательно; просто он понадеялся, верно, что я его не спрошу и приготовил урок слабее, кой-чего не знал, а я, чтобы предупредить повторение этого, показать, что к каждому уроку нужно готовиться тщательно, и поставил ему 2+ (правда, можно было и 3- поставить). Но он все продолжает говорить, собственно все о своей родительской заботливости, о том, что ко мне как классному наставнику ему ближе всего было обратиться, и пр. И вижу я, по складу речи, что ему просто как выпившему слегка человеку все хочется еще говорить и говорить, и думая, что мои ответы только поддерживают в нем речистость, представляют, так сказать, новые зацепки, я перестал говорить и опустил голову, дожидаясь, пока он простится и уйдет. Стоял я так минуты 1½ или 2 и вдруг почувствовал удар кулаком, от которого почти упал на диван. Я даже думал, что это не он ударил, до того было неожиданно, а потом подумал, что с ним случилось что-нибудь вроде припадка: но он повернулся и стал выходить. Чувство обиды одно было сильно во мне, и обиды от человека, к которому, кроме некоторого слабого даже расположения, я ничего не чувствовал (ибо оба сына его — хорошие). Я вышел за ним в переднюю, он надевал свою старую шубу. Удивительно, что злобы или чего подобного во мне не было; мне только хотелось, чтобы он почувствовал, как дурно, жестоко он поступил со мною. И это я ему говорил, кажется: «Бог Вас простит. За то, что Вы сделали это мне»; он же отвечал: «Быть может, я и погибну, но вот же Вам за детей наших». Он вообще имеет вид скромного очень человека, недурного отнюдь. Затем он ушел. Я стал ходить по комнате. Буду писать Вам всю правду. Хожу по комнате и думаю: почему же я ничего особенного не чувствую; удар по лицу — ведь это позор, только лакеи это переносят, люди умирают от этого, убивают или убиваются, и что мне делать? Но решительно ничего особенного я не чувствовал, и мною овладела мысль, что я подлый человек, весь изжилась в одну мысль, в свою философию, и не осталось во мне обыкновенных чувств гордости и стыда. Все продолжая думать это, сел я обедать и только ел меньше обыкновенного. Потом лег спать и не заснул (но был же момент, когда даже задремал); думал: перевестись в другую гимназию, но здесь живет любимая мною женщина, которая не может оставить свою старуху-мать; оставить совсем

учительскую службу — к которой я, очевидно, не годен, — но просуществую ли одним литературным трудом? Так думал я, было мне горько. Прислуга подала самовар. И вот между вторым и третьим стаканом я пишу Вам это письмо. Добрый, дорогой Николай Николаевич, забудьте на час все свои дела, все думы и напишите мне, что я должен делать. Вообще будьте для меня отцом на эти минуты. Целую Вас и обнимаю крепко, крепко. В. Розанов.

Не оставляйте меня, умоляю Вас.

49

<середина мая 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич! Вы очень беспокоитесь обо мне, и я давно уже собирался Вам написать, как поступил в деле, о котором говорил в предыдущем письме, но за недосугом все откладывал. В тот же вечер я написал этому господину письмо, в котором сказал ему, что по своему грубому воспитанию и грубой должности (он служит в полиции) он и умрет, никогда не поняв, что именно он сделал; вообще я был очень расстроен, сильно, гораздо сильнее, чем когда писал Вам письмо, и безвыходность и низкость моего положения (оно исключительно состоит в том, что живу среди людей, которые и мысли не допускают, чтобы кто-нибудь не походил на них и, следовательно, мог бы поступать иначе, нежели они и пр.) вызвала во мне очень страшное настроение души, которое и характеризовать Вам не могу, потому только что к этому господину я вдруг почувствовал величайшую какую-то жалость, и не к нему почти лично (он индивидуально противен мне), а как к кому-то далекому, который вот пришел ко мне и, воспользовавшись тем, что я ласково его принял, в минуту, когда я не видел его, т. е. трусливо и подло, ударил меня, и так как я ничего не сделал ему, и не буду делать, то как же он останется? Сказал также, что не буду ему мстить и даже от Бога ему не хочу наказания, но если ему случится когда-нибудь быть в трудном и униженном положении, пусть он вспомнит о своем поступке и тогда, быть может, только поймет его цену. На другой день часов в 7 утра получаю письмо — от него же, где он говорит, что готов понести кару наказания, но пусть его вина не падает на его сына, который ни в чем не повинен, и признается вместе, что сделал свой поступок не только без всякой причины, но и без повода. Так как я был уже в страшном настроении духа, то письмо это тронуло меня, и я, приписав к своему вчерашнему письму несколько строк, где выразил удивление этому его взгляду на меня, как на зверя какого-то (это все услуга милых гимназистов, к которым я *просто отношусь очень требовательно*, и больше решительно ничего нет), — послал ему это письмо с сыном. Несколько дней я потом чувствовал себя очень тяжело; точно свет такой померк в моей душе. Рассказал через неделю все своей невесте (буду ее звать так, потому что я ищу развода и, рассказав все ее матери, встал в отношения к их семье очень близкие). Эти две женщины нашли в своем сердце столько твердости и нежности, что успокоили меня.

Успокоило меня и вчерашнее письмо этого господина, который решительно утверждает, что ничего, кроме хорошего, от меня не видел, и, все строго обдумав, я действительно вижу, что решительно ни чем не вызвал его поступка; быть нестрогим с гимназистами я не могу, п. ч. трудно представить себе, какая это куча умственной шалоспособности, фатовства и лени и совершенной нравственной неразвитости; снисхождение при всей доброй воле даже в голову не приходит, раз видишь их перед собою. Прочие учителя в большинстве относятся к ним и к своему предмету индифферентно, и потому-то на меня, строгого не по главному предмету, обрушивается их ненависть; но я выдерживаю ее довольно спокойно и даже не делаю ничего, чтобы ее рассеять, и только строгостью классной дисциплины не допускаю ее ни до малейшего выражения. Не знаю, так ли я поступаю. Последние дни я даже не вспоминаю почти о случившемся, чувствую так, как будто этого никогда и не было, точно я рассказ об этом только слышал. Разные теоретические интересы, которые, так совершенно поглотив меня, сделали невнимательным к окружающему и, испортив мои отношения к нему, вызывают для меня неприятность — они же спасают и поддерживают меня, как в настоящее время, точно заволакивая *от меня облаком* действительность. Прошное воскресенье я начал крошечную статейку «Как выражается красота в природе», где вношу маленькую поправку к статье Вл. Соловьева «Красота в природе»; еще один день пописать, и она будет кончена; тогда пришлю ее Вам, и, будьте добры, пристройте ее в мартовскую или апрельскую книжку «Русского Вестника»: не более одного листа. При сем посылаю Вам 4 экз. своей речи и прошение в Ученый комитет М. Н. Пр. — об одобрении для библиотек, мне особенно хотелось бы — *ученических*. Из письма Вашего, где Вы писали о своем докладе в комитете о моей книге, я понял, что доклады печатаются в «Ж. М. Н. Пр.» только тогда, когда одобрения не воспоследует; поэтому надеюсь, что речь будет одобрена, и все-таки желая, чтобы о ней появился отзыв в «Ж. М. Н. Пр.», я прошу Вас: 1) один экземпляр ее передать в редакцию для разбора и 2) один экземпляр передать в ред. «Нового Времени» тоже для разбора. Простите, что я Вас беспокою этими просьбами и в Ваши годы. Мне очень трудно видеть, что книга «О понимании» почти не покупается (нынешний год во всех магазинах продано 13 экземпляров, и со времени ее выхода, т. е. больше уже 4-х лет, — 90 экз.), и я делаю и буду делать все усилия, чтобы заставить ее быстрее расходиться, вообще добиться для нее успеха. Я люблю ее, как любят своего первого и главного ребенка, и естественно должен и хочу о нем заботиться. И речь издал я отдельною брошюрою с целью, познакомив с собою, — обратить внимание и на книгу «О понимании», перечень глав которой тут же опубликовал. Думаю в «Вопросы философии» послать объявление о «Месте» и также о ней. Не считайте меня суетным за это: если бы я хотел успеха своей красоте или даже уму — это нехорошо было бы; но я желаю, чтобы были признаны мысли, которые я считаю объективно истинными, от которых я как бы отделился уже душою, и, право, не вижу и не понимаю, где тут дурное. Ну, простите

меня; спасибо и за хлопоты о «Метафизике» и поблагодарите от меня Л. Майкова, когда увидите его.

Я очень часто, лежа в постели, вспоминаю Платона Александровича Кускова и все тревожусь его отношением к себе. Очевидно, он чем-то недоволен во мне, и мне это очень горько. Не говорите ему ничего, сообщу Вам по секрету мысль, к которой я, наконец, пришел (ибо целую зиму терялся в догадках): ему, верно, обидно, что я был так неделикатен, воспользовавшись его гостеприимством, никогда не пошлю ему привета и поздравления с Рождеством, или новым годом, или днем ангела, ему и жене его. Но я только здесь узнал в семье своей невесты, что в добрых русских семьях есть этот обычай — на большие праздники, на день ангела — писать всем родным и близким друзьям. Мне этот обычай нравится, и я его уважаю; но я только недавно узнал об его существовании, сам же, выросши без отца и матери, — даже не о всех братьях знаю, когда их день ангела, хотя люблю их и пишу им, но в другое время. Как-нибудь в разговоре с ним узнайте, чем он недоволен мною, и я все исправлю. Никогда его не забуду, вечно буду ценить его высокое и чистое сердце. Ваш В. Розанов.

Хочется мне очень, кроме Ученого комитета М. Н. Пр., послать для одобрения и в Ученый комитет при Св. Синоде, но вот беда, не знаю формы прошения, — думаю, это должно быть что-нибудь очень утонченное и, так сказать, благоговейное по святости учреждения, вовсе, впрочем, не святого, кажется. Может быть, Вы случайно знаете эту форму, и тогда не будете ли добры, не сообщите ли ее мне? Чтобы не забыть и Вы знали, куда девать посылаемые Вам экземпляры «Места», напишу еще раз: кроме посылаемого Вам — 2 в Ученый комитет, 1 в ред. «Ж. М. Н. Пр.» и 1 в ред. «Нов. Вр.»; если Вам неудобно будет передавать, сообщите мне, и я пошлю отсюда. Ну, простите же меня за эти просьбы и не забывайте меня.

Кстати, уже расписался о литературных делах: я почти все издание «Места» сдал на комиссию в магаз. «Нового Времени». Вы так ли же поступаете? Тут хлопот и скучной переписки мало, но не худо ли это для распространения книги? Не лучше ли в очень многие магазины сдавать?

50

<18 мая 1891 г.>

Спасибо, дорогой, милый Николай Николаевич, целую Вас крепко, крепко и никогда не забуду доброго дела, и Майкову с благодарностью жму руку. Вот в чем мое дело: я уже 2 года хлопочу о разводе, и все попытки были напрасны. Жена взяла вид от губернатора и живет преспокойно в Нижнем, время от времени транжиря деньги за границей летом. Большого бесчеловечия, чем ее отношение ко мне, я никогда не видал. Женщина, о которой я

Вам писал, что люблю ее, никогда не желала ни ее смерти и ничего дурного. У нее есть мать, с которой она живет, не разлучаясь, 28 лет, и большой круг родных в Ельце. Всем нам было очень трудно. «Эдакого страдания я никогда не переживала, как теперь, глядя на Вас», — говорила мне часто ее мать; семья очень религиозная, и о каком-нибудь сближении вне брака не могло быть и речи. Только раз мать сказала мне: «Если уж Вы не можете больше переносить разлуки, уезжайте отсюда, но я больше никогда ее не увижу, и пусть она не приходит и на могилу мою». Так мы жили. Нынешний год, всего недели 4 назад, один священник предлагает меру. 7 мая (буду звать невеста) призналась на исповеди своему духовному отцу: «Что ей избирать — желать ли смерти (в душе) жене моей, чего она никогда не желала; начать жить со мной и обманывать мать или согласиться на меру, предложенную священником?» Духовный отец этот — старик лет 70, очень уважаемый в Ельце, у которого исповедуются все священники города, сказал ей: «Изберите последнее — это меньший из 3-х грехов» (он знает всю ее семью более 40 лет и мою невесту нянчил ребенком). Она передала матери. Та дня 4 думала и даже слегла в постель. Сказали и всему кругу родных, и все признали, что это — единственный исход; но после него нужно *тотчас уехать из Ельца* (и это сказал на исповеди моей невесте священник). Вы не можете представить, до чего мы все воскресли; наскоро стали все готовиться; мать ее шила мне белье: «До чего светло у меня на душе, до чего радостно — я и не запомню, когда так было», — говорила мне старуха-мать. Из разговоров с ней я увидел, что в 1-й же год нашей жизни мать ее переедет к нам жить, и успокоил невесту, которая все сокрушалась, что должна оставить мать. Все мы были без конца счастливы, жили такими надеждами, в таком уповании на Бога, что и сказать нельзя. Вдруг эта остановка за переводом. Все опечалилось у нас, и мать невесты ходит как убитая — потому что *без перевода все неисполнимо становится*.

Да, если Бог поможет Вам и Майкову выхлопотать мне перевод — Вы сделаете мне добро на целую жизнь, успокоите и просветите мою душу высшим счастьем. Еще раз целую Вас и благодарю.

Книг Шелгунова и Скабичевского не видал. Неужели там может быть что-нибудь интересное, и тогда — зачем их читать. Они мне ужасно антипатичны и по уму, и по всему складу их духа; какие-то неумытые точно.

Ваш В. Розанов.

Еще раз перечел Ваше письмо: верно, мои письма, опять беспорядочные, должны Вас раздражать и беспокоить. Но Леонтьева я все-таки понимаю: я разделяю его главную мысль, что упрощение и смешение разнородного есть разложение, а усложнение и выделение особенного есть развитие. Ведь все остальное у него вытекает из этой мысли; она проста, и странно, что никому не приходила в голову, а при ней совершенно изменяется взгляд на все дела Европы.

<после 21 мая 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич! Не подумайте, что я обратился к Вам и Майкову со своею просьбою, так сказать, не обдумав дела, только надеясь на Вашу силу: но мне написал директор Тверской гимназии, Овсянников, к которому я обращался за советом о способе перевода из Округа в Округ: «Вам следует поехать в Петербург и просить лично министра: переводы из Округа в Округ всего легче делать через департамент М. Н. Пр., и Аничков устроит Вам это дело без всякого труда». Из этих слов я заключил, что при Департаменте *имеются сведения о свободных местах вообще в Империи*; и, следовательно, обращение туда с прошением может вызвать перевод и без предварительного соглашения с каким-либо учителем, просто потому, что за смертью или отставкою какого-либо учителя есть вакантное место. Я и рассчитываю: нельзя ли из Департамента получить сведение о вакантных местах в трех округах — Киевском, Харьковском и Казанском в гимназии, прогимназии (VI-классной или даже IV-кл.) или в реальном училище, и в случае имени таковой вакансии — тотчас мне на имя г. министра подать просьбу о переводе — и дело устроено.

На случай отсутствия таковой вакансии я послал и посылаю сегодня запрос учителям 23-х гимназий и прогимназий, не согласятся ли они поменяться со мною местом службы; в места посылаю все приблизительно худшие, чем мое. О результате немедленно Вас уведомя.

Простите, что при Ваших летах и Вашей занятости я беспокою Вас служебными хлопотами, от которых, верно, Вы отвыкли, и не примите это за *злоупотребление* Вашей добротой. Но мне всегда казалось, что Вы ко мне расположены, хорошо поняли меня и почему-то жалеете даже при проявлении болезненных черт в складе моего характера. Следовательно, почему-либо Вы желаете сохранения во мне энергии (как и я от всей души желаю этого в Вас). Но право же, жизнь до того измучила меня, что подчас невыносимо. Быть может, я не был бы такой нервный, если б не несчастная семейная жизнь и не шлянье по таким захолустьям Империи, где не с кем живого слова сказать, где можно любить и быть любимым, уважать и быть уважаемым, — но вовсе не за главное, чем живешь. В Брянске я 5 лет молчал о том, о чем ежедневно думал; это трудно.

Согласно инструкции тверского директора, я пришлю Вам (за неимением возможности лично ехать в Спб. и просить министра) прошение на его имя; дабы, если есть удобная вакансия, немедленно захватить ее, не развывая рта и не смотря по сторонам. Ваш преданный В. Розанов.

Только что получил и прочел Ваше письмо и вижу, как я был легкомыслен и как много Вы имеете причин для недовольства мною. Простите меня великодушно. Еще больше боюсь, что в Вас вызовет недовольствие мое вчерашнее просительное письмо к Вам. Как бы хотел я многое уметь делать, но не умею — не по нежеланию трудиться, но по неспособности.

Нет, переходить на литературное поприще — это очень страшно: а что, если болезнь? что если истощение литературных сил? *Да и разве можно хорошо писать с чувством страха*, что вот не напишется и ты, или еще хуже семья твоя, останется без теплого платья к зиме или нечем будет заплатить за квартиру. Вы все думаете, что я расточителен; но нет же, и в течение одного года я сумел скопить 1000 руб.; прежде я, правда, как-то не заботился о деньгах, но по мере того как перехожу далее и далее за средний возраст — делаюсь расчетливее.

Прощайте, будьте здоровы и не очень сетуйте на меня, когда я это заслуживаю. Если Вам трудно говорить с Майковым обо мне, *сообщив его адрес*, верните письмо мое к нему — я потерял его адрес и потому только письмо к нему послал Вам. О Леонтьеве Вы написали правду, и мне этого не приходило в голову: я считал его никогда не ошибающимся. Но у меня нет этого равновесия духа, которое дает возможность видеть ошибки, особенно мелкие.

52

<после 21 мая 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Одновременно с письмом этим я посылаю письмо на имя Аполлона Николаевича Майкова, из которого Вы узнаете все. Заклеив его, прошу Вас передать его ему, и как человека гораздо более чем он знающего меня, прошу Вас походатайствовать перед ним за меня. Если б мой перевод удался, как много это значило бы для меня! Я, правда, надеюсь окончательно устроить свою жизнь, но только это будет зависеть от того, буду ли я иметь возможность оставить нынешнее лето Елец. Когда-нибудь более подробно я объясню Вам, в чем дело. В Москве я был на Святой неделе, но достать перевод в пределах Московского округа мне не удалось — за совершенным будто бы отсутствием мест; но как я, наверное, знаю из ответа мне 2-х учителей (серпуховского и трице-сергиевского), в Округе скрывают одно место — в Калужской гимназии (его предлагали серпуховскому учителю Джамиеву, по его словам), — верно, рассчитывая его предоставить более избранному человеку. Бог с ними. Во всяком случае, в 3-х округах, Казанском, Харьковском и Киевском, невероятно, чтобы не было хотя какого-нибудь места учителя истории и географии, в гимназии, в прогимназии или в реальном училище. Все как-то переводятся, устраиваются как лучше и живут, устроившись. До сих пор я жил, куда меня бросит судьба, то в совершенно захолустном Брянске, то, как теперь, в Ельце. Я устал, мне 37 лет, и что я за несчастный, что, в то время как все живут как лучше, я всегда жил только, как другие хотят: уже не мальчик я, а все живу, право, как мальчик.

От перевода зависит устройство моей семейной жизни. *Очень далеко* от Ельца я не могу жить потому, что в Ельце останется мать моей жены, у которой здесь свой небольшой деревянный дом, в котором она родилась, прожила 62 года и круг родных, с которыми она сжилась. С другой стороны, оста-

ваясь в Ельце, — я все останусь в бессемейном положении, которое утрудит меня, наконец, до того, что в пору в петлю лезть. Жизнь проходит, и неужели, уже далеко переступив за средний возраст, я не добьюсь условий жизни, доступных для всякого сапожника. Разве многого я прошу, и разве не вправе я буду роптать, когда даже простого, грубого человеческого существования мне не удастся устроить? Вы говорите о моей болезненности, о неровности характера, советуете самообладание: но подумайте, спросите себя, углубясь в свое сердце, разве беспричинно это, разве непременно и только я сам лично дурен и виноват?

«Заклинаю Вас, не делайте этого, не выдавшись со мной и не посоветовавшись с Н. Н. Страховым», — писал мне Говоруха-Отрок в ответ на письмо мое, которое я оставил у него в №, где не застал его в бытность мою в Москве и, передав все свои грустные мысли после бесплодных хлопот о переводе в канцелярии Округа, — писал ему о желании своем оставить службу — перейти на исключительно журнальное поприще. У меня была мысль — предложить свои услуги Ланину или кому вроде его («Русский курьер»), т. е. самой плохой газете, и начать там писать или литературные фельетоны, как Говоруха-Отрок, или даже передовые статьи; что же, я могу воодушевиться, а следя за текущими событиями по газетам, могу и войти в круг ежедневных вопросов. Не знаю, все так смутно в моей душе: жизнь Говорухи-От. мне ужасно не понравилась: громадная комната, заваленная газетными листами, №№ журналов и всем этим товаром скоропечатного станка, который чем дальше — все больше болезненное впечатление на меня производит. Не люблю я этого: жена его уехала куда-то в Харьков, но, когда она и в Москве, живет в совершенно отделенном № гостиницы, двумя или 3-мя этажами ниже, чтобы не мешать мужу сочинять хорошие статьи. Все это — что-то болезненное, неправильное, уродливое, и я, верно, после какого-нибудь прекрасного фельетона, коего жадно «ожидала бы публика», с ненавистью к этой публике удавился бы. Быть может, потому, что сам я несколько неправилен, у меня есть не только желание, но какая-то ненасытная, мучительная жажда нормы, правильности, естественности; тоска по путях Божиих, по жизни по-Божьи.

Рассказали бы Вы про все это Майкову, поговорили с ним *по душе* обо мне; не могу я не верить, что такие два сильные человека, как Майков и Вы, стоящие в центре министерства, близкие к Георгиевскому, к *очень добрану* Делянову, не могли сделать такой простой вещи, как выхлопотать перевод учителю из одного уездного города в другой. — Наконец, вспомните (хоть мне и больно припоминать об этом) унижение, которое привелось здесь вынести и после которого я вправе был бы оставить службу здесь, прямо потребовать перевода своего в другой город; я тогда не сделал этого, но ведь обида все так же больна, этого нельзя забыть — и только другой город, другие люди могут заставить меня забыть бывшее. Вот о чем приходится говорить, чего приходится просить. Ваш

В. Розанов.

<24.V. 1891 г.>

Дорогой Николай Николаевич! Спасибо Вам и Майкову за Ваше горячее участие. Бог бы дал — устроился бы я и до конца жизни, верно, уже не искал бы перемен — перемены и вообще подвижность жизни *до последней степени утамили мою душу*: хочется чего-нибудь прочного, окончательного.

1. Жалованья я получаю 140 в месяц и., след., в год 1680 (ибо сверх 24 уроков имею: 1) *классное наставничество, дающее в год 120 р.*, — его не непременно получит мой заместитель; 2) и далее, из 24 уроков *12 штатных* оплачиваются *900 руб.* в год; но этот оклад за 12 уроков получается лишь после выслуги 5 лет в одном заведении, каком-нибудь и когда-нибудь; обыкновенная же плата за 12 ур. *для новичков* из Университета есть 750 руб., если мой заместитель уже ранее выслужил 900 руб. оклад, то он его у нас будет получать. След., мой заместитель *минимум* будет получать *1680-(120+150)=1410 руб.*, т. е. очень хороший оклад.

2. Но главное затруднение в обмене местами заключается в том: примет ли Московский округ к себе на службу неизвестного человека? Конечно, все требования от учителей истории по Империи одинаковы, но Московский округ претендует быть лучшим в Империи: я уже веду переписку с начальником канцелярии московского попечителя, и вместе племянником этого попечителя, Высотским: вот его слова (о моем предложении учителям меняться местами):

«Принятая Вами мера может облегчить дело Вашего перевода, если желание поменяться с Вами местом выразит учитель какого-нибудь из учебных заведений *нашего учебного округа*, т. е. лицо, о котором начальство округа имеет известное определенное мнение. Но какой будет толк, если на Ваше место пожелает перейти учитель Алатырской прогимназии, Сумского реального училища и т. под. Чужого, неведомого нам человека мы в Елецкую гимназию не пустим, а учителя других округов по большей части нам неизвестны».

3. Есть обычный способ сделать неизвестное себе — известным: это — послав запрос к начальству того округа, откуда учитель хочет поступить на данное место, и рекомендация Округа вообще есть достаточное ручательство. Так всегда и везде делается, и слова Высотского есть лишь излишнее ломанье человека, который знает, что никто ему в этом не поставит предела.

4. До сих пор я получил согласие лишь от учителя *Царицынской гимназии*, Соловьева (Казанского округа), который после 8 июня будет видеться со мною; он поедет через Елец в Москву. Но ввиду слов Высотского все и относительно Царицына становится как-то сомнительным. Другие же учителя все отказываются, то потому что они у себя получают высший оклад (1250 р. за 12 нормальных уроков), то по другим разным причинам. Но я получил еще не все ответы.

5. Есть какой-то способ перемещаться из округа в округ, ибо от учителя Тамбовской гимназии г. Колумбова (Харьковский округ) я уже получил

письмо из Саратова, т. е. из места гораздо лучшего и другого округа (Казанского).

6. Я нахожусь в нерешительности: не послать ли мне просто прошения на имя попечителей округов Киевского, Харьковского и Казанского с просьбой о месте. Быть может, в одном из этих округов есть или открывається летом просто *свободное место* и меня как учителя уже опытного охотнее возьмут, нежели новичка? Но это, я думаю, удобнее всего сделать уже после того, как Вы спросите о месте у киевского попечителя, хотя и тогда, в случае Вашего спроса, вероятно, дело делается через подачу прошения и через дарование ему хода?

7. Нет ли у вас способов повлиять на московского попечителя в деле побуждения его к согласию на прием учителя из другого округа взамен меня?

8. Я получил сперва согласие и потом тотчас отказ еще от учителя Егорьевской прогимназии (в городе 6000 жителей, раскольничьих толков); но там нет ни гимназии, ни прогимназии женской, а у меня с устройством моего положения будет приемная дочь, кою я в течение этих 2-х лет приготовил в I кл. гимназии, и ее время отдавать. Т. е. в крошечный городок, где женской гимназии нет, мне переходить нельзя. В Белгороде, однако, конечно, есть женская гимназия; впрочем, оттуда я уже получил отказ.

Относительно Леонтьева Вы, конечно, правы, говоря о недостатке у него идей; и определение развития и разложения просто и очевидно; но, знаете, как его понимаю; он как будто из общеизвестных аксиом (органические категории) построил теорему — такую, которая охватывает и до того объясняет историческую жизнь в особенности нового времени. Вот почему чтение его книг так убедительно действует, такую новизною поражает и кажется так необъятно важным. Про себя могу сказать, что мои антипатии к многому в текущей жизни стали рациональны, научно обоснованны именно после чтения его книг. Поразительно и замечание Ваше о некоторой *развращенности* его вкусов: это я почувствовал и при чтении его «Анализа, стиля и веяния»: это развращенность пресыщенного человека, некоторый цинизм в мысли и в чувстве; но и опять — это выражено с такою твердостью языка, с такой бесстыдной нескрываемостью, что поражает и — притягивает. Притягивает мужеством своим, равнодушием к суду читателя (я таких писателей люблю, они как-то покоряют себе). И все в целом своем делает его неувлимо прелестным в чтении. Прибавьте, что он повсюду развивает (скорее, повторяет *в применении* к различному) только одну мысль — о падении европейской цивилизации и о необходимости для нас новой, чтобы понять, как ничем не рассеиваемый читатель все более и более проникается его воззрениями.

Я рад, что Вы в шутку сказали о Скабическом и Шелгунове, и ожидал этого. Да, есть у нас и такие писатели. Достоевск. сказал: «Красота спасет мир». Да, если человек не потеряет *вкуса красоты*, ее ощущения. Напротив, тогда мир погибнет. Я часто об этом думаю. Есть красота в нравственном, в религиозном, в умном; но когда теряется ощущение красоты — начинает

отовсюду и беззастенчиво выползает глупое, подлое, кощунственно-нахальное. Вы как-то говорили о причинах, вызвавших быстрое утверждение в Европе дарвинизма и легкую победу идей Бюхнера и Молешотта (1 и 2-й т. «Борьбы», изд. 1-е): именно потеря вкуса к умному и изящному была общею причиною упадка в Европе всего благородного и умного и господства всякого рода ограниченности и пошлости. И с этим бороться нельзя, как с афазией или другим дефектом.

Ну, простите. Весь Ваш *В. Розанов*.

24 мая 1891 года.

Как все-таки интересно, ну хоть бы ввиду «наших собраний сочинений» Шелгунова и Скабичевского, следить за окончательным вырождением западничества и либерализма. Он просто становится глупостью, банальностью, — и разве этим может быть жива жизнь и двигаться история? Он иссяк, как мелкий ручей, сам собою, — без какого-либо вычерпывания извне, без всякого заглужения. *Вох* в «Моск. Вед.» прекрасно обнаруживает это.

54

Дорогой и уважаемый Николай Николаевич! Мне так стыдно обременять Вас просьбами, но близкая очень семья попросила меня спросить Вашего мнения в трудном своем шаге: здесь окончила курс гимназии моя двоюродная сестра и желает продолжать учение где-нибудь на высших курсах. Она очень религиозная девушка и из очень нравственной и религиозной семьи. Готовясь ее отпустить на высшие курсы в Спб., отец, однако, хотел бы слышать отзыв от очень компетентного человека об этих курсах. Мне показалось, что Вы знакомы и, быть может, близки к проф. Бестужеву-Рюмину, основателю Спб-ских курсов. Теперь все это дело правительство взяло в свои руки, но, быть может, в разговорах с Бестужевым-Рюминым Вам приходилось слышать о том, каков характер этих курсов теперь, какова строгость надзора, нравственный состав слушательниц и пр. Вообще, сообщите мне что-нибудь новое по главному делу, достаточно, если Вы напишете: «О курсах я слышал, что они поставлены хорошо и строго», или наоборот — «слабо и дурно», или, наконец, что Вы «не можете о них сказать ничего определенного».

Мое дело, слава Богу, устроилось окончательно: я — как все люди и снова вступил на «пути Божии», как я называю всякую нормальную жизнь. Вы писали, что я никогда не перестану жаловаться: это будет ужасное малодушие с моей стороны и требовательность. И в самом деле, чего еще мне не достает: достаточное обеспечение служебное, недурное здоровье, способность проводить (через печать) в общество мысли благотворные и, наконец, семья меня окружает из людей уважаемых. Поистине это Бог меня наградил

за то, что я твердо решил в своей жизни — *всегда проповедовать Его имя*. Случилось и то, что вовсе не ожидалось, на что не было никакой надежды, что было вне всякого предвидения. Вам глубоко преданный

В. Розанов.

Завтра я выезжаю из Ельца; но оттуда, где остановлюсь, тотчас пришло в Елец адрес, по коему и пойдут письма ко мне без какого-либо промедления, так что об адресе Вы не заботьтесь.

6 июня 1891 года.

55

12 июня <1891 г.>, Москва

Дорогой Николай Николаевич!

Вчера я виделся с учителем Царицынской гимназии (Казанского округа), который имеет очень сильное желание поменяться со мною местом, но не решаюсь идти к попечителю и просить его согласия на эту перемену: 1) потому что, быть может, Вы или Аполлон Николаевич уже начали переговоры с киевским попечителем или что-нибудь узнали от Аничкова или Георгиевского; 2) потому что Царицын — город в местности совершенно безлесной, а мое здоровье как-то плохо приравнивается к такой оголенной и обожженной солнцем местности. Директор Тверской гимназии мне прямо писал, узнав, что расстроенное здоровье есть причина моего желанья перевестись: «Тогда Вам нужно не в Харьковский округ проситься, а прямо в Киевский — там такой благодатный климат». Прочтя Ваши 2 письма ко мне, двое самых серьезных учителей наших (наиболее ко мне близких) сказали: «Конечно, Вам нечего и обращаться к нашему попечителю: раз такие люди, как Стр.—Майк., решились за вас хлопотать — дело Ваше устроено»; и один, учитель словесности Смирнов, заметил: «Что же (т. е. хорошо ли) будет, если они уже начали что-нибудь делать, а Вы им напишете, что сами дело устроили и их хлопоты были попусту» (т. е. что Вы обидитесь).

Все это — слова людей неизмеримо более меня опытных во всех служебных делах, и я на компетентность их суждения совершенно полагаюсь. А потому, не получив от Вас указания, пока не решаюсь идти к московскому попечит. и хлопотать о Царицыне (хотя на согласие от Москвы на прием взамен меня учителя из другого округа — я почти категорический отказ получил неделю тому назад через правителя канцелярии попечителя г. Высотского).

Ради Бога, instruируйте меня хотя в 3-х строках насчет Царицына: пока я в Москве, но здесь жизнь так дорога, что я имею желание как можно скорее отсюда выехать. Молодая жена моя Вас глубоко благодарит за все Ваши заботы обо мне. Вам глубоко преданный В. Розанов.

Адрес: Москва, Лоскутная гостиница, близ Иверской часовни, № 144.
В. В. Р-у.

<после 13 июня 1891 г.>

Дорогой Николай Николаевич! Не знаю, как Вас и благодарить за Ваше доброе и живое участие ко мне и всем моим делам. Спасибо за известие о курсах женских: я очень боялся, спрашивая Вас о них, раздражить Вас множеством своих просьб; но Вы отвечали в добром духе. Часть Вашего письма, относящегося к курсам, я списал и уже послал отцу благородной женщины, и заранее была передана Вам горячая благодарность и его самого, и дочери его.

Дело с переводом моим, кажется, устрояется: вчера вечером у меня сидел мой старший брат, директор VI-й классной прогимназии в городе Белом, Смоленской губ., прекрасный семьянин, отец 6-ти детей; мы говорили о переводе и моем семейном положении. Он читал Ваши 2 письма; вдруг приносят еще третье, последнее. Мы его прочли все вместе. По моему семейному положению брат советовал уезжать из Ельца как можно дальше, т. е., например, в Киевский округ; но потом предложил следующую меру, переезжать к нему в город Белый, где учитель истории и географии Вознесенский (мой университетский хороший приятель) наверняка согласится поменяться местом; а раз гр. Капнист уже попрошен из Петербурга, он не неуважит моей просьбы. Вознесенский теперь также в Москве, и я у него сегодня был и получил его согласие, которое передал брату. Брат отправится сегодня к попечителю в час пополудни, и почти нельзя сомневаться, что все это дело устроится. С братом я свиделся лишь вчера, и хотя он ахнул от перемены моего положения, но жена моя, видимо, ему понравилась. Она, правда, — нескончаемая доброта и нежность, без всякой распушенности и даже слабых характеристик. Я потому так надеюсь на свое исправление в будущем, что, будучи сам несколько отступающим от нормы, окружен буду любовью и вниманием людей в высшей степени нормального уклада жизни и нормального состояния духа; и как очень впечатлительный и поддающийся влиянию человек сам выправлюсь в полное соответствие с нормою.

Прощайте, мой добрый и дорогой Николай Николаевич. Никогда не забуду Вашего участия к себе, которое удивительно. Жена также горячо благодарит Вас: без Вашей помощи я бы совершенно растерялся и, наверное, ни в чем бы не устроился. Ибо и устраиваться было невозможно, не имея твердой почвы под ногами (уверенность в переводе), которую я получил в Вашем первом же, наскоро написанном письме.

В «Гражданине», в подстрочном длинном примечании к статье Леонтьева, я прочел его характеристику «Борьбы с Западом». Как хорошо, как *полно* сказано, и я позавидовал; вообще он очень полезный писатель, и чем больше будет его узнавать (т. е. что он есть) — тем будет больше возрастать его влияние.

Как вообще радуется сердце на все оздоровляющее и жизнедательное движение последних годов. Принимать в нем участие — великое счастье. Как

хорошо работает Говор.-Отрок; только форма писания, будучи влиятельною (фельетон), несчастна, истощающа для самого писателя. Мне его очень жаль.

Как только получится решение моей участи, буду писать Вам и также Аполлону Николаевичу. Вот старик раздобрился. И за что Вы меня любите? Мне думается — за тень ребячества, которая, правда, во мне живет. Я Вам немножко смешон, немножко, должно быть, мил и всегда жалок, и Вы охотно хотите мне помочь. Ваш

В. Розанов.

Я в воображении своим постоянно рисую разные сцены хорошей, мирной и доброй семейной жизни, живейшим образом чувствую все переливы радости в идею сплоченной семьи, Вы поймете, как трудно мне думать, что этой семьи у меня никогда не будет. Вы не поверите — я не могу почти без слез видеть детей и вообще благообразную семью, и в Спб. мне доставляло большое удовольствие играть в шашки с Марфинькой Кусковой, видеть хлопоты по кухне М-те Кусковой или слушать рассказы про гимназическую жизнь ее меньшего сына. Ну, вот Вам и причина тоски, настоящая, и разве Вы скажете, что она несерьезна. О, как умел бы я быть достойным человеком, хорошо трудиться и честно жить, если бы у меня была под ногами твердая почва, каковою я считаю — личную радость, а в ее основе — уважение и любовь очень близких людей, разумею — жены и детей.

А Вы думаете о какой-то невоздержанности и, верно, предполагаете во мне бурные порывы. Нет и нет, дорогой Николай Николаевич.

Как Вы могли написать мне об искренности? Я с Вами всегда был безусловно искрен, да и знаете что: я совсем и никогда не бываю не искренен — и это тоже, пожалуй, от душевной лени; но мне хотелось бы думать, что это вытекает у меня из лучшего источника. Есть много людей, которых я не люблю, — но я с ними и не вступаю ни в какие отношения, или если бываю принужден к этому внешними обстоятельствами — как бы смотря в землю — быстро оканчиваю все дела и отхожу в сторону. [...] пишите мне, пожалуйста, почаще и подлиннее. Ну, а пока до свидания. Буду ожидать *предсказанного* Вами денька своей статьи в «Рус. Вестн.»: чур не отрекайтесь от своих слов. В Москве видел Грингмута в ред. «Моск. Вед.» и слышал от него похвалы, и получил 22 р. денег.

57

<Июнь 1891 г.>

Дорогой Николай Николаевич! Я уже принял место у брата, в городе Белом, Смоленской губ., в VI-ти классной прогимназии. Все дело случилось менее чем в 5 минут. Брат, прочитав Ваше последнее письмо (где Вы пишете о Рязани), сказал, «какая у тебя страшная протекция — при ней, конечно, все можно сделать. Завтра утром отправляйся в Округ и покажи оба письма Н. Н.

Страхова Высотскому — Высотский все равно, что Капнист (он племянник графу и правитель канцелярии). Так я и отправился в канцелярию: место в Рязани меня в самом деле очень соблазняло; действительно, можно иметь мало уроков и, следовательно, много досуга для своих работ; да и простую, семейную жизнь я очень люблю. Жена чрезвычайно обрадовалась: у ней дочь на 9-м году, которую я 2 года готовил, и она нынче выдержала экзамен в 1-й класс женской гимназии; в Белом же есть хотя хорошая, но 2-х классная прогимназия, и через 3 года матери придется расставаться с дочерью. И еще: Белый от железной дороги отстоит на 120 верст, и для нас, молодых, это, конечно, ничего не значит, но мать моей жены, старуха 63 лет и страдающая женскою болезнью (у ней — выпадение матки) переносит езду на лошадях с крайней болезненностью. Так что ее переезд к нам на житье, для меня и жены чрезвычайно желательный, едва ли будет возможен. А между тем жена моя, не разлучаясь, прожила с матерью (и все в одном доме) 28 лет, так что связи все это — необыкновенно крепкие, и такие, которые жаль бы разрывать по самому их характеру, высоко нравственному. Среди этих-то нравственных связей, ясных и крепких, думал и я поздороветь душою, прицепившись к ним.

Едва я пришел в Округ и, немного пождав, увидел выходящего в приемную Высотского. Он остановился с каким-то учителем и, разговаривая с ним, посматривал по сторонам; я поклонился ему издали, и он узнал меня.

Кончив очень быстро разговор с учителем, он подошел ко мне и прямо заговорил: Ваш брат был здесь в Округе (это еще до получения Вашего письма) и говорил о Вашем желании перевестись в Белый. «Да, — говорю я, — но вот тут есть еще и другая возможность: я хлопотал через члена ученого комитета в Спб., Н. Н. Страхова, и от него получил 2 письма, которые желал бы показать Вам, так как Вы уже и раньше принимали участие в моих хлопотах» (я переписывался, как Вы знаете, с Высотским). «Покажите Ваши письма», — сказал он и пошел в другую комнату, а я за ним. «Садитесь», — сказал он, а сам куда-то вышел. Поделав там что-то, он быстро вернулся и взял у меня письма Ваши — оба, где Вы упоминаете о гр. Капнисте. Читал он их очень рассеянно и все что-то продолжал переговаривать с господином, vis-a-vis с ним сидевшим (как оказалось, окружной инспектор Баранов). Кончив, сказал: «Этот господин, который Вам писал письма, не имеет ни малейшего понятия о деле. Вовсе дело не в том состояло, что Вас не хотят перевести, и никакие обращения Ваши к лицам, вне Округа стоящим, вовсе не нужны были, излишни» и пр. все то же, варьируя лишь слова; говорил он очень быстро с видимым раздражением и неудовольствием, что меня крайне смутило, так как «Высотский — то же что Капнист», слышал я от брата, да и все везде так говорят. «Так если и Вознесенский (это учитель истории в Белом) будет согласен, конечно, Ваше дело можно будет устроить сейчас». Я сидел, и мне было очень грустно и все я думал о своей жене и наших общих мечтах об Рязани; но, видя раздражение Высотского и помня слова его письма, «что раз Вы желаете даже перевестись в губернский город, когда и в уездном трудно отыскать вакансии», и что в письме Вашем говорится не только об губернском

городе, но даже о месте инспектора в нем, просто почувствовал невозможным заговорить об этом, боясь насмешки и крайней неопределенности всех выражений Высотского, который как-то говорит все *около* смысла Ваших слов, но не отвечает точно на них. Когда на запинки о Вознесенском я сказал, что он-то согласен, Высотский сказал: «Так подайте, вон оттуда, прошение г. Розанова», и один подчиненный моментально подал отправленное мною из Ельца еще прошение к нашему попечителю о переводе. «А Вы, — обратился он ко мне, — сделайте вот тут внизу приписку, что согласны принять место в городе Белом», и сам вышел. Какой-то канцелярист пододвинул мне чернильницу, и я, сознавая, что делаю худо, не так, но занят делом и как-то фатально приведенный к подписи, написал: «Согласен принять место в мужской VI-ти классной прогимназии города Белого, Смоленской губернии». «Ну, вот и хорошо, — сказал Высотский. — Никаких препятствий к этому не будет, и дело будет кончено через 2 минуты. А Вознесенский же где?» «Он здесь», — сказал я. «В канцелярии?» — спросил он и двинулся было уже к приемной, но я сказал, что тот лишь в Москве, и я его могу сейчас прислать в канцелярию. «Пожалуйста, прошу Вас», — и, поспешно протягивая мне руку, скрылся в комнату, задернутую зеленою материею, где, должно быть, совершаются главные дела. Я вышел поспешно из канцелярии, отыскал жену в храме Спасителя, где она дожидалась меня (это против канцелярии), и сказал ей о всем случившемся. Затем, взяв извозчика, отправился к Вознесенскому, и он уехал в Округ, а я пока сижу у него и пишу настоящее письмо.

Чувство, что вот какая-то новая и сильная акула повертелась около меня и вырвала кусок, который мне принадлежал, — есть дурное и неприятное чувство, от которого как только я отделаюсь — опять стану весел.

У брата, к которому перехожу я, я воспитывался с 12-ти лет (когда потерял и мать, отца потерял я лет 4-х); он меня очень любит, и вся его семья; встретив мою жену здесь, он чрезвычайно полюбил и ее (она, правда, славная), и нам около него будет несомненно хорошо. Это будет жизнь в 2-е родные и близкие семьи; но зато кругом глушь беспросветная.

Вознесенский вернулся и принес согласие на перевод; перевод состоится с 1 июля, как сказали Вознесенскому в Округе. Прощайте, мой дорогой, не осуждайте очень меня. Ваш В. Розанов.

58

<после 7 июля 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Ждал-ждал я от Вас хотя нескольких строк и думаю, Вы имеете причины быть мною очень недовольны — потому и не писали.

Что делать, как дело касается у меня «дел», — я не только неумысел (при всем внимании к ним), но и как-то *дурен* в ведении их.

Дурные очень чувства пришлось мне пережить в тот день, о коем я рассказал Вам в предыдущем письме: одним из хороших моих и горделивых чувств всегда было — не желать какой-либо перемены в своем *положении*, никогда и ничего не делать для успехов в ней. И вот, видно, Богу угодно было смирить эту гордость: в один день я вдруг пожелал это очень сильно, сделал усилие, неумело оборвался, и целый день, уже не скрывая ни перед кем своего *внутреннего* унижения, — злился и все бранил Высотского (он и заслуживает): скажи он мне просто и ясно, не будь этих подлых торопливых убеганий за дверь, грубости со мной (слова — очень возвышенным, без малого кричащим голосом — о Вашем незнании положения дела) и проч. — и я был бы спокоен, не было бы той озлобленности, которая буквально душила меня целый день. Вечером я рассказал, ложась спать, жене все трудности для меня этого дня, когда я сам был как-то низок; она сказала, что тоже это почувствовала, и ей именно этого было жалко во мне. Как только мы высказали это друг другу — тотчас все прошло, и я на другой день забыл все, да я и знал, что забуду.

Вы со своих *критических высот* не знаете, как часто унижительна бывает служебная жизнь. Я оттого и думал в свое время вырваться из этой проклятой администрации. Живя на Воробьевых горах и за долгою (недели 2) невысылкою жалованья страшно нуждаясь в деньгах, — я вдруг предложил «Моск. Вед.» написать 4 фельетона по 10 к. за строку, получил согласие и пишу с бесконечным увлечением:

1 фел.: «Почему мы отказываемся от наследства (60—70 гг.)?», где: об Государе Александре II и его убиении, об молодых профессорах, нас нередко развращавших, объяснение с Н. Михайловским и проч. Помещено 7 июля (воскресенье — и все будут воскресные фельетоны) в № 185.

2 фел.: «Что составляет главный недостаток в наследстве 60—70 гг.»: об узости и неверности мирозерцания 60—70 гг.; о части и целом и связи с этим закона тяготения и химического сродства, об отношении души к телу.

3 фел.: «Два исхода»: об учении Толстого; об утилитаризме; о возможности познания цели человеческой жизни; о религиозном значении человека.

Ради Бога, если не получаете Вы «Моск. Вед.» (кажется — получаете), напишите мне, ибо *именно об этих моих вещах* мне более нежели о чем-либо другом, мне хотелось бы услышать Ваше мнение: в 2 и 3 фельетонах я высказал свои многолетние (лет 10) свои мысли и, кажется, сжато и хорошо. Одушевлен был очень; лучший фел. 3-й (сам чувствую, что хорош). В 4 и 5 думаю разделаться с «Вест. Евр.» и прославить Москву. Но они еще не начаты.

Наши уже многолетние и, кажется, очень теплые отношения дают мне мысль, что минутное падение человеческой души Вы не поставите выше некоторых общих ее достоинств. Вспомните какую-нибудь страницу из «Алфавита духовного», подумайте час об ней — и забудьте все, бывшее со мной в сие минуты.

1-й фельет. не безнравственен ли? В нем все правда, кою давно и жгуче нужно было сказать, — но мне ли, питомцу Университета, о своих ли учителях? Вот мучительные вопросы. Прочев его в печати, я был очень встревожен и провел дурной день. Ваш

В. Розанов.

59

20 июля 91

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Правда, Ваше письмо от 20—21 июня, должно быть, пропало: я *не только* оставил в Лоскутной гостинице свой новый адрес, но и *2 раза заходил* в нее, спрашивая письма и все удивляясь, что не получаю от Вас: там, в конторе, на моих глазах, пересматривая серию писем, говорили, что нет, да и что напрасно я хожу, п.ч. у них есть мой адрес, кой они, подписав на письме, и отправили бы на почту, но письма не было.

Обрадовал меня несказанно тон Вашего письма: и тени раздражения против себя я не вижу. Спасибо Вам за это и за все многолетнее доброе отношение ко мне; Бог бы дал когда-нибудь показать и Вам мою преданность и благодарность. Нередко я думаю о наших так странно начатых отношениях, о всей Вашей возне со мною, для возни очень неудобным, неумелым — я это знаю. Теперь о деле:

Минутами вспоминая бывшее со мною в канцелярии попечителя, я решился, что моя нога никогда больше не будет в этой канцелярии. Мне, слава Богу, 38 лет, и не могу я не сознавать (по своим писаниям и как в них выразилась душа и ум), что не все учителя ихние могут при тех средствах и обстоятельствах, как мои, тоже сделать, что я трудолюбиво делаю. И вот какой-то Высотский только потому, что он *делец* (моих лет, если не моложе), попросту кричит на меня, и я по своей застенчивости и робости молчу и краснею — и знаю, что он этого не вправе делать и что другой человек мог бы его остановить, — *но я этого не могу*, и он это понимает. Вы, дорогой Николай Николаевич, с высоты своих «Общих понятий физиологии» и т. д. вообще не знаете, что *тут, внизу* делается; и я потому и люблю литературную деятельность, что живу в ней свободно, и мне в разных канцеляриях, когда я пишу, — хоть трава не расти. *Они очень хитры* — вот этого-то Вы и не знаете.

Но довольно о чувствах. Мне уже пришла бумага о переводе из г. Ельца в город Белый от директора Елецкой гимназии, который получил предписание от управляющего округом Вейнберга, и предписание от него же — явившись в Елец сдать вещи, бывшие в моем распоряжении, как то: глобусы, ландкарты и книги из библиотеки. На днях я отправляюсь в Елец для исполнения всего этого, и кой-что из мебели, купив в Москве, — отправляю в Белый. Таким образом, мой дорогой Николай Николаевич, — *перевод мой* в

город Белый, Смол. губ., есть факт, совершившийся и оконченный, которого изменить нельзя, и я не желаю — уже потому только, что бельский учитель, в свою очередь, двинулся в Елец с вещами, спешит на родину и вообще потратился по случаю своего перевода, и вертать все это обратно — не хорошо против товарища, и я совершенно не в силах. Уж если будет Ваше терпение, я все скажу Вам по правде: брат мой старший, к которому я еду служить, еще очень не стар и очень здоров, а до пенсии ему лишь 6 лет служить, и тогда он, без сомнения, будет переведен на лучшее место (он, правда, образцово служит и очень предан делу воспитания, к которому имеет и такт); вот после его отъезда, т. е. лет через 5—6 — мне будет оставаться в Белом слишком трудно, одиноко — и тогда, так мне мечталось — я попрошу Вашего влияния. Пишу это ввиду доброго тона Вашего письма, но думал — что уже никогда и ни о чем Вас не буду просить ввиду неудачи и моей глупости при этих хлопотах, которые не могли Вас не раздражать. Главнее для меня всякой Рязани, — чтобы люди, к коим я расположен, любили меня и не переставали уважать: с этим я всегда буду весел, как и теперь, получив Ваше письмо, — совершенно просветлел душою, абсолютно покоен и всем доволен.

Хотел я просить Платона Александровича сообщить мне адрес Спбургский А. Н. Майкова, чтобы поблагодарить его письмом за участие ко мне, — но, может быть, и Вы сообщите мне этот адрес, хоть и трудно мне наскучать Вам письмами. Здесь я видел Петровского (ред. «Моск. Вед.»), который сказал мне: «Да, это — Майков (и еще кого-то он назвал), Страхов — такой хороший кружок в СПб-ге», и мне как-то стало весело за Майкова, за его простые беседы в кружке хороших людей, какие, быть может, он ведет. Жалею я в высшей степени (и уже давно), что как-то написал к Вам сухие строки об нем, стыдно за это, и если б Вам мое письмо попало (если оно цело), надо бы их совершенно вымарать чернилами; пишу Вам то, что давно хотелось сказать, но вы мне об этом не упоминайте.

Писать фельетоны я стал потому, что неожиданно впал в безденежье, и мне пришло в голову — броситься из дорогой Лоскутной гостиницы на дешевые Воробьевы горы и предложить услуги «Моск. Вед-стям». Вот вам пример моей недогадливости: давно думал попытать свои силы в фельетоне — и, сидя в Москве, имея случай, какой долго не повторится, — не привожу в исполнение давнишнего желания. Теперь я выскажу кой-какие мысли и буду иметь для переезда в Белый и закупки дивана, двух кресел, двуспальной кровати и умывальника 300 руб. денег. Благодарю Вас за внимание и одобрение фельетонов: о 2-м мне сказал Грингмут: «Поменьше, поменьше, батюшка, тумана, а то Вы в середине такого напустили, что он едва прошел — только Ваша далекость и неудобство сообщения с Воробьевыми горами заставила нас отложить желание Редакции — сократить или выпустить середину». Он вообще простой и очень мне понравился. Так я и не прочитал своего фельетона в печати, он мне стал как-то антипатичен. Только, получив Ваше письмо, я взял и сразу перечел оба фельетона, с удовольствием перечитывая места, кои Вам могли понравиться.

Прощайте; крепко Вас обнимаю и целую и благодарю за хлопоты, а еще больше за неизменное ко мне расположение. *Теперь больше, ради Бога, не хлопочите*, и я смиренхонько перееду в Белый. По многим причинам, семейным, мне жизнь около брата очень важна, необходима; но я не знал, до свидания с ним в Москве, как он взглянет на мое положение новое и все поступки. Он отнесся ко всему с наилучшей стороны, все одобрил и, видя мои некоторые опасения, сказал — переезжай ко мне, за моей спиной ты будешь как за каменной стеной. Так все это и порешило дело. Рязань лишь взволновала мое честолюбие, для коего раньше я мудро решил не жить. Адрес до 7 августа — в Елец, в гимназию, потом — в Белый, Смол. губ., в прогимназию, Ваш

В. Розанов.

60

20 сент. 91

Многоуважаемый и
дорогой Николай Николаевич!

Только дня три тому назад получил 9-й № «Вопросов философии» и прочел Вашу статью «Толки о Л. Н. Толстом», хотел Вам сейчас написать, но был в сильном раздумье по причине Вашего отъезда из Спб., и теперь не знаю, найдет ли Вас мое письмо. На всякий случай, кажется, адресую его на имя Берга...

Статья Ваша, насколько я могу оценить, — из лучших, если не лучшая за последние годы Вашего писания и по значительности тем своих, и по выполнению, и, самое главное, по тому, что, так сказать, бьется в центре текущих интересов общества. Я читал ее очень медленно, так сказать, вдумываясь и обсуждая, с целью Вам описать впечатление — и только это гадкое незнание адреса. В ней нужно отделать общее впечатление и впечатление от частных: утонченная, осторожная и всесторонняя апология последнего фазиса деятельности Толстого — вот общее впечатление. Из частных лучшие: видимое отвращение к нашему образованному обществу, его «бесподобное» (Ваше любимое определение) осуждение, вообще определение духовного status quo, в коем Толстой открыл свою деятельность; во-вторых — светлое отношение к нашей молодежи, вся гл. VIII, — именно: как оно выражено. Да, это такое затруднение: бороться как с врагами с людьми, кои в целом обществе одни сохранили идеализм ума и сердца, но заблудились с ним Бог весть куда, и еще другая, большая трудность: будучи консерватором, охранителем — иметь вид, что сохраняешь то, в чем никакой сердцевины нет. Это трудное, непростое и двусмысленное положение, из коего как-нибудь, а нужно выпутываться всякому пишущему. Многие определения так хороши у Вас (и относительно Толстого, и относительно общества, и относительно полемистов против него), что хочется обратить их в формулы; да так и будет, и об этом-то мне и хотелось Вам больше всего сказать. Не знаю почему, но о Толстом писалось столько нелепого, как-то неумного и

бесчисленно обильного, что Ваше слово должно тотчас выделиться как первое компетентное слово. И толстовцы, литературу «униженные и оскорбленные», — должны ухватиться за Вашу статью, как израненные, поражаемые ухватились бы за щит, который им подали. Это раз. Во-вторых, статья Ваша должна быть поразительно неприятна всем нелепо ломавшим против Толстого перья: ведь Вы же старик, Вы борец против дарвинизма, против писаний Соловьева и убежденный, влиятельный славянофил. И вот в то время как все влиятельное гонит толстовцев — Вы против него оборачиваетесь и протягиваете над ними щит. Не знаю и не имею возможности отсюда следить, что дальше будет, — но если не замолчат Вашу статью — поднимется с ней большая история. Напр., не может же не отвечать на нее Ю. Николаев, когда она уничтожает всю его полемику? И равно пр. Козлов, пр. Гусев и множество меньших. И, дай Вам Бог, хотя долю защиты оказать идеям Толстого, сравнительно с тем, что Вы сделали для Данилевского. Poleмика против Толстого потому вредна и дурна была, что толстовство она свела к какому-то мальчишеству; и вот Ваше вступление в спор изменяет весь характер дела. Не знаю, не умею объяснить своей мысли, но вдумайтесь в то, что я пишу, подумайте, как все это важно и, может быть, *чревато* будущим, т. е. если Вы не оставите полемики, а будете ее продолжать. Что касается до того, где она помещена, то это тоже хорошо: против «Русск. Вестн.» молодежь со времен Каткова без конца предупреждена, и вообще это орган скорее государственный, чем общественный. Но «Вопросы» с их бесподобно-наивным Гротом — журнал студентов и вообще не слишком искусившихся в чтении людей; в верхних умственных сферах Вас, конечно, давно знают и ценят, между тем как ругания Михайловского, Соловьева и Тимирязева решительно не пускают Вас вниз — к добрым наивным сердцам. Мне думается, статья Ваша и будущая полемика о Толстом — пробьет туда брешь. А проникнуть для Вас в учащиеся круги — этого я желал бы, в видах пользы, больше, чем для себя, напр., или еще кого-нибудь, принимая во внимание элементарную простоту, многосторонность тем и целебность духа в Ваших писаниях.

Простите за неясность и, может быть, туманность моего языка. Да, кстати, простите мне и в высшей степени неудавшийся фельетон о Толстом, за кот. у меня краска залила лицо, когда я начал только читать Вашу статью. Бог знает, что со мной делается: во время писания я совсем *не имею вкуса* оценивать то, что пишу, и ценность или недостатки своих писаний впервые и ярко оцениваю, прочитывая печатный лист. Когда я писал о Толстом на Воробьевых горах — все повторял в душе: «Вот будет фельетон, вот буд. фельетон»; когда же мне подали печатный лист и я его начал читать в постели — увидел все так блекло, бессвязно и скучно, что, с тоской прочитав 1½ столбца, передал газету жене. Она тоже сказала, что плохо; и, встав с постели, умывшись и еще местах в 3-х глянув глазами в статью и везде видя неудачно, — положил его с печалью в стол и до сих пор не вынимал. Напротив, фельетон о Леонтьеве я писал и перечеркивал с таким чувством усталости, что думал — выйдет невозможная для печати пакость, а вышло ничего,

не дурно, на 3. И так у меня вот уже года 2 нет этого чувства сознания своего достоинства или недостатков; не знаю отчего, но точно голова неясна.

Живу я, слава Богу, очень хорошо и очень счастлив; сижу дома, в родной семье, не скучаю, ни к чему не стремлюсь и только испытываю по временам кислый вкус в мозгу от разных обобщений, к коим, по несчастю, привык. Стараюсь привыкать «любить непосредственные впечатления близкой, окружающей жизни» (см. «Путешествие на Афон» у Вас) и насколько этого достигаю — счастлив. Окружающие меня люди настолько хороши, так любят меня и заботятся обо мне, что я взял твердое намерение — во всем последующем дурном винить только себя; да и это вполне справедливо будет.

Много бы дал, чтобы увидеть Вас, поговорить даже без определенной цели — *de omni re scribili*¹, — но подумаю, подумаю и успокоюсь на мысли, что Вы ведь так ко мне выразились в своих письмах. А все-таки как человек и ум Вы как будто много недоговорили, много мыслей оставили про себя. Напр., Ваша заметка в письме: «Вообще образование элементов — какой-то другой процесс, чем образование тел», или про мысль Леонтьева о разложении культур: «Это категория Шеллинга, великого философа, коему там-то воздвигнут памятник» — вообще живо отозвались и, след., раньше об этом думали; а что думали — не сказали. У Вас изредка в письмах ко мне мелькают эти оживленные отзывы на теоретические вопросы — для меня самые интересные их места. Если б их было побольше... Здесь я получил бумагу от С.-Пб. почт-директора о затерявшемся Вашем письме и дал отзыв.

Вообще вся эта история с недошедшим до меня вовремя письмом мне потому неприятна и даже мучительна, что может внушить Вам мысль о моей небрежности, о невнимании, когда ко мне люди так внимательны. Но этого не было: я бранился (т. е., собственно, очень разозлившись, — сказал по обычаю два-три слова неудовольствия) в Лоскутной гостинице: они не только не переслали мне по оставленному мною (в конторе) адресу, но и *просмотрели* его (это при такой ясности Вашего почерка), когда я в 1-й раз заходил к ним; после Вашего же письма, потребовав, чтобы на моих глазах перебрали пачку писем, — выхватил его сам. Они на мое замечание сказали только: «Да разве Ваш адрес оставлен здесь» — такие бессовестные.

Но Вы будьте добры (если это уместно) при встрече выразить Аполлону Николаевичу и Аничкову глубокую мою благодарность за то, что они приняли на себя труд хлопотать за малоизвестного и неизвестного человека. Готовность Аничкова написать 2 письма до того меня тронула, что мне захотелось чем-нибудь ужасно поблагодарить его — да чем и как? Я потом спрашивал, говорят, он еще не старый человек. Это удивительно. Пожалуйста, не забывают меня письмами; не забывают как человека, как «одинокое в духовном отношении сердце и ум». Брат зачитывается теперь Вашими статьями о Пушкине, Тургеневе и Толстом; он директор и преподает словес-

¹ об всем, что можно знать (*лат.*).

ность в VI классе. Читает вообще он не очень много, но с очень большим выбором, и имеет умственный вкус.

Какое это было у Вас издание «Стихотворений» Тютчева — Вы из него читали стихи в Спб.? Есть еще ужасно скверное, сделанное Тургеневым, но Вы, очевидно, не его читали. Я с Тютчевым вовсе не знаком, и, будучи в Москве, — все думал и не придумал, какое это было издание, чье.

Ваш преданный *В. Розанов.*

61

<Октябрь 1891 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Да не посетуйте на мои качества как немножко Добчинского: 3-го дня мне хотелось попросить Вас при издании сборника статей по философии поместить рецензию на мою книгу «О понимании» — но мне стыдно было. Но ведь, право же, я слишком обойден *абсолютным* молчанием в труде, где, по Вашим словам, на «каждой странице виден некоторый труд мысли», и в общем он представляет «правильно построенное целое». Что за печаль, что о Гроте столько и столько писали — и обо мне ни строки. Раньше или позже я именно для этого труда своего добыюсь успеха и признания с той настойчивостью, как и писал его 5 лет — постепенно, не торопясь; и теперь мной почему-то руководит столько же дружелюбие к Вам как одно из звеньев этого добывания, первое даже больше: Вы — старик, многоопытный, разнообразно начитанный, задумчивый, из кружка «Зари», «Время», «Эпохи» — первый оценили. Это иное, чем потом когда-нибудь оценили бы Волынские, Мережковские, — а ведь кто знает, какие настанут поколения и захочется ли среди них иметь успех. Эта сторона дела уже от меня не зависит (как самое пробитие успеха), а смотрю на будущее в смысле улучшения народа я крайне пессимистично.

Кстати, благоразумный Вам совет — устройте в конце Вашего сборника просто отдел критико-библиографический; публика чрезвычайно ищет и любит всегда хотя намек на критику: ибо учиться у нас жажда никогда не иссякала и чем же в этом руководствоваться. О моей книге статья сюда вошла бы, и непременно о *глупости* Струве, и, кажется, еще полемический ответ ему: все интересно и нужно. Ваш искренний

В. Розанов.

Но если почему-либо Вам нельзя, не отвечает Вашим целям (т. е. сборника Вашего) помещать отзыв «О понимании» в сборник — само собою я как джентльмен и христианин останусь так же тепло Вам предан, как и сейчас. Ваш

искренний *В. Розанов.*

Вы и без того мне сделали слишком много добра и вообще были безусловно ко мне внимательны и даже заботливы.

4 дек. 91

Как Вы могли, дорогой Николай Николаевич, подумать, что я не хочу Вам написать. Сохрани Вас Бог от таких мыслей — и относительно меня, и относительно кого-нибудь другого.

Буду ждать с нетерпением Вашей статьи «Итоги современного знания», как ждал этот год статьи «Об Ренане» — смотрите только, не обманите. Верно, Вам уже трудно и *скучно* писать? Я всего 3-го дня взял в «Вопросах ф. и псих.» статью Я. Колубовского *об Вас* (матерьялы для фил. в России) и, еще раз перечитав кратенькую биографическую заметку, — подумал о Ваших 63 годах. Помните Ваши слова в «Мир как целое»: «Срок жизни человеческой 60 лет, а при большой крепости 70»; дай Бог, чтобы Вы жили и жили, но нить жизни нашей не в наших руках.

Смерть Леонтьева меня очень поразила, а жена моя даже плакала; как он ждал моей статьи о себе, которой начало (26 стр.) прочел. Он писал мне, что лучше никогда не был понят, т. е. в столь главном, для него самом существенном и дорогом. И вот, я все мешкал со статьей — и вдруг, вскрывая № «Моск. Вед.», читаю утром: **К. Н. Леонтьев** Φ . Кратко и ужасно. — — — Я как-то привязался к нему за это время, он очень искренний и правдивый человек, хоть, может быть, его вкусы не совсем нормальны. Слишком децивилизовавшийся, кажется. Но его сердце, по его письмам, мне в высшей степени нравилось именно чистотой своей, непридуманностью, открытой во всех капризных движениях. Еще мне было горько, что именно в последнем письме, и только в нем одном, я сделал ему маленький упрек, и, прочтя *К. Н. Л.* Φ , — ужасно огорчился, что такое было мое к нему последнее слово. Я упрекал его за его недовольство оценками, какие ему в литературе всегда делали, и как-то сухо упрекал; а с досады заспорил с ним и о Вронском, о коем привел, раздражая его, собственное его мнение: «Глупая говядина (принц), неужели я такой».

Так кончаются все дела этого мира. Как мне вдруг захотелось что-нибудь иметь от Вас на память, именно теперь, а не из времени моей поездки в Спб.; и вот я решился Вас попросить что-нибудь выбрать из Ваших старых книг, какого-нибудь натуралиста-философа XVII в. (мой любимый век) и, сделав надлежащую подпись, прислать мне. Или еще — прислать мне письма Ап. Григорьева или что-нибудь, что Вам было очень дорого, что лежало у Вас в столе или на полке и Вы перебирали. Впрочем, не думайте об этом иначе как об фантазии, которые приходят человеку при разных настроениях, — и будь он воздержаннее, никогда бы их не разболтал.

Лично я живу очень счастливо; очень любим и люблю; пишу и не чувствую усталости; уроками, правда, скучаю — но нужно же было мне при довольно отвлеченном складе души, при глазах, вечно закрытых на конкретное, — выбрать такие предметы, как историю и географию, где и нет ничего, кроме конкретного. Это несчастье в избрании профессии; к счастью — она не одна у меня.

Я сейчас переписываю конец статьи о Леонтьеве, где очень много и моих мыслей об истории, — кажется, удачных, и, переписывая, оторвался для этого письма. Теперь опять к ней.

Полезно было бы, слишком полезно, издать Ваш 3-й том «Борьбы», и там и статьи о Толстом и Фейербахе. Я кой-что из Вас постоянно перечитываю — недавно о Парижской коммуне. Кстати, Ваши 2 книжки у меня зачитали в Ельце, а на письма не отвечают и не высылают сюда.

Ваш В. Розанов.

Кстати, очень прошу Вашего покровительства моей статьи о Леонтьеве — у Ф. Н. Берга.

63

<начало 1892 г.>

Многоуважаемый

Николай Николаевич!

Что делать, что ноги не стоят твердо: это не всегда зависит от ног, но иногда и от почвы, на которой стоишь. Я вот тоже все сокрушаюсь, что как только выйдешь из круга людей непосредственной веры, постоянного ежедневного труда, всяческого житейского долга (не гражданского, но самого почтенного) — тотчас всеми фибрами существа своего чувствую под собою трясины, где каждый шаг — не верен, где всякое движение — может погубить, и, главное, неизвестно, за что, про что. Всего пикантнее некоторый идеализм, который сюда примешивается: люди вредят друг другу, ненавидят один другого вовсе не ради каких-нибудь осязаемых причин или сознательных целей, но, так сказать, из чистого идеализма, из идеальной *таковой* потребности сердца. Вот отчего всякий раз, когда я одеваюсь в синий фрак или в черный сюртук, я знаю, что мне нужно будет лгать, — а как лгать — я не знаю, не видя никаких матерьяльных или осмысленных указаний на это. Все это приводит меня в ажитацию, в смущение; я теряюсь до последней степени и путаю невозможно всякое дело.

Статья моя о Леонтьеве — скорее имела успех: я получил два очень теплые письма о ней от известного С. А. Рачинского, Вы назвали ее — удивительной, Ф. Н. Берг — истинно одушевленной¹, чего мне еще? Что не было о ней фельетонов и пр., то, по правде, — «какая польза в суете столь изменной?» Ведь фельетон, прочитанный в понедельник, к субботе абсолютно забывается всеми, конечно, кроме того, о ком он написан или кем написан: так, в этот самообман я, несмотря и на молодость, не впаду.

Я спрашивал одного очень умного старого доктора о пороке К. Ник.; он мне сказал, что это необъяснимый порок, большею частью врожденный и

¹ Т. И. Филиппов: что она напоминает и по внутреннему содержанию, и по внешней форме золотые времена нашей литературы.

непреодолимый. Он дал мне за прежние годы один том «Архива судебной медицины», весь посвященный этой теме, где я прочел несколько посмертных признаний подобных людей, где они говорят о пробуждении в себе ненормальных инстинктов в 12—13-летнем возрасте и пр. У этих людей «мозг женщины в мужском теле» — говорит в объяснение один французский ученый. Это уродство, страшное, необъяснимое, ужасное — как и гермафродитизм. Я обрадовался очень этому объяснению, потому что оно успокоило мое сердце: Леонтьев был редко чистосердечный человек, с редкой отзывчивостью на всякую нужду, с любовью к конкретному, индивидуальному, с привязанностью к человеку, а не только к мозговым абстракциям. По письмам ко мне я успел положительно полюбить его. А грехи его — тяжкие, преступные грехи — да простит ему милосердный Бог наш; а главное — да простит ему его великую вину перед женой, неискупимую, страшную. Вот в том, что, будучи таковым, он все-таки женился и сделал несчастною неповинную женщину — его тягчайшая вина; верно, он думал исцелиться ею, но не исцелил, а другую погубил. Весь Ваш

В. Розанов.

Непреренно нынешний же год брошу Белый: помилуйте — в здешней аптеке хина не горька и капли Иноземцева — производят расстройство желудка. Это важнее, чем отказ «Моск. Вед.» печатать мои фельетоны.

За Вашу заботливость обо мне — горячее Вам спасибо; вот уже 3 года, как мы связаны связью, далекой и вместе близкой. В наше время всевозможных развзываний, когда даже муж и жена не выносят друг друга — это, кажется, может несколько утешать.

64

5 ф. 92

Дорогой и неизменный Николай Николаевич! Простите, что так долго, так невежливо не отвечал Вам на Ваше доброе письмо: причина — вздумал я писать (под буквами В. Р.) фельетон в «Моск. Вед.» (под именем «Из мира идей и фактов»), написал 1-й, послал к Вл. Ан. Грингмуту, вот уже 2 недели, и от него — ни ответа, ни самого фельетона в печати... И это повергло меня в такое угрюмое настроение, что я только хожу из угла в угол. Сегодня получил субботний со статьей Николаева — а он всегда пишет по воскресеньям фельетоны, и у меня мелькнула радостная надежда — уж не будет ли завтра моего фельетона... Когда бы!.. Дай Бог, чтоб Вам понравился!..

Спасибо Бергу, спасибо Вам. Ведь без поездки в Спб. я совсем не был бы журналистом: я два года в Ельце играл в *преферанс*: писать новую книгу по философии (я думал «О явлении потенциальности и его роли в мире физическом и человеческом») — к чему, когда и написанную возвращают из магазинов за нераспродажею — и их хоть в печь бросать; в журналах писать —

но кто же примет, когда книга моя была памятно, хорошо везде обругана... И вдруг все переменялось... Эдакий милый Берг, так и расцеловал бы его; и со всей стороны рад, что угодил ему, должно быть, лучше Яроша, которого, как идеал журнальной статьи, он показывал мне одну статью — как-то незначащую, хоть и блестящую.

Да, дорогой Николай Николаевич, все изменилось — и я рад. Послано после *многого* терпения и внутреннего страдания — утешение.

Ваша статья о Ренане очень хороша, особенно 1-я половина; в конце же очень меня поразила тонким психологическим пониманием заметка о песимистах — об унынии эгоизма в них.

Читали Вы статью Вл. Соловьёва о Леонтьеве в «Русск. Обзор.» — после нее я совсем как-то охладел к Вл. Соловьёву: ведь с Леонтьевым они были близкие, интимные друзья. Какой оппортунизм не только ума, но и сердца — и Соловьёв сам это чувствует... Не очень весело у него на душе; это он сознательно и о себе говорит, говоря об оппортунизме в литературе; его имя, так ярко и чисто загоревшееся, — как-то вильнуло, сделало какой-то скверный скачок; уж лучше бы оно потухло, лучше бы прямо, но искренно набедокурило.

Думается мне, эдак через годик, сделать сборник своих статей — от многих, очень многих слышал я, что они небезынтересны... Кой-что и из рукописного добавлю — разбор 1-го т. «Дарвинизма» и *исправленную* статью о красоте в природе. Не без мысли о сем сборнике стал писать и фельетоны. Только до сих пор все мои издания не раскупались, и даже дешёвое и недурное «Место христианства»: последнее верно потому, что уже очень миньютюрна книжка. Теперь я всего настроил на хороший том или на тонкие 2 части.

Уже если хотите быть очень, очень добры ко мне, пришлите мне 2 свои книги: 1. «О вечных истинах». 2. «Об основных понятиях психологии и физиологии». Они у меня пропали. Прочие все книжки Ваши и Вами даренные у меня целы.

Надоел я Вам? Такой характер неотвязчивый и для ближних неудобный, особенно кто очень близок.

Вот моя беда, искренняя, глубокая: не могу перечитывать своих рукописей (по какому-то чувству ужасной скуки — по коей и немецкого языка никогда не мог выучить и даже начать учить): получив Ваше письмо, — я до того смутился, что о Леонтьеве без малого ничего не говорю и даже еще меньше, чем в 1-й статье... Как-то мне трудно приводить цитаты (хотя Леонтьева я всего помню) — перебивают слог, т. е. так речи, чему-то мешают, а потом, не проглядев, чувствуешь, что не так. Но Вы Бергу об этом ни гу-гу. Пусть все будет, как Бог велел. Не говорил ли что о моей статье Голенищев-Кутузов или историк Бестужев-Рюмин? С последним мы из одной гимназии (Нижегородской, кою он, кажется, любил, а я ненавидел. Я уже сидел на новых партах, с подвижными спинками, с аккуратными преподавателями, которые боялись не только нас за ухо взять, но и сказать «ты»).

Ваш В. Розанов. Не забывайте меня и любите по-прежнему.

<до 20 февраля 1892 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Вот какой я свинья — до сих пор не отвечал Вам: простите ради Бога, кропал статью, которая очень медленно писалась, требовала большой осторожности: построена она, как и «Органический процесс и механическая причин.», — т. е. ряд положений и выводов, столь же сухо связанных, а заглавие ее: «Изыскание о цели человеческой жизни», состоит из 2-х глав: 1) исследование идеи счастья как верховного начала человеческой жизни; 2) об истинных (= естественных, врожденных) целях человеческой жизни; всего стр. 35; это еще юношеский мой замысел и, как мне в то время казалось, — открытие, п. ч. я в университете сделал 1-е ее изложение и отправил с замирием сердца в «Русскую Мысль» — где она, так сказать, была погребена под тяжестью невнимания. Потом раза 3 писал, и все не выходило, и мне всегда было ужасно горько, что исходная точка всех моих, теперь вот уже 12-летних размышлений, все еще не выражена и, судя по неудачным опытам, вероятно, никогда не будет выражена. Что бы порядочное я ни написал — у меня от радости неотделима была грусть, что *вот это все-таки не написано*. Представьте же мою радость, когда, наконец, я почувствовал, что выходит, что нужная форма для мысли найдена. Это — для «Вопросов философии», — но Грот такой чудак, такой невозможный ребенок, что почти уверен, что он откажется поместить за недостатком *гладко и легко читающихся страниц*. Ужасно боюсь; если бы в «Ж. М. Н. Пр.»: я Вам (хоть начало), я пришлю Вам, если Грот откажет, в чем я почти уверен.

Читаю Вашу статью «с усердием», как Вы любите выражаться, а равно и статью о ней Николаева прочел в «М. Вед.» с удовольствием. Знаю, что мотив ваш — из ужасной горечи от полемики с Тимирязевым и Фаминцыным: в этой полемике Вы один были мыслящим человеком, а что получили от этого, кроме грубой брани от Тимирязева, а общество осталось равнодушно, и разве лишь немногие в нем поколебались в дарвинизме, и еще меньше в нем было людей, осудивших Тимирязева. Да, умственные дела нашего времени это для всякого человека, любящего общество и его умственную жизнь — предмет нескончаемой печали. Что Вы с этим сделаете, *кто* может что сделать, если люди разучились думать, не умеют оценивать, это им трудно, некогда, — наконец, скучно. Древнего огонька бы нужно, подумывал я в прежние годы, — разжечь, подпалить; простите, это Вам кажется преступно; но разве же не преступно такое состояние умов *даже перед Богом?*

Начало Вашей статьи «Итоги современного знания» мне потому больше понравилось, чем конец, что в нем тон взят такой, который действительно характеризует взгляд миллионов людей на наше время — взгляд всех людей не экзальтированных, не особливо углубляющихся в сущность вещей и взгляд «среднего человека». — Читая Вас, я всегда завидую Вашим знани-

ям: я ужасно любознателен, до влюбленности, до страстности ко всякой новой книге, новому, умному предположению — а между тем так мало знаю. Вот и Ваше упоминание о книге «Исследование о животном электричестве» Дюб. Рейм. *и в таких выражениях* — так и заставило меня затрепетать от любопытства; а вот я в 1-й раз слышу об этой книге. Да, мало учиться, — конечно, худо, но еще больше горько; так и умрешь, многого не зная, что, однако, уже знают люди.

Вам нужно больше писать в положительном духе, т. е., напр., выяснять истинную задачу науки об организмах: знаете, в имени Биологии, *в его избрании и удержании* — едва ли не сказалось темное сознание особых задач этой науки, несводимых к механике и химии. Как хорошо, если бы Вы написали «Истинные задачи биологии» — маленький трактатец, для «Русск. Вестн.» (а то «Ж. М. Н. Пр.» — никем почти не читается), где бы выяснили органические понятия и исчислили и комментировали коренные вопросы науки об организмах.

Ваше письмо с горячим сочувствием к статье моей о Леонтьеве меня бесконечно обрадовало, *согрело*. Но я такой нервный: до получения книги все думал: «Ну, вот, слава Богу, хорошо написал», и все старался вспомнить, что же именно хорошо. Когда пришла книжка, с бьющимся сердцем разрезая ее с начала, заглянул и в свою статью, и что попало — мне все почти не очень нравилось: боязнь разочароваться в Ваших словах была так велика, что я лишь на 3-й день, в ночь, лежа на постели, — перечел ее и увидел, что *отдельные* места великолепно (простите за нескромность) написаны — т. е. очень одушевленно и чистосердечно — но *связаны* они слишком тонкими переходами и, следовательно, есть огромный недостаток плана, равномерно и естественно развивающегося во все стороны, без какого-либо принужденного сцепливания статей. — А какое блеклое изложение было у меня во всей февральской книжке: это племянники ко мне приходили (их б) и все отрывали от занятий, едва было засяду за них. Потом они уехали.

В «Моск. Вед.» до сих пор не напечатали 2-х фельетонов; но, как только я кончу статью для «Вопросов Фил.», — засяду именно за фельетоны и уверен, что сумею встать в точку. Это для того необходимо, чтобы издать «Легенду о Вел. Инкв.» — на фельетонную плату, как некие крохи своей работы. А плату из «Русск. Вестн.» сохраню.

Ваш весь *В. Розанов*.

Недавно я преломил копье за Вас и Леонтьева с одним петербургским юношей. Это удивительно, отчего у теперешних молодых людей так мало *влечения* к любованию, почтению, к тому, чтобы посмотреть на что-нибудь и полюбить. Эту черту в колоссальных размерах, болезненных, я заметил в студ. Михайлове, с коим у Вас познакомился, и вообще она характерна для самых позднейших порождений. Какая-то тайная зависть; именно зависть и ничего другого, без всякого либерализма, радикализма и пр.

Ваш *В. Розанов*.

Уверен и скорблю, и мучусь, что Пл. Ал. Кусков на меня сердится и не знаю, как пособить этому.

<до 22 апреля 1892 г.>

Какое же недоразумение, дорогой Николай Николаевич, вышло между нами: я именно говорил Вам в Петербурге, что у меня сформулированы возражения *Данилевского* (т. е. *содержание* книги), и сам сомневался, надо ли это для журнала. Ну, делать нечего. Пожалуйста, если Вас рукопись не стеснит, оставьте ее у себя на время; я напишу об органическом и механическом (как мне и самому хотелось, ибо это могло бы быть ново для читателей) и через 2 недели вышлю это Бергу или Вам (если хотите; но я думаю, у Вас дела будет много, особенно еще со статьею Фаминцына). Если Вы хотите, чтобы я Вам выслал, известите меня об этом 2 строками; если нет — ничего не пишете. А я-то думал, что исполню Ваше желание, вынул и со скукою переписал старый хлам, — а оказывается, что все это не нужно. Не будь этого, давно бы я приготовил статью нужную. Больше 30 печатных страниц не напишу; я не рассчитал, что из моей писаной страницы выйдет больше печатной. — Если в дарвинизме за производящий фактор признать давление окружающей природы и вообще всей обстановки (причина индивидуальных изменений), тогда он будет механическим объяснением, я думаю; если нет — случайным. Ну, прощайте. Не бойтесь никогда говорить мне упреки. Хотя это всегда горько, но лучше их вовремя выслушать, чем наделать глупостей. Если маленькая статья, которую я приготовлю, не будет принята «Рус. Вестн.», я уже до лета ничего не могу сделать: подходит время экзаменов и нужно будет гораздо деятельнее приняться за учительство. Со 2-й недели поста (а как хотелось с первой!) я пера в руки не возьму. Ну, будьте здоровы (а я, не получая от Вас письма, думал, что Вы захворали). Только, ради Бога, не сердитесь на меня. Передайте мой поклон Платону Александровичу.

Ваш В. Розанов.

Перечитывая Вашу статью «Всегдашняя ошибка», я все колебался сомнением: не слишком ли Вы много уступили дарвинистам, говоря, что они построили только цепь *возможностей*? Я этого еще не разрешил для себя за недосугом, но все думаю: ведь дарвинизм есть теория, есть объяснение, его даже называют «гипотезой», — в том дело и состоит, что он есть *невозможное объяснение* или, по крайней мере, невероятное до границы с невозможным. — Но это я так Вам высказываю, недостаточно все обдумав, с первого раза. — Всем и всегда я буду доволен, если только Вы не будете на меня сердиться за то, что делаю то не так или неумело. Это не от нежелания, а просто от неумения.

<май 1892 г.>

Спасибо Вам, дорогой Николай Николаевич, что Вы встали выше минуты; человек так слаб и жизнь так жестка, что, как ни хочешь и как ни сознаешь, что нужно и хорошо, часто не делаешь и говоришь, что не хорошо и ни к чему не идет. У нас теперь идет самое горячее время экзаменов, и потому пишу Вам лишь несколько строк. Выбираться отсюда какими бы ни было путями нужно. Тут и доктор только один — пьяница, а другого выживает местное дворянство, — по интригам этого пьяницы и еврея-аптекаря, у коего даже хина не горька и анадин от зубной боли скорее напоминает квас. Как поживешь *на местах* да помотришь, что и *почему* творится, то только диву даешься.

Мне обещал устроить что-нибудь для меня Сер. Ал. Рачинский — по собственному почину; он хорош с Победоносцевым; округи учебные до того не любят вмешательства «в сферу их компетенции», что боюсь, как бы мне немедленно после дачи места не напакостили. Я Рачинскому писал, не будет ли удобного места лучше по цензуре? Как бы Вы сказали насчет этого?

Вот странное положение человека, и с семьей, который не знает, куда себя деть.

Бывши у Рач-ского, месяца 1½ назад, я рассказал ему, что Акад. Н. забрала книгу Данилевского «Дарвинизм» под предлогом, что она ненаучна; и спросил его мнения. Он сказал, что книга Данилевского вполне научна, заслуживала Макарьевской премии и была отвергнута, очевидно, по пристрастию дарвиниста. И про самого Дарвина он сказал, что в последнем каком-то сочинении (мне показалось «Прирученные животные») он, приводя много фактов, при которых удобно было бы распространиться насчет своей теории, от упоминания о ней воздерживается; и, верно, в конце жизни сам начал в ней сомневаться. О растениях он говорил с величайшим для меня интересом.

О всякой перемене со мной немедленно Вас извещу, а Вы меня — о перемене своего летнего адреса.

Простите, что пишу так мало. Что-то странное делается с «Русским Вестником»: три раза просил я письмом Берга выслать мне оттиски (25 или хоть 10) статьи моей, три раза просил его выслать мне «Русск. Вестн.» как сотруднику, довольно деятельному, — но он и не исполнил моей просьбы и ничего на это не отвечал в письмах, которые, и в весьма любезном тоне, писал мне. Или я просил это против правил? Но уже оттиски — это, кажется, обычай журналов. Он и оттисков «Легенды» мне не прислал в прошлом году. Вам преданный

В. Розанов.

Статью Соловьева читал; не раздражили ли Вы его как-нибудь? Он, очевидно, Вас лично почти ненавидит, и отсюда, а не из литературно-политических соображений вытекает его полемика. Но если имеете достаточно воли, махните на это рукой; ибо при продолжении полемики он Вас не оставит в покое. Еще соображение: он не любит Вас и как члена ученого комитета —

так мне это кажется, и думаю, что это не нелепо. Пл-тону Ал-вичу поклониться; с удовольствием прочел его стихотворение в «Рус. Вестн.».

«Легенду» я бы давно издал, если бы были сколько-нибудь свободные руб. 200, но в течение этих 2-х лет у меня их не было. Думаю, через год, через 2 издать сборник статей: в сущности, они все были небезынтересны; может быть, впрочем, это — самопристрастие.

68

<май—июнь 1892 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Не знаю, застанет ли Вас мое письмо в Петербурге — Вы имеете привычку на лето уезжать к гр. Л. Н. Толстому. Спасибо Вам за распоряжение о высылке мне «Русского Вестника», который теперь я исправно получаю. Вот ведь Вам стоило это одного слова, а я в 3-х письмах писал об этом Бергу, и никакого толку не было; или очень он закрутился, или слишком индифферентен к *иностранцам*. Никаких отписок я, начиная с «Инквизитора», тоже от него не получаю, несмотря на постоянные просьбы, да, верно, и контора у него неисправна, п.ч. я и в контору писал. Но Вы об этом не говорите уже — т. е. не тревожьтесь из дела, которое не необходимо (как получка самого журнала).

Разбор «Мира как целого» — сегодня посылаю Бергу. Вышло 17 стр. (листового формата): думаю, что выбрал у Вас самое существенное и интересное; по крайней мере, то, что меня самого более всего заинтересовало при первом и втором чтении; не знаю, удачно ли самое заглавие: «Идея рационального естествознания». Дай Бог, чтобы она Вас удовлетворила.

Почти наверное осенью, зимой или на будущий год переберусь жить в Петербург. Дай Бог увидеть Вас таким же бодрым, как при рождественском свидании. Приеду с женой и дочерью (10-летней падчерицей). Кусков, шумящий и добрейший, *если не переменился ко мне, чего боюсь*, будет мне Минервой и, в тайне души надеюсь, для моей жены тоже Ментором.

Посылал я Бергу около 20 мая статью «В. О. Ключевский о древней Руси» — всего 12 стр., с просьбой поместить ее в июньской книжке, и он, если бы в принципе решил ее поместить, — конечно, поместил бы уже. А между тем ввиду переезда в Петербург и, след., множества трат — мне каждый свой рабочий день дорог, а тем более 10 дней, которые я провел за статьей. Не замолвите ли Вы ему за меня доброе словечко, не побудите ли его поместить эту статью. Т. к. брошюрка Ключевского уже вышла много ранее Вашей книги, то мне хочется, чтобы и отзыв о ней появился скорее.

Ваш преданный В. Розанов.

Адрес: г. Елец, Орловской губ., против церкви Введения, д. Рудневой.
В. В. Розанову.

Здесь я живу у жены и блаженно пописываю.

<до 25 октября 1892 г.>

Многоуважаемый

Николай Николаевич!

Думал, что уже и не получу от Вас письма — и получил; и на том спасибо. «Пленка благоразумия» (и все, что перед этим, стр. 1^{1/2}) — излишество в Вас рефлексии, обдуманности — она же и источник «правильности» Ваших писаний, от которой они так нравятся уму и правильно ложатся на сердце, никогда не портя его, — и источник их холодности (которой я не нахожу, но другие, как мне и писали, находят). Вообще, если б писать о Вас более полно, можно было бы многое прибавить: Вы слишком педагогичны, польза читателя (т. е. поучение его), а не общение с ним — это Ваш мотив, а Вы знаете, как многие скучают, когда их учат, и как не скучают, когда им высказываются. Это много объясняет в ходе литературы. — Второй Ваш недостаток, постоянное излишество цитат: конечно, нужен ясный предмет спора, а Вы, в сущности, что бы ни писали, всегда спорите; это так, но самый спор Вы ведете излишне часто цитатами же. Это у Вас сделано до такой степени искусно, т. е. целесообразно, что я лишь недавно, нынче осенью, заметил это, просто как-то размышляя о Вас. *Кроме этих двух*, других недостатков в Вас *не знаю*. — Но я не об этом хотел Вам писать: странно мне, что, пища так много, я получаю как-то столь мало. Подумайте: 5 статей в «Русск. Вестн.» (3 о Леонтьеве, 1 о Вас, 1 о Ключевском), 1 статья в «Русском обозрении», 1 (разделенная на два номера) статья в «Вопросах философии и психологии» и 2 фельетона в «Московск. Ведом.» — ведь больше писать невозможно, не следует, стыдно (мне уже и теперь стыдно): больше этого никто не старается, и есть между этими старающимися, которые живут литературою, и Вы сами года два назад мне писали, что при благоразумии это возможно.

И, однако, я получил: 525+120+80+73+56+63=917 р. и еще должен получить рублей 170, всего **1087 руб.**, на что даже в Белом не проживешь, не говоря о Спб. или Москве.

Не можете ли Вы мне сообщить об этом полезных сведений и указаний. Начиная с нынешнего года (со статьи о Леонтьеве), я получаю из «Рус. Вестн.» по 80 р. за лист в 16 стр., и в «Моск. Вед.» по 10 к. за строчку; меня все спрашивают (и даже С. А. Рачинский), по сколько я получаю, и один, на мой ответ, выразил, что это ужасно мало. Да по соображениям, какие я привел Вам, — это я и сам вижу. Не можете ли Вы написать мне: могу ли я повысить цену, сообразуясь как с обычаями, так и с индивидуальными моими особенностями. Грингмут, возвращая мне один фельетон, где я имени не выставил, просил непременно его выставить, пища: Ваше имя стало уже известно, и для газеты существенно важно, чтобы оно было выставлено.

Посоветуйте мне в этом важном пункте и, лучше всего, не очень медля. Буду Вам глубоко благодарен.

Ваш В. Розанов.

<конец 1892 г.>

Многоуважаемый
Николай Николаевич!

Благодарю Вас за письмо Ваше и особенно за присылку книжки, которую я прочел в один вечер. Лучшее в ней, т. е. новое для меня, — это рассуждения об искусстве и его отделенности от жизни, ненужности для жизни теперь; только сочувствие Тэну в его словах: как естественно не существовать, как хорошо не существовать — мне показалось, простите, лишним: ведь все-таки мы не только существуем, но и находим смысл в своем существовании и кой-какие радости. Пессимизм, жажда небытия — основательны, но лишь на краткие минуты особой горечи, какую испытал, напр., Иов, слова которого: «Проклят день, в который я родился» — прочтя все предыдущее — понимаешь. Но мы, люди другого племени и не знойной Аравии (книга Иова, говорят, возникла в Аравии), слишком переполнены, *по крайней мере, памятью удовольствий*, чтобы в самом деле сказать: «Как хорошо не существовать». Я вовсе не из розовых и не обольщен успехами, но не существовать — это слишком громоздкое чувство, головы не закинешь вверх, чтобы осмотреть. Знаете ли, вот уже года 3, как Шопенгауэр, даже напоминание о нем, — для меня самое неприятное из всех в философии: ведь имел же *сей* бабье наслаждение, войдя в трактир и кладя монету на стол, — слушать болтовню милых офицеров, дав слово отдать монету слуге, как только услышит от них дельный разговор. Он-то злился, а они спокойно уплетали устриц. Кто мелочнее был из них, низменнее по душевному содержанию в это время. Конечно, он и еще так мало чуток, что не понял этого и сам рассказал о себе. Нет, нам арийцам дано много радостей, и это мы должны бы признавать как факт, вовсе нас не марающий. Химера в моем фельетоне — правда, кажется, вышла на деле: я хотел сказать ею, что Химерою будет наше отечество, если будет склеиваться из элементов всех цивилизаций, вовсе не соединимых; а такую склейкой и занимаются Дон-Жуаны политики, каковы все наши практические государственные люди. Ведь вот хоть бы Дм. Ан. Толстой и Катков — отличные мечтатели, а какую козью спину вделали в русское туловище своим классицизмом — умопомрачение.

Ваш преданный В. Розанов.

Я послал Бергу статью об образовании — в терминах столь осторожных и общих, что боюсь — читатели ничего не разберут: «нельзя — политика». И ведь вот даже такой, как я, могу быть политиком, если не в действительности (оно бы полезнее), то хоть на бумаге: ну, разве это не арийство? *Argis sum et nihil arium a me alienum puto*¹. Если бы Вы знали, до чего мне надоело сидеть в Белом и просвещать гимназистов насчет рыб в Каспии; в своем

¹ Я — ариец, и ничто арийское мне не чуждо (перефразировка лат. фразы).

роде 12 лет — уже Иов и все же не проклинаю. Грешен, Перст Божий, к лучшему — Он знает и ведает. Нет, нам дано утешение, и мы не *смеем* быть пессимистами. Христианство — есть религия радости, без этого она не спасла бы мира. Ведь стойки сгноили же все — это поучительно. Нет большей противоположности стойкам, как христиане.

Ваш В. Розанов.

71

<1892 г.>

Отсюда вижу, знаю и чувствую, что статья моя понравилась Вам, на боль и Вашего сердца ответила, кою Вы испытывали и молчали, лишь чуть-чуть издавая от нее звуки; вижу это по тщательной, отличной корректуре очень трудной для корректуры по запутанности языка статьи...

Ну, вот выпалил, теперь буду говорить. Между нами, дорогой Николай Николаевич, пробежала черная кошка... Таковою была тень памяти покойного К. Н. Леонтьева; она повлекла за собою и другие тени... Но... Вы много мне добра сделали, и делали его с живым участием (главное — ходатайство о моем переводе в прошлом году, чего никогда не забуду); со своей стороны Вы не могли не чувствовать, что и я к Вам питаю некоторую привязанность, и я понимаю, что это не может не быть дорого всякому живому человеку.

Но почему Вы всегда так мало меня учили? При несравненно тонкой наблюдательности и остроте отделения плевел от пшеницы, каждого, кого Вы не учили, Вы уже как бы враг. Почему учить только печатно? Тысяча глухих слушателей разве заменят одного чуткого?.. Смотрите, со всей Вашей опытностью не ошиблись ли Вы, презирая «единого из малых сих»...

Знаю и отсюда вижу, Вы думаете, что во мне к Вам что-то переменялось за эти 1/2 года. Удивлю Вас, уверив, что нет и что в этом Вас мог бы уверить студ. Михайлов в Спб., кой постоянно со мной говорил, и, наконец, я с ним рассорился... ибо, имея глаза и уши, он не имеет ума, и, все видя и слыша, — ничего не понимает. Я же, будучи беден во всем, — обо всем, на самые различнейшие темы мильон часов думал... и для всего заранее выдумал соответствующую теорию.

Я пишу Вам иероглифами; но именно в последние 1/2 года Вы обнаружили такую чуткость слогу и интонациям, меня изумившую, что с Вами даже и не хочется говорить иначе, чем иероглифами.

В эти 1/2 года я только обиделся раз: что Вы подумали обо мне, будто я из жадности желал бы прибавки гонорара; совсем было не поэтому: мне нужно было для помощи беднейшей моей сестре, живущей в Костроме... Две заметки, касающиеся Ваших сочинений, тоже пришли на ум в эти 1/2 года, но они никакого значения в наших отношениях не имеют. Прочие же основания этих отношений — неизменны, к ним не прибавилось ничего нового...

Ваш В. Розанов.

Советуйте, учите, пока есть раскрытое ухо и чуткое соображение; не пренебрегайте *единым*, из единого растет *множество*, «*ἐν κοί πολλῶ*»... так всегда было в истории.

Это моя теория: при утонченной организации — и легкое заболевание; при обильной поверхности — и возможность изъявлений; при множестве ног — возможность оступиться на одну; при вечном считании — иногда просчет. Не ошибается — кто не искал; не тускнеет — что не было светло, etc. С знанием закона этого какое отношение к душе человеческой совмещается? — думаю, любящее, жалеющее. — — — — —

Дай Бог Вам сил, здоровья и... прежней привязанности ко мне.

Ради Бога, выдержите хорошо и остальные корректуры, да не опускайте ничего, и даже рисунок Пифагоровых штанов — без них же *совершенно невозможно и непонятно все*. Да напишите же мне, если уже не хотите в *тонкости входить*, — прав я или нет в своих суждениях?

72

<1892 г.>

Вы не можете себе представить, что такое г. Белый: это две пересекающиеся друг друга улицы, обе уходящие в поле. Куда бы Вы ни пошли, поле не исчезает из виду, т. е. оно видно через полуразрушенные заборы сбоку. Весной концы улиц затопляются; постоянные ветры, почему-то сквозные, и мы с женой уже оставили попытки гулять, ибо не было почти ни одного раза, чтобы на другой день не были простужены, с головной болью.

В течение вот уже месяца грязь стоит такая, что в церковь, за несколько шагов, приходится ездить, а идя — буквально утопаешь, несмотря на глубокие резиновые калоши. Кругом лес; сам город стоит в яме между небольшими возвышенностями. Жителей 6000. 3 церкви, из коих одна при Духовном училище.

И в этой деревне — громадная, 2-х этажная прогимназия.

Я Вам не писал, все боюсь Вас тревожить: как только меня перевели в Белый, так месяца через 1½ перевели отсюда брата в Вязьму (а брат здесь прослужил директором 11 лет). Округ, без сомнения, обозлен ужасно, как я помимо его и против его воли через ходатайство в Петербурге решил просить о переводе меня из Ельца. За такие просьбы бывали случаи, что учителей погода год-два прямо вытесняла со службы. И вот теперь меня, очевидно, закупили здесь, и уже убеждены, что из этой ямы я не выйду, тут и издохну. Но, кажется, им предстоит ошибиться...

Сам наш Капнист, как мне передавали, и не только учителя гимназии, алкоголик, все передавший Высотскому, кот. в качестве правителя канцелярии, конечно, ни разу не посетил гимназий; Высотский, не будучи дурак, из никому не нужного пирога — я разумею просвещение — устроил себе вкусную закуску, а главное, сытную: он просто продает места, за определенную

сумму, которую нужно передать какой-то известной даме; так место директора стоит 800 руб. — «Куда же Вы думаете меня устроить, Ник. Григ.?» — с таким вопросом обратился к нему мой бывший (наивный) начальник Пышин, — это не попечителю говорится, а простому канцелярскому чиновнику. Капнист — просто красивая, титулованная декорация, выставленная от Округа перед Петербургом. И Москва еще светлее других мест в Отечестве? Что же делается в глухих местах! Что приходится, какие ужасы слышать о недавно бывшем в Казанском округе!

Да, «по России надобно проехаться», как говорил Гоголь. — — Не суйте на меня, что я такое бранное письмо написал, и не считайте меня злым; но затыкать уши и закрывать глаза — это я слишком часто и упорно делаю, и изредка все-таки хочется взглянуть и услышать хоть звук.

Ваш искренний и преданный В. Р.

Не томите же меня таким долгим молчанием.

73

<до 23 февраля 1893 г.>

Радуюсь, дорогой Николай Николаевич, что черная кошка между нами исчезла; ей и, правда, не след. быть. Удивило меня, что Вы приписывали наше временное охлаждение моему литературному самолюбию: если бы Вы знали, как я в этом отношении спокоен, т. е. как точно знаю, *что и в чем* заслуживаю упрека. Вот «Цель чело^в. жизни»: она имела несколько редакций, из коих первую — на студенческой скамье; но я совершенно не умею изменять своих вещей, и послал в «Вопросы» — зная, что *выполнение* до последней степени дурно, но мне казалось очень важным содержание, и я его не хотел хоронить. Также совершенно недоволен я всею второю половиною «Легенды об Инквизиторе», где хороши лишь абзацы, а она в целом — из рук вон плохо скомпонована; это же дурное соединение прекрасных страниц и в статье о Леонтьеве. Безусловно, одобряю я у себя лишь следующие статьи: «Место христианства», «О борьбе с Западом» (статья о Вас), «Заметки о важнейших течениях русской философ. мысли» (в «Вопросах») и из фельетонов — фельетона 4. — Эти статьи я считаю ни в чем не напорченными; все остальные в чем-нибудь да напорчены. У меня и желание издать их так сильно потому, что желаю при жизни кой-что подправить.

Но я удивлю Вас и скажу, что во мне составляет общий недостаток: это схематизм колорита, отсутствие яркой реальности, каких-нибудь запоминающихся словечек. Все мои писания — это красноречивый сон о какой-то действительности, которую я видел и полузабыл; точнее — вижу еще, но так мало люблю ее, так мало привязан к чему-нибудь в ней конкретному, что не нахожу ничего лучшего, как грезить среди ее. Поэтому я не критик в собственном слове — ибо слишком мало люблю критикуемое; не историк — ибо

не знаю истории, и не интересуюсь, по крайней мере, всякими ее частностями, и не философ, потому что вовсе не вывожу и не доказываю своих мыслей. Я только высказываю их; высказать себя — через критикуемое, через историю etc. — есть я. С этим вместе я не могу же чувствовать, что высказываемое мною в высшей степени правда, что эта правда может быть интересна и для людей — это меня почти вовсе не интересует: и, ради Бога, не думайте, что я лгу: ведь буквально я ни одного своего сочинения не перечитывал в рукописи и даже перечитать страницу с начала, когда пишу в конце ее, — для меня труд, полный отвращений: мне нужно только все вперед и вперед. Если б у меня был совершенный досуг (т. е. не отвлекался бы я от этих влечений своих, не рассеивался бы), я мог бы написать прекрасные вещи — это чувствую. Вообще, что я могу стать дорог читателю, интимен — это я чувствую; как дорог себе (а ведь я для себя — читатель, поверьте только) в этом грезящем высказывании: знаю, что это — милое, умное, правдивое, в высшей степени серьезное существо высказывается, что не слушать его, не задуматься над его словами — невозможно; и невозможно осудить его, что бы он ни высказал. От этого при посылке рукописи — у меня никогда никакого страха.

Ну, вот Вам мое *profession de foi*¹. А лучшие мои сочинения — все-таки не написаны. Раз я ехал, на Рождество, в Татеву к Рачинскому 50 верст, и почти все лесом; в поездку эту (весь день) у меня пронеслись такие чудные вещи в голове, коих только смысл у меня остался (а проносились именно слова, именно речи), что я подумал: ну, за это бы памятник поставили. До того это было хорошо, до того благородно, до того должно было стать дорог каждому человеку. Конечно, я был счастлив.

Кажется, я скоро перейду на службу в Спб.

Ваш преданный *В. Розанов*.

Как по отчеству зовут Полонского: *Як. Петрович*? Я так его назвал в письме, благодаря за присылку мне его поэмы «Собаки», — и это ли или другое что его, видимо, обидело. И я, конечно, дурак, не справясь об его отчестве, вздумал ему писать. Но он — мой любимый поэт из современных, гораздо более, чем Майков, который холоден.

74

<после 23 февраля 1893 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Я не только не недоволен Вашими замечаниями «О монархии» моей, но, напротив, рад, что хоть, наконец, услышал Ваши замечания в форме, так сказать периодической, мысле-раздельной. А то все краткие: хорошо, слабо. Еще более рад был бы прочесть их в печати: тогда бы они, конечно, стали

¹ символ веры (*фр.*).

еще более раздельны, *стали бы мотивированны* (теперь не мотивированны) и мне открыли бы возможность поправить свои неосторожности и не допустить публику косо толковать мои мысли (о Грозном, Николае I, Люд. XI). Но писать обо мне Вы, очевидно, не хотите; итак, без всякой кривизны сердца говорю: искренно благодарю и за то, что написали в письме.

Теперь поверьте и Вы мне столь же искренно, что не по самолюбию, но по желанию истины я возражаю Вам следующее:

Вы

1. «Вы верно поняли, что при истинном христианстве никакая политическая жизнь невозможна».

2. «И не видите, что и монархия равно не основывается на Евангелии, как и республика».

3. «Вы порочите древний мир».

4. «И даже не упоминаете, что же представляет новый мир, что он со-
здал. Роль христианства у Вас — только разрушение, и ничего иного, как разрушение».

Я

1. Да; точнее — политическая жизнь должна быть сведена до *minimum* 'а: до защиты доброго и слабого, до общего единения в некоторых, пожалуй, «восторгах».

2. Конечно, не основывается в том смысле, как новое право, — на римском; вообще внешним образом. Но согласитесь, что прообразы христианской монархии заключены уже в Евангелии, и не одни прообразы; покорность лица человеческого, его отчужденность от внешних дел, его обращение только внутрь души своей; сознание себя беспомощным и искание для себя защиты — разве это течет не из Евангелия? И разве это не есть коренные христианско-монархические чувства. Нет, внешним образом нет ни единой связующей ниточки, но внутренне — новая монархия вся выходит из Евангелия, по духу, по смыслу. Нет белых ниток, сшивающих историю; но Вы с Вашей пронизательностью и осторожностью как можете искать их. В Евангелии — корень христианской цивилизации, плод которой — спиритуалистическая философия, изумление перед миром и его познание (Коперник, Ньютон, Кант), и поэзия — *вся личная* (Фауст, Гамлет); это, говорю я, плод, обнаружение внутреннего смысла слов; а кора и листья, внешность — это монархия. Быть подданным, терпеливым, все выносящим, и вместе христианином полным — я могу; быть совершенным христианином и вместе республиканцем — я не могу. Как Вы *внутри себя* этого не чувствуете.

3. Признаю изумительную его красоту, но только внешнюю, — красоту общих форм, а не личности. У меня же все это сказано: II и VI глава: там прямо сказано, что древний человек выше нового, да и много другого.

4. Не только упоминаю, но и указал на самое в нем главное: с христианством пробудилась личность, совесть, субъект; и все, что этим создано, т. е. несравненно ценнейшее, нежели весь древний мир. У меня же есть прямые ссылки на Канта, на Ньютона, но гораздо более тут подразумевается, а история душевного развития Лютера, Лойолы, перелом в чувствах Шекспира, — да и все в этом роде. Ну уж, простите: может быть, я только повторяю других, но во мне-то это — глубочайшее прозрение: в трех строках выражена (названа) суть новой цивилизации, как она не названа в «Истории цивилизации Европы» Гизо. Нет, это озарение, и его послал мне Бог; молюсь Ему и благодарю Его за это. Да и как же Вы этого не чувствуете: Эдип царь и Фауст, стихи Гомера и «Горные вершины спят во тьме ночной... подожди немного, отдохнешь и ты» (к себе). Нет, просто на Вас нельзя не сердиться: вся новая философия (Декарт со своим сомнением) и вся новая поэзия — есть *моя* песнь и *моя* душа, есть вариация отношения человека к Богу.

Но что мотив Ваших возражений в высшей степени благороден, значущ, пусть из самых Ваших сокровенных, наболевших недр — это ясно. Ваше письмо ко мне настоящее — лучшее, что Вы когда-нибудь мне писали, и в нем я вас полюбил больше, чем прежде. Вы трепещете перед полицией, перед пакостью, перед произволом. Живя около всего этого, пережив худшие времена (при Николае), — Вы ощущаете негодование к этому несравненно горче меня, который понимает все это абстрактно (сюда, батюшка, никакая власть не доходит — одни волки да православные). Вот Ваш справедливый мотив: но вспомните же, что я говорю во 2-й статье (февраль) о Леонтьеве, — что бюрократия отвержена перед людьми и не принята Богом. Это напасть, это зло — которое мы должны вынести, чтобы не сгнить в онанизме, в педерастии, в желтых павлинах — и (меньшее и лучшее) в банковых воровствах; чтобы не сойти в могилу. О, дорогой Николай Николаевич, нужно иметь мужество переносить. Всех видов блага получить нельзя; нужно остановить выбор на которых-нибудь; итак, пусть убираются от нас адвокатишки с новыми судами (тут судят епископы и священники), пусть убираются земства и городские думы — и управляют, и немножко обирают, и грубы будут — доверенные люди царя. Эклектизма в истории не нужно — это разложение, гибель, александрийство в истории, немощное в творчестве.

Ну, вот, я распалился. Поистине не могу отказать от счастливой мечты, что «Монархию» мне внушил Бог. Конечно, это пакостно, что сами монархи не понимают своей миссии и народы не могут не презирать правящих ими без идеи флигель-адъютантов. По-видимому, монархии суждено везде исчезнуть (как европ. цивилизации разлагаться), ибо не могут же народы любить и почитать щелкоперов в эксельбантах. *Но нужно внушить монархам их смысл и миссию* — милостивого Самарянина. Вот ведь я какой: что

напишу однажды, скажу другому хотя бы в письме — о том никак не могу писать вторично, кроме как мямляя. И зачеркнул, ибо высказал некую мечту свою, еще не выраженную. Полиции у нас не будет. Статья Кускова очень хороша.

Ваш В. Розанов.

А лучше написать бы мне возражение печатно: и удовольствие, и польза была бы.

Во всяком случае, ко мне, моей статье Вы несправедливы, хотя в мотивах этой несправедливости чрезвычайно хороши. Ваш В. Розанов.

От судьбы Соловьева и его сухой, мозговой софистики — избавь, Боже, всякого; моя идея — вернуть всех к православию реально существующему, без всяких придатков и выдумок. Недавно мать жены моей соборовали (слава Богу, потом выздоровела) — в первый раз видел это таинство, и мы все плакали (и минута же была: она приехала 64 лет к дочери подбодрить в родины — простудилась воспалением в груди, и совсем решили, что умирает: после соборования сейчас стало лучше, и она выздоровела). Это, я Вам скажу, мы пережили все такое впечатление, после которого наплевать на все парламенты, и даже английский с его Magna charta libertatum¹. Все это ложь и ложь, а тут хоть на секундочку я видел праведное приготовление к кончине христианской души. Много чего пережито мною в непосредственных впечатлениях, которых не перескажешь, но плод коих — отразишь (я — в писаниях своих).

Еще раз перечитал Ваше письмо: до чего же оно сурово; и до чего Вы *просто не прочитали* мою статью, не видите в ней самых ясных расчленений, определений, утверждений достоинств за обоими мирами. В чем Вы меня вините? В том, чего я и не утверждаю даже запятою, не только словом; за недостаток чего упрекаете? того, о чем я только и говорю, на чем настаиваю. Но Вы просто не хотите читать того, что написано. Да, я люблю древний мир, как не следовало бы любить христианину, и эту любовь прежде выражал и тут выражаю; но, удивляясь ему, — от него уклоняюсь — к христианству. Да что толковать: есть случаи, когда люди просто не хотят, не могут понять друг друга. *Но я Вас всегда понимал*, что Вы видели и признавали, и мне грустно, что Вы не хотите отнестись к вынужденному миру моей души с равным вниманием, с равным желанием только *понять и взвесить*, хотя бы и осудить. Просто я Вам чужд... Ну, простите Вашего неугомонного, но не дурного же друга. Все-таки в моих словах много правды.

¹ Великая хартия вольностей (лат.).

<до 28 февр. 1893 г.>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Давно собирался прочесть о Вас статью Волынского — и только недавно прочел, и вынес самое неприятное впечатление. Чуть ли это не новая совершенно генерация журналистов: прежде были наивные (Писарев), глупые (Протопопов), озлобленно-страстные (Добролюбов), но еще никогда не было, кажется, подлых. Теперь это зауряд. И, что всего печальнее, человек без всякой веры — берет и тон, и темы христианские. Волынский — и христианство, жулик — и героизм. Но, — Бог с ним. И что всего печальнее — статья имеет и положительные указания; волк умеет носить шкуру овцы.

Вы недовольны мной за предыдущее письмо и его несколько самодовольный тон. Сознаю это и каюсь — и больше об этом тоже нечего.

Ждал-ждал статьи о Вас Лопатина, о коей Вы писали, — и так не дождался, не знаю почему. Уж не была ли она напечатана где-ниб., не в «Вопр. ф. и псих.»?

Из своих новостей скажу серьезную и смешную: первая — у нас дочь Надя, кой $\frac{1}{4}$ года и коя оживляет и радует всю нашу семью. Никогда не мог понять, как можно мысли о людях или мечты о них предпочитать настоящим людям? иначе как можно ценить, уважать и любить искусство и публицистику <больше>, чем свою семью. Мне кажется это преступлением. Еще недавно, нося Надю, закинув через плечо, я думал: до какой же отдаленности от жизни нужно было дойти гг. литераторам, чтобы *измену идее* считать преступлением, а *измену семье, о ней беззаботность* — считать обыкновенным. А по-моему, можно изменять всяким идеям, но не изменяя живым людям. Вот я без должности, грозит голод жене и малютке дочери, которые, знаю, любят меня иначе, чем франко-германо-английские публицисты. У меня — «легкое перо»; мне предлагают участие в журнале, кой я презираю, идеи его считаю вздором. Чему изменить: своей прежней деятельности или семье: о, без всякого сомнения — печатному хламу. Ведь очень честный муж должен же пойти с шарманкой, положим, без всякого сознания ее пользы и служения через нее чему-нибудь; и если в литературе он ее вертел налево — отчего ему вдруг не начать вертеть направо, с мыслью, что вся эта дребедень через 10 лет забудется; а голод малютки и жены — да каких! это никак не забудется. — Кто знал нужду и любит конкретного человека — иначе рассуждать не может. Это я когда-нибудь разовью печатно: подлецы, сколько издевались над мольбой «жена — дети; не гоните со службы». А ведь это самый человеческий крик; ведь разным Акакиям Акакиевичам только это из человеческого и оставалось, вернее — оставлено было; и вот надо же вырвать это последнее: пускай гусиное перо только скребет, и больше ничего — это нужно нам, а его там отеческие потроха — это нам не нужно. Нужно быть очень тупым, чтобы

не питать некоторой доли сильнейшего неуважения к литературе. Нет, это слишком резиновые мозги. Хорошо делал Дост., что почти всегда описывал литераторов жуликами и проходимцами; они таковы и есть — в значительной степени. Ну, смешон, верно, до другого раза.

Ваш В. Розанов.

Я бы Галкина-Врасского с Дрилем повесил — или запехал бы в усовершенствованную тюрьму — для одиночного размышления. В Ельце они одного Акакия отправили в ссылку и буквально пустили по миру жену с семьей. Он там чем-то пользовался около арестантов, и они пожаловались. Воров жалеют, к честным людям беспощадны. Толстой безнадежно выразил это в ответе Алекс. I какому-то, помните, побившему интенданта: «Не могу, и потому не могу, что закон сильнее меня». И не накажет же их Бог. Николаев написал мне приятную статью: не преувеличивает ли он только?

76

<1893 г. Страстная суббота>

Многоуважаемый и дорогой
Николай Николаевич!

Опять хочу Вас тревожить, что, в Ваши лета, Вам не может не быть тягостно; но простите, больше не к кому мне обратиться, и самое дело таково, что Вы в нем принимали живейшее сердечное участие: от Т. И. Филиппова я получил предложение — подать ему просьбу на должность чиновника особых при нем поручений; просьба подана на 1-й неделе Великого поста; вскоре мой формуляр вытребован был попечителем Московского учебного округа, а я получил уведомление от директора канцелярии Государственного контроля о том, что как только будет получен в Контроле отзыв о неимении препятствий к моему переходу из одного ведомства в другое и мой формуляр, я буду назначен на должность, какую мне предназначает Третий Иванович. Это письмо я получил на 3-й неделе поста. Затем все смолкло, но я, обнадеженный, все вещи направил в Петербург, а семью в Вязьму, где брат мой служит директором гимназии. Наконец, после отпуска на пасхальные каникулы я и сам отправился к брату; здесь, по его совету, я послал *вчера* (в пятницу на Страстной неделе) длинную телеграмму на имя правителя канцелярии Московского попечителя учебного округа о том, отправлен ли мой формуляр в Контроль, и получил в ответ следующую телеграмму:

«Формуляр отправлен Департамент просвещения четвертого марта номер 3109. Рохманов», т. е. формуляр мой застрял не у попечителя, как я думал, но в Департаменте Мин. народного просвещения. То, о чем я Вас прошу, заключается в следующем: написав записочку, справиться в канцелярии

департамента, отправлен ли мой формуляр в канцелярию государственного Контроля, если нет, то что это задерживает, что этому может помочь, наконец, когда это приблизительно будет сделано. Простите еще раз, что тревожу Вас; но я нахожусь (правда, от своей глупой поспешности, происшедшей оттого, что зимний путь стал портиться, а мне с ребенком нужно было проехать 120 верст до ближайшей железнодорожной станции, и ввиду обилия снегов нынешний год разлив и распутица обещали быть продолжительными и сильными) в до того неопределенном положении, за полежание вещей 70 пудов, главное книги, в Спб. придется уплатить так дорого, что невольно пишу Вам и прибегаю к Вашей помощи. В случае, если Вы здоровы и Вас не затруднит моя просьба, будьте добры, исполните ее и тогда напишите мне, адресуя письмо в г. Вязьму, Смоленской губ., в Гимназию. В. В. Роз-ву.

Статья моя «О трех принципах» очень слаба; сказать не могу, как я падаю духом, прочитывая подобные вещи свои; кажется, уже и никогда больше не напишу ничего сильного. Мне нужно **меньше** писать.

Ваш В. Розанов.

77

<после 4 июля 1893 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Чрезвычайно обрадовался, получив от Вас весточку — а я было думал, что Вы меня забыли в Эмсе или что я Вам прискучил в Спб.; к счастью, ни того, ни другого. С Соловьем и вообще нападками на славянофилов — подождите: в зиму, т. е. до января, думаю непременно написать статейку по этому поводу, но я люблю всякое новое дело начинать, окончив прежнее: а то работа, если не пропадает, то теряет 90% стоимости (достоинства). Нужно кончить «Афоризмы и наблюдения» (продолжение «Сумер. просв.») и написать статью о Достоевском — к полному собранию его сочинений. Помолитесь в Эмсе за меня, чтобы Бог меня просветил и наставил. Соловьев — сила уменьшающаяся — и в себе, и в оценке общества; поднялся высоко, а сеть собирается в лужу. — Приезжайте скорее. Ю. Николаев написал отличную статью о Ренане в «Русск. Обзор.», и там превосходная выписка из Вас; Вы по избытку рефлексивности очень удобны для цитат. Сегодня был в Казанском Соборе, слушал митрополичью службу. У Пантелеева еще не был — излишне увлекся «Афоризмами и наблюдениями» и совершенно ни для чего, ни для какого дела не мог оторваться, — т. е. в данном случае для печатания своей «Легенды». Теперь, немного только не кончив «Афоризмов», я запрятал их в стол — и начну о Достоевском и издание «Легенды». Паки и паки помолитесь за меня.

Здесь все хорошо, кроме отсутствия Вас; Надя наша хворала легким брюшным тифом, теперь оправилась. Я положительно бодро сморю на будущее (чтобы не сглазить только): кажется, здесь человек, умеющий держать перо в руках, всегда кому-нибудь нужен. В бытность мою в Контроле

заезжал ко мне и оставил карточку Маркс — редактор «Нивы»: это, — так сказать, Мак Магон литературы, жена говорит — чудная коляска и рысаки; не знаю, как и идти к такой птице — он назначил на воскресенье. Но значит же я нужен зачем-нибудь; Вы вот предложили корректуру перевода Андерсена — и это идет; вообще я вижу и кроме сочинительства есть работа строкачом; а это — неустомительно, в этом не оскудешь. Это меня очень утешает, и я перестал бояться голода, холода и нужды под старость; ура, и да зеленеет вся природа надеждами. Особенно при выносливости моей к труду, не пропаду я: ведь подумайте, уже чрезвычайно много лет как я совершенно без усталости, но и вообще без чувства отягощения, усталости тружусь. Усталость бывает вот от сегодняшнего дня, а не вообще, или даже не вот от этой зимы. Вы не сердитесь, что я Вам на маленькой бумажке пишу — зато, кажется, от души. Как приедете — к нам кофе пить, если я в Контроле буду — все одно жена напоит. Кстати, и нотабене: когда приедете, нужно будет возобновить мне знакомство с Ап. Майковым: нужно и поблагодарить его за заботы в свое время о моем переводе (помните, по Вашим словам), да и так нужно быть — ведь я был у него 5 лет назад и неприлично не быть опять. Ну, еще раз целую Вас крепко и с нетерпением жду домой — к Торговому мосту, на Петербургской стороне. Весь Ваш

В. Розанов.

78

<до 4 декабря 1893 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Удивили Вы меня и истинно тронули Вашим письмом: я гораздо более Вашего эгоист, но не менее Вас думаю о ближнем, и от этого, быть может, не так счастлив на сем свете, как можно было бы ожидать.

Статьей Вашей я ничуть не недоволен и, только читая ее, понял, почему Вы ее не написали с таким оживлением, как о «Месте христианства»: Вы пережили когда-то, *переутомились* всеми вопросами, из нигилизма вытекающими или с ним связанными, и Вам братья за них или за книгу, ими задетую, так же несосно, как брат в рот жвачку, однажды выплюнутую. Конечно, Вы правы; и хоть книгу свою я считаю удачно на эти темы написанною, однако самые темы и мне самому несколько становятся противны.

Вы правы, что я очень утомлен и несколько озабочен. Пересматривая, сколько я за год написал, я сам дивлюсь: ведь это целый том статей, 5 в «Русск. Вестн.», 6-я для него же набрана, 3 в «Русск. Обозрении». Так будешь писать — совсем дураком сделаешься. — Итак, отдыхать я буду — после Рождества; до тех же пор нельзя: есть один, *последний* хозяйственный расход, который можно удовлетворить, если в декабре и январе будут мои статьи. — Мне до сих пор было так трудно, потому что у нас ничего не было, т. е. по части платья и белья, как мы приехали в Петербург, и месяцев 5 мы

жили на 100 р. жалования, т. е. прикладывал своих ежемесячно 50. — Но я думаю со следующего года твердо стать на ноги. — Николаеву платить нужно будет в начале марта — там видно будет, как и что делать, т. е. придется ли тревожить Вас. — Во всяком случае, я крепко, крепко жму Вашу руку и целую Вас как преданного старого друга. Варя Вам кланяется. Это 4 декабря (ее именины) мы не будем праздновать, но первое же воскресенье после Ваших и ее именин ждем Вас к себе обедать.

Ваш В. Розанов.

79

<11 декабря 1893 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Не откажите мне: 1) написать рекомендуемое меня письмо фабриканту писчебумажной фабрики Варгунину, у коего я желал бы взять 16 стоп бумаги в 6—7 р. ценою с уплатою через *6 месяцев по отпечатании* моего сочинения «Легенда» etc.; если же таковой срок слишком продолжителен, то через 6 месяцев по взятии у него бумаги. Это письмо лучше всего пошлите прямо Варгунину, а *мне сообщите его адрес*, дабы я мог немедленно к нему обратиться. Переговоры с типографией сделаны: за набор взято 11 р.; все издание, если не превзойдет 12 листов, обойдется около 320 р. (1200 экз.). Вам преданный В. Розанов.

Не сделаете ли этого *завтра*.

80

<декабрь 1893 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Стыдно немножко обращаться к Вам с просьбою, — но *не очень*, ввиду того, во-первых, что отказ нимало не нарушит самых лучших отношений наших и будет понят мною совершенно *точно и просто*: что просьбы Вы действительно не можете исполнить; а во 2-х, что я надеюсь быть очень исправен в качестве просившего.

Мне очень нужно, сроком *maximum* на 8 мес. и *minimum* на 6 месяцев, 200 р.; если у Вас есть совершенно *в этот срок* не нужные, то ссудите их мне. Дело в том, что я надеялся эту зиму пробыть без мехового платья, но наступили такие холода и мятели, неизвестные у нас в Ельце и Белом, что ходить в стеганом на вате платье — не только неприятно, но и можно слишком рискнуть здоровьем; а не рискнуть иногда — не удержишься, да другой раз и прямо необходимость заставляет. К лету у меня по малости соберется, конечно, эта сумма, но вот нужно *теперь* — а теперь: конечно, можно бы попросить у Берга, но мне легче попросить у Вас.

Ваш В. Розанов.

300

Если *да* — черкните, когда зйти к Вам (если *да*, мне хочется это очень скоро, т. е. чтоб к празднику купить). Но, главное, помните, что стеснить Вас мне будет совершенно неприятно и потому почувствуйте себя совершенно свободно.

81

<1893—1894 гт.>

Дорогой Николай Николаевич!

Я только что вернулся из Москвы, где пробыл неделю по делу «Русского Обозрения», и занят теперь более, чем когда-нибудь, тысяча забот, поправок, корректур, хождений etc., etc., так что еще и еще раз прошу простить меня за *не-хождение* («не-делание»); Вас же жду к себе в первое ясное (не дождливое воскресенье) между 2—3 часами дня. Ваш преданный

В. Розанов.

82

24. III. 94

<почтовый штемпель на открытке>

Жене моей, дорогой мой Николай Николаевич, не только не лучше, но она очень плоха: пульс стал падать. Не знаю, что и делать, горе меня преследует в Петербурге. Если я ее потеряю, ни дня не останусь здесь и также брошу ненавистную службу. Медицина здесь — никуда: подумайте, привел ее месяц назад для пустой, ничтожной операции — и вот что случилось. О литературе и говорить не могу — и не до того, и противнее со всяким днем она мне становится. В день как Вы были у меня, я был у Берга и *вымаливал* у него за статью плату; он говорит, что Витте — деспот, кредита нет, а потому — подождите, и надо ждать. Бог с ними со всеми. Теперь к Вам просьба: сообщите на этом же письме адрес Овсянниковой. Я написал ей вчера письмо, а адрес-то в ее письме, которое у Вас. За доброту Вашу крепкое Вам спасибо.

Ваш искренний *В. Розанов.*

83

<до 8 мая 1894 г.>

Дорогой Николай Николаевич! Виндельбанд *нашелся*, но кухарка сбегала — последнее относится к выраженному мною желанию и Вами данному согласию у нас отобедать в понедельник. Итак, наш дорогой Николай Николаевич, — приходите в понедельник или кофе пить, или вечерок провести. Ваш искренний

В. Розанов.

Пишете ли Вы летом? Если — да, есть ли у Вас тема? В отрицательном случае, подарил бы Вам первый и единственный (авторский) экземпляр «Легенды» для разбора — ради Бога, с пространными поучениями и Вашей собственной философией истории, религии, человеческих дел.

84

<конец июня 1894 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

У меня к Вам большая просьба: если, возвращаясь сюда через Москву, Вы зайдете в редакцию «Русского Обозрения», — не откажитесь узнать от Александра, думает ли он печатать посланную ему 2 месяца назад, и ответа никакого я не получаю, мою статью «Афоризмы и наблюдения» (продолжение «Сумерек просвещения»): для меня это вопрос о хлебе *насушном*, ибо с Бергом отношения тоже расклеиваются. Вообще материальное положение мое тревожно; поверит ли кто, что, выкуривая папиросу, я из окурка табак тщательно собираю опять в ящик, чтобы вторично его курить. — — —

Это главное; приключение с «Нов. Вр.» Вы, верно, уже знаете; я виделся с Бурениным за 2 дня до выхода фельетона, и он меня предупредил: «Я ругаю Вас ужасно, вот в пятницу получите»; я говорю: «Ну, что же, дело литературное; не примете ли от меня фельетон задуманный: «Санто-Казерио и виды на будущее в Европе» (удачно вышел)»; — «Принесите — посмотрим»; выходит его ужасный фельетон, который, говорят, в Контроле нарасхват читали, и это единственно неприятная его сторона, т. е. это дает пищу для злословия маленьким недругам. Но я уже погружен был в Казерио и буржуазный вопрос в Европе, пошел к Буренину и мило побеседовал с ним часа 2; он очень *порядочный человек* — его фельетон — жест отплаты за Соловьева; за средство косвенно «ругнуть попов» (их я не могу ругать, но буду ругать Вас, сказал он мне при первом свидании).

Оттиски статьи своей только что получил и посылаю Вам, а один — глубоко уважаемому Л. Н. Толстому; знаю, что с непотивлением я радикально разошелся, и вот, подите же: я могу указать 10 мест в соч. Л. Т-го, в «Смерти Ив. Ил.», во «Власти тьмы», «По поводу переписи в Москве», где Л. Н. стоит НА ПОРОГЕ моей нетерпимости. Вл. Соловьев тоже меня хорошо понял: «Он хочет *чистого понедельника*», — заключает он обо мне «Конец спора»; ну да, и кто же скажет, что это несвоевременно, кто упрекнет меня, что это дурно!!!

Шперк, бывший у Соловьева, передал мне, что большую статью мою, Вам посылаемую, Соловьев передал для возражения Саломону. — Говорят, это серьезный противник, что меня лишь радует, ибо не победить ишу я, а убедить — через хороший спор с умным противником. Целую Вас крепко, крепко. Варя Вам кланяется; оба желаем здоровья Ясно-Полянскому Иову.

В. Розанов

<июль 1894 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Как здоровье? Что делаете, как самочувствие? Только что вернул Кускову «Северное Обозрение» — с дневником Амьеля и предисловием к нему Л.Н.Т. Что за странное дело, или я ничего не понимаю, или, или... Что за нужда *томиться* о религии, *искать* ее, нежели в радости и спокойствии продолжать держать в руках *найденное* сокровище. Амьель бесконечно глубок и прекрасен, но ведь и бесконечно *несчастен* — это видно из каждой строки его дневника. Зачем же народ, толпу кидать в это несчастье, когда, *пребывая в церкви*, склонив *покорно* голову (и Амьель говорит, нужно *послушать* Бога, покориться), — весел, радостен и потому бодро трудится. Да дайте *не* Амьелю его скорбь, его тень душевную (относительно видения Бога), его бессилие — и мужик, чиновник и пр. станет, из жажды во что-нибудь конкретное, *осязаемое* поверить, — нигилистом красным или белым, или скорее еще этого просто удавится. Не знаю, блуждает ли ум мой или тысячи чистейших людей заблуждаются. Просто Бог оставил за непослушание человека, как некогда Саула; весь XIX в. — Саулова история с народами.

Читали мой ответ Л. Тихомирову? Ругали меня, хвалили ли? Во всяком случае, поцеловать следовало. Я в самочувствии своем доволен. К подлецу Бергу моя больная жена должна была поехать и просто потребовать у него напечатания, после того как он 2 месяца не печатал и третий хотел провести меня за нос.

Я все пишу глупости — а Карно? Ужасно и знаменательно, и грозно относительно будущего. Да чем же, какую высшую верую, чем нигилистическая, Западная Европа спасется от этого ужаса? Спасение — в добром, ласковом, мудром учении восточных отцов церкви.

В «Р. Обозр.» послал статью «Афоризмы и наблюдения» — с Бергом невозможно вести дела — с голода подохнешь; ибо жалованья на приличие не хватает, а с дачей и болезнями — и говорить нечего.

Варе раза 2 становилось нехорошо, показались признаки выкидыша, и первый — от разговора со скотом Бергом; она высказала ему много резкого об отношении ко мне, и прямо потребовала или вернуть статью, или печатать в июле. Он и напечатал; недели 1½ ей пришлось лежать недвижимо в постели (единственное средство от выкидыша) и теперь слава Богу.

С трепетом спрашиваю Вас — начали ли или хотя решили ли написать разбор моей «Легенды». Ради Бога, милый, мне так хочется и нужно видеть Вашу оценку, беспристрастную и издали. Прямо забудьте, что знаете меня; вообразите чье-нибудь лицо на месте моего; можете по поводу «Свободы и веры» обругать, вообще *критикою* в смысле бранного журнального жаргона я нисколько не тягочусь; но думаю, за недостатками у меня есть и достаточно хорошего, чтоб и об этом сказать. Я жду абсолютно сво-

бодной внутренне статьи. Наш адрес: по Финляндской дороге, станция Шувалово, Первое Парголово, дача № 156.

Ваш искренний *В. Розанов.*

Варя Вам кланяется и желает отдыха и здоровья — я тоже.
Отпуск на 1½ месяца мне Варя выпросила и дали.

86

<до 9 ноября 1894 г.>

Дорогой и милый
Николай Николаевич!

С тех пор как скверная болезнь захватила Вас, бедного и незаслуживающего никакой боли, никакого страдания — так хочется Вас постоянно видеть, все представляешь себе, что Вы томитесь, или опасаетесь, или вообще Вам нехорошо. Не забывайте, что мы постоянно дома и постоянно о Вас думаем, — я и жена. Итак, если Вы не забыли своих слов, что вечера у Вас — пустые и Вы иногда скучаете, знайте, что поскучать с нами будет не так скучно; но с тем вместе несколько не торопитесь и вообще не утруждайте себя — вспоминайте о нас последних.

А я стал оканчивать о Вас статью; простите, никак не могу разбирать Вас конкретно, но — что Вы за человек в мире, куда идете, почему. Просто так устроена моя психика, что иной угол зрения на вещи и человека есть то, «чего я не могу сказать» (помните Фейербаха), что для меня невыговариваемо. Пусть другие разбирают Вас конкретно; думаю, что в этой статье и в первой о Вас, по поводу борьбы с Западом, я цельный Ваш образ очерчу полно. — Да хранит Вас Бог.

Ваш любящий *В. Розанов.*

В воскресенье, если не пойдете к Ивану Павловичу, — приходите к нам обедать.

87

<декабрь 1894 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Посылая к Вам предыдущее письмо — я совсем забыл, что ведь Вы уезжаете в Москву; быть может, лишь сегодня или завтра Вы вернетесь из нее, — это письмо придет не поздно, чтобы сказать Вам, что хлопотать насчет денег не нужно: жене я купил меховое, и это было моею главною заботой. В Новый год я имянинник, и если у Вас будет досуг от тысячи визитов — прошу Вас к нам обедать.

Ваш *В. Розанов.*

Надеюсь Вас видеть в полном здравии и наилучшем состоянии духа и «великолепном течении мыслей».

88

<1894 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Вы обещали поговорить с А. С. Сувориным насчет напечатания моей статейки об *Андерсене*. Теперь, верно, он вернулся из Берлина, и не можете ли Вы исполнить моей просьбы. Варя лежит в больнице, ей во вторник произвели операцию; удивительное терпение у ней — она даже скрыла от нас день операции. Так-то простые люди лучше нас, умников.

Ваш искренно *В. Розанов*.

89

<1894 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Хитрейшая мысль овладела мною — с Вами вместе или лучше — Вам со мною вместе издать

«Философскую хрестоматию,
извлеченную из лучших русских трудов по философии».

2 т. Спб. 3 р. 50, —

где мы можем не обойти даже трудов Н. Михайловского (говорят, у него хорошие статьи о прогрессе), — но, вообще *искусно смешав ихнее с нашим* и тем

обеспечив себе поддержку *их*, злодеев, провести и идеалистические принципы в большую публику.

Друг мой, Вы утомились и писать не хотите, но для философии в России, тоже для философского образования, можете еще сделать весьма и весьма много. Ваш искренний

В. Розанов.

С будущей осени могли бы этим заняться.

90

<после 14 апреля 1895 г.>

Дорогой Николай Николаевич! Благодарю Вас горячо за труд прочтения моей рукописи и хлопоты по ее отправке Вишнякову. Представьте, Берга я видел в понедельник, и он, трясая меня за руку и смеясь, сказал, что все, что он говорил против статьи в «Имп. Общ-ной пользы», — он говорил только для Вишнякова, и я это не должен был принимать в расчет. Между тем он меня порицал, и представьте такое глупое положение! Уж эти петербуржцы...

305

И не поймешь у них ничего, и ничего, в сущности, не надо из тех хитростей, какие они делают.

Завтра в воскресенье около 12 часов я буду у Вас — Вы, верно, приглашены на молебен, я тоже, тогда поедемте вместе, и мне по дороге зайти к Вам. Ваш искренно В. Розанов.

91

<апрель 1895 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Очень мне тяжело Вас беспокоить, и хоть срок уплаты за печатание «Легенды» давно прошел, я просил Николаева повременить до крайней для него необходимости. Теперь, очевидно, эта необходимость для него наступила, и сегодня я утром получил от него письмо, которое при сем прилагаю. Сам я уплатил Варгунину $135+4=139$ руб. и ему, как видно из письма, 47 р., всего = 186 р. — Без какого-либо затруднения я в силах буду заплатить в течение года, т. е. считая по 1 мая 1896 года, и эту сумму 247 руб., и вся трудность для меня не в количестве денег, но в сроке уплаты. Итак, дорогой мой, не очень строго попеняв на своего покорного слугу и питая полную уверенность в его денежной точности, не будете ли Вы так добры ссудить меня на один год, по 1 мая 1896 года, суммою 247 руб., без чего я буду поставлен не только в трудное, но и в совершенно безвыходное положение. Я взял у Вас срок годовой — это максимум, что мне нужно, и вероятнее, что я, выплачивая Вам долг маленькими суммами, успею окончить уплату ранее. — Будьте добры, известите меня письмом, как Вы решите, и если да, то когда мне к Вам прийти. Выручите из беды Вашего неугомонного, назойливого и Вам искренно преданного В. Розанова.

Боясь маленьких недоумений, я Вас должен предупредить, дорогой Николай Николаевич, что сверх этого обязательства, какое я Вам делаю, у меня есть маленькая задолженность еще:

по ломбардовым квитанциям $15+3+23=41$ р.	
Суловой (первой жене, просила письмом)	— 50 р.
М-ме Машковой	— 17 р.
Комарскому, доктору	— 50 р.
Еще одному человеку (портному Федорову)	— 40 р.
— стыдно признаться.	
<hr/>	
Итого	— 198 р.,

которые все я буду уплачивать параллельно с Вашим долгом. Так что Вы не удивляйтесь и не осуждайте меня, если, получив из редакции много, я буду платить Вам все-таки небольшую сумму. В год я, наверное, растрясусь со всеми долгами. У меня, по крайней мере, никакого страха за это нет, ибо в одну эту зиму я сделал:

1. Шубу зимнюю Варе	— 160
2. Шубу себе	— 80
3. Шубу Шуре	— 28
4. Выкуп вещей из ломбарда: 32+15+10=57 р.	
5. Роды Вари с доктором и акушерке	— 55
6. Крестины у Шперка	— 10
7. Вдове брата послано 25+25	— 50
8. Плата за ученье Шуры 45+45	— 90

530 р.

Вы видите, что платежные силы мои совершенно исправны при здоровье и сговорчивости редакторов печатать статьи. Ваш искренно любящий

В. Розанов.

92

<1895 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Очень порадовался я за Вас, прочтя сегодняшний фельетон Буренина; да — он добрый малый и честный писатель, т. е. говорит то, что находит справедливым и для общества нужным, вразумляющим.

А мой фельетон о Леонтьеве Суворин не принял. «Я не могу печатать того, что не понимаю», — пишет мне умный старик, хотя излишне простой, элементарный. Конечно, он прав, и я не сетую. Эта дьявольская во мне темнота, не знаю, что с ней делать; ведь я понимаю, что она не оттого, что я излишне умен; это все мое красноречие. Не умею ничего писать в простоте. Я антипод Ваш.

И все-таки Вы меня любите, таковы добродетели нашего времени. А так как в среду я, помню дивный рассказ Толстого «Альберт», — пошел слушать «Сомнамбулу», о коей так говорится маняще-загадочно, а Вас повидать мне очень хочется, то, если здоровы Вы, воспользуйтесь дивною погодою в воскресенье и пожалуйста к нам завтракать или обедать; а лучше всего, если Вы не отозваны никуда обедать (я боюсь Зверева), то завтра предупредите открытым письмом

Вашего искреннего *В. Розанова,*

— ибо жене неудобно приглашать Вас на суп, на другое что, чего Вы не любите, — как и мы стараемся говорить своим читателям именно то, что они любят. В воскресенье же у меня будет мой бывший ученик — буддист, и мне хочется, чтобы Вы на него взглянули. Он Вас как писателя, кажется, очень и очень знает, по крайней мере, выразил удовольствие, когда узнал, что у меня может Вас встретить.

1895

Дорогой и уважаемый Николай Николаевич! Посылаю Вам Ле-Бон<a>, которого вчера получил от Мелье. По *resumé* содержания видно, что книга, правда, очень интересная; там, между прочим, есть: «Les hommes de savoir n'ont aucun influence sur la civilisation»¹ (или progres — уж извините, некогда справиться). Это мне всегда казалось так; но простите, Вы излишества не любите, и, верно, я Вас раздражаю. Для Вас будут интересны главы: применение к психологическим типам рас методов классификации в естествознании. Опять, верно, я путаюсь не в свое дело.

Все время нет-нет я и вспомню, что причинил Вам огорченье своей статьей, а 3-го дня от Соловьева («Теория волевых представлений») узнал, что причинил и большое. Но буду рассказывать по порядку (помните, как Вы в больнице писали: рассказывайте!). Только что Вы уехали, получаю я письмо от Ник. Ник. Новикова, члена по делам печати, и он пишет (он знает о Вашей болезни, а что мы знакомы — не знает): «Если при нем (т. е. при Вас) найдется человек, который ему прочитает Вашу статью, какое утешение далекое-неземное доставила бы она ему». И верьте, Николай Николаевич, мне именно с *этим оттенком* удовольствие и хотелось Вам доставить, т. е. каким-нибудь образом показать, до какой степени сами Вы мало виновны в неуспехе своих трудов в столь продолжительное время, что я и наблюдал, давая их читать, даже не глупым на поверхностный взгляд людям: просто не понимают, не кажется им ценным, удивляющим то, что ценил я и меня удивляло; именно что-то провиденциальное было в судьбе Вашей, Данилевского до войны 77 г., Ап. Григорьева до сих пор, да и, вспомните, Пушкина до 81 г., когда его сочинения даже *не издавались*, и грусть Агассиса: «Никогда, никогда я не думал, что это болото несообразностей, дарвинизм, получит такое быстрое признание». Десяткам умов возвышенных и одиноких характеров мне хотелось сказать: «Примиритесь с судьбой своей; Ваши усилия прекрасны и возвышенны, но Бог сильнее Вас; и Он мудрее Вас и лучше знает, что нужно человеку; на эти 40—50 лет нужна не истина, но отдохновение; истина же трудна, влечет человека к размышлению и всячески утомляет его». Кроме того, мне хотелось позлить вершковых рационалистов наших и ученых — «естествоиспытателей», сказав: «Вы спали, и это было благотельно». Вообще множество самых превосходных горизонтов открылось мне с этою мыслью, но я вижу, все вышло несколько не так. Но буду продолжать выписку из письма Новикова: «Вы написали превосходное философское и поэтическое объяснение его (Вашей) судьбы. И радостно мне было читать высокую правду в Вашей статье о достойнейшем и скромнейшем в наши дни писателе-человеке. Как обидно и то, что наше сонное общество не читает ничего, кроме всеопустошительных газет. О, если бы оно

¹ «Ученые не оказывают никакого влияния на цивилизацию» (фр.).

читало: одна Ваша статья оплодотворила бы его творческим разумением жизни и нашей действительности», — затем сам больной (большое сердце) просил к нему приехать на дачу. Я поехал. Там у него был какой-то высокий старик Илья Ильич Ростовцев, знакомый Корнилова, и ужасно оба расспрашивали о Вас, а Ростовцев говорит: «Я не поеду к нему, ему так трудно теперь говорить», и сколько я их обоих ни уверял, что Вы веселы, как я Вас давно не видал, — они, как старые бабы, раскудахтались и ничего не хотели слушать. Но они очень добрые оба и очень душевно теплые. Я порадовался за российский народ и уехал, а за статью свою, т. е. что она Вас не должна огорчать (т. е. что Вам и не следовало писать, как Вы говорили, — это чудовищная мысль, в самом деле!), — успокоился, подумав: «Вечно Ник. Ник. (т. е. Вы) напутает с излишним разумничаньем и только меня расстроил».

Вдруг 3-го дня встречает меня на лестнице Тим. Соловьев (в Контроле) и говорит: «Ну, батенька, что же Вы про Страхова-то написали». — А что, хорошо! — «Как же хорошо, Вы пишете, что он не сказал ничего нового и ничего не сделал». Я — так и сел на лавочку, ибо это была правда. Но тут виноваты Ваши слова, Николай Николаевич, которые Вы мне сказали, когда я был у Вас и мы очень смеялись: «Когда меня не будет, скажите обо мне: он был один трезвый среди пьяных». Это к Вам очень подходит и Вас очень выражает, и вот — 2-я тема моей статьи была развитием этих Ваших слов, но Вы видите, так неудачным, что Вас от меня защищают люди, в 1000 раз менее любящие Вас, чем я. Я стал Соловьеву и так-сяк объяснять, но чувствую, что ничего не выходит. Мне только отрадн одно, что философ будет оспаривать мою статью, с нею не согласится; а обыкновенный человек — не увидит того, против чего нужно спорить. — — Удивительно, как иногда пишешь не то, что ожидаешь что пишешь. Мне хотелось объяснить Вашу судьбу и показать Ваше духовное смирение и нравственную красоту в век не только глупый, но и нахальный.

Не писал бы я этого, не тревожся за Вас и не чувствуя себя как бы померкшим в Ваших глазах. — Теперь у Вас так хлопотно, свадьба; боюсь, не утомили бы Вы себя. Майков еще о Вас спрашивал письмом, и я написал ему, как и когда и куда Вы уехали. — Ваши статьи, дорогой Николай Николаевич, не имеют и малой цены против того, чего стоит Ваша душа. То, что Вы написали, может написать и другой, столь же осторожный, размышляющий, сведущий, как Вы. — Но так, как Вы отнеслись к Ап. Григорьеву, Данилевскому, Толстому, — указать на другого и отойти в сторону (или на Вашего знакомого, чудесного критика в разговорах, коего Вы, так сказать, пробудили из могилы в статье «Исторические взгляды Т. Рюккерта и Н. Я. Данилевского») — никто не мог бы повторить. Это — черта XVII века, века классического духа, когда себе ничего не искали: и я его за это без памяти люблю. В XIX в. все немножко проститутки (и аз грешный), все мы тянемся перед миром и жаждем: «Рассматривай нас», «не правда ли, как мы занимательны?», «как умны», «как меланхоличны: вы понимаете ли, отчего у нас скорбь?» Это просто историческое неприличие — весь этот паршивый XIX в.,

и в особенности его пессимизм, *Neltschmerz* и т. п. пакости. Помните ли Вы, как Шопенгауэр, приходя обедать в трактир, всякий раз вынимал и клал на стол талер, дав себе слово подарить его слуге, как только 2 рядом с ним садившиеся офицера заговорят «про умное». — «Но я всякий раз брал талер назад», — великолепно повествует он в воспоминаниях. Но сколько эти офицеры были толковее его; ведь кто был глуп из них 3-х тут, то именно «пессимист»: пришел обедать — нет, подавай ему скорби; пришли болтающие офицеры — «зачем они не говорят умное». Этаким злобствующий Смердяков. Вот Ницше сошел с ума со своим «умом», и хорошо сделал, туда и дорога, и всех их туда провалит Господь, а мы одни, смиренномудрые, останемся на земле и, поверьте, без *тех* скучать не будем.

Жду не дождусь, когда Вы приедете; жду не дождусь, когда увижу Вас у себя. И непременно хочется сняться с Вами. Статью про Толстого прокорректировал; 2 раза сам прослезился; но, может быть, опять глупость. Целую Вас крепко, крепко, мой дорогой. Поправляйтесь, а главное, не *утомляйте* себя. Просто сидите в саду и смотрите на красоту Божьего мира, никуда не спеша, ничего особенно не думая и не размышляя. Отдайтесь «похоти глаз» («Поездка на Афон») — это самое здоровое и наименее нас обманывающее. Ваш любящий

В. Розанов.

Вы знаете, как мне дорого всякое Ваше письмо, но жаль Вас утруждать. Итак, не пишите мне ничего, но только не вспоминайте обо мне дурно, неуважительно или даже равнодушно, а лучше ничего не думайте, а когда подумаете изредка — то хорошее. И Вам самому легче будет. — Я люблю свадьбы смотреть — точно дерево молодое сажают или картофель по весне садят. Что же тут плохого? Божья жизнь. Был я и у Кускова; без должности скучает и как-то прибирается, экономит в квартире, точно в сундук складывает, готовясь умереть, вещи и сказать: «Вот, деточки, берегите же, мне трудно все доставалось». Так-то проходит наша жизнь; и подойдет то, о чем еще вчера ничего не думал. Удивительно, как я ни о чем насчет будущего не подумал. Все мятешься ерундой. — У Майкова я выпросил большой портрет, за труды корреспонденции. — Видите, и у меня есть «культ прошлого».

94

<не ранее сентября 1895 г.>

Вчера только, дорогой Николай Николаевич, узнал Ваш адрес от знакомого Вашего и Данилевских, служащего в Контроле (молодой человек, видел его у Вас в больнице), — и пишу Вам. Здоровье Ваше хорошо, как я слышал, и, след., *все* для Вас хорошо теперь, ибо в нем центр Ваших забот и внимания, по крайней мере, должен быть. Мои, слава Богу, все здоровы, вернулись из Ельца; Варя замечательно, не узнаваемо поправилась нерва-

ми, и я вижу ее опять веселой, чего не видал уже много лет. Крестница Ваша, которая до отъезда была некрасива лицом и кричала сердито, почти злобно — потеряла эти непривлекательные стороны души и тела, и мы теперь на нее не налюбujemyся. С нетерпением я жду дня, когда мы сможем подняться к Вам в дом Стерлиговой, чтобы увидеть нашего доброго друга и доброго папку.

Прочел я на днях статью Ап. Григорьева — из «Истории литературно-го застоя», очерки нашего мракобесия — и подумал: ну, брат, и ты же трусил г. — бова и *tutti quanti*¹: ведь он осторожно защищает Бурачка и Загоскина, — а прочитав у него же о Бейроне и *демонических* натурах — увидел, что «слогом новым» и с философской подкладкой он, в сущности, повторяет Бурачка; итак, «мракобесие» — он написал для завлечения читателей или, по крайней мере, чтобы их не оттолкнуть от статьи. Сын его в «Книжках недели» (кажется, сентябрь или август) окончил статью «Одинокый критик», — где рассказал трогательно его смерть. Статья сына замечательно хороша простотой, непритязательностью, теплым отношением к памяти отца; и т. к. «Книжки недели» всеми читаются и имеют до 8 000 подписчиков — без сомнения статья эта будет иметь большое, быть может, огромное значение для распространения идей, памяти, вообще имени Ап. Григорьева. Мне даже захотелось тиснуть отзыв об этой статье, чтобы еще помочь, но решительно некогда («за множеством открывающихся горизонтов») литературных. Не успеешь схватиться за одну тему — другая перебивает внимание — и бросаешь первую статью неоконченной. Тут шумит Штевен (в «Вестн. Евр.»), тут Алексей Веселовский написал симпатичную, но недалекую статью «Гоголь и Чаадаев» в сент. «Вестн. Евр.», и я в Контроле же, даже не дочитав статьи, написал ему «Открытое письмо» по поводу «многострадального Чаадаева», как он выразился. Удивительно, много удивительного на свете, но самое удивительное — человеческий ум, его аберрации. — Вы, конечно, меня ругаете за статью о Толстом, но меня уже столько в Петербурге ругали, частью печатно и, главное, — устно (раз даже со скандалом), что я решительно не хочу слышать от Вас брань. Я заговорил как христианин с христианином, как Федор Подавальщик² (в «Анне Карениной») с Левиным, не надо, не литературно, не годится для чтения на литературном вечере — ну и наплевать.

Только слыша в Петербурге лошадиное гоготанье насчет «литературности» и «нелитературности» выражений — я страстно, глубоко, как еще никогда, понял Толстого в его отрицаниях, в его презрении и самозаклучении. Я все сужу о жизни по своей милой семье, по близким, дорогим, великодуш-

¹ ему подобных (*ит.*).

² Почему-то я верю интуитивно, что один только сам Толстой не увидит обиды в моем обращении на ты и в укусах ему — кроме двух — об *œuvres completes* и «выискиваний, где бы вкуснее укусить»: хотя это наиподлинная правда, но он отвергнет это.

ным людям, не заглядывая в «салоны» и на мудрые «вечера». Толстой бывал там — и в самом деле может иметь основания для своего страшного отрицания. Я же очень дурного, худшего, чем к чему способен сам, не видел — поэтому люблю и уважаю жизнь. Простите, что утомляю Вас всей этой чепухой — но в Крыму, среди «природы», я думаю, Вы развлечетесь и «людьми». Прощайте, мой дорогой и неоцененный, крепко, крепко Вас обнимаю и целую. Вас любящий

В. Розанов.

95

<1895 г.>

Дорогой и неоцененный Николай Николаевич! Две среды я у Вас не был — и собирался непременно быть сегодня, — но крестница Ваша захворала вчера к ночи, так что сегодня чуть свет звали доктора. Без всяких почти предварительных приступов (был сильнейший только насморк) — мечется, плачет, впадает в забытие и несколько раз уже была рвота. Доктор еще не был, но предварительно велел обтирать голову мокрой губкой, поставить кругом живота согревающий компресс и клистир. И я бы все-таки не так беспокоился, если бы ее забытие и рвота не напоминали очень болезни умершей нашей девочки Нади. Простите, поэтому, мой дорогой, Вашего душевно преданного

В. Розанова.

96

<1895 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Все, слава Богу, обошлось благополучно, и ничто страшное Вашей крестнице не угрожает. Хочется мне повидать Вас, и завтра в пятницу вечером я к Вам приду, — если, будучи чем-либо заняты или куда-нибудь попрощены, Вы не предупредите меня (через Вальшева) о неимении этого вечера в свободном состоянии (какой язык — *horribile dictu!*)¹.

Ваш преданный *В. Розанов.*

Простите, что без конверта, — в Контроле дают только саженные для отправки «бумаг». Кажется, «Русское Обозрение» задержали и, верно, опять из-за моей статьи о монархии. Пренеприятная история, если так.

¹ страшно сказать! (*лат.*)

<1895, осень?>

Удивляюсь я истинно и глубоко, Николай Николаевич, как Вы — человек не очень твердый в вере и вообще *libre penseur*¹ — находите в душе Вашей истинно христианские, самые чистые и праведные слова («Господь дал — Господь и взял» — в письме Вашем и все место перед этим — о здоровье, о силах). Я как будто тверже Вас в вере — но у меня столько малодушия и животного страха перед болезнью, перед смертью себя или особенно близких себе; я до того не выношу всякой боли; причем же в самом деле вера? И неужели нервы, «эти хвостики», «Бернары» (помните — Митенька Карамазов у Достоевского). Брр...

Да, мой дорогой, но как же Вы осуетились: все еще думаете о новых работах: Вам предлежит главная: составить указатель имен и предметов к Вашим изданным сборникам статей: это удешевит их цену и долговечность. Никогда тогда не устанут справляться с писателем, который всегда думал, обо всем думал и думал только хорошо. Вы прежде всего — критик, оценщик в великом ломбарде человеческих знаний (знаю этих оценщиков — т. е. в ломбарде, ужасные животы); а люди так торопятся жить, что скоро ли возьмется, да и для чего им возьмется, за великого критика? Ему подавай теории, все горизонты, струны звенящие. Это слабость человеческая — но она есть. И вот для слабых — так и нужен указатель; прочтя 2 страницы Ваших — невольно прочтешь и 12; Вы будете, т. е. в составе Ваших суждений, известны и войдете в обиход мысли нашего общества — с указателем; без него Вы станете стоять на полках у немногих, которые «полнобоят некогда истину и размышление». Если бы Вы *составили* только указатель — я бы уже издал его, на свои средства, и безусловно верно. Но я уверен — Вы этого не сделаете; в самом существенном Вы вдруг становитесь распушенны, negliжерничаете, как и всякий «православный христианин» из Запорожской сечи Гоголя.

Тон Вашего письма удивил и обрадовал, и неужели чутким сердцем Вы догадались написать, а не написали случайно... Я эти дни думал: как увижусь с Ник. Ник., как позову его к себе, как решусь прийти к нему; как мы снова сойдемся и как бы *познакомимся* — до чего я предполагал в Вас от моих необдуманностей гнев на себя — и нет никакого гнева. Спасибо Вам; Рачинский в каждом письме о Вас спрашивает — я писал ему про Вашу болезнь и операцию — и выражает самое горячее участие и сожаление, но я ему после последних слов Стахеева, что Вы хорошо чувствуете себя, — написал успокоение. Да, не сделать *зла*, не *огорчить*, не *раздражить*, не *растроить* — это в истории и жизни ценнее, чем взять город приступом. Монтескье сказал: «Счастлива страна, которая не имеет истории»; а Вы все хотите событий; Вы хотите еще писать; писать — это бедствие, это — ненужное; я пишу отчасти для жизни (для денег) и отчасти оттого, что все придуман-

¹ вольнодумец (*фр.*).

ное у меня нисколько не держится в голове — сейчас нужно говорить или писать. Но поверьте, если б $\frac{1}{2}$ или 1 год мне не писать, я бы истинно счастливо пожил — с женой, детьми, изредка в театре, в гостях, в беседах, разговорах, занимаясь текущим, живя «похотью глаз» («Путевые заметки об Афоне») и «сладострастием слуха».

Ну, мой добрый и милый христианин, целую Вас и прощаюсь — ибо каждая минута дорога, завтра 20-е, а Вишняков, «совершенно убитый фельетоном Буренина» (не сердитесь, ведь он прост), по словам Берга, на мои слова, что «можно бы объяснить тон моей статьи в маленькой заметке», — обрадовался и попросил ее. Прощайте же. Ваш В. Розанов.

Не понимаю, не постигаю — как Вы можете уезжать так скоро из Крыма? Там же ведь чудная погода; и здесь изумительно хорошо, Чухонская Ломбардия — так удачна нынче осень. Но, конечно, не Крым, да и, верно, скоро пойдут холода и сырость. Варя и Таня Вам кланяются, а Таня и целует крестного папу.

Очень бы мне хотелось выехать встретить Вас на вокзале — я так засиделся, что мне нужно *искать* поводов выехать, выйти; если бы Вы телеграфировали из Твери или Москвы — одолжили бы. Я Вас отягощать не буду — только попьем чаю на вокзале и разъедемся.

Адрес: Спб., Павловская, дом Ефимова, Розанову. Еду. Страхов.

<1895 г.??>

Дорогой Николай Николаевич! Посылаю Вам довольно интересную вырезку из «Русского Слова», передающую об удивительном факте в словах точных и с упоминанием имен известных, которые не дозволили бы на себя заживо лгать. — Очень мне грустна была, поверьте, моя неделикатность с Вами, и я чувствовал ее и воскресенье, когда получил письмо Ваше, и понедельник, когда отправлял жену с ребенком к доктору, и вторник, когда подумал: ну, завтра я буду у него и обо всем переговорю. Все-таки тут главное — не доктор и не то-другое, а наша *губернская мешкотность*; если я *сейчас* по получении письма на него не отвечу, — то уже месяцы не отвечу, все откладывая до завтра, и так было с моим покойным братом. Бывали даже случаи, что напишешь письмо и положишь в карман пальто: но, наверно, забудешь положить в почтовый ящик и потом все вспоминаешь, но не в тот момент, когда проходишь мимо почтового ящика, а, напр., ночью в постели или сидя в гостях, — и так с неделю носишь его. Но, мой дорогой, я сам испытывал, как очень любя кого-нибудь, очень тепло будучи привязан, как будто не встречаешь обратно достаточно внимания, — это ужасно бывает больно, и это боль не дурная, не из самолюбия, но из самого чистого источника текущая (представьте, это мне по отношению к некоторым любимым ученикам приходилось испытывать, и всегда это меня очень мучило). Я как пришел к Вам в среду, с первых Ваших слов почувствовал. Это как-то в *целом*, и мне было

все время очень грустно: Вы даже могли перестать уважать меня, и это бывает, и это глубоко причинно, ибо в подвиге иногда человек не так сказывается, как в манере, как в где-нибудь незастегнутой пуговице, в детали. «Ты написал превосходное сочинение о стоиках, но скверно улыбнулся, когда я рассказывал случай с женой» или «о своих денежных затруднениях — ненавижу тебя» — и основательно, ибо тут *сам* человек, а там только благоприобретенное, тут натура, а там — надрывной и минутный порыв.

Оттого хороший человек выше хорошего писателя — цените его; хороший писатель может быть еще очень скверным человеком, а хороший человек только случайно не есть и писатель, и тогда он был бы превосходный писатель.

Мы Вас ждем в воскресенье обедать; Ваш искренний В. Розанов.

99

<1895 г.>

Дорогой и неоцененный Николай Николаевич! Так грустно было видеть Вас в столь тягостном для Вас положении; как устала Ваша спина: здорово-му ночь просидеть в вагоне как тяжело, а тут *еще* ночь и *опять* ночь, и *больному*. Господь того испытывает, кого любит; а Вы по кротости, беззлобию младенческому, незасмраденности души — дитя Божие. Итак, дорогой мой, не пища предисловий, как в легкомыслии сочинял, едучи от Вас, — скажу прямо, видя, как Вам трудно, — причаститесь по обряду нашей Церкви, от коей и Вы по происхождению — из лучших лоз. Ничего это и не значит в смысле болезни, т. е. ни о чем будущем не говорит, а если бы и говорило о будущем и неизбежном для нас конце, кто же написал как не Вы:

И всякой дряни я боюсь,
Но не того, что неизбежно.

Итак, как мужу нетрепетного сердца — я не устыдился бы и не смалодушествовал бы сказать Вам и об опасности жизни, если бы что-либо определенное думал; но у Вас — болезнь сердца, т. е. органа, удивляющего неожиданным. Итак, голубчик мой добрый, — почему же в сочинениях своих, вечно цветущих свежестью, Вы писали, не *успевали* писать о религиозном интересе, как самом высшем в жизни, самом важном для человека, — почему Вы это не успевали писать, как не потому, что на дне души, в *темной, непроясненной* стороне духа, около самого Варолиева моста, положим, — Николай Николаевич знал: «*есть Бог*» и твердил: «*Прости мне, Боже*». Но отвычкою, но всем трудом *дней* своих, но «матерьяльною стороною предметов действительности, на кого мы вечно принуждены действовать матерьяльною же стороною» (Ваше выражение), мы говорим: это — знакомые люди, это — книги, это — жалованье, т. е. все: не Бог, не Бог, не Бог, и, наконец, это обобщаем: *нет* Бога. Детская ошибка! И, однако, над нами она всеильна. Но я вовсе не хочу рассуждать; как, однако,

чудесно в нравственном смысле — сделать то самое, что и все делают; это значит — вдруг всем послужить и со всеми примириться; со всех людей как бы по примеру Спасителя — снять сапог. Мне в церкви положительно бывает удовольствие, когда, кладя земной поклон, — немного касаешься головой сапога впереди стоящего на коленях — даже нарочно это делаю, до того это *безотчетно* приятно. Так и Вам всенепременно надо причаститься; просто — это хорошо, это — верно, это — мудро, а главное, в тысячу раз Вы все это лучше чистою Вашою душою понимаете, чем я испорченным и боязливым, и блудливым моим умом. Мне даже почему-то весело стало, когда я пишу это, — до того я уверен, что Вам станет лучше; прямо позовите Матрену и скажите: «Что — Матрена — я причаститься хочу, а она уже все сделает». Простите, если надоел, — устно я не люблю об этом говорить и не буду — но надеюсь на милосердие Божие, что Он Вас не оставит ни бодростью, ни просвещением. Целую Вас крепко, мой милый. Но Вы помните, я Вам тоже и перед операцией говорил, и еще раз эту зиму; а вот теперь еще раз.

Ваш истинно любящий В. Розанов.

100

12.X.95

<почтовый штемпель на открытке>

Дорогой Николай Николаевич! Когда будете просить тех или иных лиц за Шперка — не упоминайте обо мне (или моей жене) как о *посреднике* — это может только ухудшить дело; но просите, как будто он только Вам известен. Мое же имя не только без авторитета, но, может быть, и неприятно для многих лиц даже из Ваших знакомых. Про портрет Ваш Варя сказала: «Очень много скорби», т. е. в лице и выражении. Я думаю, что — да. Ждем в Воскресенье обедать.

Ваш искренний В. Розанов.

101

<1895 г.>

Дорогой Николай Николаевич!

Сообщаю Вам радостнейшее известие, какое когда-либо переживал: к Барсукову явился от имени какого-то богатого московского человека, вероятно образованного коммерсанта, господин и объявил, что тронутый В. Розанова статьей о нем и о материальной нужде его для издания «Жизни Погодина» — берет на себя издержки издания всех последующих томов. Ура! ура! Это первый *практический* результат трудов моих — плод добрый. Никогда так рад я не бывал и даже до известной степени горд. — Поздравляю, мой дорогой, с наступающим днем Вашего Ангела. Сходили бы Вы в церковь к обедне, особенно ввиду болезни. Я собрал по квитанциям из книжных магазинов 40 руб., которые привезу Вам.

Вас искренно любящий В. Розанов.

К. Н. Леонтьева я знал всего лишь неполный год, последний, предсмертный его. Но отношения между нами, поддерживавшиеся только через переписку, сразу поднялись таким высоким пламенем, что, и не успевши свидеться, мы с ним сделали горячими, вполне доверчивыми друзьями. Правда, почва была хорошо подготовлена: я знал не только все его политические труды (собранные в сборнике «Восток, Россия и славянство», 2 т.), но и сам проходил тот фазис угрюмого отшельничества, в котором уже много лет жил К. Н. Л-в. Самое место его жительства — Оптиная пустынь, где жил чтимый глубоко мною старец от. Амвросий, — привлекало меня. И я помню, что, когда случалось, в праздничный вечер, играть с юношеством и подростками «в почту» (каждый *себя* называет городом и получает по своему адресу, как и отсылает от себя, шуточные записочки), — то всегда при этом выбирал (= называл себя) «Оптину пустынь». Она мне казалась самым поэтичным и самым глубокомысленным местом, среди прозаичных и скучно-либеральных «Петербурга» и «Москвы», не говоря уже о «Лондоне» или «Берлине». Строй тогдашних мыслей Леонтьева до такой степени совпадал с моим, что нам не надо было сговариваться, договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины понятно друг в друге. Мною, кроме большой книги «О понимании» (1886 г.), было написано к этому времени «Место христианства в истории», две статьи в «Вопросах философии и психологии» и «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» (в «Русск. Вестн.» за 1891 год). С временем окончания этой последней статьи совпадает и начало моего знакомства с Леонтьевым. Прочтя его «Анализ, стиль и веяние в произведениях гр. Л. Н. Толстого» в «Русск. Вестн.» за тот же 1891 год, я горячо заинтересовался самою личностью их автора и выписал его «Восток, Россия и славянство» через Говоруху-Отрока, писавшего под псевдонимом «Ю. Николаев». А когда Леонтьев узнал (через Говоруху-Отрока) о моем интересе к нему, то прислал мне, в Елец, книгу свою «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни». На другой день после этого я получил и первое письмо, из пачки здесь предлагаемых. Дружба наша, столь краткая и горячая, не имела в себе прослоек, задоринок. Только, можно сказать, в последний день его жизни мы разошлись. Именно, я как бы встал на дыбы при его предложении восхититься *и Вронским* (из «Анны Карениной»), а он еще выше поднялся на дыбы, из-за моего прямо отвращения к этому болвану, мясистому герою. Все было страстно, пылко в нашем проти-

воречии. Совершенно я понимал его восхищение перед героями жизни, дела (полководец, политик), после того как литература, в ее невысоких слоях, приучила всех рамоликов, наших и иностранных, восхищаться только героями письменности, кабинета: учеными, поэтами, филантропами. Но, понимая это, я все-таки хотел преклониться — ну, перед Кромвелем, ну, наконец, даже хоть перед Фридрихом Великим, но уж никак не перед юбочником Вронским, с его «жирными ляжками», и т. п. Вронский *не был для меня героем*, не был представителем героического, т. е. эстетическим лицом: а для Леонтьева был. Притом я недаром любил от Амвросия Оптинского: сам сын очень бедных людей, и, видев много в своей жизни бедности, я никогда от нее не хотел отделяться, *как от родного*, как медвежонок *от своей берлоги*. Кроме того, бедность я знал, как *трудность и страдание*, всегда возбуждавшее во мне и навсегда воспитавшее *сострадание*, — почему все сытое и самодовольное, физически или духовно, раз и навсегда имело во мне себе недруга. Итак, я был с Леонтьевым согласен на эстетику, но не в признании ее у *богатых*, а у *бедных*; согласен с религиозным его устройением души, но, нуждаясь в религии *как утешении*, а не как источнике *квиезма* (его точка зрения); и был готов на борьбу, движение, «походы» (какие можно и куда можно), но в защиту пролетариата, а не против пролетариата. Таким образом, точек расхождения было множество; но нас соединило единство темпераментов и общность (одинаковость) положения. Обнищавший дворянин-помещик был то же, что учитель уездной гимназии; а кружок монахов в Оптиной пустыне очень напоминал некоторые, идеально высокие типы из белого духовенства, какие мне пришлось встретить в Ельце. Такова была общая почва. Но главное, нас соединила одинаковость темперамента. Не могу ее лучше очертить, как отливом отношением к Рачинскому. Рачинский всегда был рассудителен, до конца слов не договаривал, из принципа мыслей своих не выводил же; у него все были середочки (?!) суждений, благоразумные общие места, с которыми легко прожить; и сам он был предан такому благоразумному и добродетельному делу, около которого походив, надо было снять шапку и сказать: «Благодарю вас, Сергей Александрович, за то, что вы существуете». Безрассудного-то и не было ничего у Рачинского — безрассудного и страстного. А мы *роднимся* только на страстях. Я и Вронскому оттого не умел симпатизировать, что он мне казался тем же мелким чиновником или литератором, только на военной почве, т. е. *с тем же темпераментом*, мелочностью души и жизни. С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь в «мать-кормилицу, широкую степь», во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или голову положить, или царский венец взять. Еще не разобрав, кто и что он, да и не интересуясь особенно этим, я по всему циклу его идей, да и по темпераменту, по границам безбрежного отрицания и безгранично далеких утверждений (чаяний) увидел, что это человек пустыни, конь без узды, — и невольно потянулись с ним речи, как у «братьев разбойников» за костром. Цитадель штурмов был самодовольный либерализм наш, литературный, но затем также общественный и государственный.

В те дни он был всемогущ, и решительно каждый нелиберал был «как бы изгой без княжества»: ни ум, ни талант, ни богатое сердце не давало того, что всякий тупица имел в жизни, в печати, если во лбу его светилась медная бляха с надписью: «Я либерал». Вот эта-то несправедливость, так сказать, мировая, что люди расценивались не «по душам», а прямо «по кастовым признакам» таких-то убеждений, подняла, и на много лет подняла всю силу моего негодования против нее; как мы волнуемся же против привилегированных высших учебных заведений, откуда выходя и без знания, и без сердца, люди уже по одной своей штампованности получают сразу «IX классный чин» должности. Таким образом, источником моего антилиберального настроения было общее христианское чувство и вместе демократическое (=все люди равны по душам, и добряк-консерватор выше прижимистого либерала); а у Леонтьева этим источником был эстетический страх, что либерализм своим уравнильным и освободительным движением подкашивает разнообразие и, следовательно, красоту вещей, социального строя и природы. Но в краткие месяцы нашей дружбы и этой разницы мотивов нельзя (некогда) было рассмотреть. Мы только оба кипели негодованием к либерализму. Таким образом, «братья разбойники» были вовсе «не братья», — и это сказалось удивленным и как бы болящим его восклицанием в последних письмах, почти накануне заболевания и смерти. Но если бы мы и окончательно рассмотрели друг друга, я убежден, ничего бы собственно из горячности дружбы мы не утратили. Более всего меня приковывало к Леонтьеву его изумительно чистое сердце: отсутствие всякого притворства в человеке, деланности. Человек был в словах весь как — Адам без одежд. Среди масок литературных, всяческой графаретности в бездарных и всяческой изломанности в даровитых, он мне представился чистою жемчужиной, в своей Оптиной пустыни, как на дне моря. И до сих пор, не имея ничего общего ни с его сословным аристократизмом, ни с его чаяниями «открыть вторую Америку» в византизме и основать новую разбойническую республику (новую Венецию) на полуразрушенных камнях Афона, я тем не менее сохраняю всю глубокую привязанность к этому человеку, которого позволяю себе назвать великом умом и великим темпераментом. В его уме, в его судьбе, в его сердце жили запутанности, гораздо более занимательные, чем вся ученость Данилевского или Страхова.

Рассматривая по смерти этого монаха его библиотеку, я увидел толстый том с надписью «Alcibiade», — французская монография о знаменитом афиняине. Такого воскрешения афинизма (употреблю необыкновенный термин), шумных «агора» афинян, страстной борьбы партий и чудного эллинистического «на ты» к богам и к людям, — этого я никогда еще не видел ни у кого, как у Леонтьева. Все Филельфо и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, сравнительно с этим калужским помещиком, который и не хотел никому подражать, но был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов, когда он выбежал из зажженного дома возлюбленной. Ум Леонтьева,

— скажу, гений его, — был какой-то особенный. Нужно бы приложить снимки с почерка его, этого женского, с едва выраженным нажимом пера, лежащего (очень отлого поставленные буквы), с тонкими, почти острыми загибами, с подчеркиванием слов или иногда в слове только слогов, которые он произносит резким и острым способом, как женщина чешет косу, откидывая далеко гребень. Этот почерк был очень похож на стиль его (каллиграфически изображал его), нервный и острый, страстный и мучительный. Идеи его были исключительны, и неудивительно, что не принялись. Но вполне удивительно, что он не был оценен и как писатель, как «калибр ума», как «портрет литературный» в галерее нашей словесности. Здесь он занимает, можно сказать, отдельный кабинет, «cabinet noir», без ходов к нему, без выходов от него. Ибо, по существу, он, как не имел предшественников (*все* славянофилы не суть его предшественники), так и не имел школы. Я, впрочем, наблюдал, что вполне изолированный Леонтьев имеет сейчас и, вероятно, всегда имел и будет постоянно (до скончания веков) иметь 2—3, много 20—30 в стране, в цивилизации, в культуре настоящих «поклонников», хранящих «культ Леонтьева», понимающих до последней строчки его творения и предпочитающих его «литературный портрет» (сумму литературных и темпераментных качеств) всем остальным в родной и в неродных литературах. Давно, давно следовало бы издать «*opera omnia*»¹ Леонтьева, но, к сожалению, между его личными друзьями, из которых некоторые обладают значительными средствами, и денежными, и типографскими, очевидно, он имел лишь приятелей, или заимствователей «нужных для времени» (царствование Импер. Александра III) идей, но не имел настоящего, в излагаемом выше смысле, «поклонника». К несчастью, в личной жизни он, кажется, *сам* больше любил людей, нежели ими был любим. Это тем более печально, что наследники литературных прав его уже сейчас не очень ясны: он не имел прямых потомков, а жена его, если не ошибаюсь, или не жива, или не может распорядиться своими правами литературной собственности по болезни. Таким образом, можно опасаться, что изданные в 1885—86 году два тома его сочинений и еще ранее этого изданные «*Рассказы из жизни христиан в Турции*», не дождавшись переиздания теперь, попадут в фатальный цикл «*пятидесятилетия литературной собственности*» и не будут вообще никогда переизданы, ни собраны в фундаментальное «*opera omnia*». «*Fatum*» неизвестности, на который он мне горько жаловался в письмах, очевидно, действительно тяготеет над ним. Точно над ним стоит ангел смерти и мешает ему ожить. Во всяком случае, настоящие письма я печатаю не только из благоговения к памяти друга, но и как разрозненные листки, какие имели бы быть вставлены в «*opera posthuma*»² замечательного писателя.

Идеи Леонтьева и сложны, и просты. Это был патолог (Л-в был медик по образованию, ученик еще Иноземцева), приложивший специально па-

¹ Собрание сочинений (*лат.*).

² Сочинение, изданное посмертно (*лат.*).

тологические наблюдения и наблюдательность к явлениям мировой жизни, но преимущественно социально-политической; он отличился вкусами, позымами гигантски-напряженными к *ultra*-биологическому, к жизненно-напряженному. Я знал одного очень старого (и немного циничного) доктора, которого во всякую свободную минуту находил за Майн-Ридом (детские книги). На мое удивление, этот доктор — поляк, в свое время «потерпевший» и доживавший жизнь в уездном городке, — ответил: «Знаете, за день так навозишься с больными, что взять к вечеру рассказ о том, как лошадь возила по прериям всадника без головы (заглавие одного из сочинений Майн-Рида), есть истинное наслаждение: точно откроешь в душе форточку». И о Леонтьеве можно сказать, что его «эстетизм» был синонимичен, или, пожалуй, вытекал, или коренился на *анти-смертности*, или, пожалуй, на *бес-смертии красоты*, прекрасного, прекрасных форм. В «эстетику» он «открывал форточку» из анатомического театра своих грустных до черноты политических и культурных наблюдений, соображений. Старый, как Сатурн (по политике), он начинал прыгать, как молодой козленок, при виде всякой цветной ленточки (в переносном смысле), всякой эстетической черточки в окружающем (любовь его к Вронскому, восхищенность при виде красивых и стройных русских полков в Варшаве, при виде старых сенаторов, склонявшихся в Оптиной перед монахом-старцем). Тут наш Алкивиад пел свою победную песню; клобук монаха (Леонтьев был тайно пострижен на Афонской горе, что не возлагало на него никакого мундира монашества в миру и мирской жизни) становился прозрачен, невидим. Но вот эстетическая, его радовавшая ленточка кончалась: на фоне появлялся либерал-земец, либерал-адвокат, либерал-журналист. Алкивиад совершенно исчезал: мы имели перед собой черного-черного монаха, в куколе до облаков, с посохом в версту, который дико и свирепо, «интеллигентно»-убежденно начинал дубасить этим посохом по голове либерала, большею частью действительно по голове пустой, приговаривая: «Негодяй! разве я не читал Вольтера (Л-в именно в монастырской своей жизни любил перечитывать французских *esprits forts*¹, даже не без особенного тонкого сочувствия), читал, все, что ты читал, и даже больше, и лучше твоего понял; но как могучий конь любит узду могучего господина, — и я возлюбил власть над собою Господа и целую каждый день руку у этого невежественного и нечистоплотного монаха (*не* об Амвросие), тогда как ты всего только смерд и раб, ползающий неэстетично у ног поганой твоей публики, собрания таких же смердов, как сам ты. За что все вот тебе удар палкою, тебе и твоей публике». И Леонтьев писал пламенно-негодующую статью... в порицание болгарских политиканов, «честных учителей» (=либералов) тамошних, или в защиту игуменьи Митрофании, «которая все-таки была монахиня, а не либералка, да к тому же еще из дворянского рода». «Честные либералы», которые, нужно заметить, всегда были довольно тупоголовы, так и принимали его речи в прямом смысле, докладывая о замеча-

¹ сильных умов, вольнодумцев (*фр.*).

тельным и странном публицисте своим читателям, что «вот он выступает защитником таких личностей, как Митрофания, и противником освобождения Болгарии от турецких зверств». Либералам-докладчикам (или доносчикам) и в голову не приходило, что публицист в куколке есть самое свободо-мыслящее явление, может быть, за все существование русской литературы; что безбрежность его скептицизма и сердечной и идейной свободы (независимости, вытекания только из субъективного «я») оставляет позади себя свободу Вл. Соловьева, Герцена, Радищева, Новикова. Позволяю себе назвать все эти имена. Все они гораздо более были подчинены давлению окружающих обстоятельств, идей, сословия или воспитания и пр.; все гораздо более «сообразовались» с обстоятельствами внешними, давая место и житейски, и литературно все же некоторой дипломатической игре. Ее и тени не было в Леонтьеве, который был в трудах своих свободен, капризен, деспотичен, как царственная женщина в беспорядке своей уборной, среди черных невольниц.

Но я все отклоняюсь в сторону *характеристики* от спокойного *изложения его идей*. Он поступил в монашество, стал из неверующего естествоведа христианином, потому что в небесном и абсолютном авторитете положительных церковных доктрин, во-первых, нашел границу для своего философского скепсиса и пессимизма, упор для волн своего ума, которые решительно катились в бесконечность; а во-вторых, в неподвижности и консерватизме церковного строя он нашел опору против «разрушительного уравнительного процесса», который его пугал в Европе и России. «О стены монастыря разобьется всякий либерализм; монастырь же — от Бога, и если тоже крушится, то лишь по-видимому, на самом же деле, как небесное учреждение, до светопреставления, до Антихриста устоит; и если устоит, — а не устоять не может, — монастырь, то около него и за ним и вследствие его устоят и красивые варшавские, особенно конные полки, где служит Вронский или его собратья, и на которые я, старый монах и медик, полюбуюсь из далекого окошечка, из кельи Оптиной пустыни, уже с чисто медицинской жизнерадостностью». Вот, собственно, и весь круг идей Леонтьева, в сущности, монотонных; но разберите, читатель, не более ли в смесь этих начал входит разнообразия, чем, напр., в *summa idearum*¹ Соловьева или Герцена? Именно Соловьев и Герцен были монолитны, при необозримом разнообразии их деятельности, их литературного выражения. Все «поделки» Герцена и Соловьева — из одной породы камня. В Леонтьеве поражает нас *разнообразие* состава, при бедности и монотонности линии тезисов. Ну, как вы сочетаете Алкивиада и Амвросия Оптинского, пострижение на Афоне и кавалерийские вкусы; медицину и дипломатику; да и еще больше, как узнал я, прочтя всего года два назад его турецко-славянские повести. Леонтьев был первый из русских и, может быть, европейцев, который, говоря языком Белинского, открыл «пафос» (живую душу, настоящий смысл, поэзию) туретчины, ее воинственности и женолюбия, религиозной наивности и фанатиз-

¹ круг понятий (лат.).

ма, преданности Богу и своеобразного уважения к человеку. «Ах ты, турецкий игумен», — не мог я не ахнуть, перечитав у него разговор одного муллы с молодым турком, полюбившим христианку. «Три есть столба, на которых держится мир, — толковал шепотом мулла. — Первый столб золотой и идет до неба: это наше святое и праведное мусульманство. Второй столб поменьше и сделан из серебра: он также хорош. Это — вера Авраама, которую исповедуют собаки-жиды, но Авраам через Измаила был и наш праотец; только жиды не приняли праведного Корана. Третий столб тоже к небу идет и тоже истинный, только покорооче тех обоих и сделан из меди. Это христианство». И т. п. И с таким вкусом и знанием, с таким любованием на наивность турка это рассказано, как русский вообще никогда не найдет в себе подобных слов для мусульманина. Наконец, он рассказывает случаи влюбления и житейские нравы турков, и они везде почти выходят мужественнее и героичнее славянских, более, так сказать, похожи на конных солдат в Варшаве, тогда как балканские славяне все похожи на петербургских адвокатов, что для Леонтьева было до последней степени скучно. Тонкими, пластическими штрихами он набросал то, что я назвал бы «законом гарема», т. е. тайну внутренней и теплой, даже горячей-горячей привязанности друг к другу членов семьи в этом, столь непонятном для нас типе семейного сложения. Он показал здесь матерей и жен, умирающих за детей и мужей; влюбленность, которая держится до старости; и все это при правиле (и обычае), когда старая турчанка сама копит и откладывает деньги, чтобы купить на них молодую невольницу крепкому, нестарому своему мужу: «Я смерила на базаре ее ногу, и выбрала с самой маленькой ступней: ибо красивость ступни есть первое условие красоты женской». И все эти подробности подбирает афонский монах; это — гораздо свободнее, чем признание некоторых прав за консерватизмом со стороны Герцена, чем обличение печального состояния крестьянства при Екатерине Второй. Это вообще так свободно, как никогда и ни у кого не было в литературе. Дух Леонтьева не знал, так сказать, внутренних задвижек: в душе его было окно, откуда открывалась бесконечность. Древние Афины, современная Турция, Оптиная пустынь — все одинаково, как бы в лунном мерцании, проносилось под ногами этого в своем роде киевского бурсака Хома, на котором сидела чародейка-красавица («Вий» Гоголя). Не умею лучше, как с этим странным полетом ведьмы и семинариста, сравнить фантастическое (и вместе гармоничное) по составу творчество Леонтьева. «Фу, как пляшет казак, фу, черт, как он пляшет», — дивился Бульба на первого попавшегося в Сечи казака-танцора. Но танец был, правда, великолепен, естествен, целостен, «гармоничен» по задачам своим и особливому смыслу. Вполне удивительно, что никто-то из критиков не поразился и не признал своеобразных качеств в подобном же словесном танце, — я готов сказать, танце небесной свободы и прелести, — Леонтьева. Это была одинокая и единственная в своем роде душа. «Стиль моего письма недоступен никому, — мог бы сказать этот мастер, бросив предсмертно кисть. — Ни повторить моих картин, ни продолжать моих картин — никто не сможет».

Мне приятно вспомнить, что посмертно я оказал одну услугу Леонтьеву. Именно, когда в словаре Брокгауза и Ефрона статьи дошли до буквы «К», то Вл. Соловьев сообщил мне, что статья о Леонтьеве поручена ему. Я стал неотступно просить Соловьева написать как можно больше, страниц шесть; написать основательную статью, ибо ведь это, в таком монументальном словаре, будет увековечением бедного Леонтьева, который при жизни не дождался и сносной критической статьи о себе. В этом духе и очень настойчиво я послал несколько записок Соловьеву. Соловьев был прекрасная по податливости и мягкости душа, да и Леонтьева он сам любил, но все стеснялся «либеральных» редакторов издания, которые могут подняться на дыбы против большой статьи о «мракобесце» — Леонтьеве. Наши либералы никогда не были остроумны и, имея большею частью в сердце «пять с плюсом за поведение», имеют в голове обыкновенно плачевную «единицу за успехи» (в науках, в понимании, в идейности). Наши либералы — это самая безыдейная часть общества, до грусти, до отчаяния. От Южакова до Михайловского — это стена Петрушек за алгеброй. Но оставим их. В коротенькой записочке Соловьев меня известил с восторгом, что ему удалось провести в «Словаре» характеристику что-то около 6 столбцов, и при убористой, компактной печати и чрезвычайной («словарной») сжатости изложения это выходило цельною литературной характеристикой. Статья эта о Леонтьеве мастерски написана Соловьевым, и есть прекрасное общее введение в систему его мышления. Наконец, я считаю полезным упомянуть, что к Леонтьеву всегда чувствовал смесь антипатии и неуважения, смешанного с подозрительностью, Н. Н. Страхов, бывший в душе «честнейшим либералом», свободолобцем и гуманистом; но еще более, чем Страхов, его не любил Рачинский. Последнему, в устных беседах, я все навязывал Леонтьева, но встречал упорное молчание. Мне известно было, что Рачинский был консерватор, и религиозный, церковный человек; поэтому его молчание приводило меня в недоумение. Наконец, он сказал: «Да, Константина Николаевича Леонтьева я еще по университету помню, и тогда же мы с ним были знакомы, не близко, но как товарищи; он был на медицинском факультете, когда я был на философском (прежнее смешение естественного и филологического факультетов). Но он сразу же меня оттолкнул некоторыми своими мыслями, приемами, нравственно-смелыми взглядами. Я от него отскочил, как ужаленный от гадюки. Я не спорю, что он отлично пишет и вообще очень талантлив; но я чувствую к нему непобедимое *отвращение* (он сказал с ударением), которое от годов молодости до старости ни в чем не ослабилось». Тихий, незамутимый и незамутненный Рачинский чувствовал в Леонтьеве как бы Мальштрем (ревуший водоворот в Ледовитом океане), и отводил от него в сторону свою утлую лодочку. Леонтьев был несравненно гениальнее его, как и Страхова. Они не любили и почти боялись Леонтьева. Как Хома-философ (в «Вие»), спокойно улегшийся на незнакомом ночлеге, испугался при входе ведьмы-старухи (она же оборотень-красавица), они защищались от Леонтьева почти его словами: «Нет, голубушка, теперь пост, и я скоромить-

ся не хочу». То же отвращение, негодование, до отказа просто что-нибудь прочесть. В самом деле, и тихая библиотека-квартира Страхова, и прелестное Татево, — от всего этого и шепок не сохранилось бы, попадаи они в Мальштрем Леонтьева, эту ревушую встречу эллинского эстетизма с монашескими словами о строгом загробном идеале.

Еще одно слово. Когда я в первый раз узнал об имени Ницше из прекраснейшей о нем статьи Преображенского в «Вопросах философии и психологии», которая едва ли не первая познакомила русское читающее общество с своеобразными идеями немецкого мыслителя, то я удивился: «Да это — Леонтьев, без всякой перемены». Действительно, слитность Леонтьева и Ницше до того поразительна, что это (как случается) — как бы комета, распавшаяся на две, и вот одна ее половина проходит по Германии, а другая — в России. Но как различна судьба, в смысле признания. Одним шумит Европа, другой, как бы неморожденный, точно ничего не сказавший даже в своем отечестве. Иногда сравнивают Ницше с Достоевским; но где же родство эллиниста Ницше, «свирепого», с автором «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных». Во всяком случае, здесь аналогия не до конца доходит. Напротив, с Леонтьевым она именно до последней точки доходит: Леонтьев имел неслыханную дерзость, как никто ранее его из христиан, выразиться принципиально против коренного, самого главного начала, Христом принесенного на землю, — против *кротости*. Леонтьев сознательно, гордо, дерзко и богохульно сказал, что он *не хочет* кротости и что земля не нуждается в ней: ибо «кротость» эта (с оттенком презрения в устах Л-ва) ведет к духовному мещанству, из этой «любви» и «прощения» вытекает «эгалитарный процесс», при коем все становятся курицами-либералами, незстетичными Плюшкиными; и что этого не надо, и до конца земли не надо, до выворота внутренностей от негодования. Таким образом, Леонтьев был *plus Nietzsche que Nietzsche même*¹; у того его антиморализм, антихристианство все же были лишь краткой идейкой, некоторой литературной вещицей, только помазавшей по губам европейского человечества. Напротив, кто знает и *чувствует* Леонтьева, не может не согласиться, что в нем это, в сущности, «ницшеанство», было непосредственным, чудовищным аппетитом, и что дай-ка ему волю и власть (с которыми бы Ницше ничего *не сделал*), он залил бы Европу огнями и кровью в чудовищном повороте политики. Кроткий в личной биографии, у себя дома в квартире (я слышал об этом удивительной прелести, идилличности рассказы), сей Сулейман в куколке, за порогом дома, в дипломатической службе, в цензуре, но главное, в политических аппетитах (на практике ему даны были в руки только мелочи) становился беспощаден, суров — до черточки, до конца. Раз он ехал по Москве на извозике. «Куда едешь», — поправил возницу полицейский и направил на другой путь; ленивый возница пробормотал что-то с неудовольствием. Вдруг кроткий Леонтьев гневно ударил его в спину. «Что вы, барин?» — спросил тот полити-

¹ больше Ницше, чем сам Ницше (*фр.*).

ческого Торквемаду. — «Как же, ты видишь мундир: и ты смеешь не повиноваться ему или роптать на него, когда он поставлен... (тем-то, а тот-то) губернатором, а губернатор — царем. Ты мужик и дурак — и восстаешь, как петербургский адвокат, против своего отечества». Пусть это было на извозчике и в Москве: но важно *вездеприсутствие* и, так сказать, *вечно-присутствие* *idée fixe* Леонтьева, из которой он ничего *не сумел бы* забыть и не воплотить, будь он цензором, посланником, министром, диктатором. Это был Кромвель без меча, без тоги, без обстоятельств; в лачуге за городом, в лохмотьях нищего, но точный, в полном росте Кромвель. Был диктатор без диктатуры, так сказать, всю жизнь проигравший в карты в провинциальном городишке, да еще «в дураки». Но человеческое достоинство мы должны оценивать не по судьбе, а по залогам души. И по такой оценке достоинство Леонтьева — чрезмерно, удивительно. Прошел великий муж по Руси — и лег в могилу. Ни звука при нем о нем; карканьем ворон он встречен и провожен. И лег, и умер, в отчаянии, с талантами необыкновенными. Теперь очевидно, что никакие идеи Леонтьева не привьются и что он вообще есть *феномен*, а не *сила*; так сказать, *fata-morgana* Мальштрема, а не *он* в действительности. Бог одолел человека; но человек этот был сильный богоборец. Это об Иакове записано, что он «боролся с Богом» в ночи и охромел, ибо Бог, не могши его побороть, напоследок повредил ему «жилу в составе бедра».

В. Розанов

Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову с комментариями Розанова

1

13 апреля 1891 г., Опт. п.

(Христос Воскресе!)

Читаю ваши статьи постоянно. *Чрезвычайно* ценю ваши смелые и оригинальные укоры *Гоголю*¹; это *великое* начинание. Он был очень вреден, хотя и непреднамеренно.

Но усердно молю Бога, чтобы вы поскорее *переросли Достоевского* с его «гармониями», которых никогда не будет, да и не нужно².

Его монашество — сочиненное. И учение от Зосимы³ — ложное; и весь стиль его бесед⁴ фальшивый.

Помоги вам Господь милосердный поскорее вникнуть в дух реально существующего монашества и проникнуться им.

¹ В первых главах напечатанной в тот же год «Легенды о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского». «Укоры» эти действительно у меня были; были прямы и резки и подняли в критике тех дней бурю против меня. Гоголь был священен и, как всегда для толпы, «безукорен». В. Р.-в.

² «Гармонии» — всеобщий мир и примиренность на земле; идея «пальмовых листьев и белых одежд» Апокалипсиса («и отрет Бог *всяческую слезу* на земле» — обещание Апокалипсиса, перед «пальмами» и новыми одеждами); вместе — это песнь вифлеемских пастырей, встретивших Рождество Христово: «Слава в вышних Богу и на *земле мир*» и пр. В упор против этой вифлеемской песни Леонтьев, *уже монах*, отвечает: «Не надо мира». Это — «нищестанство». Я, впрочем, употребляю термин «нищестанство» лишь для литературной аналогии, считая — ошибочно или нет — Леонтьева и сильнее, и оригинальнее Ницше. Он был «настоящий Ницше», а тот, у немцев, — не настоящий, «с слабостями сердечными».

³ Пантеистическое, благое, доброе. Впрочем, тоже злой человек, и уже отделясь теперь вовсе от Леонтьева, я скажу покойнику: «Ну, конечно, от *птичек лесных*, от *полевых травок* Зосима взял свою доброту, благодать, пантеизм: на афонских задворках он выучился бы только жесткости, сребролюбью и таким порокам, о коих вне обители и не слыхивано».

⁴ Ну, какой же стиль, если не благодатный? Вся Россия удивилась и умилилась величию благодати Зосимы. «Не наш, не наш он!» — восклицает Леонтьев от имени православного монастыря. «И правда — не ваш», — отвечаю я и беру Зосиму в охапку и выношу его, а с ним и все его богатство душевное — за стены тихих обителей.

Христианство личное есть прежде всего *трансцендентный* (не земной, загробный) *эгоизм*¹. *Альтруизм*² же сам собою «приложится». «Страх Божий» (за себя, за свою вечность) есть начало премудрости *религиозной*.

К. Леонтьев

2

8 мая 1891 г., Опт. п.

Письмо ваше, Василий Васильевич (как и сами вы, вероятно, могли предвидеть), доставило мне *величайшее* утешение! Вчера я думал ответить вам сначала только два слова и приложить, кстати, ту статью об вас г-на Южного (из «Гражд.»), которую вы видите. Так как я слышал, что «Гражд.» имеет ход почти исключительно в одном Петербурге, то я думал, что до вас эта дельная заметка Южного не дойдет. Более подробный ответ на ваше дружественное письмо я откладывал не по нежеланию, конечно, писать вам, но по случайным и неотложным заботам, которые мне угрожали и которые вчера к вечеру разрешились, к счастью, неожиданно и хорошо. Теперь мое время и мой ум свободны, и я могу ответить вам, хоть и не так подробно, как бы желал, но все-таки и не двумя словами...

Не знаю, с чего начать! Вы до того ясно меня (т. е. мои книги) понимаете, что я даже дивлюсь; вы *удовлетворяете* меня, как никто, пожалуй, из писавших мне письма или статьи и заметки обо мне. Разве только тот *Фудель*, которому посвящена моя брошюра о «Национальных объединениях». Он *священник* православный, *немецкой* крови, и тоже *переживший* Достоевского, вступил 3 года тому назад со мной в переписку; потом приехал в Оптину, обратился, по моему совету, к от. Амвросию и стал *просто* православным в деле личной веры, без ложных надежд на «гармонии» и приверженцем моих взглядов в политике³. *Дай Бог, чтобы и с вами тоже случилось!* Вы не пишете мне, ка-

¹ Это все очень глубоко. Трепет, *испуг* за себя — да, вот начало «страха Божия» и «премудрости религиозной». Недаром иезуиты (я видел в «*Imago prime saeculi Societatis Jesu*», Antwerpen, 1640 г.) в первую фанатичную пору существования своего изображали «общество Иисусово», как корабль среди бушующих волн. «Только мы спасаемся, — грядите к нам! Вне — гибель!!» До инквизиции отсюда уже вершок расстояния. Ведь и она родилась вся из испуга за спасение; ее гнездо — религиозное отчаяние (францисканцев).

² В *личной* биографии Леонтьев был *поразительный* альтруист; и это все поправляет в нем, преобразует сумрачные идеи его в *fata-morgan*'у. «Авель, для чего ты надеваешь на себя шкуру Каина? — хочется спросить. — И жмешь руку брата, выкидываешь за борт его «каинство» (= нищестанство); и, если богат, заготовляешь жирного барана в снедь и усаживаешь за стол его: «Авель милый, ты отошл от каинского мышления: отложи клобук в сторону, вооружись ножом и вилкой и кушай сытно, как Петр Петрович Петух. От хорошей пищи проходят худые мысли».

³ *Фудель* — очень умный, сурово-умный человек, но без блеска, без аромата, без гениальности. Он воспроизвел Леонтьева в себе, как деревянная

кую именно должность вы занимаете при гимназии (думаю, что преподавателя «русской литературы»), — но, во всяком случае, какая бы ни была должность, по мин. народ. просвещ. у всех есть каникулы и, вероятно, вы свободны от 1—2 июня до 1—2 августа. Отчего бы и вам не приехать сюда в июне или июле? Я не знаю еще человека (а тем более из молодых, *нового стиля*), который не вынес бы от свидания с отц. Амвросием таких *особого рода* впечатлений, которые усиливают личную веру и располагают к заботе о личном спасении («трансценд. эгоизм», которым я вам так *неожиданно угодил*). И мне было бы в высшей степени приятно познакомиться с вами не на *одной лишь бумаге*. Книгу мою «От. Климент» (а кстати, и исправленную брошюру «Анализ» и «Национальные объединения»), я, как и означено в надписи на обложке, послал вам по совету Ю. Н. Говорухи-Отрока, от которого я получил великим постом письмо. В нем он говорил не между прочим, а главным образом о том, что вы очень довольны моими сочинениями, и советовал мне послать вам и «Климента», которого вы не знаете. Я так и сделал. Не понимаю только, что за недоразумение вышло между нами тремя?! Он пишет, что дал вам мои книги (я понял так, что это 2 тома «Вост., Росс. и слав.», ибо я дал ему и NN по 20 экз., с просьбой *раздавать даром*, — для пропаганды хорошим людям); а вы пишете, что «насилу разыскали мои 2 тома в моск. книжных магазинах»...

Как это странно! И почему же он *вам-то* не дал, если так, когда у него 20 экз.!!!

Вы пишете, что *не знали вовсе* моего имени и моих сочинений до тех пор, пока не прочли в «Р. В.» «Анализ, стиль и веяние»... И немножко утеша-

доска — гравюру с живого дерева (= Леонтьева). Именно на Фуделе, может быть, лучше всего можно проследить: «Ну, что же вышло бы с идеями Леонтьева *вне Леонтьева*? Вне его *личной доброты* и тайнственно с монашеством сопряженного эллинского эстетизма?» Фудель в самом христианстве понимает только суровость, черствость, дисциплину. Он, приехав в Петербург, читал здесь публичную лекцию о необходимости поднять, так сказать, «духовные возжи»; а в одном споре со мной — по какому-то теоретическому поводу — открыл какой-то одобренный училищным советом при синоде учебник и сказал: «Вот *тут написано*, чего же вы *спорите*». Я мог бы только ему улыбнуться. Если бы он потребовал объяснения улыбки, я бы ему ответил далее, что *слово Божие* есть все основание моей и *его*, да и вообще *европейской* веры, и что была какая-то темная история с знаменитым протоиереем Павским: его хотели лишить сана за опыт *точного перевода* с еврейского языка книг Библии.

¹ Ужасная путаница: два тома «Востока, России и славянства» едва были для меня разысканы в московских книжных лавках: это было за полгода или за год до этого письма. А «приятели» Леонтьева, которым он поручил «даром раздавать и пропагандировать его два тома», преспокойно бросили их на чердак, сказав: «А, ну их! конечно, отличные, но не на базар же их вывозить. Там — торг, все съедобное, и мы сами там полакомимся, но возиться с этою фараоновой коровой, с Леонтьевым. — Бог с ним. Старик наивен и поверит, что мы покою ими не даем знакомым и незнакомым». В. Р-в.

ете как будто меня тем, что вы «не очень *сведуши*». Благодарю за доброе намерение; но поверьте, не нужно быть «малосведущим», чтобы не знать меня. Не вы первый «открываете» меня, как Америку, несмотря на то, что я публицистикой стал заниматься серьезно с 73-го года («Панславизм и греки»): романы из новогреческой и отчасти турецкой жизни стал печатать у Каткова с 68 года (повесть «Хризо») и почти все эти повести и романы были изданы отдельно в 76-м, кажется, году и, наконец, «Вост., Росс. и слав.» было издано в 85 и 86 году. (Я не говорю уже о плохих повестях и романах из *русской жизни*, которых я напечатал несколько в 61, 63 и 66 году). Почему это так? Не знаю... Многие из сочувствующих мне пытались объяснить это и тем, и другим, но, по-моему, это объясняется, с одной стороны, очень просто: *мало обо мне писали другие*, мало порицали и мало хвалили; мало нападали и мало выражали сочувствие; т. е. было *вообще мало серьезных критических отношений*...¹

¹ Нет, тут еще причина фатальнее и глубже. После смерти Л-ва *сейчас* же появились обширные журнальные статьи о нем: моя — в четырех книжках «Русск. Вестн.», январь—апрель 1892 г., и, года два спустя, в «Вестнике Европы», в «Русской Мысли», в «Русском Обозрении» и «Вопросах философии и психологии» целый ряд статей, то полемических, то анализирующих, А. Александрова, кн. С. Трубецкого, П. Милюкова, Л. Тихомирова, Фуделя. И все же в результате — *ничего, никакого общественного внимания*. Кроме своей библиотеки, я никогда и ни у кого не встречал в библиотеке сочинений Леонтьева. Его имя в обществе если и известно, то *понаслышке*, а не *по чтению*. Я не могу этого объяснить иначе как следующим, несколько *колдовским* способом. Известно, что в жизни (и в истории) большую роль играют так называемые *нечаянности*. Природа (творческие ее силы) любит как бы *удивлять* человека, видеть его *удивленное* лицо. Поэтому чего мы особенно сильно *ожидаем* или *желаем*, очень часто, до странности часто, *не исполняется*. Л-в, во-первых, имел право на огромное влияние и, вероятно, первые годы, не сомневаясь, *ждал* его, а потом с каждым годом все мучительнее *желал* — и тоже *ждал*. Может быть, в истории литературы это было единственное *по напряженности ожидание успеха*; и природа, так сказать, скупая произвести до утомительности подготовленный факт, просто ленилась подойти к этому колодезю ожидания и положить цветок в давно протянутую руку. — «А, ты все ждешь?! Бедный! Вот, сейчас; только я сперва подбегу к этому сонному человеку, которому и не брезжится, что он когда-нибудь будет известен, и развоню его имя по всем уголкам вашей России». Годы проходили; Лейкин славился, Гайдебуров гремел, Стасюлевич и Пыпин выросли в отечественные величины. «Ну, что же мне?» — измученно пищал из Оптиной Леонтьев. «Ах, это — ты! ах, это — все он, — говорила Natura-Genitrix [Природа-прародительница (*лат.*)]. — Правда, надо бы ему помочь, но такая невыразимая скука подойти к этому натруженному месту, натруженной думе, которая по пальцам сочла и перечла все свои шансы и вероятности на успех. Ну, и помогу ему, но завтра; а сегодня свернусь в клубочек и отдохну, ибо и без того уже помогла десятерым». И не наступало этого «завтра», не наступило вовсе. В. Р-в.

Да, с этой *внешней* стороны — дело просто; но когда спросишь себя: *да почему же* мало писали и противники, и единомышленники, и на $\frac{1}{2}$ согласные, — то здесь уже решение очень трудно! Я не могу вам перечислять здесь все мелкие факты, все странные случаи, все необъяснимые поступки одних и все таинственные «уклонения» какие-то других; напริม., того самого Н. Н. Страхова, к которому вы обратились с вопросами *обо мне как раз не вовремя*; ибо я несколько месяцев тому назад, именно за 30-летнюю его противу меня недобросовестность, послал краткое открытое ему письмо со словами псалма: «*Уклоняющегося от меня лукавого не познах*» (т. е. не буду с ним *связываться*, водиться больше). В самом деле, если придется нам когда-нибудь увидаться, то я расскажу вам про его ко мне отношения удивительные вещи! Именно удивительные, ибо личного столкновения между нами не было никогда (да этого моего открытого письма, — как заключения 30-летнего знакомства и во многом единомыслия)... Расскажу и много других фактов, которые вас удивят и даже, вероятно, опечалят; но объяснить их можно, во-первых, только древней поговоркой «*Habent sua fata libelli*»¹; а во-вторых, *по-Оптински*: «*Божья воля!*» Разумеется, что последнее объяснение лучше всех, не потому только, что оно душеспасительнее и богоугоднее, но и потому, что оно всех глубже и вернее; повторяю, *факты* до того странны и исключительны, что только Божьим «*смотрением*» их можно объяснить. Для Бога всякая «*душа*» важна; «*Бог хочет всем спастися и в разум истинный прийти*», — говорит Церковь (даже в катехизисах, которые нами, к сожалению, не ценятся и в которых, однако, содержится *решительно все*, что христианину необходимо!). Это так; но *почему это* на жизни одного человека весьма видна нить, за которую Господь выводит его из лабиринта его собственных страстей и умственных блужданий, а на жизни другого проследить ее труднее, — не знаю! Да и кто знает это? *И не нужно* *вовсе* нам все знать и все понимать!! Я знаю только то, что *моя* нить Божия *смотрения* очень ясна; нередко до малейших изгибов! Бог Сам знает, кому что и *в какое* время дать. Я *прежде* был так самонадеян, и сильное воображение мое могло так далеко завлечь меня куда-нибудь, куда не нужно, — что Господь, по бесконечному милосердию Своему, долго *мешал* (я так думаю) даже и сочувствующим мне людям *печатать* обо мне и усиливать мою известность; «*сила Божья* ведь, когда нужно, и в немощах наших познается»; один *ленился* взяться за дело серьезно; другой был робок характером; третий очень занят; четвертый был просто недобросовестен или питал ко мне личное отвращение... И все это в течение 30 лет так мало-помалу меня «*осадило*» и «*отрезвило*», что оказалось истинным мне благодеянием!.. Оно и больно было; да мало ли что! Христианское учение (настоящее, а не *Фед. Мих...*) иногда *весьма* сурово и страшно, что делать! Но раз *безбоязненно* и *безусловно* принятое по *простому* и *старому катехизису* (одобрен. *Св. Синодом* — *да! да!*), оно дает такие *мощные опоры*, такие *удивительные утешения*

¹ Имеют свою судьбу книги (*лат.*).

(косвенно — иногда даже и для бедного, многострадального самолюбия нашего), каких никакая другая философия дать не может. Так *нужно* было меня выработать, и для этой цели пригодились и в друзьях, и в критиках и русская лень, и общечеловеческий эгоизм, и опять-таки специально-русская *умственная* робость, русское предательство не всегда даже по злобе, а чаще по вялости и легкомыслию... А теперь, когда мера духовного воспитания исполнилась, вот уже 5—6 лет все чаще и чаще, все серьезнее и серьезнее стали упоминать мое имя¹... Даже и за границей раза два-три помянули². И сверх того, прибавлю, и в самое неблагоприятное для меня время Богу, видимо, было неуютно, чтобы я впал в уныние, чтобы я счел себя решительно бесполезным и бездарным, потому что те самые люди, которые не хотели потрудиться для поддержки меня в печати, — «приватно», чуть не «по секрету», в *частных ко мне письмах* и в заглазных беседах, почти превозносили меня. Так делали Влад. Серг. Соловьев, Фет, Влад. Андр. Грингмут и многие другие! *Даже* и этот самый Ник. Никол. Страхов... например. А ведь все это люди один другого лучше, один другого умнее, один другого образованнее и т. д... Если бы *напечатать* все то, что я слышал от них на словах и что написано в их письмах, так это забыться от гордости можно... А в печати — ни-ни!..

Видите, как видна *телеология* духовного Промышления: ни отчаиваться, ни пренебрегать собой как писателем мне нельзя; приватно *превозносят*: ни — испортиться от ранней и быстрой славы или удачи нельзя же; *публично обходят* молчанием или (как Вл. Соловьев) с большим уважением поминают имя, но всегда мимоходом и очень кратко.

Иначе объяснить все это я не умею: да и не вижу пользы.

Довольно об этом: об *этом* чем меньше говоришь, тем лучше! И вам, я думаю, при всем вашем сочувствии, другие предметы будут интереснее.

О «пороках русских» напишу я вам в другой раз... Коротко и ясно замечу только, что пороки эти очень большие и *требуют большей*, чем у других народов, *власти* церковной и политической. То есть *наибольшей меры* легализованного внешнего *насилия* и *внутреннего* действия *страха* согрешить. А куда нам «любовь»? *Народ* же, выносящий и страх Божий, и *насилие*, есть *народ будущего* ввиду общего безначалия... *Ясно?* Если не ясно, еще потом

¹ Ну, уж «упоминать»... Так и до сих пор, до 1903 г., кроме «любителей», имя Леонтьева, К. Н., куда менее известно, нежели однофамильца его, Леонтьева — друга Каткова, составителя «Латинского словаря».

² Удивительно! удивительная *степень* ожидания!! Если бы Л-в вдруг *забыл* возможность славы (исчезло душевное в эту сторону напряжение), как бы заспал ее, — то она сейчас, мне кажется, и вошла бы к нему. *Она все время стояла у дверей его*, но ожидала, пока он перестанет смотреть на нее. Но он не переставал сюда смотреть, и так утомил «гостью», что, отойдя, она даже не вспомнила о нем и тогда, когда он умер, и что теперь можно бы его прославить. «А, тот несчастный все скребется в дверь: не отопру». Но это уже не он скребется, а мыши в его могиле.

объясню. Если желаете, то я пришлю вам мои *новогреч. повести, только на прочтение*, с возвратом, ибо у меня другого экз. нет¹...

Писать письма к друзьям я ничуть не тягочусь, но не всегда могу; болезнен, и приучил себя к строгой *очереди* в занятиях. Не берусь за другое дело, не окончив какого-нибудь первого; через это бывают отсрочки, даже вопреки охоте сейчас ответить.

Хорошие мои портреты все розданы: когда получу новые снимки с того же негатива, пришлю вам, а пока, чтобы удовлетворить вашему желанию видеть мое старое лицо, посылаю вам *слишком черную*, неудачную фотографию; все-таки понять и по ней можно, какое у меня лицо. Смолоду я был хорош, а теперь слишком много морщин. Это почему-то физиологическое свойство у людей нашего класса иметь в старости много *мелких* морщин на лице... У мужиков, у монахов «из простых» и у людей белого духовенства этого нет... Их старость гораздо благообразнее... Морщины *крупнее*, кожа *свежее* нашей². Заметьте, это так.

На этот раз прощайте. Пишите, сколько угодно, когда хочется; не всегда тотчас отвечу, но всегда буду очень рад.

Отвечаю на ваши объятия, сколько сил осталось!..

Ваш К. Леонтьев. NB. (*Константин Николаевич*).

P. S. *Холостой* вы или *женатый*?

¹ Много лет не читав беллетристики и как-то, за исключением великих мастеров, не уважая ее, я так и не попросил у Леонтьева его повестей, думая, что это нечто «средненькое». И никогда не искал с ними знакомства, пока случайно, года два назад, не наткнулся на них, в старинном издании, чуть ли не шестидесятих годов. Но едва я начал их читать, как поразила красотой и художественной верностью живописи. Молодые греки, мечтающие о парламенте, молодые боярыни греческие, вспоминаящие об Аспазии, грубые, суровые, старые турки-паши, большой родовой быт славян, и торговля, везде торговля, и деньги, в перемешивании с разбойничеством (в горах), — все дает великолепную панораму Балканского полуострова перед самым освобождением. Удивительно, что они не переведены на греческий и южнославянские языки. Но когда-нибудь они там станут родною книгой, *своей* отечественной, ибо схватили портрет национальностей в минуту, когда национальной литературы не существовало иначе как в форме народного песнотворчества. С тем вместе политические идеи Л-ва сквозят везде и здесь; но, одетые в плоть и кровь, они нигде не жестки. Напр., «либералов»-греков, молодых университетантов, он рисует чуть-чуть разве смешными, но вместе такими грациозными и милыми, что нельзя оторваться от зрелища. И всю картину любишь и уважаешь.

² Как все замечено! Какая наблюдательность! Страху или Рачинскому просто не пришло бы на ум *посмотреть* на это. Иное дело эстету Л-ву: ему дай *лицо* и затем уже начинай «о душе». Я говорю, Алкивиад в нем не умирал, — с длинными волосами, вечно нравившийся женщинам.

Если женатый и если задумаете в Оптину приехать, то не берите с собой *на 1-й раз* супругу вашу, какая бы она прекрасная женщина ни была. Знаю, по прежнему опыту, как полезно в хорошем монастыре пожить неделю, месяц *одному*, и как отвлекают *именно близкие люди*¹, приехавшие с нами, наше внимание от тех впечатлений и дум, которых влияние так дорого. Позднее — другое дело...

Хотя в статье вашей о «Великом Инквизиторе» многое множество прекрасного и верного, и сама по себе «Легенда» есть прекрасная фантазия, но все-таки и оттенки самого *Дост.* в его взглядах на католицизм и вообще на христианство ошибочны, ложны и туманны²: да и вам дай Бог от его *нездорового и подавляющего* влияния³ поскорее освободиться!

Слишком сложно, туманно и к жизни неприменимо.

¹ Да, *любовь к родному* отвлекает «от нас» (аскетов, аскетизма); а как любить «нас» непременно нужно, — то *оставь родное*, сперва хоть на время, а потом, смотря, как обстоятельства сложатся, — может быть, и навсегда. Таков исторический, тихонький, вполголоса припев аскетизма. «Хочешь поцеловать детей? На, лучше поцелуй набалдашник моего посоха».

² Этого нельзя отрицать. Сперва «Легенда» поражает блеском и глубиной; *афоризмы* из нее и навсегда остаются глубокими, прекрасными. Но только афоризмы: в целом Д-ский построил совершенно невозможную (и неверную) концепцию христианства и церкви, говорит о не бывшем, как о бывшем, а может быть, главного-то в *бывшем* и не заметил. В конце концов, «Легенда» и основной ее замысел даже банальны: все съезжает на трафарет вечного плача: «все люди (= инквизиторы, католики) испортили, нагадили, и из золотого зерна безмерной цены *вырастили* крапиву». Но нам думается, как бы злоумышленник-садовник ни старался, или как бы он глуп и, наконец, пьян ни был, все же из яблочка вырастет, хоть и кривая, но *яблонька*, и если уж поднялась крапивка, то верно из крапивного зерна.

³ Д-ского я читал, как *родного*, как *своего*, с VI класса гимназии, когда, взяв на рождественские каникулы «Преступление и наказание», решил ознакомиться с писателем для образовательной «исправности». Помню этот вечер, накануне сочельника, когда, улегшись аккуратно после вечернего чая в кровать, я решил «кейфовать» за романом. Прошла вся долгая зимняя ночь, забрезжило позднее декабрьское утро: вошла кухарка с дровами (утром) затопить печь. Тут только я задунул лампу и заснул. И никогда потом *нервно не утмлял* меня (как я слышал жалобы) Достоевский. Всего более привлекало в нем отсутствие литературных манер, литературной предвзятости, «подготовления» что ли, или «освещения». От этого я читал его как бы записную книжку свою. Никогда ничего непонятного я в нем не находил. Вместе с тем, что он «все понимает», все видит и ничего не обходит молчанием, уловкою, — меня в высшей степени к нему привлекало. Но, я думаю, в конце концов Д-ский *себя сам не понимал*, т. е. не знал того, *из какого* он зерна растет и *куда* растет. В последнем анализе и, так сказать, при последнем ударе аналитического резца, он отступал назад; это — везде. Он — *ослабевал*. Между тем надо было только на шаг еще дальше продвинуться, а затем «на другой ключ» перестроить все струны арфы, — и получилась бы та чудная мелодия, «гармонии», которые он чувствовал как бы сквозь сон, но их ввявь и пробужденно никогда не увидел. Его считают иногда «жестоким» (в идеях, в картинах). Может быть,

В Оптиной «Братьев Карамазовых» *правильным правосл. сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож*¹. Достоевский описал только его наружность, но *говорить* его заставил совершенно *не то*, что он говорит, и не в *том стиле*, в каком Амвросий выражается. У от. Амвросия *прежде всего* строго церковная мистика и уже потом — прикладная мораль. У от. Зосимы (устаами которого говорит сам Фед. Мих.!) — прежде всего мораль, «любовь», «любовь» и т. д., ну, а мистика *очень слаба*.

Не *верьте* ему, когда он хвалится, что знает *монашество*; он знает хорошо только *свою проповедь любви* — и больше ничего.

Он в Оптиной пробыл дня *два-три всего!*..

«Любовь» же (или проще и яснее *доброту, милосердие, справедливость*) надо *проповедовать*, ибо ее мало у людей, и она легко гаснет у них, но не должно *пророчить* ее *воцарение на земле*. Это *психологически, реально* невозможно, и *теологически* непозволительно, ибо *давно осуждено церковью*, как своего рода *ересь (хилиазм, т. е. 1000-летнее царство Христа на земле, перед концом света)*. Смотри «Богословие» Макария, т. V, стр. 225, изд. 1853 г.²

Аминь.

«новый ключ» арфы и заключался в тоне кротости, в замене тона негодования, презрения, насмешки, — в котором ему надо было рисовать, пожалуй, ту же «живую фотографию» (есть такие детские картинки), какие он рисовал. Тон детства надо ему было взять взамен тона *старости*. У него взят почти всюду тон старости, даже тон брюзжащего старикашки.

¹ Леонтьев, в оценке этого факта, многого не принял во внимание. Прежде всего, Д-ский, не менее Л-ва *странный и самостоятельный*, удался в литературе и горит на небосклоне ее огромную (и вещую) кометою, с бесчисленными искрами хвоста ее. *Вся Россия* прочла его «Братьев Карамазовых», и изображению старца Зосимы *поверила*. От этого произошло два последствия. *Авторитет* монашества, слабый и неинтересный дотоле (кроме *специалистов*), чрезвычайно поднялся. «Русский инок» (термин Д-го) появился, как родной и как обаятельный образ, *в глазах всей России*, даже неверующих ее частей. Это первое чрезвычайное последствие. Второе заключалось в следующем: иноки русские, из образованных, невольно подались в сторону *любви и ожидания*, пусть и неверных, какие возбудил Д-ский своим старцем Зосимою. Явилась до известной степени новая школа иночества, новый тип его: именно — любящий, нежный, «пантеистический» (мой термин в применении к иночеству). Явился, напр., тип монаха — ректора заведения, — просто не знающего личной жизни, личного интереса; живущего среди учеников буквально, как отец среди детей. Если это не отвечало типу русского монашества XVIII—XIX веков (слова Леонтьева), то, может быть и даже *наверное*, отвечало типу монашества IV—IX веков. Вот чего не принял Л-в во внимание.

² Ну, тоже все «авторитеты». Тут смотри, кто у кого понадерган, который компилятор у которого: «инде из немцев, инде из англикан, инде от латинцев, — хоша они и папезники, но грамоте больше и раньше нас научены». Все это богословствование из книги в книгу с каждым новым переписыва-

24 мая 1891 г., Опт. пустынь.

Очень рад, Василий Васильевич, что мой неудачный, черный портрет удовлетворил вас, — только, поверьте, «черт не так страшен, как его рисуют!»... Я вовсе (увы!) не «мрачен» на деле. Очень желал бы быть *природно*, естественно мрачнее; это *выгодно* в жизни; к несчастью, я лично не только весел, но даже и очень легкомыслен. А если в сочинениях моих много мрачного, то это уж не мой личный характер, а *правда жизни самой*, на которую ранние занятия анатомией, медициной, зоологией, ботаникой и т. д. приучили меня смотреть объективно, т. е. по возможности независимо от моего личного характера и личных обстоятельств. Так мне кажется, а впрочем, себя судить трудно, и я могу ошибаться в понимании *источников* такой комбина-

нием все разжижается. Истины религиозные самовозжигаются из опыта. И кто «на кресте» (биографическом) не бывал, тот и Бога не узрит. «Голгофа», таким образом, имеет свой смысл — источника великих откровений, только ее *сам* переживи и никогда, никогда другому ее не навязывай. Лучше пройди мимо и Голгофы, и откровений. Но если случится на нее взойти, то вот, отверзутся очи твои на многое неожиданное. Ошибка исторического христианства заключалась главным образом в том, что, поджигая под себя хвост при виде страдания, однако же находились (и всегда находились) трусливые, говорившие: «Я боюсь, а ты, *однако*, *пойди*». Не само-страдальцы испортили его, но то, что на их путь стали звать вообще человечество сытенские. Леонтьев свое страстное и острое монашество вынес из десятилетий биографического уныния, о котором слишком ясно в приведенном письме говорит (что значит *для писателя*, и урожденного, с призванием, — почти не быть даже и читаемым!). Но что, если бы начинающему писателю не только посоветовать, но и фактически, творчески создать, обусловить полную и навсегда судьбу: остаться вовсе в безвестности. И еще с присказкой: «Ничего, зато вы спасетесь, станете, может быть, монахом; в немощах ваших сила Божия скажется». Затем, естественная жизнь человеческая, и именно в миру, среди людей, имеет уже сама в себе *естественные* страдания, роковые, неустрашимые. Главным образом это суть: болезни, смерть, бедность, изнеможение в труде, разочарование в близких людях. Их всех не знает, не несет монашество; этот *легчайший*, беспечальный и беспечный, *путь жизни* (только одна «скорбь»: не касаться женщины). Что значит, напр., для родителей потерять девятилетнего единственного ребенка, уже столь возлюбленного, на котором висит, можно сказать, весь смысл дома их, жизни, биографии, быта!! Монах этого не знает! Что, далее, значит любящей жене вдруг узнать о неверности мужа, мужу — о неверности жены!! Как потрясается вся жизнь. Через душу переехал поезд, оставив тело живым, — вот сравнение! Поэтому, если аскеты говорят (как деревянное правило), что «надо искать скорбей», или «не убегать скорбей», то именно потому, что они вовсе и не знают скорбей иначе, как в форме грибного стола во все посты и пресловутого «некасания женщины». Отсутствие и незнание *настоящих* «скорбей» и заставило их так легко обходиться с их идеей. Голгофа есть в жизни, неизбежна. И еще увеличивать ее, искать — грех. В. Р-в.

ции: сам веселый и даже нередко легкомысленный, по воззрениям пессимист (впрочем, «оптимистический», т. е. «слава Богу, что не хуже», «страдания полезны» и т. д.). В понимании *источников* могу ошибаться, но самый *факт* сочетания этого верен.

Так себя и рекомендую на случай личного знакомства.

Дальше и я буду вам отвечать по пунктам.

1) *Вы женитесь!* Дай Господь мир и любовь. Не знаю, какова ваша невеста, но, расположившись к вам за ваше ко мне заочное и *неожиданное* сочувствие (вы догадываетесь, конечно, что я этим не избалован, как Толстой и Достоевский) и замечая и по статьям вашим, и по письмам, что вы человек, *глубоко все чувствующий*, молю Бога, чтобы Он подкрепил вас на этом, столь скользком в наше время пути! Главное для меня, *самое главное*, чтобы вы *прежде невесты успели поставить ногу на венчальный коврик!* Вы, конечно, знаете, *что* это значит?

Один 40-летний супруг, жену свою любивший неизменно и нежно в течение 20 лет, и вполне ею довольный, говаривал мне, однако, не раз: «Муж должен быть главою, но пусть хорошая жена вертит им так, как *шея* вертит *голову*. Кажется, будто голова сама вертится, а вертит ее шея; не надо, чтобы жена видимо командовала, это скверно». И я совершенно с ним согласен.

Мы давно уже привыкли к улыбочкам и шуточкам при чтении свадебного апостола, когда диакон возгласит: «А жена да *боится* мужа своего!» А шуточного или «несовременного» тут нет ничего. Хорошая жена должна хоть *вид* подчинения показывать, если у нее и нет настоящей боязни. Разумеется, и у апостола Павла тут дело идет не о том, чтобы у всякой жены ноги подкашивались от страха при взгляде на мужа, но о *духовном страхе*, о страхе согрешить не только изменой, но и всякими мелкими сопротивлениями и *словесными* оскорблениями, на которые так падко большинство женщин. (Особенно они стали падки до этого в XIX веке, с тех пор, как их стали, к *сожалению*, реже за это *бить!*) Мужчина мужчины боится (*всякий*, хоть до известной степени); у мужчин *слова* не шутка, — во всех классах общества пощечина, кулак, топор, поединок, — *все это помнится* очень хорошо. Но *нынешние* женщины привыкли безнаказанно говорить мужьям, любовникам, братьям, знакомым, даже отцам или воспитателям такие вещи, за которые телесное наказание весьма еще слабое возмездие. Ибо боль от телесного наказания скоро проходит, а боль от некоторых слов бывает так глубока, что *десятки* лет дает себя, при случае, опять чувствовать. Я не верю даже, чтобы самый искренний христианин мог *вполне забыть* эти обиды; он может *простить* (и то после долгих *молитв* и *размышлений* *духовного* *рода*, иначе он пустой человек); может не мстить, даже с радостью заплатить добром: но *боль* и *негодование* при случайном воспоминании останутся навсегда! Дай, Господи, чтобы ваша будущая супруга была в этом отношении одной из тех исключительных женщин, которых и мне посчастливилось *изредка* встречать. Встречал, но мало, а больше несносны! Трудная вещь брак! Труднее монашества, уже потому, что монашество прямо имеет в виду тер-

нии, а на этих терниях все-таки расцветают, хоть и не розы, ну, а мелкие и весьма иногда милые и душистые цветы неожиданных утешений; брак же с привлекательной девушкой, разумеется, в первое время похож на веночек из роз и жасминов, но тем ужаснее колют шипы его!

Смолоду я сам был пламенный защитник женщин, но к $1/2$ жизни я жестоко разочаровался в них и перешел на сторону мужчин. Недавно мне случилось присутствовать при беседе одной дамы с молодой, но очень умной служанкой, весьма при этом доброй и религиозной. Дама начала бранить мужчин, а молодая служанка (сама замужняя) возразила ей на это: «Однако, правда сказать, и у нашей сестры много *подлости* есть!» Я ее чуть не обнял за это!

Конечно, все, что я пишу, — не совсем «свадебно» и празднично, и я прошу вас простить мне этот «*сгi de l'âme*»¹. *Насмотрелся, особенно в России (на востоке женщины посподержаннее), и не скажу — теперь, а даже с ранних лет!*

Прошу вас, какова бы ни была ваша невеста, — *станьте первый на коврик...* Если она короткая², ей это понравится, если вспыльчивая, тем *нужнее это.*

¹ вопль души (фр.).

² Все это длинное рассуждение, к счастью, оказалось *не нужным*. «Коврик» и не заметил, не то, чтобы пытаться «ранее вступить на него». Но какова, однако, *психология предвечная* у нас, вызвавшая вековым постоянством своим *обычай*. «Кто-то из нас будет господствовать?»... Вспоминается слово, сказанное Израилю Богом через пророка Иезекииля: «И ты не будешь Меня более называть *господином* (Ваал), а будешь называть Меня *супругом*» (Иегова). Да супружества *нет вовсе*, если оно не каплет, как мирра, нежностью и благоуханием, взаимной уступчивостью, *восторгом* уступчивости. «Вступи ты *первый* (или: «*ты первая*») на коврик» — вот долженствующая, правильная психология супружества. Но нравы потекли так, что этого никто не говорит. И снова вспомнишь Завет Ветхий, Завет Вечный по слову Божию, столь нам *нужный* сейчас, практически *нужный*. «Ты и *семейство* твое» — вечный словооборот в законодательстве «раба Божия Моисея». Человек не мыслится *без семьи*, как предмет не существует и не мыслится *без тени*. Оттого сотворение Евы примыкает так *органически* к сотворению Адама («из ребра его»), дабы показать, что и мыслиться они не должны друг без друга. Они — *органически*, и притом *предустановленно органически*, соединены: и ни Адам не *кончен без Евы*, ни Ева не *начата без Адама*. Здесь — любовь, от самого создания и в плане самого создания. Бог в могуществе своем мог бы сотворить Еву из второго куса глины: тогда любовь была бы *возможна*, а не стала бы *требуема*. Давно уже у нас (в Европе) стала любовь и связь супружества чем-то «возможным для всякого», а не «необходимым для каждого». Не прибавляем мы: «ты и *семейство* твое», ибо человек может быть и *без семейства*, мыслится и *бессемейным*. Все поставлено так, как если бы «Адам» и «Ева» были сделаны из двух *отдельных* глиняных куколок. Все уже разрушено, и, может быть, *невозвратно*. Правда, и мы риторически повторяем: «Муж и жена — одно», но это — не слово любви (ибо не из любви течет), а слово власти. «Мы соединили, *стало быть* — одно» (= «крепко»). И колотит «одна половина» другую. Ревет вторая половина: «Мочи нет терпеть!» Но ей гордо отвечают: «Тише... сделай веселое лицо; улыбайся; сохрани обман, не выдай нас: ведь вы теперь

У меня прошлого года была напечатана в «Гражд.» статья «Добрые вести», в 4-х главах, о современном, *весьма* сильном религиозном движении в среде русской образованной молодежи (идут в священники, в монахи, ездят к старцам, советуются с духовниками, решаются даже поститься; Достоевским, слава Богу, уже не удовлетворяются, а хотят *настоящего* православия, «мрачно-веселого», — так сказать, *сложного для ума, глубокого и простого* для сердца и т. д.). Трех первых глав у меня нет, а есть одна IV; в ней говорится о религиозности женщин, о семье, о монастырях, которые посещать нужно, и т. д. Позвольте мне предложить эту главу невесте вашей, как свадебный подарок. Кто знает, — может, и *пригодится*. А пока пришлите мне, пожалуйста, и вашу фотографию, и фотографию невесты. Хочется *вообразить* и никак не могу.

Теперь — 2). Вы пишете, что подозреваете и Страхова, и Соловьева в «зависти»¹. Избави Боже вас это думать, особенно про Влад. Соловьева.

одно, ибо мы вас соединили и уже невозможно разделить вас, так как это значило бы признаться в бессилии нашего соединения; а такому признанию препятствует наша гордость». Вот отчего в Библии есть картины Содомы и Гоморры, не утаен случай Лота и его дочерей, вообще *ничего не утаено*: но на всем протяжении ее листов ни одного (ни одного!) случая, где бы 1) муж жену бил, 2) родители были свое дитя. Все дети рождались в любви, а все супружества были счастливы. Чем, какими мерами золота оценить единственный этот социальный и исторический факт? И не воображайте, что это проистекало: 1) от послушности еврейских детей, 2) от покорливости еврейских женщин, 3) от любви мужей-евреев. Из непослушания их Моисею, из послушания их пророкам и Богу ясно, что народ еврейский был буйный, самонадеянный и страстный. Да, но и тигр *любимую тигрицу любит, а не грызет*. Дело в том все, что каждый еврей *жил именно с любимой женою*, а каждая еврейка *была супругою именно любимого человека*; что у них законы о браке, через Моисея данные и потом подробно в *том же духе* разработанные, были торопливыми слугами на побегушках у любви («ребро Адама»); тогда как у нас любовь — робкая раба закона, который с нею не сообразуется, а ее с собою, с своей гордостью и неподвижностью, хочет сообразовать. Невозможно не заметить, что даже Вирсавию с Давидом *не разъединил* пророк Нафан; а Бог Вирсавии от Давида дал сына Соломона. И Бог, и пророки, и закон простирались, как голубой полог неба, над любовью, утучняя ее плодородием и никогда-то, никогда ей не противясь. У нас «не так люби, как хочется, а как *мы велим*», и «жена *да боится* своего мужа», и «коврик», и «кому первому на него вступить». Да, есть «благословенный» и «не благословенный брак» не только индивидуально, но и исторически. В Европе, во всей толще ее веков и народов, «брак не благословенный»; над ним, над семьею европейскою (вовсе не библейски устроенною, а по *римскому языческому праву*) явно нет полога Неба, нет Промыслителя. Это — *не божественный брак*. В Ветхом Завете он был божественный, «благословенный Богом брак». В. Р-в.

¹ Мне казалось непостижимым, как можно было *знать* труды и личность Л-ва и молчать (столько лет!) о нем. Так как Л-в мне представлялся ярче, гениальнее обоих названных писателей, то я в изумлении и назвал порок «зависти», как единственное объяснение молчания их, помимо которого ничего не мог придумать. В. Р-в.

В Соловьева как в человека я влюблен (хотя ужасно недоволен им за его наверно *лживый* переход на сторону прогрессистов и Европы). И он, — я имею этому доказательства, — меня *очень* любит лично; у нас были *особого рода* условия для личного сближения, между прочим, мое короткое знакомство с человеком, к которому он давно привязан. Я не могу сверх того вообразить даже, чтобы человек, который во всех отношениях выше меня, стал бы мне завидовать! В чем же? Помилуйте! Не в *успехе* ли?!¹ Я, конечно, с другой стороны, не могу не считать себя *правее* его в моих воззрениях на веру, жизнь России и т. д. Иначе, зачем бы я писал (не видя, вдобавок, даже и тени справедливости к себе со стороны серьезной критики)? Но ведь *правильность и правда взгляда* не значит еще превосходство таланта и познаний? Эти последние на его стороне, *бесспорно*. Чему же завидовать: дарований и знания у меня меньше² (разве он этого не знает?), годов гораздо больше, т. е. силы и охоты к борьбе гораздо меньше, а успеха, популярности, даже простой известности — очень мало. А не писал он обо мне (т. е. он не раз и с большой похвалой упоминал обо мне, но всегда мимоходом, а не специально) по двум главным причинам: во-первых, по разным случайностям (*fatum!*), вроде хоть *вашей* же (начали статью и *бросили*³, *женитьба*, *экзамены* и т. д. Разве не *fatum?*), а во-вторых, именно потому не решался писать, что *лично* очень любит меня, а между тем сам признавался, что мягко писать против большинства моих идей ему трудно; начал прошлого года специальную статью, но *бросил*, побоялся оскорбить человека, резко разбирая писателя. Я сказал ему, что только пусть не слишком *злится* (как на других), а пусть пишет так, как думает и как говорит мне же на словах, при свиданиях.

Недавно я получил от него письмо, где он сообщает, что скоро появится (вероятно, в «Русск. Мысли») статья «Идейный консерватизм», где главная речь будет обо мне... Интересно! Ожидая и одобрений, и порицаний самых резких (за ненависть к Европе, за излишество эстетики во взгляде на жизнь, за *неподвижность* в *старом* православии и т. д.).

Очень бы интересно и *вашу* статью прочесть. Не пришлете ли вы мне ее в рукописи, как есть? Это было бы мне **большим** утешением в моем одиночестве. **Вы** (да еще двое-трое *молодых* людей) понимаете меня *именно так*, как я *желал* всегда быть понятым.

¹ Ничего этого я не думал и думал о чувстве Сальери в отношении к Моцарту. Что значит зависть к *успеху*, сравнительно с завидованием *душе* золотой, Богом возлюбленной, гениальной? В. Р-в.

² Какой везде прелестный о себе тон: вот этому-то, способности такого тона, и можно было «завидовать», как настоящему и чудному дару Божию. В. Р-в.

³ Раннее знакомства (т. е. переписки с Л-вым) я начал, для «Русск. Вестн.», большую о нем статью: «Эстетическое понимание истории», прерванную на первом отделе моими личными хлопотами. Она была окончена только при известии о смерти Л-ва и напечатана в «Русск. Вестн.» посмертно. В. Р-в.

Как вам кажется, — я думаю, это для меня-то не *шутка!*.. И можно позаботиться даже и за два дня до свадьбы упаковать и прислать рукопись. Почерк ваш я разбираю хорошо. Да коли хвалите, так уж тщеславие научит догадаться!

3) *Брату* вашему книги мои пошлю, как только получу из Москвы несколько экземпляров.

4) Вы желаете, чтобы я вам побольше написал о Страхове. Простите, не *хочется!* Я всегда имел к нему какое-то «физиологическое» отвращение; и очень может быть, что и у него ко мне такое же чувство. Но разница в том, что я всегда *старался* быть к нему справедливым (т. е. к *сочинениям* его) и пользовался всяким поводом, чтобы помянуть его добром в печати: советовал молодым людям читать его, дарил им даже его книги, а он ото всего подобного по отношению ко мне всегда уклонялся, и примеров этой его недобросовестности я могу при свидании (о котором *мечтаю!*) рассказать вам много. Но и в нем *зависти собственно* ничуть не подозреваю. Хотя *его-то*, с его *тягучестью и неясностью идеалов*, я уже никак не намерен считать выше себя (подобно тому, т. е., как считаю Владимира Соловьева, несмотря на его заблуждения и *прогрессивное иезуитство*), ибо доказателен ли я или нет, не знаю, но знаю, что всякий умный человек поймет, чего я хочу, а из Страхова никто ничего *положительного* не извлечет, у него все только тонкая и верная критика, да разные «уклонения», «умалчивания», «нерешительность» и «притворство». Но ведь из того, что я считаю его по всем пунктам (за исключением *двух*: систематической учености и умения *философски* излагать) ниже себя, не следует, что и он в этом со мной согласен. Я думаю, *наоборот*, он себя считает гораздо выше: иначе он писал бы обо мне *давно*. У него есть *три* кумира: Аполл. Григорьев, Данилевский и Лев Толстой. Об них он писал давно, много и настойчиво, о *двух первых* даже *он один*, и писал постоянно и *весьма мужественно*. И даже нельзя сказать, что он *критиковал* их: он только *излагал и прославлял* их. Их он считает выше себя и честно исполняет против них свой литературный долг. И в этом он даже может служить примером другим. Владимир Соловьев правду говорит, что характер его очень непонятный и сложный: и добросовестен, и фальшив и т. д. Я думаю так: он писал бы обо мне много в двух случаях: или если бы он сам, независимо от других, ценил меня высоко¹, или если бы и не ценя, ви-

¹ Я не выпустил ни одного из жестких слов Л-ва о Страхове и должен их уравновесить словами Страхова о Л-ве. Прочитав «Анализ, стиль и веяние» Л-ва, я был поражен, встретив *совершенно нового в литературе человека*, увидев «литературный портрет», какого вовсе (ни у нас, ни у иностранцев) не видывал никогда. Впечатление свое я сообщил Страхову, с которым был интимен. Но, как верно здесь пишет Л-в, Страхов был «тягуч, неясен и уклончив». — «Да, да, Леонтьев, Константин Николаевич, — знаю; давно пишет и очень талантливо пишет. Очень талантливый человек»... Ничего более определенного он мне не сказал. Позднее я узнал, что он, как и Рачинский, питал непобедимое и неустранимое отвращение к личности Л-ва и все-

дел, что у других, у многих я имею успех и что с влиянием моим необходимо считаться (как считаемся мы с «либералами»). Но ни того, ни другого нет. Значит, и ему завидовать нечему... Дурак будет тот, кто в литературе мне позавидует, а он не дурак.

Моя литературная судьба есть удивительная школа терпения — и только! Завидовать нечему! А поучиться некоторому неозлоблению, думаю, можно. В отношении Страхова ко мне прежде всего есть что-то загадочное, так думает и Владимир Соловьев. Объяснить очень трудно. Все объяснения не подходят¹.

Ну, прощайте. Господь с вами. *Не раз уже молился за вас грешными моими молитвами и впредь не забуду. Отчего бы вам не побывать и с молодой женой у от. Амвросия* (да и у меня, кстати)? *Диаконицу хвалите, а сами подражать ей не хотите?*

Ваш от души К. Леонтьев.

*Рукопись и портреты, ваш и жены вашей, не забудьте прислать. Только с женой вместе на одной фотографии не снимайтесь, ради Бога. Это ужасный mauvais genre!*²

Р. S. 25 мая. Две заметки о Соловьеве Влад. Насчет его даровитости.

Я ему раз писал (прошлой зимой) в частном письме: «Счастье ваше в том, что вы способностями выше всех нас, ваших противников (*переименовал*: Страхова, себя, Яроша, Астафьева и т. д.); но из этого не следует, что вы теоретически правы и что жизнь пойдет по вашему пути. И Наполеон I был выше всех современных ему полководцев, выше Веллингтона, Кутузова, Блюхера, Шварценберга и т. д. *И они все признавали его превосходство; но все-таки оружия не слагали и кончили тем, что низложили его, ибо исто-*

му образу его мыслей. Тут был протест против «нищестанства не в Ницше». Оба они возмущались смесью эстетизма и христианства, монашества и «кудрей Алкивиада» и, главное, жесткости, суровости и, наконец, прямо жестокости в идеях Л-ва, смешанной с аристократическим вкусом к роскошной неге, к сладострастию даже. «Фу, черт — турецкий игумен!» — это удивление во мне, у них выразилось, как *негодование, как презрение*. Но не может человек видеть «зад свой» (выражение Библии о Боге), и Л-в никогда не догадался о настоящем мотиве отчуждения от себя многих людей, также, по-видимому, как он, «консервативных», «православных». В. Р-в.

¹ Здесь есть еще одно объяснение (в отношении Рачинского и Страхова), которого, очевидно, не подозревал Л-в, что именно *оно действует*. И я здесь сообщить о нем не могу, хотя один раз у Страхова в письме ко мне, а у Рачинского в личном разговоре со мной оно вырвалось. К этому мотиву и относится фраза Рачинского о Л-ве, приведенная мною выше: «Я — *отскочил от него*» (Л-ва). Но это относится к нерасказываемым в печати подробностям биографии. Бедный Л-в всех этих мотивов не подозревал, а никто из близких людей, например Вл. Соловьев, и не мог их выговорить. В. Р-в.

² дурной вкус (*фр.*).

рия была за них, а не за него». Соловьеву это так понравилось, видно, что он читал это место Страхову (пропустивши, впрочем — к сожалению — его имя). Страхов тогда обратился ко мне с письмом, в котором рассказывал о «хвастовстве»¹ Соловьева и, кстати, спрашивал, как я думаю о «фальшивости» и «лукавстве» Соловьева, который его, Страхова, в этих же именно дурных свойствах обвиняет. Вообразите оригинальность моего положения между почти единомышленником, которого я не люблю и даже не уважаю, и противником, которым и лично, и литературно восхищаюсь?!.. Считая Страхова и по *природе*, и специально в делах со мною крайне фальшивым², утомленный, наконец, собственным моим по отношению к нему долготерпением (30-летним!), я ответил ему кратко, *открытым* письмом, что «не намерен входить в подобный разбор, кто из писателей наших более фальшив и кто менее, но предпочитаю ответить словами прор. Давида: *«Уклоняющегося от меня лукавого не познах (т. е. не хочу с ним больше водиться)»*».

НВ. И *после этого как раз* вам случилось к нему обратиться за сведениями обо мне.

2) *Вл. Соловьев о Достоевском в частном письме.*

Лет 6 тому назад Соловьев, почти тотчас же вслед за произнесением где-то трех речей в пользу Достоевского (где, между прочим, он возражал и мне, на мою критику пушкинской речи Д-го, и утверждал, что христианство Д-го было *настоящее* святоотеческое), написал мне письмо, в котором есть следующее, весьма злое место о том же самом Фед. Мих-че: *«Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подозрительную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел»*.

По-моему, это злая и печальная правда!

Ведь я, признаюсь, хотя и не совсем на стороне «Инквизитора»³, но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно-всепрощающего Христа, кото-

¹ Страхов так пишет: «хвалился» или «хвастался», — не помню. *К. Л.*

² Вл. Сол. я не считаю *природно-фальшивым* по темпераменту; но думаю, что он *телеологически* стал в последнее время притворяться, *будто* сочувствует *европейскому прогрессу*. Надеется этим путем и либералов наших привлечь к мысли о *примирении церкви* и о *подчинении папе*. За это негодуя на него сильно. *Прим. К. Н. Л-ва.*

³ «Легенда о Великом Инквизиторе» — известная вводная глава в «Братьях Карамазовых», где приводится длинная речь Инквизитора испанского, объясняющего Христу, отчего католичество вынуждено было отречься от Христа, изменить ему, исказить его учение и стать на сторону «умного Духа Пустыни» (=диавола), говорившего в пустыне со Христом. Во все время речи Инквизитора Христос безмолвствует и только в заключение целует его в «бескровные уста». *В. Р-в.*

рого сочинил сам Достоевский. И то, и другое — крайность. А еванг. и святоотеч. истина в середине. Я спрашивал у монахов, и они подтвердили мое мнение¹. Действительные инквизиторы в Бога и Христа веровали, конечно, сильнее самого Фед. Мих.² Ив. Карамазов, устами которого Фед. Мих. хочет унижить католичество, — совершенно не прав.

Инквизиторы, благодаря общей жестокости века, впадали в ужасные и бесполезные крайности; но крайности религиозного фанатизма объяснять безверием — это уж слишком оригинальное «празднословие». Если христианство — учение божественное, то оно должно быть в одно и то же время и в высшей степени идеально, и в высшей степени практично. Оно таково и есть в форме старого церковного учения (одинакового с этой стороны и на востоке, и на западе). А какая же может быть практичность с людьми (даже и хорошими) без некоторой доли страха? «Начало премудрости (духовной) есть страх Божий; плод же его любви».

Все прибавки к вере и все «исправления» XIX века никуда не годятся, а наши русские и тем более, ибо они даже и не самобытны; я могу привести цитаты из Ж. Занда и др. французских авторов, в которых раньше Достоевского говорится о «любви» и против суровости католичества. Старо и оши-

¹ Едва ли Л-в не наивничал, обращаясь к ним «за разъяснением». Бедную и несчастную сторону нашего духовенства составляет то, что они зачастую не только не знают (иначе как формально, школьно, схоластически) литературы и философии, и, между прочим, всех религиозных волнений и недоумений, волнующих «внешний (для духовенства) мир», но его решительно невозможно и ввести в дух этих недоумений, в настоящие и кровные его мотивы. Только приходя в соприкосновение с духовенством, понимаешь, как много значит школа и история личного образования, личных знакомых, встреч, прочитываемых книг. Духовное лицо прикасается только к духовным же; и они все слежались в ком твердый и непроницаемый. У них есть свои сомнения, но не наши, своя боль — и тоже не наша. Нашей боли и наших сомнений они никогда не почувствуют, и в глубочайшем, в душевном смысле — мы просто не существуем для них, как в значительной степени — и они для нас. Печально, но истинно. В. Р-в.

² Тут — глубокая правда у Л-ва. Мы просто не понимаем, что такое «инквизитор», а Достоевский набросал совершенно невероятный портрет инквизитора-атеиста. «Это вы сами, Фед. Мих., в Бога не веруете», — мог бы ему ответить инквизитор-испанец, повернувшись спиной. Вообще мы, русские, понимаем только тип русской веры, тип веры несколько беззаботного и неэнергичного человека. Идеалисты французской революции начали («terror gei-publiae») («террор общественный» (лат.)), а идеалисты Христовой веры начали инквизицию, этот «terror fidei» («террор веры» (лат.)). Поразительно, что очень серьезные верующие люди не питают отвращения к инквизиции до сих пор! Не жалуются, что «она была»; ни сатир, ни картинок на auto-da-fe не пишут. Это их молчание, спокойствие (среди наших столь либеральных времен!) показывает, что в идеализме веры действительно содержится «инквизиционный момент»: еще немного глаза поугромяют, веки — опустятся, губы сожмутся, и они произнесут «auto-da-fe». В. Р-в.

бочно. Разница между православием и католичеством — велика со стороны *догмата, канонических отношений, обрядности* и со стороны *истории развития* их; но со стороны *церковно-нравственного духа* различия очень мало; различие главное здесь в том, что *там* все ясно, закончено, выработано до сухости; а у нас недосказано, недоделано, *уклончиво...*

Но это относится не к *сущности нравственного учения*, а к истории и темпераменту тех *наций*, которые являются носительницами того и другого учения.

3) *Насчет ваших книг*. За присылку их **очень** вам признателен; *брошюры* все прочел с величайшим удовольствием, и это чтение усилило во мне еще больше желание *видеть* вас. Вы уж тем подкупили меня еще и раньше, что *имели неслыханную у нас смелость впервые с 40 годов заговорить неблагоприятно о Гоголе*. Это большая смелость и великая заслуга. Сочинения последнего его периода, т. е. самые знаменитые, очень обманчивы и вредны; я тоже писал об этом кое-где мимоходом; но я стар, а вы молоды. Честь и слава вам за это! За большую книгу «О понимании» еще не принимался. *Боюсь* немножко, ибо хотя я не лишен вполне способности понимать отвлеченности, но очень скоро устаю от той *насильственной и чуждой последовательности и непрерывности*¹, в которую втягивает меня всякий философ. Большею частью по философским книгам только «порхаю» с какой-нибудь своей затаенной «тенденцией»; *ищу* — и порхаю; не как бабочка, конечно (ибо это для 60-летнего старика было бы слишком «грациозно»), ну, а как *какая-нибудь шершавая пчела (трутень?)*.

4) Что вы нашли «*благообразного*» в *наружности* Ник. Ник. Страхова? не понимаю!

Вот *наружность* Соловьева — идеальна, изящна и в высшей степени оригинальна.

А Страхов? Не понимаю!

«De gustibus non est disputandum!»²

Впрочем, я *пристрастен*: у Соловьева мне и слабости, и пороки нравятся; а у Страхова я и самое хорошее — признаю... конечно, признаю, но — прости мне Господи! — *скрепя сердце!*

¹ Как это хорошо выражено, мотивировано. Действительно, философ внешний куда-то *тащит мою душу*. Вот отчего *настоящие* философы мало читают *других* философов (Кант, Декарт, Бэкон знали историю философии слабее посредственных профессоров своего времени). Настоящий оригинальный и сильный ум, ум *именно философский*, не станет (больно будет) читать *другого настоящего же философа*, разве изредка и «несистематически», хотя *мыслить сам* вечно будет (наслажденье). Напротив, пассивный ум, мертвый, неоригинальный — будет сколько угодно читать философов, и философии. «Кто бы меня ни потащил, — со всяким пойду». От этого иногда профессор-медик, профессор-юрист, профессор-историк еще бывает философом, с призыванием к философствованию и философии. Но никогда этим не бывает «читающий философию профессор». Они в смысле философском — потерянный материал. В. Р.-в.

² «О вкусах не спорят» (лат.).

Когда дело идет о Соловьеве, мне надо молиться так: «Боже! Прости и охлади во мне мое *пристрастие!*» А когда о Страхове, то иначе: «Боже! Прости и уменьши мое *отвращение!*»

И то, и другое — *грех*: христианство — *царский* путь, *средний!*

27 мая.

Вчера уже письмо было запечатано и готово для отправки, а сегодня я распечатал его, чтобы сообщить вам *три новости*.

Во 1-х, получил вчера же извещение, что Говоруха-Отрок скоро приедет *пожить* в Оптину, перед путешествием за границу (преимущественно в Царьград, — хвалю!); с другой стороны, тот самый *Фудель*, которому я посвятил мои письма о «Национальной политике», на днях предупредил меня, что он уже в дороге и в *1-х числах июня* будет у меня. Не соблазнит ли вас хоть этот случай — познакомиться с двумя даровитыми единомышленниками? Не привлечет ли хоть это вас сюда?

Фудель человек замечательный; ему не более 26 лет; он уже 3-й год *священником* в Белостоке, и теперь надеется быть переведен в Петербург, для слушания лекций богословия. Он кончил курс юристом в Москве; под влиянием Ив. С. Аксакова и все *того же Достоевского* напечатал очень хорошую («как *млеко первоначальное*») книжку «Письма о русской молодежи», против нигилизма и в духе того пламенного тумана, в который заводят оба вышеупомянутые знаменитые авторы. Потом, не хуже вас, вступил со мной в переписку; *не долго думая* (он решителен и тверд: *немецкая кровь* по отцу, *польская* по матери! Увы!), приехал сюда, поговорил с от. Амвросием и со мной и благословился у от. Амвросия пойти в священники. Я рекомендовал его Победоносцеву и др. лицам, — его рукоположили более 2-х лет тому назад (он женат), и туман «гармонии» и т. п., слава Богу, совсем прояснился; он предался безусловно христианству, *известному, ясному и сформированному*, и совершенно доволен с этой стороны своей судьбой. Он понял очень быстро, что с одним *моральным идеализмом* («любовь», «гармония», «Он» [Христос — *только* прощающий]) далеко от современного смятения мыслей и чувств не уйдешь, и нашел спокойствие духа *в том*, что я с *метафизической* точки зрения позволяю себя называть *материалистическим спиритуализмом* [например, Христос — вполне Бог, но и вполне человек, за исключением *греха*: т. е. *воплощение*; наше воскресение *плоти* после общего суда; *все таинства*: вода (крещ.), мирро (мирропом.), вино и хлеб (прищ.), елей (елеосв.), брачное соединение *плоти* (брак), **руко-**положение (священство), *человеческая беседа* (исповедь), *поклоны, крест, просвирка, икона*, даже и чудотворные *мощи, свечи, лампы* и т. д. Разве все это не *вещество, мистически одухотворенное?* Та мистика и не *настоящая*, которая не нашла себе материальных форм!]. Это с метафизической точки зрения, а с *лично психологической* настоящее христианство можно (как я уже писал вам и с чем вы согласились) назвать *трансцендентным эгоизмом*, влекущим, одна-

ко, за собой неизбежный и практический, земной *альтруизм*, хотя *немного*, да влекущим, даже и в самых злых и грубых людях. (Нач. премудр. *страх* Господень!) Рекомендую вам Фуделя с *самой лучшей* стороны. Хорошо бы сходиться и съезжаться! Но мы этого не делаем! Или очень мало...

Вторая новость касается вашей книги «О понимании».

От. Амвросий говорит часто, что там, где нет «страха Божия», и страх человеческий очень полезен. Вот вчера напал на меня некий весьма тонкий страх *человеческий*. Вас испугался. Я подумал: «Вас. Вас. Розанов, видимо, человек сильно все чувствующий, а ну как он меня возненавидит за то, что я долго за его книгу не принимаюсь?»¹ Ведь мне же будет грех, что я из-за лени моей ввел в искушение хорошего человека! Да и сам я желаю, чтобы он меня любил, а не ненавидел» и т. д.

И попробовал «попорхать». Присел в одном месте (в конце): смотрю — мед; присел в другом — тоже все хорошо и понятно (даже *мне* — не метафизику!), и *ново* во многом. Остался ужасно доволен и, оставив свое обычное легкомысленное дилетантство, приступил к систематическому чтению *с первой главы*.

Различение *знания от понимания* мне показалось очень ясным, верным и (для меня, по крайней мере) *новым*; я нигде этого не встречал...

Очень хорошо и *доступно*!..

При этом, признаюсь, я осмелился, применяя это различие и к своим собственным сочинениям, подумать: статья моя «Русские, греки и юго-славяне» есть выражение моего *знания*; я *описал* их свойства и различия, а моя теория (гипотеза?) *триединого* процесса в истории и в особенности гипотеза *смещения*, ведущего к *упрощению образа и смерти* (исчезновению) — есть выражение моего *понимания*. Это есть *открытие*, если оно оправдается трудами людей, более меня ученых².

¹ Брошюры я ему послал с намерением, чтобы он прочел (легко, на интересные темы), а книгу «О понимании» — только из вежливости. Куда в 60 лет читать волюмы. Но как наивно и детски чисто это. «В. В. рассердится, что я его не читаю». Да почти все мои личные друзья и посейчас не раскрывали этой книги. Вообще писатели не весьма много читают, и это — не без основания, и даже — не худо. Читатель пусть будет именно читатель, а писатель — писатель, а смешивать два эти ремесла вовсе не к чему. Ведь какая жалость выходит, когда *не урожденный* писатель начинает «писать». То же можно представить себе и относительно настоящего, т. е. жадного и обильного, плодотворного чтения. *В. Р-в.*

² Да, я не ошибся, избрав названием книги «понимание» и слив с ним философию. Какая, в самом деле, разница между «знать» и «понимать»! Последнее — это точно дух какой-то ворвался в факты, в знания и счленил их в организм, в философию! «Эврика» (=нашел, *догадался*) — вот девиз философии, восклицание философа; «вижу» земляного Вия (у Гоголя) — глас эмпирика и эмпиризма. Книга «О понимании» (737 стр.), через два же месяца по отпечатании, была осмеяна (рецензентами, очевидно, и не прочитавшими ее) в двух журналах, «Вестн. Евр.» и в «Русск. Мысли», и, не имея

Так ли я понял? Не сомнение ли это одно? Вырвитесь на мгновение из объятий суженой вашей, чтобы или *уничтожить* мою претензию, или поддержать ее... Я давно этого решения жду от кого-нибудь, но почти все *именно этот пункт* обходят в молчании... Только один Астафьев, лет 5—6 тому назад, на публичных лекциях своих (*весьма* малолюдных) и в отдельной брошюре потом признал эту гипотезу *смешения* глубокой и важной. Но он так неясно и тяжело пишет и говорит, что портит этим все лучшие свои задачи. Буду теперь уже, не порхая, продолжать чтение вашей книги.

Третья новость. «Сборника» моего («Вост., Россия и Сл-во») мне вчера прислали из Москвы 10 экз. Из них я брату вашему пошлю 2 экз. Один с надписью, как вы советовали, а другой так, для *пропаганды*: если вы желаете, то и вам для *последней цели*, пришлю экз. *пять*.

«Национ. политики» у меня нет и не знаю, где ее склад! Брошюра эта была издана одним приятелем; она, как водится с моими книгами, почти вовсе не пошла; приятель не окупил даже расходов; потом сам заболел (болезнью головного мозга), удалился к отцу в дальнюю провинцию и хотя теперь ему и гораздо лучше, но я не хочу беспокоить его вопросами о том, где склад брошюры и т. п.

Хорошее издание «От. Климента» здесь все истощилось, а в Москве оно почти не продавалось, ибо от. Амвросий в течение многих лет раздавал ее даром людям образованного класса.

Есть у меня плохое издание, — не знаю, послать ли его вашему брату или нет? Очень уж скверно издано в Варшаве (в 80-м году).

Еще раз прощайте.

Видите, как вы ошиблись, предполагая, что я тягочусь писать письма? Право, это гораздо приятнее, чем писать статью для печати. Пишешь письмо к единомышленнику или к близкому, с убеждением, что возбудишь или сочувствие, или живое возражение; пишешь статью для публики, — знаешь, что встретишь или удивленное непонимание, или насмешки над «оригинальностью» и «чужацеством» своим, или обвинения в «парадоксальности», или чаще всего пренебрежительное молчание...

Прибавьте к этому 60 лет, лень, недуги, полнейшую обеспеченность спокойной и уединенной жизни, а главное, постоянную боязнь согрешить на краю могилы излишними волнениями литературного самолюбия, — и вы поймете, почему гораздо приятнее писать Фуделю, вам и некоторым другим людям, чем для печати: как-то *нравственно чище, безгрешнее, бескорыстнее*¹.

Ваш К. Леонтьев.

еще о себе рецензий и критики, легла на полках магазинов. Лет пять назад, очень нуждаясь в деньгах, я продал ее на пуды; по 30 коп. за том (вм. 5 руб.), подумав: «*Sic transit gloria mundi*» [«Так проходит земная слава» (*лат.*)]. На ее напечатание я все время учительства откладывал рублей по 15—20 в месяц, уверенный, что она делает эру в мышлении. В. Р-в.

¹ Да, это все глубоко истинно и чисто! Переписка, письма — золотая часть литературы. Дай Бог этой форме литературы воскреснуть в будущем. В. Р-в.

5 июня 1891 г. Опт. п.

Не 5 и не 7 строк, как вы желаете, а 75 000 написал бы я вам, дорогой и милый, добрый Василий Васильевич!.. Если бы не был так слаб... Болен я *всегда*, вот *уже 20 лет*, но заниматься мне это не мешает, кроме некоторых дней особого изнеможения или уныния. (Вот и *теперь* я в таком состоянии)... Мыслить и сочинять, читать серьезное не могу; но для письма, и *тем более вам*, всегда найдутся силы... Поэтому не болезнь была причиной тому, что вы долго не получали от меня вестей, а ваши собственные *распоряжения*... Тотчас после вашего последнего письма я вам ответил в Елец, потом послал вам туда же 3 экз. моего «Сборника» и *столько же* брату вашему в г. Белый. Сверх того я в Елец же недавно послал еще одно вам письмо с деловым вопросом: *не желательно ли вам место при одной из московских гимназий?* У меня «есть рука» по мин. народн. просвещения, и я могу, по крайней мере, «попытать счастья». Удастся — хорошо, не удастся — ваше положение не ухудшится...

Статью вашу обо мне (от которой, конечно, я в восторге!) не осмелился возвратить вам, несмотря на то что заметки к ней давно готовы; ибо вы сами не велели возвращать ее до востребования... *Куда вы уезжаете*, вы мне не сказали; а все посланное мною вам в Елец, разумеется, лежит там, на почте, и *будет возвращено мне*, если вы *немедленно не напишете в почтовую* елецкую контору, чтобы вам все выслали на ваши Воробьевы горы...

«Обижаться» же мне на вас не только не за что, но так как монахи учили меня в *самом деле часто молиться*, то я каждый день (иногда и не по разу, а чаще) молюсь, чтобы вы не переменились ко мне и не оставили бы меня на краю могилы без вашей поддержки и без ваших (*неслыханных* еще ни от кого другого) утешений... Какое тут «негодовать» или «сердиться»? Тут надо свечи ставить или песни петь бравурные... Простите, что сегодня больше не могу ни слова написать... Изнемогаю и телом, и духом... Отчасти и от африканской жары...

У меня гостит теперь молодой *доцент* моск. университета Анатолий Александров (27 лет), друг и ученик мой... Он до того восхитился вашей статьей и вашими письмами, что если бы не это письмо ваше, извещающее, что вы под Москвою, то он непременно бы захал к вам, в Елец познакомиться... (Он едет к родным в Белев).

Боже! *Доживу ли я* до того, чтобы видеть вашу статью оконченной и напечатанной! Варваре Дмитриевне мой искренний поклон с просьбой не «ревновать» ко мне и не мешать вам мною, грешным, заниматься!

Обнимаю вас крепко.

Ваш К. Леонтьев.

13 июня 1891 г., Опт. п.

Неоцененный и *неожиданный* друг (позвольте вас иногда и так называть), буду для ясности отвечать по пунктам...

1. *Ваш портрет...* Я очень доволен им... Выражение вашего лица напоминает мне Ионина, бывшего сослуживца моего в Турции, консула в Янине и Черногории, потом министра-резидента в той же Черногории, потом посланника в Бразилии, а теперь временно состоящего в Петербурге при министерстве иностранных дел. Это он пишет в «Русск. Обозр.» политические статьи под псевдонимом «Spectator»¹. Если вам они попадались, то вы, конечно, видели, как он сочувствует моим отрицательным взглядам на славян. Это один из самых прямых и добросовестных умов, каких я только знал. У него глаза какие-то ясные, честные, твердые и как бы удивленные (полагаю, от бесхитростного *внимания*, — «внимание для внимания», «понимание для понимания» и т. д.). Ваши глаза (на фотографии) напомнили мне его глаза. Только носик ваш, кажется, не очень красив, — слишком *национален*, если не ошибаюсь...

2. *Ваша статья...* Еще прежде получения вашего последнего письма я уже сделал к ней примечания на особых листах. Часть их касается до вас, часть до меня. Вам я делаю замечания только *стилистические*; это мой «пункт». О себе кое-что кратко биографическое, ибо в этом вы по незнанию фактов немного ошиблись (например, о моем «стремлении в центры *деятельности*»² и т. п.). По *существу* же я не только не могу почти ничего на вашу статью возразить, но не умею и даже... как-то... *боюсь* вам выразить... до чего я изумлен и обрадован вашими обо мне суждениями!.. С самого 73 года, когда я в первый раз напечатал у Каткова политическую статью («Панславизм и греки»), и до *этой* весны 91 года я ничего подобного не испытывал! Нечто успокоительное и грустное в то же время! Если бы статья ваша была окончена и напечатана, то я мог бы сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего Владыко!..»

Теперь еще, пока статья ваша не окончена и не напечатана, я, конечно, не могу этого воскликнуть; но я все-таки могу сказать: «**Наконец**-то после 20-летнего почти ожидания я нашел человека, который понимает мои сочинения *именно так, как я хотел, чтобы их понимали!*»

¹ Или здесь — ошибка Л-ва, или г. Ионин очень недолго подписывался этим псевдонимом. Spectator в «Русском Обозрении», по крайней мере 90-х годов, вовсе — другое лицо, не Ионин. В. Р-в.

² Ниже идут везде замечания на посланную (и посмертно напечатанную) рукопись: «Эстетическое понимание истории». В начале ее сделан был очерк его теории «триединого процесса», о которой он выше говорил и которая составляет ключ к разумению всех его писаний, и заметки о его личности. В них, между прочим, я упомянул, что Л-в «стремился в центры деятельности» (т. е. столицы), но всегда от них был (*fatum*) «отталкиваем» (в провинцию глухую, в турецкую «заграницу»). В. Р-в.

Не думайте, что отзывов о моих сочинениях не было вовсе; за последние 5—6 лет их было там и сям достаточно, и даже были *весьма* похвальные, но все это кратко, недоказательно, неясно и т. д. А главное, *историческую мою гипотезу* все старались обходить осторожным молчанием¹. О предсмертном *смещении*² дерзнул серьезно отозваться только один Астафьев в публичных лекциях своих в 1886, кажется, году. На этих лекциях собиралось не более 30—50 человек, и то наполовину по личному знакомству с Астафьевым. Успеха не было никакого, и журнальная критика (даже и московская) не обратила на эти его лекции никакого внимания. Из 5 наиболее распространенных и наиболее влиятельных московских газет того времени («Моск. Вед.», «Русь», «Соврем. Изв.», «Русск. Ведом.» и «Русск. Курьер») ни одна не сказала ни слова³. И это понятно отчасти: последние две («Р. В.» и «Р. К.») — газеты вполне европейски-прогрессивные и очень рады умолчать о том, чего совершенно ничтожным назвать нельзя, а хвалить невыгодно; что касается до Каткова, Аксакова и Гилярова-Платонова, то они все трое *прежде* сами слишком много послужили *этому самому смещению*⁴, а потом сами же шаг за шагом ста-

¹ Поразительно! В *ней-то* и главная *суть* Л-ва; без нее — *его* просто нет. Здесь сказывается поразительная тупость наших философских и историко-философских кафедр, а также наглость и поверхностность нашей публицистики, наших публицистов. В печати у нас *ругаются* собственно, а не думают; или защищают «лицо», протаскивают «идейку», — но *идейку*, как голый тезис, как краткое *требование*. В. Р-в.

² По Л-ву, когда растение, животное, человек, государство, культура переходят через *зенит*, движутся и склоняются к *смерти*, то происходит в нем «предсмертное смещение элементов», как бы *упрощение* всего вида, лица умирающего предмета. Государство становится *просто*, религия — *проста* (рациональна, бедна культом), наука — эмпирична (= *проста* же) и т. п. *Механизм* растаивает, *морфология* живого тела — спадается. Отсюда Л-в видел в *падении классов*, в *обезличении сословий* признак падения европейский обществ; и отсюда, только отсюда — вытекал «аристократизм» тенденций этого бедного и скромного человека, этого бескорыстного (лично) человека. В. Р-в.

³ Как, бедный, подбирает все даже только возможные отзывы печати, — и не о себе, а о лекции, на которой его теория была *упомянута!* Тут даже какая-то неопытность: ну, и «отозвались» бы газеты, напечатали бы по столбцу репортерских отчетов: и все бы их наутро прочли, попомнили до обеда, а к ужину — забыли. *Ничего* не сделали для памяти Л-ва даже обширные статьи в либеральнейших и ходких журналах. В. Р-в.

⁴ Т. е. они все три были, напр., *бессословны*: Катков громил польских *магнатов*, Аксаков — *остзейских баронов*; оба — по косвенным (*руссо-фильским*) мотивам, но это — все равно. Л-в стоял и *за магнатов*, и *за баронов*, как за *сильную орду* в Казани, «от которой Россия (в Москве) много хорошего переняла» (в одном месте он так говорит), и по мотиву даже совершенно бескорыстному: все это — *разнообразило* общерусскую жизнь, все это было *выразительно* и *исторически красиво*. В. Р-в.

ли от него отступаться¹, чтобы им легко было свыкнуться с таким *кореным отвержением*, какое выражается в моих книгах и в лекциях Астафьева (у него, впрочем, с оговорками).

Итак, и того единственного человека, который решился публично заявить о важности и правде моей гипотезы «вторичного² смещения», — замолчали.

Лекции Астафьева изданы отдельными книжками; я их вам пошлю только на прочтение и подержание, но не *в дар*. Может быть, они вам пригодятся.

3) Ваши жалобы на то, что «печатание» оскверняет чистоту нашего внутреннего мира, меня тоже немного сконфузили... «Вот тебе раз! — подумал я, — а ну, как он и статью обо мне тоже сочтет осквернением! *Вот утешит-то!*» — Я не помню, искренно говорю, в каком именно смысле я писал вам, что предпочитаю дружеское письмо — статье для печати (я начинаю — увы — утрачивать свою прежде превосходную память); но думаю, что это было вовсе не в таком идеальном смысле, в каком вы это понимаете, а в каком-нибудь более практическом (напр., любезный и скорый ответ на письмо, сочувствие и т. д.; *виден* непосредственный плод и приятно, а где *видимый* плод от статьи? Внимания, труда, напряжения мысли в 20 раз больше, а *вознаграждение где?* Самое верное — это хорошая *плата*, — ну, это, конечно, всякому и самому бескорыстному человеку годится не для себя, так для других. И только). Поэтому не приписывайте мне тех *целомудренных* чувств, которые вы в себе сознаете. Я их не сознаю в себе, а напротив того, очень люблю видеть свои труды в печати. Пока они *дома*, я чувствую, что они мои, и все недоволен ими; а в печати — они *получужие*, и тогда они мне гораздо больше нравятся. А просто лишь **трудиться** в 60 лет наскучило, и *теперь*, наприм., я в восторге от того, что от Амвросий благословил мне до осени, до зимы и *сколько даже угодно, ничего нового для печати не писать*; несмотря даже на то, что по некоторым особым условиям нынешнего года это воздержание может весьма тяжело отозваться на кое-каких *вещественных* обстоятельствах. Понимаю очень ясно эту опасность, но пока она не настала, я спокоен и рад: «Старец благословил; будет невыгодно и тяжело зимою, значит, нужно это испытание, обойдется все хорошо, тем лучше!» «Возверзи на Господа печаль твою!» Но все-таки мне 60 лет («**очень старый** писатель», как вы говорите!), а вам 37. Избави меня Боже от вашего литературного «целомудрия». Это тоже «*fatum*» будет ловкий!

Здесь же кстати будет сказать и то, что и ваше сообщение о полной *ясности* понимания, при которой уж и писать не хочется, — тоже для меня не особенно

¹ Везде Л-в судит как философ, воображая, что корифеи публицистики, им названные, то «удалялись» от теории «предсмертного смещения», то «приближались» к ней. Они просто писали, что *сегодня надо*, а до лекций Астафьева или книг Л-ва им и дела не было. В. Р-в.

² В отличие от «первичной слитности», *детской* простоты существования. Напр., в нации *сословий*, *классов* так же нет в эпоху Рюрика или Ромула (*первичное* смещение элементов), как и в эпоху Каракаллы (*вторичное* упрощительно смещение), объявившего всех *жителей* необъятной империи равно «*cives romani*» [римских граждан (*лат.*)]. В. Р-в.

ободрительно!.. «Нет, мол, я теперь так уж ясно понимаю Леонтьева, что разбирать его сочинение не могу!» Недурно будет это! Каким бы это средством — не знаю — туману вам напустить, чтобы поскорее пришла охота его рассеивать?

4) Вы напрасно думаете, что я, подобно Страхову, не читаю вашей книги «О понимании». Я прочел внимательно половину и, по правде сказать, с *Заключения*-то и начал. Я нахожу, что вы пишете яснее многих других метафизиков. О *правоте* (вообще) вашей не берусь судить, недостаточно силен в этом, но *родственность* мысли чувствую на каждом шагу; неприятно мне было только то, что вы говорите против *материальных чудес*. Какое же без них христианство? Зачем *до конца* полагаться на нашу логику. «Credo quia absurdum!»¹ Я же, прибавлю, и на других, и на *самом* себе видел *вещественные чудеса*. Если увидимся — расскажу. И зачем это *все понимать*? И так уж мы стали в XIX веке понимать, или, вернее, *знать* слишком много. Дай Бог, чтобы в XX веке более глубокое *понимание некоторых* привело к ослаблению знания у большинства (*рациональный, развивающий обскурантизм*). Впрочем, насчет чудес следует вашу терминологию употребить обратно: о чудесах полезно *знать* (факты); но *понимать* их избави нас Боже!

5) Еще одно приложение (ad hominem)² этих ваших двух терминов: *знание и понимание*. О чудесах довольно *знания; понимания* не нужно. Совершенно иначе я отношусь к вашему желанию, чтобы рукопись ваша была возвращена вам *только по востребованию*. *Знаю* и, конечно, подчиняюсь воле хозяина рукописи, но *не понимаю* и желал бы *понять* «целесообразность» подобного распоряжения! Думаю так; если бы вы собирались куда-нибудь надолго из Ельца, то просто написали бы мне об этом, чтобы и письма в Елец не посылать пока. Значит, не в этом *секрет*. А что-нибудь одно: или вы с Варв. Дмитр. сами сюда сюрпризом собираетесь (так думает одна молодая дама, принимающая участие в моих делах и сношениях), или (так я думаю) — это опять-таки «ревность» Варв. Дмитр. «Подожди возвращать рукопись, а то слишком опять займешься этим несносным *старым писателем!*» *Понимаю* и это. И хочу надеяться, что это даже к лучшему для меня, забудете немного, мысль ваша затемнится на время, захотите опять *умственной борьбы*, разъяснения самому себе и сядете кончать.

6) Эпиграф из Герье³ жертвую вам на растерзание, но посвящение Филиппову — *нет, нет и нет!* Вы не знаете, что *значил* для меня этот человек

¹ «Верую, ибо абсурдно» (лат.).

² Здесь: субъективное (лат.).

³ Я Л-ва упрекал в письме, для чего он взял к книге своей «Восток, Россия и славянство» эпиграфом слова из какой-то статьи Вл. И. Герье, профессора истории в московском университете, — слова совершенно *обыкновенные*, где воздается некая (небольшая дань) консерватизму; и для чего он посвятил книгу Т. И. Филиппову, человеку, о котором я не имел причины что-нибудь дурное думать, но который был тоже человеком *обыкновенным*. *Необыкновенность* книги Л-ва, казалось, потускнялась и этим сереньким эпиграфом, и этим сереньким посвящением. В. Р-в.

в течение 10 и более лет. Ведь нельзя же дойти до такой ненормальности, чтобы писать только для себя, а я некоторые *подобия* откликов стал слышать только лет 6—7 тому назад. Только у Филиппова я уже с начала 70-х годов видел и ясное понимание моих целей¹, и горячее, твердое, деятельное участие. Не позволительно быть неблагодарным.

7) О моем влиянии на реакционные реформы². Разве метеоролог, верно *предсказывающий* погоду, имеет на нее сам влияние? Если врач сам *больно-го не лечит* и на консилиум не *приглашается*, но *знает*, как идет болезнь, и *понимает заранее*, что нужно делать, то когда случится, что и другие врачи попадут на те же лекарства и сделают пользу, — разве этот посторонний врач может сказать про себя, что имел «влияние»? Конечно, нет. Он может считать себя очень дальновидным, пророком, гением даже; но никак не *вли-*

¹ Т. е. *практических*. Во 1-х, того, что Л-в стоял за константинопольский патриархат против «болгарской схизмы» (национального болгарского от греков освобождения, вопреки «каноническим правилам»), и, во 2-х, что Л-в ценил и любил наше *старообрядчество*. О К. Н. Леонтьеве мне неоднократно приходилось говорить с Т. И. Филипповым, но ни однажды я от него не слышал не только одобрения, но даже и упоминания об его «триедином процессе», т. е. *корне* всех отрицаний и утверждений Л-ва. Кстати, о «болгарской схизме». Известно, что в начале и в середине XIX века греки, видя пробуждающееся национальное сознание болгар, истребляли письменные и вещественные памятники их истории, вообще их национальной личности. Все это было на глазах первых болгарских грамотеев, первых их ученых, священников, учителей, вождей народных. Болгары все это «сложили в сердце своем» и, как только обстоятельства сложились благоприятно, — потребовали «национализации церкви». Но, по древним церковно-каноническим правилам, «в одном городе не может быть двух православных *самостоятельных* епископов», ибо этим нарушался бы «закон любви христианской». Для чего болгарам *свой* епископ, положим, в Филиппополе или Адрианополе, *когда там есть уже епископ грек* той же православной церкви. Епископ-грек, который раньше без зазрения совести жег болгарские манускрипты, — едва болгары начинали просить себе «своего епископа», начинал ссылаться, что по постановлению такого-то вселенского собора «этого быть не может, ибо этим нарушается евангельский закон любви, закон единства церкви, не знающей *разделений* национальных и государственных». А когда болгары все-таки национальной церкви добились, то патриарх константинопольский «за нарушение ими канонических правил» объявил весь болгарский народ состоящим в «схизме», т. е. «в ереси». Пример этот ярок и важен, чтобы показать, как «правила любви» (!) мало-помалу трансформировались в какую-то *работу стряпчих* над текстами о любви; и из них мало-помалу сплелась удушительная веревка, тем более ненавистная, что она вся намылена «любовью» и особенно ловко обхватывает шею удавленного (в данном случае — болгар, но при случае и всякого другого). В. Р-в.

² Я Л-ва спрашивал в письмах, не имел ли он (т. е. через идеи свои) влияния на известный поворот русской политики начиная с 81-го года. Но, очевидно, практические русские государственные люди еще менее его перелистывали, чем Аксаков, Катков или Гиляров. В. Р-в.

ательным лицом. В государствах, еще не обреченных на скорую гибель, государственные люди, вовсе даже и не гениальные, доходят до *нужного* одним эмпирическим тактом, как доходили без правильных теорий старые врачи. Дезинфекцией занимались не без успеха и прежде открытия микробов, бацилл и т. д.

Я уверен, что ни Государь, ни покойный Дм. Андр. Толстой, ни даже Ив. Давыд. Делянов ни разу не говорили себе: «На основании закона *триединого процесса развития* и из страха *предсмертного смещения* сделаем то-то и то-то». Ибо если бы они *смещения* этого *вполне сознательно* боялись, то, хлопоча усердно и основательно о *православии* для эстов и латышей (это *нужное единство*), не вводили бы *французских судов на русском языке* в Остзейском крае (это *вредное однообразие, смещение*), а если какой-нибудь граф, барон, бургомистр, предводитель немецкого дворянства или пастор оказал бы сопротивление православию на *их туземных языках*, то ссылали бы его в Сибирь или хоть в Вятку без околичностей. Поймите, прошу вас, разницу: русское царство, населенное *православными немцами, православными поляками, православными татарами* и даже отчасти православными *евреями*, при численном преобладании православных *русских*, и русское царство, состоящее, сверх коренных русских, из множества *обруселых протестантов, обруселых католиков, обруселых татар и евреев*. Первое — созидание, второе — разрушение. А этой простой и ужасной вещи до сих пор никто ясно не понимает... Мне же, наконец, **надоело** быть гласом вопиющего в пустыне! И если Россия осуждена, после короткой и *слабой* реакции, вернуться на путь саморазрушения, что «сотворит» один и одинокий пророк? Лучше о *своей душе* побольше думать, что я с помощью Бога и старца и стараюсь делать... *Моя душа без меня* в ад попадет, а Россия как обходилась без моего влияния до сих пор, так и впредь обойдется. Пусть гипотеза моя есть научное открытие и даже великое, но из этого еще не следует, что практическая политика в XX веке пойдет сообразно этому закону моему. *Общественные организмы* (особенно западные), вероятно, не в силах будут вынести ни *расслоения*, ни глубокой мистики духовного единства, ни тех хронических жестокостей, без которых *нельзя* ничего из человеческого материала надолго построить. Вот разве союз *социализма* («грядущее рабство», по мнению либерала Спенсера) с *русским Самодержавием и пламенной мистикой* (которой философия будет служить как собака) — это еще возможно, но уж *жутко же* будет многим. И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому. А иначе все будет либо кисель, либо анархия...

Старо человечество, старо! Вот и я *понимаю* теперь, в 60 лет, чего бы я должен был избегать в 20, 30, 40 лет, чтобы не изнемогать, как теперь изнемогаю, но уже вернуть прошлого не могу!

Ну, а ряд блестящих торжеств еще будет у России бесспорно в ближайшем будущем. Да *мягки* мы все стали слишком и к себе, и к другим. *Страх Божий* утратили, а этой пресловутой, какой-то еще неслышанной «любви» все нет, как нет.

8) Что Варвара Дмитриевна вдова, этому я *очень* рад. Вдова может быть скоро и верно понята и сама все скоро поймет. А у девушек вечно сумбур в голове. Девушки для добросовестного мужа очень опасны! Загадочны и обманчивы...

Не ей ко мне ревновать, а *мне к ней*. Беда, да и только.

9) Отчего вы не ответили мне, что желаете получить для прочтения мои новогреческие повести? Повести, я думаю, и в медовый месяц с новобрачной можно почитать. А впрочем, не буду слишком набиваться. И про книгу можно сказать: «Не в пору гость хуже татарина!» Больше пока нечего сказать.

Прощайте.

Варваре Дмитриевне мое почтение...

Ваш К. Леонтьев.

P. S. Если у вас есть роман «Братья Карамазовы», пожалуйста, вышлите мне его на 2 недели. Нужно справиться и проверить кое-что свое. Не бойтесь, я человек *весьма* аккуратный; будет цело и вовремя возвращено. Идею «потенциальности» в вашей книге я, кажется, угадываю и смутно понимаю в приложении к утилитарному идеалу. Если я верно понял, то, конечно, это «очень просто» и математически точно. Дай Бог!

ПРИМЕЧАНИЯ¹

1) «Ненависти»² *собственно* у Д-го ко мне не было; напротив того, он при последней встрече нашей в Петербурге (в 80-м году, всего за месяц *до речи*) был особенно любезен, ибо *весьма* сочувствовал моим передовым статьям в «Варш. Дн.». Но когда я, живя тогда в калужской своей деревне, прочел эту речь³ о «гармонии», то ужасно удивился и огорчился; я считал его

¹ *Примечания к рукописи статьи моей: «Эстетическое понимание истории».* В. Р-в.

² На слова статьи: «в желчных строках Достоевского (в посмертно напечатанной «Записной книжке» его) о Леонтьеве сказала какая-то ненависть. Напротив, Вл. Соловьев, не слишком склоняющий слух к тому, что против него говорят, на этот раз внимательно поправился». В. Р-в.

³ Знаменитую «Речь при открытии памятника Пушкину в Москве». Как эта речь, так и последние любящие рассказы Л. Н. Толстого, начиная с «Чем люди живы», вызвали одну из самых блестящих и мрачных брошюр Леонтьева: «Наши новые христиане, гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский». Но уж если «изменой христианству» показалось Леонтьеву «любовь» названных писателей, призыв их к «братолюбию», — то чем могло бы показаться, *в отношении к христианству*, «алкивиадство», «красивые страсти» самого К. Н. Леонтьева? Тут, в эти годы и в тех брошюрах, в сущности, начался глубокий религиозный водоворот христианства. Стержнем его был вопрос: что есть *сердцевина* в христианстве: *нравственность*, *братолюбие* или некая *мистика*, при коей «братолюбие» и не особенно важно? В. Р-в.

настоящим православным, а настоящее православие даже *права* (по учению и предсказанию евангельскому и апостольскому) не имеет ждать «всепримирения», «всепрощения», «вселюбви» и вообще *моральной* гармонии (*здесь*), а может допускать только *временные* улучшения и ухудшения. (Теперь, в 80-х годах, *улучшается*). Огорчившись, я написал статью об его речи, а он, воображавший со слов Аксакова и других, что его речь — великое «событие» (Катков заплатил ему за эту речь 600 р., но за глаза смеялся, говоря: «*Какое же это событие?*»), ужасно на меня рассердился и написал свою заметку. Я ее не видел и не искал видеть, но мне говорили *почитатели* его (в том числе Влад. Соловьев), что она «очень нехороша», и Влад. Соловьев сильно порицал Страхова за то, что он допустил практическую¹ вдову Фед. Мих. это напечатать после его смерти. Соловьев находит, что эта заметка не делает Д-му чести.

2) Соловьев лично очень дружен со мной и любит меня. Он к тому же очень сочувствует тому, что я религию ставлю выше национализма, и потому ему труднее, чем всякому другому, специально писать обо мне; соглашаться не может и боится огорчить или оскорбить. Неизвестность же моя (сравнительная) облегчает ему молчание. Нет **настоятельного** побуждения противодействовать. Однако в книжке своей «Национальный вопрос» он с большой похвалой отзывался о «Византии и славянстве». (Слышно, однако, будто он теперь кончает обо мне статью для «Новостей».)

3) Вы к Льву Толстому как *проповеднику* слишком добры. Он хуже *преступных* нигилистов. Те идут сами на виселицу, а он — блажит, «кагаясь, как сыр в масле»². Удивляюсь, почему его не сошлют в Соловки или еще куда. Бог с ней, с той «искренностью», которая безжалостно и бесстыдно убивает «святину» у слабых! Он *верит*, правда, слепо в одно: в *важность* *собственных* чувств и стремлений и нагло, меняя их, как башмаки, беспрепятственно, знать не хочет, каково будет их влияние! У него же самого *истинной*-то любви к людям и тени нет. У меня самого и у многих других были с ним сношения по делам самого *неотложного* благотворения, и я, и все другие вынесли из его наглых бесед по этому поводу самые печальные впечатления. «Человек вторую неделю с семьей *корками* питается», — говорю я ему. — «Наше назначение не кухмистерское какое-то», — отвечает он (*при Влад. Соловьеве*); дело шло о *чтении* в пользу этой несчастной семьи. Он отказался, и мы с Соловьевым и без него добыли около 200 руб. Прошу вас верить, что *личные* мои сношения с ним ничуть не располагают меня быть против него. Он, например, за глаза всегда меня хвалит и предпочитает многим другим писателям за то, что я «стекла бью» (это его слова). *Но я его за его новую деятельность хвалить не могу и не буду, и права, как православный человек, не имею!*

¹ Вставлен грубый порицательный эпитет, который мы опускаем. В. Р-в.

² Печатаем эти слова Л-ва как документ мышления уже умершего человека, которое не может пробудить ничего живого в живых. В. Р-в.

Прошлый год он у меня был здесь, в Оптиной; сидел и спорил, тоже и меня как будто пытаюсь *сдвинуть!* Но, разумеется, не солоно хлебнул... Впрочем, он не только со мной самим бороться не может на *этом* пути, но даже и попытки его испортить двух юношей, бывших под моим и катковским влиянием, потерпели постыдное фиаско. Они были не только тверды с ним, но и резки.

Не надо его, наглого старика, баловать.

Гений романиста сам по себе, свинство человека и проповедника сами по себе.

Dixе!

4) Я бы просил заменить слово «желчно» выражениями: строго, ядовито, резко. Подумайте, это по отношению моему к *романам* Толстого неуместно, несправедливо. Не слишком ли много, с другой стороны, и эпитет «страстная» (любовь). Я *давно* уже не могу любить «страстно» литературу. Без *хорошей* литературы все-таки можно *всячески жить*. В век Екатерины, например, *хорошо морально* жил Тихон Задонский, хорошо эстетически Потемкин. То, что вы слышите в моих отзывах, — есть только отголосок «давнего», неостывшего. Вот православие (догматическое, обрядовое) и независимость России от западного прогресса я *страстно* люблю.

5) Пресытился я давно (еще живя в Турции, в 70-х годах) *всей русской школой*².

6) *Верно!* Превосходно! Ясно!³

7) Вы любите хороший *слог*? Не лучше ли вообще ухитряться как-нибудь избегать этого множественного «черт»? Не слишком ли похоже на «чёрт»?

8) Восхитительно сказано. В 10 раз яснее, чем у меня⁴.

¹ Я сказал (*лат.*) Сохраняем все это как документ, — как сам Толстой обнарудовал грубые и жестокие к нему письма за два последние года. Все это — живая история, страниц которой (никаких) не следует вырывать. «Что было — *было*» — принцип истории. *В. Р-в.*

² На слова мои: «Л-в, очевидно, сжился с миром художественного творчества Толстого и, наконец, через много-много лет, как будто пресытившись им, теперь отрывается от красоты, так долго и безмолвно созерцаемой, и, отрываясь, высказывает, почему он это делает». *В. Р-в.*

³ На слова: «Почти невозможно не согласиться с взглядом его (Л-ва) на Толстого как на последнего и высшего выразителя своеобразного цикла нашей литературы, после которого ей предстоит или повторяться и падать в пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, или выходить на новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали в последние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить». *В. Р-в.*

⁴ К словам: «Психологический анализ, недостаточно проникающий у Гончарова, узкий в своем применении у Тургенева, искаженный и болезненный у Достоевского, только у гр. Л. Толстого вырос во всю полноту свою, двигаясь во всех направлениях, повсюду нормальный и достигающий везде той глубины, дальше которой для художника предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирование. *В. Р-в.*

9) Так ли это насчет силы Толстого в изображении «первобытной наивности»?.. Я сомневаюсь. Не потрудитесь ли вы заглянуть на досуге еще раз и в его романы, и в те страницы моего «Анализа», где я говорю о *простых* людях, что он их тайные *чувства* плохо разбирает. Что касается до фигуры *Алпатыча* (в «Войне и мире»), то, во 1-х, он уже немножко «интеллигентия»; да и в описании сражения под Смоленском я вижу больше картину внешнюю, чем ряд идей и ощущений Алпатыча.

10) По моему мнению, не хочет *рисковать*¹, боится *не справиться* в оттенках; как не справился с *душой* Наполеона; все *одно и то же* — самолюбие, и только (т. е. у *его* Наполеона).

11) Не слишком ли эти слова «*оборван., общип.*» — крайни?.. Можно ли называть такими словами изображения Андр. Болконского, Вронского, Левина, даже бесхарактерного, но умного и симпатичного Пьера Безухова? И многих других. Отчего же они (*после лиц предыдущих* авторов, Тургенева, Писемского, Достоевского) производят весьма положительное, а не *отрицательное* впечатление?²

12) Я хотел сказать³: «более *оригинальной*, творчески-русской фантазии, чем фантазия Жуковского (германская) и Пушкина» (как бы общечеловеческая в самом лучшем смысле, но не особенно оригинальная).

13) Превосходно! В высшей степени точно: «отчуждающийся»⁴.

14) Это все великая правда. Прежде любили анекдоты, самые факты *жизни*⁵. Нынче *жизнь, как жизнь*, меньше любят. Всегда «искали» чего-то

¹ На слова: «В одном только — в *национальности* Толстой встречает некоторое препятствие для своего анализа, через которое, не знаем, может ли, но очевидно, не хочет переступить». В. Р-в.

² На слова: «Толстой любит унижать своих героев, он хочет видеть их смешными даже и тогда, когда сами они хотят быть только серьезными. Странное следствие получается из этого: оборванные, ошипанные своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый». В. Р-в.

³ На слова: «Л-в тонко указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замечается в Гоголе». В. Р-в.

⁴ На слова: «Таков всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждающийся суд, который производит Леонтьев над высшими произведениями нашей натуральной, в литературе, школы». В. Р-в.

⁵ На слова: «Как будто сила жизни, которая цветит всякое лицо и заставляет всякое поколение шумно и не задумываясь идти вперед, стала иссякать в теперешнем поколении, — и то, что еще так недавно привлекало всех, теперь никого более не занимает. Мы потеряли вкус к действительности, в нас нет прежней любви ко всякой подробности, к каждому факту, которая прежде так прочно прилепляла нас к жизни. От мимолетных сцен действительности, над которыми, бывало, мы столько смеялись или плакали, теперь мы отворачиваемся равнодушно, и нас не останавливает более ни их комизм, ни трагизм их внешней развязки». — Берем эту большую выписку, ибо восклицание Л-ва здесь закрепляет наблюдение чрезвычайно важного психического перелома конца 80-х и начала 90-х годов нашей общественности. В. Р-в.

впереди, но в *меру*, а главное — *немногие*. Нынче большинство «интеллигенции» помещалось на этом «искании». И Льву Толстому, между прочим, за его искание и «искренность», стоит сотни две горячих всыпать *туда...* Старый... безбожник-анафема!

15) Я опасаясь для *будущего России*¹ *чистой оригинальной и гениальной философии...* Она, может быть, полезна только как *пособница* богословия... Лучше 10 новых *мистических* сект (вроде скопцов и т. п.), чем 5 новых философских систем (вроде Фихте, Гегеля и т. п.). Хорошие философские системы, именно хорошие, — это *начало конца*.

Если же вы говорите дальше о «спасении души» в смысле церковном, прямом и *реальном*, т. е. об *избегании ада* для индивидуальной души и *воскресении* новой, высшей плоти, а не в смысле аллегорическом, *идеалистически-земном*, т. е. не в смысле душевной «гармонии» на *земле*, то, конечно, я согласен... Пошли Господи нам, русским, такую метафизику, такую психологию, этику, которые будут приводить просто-напросто к Никейскому *символу веры*, к старчеству, к постам и молебнам и т. д.

16) Печатал я еще раньше 86-го года, начиная с 67 года, довольно много *повестей* и *романов* из *новогреческой жизни* (или из *жизни христиан в Турции*). В «Русском Вестнике» от 67 до 82 года, вперемежку с публицистикой. Были и отзывы — разные... Есть отдельное (хотя и не полное) издание; изд. Катковым.

17) Тут у вас сведения биографически не верны. 29—28 лет я решил оставить медицинскую практику и вздумал поступить на консульскую службу... 31 года получил должность секретаря консульства на острове Крите, через 7 месяцев был не то чтобы удален оттуда, а переведен в Адрианополь (за то, что ударил хлыстом французского консула в его собственной канцелярии, — одно из самых *жизнерадостных* моих воспоминаний). Управлял в Адрианополе консульством почти 2 года, потом сам был сделан консулом в Тульче (на Дунае), в Янине (Эпир) и в Салониках (Македония). В 71 году удалился на Афон, мечтая о монашестве... В 73-м вышел в отставку и уехал на родину, в свое Кудиново.

В «центры» высшей политической деятельности я «не рвался» тогда, не считал еще себя (*до 73 года*) способным иметь *свои* взгляды на высшую политику, а учился у других, которых считал опытнее и даже способнее себя с этой стороны... И начальство, считая меня *весьма хорошим* политическим практиком и готовя меня, по собственным словам, к *значительным* повышениям, и не подозревало (также *как и я сам* этого не думал), что я способен написать политическую вещь, вроде моего первого опыта («Панславизм и греки» в 73 году). В Петербурге изумились, когда узнали, что под *псевдонимом*

¹ На слова: «Вековые течения истории и философии — вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем любимым предметом нашего изучения; и жадное стремление, овладев событиями, направить их — вот что делается предметом нашей главной заботы. Политика, в высоком смысле этого слова, в смысле проникновения в ход истории и влияния на него, и философия, как потребность гибнущей и жадно хватающейся за спасение души, — такова цель, неудержимо влекущая нас к себе». В. Р-в.

мом Константинов — кроюсь я... Приписывали другим. После этого (42-х лет только!) я и сам в 1-й раз понял, что я на этом пути могу сделать. До тех же пор, с 21-го года, я все стремился создать какое-нибудь замечательное художественное произведение... Все искал лучшего; жег, — и, между прочим, сжег в Салониках *восемилетний* труд мой (5—6 романов в связи из русской жизни 1811—1862 г.). Прежде, чем Зола, о котором тогда еще и помину не было, я начал этот труд в 60-х годах под общим заглавием «*Река времен*».

Считая себя (с 51 до 71, 72, 73 года) романистом гораздо более чем публицистом и *теоретическим* политиком, я центров (столиц) не любил и всегда куда-нибудь из них скрывался; то в Крым на войну (54—57 г.), то в имение матери (не раз), то деревенским врачом у богатых людей (в Нижегородской губернии), то в турецкую провинцию на целых 10 лет.

Я всегда находил, что художника, поэта, романиста *провинция формирует лучше, чем столица* (особенно, чем наш Петербург). В Петербурге романисту нужно быть богатым и *ездить ко двору*. Иначе, что там *почерпнешь*? А жизнь провинции я всегда любил; не только *усадебную*, помещичью, но и жизнь губернского города. Уездные города, правда, скучноваты; в них есть только *объективная* поэзия (в стиле Островского); а *субъективно* — скучно.

Вот почему я тогда в центры не рвался и службу свою в турецкой провинции очень любил, пока не случился со мной глубочайший и тяжелый внутренний переворот, после которого я уехал на Афон и задумал в отставку... В течение 10-летней службы консулом я только на *три месяца, один раз*, приезжал в Петербург.

Консульская роль на Востоке очень деятельна и самобытна. Меньше зависимости на службе нельзя и найти. Князь Горчаков говорил, что для него консул в Турции имеет гораздо больше значения, чем посланник второстепенного западного государства. И был прав.

18) Вот за это¹ спасибо! Не *смеешь* и верить! Не избаловали люди!..

И за слова о славянофилах — *большое* спасибо!.. Именно «наивные» верования старых славянофилов противоречили их *основной* идее.

19) О китайцах. Разве уж так «бесполезен» их «быт»? — Во 1-х, он очень красив в своем роде. На «бесперспективной живописи» отдыхаешь после

¹ На слова: «Из всех идей, волнующих современной политической и умственный мир, ни одна не способна так встревожить нашу душу, до такой степени изменить наши убеждения, определить симпатии и антипатии и даже повлиять на самые поступки в практической жизни как историко-политические взгляды Леонтьева. Он первый понял смысл исторического движения в XIX веке, преодолел впервые понятие прогресса, которым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем какое до сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории. С тем вместе, уже почти по пути, он определяет истинное соотношение между культурными мирами и преобразует совершенно славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззрений как наивность, коренным образом противоречащую ее сословной идее». В. Р-в.

давнего, наскучившего и неизлечимого, реалистического совершенства греко-европейского искусства.

Вообще же полагаю, что китайцы назначены завоевать Россию, когда смешение наше (с европейцами и т. п.) дойдет до высшей своей точки. И туда и дорога — *такой* России.

«Гоги и магоги» — *finis mundi!* После этого что еще останется? Без *новых* диких племен или без способных к *пробуждению*, что возможно? Вообще — *немного* человечеству *остается*, мне кажется... Точные науки ускоряют гибель. «Древо познания» иссушает мало-помалу «Древо жизни».

20) Верно. Я тогда вовсе не думал¹ об условиях или основаниях *общечеловеческого единства*, у меня было ввиду одно лишь религиозное: православие, *единство Востока*. Да и вообще сознательное, идейное общечеловеческое единство есть приближение предсмертного *смешения*, а физиологическое или *психологическое* единство было и даже сознавалось всегда. Людоед и тот знал всегда, что он *человека* ест, а не другой *вид* животного.

21) Ваши слова о *труде*. За «труд» какой бы то ни было на небесах награды церковь не обещает, а за веру и *труд по вере* в Св. Троицу и т. д. — да! **Не иначе!..**

22) Не могу согласиться с вами касательно истории XIX века. Величественны в этот век были только *войны* Наполеона I... А «*чудовищных форм*» в нем я тоже не вижу. Казарменные 6-этажные дома, пиджаки, панталоны, фраки — пошло, некрасиво, *ужасно* даже, но ужасно не по чудовищности, а по убийственной *прозе форм*. «Чудовищны» в XIX веке только *машины*; но они ведь ведут все к той же «пиджачной» цивилизации.

23) *Справедливо* ваше указание, что по части фактических иллюстраций у меня «бледно, кратко»... Источники для справок (в Константинополе, в 74 году) были донельзя скудны... Но я не горевал и писал в надежде, что найдется *когда-нибудь* человек, по истории *более меня специальный*, который оценит мою теорию и разовьет ее подробнее и доказательнее... *Это* ведь не раз бывало; сами знаете.

Гёте первый высказал предположение, что кости головы и лица суть не что иное, как ряд более развитых *позвонков*, а Окен и Карус подтвердили его взгляд...

Быть может, и я *наконец-то, встретивши вас*, буду иметь возможность сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыка»²...

К. Леонтьев

¹ На слова: «Мы остановились так долго на сдерживающем единстве в жизни человечества и его отдельных наций, потому что, сосредоточив свое внимание на начале разнообразия, К. Леонтьев только указал его, но не определил и не объяснил». В. Р-в.

² Слова: «Гоги и магоги», «*finis mundi*» и т. д., очень напоминают известное чтение Вл. Соловьева «О конце всемирной истории и Антихристе». *Главное* — *тоном напоминают*, грустью, безнадежностью. Указание на роль китайцев как будущих завоевателей России сливается с воззрениями Соловьева и Ле-

19 июня 1891 г., Опт. п.

На днях, думая о вас, я вспомнил, что вы, по-видимому, не желаете больше служить в Ельце... Не хотите ли вы, чтобы вас перевели в Москву в одну из гимназий?.. В начале июля здесь собирается побывать Третий Иванович Филиппов; он, по-видимому, в хороших отношениях с гр. Деляновым и может повлиять на это. Сверх того, я и к самому министру народного просвещения имею некоторый ход... Были примеры, что моя рекомендация у него не оставалась без последствий. Впрочем, насчет гр. Делянова я ручаться не могу наверное. Тут нужна обдуманность и осторожность, чтобы не испортить дела. Я имею привычку в подобного рода делах не спешить, а действовать, «подготовивши почву». Что касается до Филиппова, то он мне давний, личный друг, и с ним я могу говорить откровенно; он и насчет других министров дает превосходные советы, ибо знает все в Петербурге.

Весь вопрос в том, желаете ли вы в Москву. Мое мнение, что это было бы вам полезно. Раннюю молодость хорошо провести в провинции; ближе к «почве» и т. п. Но в 37 лет, в года «плодоношения», так сказать, лучше трудиться там, где сбыт «плодов» облегчен всячески. И мне самому это было бы приятно, потому что не зависящие от меня обстоятельства вынудят, кажется, меня или этой осенью (в сентябре), или будущей весной переселиться к *Сергию-Троице*, т. е. я буду ближе к Москве (и к вам в таком случае).

онтьева до тожества. Близкие друзья, они, конечно, не раз говорили «о будущем», по свойственной русским привычке; о *приоритете* мысли, чувства тут не может быть и речи, да он вообще и не интересен, кроме как для библиографов-гробовщиков. Леонтьев на 10 лет раньше сказал ту мысль, которая зашумела из уст Соловьева (опять *fatum*). Но вот что следовало бы заметить обоим мыслителям. В противовес «опустившимся рукам» у них обоих, какая энергия предприимчивости у «мечтателей» — Достоевского, Толстого! «Розовое христианство», «розовые христиане», — бросил им упрек обоим Л-в в желчной брошюре своей: но если это «новое» христианство дает обоим им силы жить, то не очевидна ли некая доля *истины* в нем? Ибо невозможно *жить из лжи*, а только можно *жить из истины*. «Розовое христианство» двух наших реалистов-романтиков (Дост. и Толст.) не есть ли с тем вместе «христианство, возвращающееся к *Древу Жизни*» (см. у Л-ва о нем) на место «христианства, связанного только с *Древом Познания*» (схоластика, ученость, догматизм)? Оба они, и Соловьев, и Леонтьев, и были связаны до излишества с «Древом Познания»: отсюда их пессимизм, уныние. А эстетизм Л-ва, его «алкивиаидство», как юный листочек, как молодая почка пробуждающегося *Древа Жизни*, от того, несмотря на монашество, так крепко и держалась на нем, а он сам в себе *более всего ее любил*, — что это-то и было залогом спасения и исцеления для них обоих, и Соловьева, и Леонтьева. Соловьев так рано и грустно умер от того, что в нем вовсе не было (!!) этой почки *Древа Жизни*; а Л-ев все же прожил до 60 лет, и даже (как мне пишет) был «веселый и, наконец, не без легкомыслия человек». Есть «воды живые» и «воды мертвые»: это надо помнить, как комментарий к «Древу жизни» и «познания». В. Р-в.

Прибавлю еще вот что, для меня весьма важное. У меня есть одно довольно большое и давно начатое сочинение под заглавием «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения». Вы поймете без труда, в какой тесной связи оно состоит с одобряемой вами гипотезой «вторичного смещения и упрощения форм». Едва ли я буду в силах его кончить; силы мои слабеют, и, что еще важнее, *охота* — все меньше и меньше... После 30-летней борьбы утомлен, наконец, несправедливостью, предательством, равнодушием одних; бессилием и неловкостью других; подлостью третьих...

При моей вере в мистические начала, вам, конечно, не покажется странным, что я придаю *большое* значение моему заочному знакомству с вами *именно тогда, именно тогда*, когда во мне случился особого рода внутренний перелом: до прошлого года я считал тот *день потерянным*, в который я *не писал*¹; теперь таких дней множество, и я *рад*, что *могу не писать*; рад, что материальные условия жизни позволяют мне забывать о «вознаграждении»; а для «влияния», которого, при всем желании утешить себя иллюзией, я нигде открыть не могу, — не желаю отказываться даже и от *гран-пасьянса*², который можно раскладывать по целым часам.

Конечно, я говорю о влиянии *серьезном*, вроде влияния Каткова, Л. Толстого, Достоевского, Добролюбова и Писарева в свое время; а не о каком-нибудь *succès d'estime*³, вроде Страхова⁴ и т. п. Таким-то и я давно пользуюсь. Но ведь это для усталых чувств и угасающих мыслей — возбуждение слабое!

Если бы мы *увидались*, я бы вам прочел эту рукопись и передал бы ее вам для окончания *за меня*...

Если бы у меня были *теперь* лишние деньги, я бы попросил вас принять от меня так или иначе 200—300 р. для свидания со мною и т. д.

Вот почему мне было бы приятно и перевести вас в Москву, если мне еще не судьба этот год умереть⁵, а судьба *жить* у Троицы.

¹ Какая «урожденная» потребность писать и почти полувековое абсолютное невнимание общества к писателю, почти полная его нечитаемость! Миф о «муках Танталя», я думаю, никогда еще не имел для себя такой иллюстрации, как в этом своеобразном русском писателе с своеобразною, *поразительною* судьбою. В. Р-в.

² Поразительно. Я же выше сказал, что это был маленький Тамерлан, проигравший всю жизнь «в дураки» в провинции. Это признание Л-ва о «гран-пасьянсе» почти буквально совпадает с моею мыслью. В. Р-в.

³ успехе из-за уважения к автору (*фр.*).

⁴ Действительно, есть писатели, которые входят в плоть и кровь общества, страны; и есть писатели для полок библиотек. 99% литературы существуют для библиотек. Существование скучное, тусклое, печальное. Невозможно и представить себе, что значит «входить в жилы» общества, чувствовать, что ты перерабатываешь дух людей, *быт* людей. Это — особая психология, головокружительная. В. Р-в.

⁵ Увы, таинственное предчувствие Л-ва сбылось. Он умер в этом году, едва только переехав к Троице-Сергию. В. Р-в.

Так как я мало-помалу становлюсь бесполезным, то есть шанс еще *пожить*: я замечал, что люди бесполезные и невлиятельные долго живут¹.

Что делать: «Не так живи, как хочется, а так, как Бог велит!»

7

20 июля 1891 г., Опт. п.

Вчера получил ваше письмо с извещением, что переходите в Белый и т. д. Прошу вас, известите на ответном бланке², куда же вам *теперь* более подробно писать: в *Елец*, в *Москву* (до 15?) или в *Белый*?

Александров — доцент по *русской литератур.*

Мое письмо вас обрадовало, а ваше произвело на меня *истинно-удручающее* впечатление известием об *отсрочке* статьи *даже до Пасхи!* Доживешь ли!? Опять *fatum!* Опять высшая Сила, с которой бороться нельзя.

К. Леонтьев

8

30 июля 1891 г., Опт. п.

Спешу, дорогой Вас. Васильевич, ответить вам в Елец, так как до 8 августа еще далеко.

Как видите, я возвращаю вам вашу статью с моими заметками, которые были сделаны еще в начале июня. Вы ее не *требовали*, правда, но я все-таки решился возвратить ее, ибо мне так на *сердце легче*. Вообразите себе девицу, например, которая сознавала в себе и видела и то-то, и то-то; и другие ей подтверждали все это, что она не могла не сознавать в себе, но по какой-то игре судьбы ей в любви серьезной все не удавалось: то улизнет один жених, то другой *из расчетов* (видимо) предпочтет другую, то третий чего-то побоится; так дожила она, положим, хоть до 35 лет и решила давно уже не ждать *той* оценки, которая удовлетворила бы ее. Вдруг откуда-то неожиданно явился человек; он говорит ей *именно то*, что она уже 20 лет тому назад мечтала слышать... Все давно уснувшие в ней чувства пробудились... Конечно, уж не с той живостью, с какой они могли бы пробудиться прежде, но все-таки проснулись... И что же? Опять обман! Этот человек или покидает ее также внезапно, как и явился, или сам умирает, и т. п.

Положение писателя, которого хотя и хвалили, но все не так и *не за то именно*, за что он сам себя ценит (я за *теорию смещения* и за указание на *негодность славян*), — разве не похоже на положение этой женщины?..

¹ Какое наблюдение! Действительно, бесценная жизнь (Лермонтов, Грибоедов, Пушкин) пересекается точно каким-то насилием на половине и уносится; а сколько «старичков на пенсии» мозолят глаза казначейству и выглядят «кащеями-бессмертными». В. Р-в.

² Письмо — «открытое», с бланком для ответа. В. Р-в.

Я думаю, что похоже... Вы говорите: «Будьте веселы». По натуре я и так довольно весел, и если взять в расчет года, суровость настоящего православного мировоззрения и несколько неизлечимых и важных недугов, из которых один (сильное и неисправимое без весьма жестокой и опасной операции *сужение* мочевого канала) беспрестанно за последние года угрожает весьма лютой смертью (*ischuria*), то могу сказать, что я даже *слишком* весел и легок духом! Вообще. Но нынешним летом Богу угодно было послать мне разом несколько новых испытаний (в этом числе и значительное ухудшение этой самой болезни), и поэтому я и *так* давно уже «удручен», молюсь, бодрюсь¹, стараюсь насильно заниматься чем-нибудь, но есть такие нравственные давления, против которых ничего не сделаешь, пока сам Бог не облегчит их хотя бы изменением внешних обстоятельств. И вот в *такое-то* время я *неожиданно* встретил вас, и стало хоть с одной стороны светлее... И то еще все в *зародыше*... Кончайте, не кончайте — это ваше дело. Но мне будет легче, когда я верну вам начало вашей статьи...

Сверх того, мне пришло в голову послать вам две брошюры Астафьева (в одном переплете). *Он один только* отдал справедливость моему «смешению». Но кто же читал эти брошюры 5—6 лет тому назад? 20—30 человек. И на лекциях (эти брошюры — публичные лекции) его собралось едва-едва столько же!²

Все другие — и Соловьев, и Страхов (в 1876 году), и Грингмут, и Юрий Николаев — старательно обходили этот *главный пункт*³, когда упоминали обо

¹ Какой везде грустный тон! При объяснении теорий Л-ва нужно постоянно иметь в виду, что они изошли от «Иова на гноище». Тут не запорхаешь. Не запоешь лазурных песен. Самая религия представится, как утешение сквозь грозу. Да, есть Бог «в тихом веянии» (явление Илии пророку) и есть Бог «в буре» (говоривший Иову). Л-в слушал последнего. И не мудрено, что собственные глаголы его «рвали паруса», а не шелестели в кружевах изнеженных слушательниц и слушателей. В. Р-в.

² Довольно курьезно, что имя Астафьева (московский философ 80-х годов) все же более известно читающему русскому обществу, нежели имя Л-ва. Я слышал, что *устно* он хорошо говорил, но *литературная* его речь была до того чудовищно мертвенна, непонятна, неуклюжа, что, получив его «две брошюры», я повертел в руках их, как кирпичики или как плитки из библиотеки Ассурбанипала, и бросил. И такой-то писатель был единственным, через *популяризацию* которого еще мог подняться Л-в. Между тем *сам* он был «*scriptor elegantissimus*» [«писатель искуснейший» (*лат.*)], как говорится у Кюнера, кажется, о Саллюстии. Л-в писал, *как думал*, как *написаны эти письма*; надеюсь, читатель увидит, что он пишет легко, ярко, выразительно; что в речи его нет ни *непонятностей*, ни лишних слов. Отсутствием ненужных слов, которые почти у всякого писателя занимают от $\frac{1}{3}$ до $\frac{3}{4}$ написанного, Л-в всегда меня прельщал. В. Р-в.

³ Т. е., в сущности, обходили *всю философию* Л-ва, останавливаясь на нем, лишь как на публицисте-консерваторе. Вне теории «предсмертного упрощительного смешения» Л-ва просто *нет*, он как бы не родился, не произнес *ни слова*. В. Р-в.

мне. Страхов только раз (по просьбе Берга, вероятно) писал обо мне в «Русском Мире» 1876 года (Берг был редактор); он разбирал «Византизм и славянство», *очень* хвалил, но только как вещь, хорошо написанную в пользу возврата к «старому» православию; о «триедином же процессе» ни слова! *Имени своего под статьей не подписал*, а только буквы, и в общем издании своих сочинении *этой статьи не поместил!*.. Впрочем, если хотите (напишите 2 слова на открытом бланке), я вам пришлю еще книжку с наклеенными разными обо мне отзывами за все время (от 1876 года до 1891). Когда я еще жил в своей деревне, лет 10—11 тому назад, у меня жила одна молодая родственница, весьма увлекавшаяся моими идеями. Она вздумала собирать эти отзывы там и сям, и бранные, и лестные, и оставила мне эту книжку¹. Я нашел, что это весьма умно придумано и, на всякий случай, полезно, и с тех пор продолжаю собирать все подобные отзывы (многие из этих вырезок присылаются мне друзьями, ибо я, кроме «Гражд.» и «Моск. Вед.», никаких газет не читаю и считаю даже такое чтение в высшей степени вредным!). О «Визант. и Слав.» вы, сверх того, можете найти у Влад. Соловьева весьма серьезный отзыв, хотя и мимоходом, в его брошюре «Национ. вопрос» (Изд. 2-е 1888 года, IV гл. «Славянск. вопрос», стр. 79).

Вот вы боитесь, что 2-я половина вашей статьи будет «вялее» первой; может быть, чужие взгляды частью возбуждают, частью рассердят, частью обрадуют вас?..

В заключение хотелось бы мне поговорить с вами о вашей брошюре «Роль христианства в истории». Но отлагаю это по необходимости до другого раза. Ко мне вчера вечером приехал гость, и мне никак нельзя на все утро оставлять его одного.

На этот раз скажу только вот что. «Нагорную ли проповедь» надо при вопросе о примирении религии с наукой противопоставлять системе Коперника? Эти примеры *слишком выгодны* для вашего *желания* примирить их². А попробуйте

¹ Л-в переслал мне, и я сохраняю этот любопытнейший сборник. Он представляет собою две толстые переплетенные тетради, наподобие ученических «черновых» или «общих тетрадей», в четвертинку форматом и в толщину учебника Иловайского. По обеим сторонам каждого листа наклеены отзывы о Л-ве. Их в общем очень много, но они все почти появлялись или в губернской провинциальной прессе, или в захудалых столичных органах. Почти во всех их Л-в пересмеивается, или перевирается, или если хвалится, так «оптом», без вхождения в подробности его мышления. Журнальных статей, т. е. основательных, нет ни одной. Наклейки эти, перед тем как их послать мне, Л-в грустно перечитал и усеял своими замечаниями, полемикой, осуждениями, воспоминаниями или автобиографическими, или о знакомых и о друзьях-писателях. Получилась любопытнейшая книга, где мы как бы присутствуем в комнате самого Л-ва: так близко стоим к психологии его *in statu nascendi* [в момент зарождения (*лат.*)]. Может быть, со временем я дам некоторые из этих заметок: они будут дороги *любителям* Л-ва, каковых всегда будет несколько в литературе. В. Р-в.

² «Место христианства в истории» — первая моя журнальная статья — кой в чем, пожалуй, остается верна и до сих пор; но в общем она лирически-

сопоставить *воскресение, вознесение, рождение* от Девы, *оставшейся Девой*, и т. п. с современной физиологией, клеточной анатомией, дарвинизмом и т. д.? Как хотите, а значительной частью того или другого надо пожертвовать. Я для моей *личной* жизни давно, давно и с *радостью* пожертвовал наукой, и во многих смыслах, во 1-х, в том смысле, что я ее уже давно *сердцем* перестал любить в *основании*, а смолоду любил; во 2-х, в том смысле, что в случаях *сомнений* считаю эти сомнения мои действием злого духа и *отгоняю* их от ума моего, как *грех*, в 3-х, в том, что все усовершенствования новейшей техники *ненавижу всей душой* и бескорыстно мечтаю, что хоть лет через 25—50—75 после моей смерти *истины новейшей социальной науки*, сами *потребности* обществ потребуют, если не уничтожения, то *строжайшего ограничения* этих всех изобретений и открытий. *Мирные* изобретения (телефоны, жел. дороги и т. д.) в 1000 раз вреднее изобретений *боевой* техники. Последние убивают много отдельных *людей*, первые убивают шаг за шагом всю живую, *органическую* жизнь на земле. Поэзию, религию, *обособление* государств и *быта*... «Дерево познания» и «Дерево жизни». Усиление *движения* само по себе не есть еще признак усиления жизни. Машина идет, а живое дерево стоит.

И к тому же большая разница не только между Коперником (не скажу гением, а *человеком XVI века*) и средней «интеллигентной» массой XIX века, но — и между этой массой и *нами*; мы еще с вами сумеем как-нибудь переварить это *точное с таинственным* (я *первое* обыкновенно подчиняю *второму*, говоря: «Быть может, ученые *ошибаются*»); но пока *популярная* наука, ходячая, не примет того пессимистического, *самоотрицающего* характера, о котором мечтаю, не только студенту и даже профессору дюжинного ума, но и нынешнему волостному писарю нелегко будет справиться с этим антагонизмом, и сила более ясная и грубая (вдобавок же, и *модная*), т. е. сила точной науки, будет торжествовать над *истинной* и *личной*, т. е. *богобоязненной, религией* (т. е. над *трансцендентным эгоизмом*, о котором я вам уже писал).

Ну, прощайте, обнимаю вас. — Гость обидится¹.

Ваш К. Леонтьев.

наивна. В ее конце я *увлекаю* читателя на путь идей о *примирении*, о *непротиворечии* христианства и науки: «напр., — говорю я, — противоречит ли нагорной проповеди система Коперника? Это — явления *разных категорий*, вполнесогласимые». Л-в на это и отвечает совершенно основательно. В. Р-в.

¹ Да, вот в чем дело: *метод* науки вовсе не тот, что «откровения»... И *темы* другие. Но тут приходит на ум одно соображение: астрономия, геометрия, «звездочетство» и измерение «градуса меридиана» входило в *древние религии* «волхвования» и не входит в религию только *сейчас, у нас*. Наша религия — «скорбей сердца» и «утешения» для «плачущих», «алчущих» и «гонимых». Что им даст «звездочетство»? Просто — оно *им* не нужно. Но только *им*. *Нами* и нашим *душеустройством* не исчерпывается религия, не кончается; и особенно *не была начата* в истории. А «творение миров», а идея и *факт* «Творца миров»? Он *зовет* астронома, направляет трубу его

13 августа 1891 г., Опт. п.

Многоуважаемый Василий Васильевич!

Отправляя вам свои *замечания* к вашей статье, я забыл упомянуть о *двух* вещах, из которых одна имеет в виду *ваши* писательские интересы, а другая — скорее мои (хотя косвенно и до вас может касаться)...

1) Вы говорите, что я был смолоду *врач*, и обращаете внимание на то, что это как бы неслыханный пример, чтобы врач сделался серьезным литератором. Я боюсь, чтобы вас не осудили за забвение, во 1-х, того, что *сам Шиллер* был смолоду тоже военным врачом; а потом и того, что врачами были *Эжен Сю*, а у нас *Влад. Ив. Даль (Казак Луганский)*. Оно, конечно, *редкость*, но полагаю, что в ваших интересах было бы показать читателю, что вы *эти имена* помните...

Говорят также, что нынешний *Чехов* из медиков. Я его вовсе не читал, но слышно, что у него талант.

2) Вы хотите озаглавить вашу статью: «Эстетическое воззрение на историю». Так, кажется?

Опасаясь, что очень немногие поймут слово «эстетика» так серьезно, как мы его с вами понимаем.

Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику *в природе* и *в искусстве*, чем эстетику в истории и вообще *в жизни*¹ человеческой.

телескопа. И алгебра, и механика здесь у места. Дело в том, что мы к XIX—XX веку окончательно слили *религию* с *моралью*, исключив из последней метафизический момент. Вот этот-то метафизический момент несколько не расходится с наукою, и даже с *чудом* в ней. Ведь биология же нас учит, что, напр., все внутри нашего тела процессы, напр., пищеварение, совершаются *сокращенными путями*, через заготовленные в организме кислоты, щелочи, механизмы, которые делают ненужными длинные обычные (химические) процессы. В сущности каждая реальная *вещь* есть маленькое *чудо* в своем *роде* и источник чудесных феноменов. *В. Р-в.*

¹ Нельзя не обратить внимания, что как с идеями Л-ва роднит, с одной стороны, Ницше, так с его *вкусами* удивительно совпадают так называемые «эстеты», «декаденты», «символисты» и проч. Мне известно (из личных знакомств), что они даже и не заглядывали в Л-ва, прямо не знают о *существовании* его. Между тем коренная его мысль, сердцевинный пафос — порыв к *эстетике житейских форм*, к *мистицизму* и *неисповедимости житейской сути* — суть в то же время надпись на поднятом ими знамени. Замечательно, что почти сейчас же после его смерти (в 1891 г.) явилось шумное, яркое, самоуверенное движение в сторону «красивых форм жизни»; зашумели Рёскин, Ницше, Метерлинк, наши «декаденты». И вот тут-то выразился роковой *fatum* Л-ва, что то движение, которое он так страстно призывал всю свою жизнь, когда родилось, пришло, почти победило, — то даже и не назвало его по имени. Это действительно поразительно. Да и не виною ли в этом, что Л-в так замешал свое имя и силы в *хронику текущих событий*; не виною ли просто журналы, в которых он участвовал и которых никто не читал?? *В. Р-в.*

Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают.

Что касается до настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями, тягостями и жестокостями, со столькими пороками, что нынешнее боязливое (*сравнительно*, конечно, с прежним), слабонервное, маловерующее, телесно само изнеженное и жалостливое (тоже *сравнительно* с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности — «избави Боже!»

Мне иногда даже кажется, что по мере расширения круга среднего понимания природы и искусства круг *эстетического* понимания истории все сужается и сужается. В этом случае само христианство (*по-моему*, конечно, *ложно* понимаемое большинством, т. е. понимаемое *более с утилитарно-моральной, чем с мистико-догматической* стороны) часто играет в руку демократическому прогрессу¹. Например, в вопросах *войны и мира*. Истинное церковное христианство, и западное, и наше, вовсе так *войны не боится*, как боится ее разжиженное утилитарно-моральное христианство XIX века. Почитайте самые консервативные газеты, и в них беспрестанно такие фразы, где христианство и *политический мир* без зазрения совести путаются. (Хотя бы в «Гражданине», ну, да и в «Московских Ведомостях»).

Я не могу здесь много об этом распространяться, но прилагаю небольшие отрывки², которые я набросал на досуге, скорее для себя и для друзей, не находя их достойными печати.

Вы с полуслова меня поймете.

Я *уверен* в этом именно вследствие *верного выбора* вами заглавия для статьи обо мне. Да, он верен, но невыгоден с практической стороны. По существу, по глубочайшей основе моего образа мыслей это так: «Эстетичес-

¹ Вот здесь и подходит как бы «нож к горлу» Л-ва: он — монах, испрашивавший благословения старца на образ мысли свой, на труды литературные. Но «конные полки» Варшавы ворошат ему мысли, но кудри Алкивиада *обольщают* его. С «наукой» он разделался, почувствовав к ней скуку; скорее — положил ее в карман с твердым намерением не вытаскивать и не справляться. Но от «эстетики жизни» он не мог заснуть и между тем вынужден признать, что *более всего ее разрушает демократический прогресс*, являющийся лишь светски обработанные истины Евангелия: братство, свободу, равенство. В катакомбах все это было «Бога ради», на парижских улицах «для себя», но *результат* там и здесь один: «первоначальная простота» (в катакомбах), «вторичное упростибельное смешение» (на парижских улицах). Преторианец или гвардеец преобразуются в «сироту» хныкающего или в блузника работающего. Там и здесь ни тоги, ни аксельбантов не сохранится. Но тут начинался пафос Л-ва: «Если без аксельбантов, то я лучше хотел бы умереть, даже — не родиться!» Таким образом, на дне его души, на самом ее дне лежали как бы вечно грызшие друг друга два змия: эстетизм и христианство, «эллинизм» и житель катакомб. В. Р-в.

² Отрывки эти, пересланные Л-вым мне, у меня сохраняются. В. Р-в.

кое воззрение»! Но именно такое-то указание на *сущность* моего взгляда может компрометировать его в глазах нынешних читателей¹.

Я считаю *эстетику мерил* наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. *Мерило положительной религии*, например, приложимо только к *самому себе* (для спасения индивидуальной души моей за гробом, *трансцендентный эгоизм*) и вообще к людям, исповедующим *ту же религию*. Как вы будете, например, приступать со строго христианским мериле к жизни современных китайцев и к жизни древних римлян?

Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо, во 1-х, придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большую частью художники были развратны, а многие и жестоки); останутся одни «мирные земледельцы», да какие-нибудь кроткие и честные ученые². Даже *некоторые святые, признанные христианскими церквами*, не выносят чисто этической критики. Например, св. Константин³, св. Ирина, св. Кирилл Александрийский и почти все ветхозаветные святые (которым,

¹ Под влиянием этого соображения Л-ва, практически довольно основного, я написал редактору «Русск. Вестн.» 1892 г. (когда печаталась статья) переменить заглавие «Эстетическое понимание истории» на другое: «Теория исторического прогресса и упадка». Но письмо мое (из г. Белого) было получено в Петербурге, когда уже появилась январская часть моей статьи *под первым заглавием*; тогда редактор вторую, февральскую часть, выпустил *под вторым заглавием*. Не помню, под которым заглавием вышла мартовская часть; но только эта путаница с заглавиями была равно вредна и смешна. В. Р-в.

² Замечательное отрицание *универсальности* морального мерила. Это то, что позднее у Ницше и ницшеанцев получило название: «поверх добра и зла» (= «морали»). У Л-ва видно, *сквозь зубы*, неуважение, презрение, почти издевка над «моральным критериемом», который, однако, *по всемирному взгляду*, составляет пафос христианства. Выньте из Евангелия нравственную красоту, отнимите ее у апостолов — и останется что-то неясное и неубедительное, ради чего, во всяком случае, невозможно было бы отречься от «ветхого» завета, завета «вечного». Нет более *мотива* для перемены «Савла» в «Павла». «Древние говорили вам: *око за око*, а Я говорю: *отдай и рубашку*», «благословляйте кланущих вас» и пр. Таким образом, со своим имморализмом (теоретическим) Л-в встал как бы *против Христа*, в упор, прямо и, завертываясь в греческую тунику, повернулся со словами: «*Не нужно! не хочу!!.. и не уважаю!!!*» Это — «бунт» почище карамазовского, по спокойствию тона, в котором он ведется. В. Р-в.

³ Известно, что св. Константин Равноапостольный казнил сына, оклеветанного влюбленною в него мачехою, а затем испек жену в раскаленной бане, когда она ему изменила. Также кроткого и боязливого, послушного ему тестя своего Максимиана Геркулия (прозвище, полученное за громадный рост), будучи недоволен им за какие-то упущения в областном управлении, он вызвал ко двору своему и приказал удавить. Но это не соделало препятствия возвести его, за великие заслуги для церкви, в сонм святых и даже наречь равноапостольным. В. Р-в.

однако, *велено*¹ *молиться*)... Это во 1-х. А во 2-х, *этическое* мировоззрение неизбежно и всегда колеблется между двумя разными моральями: *моралью внутренней борьбы* (или *моралью стремления*) и *моралью внешнего результата* (мораль осуществления). Пример 1-й морали: я рабовладелец; могу бить, могу даже *изувечить* раба, но воздерживаюсь от *последнего*, с большой победой над собою, хотя, однако, *все-таки бью* и бью крепко, но без членовредительства, и бью, например, *за дело*, за грубость, подлость и т. д. Пример 2-й морали: *не бью слугу* вовсе, потому, что боюсь *мирового судьи*.

Первая мораль, конечно, *менее верна*; но зато она ближе и к мистической религии, и к эстетике (победа разума и сердца над гневом и зверством есть также *эстетическое явление* — *моральная эстетика*); вторая мораль — гораздо вернее: но ведь эта забота об одном лишь внешне-моральном результате и приводит шаг за шагом к тому общеутилитарному мировоззрению, которое и есть всемирная уравнительная *революция* (смещение, разрушение, вторичное упрощение и т. п.). В эстетическом же мировоззрении *все вместимо!*... *И все религии, и всякая мораль*, даже до некоторой степени и мораль внешнего результата. Например, противно было видеть, как дурного тона помещица бьет по щекам вовсе не слишком виновную служанку (мужчина и женщина — большая разница!), мировой судья тут является орудием *отрицательной эстетики*: та же помещица после 61 года не только *не бьет*, но и сама становится *интересной*, ибо слуги уже начинают злоупотреблять своей свободой и притесняют ее, и т. п.

Все это так... Но, увы! Не только в глазах какой попало публики, но и в глазах многих весьма серьезных, весьма влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных людей, слова: «художник», «эстетик», «эстетический взгляд на жизнь», роняют практическую ценность мыслей.

Им представляется все это сейчас чем-то вроде излишества, роскоши, искусства для искусства, *дессерта* какого-то, без которого можно обойтись.

Они никак не могут понять, что только там и *государственность сильна*, где в жизни еще много разнородной эстетики, что эта видимая эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами — *творческой*² силы.

Вот что я хотел сказать.

¹ *Вот эта отчужденность* мысли Л-ва и сообщает ему, так сказать, *аналитическую* цену; это действительно не то, что «гармонии» Достоевского, против которых как-то не умеешь *упереться*. Видя перед собою *честного* Л-ва, отсчитывающего «добродетели» и «признания», как по счетам пятачки и гривенники, выхватываешь, при виде ужасного итога, у него счета из рук и разбиваешь их о голову счетчика: «Вот тебе, мучитель мой, истязатель души моей!» В. Р-в.

² Вот где *центр* дела: эстетично — то, что *растет!* Не в этих ли мыслях Л-ва сближение с наименованием, у древнего Платона, «Творца мира» Демиургом, *художником*. Он таков не от того, что *соделывает* Вселенную, как столяр — вещь, а что *отделяет* ее, как ювелир, «совершает» (=совершенствует), как бы восхищаясь делом рук своих и в восхищении почерпая новый мотив (пафос) для дальнейшего совершенства. В. Р-в.

В заключение дерзну прибавить несколько «безумных»¹ моих афоризмов:

1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней *жизнеспособности* человечества, то уменьшение их должно быть признаком *устарения человечества и его близкой смерти (на земле)*.

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству *по основам*, сильно вторит ему в этом *по внешности*, отчасти и *подделяваясь* под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить *эстетику жизни на земле*, т. е. *самую жизнь*.

4) И церковь говорит: «*Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде*».

5) Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетики, из трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике.

¹ В них вся суть Л-ва, разом подымающая его над близорукими современниками, дающая ему преимущество мысли даже и над Д-ким. То-то он его и звал все «Фед. Мих.», с оттенком неуважения, как *моложеватого* товарища. Тут Л-в бесконечно *стар* исторически, точно «перед антихристом», когда уже «разгибаются» книги («за семью печатями») (Апокалипсис). Дело в том, что мы, христиане, вовсе не умеем выйти из орбиты христианского созерцания и, так сказать, каждый луч нашего зрения есть *в то же время* луч «воссиявшего миру Света Разума». Все — мораль, «любю ближнего», содělываясь «братом ему». *Патолог* Л-в вдруг восклицает: «Позвольте, вы *хвораете!* вы *умираете!!* И хворь, и смерть (биологическую) отождествили с нравственным *идеалом*». Но этот патолог в то же время монах: выкрикнув восклицание свое, он весь съезжился от страха, ушел весь в куколя свой, откуда глухо несутся стенания: «Боюсь! за *душу* свою боюсь!! *Адских* мук боюсь!!!» А что такое мука, — он по болезням своим, уже 20-летним, знает. Но и опять же, как вечно болеющий, он не хочет хвори; он разбрасывает пузырьки лекарств, выдвигается вновь из куколя своего, ищет цветного, звучного, «эстетического». «Эстетика универсальнее христианства! Что христианство для китайца и римлянина: *местное* явление!» И т. д. Так, подобно маятнику, качался бедный Л-в между двумя абсолютно противоположными, несовместимыми мирами, идеалами. Но невозможно не заметить, что эстетизм был *натурою* его, а в христианство он все-таки был только крещен; это — первозаконие и второзаконие. Тут — граница для известного афоризма, что «всякая душа человеческая — христианка», «человек уже рождается христианином». Нет этого, и не без причины Христос сказал: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» и «нельзя войти в царство небесное, если не родиться (вторично) от Духа и Истины». В. Р-в.

14 авг. 1891. Опт. п.

Вчера (когда 1-е мое послание было уже окончено) я получил ваше дорогое письмо и спешу прибавить еще, что *успею*. Я очень озабочен приготовлениями к переезду на Троицкий посад. Переписка с вами, В. В-ч, доставляет мне *уже редкое* по живости своей наслаждение, — говорю «уже редкое» потому, что в 60 лет сильно чувствуешь только одно: нарушение физического покоя и вообще телесные страдания; остальное все — и печальное, и приятное — скользит по душе, не оставляя в ней глубоких следов; но ваши письма чрезвычайно утешают и оживляют меня. Буду для порядка и ясности отвечать вам по пунктам.

1) Наклейки с отзывами посылаю (2 книжки).

2) Греческие повести подожду посылать, чтобы не отвлекать вас от статьи («своя рубашка к телу ближе»). Пошлю позднее *из Троицкого посада*.

3) Вместо них посылаю довольно любопытную статью обо мне в *републиканском* (вообразите, какой «пассаж»!) журнале «Revue Nouvelle» (г-жи Adam) — «Un portrait» и т. д. — *Чернофф* — псевдоним; настоящая фамилия этого француза *портье д'Арк*. Он дает уроки в Петербурге. Я, разумеется, *обязан* чувствовать признательность за его «прославление»; но при всем старании быть благодарным не могу ослепить себя до того, чтобы не видеть его преувеличений и бестактности. И лично-биографические сведения не точны, и все спутано, и фразы без конца и т. д. «Исторический Вестник» не без основания в библиогр. своей заметил тогда: «Что за мысль пришла г. Чернову знакомить франц. публику с писателем, которым у нас никто не интересуется?» К сожалению, эта заметка «Истор. Вестника» в наклейки не попала. *Ее разорвал в минуту веселости* Влад. Соловьев, говоря: «Не хочу, чтобы этот *хам* (библиограф) *поддерживал в вас своею несправедливостью духовную гордость*» (т. е. гордость смирения) и т. д.

4) *О средн. европейце* теперь не могу вам прислать, ибо она в таком беспорядке, что вы спутаетесь, — без разделения на главы и главы без числа и конца. Отложим это пока.

5) Два *первые* фельетона ваши в «Моск. Вед.» прочел с удовольствием; но 3-го почему-то не видал еще. Я сам не видал «Моск. Вед.», но мне дают их здесь другие, — и случается, что как-нибудь один номер или два пропустят, а я по лени за цифрами номеров не слежу и спохватываюсь иногда так поздно, что нужного мне номера нельзя и разыскать. Впрочем, когда касается что-нибудь до меня, то любезный иеромонах, их получающий, уже не пропустит этого номера и даже отметит карандашом... Так что 4-й фельетон я надеюсь прочесть, если только *личное* недоброжелательство Петровского (*вполне, впрочем, мною заслуженное!*) не помешает его напечатанию. Ваша манера мыслить и писать очень отвлеченна и не всякому доступна; но она *чрезвычайно* изящна, тонка и глубока. Кто может осилить, тот наслаждается. Но для пользы дела, понуждайте себя более «иллюстрировать» вашу симпатичную метафизику *примерами, фактами, картинками* и т. п. Я знаю, что привычка к философскому движению мысли отучает от этих «иллюстра-

ций»; но надо пожалеть и тех читателей, которые менее способны к отвлеченной последовательности. Вот и я принадлежу к их числу; и не будь в вашей книге «О понимании» всех этих *примеров* (зерно, прямая линия, круг и т. д.) — я бы в ней очень мало понял.

б) В ответ на вашу просьбу — объяснить вам, что заставило меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так хорошо (и даже *очень* хорошо под *конец*, судя по отзывам кн. Горчакова и обещаниям Игнатьева), и думать о монашестве, скажу вам следующий афоризм: «Полуоткровенность и недосказанность часто больше вредят настоящему пониманию чужой жизни, чем совершенное умалчивание». А с *полной откровенностью* я об этом в *письме* распространяться не могу. Если Бог поможет, наконец, нам увидаться (не отчаиваюсь!), то *на словах* — другое дело! Постараюсь, однако, *кое-как* объяснить... Причин было *много разом*, и *сердечных*, и *умственных*, и, наконец, *тех внешних* и, *по-видимому* (только), *случайных*, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку его внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежат, с одной стороны, уже и тогда, в 1870—71 году: *давняя* (с 1861—62 года) философская ненависть к формам и духу *новейшей европейской* жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм и т. п.); а с другой — *эстетическая* и *детская* какая-то приверженность к *внешним формам* Православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок *сердечных глубочайших* потрясений (слыхали вы французскую поговорку: «*Cherchez la femme!*», т. е. во всяком серьезном деле жизни «*ищите женщину*»); и наконец, *внешнюю случайность опаснейшей* и *неожиданной болезни* (в 1871 году) и *ужас умереть в ту минуту*, когда *только что* были задуманы и не написаны еще: и *гипотеза триединого процесса*, и «Одиссей Полихрониадис» (лучшее, по мнению многих, художественное произведение мое), и, наконец, не были еще высказаны о «югославянах» все те *обличения* в европеизме и безверии¹, которые я сам при-

¹ «Безверие» юго-славян!.. Поразительно вообще в истории европейской цивилизации, до чего *трудна для европейца* вера! Какие-то случайные и личные скорей *отклонения* в веру, чем *исключения* — в *неверие*! Паскаль, Амьель, люди странные, вечно больные, охающие, — вот они верили! Чуть солнышко сквозь дождь проглянет, европеец танцует, открывает лавочку, затягивает песенку и о Боге вовсе не думает. Совершенно обратное в Азии: счастливейшие цари, Давид, Соломон, владыки Тира или Ниневии, то воздвигают тысячелетние храмы, то пишут пропитанные теизмом книги. В счастье и в несчастье — азиат всегда мистик; европеец — только в несчастье. Европеец *только когда боится* — верует (и Л-тьев: «*страх* — начало премудрости», т. е. *религиозной*); азиат с Богом и тогда, когда мирно пасет скот, среди четырех жен (Ревекка, Лия, Валла, Зелфа у Иакова), рождая непрерывно детей. Почему это? где тайна этого? Где тайна того, что с европейца, как со лому с крыши, веру уносит малейший ветерок? «Юго-славяне» — «не веруют», «рационалисты», пиджачники, «техники». А мы, русские? Нет, тут *сорт «веры»*, а не одна «слабость верующего». Не от того ветер уносит со-

знаю решительно исторической заслугой моей (сам Катков этой опасности не понимал или не хотел на нее указать по свойственному ему оппортунизму и хитрости)... Одним словом: *все главное мною сделано после 1872—73, т. е. после поездки на Афон и после страстного обращения к личному православию... Личная вера почему-то вдруг* докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в *лето 1871 года*, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе *неожиданной смерти* (от сильнейшего приступа холеры), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я *ничего этого* предвидеть еще не мог, и все литературные планы мои были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже *не о спасении души* (ибо вера в *Личного Бога* давно далась мне гораздо легче, чем вера в *мое собственное личное бессмертие*); я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о *телесной смерти*, и, *будучи уже заранее подготовлен* (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я *вдруг*, в одну минуту, *поверил* в существование и в могущество *этой Божией Матери*; поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собою *живую, знакомую, действительную* женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Мать Божия! *Рано!* Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в *высшей степени* развратную, *утонченно-грешную* жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в *простого* и *настоящего* православного, верующего и в *среду*, и в *пятницу*, и в чудеса, и даже постригусь в монахи...»

Через 2 часа я был здоров; все прошло еще прежде, чем явился доктор; через три дня я был на Афоне; постригаться немедленно меня отговорили старцы; но *православным* я стал очень скоро под их руководством... К *русской* и эстетической *любви* моей к Церкви надо прибавить еще то, чего не доставало для исповедания даже «середы и пятницы»: *страха* греха, страха

лomu, что она «на крыше», но от того, что она именно «солома». Посмотрите на глубокую трудность внушить «веру» семинаристу, питомцу духовной академии: а ведь только и делаю, что «внушаю» им ее. Опровержения (веры) — слабы, доказательства — сильны, а все-таки нет плода доказательства. Можно сказать «неверие» родится в Европе, как плесень на сыром месте, «само собою», везде: а «вера» выращивается с трудом, как какая-то орхидея, требуя парников для себя, «стечения случайностей», приспособлений, напряжения. Последний пастушонок в Туркестане, в Сирии о Боге *ближе* знает, *проникновеннее* скажет (см. хананейка перед Христом: «Господи! и псы не бывают лишены кусков со стола господина своего», вдовица сидонская перед Илиею: «Ты пришел напомнить мне грехи мои», и пр.), чем в Европе первый богослов. Ведь и Л-в вот в этих письмах что *дорогого* сказал о религии, что *взяло бы за сердце?* Религия явно для него или член политической системы, или упрямый предрассудок старика, который решил «отравить час» современникам-безбожникам. В. Р-в.

наказания, страха Божия, страха духовного. Для достижения этого страха *духовного* — нужно было моей гордости пережить всего только 2 часа *физического* (и обидного) ужаса. Я *смирился* после этого и понял сразу ту высокую *телеологию случайностей*, о которой говорил. Физический страх прошел, а *духовный остался*. И с тех пор я от *веры и страха Господня* отказаться уже не могу, если бы даже и хотел... Религия не всегда утешение; во многих случаях она тяжелое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется! И всякое *сомнение*, всякое *невыгодное* для религии философствование он будет с ненавистью и презрением *легко* от себя отгонять, как отгоняют несносную муху... А что было после обращения, после 1871—72 года, — об этом рассказывать невозможно *здесь!* Эти 20 лет, от 40 до 60, я *прожил* совсем *иначе*, чем первое 20-летие зрелости (от 20 до 40 лет). Я не говорю — лучше, безгрешнее, а только *иначе*, совсем с другим основанием, глубже и полнее... В эти же последние 20 лет (после Афона) я и написал все лучшее и оригинальное...

Больше ничего я на этот раз не могу вам сказать.

Приезжайте на Рождество ко мне в Троицкий посад (*если я там останусь*; ибо это только там решится), и тогда о многом скажу яснее и подробнее.

7) Об отце Амвросии позвольте тоже отложить подробную беседу. Скажу только следующее: *святость, признаваемая церковью*, может быть благодатью Божией усвоена людям самых *несходных натур* и *самых разнородных* умов. О. Амвросий по натуре и по уму склада более практического, чем созерцательного. «Практического», разумеется, не в каком-нибудь мелком смысле, а в самом высоком и широком. В том смысле, например, в каком и евангельское учение можно назвать в высшей степени *практическим*. И любовь, и жестокие угрозы, и высшие идеалы отречения, и снисхождение к кающимся грешникам. Прибавлю еще: он, скорее, весел и шутив, чем угрюм и серьезен, — *весьма тверд* и строг иногда, но чрезвычайно благотворителен, жалостлив и добр...

Теория моих и вообще «наших идей», как вы говорите, он не знает, и вообще *давно* не имеет ни времени, ни сил читать. Но *эпоху* и людей он понимает превосходно и психологический опыт его изумительный. Иногда, впрочем, приказывает себе вслух читать некоторые рекомендованные ему небольшие статьи. Так, мою статью в «Гражданине», о связи сословных реформ Толстого и Пазухина — с замедлением прихода антихриста, он велел прочитать себе 2 раза и чрезвычайно одобрил. Он «равенства и свободы» не *любит*, как и все *духовные люди*¹.

¹ Защитим немножко монахов: конечно, «равенства и свободы» *нашей*, из «буйства» происходящей, они не любят; но *лучшие* из них в себе самих, в «братии» своей, в *братстве* своем имеют такое *море* свободы и равенства, в котором наша исчезает, как ручеек в океане. Они нашли *без родства* (аскетизм) дух и форму и сущность родства: вот их секрет. Истинный (высокий) монах уже не имеет осуждения миру; но не по равнодушию к греху, даже не по снисхождению, что было бы гордостью сильного в отношении к слабому, а по *орлиному*

Sapientia sat!¹

8) О «Братьях Карамазовых». Разве я просил их у вас? Совсем не помню. Меня это очень удивило. Не беспокойтесь; у меня теперь они есть;

лету своему и по *отцовской* к миру нежности. Вообще монашество, лучшее, истинное, содержит в себе некоторое *психическое чудо*, притом новое, до Христа не бывшее. Тут какой-то синтез Евангелия (*припоминаемых* его речений, притч, образов, даже смысла) и природы; тут, во всяком случае, много лесов, лесного запаха, ландышей, звезд, далекого горизонта, вечного уединения и углубления в себя — словом, много *пантеизма древнего*, но, так сказать (как в музыке), поставленного «на другой ключ». Этим «другим ключом» была «благая весть» Христа. В Нем они получили Лик «взявшего на себя грехи мира», Лик, во всяком случае, Прекрасный, Неизъяснимый. Ландыши и запах лесов слились с человеческим образом («Сын Человеческий»), и получилась религия вместе: и в отношении к Богу, и глубочайшей человечности. «Равенство, братство и свобода» тут слишком живут. Французскую «свободу и братство» монахи не пускают к себе, как обезьяну — люди, ибо там (на Западе) действительно явилась лишь «гримаса» и братства, и свободы. Тут Д-кий в отрицании западных «идеалов» был прав, как и вообще славянофилы. Но граница монашества, и абсолютная граница, начинается со следующего. Положим, я отрок: мне 14—16—19 лет. Я несу в себе целый мир потенциалов энергичного, страстного, веселого, предприимчивого, трудолюбивого. Монах (высший, идеальный) все это не осудит, даже похвалит! но какою-то вялою похвалою, — и в этом весь секрет, мировой секрет монашества!! Дело в том, что в самом монашестве нет *энергизма к деятельности*, и «отрицания мира», «ухождение из мира» все же есть его корень, непеременимый, вечный, существенный! Сопоставляя два выражения: «Тако Бог возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного отдал за него» и «не любите мира, ни того, что в мире», мы первое находим одиноким, а второе подпирается такими краеугольными выражениями, как восклицание Самого Христа, и притом в *центральные* мгновения служения Своего: «Мужайтесь, Я победил мир», «Ныне суд князю мира сего», «Видели ли вы Сатану, спадшего с неба?» Через это, самое «принесение Сына за мир» изъясняется не в смысле принесения Его за мир *сущий*, но — для *преображения мира*, и лишь в этой «преображенности» спасаемого. Теперь — наши «энергии» в мире все суть обыкновенные, «непреображенные», и монахи не осуждают их, однако им никак и не сочувствуют. В конце концов, «монашество», будучи «чудом психическим», однако же, в корне содержит все-таки некоторое «испеление» бытийства, бытийственных вещей (отсюда буря против него Петра Великого, да и всех *энергических* людей). В монашестве вообще скрыт еще не разгаданный мировой секрет. Иногда оно мне представляется Живою и Личною Смертью: тихим увяданием с радостью на своё увяданье. Ибо *побежать, прыгнуть* (действия *безгрешные*) монах все-таки никак не может, не *потеряв всей своей сути*; *захлопать в ладоши*, ну, напр., при виде подвига святости, — не может же! *Улыбнуться* — да, может. Вообще *тихость*, штиль *планеты* целой, и, в последнем анализе, смерть — вот суть монашества. Может быть, мы, умирая, «преображаемся»; тогда в монашестве предчувствие «рая за гробом». Но тогда «лилии» этого рая слишком безжизненны; а ведь «древо жизни» (в *Апокалипсисе*) двенадцать раз в год приносит плоды!! Апокалипсис, как и Библия, как седмисвечник в скинии завета — все это «нет! нет! нет!» в отношении к монашеству, самому безукорному. В. Р-в.

¹ Умному достаточно! (лат.)

променялся на другие книги с одним петербургским «фельетонистом» и «беллетристом», который приезжал сюда, видимо, для «изучения нравов».

9) После 20 августа уезжаю в *Троицкий посад*. Вероятно, останусь там, если только увижу, что могу там *по-своему* навеки устроиться. *Если же нет, то скоро вернусь*. Вы из какого-то доброго и поэтического (видимо) чувства жалеете, что я оставляю Оптину; *а старец настойчиво, уже с весны побуждает* меня к этому переселению ввиду близости (там) именно той самой *хирургической помощи*, к которой и вы мне советуете прибегнуть. От Амвросий говорит: «Не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть. Лечиться — *смирение*». И даже торопит отъездку, пока не холодно. Может быть, у него есть и другие обо мне соображения, о которых он умалчивает.

10) *Ischuria* значит полное и решительное *задержание мочи*. Неправильное, трудное испускание называется *dy(i?)suria*. *Disuria* пренебреженная ведет к *ischuria*. *Ischuria*, если не прекратится никаким средством, влечет за собой скорую и крайне мучительную смерть или: от *разрыва* мочевого пузыря, излияния мочи в полость живота, и острого, в высший степени болезненного воспаления брюшины (*peritonitis acutissima*); или от заражения крови *обратно* всасывающейся мочою (*uremia*); при этом бред, иногда бешеный, и т. д.

Вот почему от Амвросий и желает, чтобы я был ближе к хорошим хирургам. А если бы он сказал: «Не ездите и готовьтесь здесь умирать» (как он иным и говорит иногда), то я, конечно, остался бы.

Впрочем, не надо старческую заповедь принимать всегда в прямом и чистом практическом смысле, что «вот все у Троицы еще *лучше* будет». Вовсе нет; может случиться в «земном» смысле и *хуже*; но важны благословение и послушание в «загробном» отношении, в смысле «*трансцендентного эгоизма*».

11) *Заклучение*. Я смолоду набрал у Тургенева до 200 р. сер. и не отдал ему. И от многих людей видел много любви, снисхождения и вещественной помощи в течение моей уже долгой жизни. И как-то не стыжусь этого, а рад и за себя, и за людей, что добры. Позвольте же и мне предложить вам такой план: если я, оставшись у Троицы, к Рождеству увижу, что у меня найдутся *вольные* деньги, то возьмите у меня, *сколько будет нужно* на проезд из Белого и обратно ко мне и на прожиток в гостинице в течение *недели* (не менее, а то и более, иначе будет «смешение») и будемте разговаривать каждый день раза по два, или хоть по вечерам без умолку от 6 до 11.

Отдадите, когда вздумается. И я должен и медлю, и мне должны хорошие люди и не спешат. Эта *метода* и национальна, и одна из самых «христианнейших»!

Надо относиться к этому просто и с сердечной чистотой верить, что нередко дающему давать гораздо приятнее, чем получающему принимать. Особенно — *прошу вас* верить, до чего *мне, полуживому, из эгоизма* дорого было бы свиданье¹ с вами, именно с вами!

¹ Конечно, все очень легко было исполнить, но какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в пред-

Неужели вы сами *постичь сердцем* этого не можете? И неужели Варв. Дмитр. будет вас отговаривать? Я готов буду тогда ей самой написать просительное письмо.

Аминь! Теперь надолго замолчу. **Некогда!** А вы пишете.

К. Леонтьев

10

20 авг.

Я еду решительно 24—25-го.

Посылаю вам все отзывы¹, какие только у меня есть. При свидании расскажу еще много любопытного про Каткова, Аксакова и мног. других.

Прошу вас убедительно *никому* этих наклеек не давать и не показывать (разве только брату вашему, если он с вами так единомыслен и близок). Большую часть *заметок пером* я сделал *теперь* и *собственно для вас*, так как вы желаете поближе познакомиться с моим литературным прошедшим. Но я бы не желал, чтобы эти заметки были в нескольких руках.

Вы спросите, может быть: «Какие же тут секреты?»

Секреты, не секреты, а есть такие «оттенки» в этих примечаниях, которые я бы, вероятно, изменил, если бы писал их не для вас, а для кого-нибудь другого, который внушал бы меньше доверия, чем вы.

Вам я инстинктивно верю, т. е. вашему участию и вашей искренности, а главное — вашему утонченному *пониманию*.

Теперь я долго не буду вам писать. Некогда. Но из Троицы пришлю адрес свой.

P. S. 21 авг. Сейчас только окончил чтение вашей статьи «Европ. культ.»² и т. д. (в № 16, авг.). Опять приходится сказать еще раз: «*Ныне отпущаеши*».

К. Леонтьев

ставлении о невиденном человеке, заставило меня несколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нем. Так мы и не свиделись. А *in concreto* человек всегда интереснее и лучше еще, чем по писаниям, письмам. Сужу по Страове, которого долго знал, и из знания этого извлек бездну наслаждения, пользы. «Точно путешествуешь по Финикии, по Африке» и пр., знакомясь с новыми любопытными людьми. Новый человек интересен, как и новая страна. Но я всегда ленив был к таким «путешествиям». В. Р-в.

¹ Критические о себе. В. Р-в.

² «Европейская культура и наше к ней отношение» — четвертый и последний фельетон в «Москв. Ведом.» за 1891 г., август. Тут говорилось о Л-ве и его теориях. В. Р-в.

3 сент. 1891. Троицкий посад.

Дорогой и многоуважаемый Василий Васильевич. Наконец я кое-как добрался до *Троицы-Сергиева* и остаюсь здесь, по крайней мере, до лета; а вернее, что навсегда. Пока совершенно одинок, не выхожу из номера по слабости и скучаю по Оптиной. В Москве пробыл всего двое суток; были у меня Говоруха-Отрок, Грингмут, Александров и друг. Говорили о вас — и здесь я *воочию* увидал всю ту пользу, которую вы мне сделали даже и маленькой статьей в «Москв. Вед.». Я это предвидел; но в Москве убедился уже вполне.

Весьма было бы приятно получить от вас весточку.

Адр. в Новой лаврской гостин. № 24.

Ваш К. Леонтьев.

13 сент. 1891. Сергиевск. посад.

Неоцененный и единственный в мире (для *меня*, разумеется; вы сами теперь, я думаю, это понимаете?) Василий Васильевич! Слушайте, что я вам скажу: ровно год тому назад Влад. Серг. Соловьев взял у меня книгу, в которой наклеены все *последние* и *вам неизвестные* статьи мои в «Гражд.» (от 1887 до 1891 г.). Взял он ее у меня с целью писать что-то и где-то об «идейном консерватизме», которого представителем он меня считает. Но увлеченный ближайшей к его делу борьбой и по другим неизвестным мне причинам статью до сих пор не окончил, продолжая от времени до времени извещать меня, что ни за что все-таки не откажется от этого намерения. Откажется или не откажется, но я эту книгу теперь взял у него для того, чтобы издать 3-й том «Вост., Россия и Славянство».

При этом я обещал вернуть их ему к 1 декабря; надеюсь, что через неделю, не более, друг мой Александров начнет переговоры с типографиями, и так как я настолько неизвестен или малоизвестен, что без наличных денег он, пожалуй, и не скоро найдет то, что мне нужно, — то книга будет до тех пор напрасно лежать у меня (показывать ее хозяевам типографий не нужно; они большей частью ничего и так не поймут, и с них достаточно перечня заглавий; я уже испытал это). Вследствие всего этого я подумал, что могу на целый месяц (напр., до 1/2 октября) предоставить ее в ваше распоряжение, да, кстати же, пошлю вам и некоторые отрывки из консульских моих воспоминаний, которые были тоже в разное время напечатаны в разных газетах. Эти воспоминания, вероятно, тоже войдут в 3-й том¹.

¹ И до сих пор этот 3-й том не издан. Fatum. Вообще слова мои, что Л-в гораздо больше любил людей, чем люди его любили, — мне думается, верны и много объясняют в его судьбе. В. Р-в.

Вот что я хотел вам сказать. Завтра пошлю купить коленкор и велю зашить посылки.

Давно вы мне ничего не пишете; я уж соскучился без ваших писем.

Я здесь теперь живу в глубочайшем одиночестве в гостинице и никуда через дурную погоду не выхожу.

Грущу о милой Оптиной; но делать нечего! Теперь до мая прикован!

Ваш К. Леонтьев.

13

18 окт. 1891 г. Серг. пос.

Новая лаврская гостиница.

Если бы я знал, Василий Васильевич, что мое долгое молчание потревожит вас, я бы давно написал вам хоть 5—10 строк. Но именно вам мне всегда хочется написать не 5 или 10, а 5 000 строк. И потому иногда откладываю. К тому же, сознаюсь, к стыду моему, я стал ленив и *приступит* к какому-нибудь делу, которое мне кажется серьезным (а таковым я считаю нашу переписку), просто боюсь.

Вы спрашиваете, сержусь ли я на вас или болен? Ни то, ни другое, т. е. болен, как всегда, а не особенно; но сверх той лени и тех промедлений и колебаний воли, о которых я сейчас говорил, я во все первые числа октября был очень озабочен и занят счетами и деловой и хозяйственной перепиской. В жизни моей теперь крутая перемена, или, вернее, несколько перемен, в зависимости одна от другой. Главное то, что я, так сказать, разрушаю теперь свой домашний, семейный строй, крепко сложившийся за последние 11 лет, и в ожидании возможности поступить куда-нибудь *в ограду* поселяюсь пока здесь один, в некоторого рода «безмолвии». «Безмолвие» по-монашески не значит «молчание»; это значит более или менее *беззаботное*, беспопечительное *одиночество*, разумеется, с постом и молитвой. И древние отцы различали два главных рода иночества — *послушание* (в общине) и *безмолвие* (одиночество).

Кстати сказать, я перешел из № 24 в особую, весьма *просторную*, но тихую и с виду очень монашескую квартиру, *со сводами (средние века)*, внизу той же гостиницы, и *очень* ею доволен. *Для друга найдется место*. У меня около Оптиной было заведено целое хозяйство в особой усадьбе; своя мебель (кудиновская, материнская, даже 1811 года, приданое!) и т. д. Большая, хорошая библиотека. Обо всем этом нужно было писать, распоряжаться, что продать, что пожертвовать, что мне оставить. Конечно, все это было уже *заблаговременно* решено и благословлено покойным старцем (вы, разумеется, уже знаете теперь, что он 9 октября скончался). Как бы то ни было, вы понимаете, что в первое время забот тут много. (Не помню, писал ли я вам, что ж... у меня *слабоумная*?) Надо было и ее устроить у добрых и верных людей и т. д.

Теперь, когда я все это перечислил, вам будет ясно, что можно было мне и не сердиться и не особенно болеть, а все-таки же писать.

Кончина моего старца от. Амвросия не застала меня врасплох; он был так слаб, что я дивлюсь, как он мог еще дожить до 79 лет. Я столько лет ждал со дня на день его смерти, что теперь ничуть этим не поражен. Понимаю, конечно, что встретятся еще не раз случаи, если проживу еще долго, когда я буду восклицать: «Где от. Амвросий»!.. Но что же делать! Воля Божия! Господь, *если нужно*, и другого человека нам пошлет!

До получения известия я каждый день поминал его имя на молитве за здравие, а после стал поминать за упокой. И только... Но для многих других, не столь приготовленных, или по *сердечному* (не чисто-духовному) чувству, безгранично ему преданных, это очень тяжело. Я знаю даже таких, у которых личное к нему чувство было сильнее самой веры в церковь. Мое чувство к нему было более духовного оттенка; я его слушался, избегал делать что-нибудь важное без его благословения; видел от него много *всякого* добра (даже и *вещественного* в *прежние трудные времена*); но так страстно, как другие, привязан к нему не был. Я уверен, что есть люди (особенно пожилые монахи), которые надолго его не переживут, да есть и молодые мужчины, за *веру* и *будущность* которых я несколько боюсь; для них от. Амвросий был *все*.

Страхова статью (о Л. Толстом) прочел с негодованием, отвращением и бешенством! Какая хитрая, подлая статья; и с другой стороны — какая рабская преданность Толстому!..

Я так был взбешен этой статьей, что хоть сейчас возражать, и возражать грубо, беспощадно и т. д.

Но, разумеется, писать не стал. Я никогда полемикой с *отдельными лицами* не занимался, а теперь и тем более мне не до нее, когда я только и думаю о том, как бы поскорее расплатиться с некоторыми (старыми) долгами¹ и *вовсе перестать* писать.

Когда я в последний раз, прощаясь с от. Амвросием, — говорил ему об этом *новом моем чувстве*, года два, не более пробудившем впервые и все растущем, — об *отвращении к писанию*, не к чтению других авторов, о нет, но к *собственному* писательству, он мне сказал: «Ну, поправляйте, *издавайте старое*, а нового ничего не пишете *разве по нужде*» (т. е. для уплаты долгов и для помощи ближним).

¹ Из писем Л-ва к г. Губастову (ныне русскому резиденту при папском престоле, долголетнему сослуживцу и другу Л-ва), напечатанных в «Русском Обозрении», видно, что это были крошечные, в несколько десятков рублей, а один в немного сотен рублей (200—300), долги разным знакомым еще в Турции. Л-в постоянно этим тревожился: и не тем, что он *должен* деньги («честь моя не очищена»), а тем, что, быть может, эти деньги очень нужны и, во всяком случае, очень пригодились бы давшему их. Не на меня одного эти тревоги, среди болезней и страшной собственной бедности, производили впечатление необыкновенной душевной чистоты Л-ва. В. Р-в.

Помоги мне, Господи, исполнить завет этого святого человека.

Варваре Дмитриевне передайте, что у меня *особо сильных страданий*, боли нет, при моих сложных и неизлечимых недугах; только иногда душит до слез нервный *гортанный* кашель. Но и в этом я отчасти сам виноват — *курю*; с помощью Божией, впрочем, стал гораздо меньше курить, а все-таки еще курю. Вот за этот грех и казнью поделом.

(Для других курить не грех, а для *меня грех*).

Ну, а что вам сказать в ответ на то, что вы говорите о Вронском и вообще о наших людях власти... Не знаю! Разве то, что понемногу сами дойдете с вашим *умом* и вашим *вкусом*. Если мои книги не растолковали вам, *почему* может и *должен* нравиться *Вронский*, то что может сделать письмо?

Помните, вы писали мне, что понимаете, почему мне нравились, с одной стороны, *Бодянский*, а с другой — *разбойник Сотир*? Неужели Вронскому и рядом с ними¹ места не найдется! И т. д. и т. д...

Нет, еще все тот же припев:

¹ Конечно, не найдется. И Бодянский, и Сотир — фигуры *оригинальные* и *независимые*. Вронский же, хоть и блестящий гвардеец, также есть только продукт *среды* и *времени*, результат *обстоятельств*, как и «средний европеец», «либеральный земец» или «либеральный адвокат» (категория понятий Л-в). Он *мне* и *Л-ву* представляется «оригинальным», «фигурно», — *потому что мы не военные*; как и мы ему, верно, представились бы «фигурными». Л-в в оценке Вронского исходил из эстетического идеала, между тем эстетичного-то ничего во Вронском и нет. Разве что эполеты позолочены лучше, чем у других офицеров. Но слова эти мои не затрагивают (как, вероятно, думал Л-в) эстетики вообще в «бранных кликах», в воинском лагере, дремлет ли он ночью перед грозой, или пробужден и разразился сама грозой. Древние, начиная с египтян, имели «бога войны». Война есть вообще категория трудно постижимая «для штатских» (напр., писателей), но она есть именно категория, мир особенный и сильный, со своею тайною и сущностью. Но, как и все в Европе, война стала в ней неэстетичной: это тот же «телефон» и «рельсовый путь», машина чудовищная, где очень мало лица человеческого. Войска Густава Адольфа и Валленштейна, войска Кромвеля или Генриха IV, Карла Великого или Омара — это вовсе другое, чем наши войска! Прежде всегда была идея, великая, священная, за которую несло оружие. В сущности, только *священная война* и понятна, допустима. Но когда два дипломата, сокровенно от народов и даже мало понятно для своих государей, хитрят друг с другом, хитрят год, десять лет, пятнадцать лет, — а на 16-й год у одного хитрости не хватило и другой бросает войска на нацию, как бульдога на мышь (Бисмарк на Францию), то получается зрелище кровавое и бессмысленное, также малоэстетичное, как крушение товарного поезда или проигрыш в рулетке. Л-в же пересаливал: и одобрял не эстетику небесную (в отражениях на земле), а звон шпор, позолоту пуговиц, «la nature morte» [«мертвую натуру» (*фр.*)], как говорят художники. Красив дождь и радуга. Но ничего особенно красивого нет, когда учитель физики перед классом учеников повторяет их в физическом кабинете. В. Р-в.

Надо нам видетсья¹.

Ибо рядом с полнейшим согласием у нас с вами есть непостижимые недоразумения... Так, например, для вас лица Достоевского *просты* и *естественны*. А для меня они почти все отвратительно *изломаны*². А вот именно Вронский-то для меня прост и естествен; всех «изломаннее» в «Анне Карениной» — это Левин. Одно это «искание» меня бесит... «Искатели», должно быть, *редки* и *велики* умом³. И тогда они стоят внимания. Так и было в стари-

¹ Подчеркнуто тремя чертами. Вообще при печатании этих писем жирный шрифт передает тройное или двойное подчеркивание слов, нередкое у Л-ва. И еще оговорка: везде слова «церковь», «православие» у него написано с прописных букв, что не передано при печатании этих писем. В. Р-в.

² Ну, что же, и лица Шиллера, и Фауст у Гёте разве не «изломаны»? не «изломан» ли и Гамлет? Тут Л-в идет против *вымысла*, идеализации в искусстве, возвращается к натурализму, который сам же так неистово отрицал. Д-кий, конечно, не срисовывал типов с действительности, а выдумывал человека; однако выдумывал его, повинувшись глубочайшему знанию человечности. Таким образом, пожалуй, он «человека» и не верно рисовал, зато очень верно — человечество. До поразительности, до ослепительности. Выбросить его из всемирной литературы, из дум человека о себе, так же невозможно, как выбросить Шекспира, Гомера, Моисея, пророков. В. Р-в.

³ Все это очень верно. Но «великий искатель» может вырасти на почве «вообще ищущей»: а не среди квиетизма и успокоенности. В нижеследующем рассуждении о Вронском и Левине заметим следующее: ну, ввести бы Леонтьева в целый эскадрон Вронских или в факультет Левиных, Раскольниковых. К Вронским, в их залу, Конст. Никол. Л-в вошел бы с азартом восхищения, почти неся букеты из белых роз. Но кончились приветствия, прошел час рукопожатий, все усаживаются или так бродят по зале или казарме. Скучно Константину Николаевичу. Никто не понимает ни его «триединого процесса», ни восхищения к Бодярскому или Сотире. Все очень одобряют болгарских либералов, а о патриархе константинопольском просто говорят, что его надо сбросить в Босфор. Но и об этом говорят не настойчиво, а просто танцуют и едят бутерброды. Л-ву просто тут нечего делать: и, задыхаясь, в конце концов он бросился бы вон. В залу или, пожалуй, в студенческую «столовую» он вошел бы, пожимая плечами и аристократически морщась: все в пльадах Раскольниковы, Разумихины, Левины. Он оборвал бы и был бы оборван (в речи), но понимаемый и понимаая. Он заспорил бы и, не замечая, *годы* бы проспори, не скучая здесь, найдя бы учеников или учителей, найдя вождя себе или «верных», как воины Густава Адольфа, солдат своим идеям. Кому же в сочинениях своих говорил Л-в? Расспросите среди Вронских, «знакомы ли они с сочинениями Леонтьева, столь замечательными в историческом и политическом отношениях»? И не слыхивали. А какой-нибудь бедный студент, из ненавидимого Л-вым типа, ломает над ними голову, ворошит волосы, хватается за перо, пишет им *апологию* или страстный *протест*. Увы, все сочинения Л-ва похожи на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом. Он оттого и прошел *мимо* публики, *мимо* читателя, что «Дульцинея» этого героя Ламанчского просто не слушала его «изъяснений в любви»; а кто его мог бы выслушать и любить, тому он сам не сказал ни слова приветя. Мы любим *не сродное* с нами: Л-в сам, конечно,

ну, а теперь этих вредных искателей, как собак, и кроме ненужных страданий и вреда от этого ничего не выходит. Что касается (вы пишете) до *иностранного принца*, в котором Вронский увидел в увеличенном виде свои же черты и сказал: «Неужто и я такая глупая говядина!» — то это со стороны Толстого гениальный взмах кисти, — но со стороны Вронского *просто ошибка*, от тяжелого собственного настроения. И принц, и он сам — *здоровые*

был «вечно ищущий» и гениально ищущий Левин, Раскольников, до *преступности* в «исканиях», до святотатственности, до великих посягновений (отношение его к христианству). Оттого он, как исполин на карликов, и посмотрел на *литературные портреты* (т. е. в их романах) Достоевского и Толстого. Но «портреты» — Бог с ними: с Достоевским и с Толстым Л-в разошелся, как угрюмый и непризнанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно из их категории. Так Кук открыл Австралию, Колумб — Америку, и хотя они плыли по румбу разных показаний компаса, однако история обоих их описывает в той же главе: «великие мореплаватели». Сущность этого «великого мореплавания» заключается в погружении в умственный океан, в отдале всего себя, до последних фибр, до злоключений, до опасности и личного несчастья — диковинкам его глубин и отдаленностей. Все три они, и Достоевский, и Толстой, и Леонтьев, не любили берега, скучали на берегу. Берег — это мы, наша действительность, «Вронские». В «скуке» Л-ва было много капризов, изгибов, которые и разобрать трудно. Он был гораздо менее прямолинеен, чем названные два писателя, отрицания которых не допускают сомнения о себе, как и положительный их идеал. Леонтьев — весь в капризах, как женщина: он делает ложные «изъяснения в любви», как ложно же негодует. Он любит страстно и мучительно, никак не менее, чем оба названные писателя, но никак не может сказать, от застенчивости или неопытности, *кого именно и почему* он любит, говоря стихом поэта:

Любовью безумной и страстно-мятежной.

Во всяком случае, из этих трех категорий людей: монахов, «государственников», «искателей», около его могилы бродят тени только последних. И к ним, и к нему идет этот стих Пушкина, вызванный видом царскосельской статуи:

Урну с водой уронив, — об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой,
Дева над вечной струей, вечно печальна сидит.

Вода, вечно бегущая, и этот разбитый «не нужный» черепок — как хорошо это выражает биографию Леонтьева, неудавшуюся, несчастную около глубокого его мышления. А неосторожная «урно-носительница» — это умная часть нашего общества, пожалуй, его «искатели». Правда, они «разбили» сосуд, но они же его и оплачут слезами длительными и осмысленными. В. Р-в.

крепкие, светские люди, — и прекрасно. А что *мы*, кабинетные, или вообще «штатские» люди не таковы, нам же хуже. Кстати, скажите: который из двух героев романа «Анна Карен.» в случае религиозного переворота, стал бы просто православным, ездил бы к отцу Амвросию или даже стал бы примерным монахом. Конечно, Вронский, а не несносный этот Левин (такой же противный лично, как сам Лев Николаевич).

Постарайтесь приехать...

Умру, — тогда скажете: «Ах! Зачем я его не послушал и к нему не съездил!»

Смотрите!.. Есть вещи, которые я *только вам* могу передать.

К. Леонтьев

* * *

Письмо это было последним. Леонтьев умер 24 дня спустя после написания последнего из здесь приведенных писем (12 ноября 1891 года). Он умер не от своей мучительной болезни, а от той самой пневмонии, пример которой избран (в «Византизме и славянстве»), центральной философской у него статье) для объяснения признаков смерти в своем «триедином процессе». Дурная погода, встретившая его у Троице-Сергия, на которую он уже жалуется в последних из этих писем, не заставила его побережиться. Он схватил простуду: развилось воспаление легких, болезнь не смертельная в молодости, но в возрасте 60 лет роковая. И он умер, прохворав недолго и не страдая исключительным страданием. Мысль обрадовать его напечатанием большой о нем статьи все время не оставляла меня: но, к сожалению, именно этот 1891 год был для меня полон исключительных хлопот, забот, отчасти — опасностей. Телеграфное известие о его смерти, прочитанное в газете, поразило меня удивлением и жалостью. Мало к кому я так привязывался лично, темпераментно. Собственно, мы любим людей *по степени того, насколько глубоко они проходят внутрь нас*. Один где-то пополопался во рту, другой — прошел в горло и там застрял, третий — остановился на высоте груди; и лишь немногие, очень немногие за всю жизнь, проходят совсем внутрь. С Леонтьевым я испытал последнее. Личность его еще не озарилась для меня тем мягким, снисходительным, прощающим и любящим светом, какой исходит из его рассказов: «Из жизни христиан в Турции». Я знал его лишь в суровых и беспощадных чертах его философии, политики и публицистики. Соловьев верно формулировал его мысли в термин: «идейный консерватизм». Определив фазу XIX столетия как фазу «предсмертного смещения», он захотел ей сказать, как некогда Иисус Навин о дне сражения: «Стой, солнце, и остановись, луна». Конечно, он знал, что ничего от его крика не остановится, разве что ненадолго, слабо. Все царствование Александра III он приветствовал как эту нужную исторически «остановку»; на царствование Александра II, особенно после первых дней, смотрел, как на

несчастье русское и даже как на несчастье европейское. «Люди умирают» — и надо это умирание остановить. Известно, что и Вл. Соловьев посмотрел на фазу нашей истории как на предсмертную — в последние дни своей жизни («Три разговора», предсмертные беседы с проф. С. Трубецким). Но он не произнес: «Стой», и ничего вообще в сторону «смерти» не произнес, если не считать таких неудачных вещей, как стихотворное приветствие императору Вильгельму, двинувшему войска свои на «гогов и магогов» (китайцы). Но так ли они были оба правы? Есть ли вообще основание для такого окончательного пессимизма? «Человечество износилось: в цивилизации нет больше *зарождающихся идей* и в то же время *этнографический материал hominis sapientis* исчерпан». Так они оба думали. Но в каком смысле можно сказать, что, напр., русский народ «исторически износился», если *буквально* он живет сейчас не сложнее и не душистее, не «развращеннее» и не культурнее, чем при Владимире Мономахе? *Буквально* свежесть его и остается, как при Владимире Мономахе? Если у западных народов, германцев и романцев, в движение приведена вся масса народов, «вскисло» и «взошло» уже все, что способно к этому (хотя и это *хорошо ли мы знаем?*), то на пространстве восточной Европы жили историческою жизнью буквально тысячи, а не миллионы; *люди и человеки*, а не *народы*. Наконец, прожили ли и отжили ли *мусульмане*? Что такое *еврей* и *кончено* ли с ним? Явно, что *главные узлы* истории даже и не завязывались, а не то, чтобы развязались в прямую и гладкую, рациональную, понятную нить. *Ничего в истории непонятно*, — значит, вся она *еще в будущем*. Жизнь греков, римлян, уже ко временам Александра Великого и Тиверия — изъяснилась внутренним изъяснением, равно была понятна для Фокиона, Демосфена, Ювенала и Тацита. Нам все еще ничего не понятно из хорошо известных фаз всемирной истории: что? для чего? чем все кончится? Т. е. *главнейшие части* всемирной истории просто даже не начались; все еще идут только «подготовительные члены». Не только совершенно крепок «жид», и не для всемирного же торга он создан, — не только не тронута ядро русского племени, не жила вовсе Литва, ничего не сказали угрюмые финны: но посмотрите на свеженьких, как ядреное яблоко, татар «с халатами»: неужели эти молодцы, эти явные дети, нимало не развращенные (признак смерти, разложения), не способны прожить час хорошей истории?! Право, и Соловьев, и Леонтьев судили человечество по петербургским адвокатам, петербургским журналистам, неудачным профессорам московским, харьковским, киевским. Бог с ними! Какая же это фаза «всемирной истории». Просто — это неудачные современники.

Два-три века сереньких людей и сереньких событий — и то еще ничего определенного не говорят о *плане* истории, о «конце» всемирных событий. Что можно было представить себе глуше, печальнее веков VIII—XIV византийской истории? Вот история глухонемого, вот века глухонемые. И прошли. И ничего. «Все разлагается», томилась они. Но не образуется ли чего-нибудь вновь? Три эти кардинальные факта: жид, мусульманин, христианин — даже и не разговаривали еще между собою иначе, как в миссионерском

перевирании и наивности. Целые миры цивилизации, так сказать, еще не «сняли друг перед другом шапки», не поздоровались, прямо — не посмотрели друг на друга. Все еще замкнуто, сомкнуто. Какие новые, громадные, неожиданные картины могут быть выброшены из жерла всемирной истории, когда придут в настоящее касание эти кардинальные ее камни. Само христианство казалось «изжитым» обоим писателям, ибо оба они видели, что оно переходит «просто в мораль», а эта мораль просто сливается с «либерализмом и прогрессом». «Я бы обрадовался секте скопцов», — говорил Л-в в одном из приведенных писем. Но почему не взять секту обратную, столь же живучую, страстную, мистическую? Вообще Л-в был слишком теоретичен, слишком обобщенный человек, не вглядывавшийся и даже просто не знакомый с *любопытнейшими подробностями*. Ну, если взять, напр., наше *русское сектанство* (не старообрядство), то ведь уже одно оно, во всяком случае, не говорит о «потухшем кратере человечества». Мало ли там чего есть. Если от мира сект этих обратимся к общему их основанию, на которое все же они *ссылаются*, приводят из него *оправдание* для себя, к Евангелию, — то вот мы уже найдем источники для «рек воды живой», еще не пролившейся. Бедный до несчастья, Л-в ссылался на том V «Догм. Богословия» *Макария*, но ведь всем (и духовн. лицам) хорошо известно, что это компиляция латино-немецко-русская. Взял бы он Кальвина, Меланхтона, наших Аввакума и Селиванова, т. е. *углубленных мыслителей* над Евангелием, — и ум его запутался бы, вошел бы в калейдоскоп узлов религиозных, которые его заняли бы более «гран-пасьянса». Поразительно, что в письмах его нет ссылок на ап. Павла, да и на Евангелие — почти нет, а только на «предания оптинских старцев». Т. е. он *сам* не погружался в стихию и глубь Евангелия. Вообще, в «грозе истории» оба они не жили, а только пользовались «от дождя» ее. А в «грозе»-то и интерес, там и бесконечность. Там и надежды жизни. Нельзя отрицать, что оба они жили в бездарную эпоху; но при всей любви и благоговении к их памяти невозможно не заметить, что и сами они не смогли эту сторону современности преодолеть и легли в ней костями, хотя чрезвычайно томясь. *Счастливы*, свежи, радостны они были бы только в великую эпоху. Это слишком ясно из биографии, из всего духовного их образа. Явно, они были «рак на мели», «рыба на берегу». Потопа новых вод на берег, прилива «на мель» — вот чего подыять, не физически только, но и духовно, у них явно не было сил. Они были не только «на мели», но и сами не были «левиафанами». Отсюда грусть их имела причины быть удвоенной. Немного в истории русской есть таких грустных и изящных лиц. Над своим временем они поднимались высоко. Оба — мы это знаем — тянули к прошлому, к далекому прошлому, древнему, древнейшему. И хочется кончить сравнением их с теми встающими из могил мертвецами, которые, высоко-высоко из них поднявшись, вопили что-то и со стоном падали назад, — когда в утлом челне, с казаками и женой, проезжал по Днепру Бурульбаш («Страшная месть» Гоголя). В словах этих да не будет прочитан жестокий упрек: во всяком случае, очевидно, что и Леонтьев, и Соловьев централь-

ным идеальным содержанием относились к давно прошедшему, один — усматривая его в средневековой теократии, другой — в чем-то среднем между романтической Европой и византийской недвижимостью. Только Соловьев древний идеализм свой смешивал с «новыми либеральными идеями», распространяя умственные приобретения «адвокатов и журналистов» на суждения о церкви и христианстве; Леонтьев же идеализм свой ни с чем не смешивал. Таким образом, разница между ними уже не была так огромна. Вл. Соловьева прямо тошнило от «теократии» *pur sang*¹, без либерального «подкрашивания». Он требовал духов на гроб, около которого плакал. Леонтьев считал духи «современной нечистью»: добрейший и благороднейший человек, он указывал, «всем жертвуя», на игуменью Митрофанию, не предвидя, не рассчитывая, что она отобрала бы от него все те весьма и весьма «либеральные книжки», какие он любил потихоньку почитать, и свела бы его быт к такому рассудочному и утилитарному счету поклонов, вставанью по утрам во столько-то часов и немедленному засыпанию на ночь, «без грез и вдохновенья», — от которого он, изобразитель красивого мусульманства, пожалуй, перешел бы сам в мусульманство. «Все-таки там гурии», — заметил бы великий скептик. Они ужасно многого оба не разобрали в прошлом: не разобрали, между прочим, и того, что томившая их современность, включительно с *рационализмом* и *бездушным материализмом*, есть только телесные останки, однако вытканые тем самым духом, отлет которого из тела они оба оплакивали; что между тем, что оба они так любили и что ненавидели, есть связь не хронологическая только: IX век—XIX век, но органическая: XIX век *весь вытек, до мелочей, до подробностей*, из IX в. Детское нарядное платьице, розовое, с лентами, — и старушечий чепец надеты на одно и то же существо, и даже оба они надеты, повинувшись *одному вкусу, моде и стилю*. Возьмем *старость* мусульманства, еврейства, Китая, как ее можно представить или как она есть (что я отрицаю): совсем другие пороки, иные слабости, иные излишества. *Совсем иной будет стиль старости*. Возьмем Грецию и ее падение, возьмем Рим в падении, Персию: совсем иная картина, чем засыхающая (положим) Европа в XIX веке. Европа XIX века трудолюбива, деятельна, скромна. Она нимало не «порочна», не сластолюбива, не роскошна, не изнежена. Рабочий, приказчик, учитель, перебивающийся на крошечном жалованье офицер — вот ее типы. По отсутствию пороков — им бы тысячу лет жить. Но они до того прозаичны, так пронизаны «светским» (*laici*), в такой степени «инструментальны» (=машинны), что *им самим* кажется невозможным жить; и остаток души в них, *память* о душе своей бессмертной, разбивает иногда эту куклу, оставшуюся от человека (самоубийства, в 70-х годах XIX века чуть не эпидемическое). Во всяком случае, тут смерть не от пресыщения и излишества, а от *бедности, нищенства*. «Блаженни *нищие духом*» — слов этих не в силах повторить с верою (пафосом) те, кто до такой глубины переживает это нищенство. И Соловьев, и

¹ Здесь: типичной (*лат.*).

Леонтьев — оба поражены были страшным нищенством своей эпохи; «мертвыми душами», которые от времен Гоголя к их времени еще более умерли, еще страшнее стали походить на мертвецов. «Скопческое сжимание планеты» — так выражу я астрально это субъективное чувство.

Сейчас нет самоубийств. Да и вообще нет той страшной и особенной, непереносимой печали, какая у названных писателей совмещалась с центром их идеализма. Все они, включая сюда и Гоголя, шли по стезе тезиса: «Не любите мира, ни того, что в мире: похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую». Они были не только историческими жертвами, но частью и провиденциальными орудиями того, что я назвал «планетным ссыханием», которое могущественно и всеобъемлюще, как некогда был ледниковый период на земле. Но не окончательно и не абсолютно, как этот же период. В одном месте писем Леонтьева читатель заметил выражение, что «лучше десять мистических сект *вроде скопчества*, нежели одна гениальная философская система» (для России). В 1894 году, только что познакомившийся с Соловьевым и со мною, покойный Ф. Э. Шперк передал мне, не без удивления, весьма сочувственные слова Соловьева о принципе оскопления как радикального средства отвязаться от угнетающей нас «плоти». Да и в самом деле, к чему это вечное бегство от непобедимого врага, которого можно умертвить минутою боли? Какой выигрыш, какая свобода для духа!! «Бороться» с врагом?.. Но есть ли смысл в борьбе, когда в ней вечно бываешь побежден? Лежать под сидящим на тебе «бесом» (=плоть) — какая красота для праведника?! Одно движение ножа над тем, что *должно умереть* и к *умерщвлению чего* направлены все прижизненные усилия, что, наконец, *все равно не живет*, а составляет вредный придаток вроде червеобразного отростка слепой кишки, — это в самом деле мудрость! Соловьев, так же как и Леонтьев, как и заморивший себя постом Гоголь, не усматривал *положительного, светлого и праведного* содержимого в том, на что посягнувие совершил уже Ориген. Между тем «мистицизм», коего жаждал Леонтьев, да и все они три, мог двинуться и не по пути скопчества, но по противоположному пути, — к окончанию того «ледникового периода», с которым мы сравнили весь круг скопческих идей. Тогда все пойдет не к ссыханию, не к отчаянию (психология их трех), а к расцвету, к дождю, к радуге, увиденной Ноем, и словам Божиим о ней: «Вот тебе знаменье, что это *не повторится еще*». В двойственной натуре Леонтьева, в его признаниях, что *лично я весел и даже бываю легкомыслен*, в поразительной его личной доброте, — во всем этом видно, что *ядро его натуры* нимало не подчинилось страшно иссушающим, сжимающим его идеям, что под сумраком их благоухал именно живой цветок, прелестнейшее конкретное выражение «мистицизма в сторону расцвета». Да ведь и Соловьев, всю жизнь провозившийся с теократиею и союзом с папством, не успел при жизни напечатать, но оставил в портфеле «Вестника Европы» предсмертное, *последнее* стихотворение: «Белые колокольчики», которое я переименовал бы в «Душистые колокольчики». Какое заглавие, какой символ, какое предчувствие!

Сбились мы! Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам... —

могли бы сказать они о *сознательных, преднамеренных* шагах в своей литературной деятельности. А *бессознательная*, она повиновалась другим тяготениям и, только «схваченная снами», не умела выразиться или выражалась очень редко.

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны, и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь, и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.

И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, *под новыми звездами,*
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.

Удивительное стихотворение. Как оно искренно! *Как целообъемлюще*, т. е. говорит о чем-то цельном, достроенном, отнюдь не зачаточном; говорит о готовом, *сущем*. Между тем какая связь этого стихотворения со всеми сознательными частями работы Соловьева — с папством, «примирениями», ветхозаветною «теократией», «чтениями о богочеловечестве» и всеми вообще его сочинениями, как бы вышедшими из-под фронтона которой-нибудь из наших духовных академий и только более талантливыми. Стихотворение это глубоко-ново, а мысль его, и содержание, и надежда — *сотворены*. Это что-то *сотворенное душою* Соловьева; мы говорим не о стихотворении, а о *сюжете* его. Последние подчеркнутые строки, этот «храм, пламенеющий победными огнями», под «новыми звездами», — вовсе не средневековый католический храм и не Янус двуликого христианства, католическо-православного, о котором, казалось, он хлопотал всю жизнь. Мы сказали, что есть свой *непременный* стиль у старости и смерти: но есть свой *стиль* и у рождения, у рождающегося, по которому мы можем отгадать будущее строение родившегося. В стихотворении этом до того отсутствует тон *бедноты, минорности*, — выражаются слезы восторга к чему-то напряженному, как бы к предвечному ветру, надувающему паруса человечества, — что мы можем считать его прелестным весенним лучом, растаивающим тот «ледниковый период», которому он служил прозаическими и сознательными своими трудами.

В. Розанов

Письма В. В. Розанова к К. Н. Леонтьеву

1

Воистину Воскресе!

Не могу Вам выразить той радости и удивления, которые я ощутил вчера, когда на поданной посылке прочел: «От К. Н. Леонтьева». Я Вас так всегда, с этими инициалами мне неизвестного имени и отчества, и называю, когда приходится заводить речь насчет истории или политики. Впервые узнал я Вас из «Анализа стиля и веяния», и, прочитав 1-ю же статью, тотчас написал Н. Н. Страхову, спрашивая, не знает ли он Вас, и кто Вы, и чем занимаетесь, и, по возможности, какой наружности: форме, как и Вы же, я всегда придавал не столько значения, сколько не знаю почему-то всегда интересуюсь ею. Он мне ответил кое-что, но решительно отказался, в ответ на одно из последующих писем, хлопотать достать Ваш портрет, чего я решительно от него просил. Позднее я достал все, что мог, Ваше и все прочел, и даже в «Университетском Отчете за 1855 год» разыскал Вашу фамилию в списке окончивших. Если бы Вы меня спросили, почему мною овладело такое нетерпение, то скажу Вам: от неожиданности, от новизны впечатления. Решительно, прочтя страницы 2—3 «Анализа», я уже ясно видел, что имею перед собой человека безмерной внутренней силы, тонкой, не ошибающейся проницательности и совершенно не стесняющегося ничьим присутствием. Читатель, конечно, стоит где-то в стороне, но Вы его не видите и разговариваете с собою. От этого невыразимая прелесть языка Вашего, этих отрывочных, сухих и точных фраз, представляющих часто (грамматически) лишь сложное сказуемое, или сложное определение, напр. в характеристике Тургенева (упоминаю об этом, ибо безмерно дивился Вашему синтаксису, мне ужасно нравящемуся, хотя, конечно, неподражаемому, «невозродимому»).

Все в «Анализе» меня привлекало, все там верно: о излишестве в подсматривании, о бесцельных реалистических прибавках (шрам Кутузова), о слишком большой выпуклости в изображении людей «консульства-империи»; бесподобно нравились сжатые и сильные, исчерпывающие слова о Тургеневе, Щедрина, даже Достоевском; оригинально и верно «о гениальных произведениях негениальных людей» и всего лучше об С. Т. Аксакове (я его всегда любил, но после чтения «Анализа» вдруг выписал). Поразили меня заметки о появлении у нас впервые сильного воображения у Гоголя и еще одно место, где Вы делаете в 3—4 штрихах очерк психического разви-

тия нашего общества за нынешний век (там еще есть слова, что «в шестидесятые годы все сорвалось со своего места», и пр.; справиться я не могу, ибо Вашу статью уже вчера отдал в чтение. Дивился Вашим курсивам («Л. Толстой не смеется над кн. Андреем... и Долоховым почему-то») — это меня ужасно поразило, это «подглядывание» в душу Толстого. Никак не мог только понять вашего негодования на «типити-типити-бум», — мне представлялось убедительным, что это муха, зацепившаяся за паутину и пытающаяся оторваться, ударяется об стену — «бум». Для больного подобные вещи, мелкие окружающие звуки, и другой раз — субъективные — все, целый мир. Это «типити-бум» — точно вводит Вас в комнату больного с тяжелым воздухом, на момент — как будто Вы лежите на его месте и прислушиваетесь к странному звуку, значащим и даже осязаемым лишь для его напряженных в борьбе со смертью органов ощущения, и вовсе почти не существующим для здорового. Впрочем, быть может, я ошибаюсь. Вовсе не нужна Ваша уступка Николаеву и мне о Достоевском: в ней бесконечно хороши только слова «впрочем — ничего, ничего — молчание», совершенно в Вашем стиле, в стиле Вашей крепкой, не ошибающейся и не поправляющейся духовной организации. Еще раз повторяю — Ваш язык, сухой, точный, как бы сталью подрезывающий каждый предмет и подводящий под него пленку именно нужной толщины и пр. (простите, что вздорно пишу — не умею выразить свою мысль), меня безмерно приковывал, и я множество страниц перечитал по многу раз, именно ради языка, любуюсь им.

Тотчас выписал, по ссылке Страхова в «Записной книжке» Достоевско-го вашу брошюру «Наши новые христиане». Кому я давал ее читать, всем больше нравится часть, посвященная Толстому, мне же гораздо более понравилась часть о Дост.: какая сжатая, удивительная характеристика (где Вы его называете «моралистом в смысле писателей XVII в.») и какое убийственное, опять не ошибающееся развенчание его «Пушкинской речи». Вообще, что Вы мне и в письме написали о нем, о ложности и некоторой фальшивости его стиля — я разделяю это. Меня только неизъяснимо привлекает 1) что он до того охватил все вопросы духовной жизни нового общества, что, говоря о нем, находишься прямо в центре живой, теперешней истории; и 2) я его люблю за необыкновенную простоту всех его героев, за то, что, будучи «исковерканы», они никогда не бывают *манерны*: искусственность, придуманность в чем-либо, *важничанье* для меня всегда было непоправимо отвращающим свойством; и, грешный человек, я немного люблю, когда люди с очень большими мыслями немного дурачатся, фантазируют, прихотничают, словом, не «ведут себя». Мне нравится Филипп Македонский, когда он плясал и дурачился от радости на Херонейском поле; Агамемнов, величия я почему-то не люблю: скучно, и всегда не «всего более умно».

Но я все еще не знал о существовании Вашего «Востока, России и славянства» и только дивился, почему современник Л. Толстого и участник Крымской войны, так любящий и так знающий литературу, так очевидно вдумывавшийся в то, во что другие никогда не вдумывались, — так мало

писал и так мало известен (я вовсе не из особенно сведущих людей). И вдруг из одного фельетона Ю. Николаева узнаю, что у Вас есть какая-то книга «Византизм и славянство»: тотчас при оказии поручаю в Москве ее разыскать, и там после поисков по всем магазинам наконец дали 2 тома Ваших статей, «Восток, Россия и славянство», где и «Византизм и славянство».

Я только что вернулся в Елец, а главное, расклеился в дороге, как Вы со своим милым Сотири (помните?), — и мне трудно писать. Скажу только, что ваша теория прогресса и разложения (пневмония, как пример выздоровления или умирания, общая формула: прогресс = усложнение, умирание = упрощение, оправдание ее даже на развитии планет, подведение под эту формулу всей истории, взгляд на революцию как на «открывшийся в Европе эгалитарный процесс» и пр. о 1000-летнем росте государств) — все меня поразило, все было ново и, очевидно, истинно («печальная и суровая наука»), и я до последней строки все принял в свой ум и сердце: потому что, очевидно, и много сердца Вы вложили во *все* свои писания. Все дальше было мне понятно в Вас: понятна любовь к Сотири и «липованам», понятно отвращение к Гладстону и *недалекому* Лессепсу, понятно все ваше негодование, так великолепно выразившееся («Не для того же Моисей всходил на Синай и пр., чтобы Гамбетты и Жюль Фавры высиживали свои яйца мещанского счастья» — это чудные слова). Не буду дальше говорить, потому что не в силах, — но как Вы себя любите и понимаете, так и я Вас не только уважаю, но и люблю и понимаю, — все, все до последней мелочи, до раннего интереса к френологии, до отвращения к Оверу, любви к Бодянскому, до поездки к смоленскому предводителю дворянства, до отсутствия всяких сентиментальностей по отношению к славянам; только больно, больно мне было, когда Вы говорили о бессодержательности русской крови, но спасибо за слова «мы великий народ, это видно из самых отвратительных пороков наших» (только они не ясны, а уже как бы мне хотелось разгадать и недосказанное Вами).

Спасибо за письмо ваше, я сохраню его как драгоценность; Вам трудно писать (сужу по почерку, и Вы стары), но всякую строку Вашу сохраню и приму в сердце свое: повторяю, я в Вас никогда не находил ошибки; о «трансцендентном эгоизме» и альтруизме, который приложится, — тотчас же все понял и признал. Но Вы умеете очень кратко и много выражать; не оставьте меня этими краткими строками. Скажу только, что я в высшей степени был подготовлен к принятию Ваших идей: читая Токвиля, я также больше всего поразился, что «все люди стали схожи между собой»; но не было у меня формулы, не видел я теории, это было единичное печальное наблюдение.

Крепко обнимаю Вас и целую, как только может хоть и усталый довольно, но молодой еще человек обнять и поцеловать старого, так много ему сказавшего.

Ваш глубоко преданный В. Розанов.

Многоуважаемый и дорогой
Константин Николаевич!

Благодарю Вас и за портрет Ваш (который очень хорош — характерен и значащ), и за письмо, и за вырезки из «Гражд.» Ваших «Записок отшельника» и статьи г. Южного (я ее действительно не знал, потому что «Гражд.» здесь никто не получает).

Если я Вам скажу, что я 1) хлопочу из всех сил о переводе меня из г. Ельца в какое-либо другое место службы и 2) менее чем через месяц из холостого человека становлюсь семьянином и 3) что у нас еще экзамены — то Вы поймете, до чего я в хлопотах и озабочен, и, верно, простите краткость моего письма.

Все, что Вы пишете о судьбе своей как писателя, действительно характерно для «грамотократии» нашей: мало есть положений и мало родов деятельности, которые бы так расшатывали, обезличивали или искажали все устои индивидуального существования человека: его характер, его совесть, живое сердце и простую порядочность. Вы вот все пишете (мне это ужасно нравилось — верно): «монахи, купцы, учителя» и пр.; знаете — писателей тоже нужно поместить в *конце*.

Отвечаю Вам по пунктам:

1) Говоруха-Отрок не был знаком со мной, когда я разыскивал в Москве Ваши книги: иначе бы, конечно, я от него получил. — Почти несомненно, что он *очень добрый* и порядочный человек, — это видно и из письма его к Вам, и из писем ко мне. Он верит в свою деятельность и к людям способен относиться как человек, а не как писатель только. Мне он очень симпатичен, мил, я люблю его. Его я никогда не видал; видел только (бывши 1 день на Страстной в Москве) его N в Кокоревке, его портрет и портрет его жены и также массы книг, журналов и газет. Мне стало при обзоре его квартиры жалко его как человека: люди теперешние, лучшие — это, знаете, как Франческа ди Римини у Данта, — что-то вечно несущееся, ни за что не могущее удержаться, да и не знающее, что это нужно.

2) Ради Бога, напишите о Стрехове как можно больше: он очень характерен, очень любопытен. По поводу моего увлечения Вами он мне несколько раз повторял в письмах: «Мне нравится, что Вы увлекаетесь *всем умным и изящным*», и в другой раз: «Он (Вы) *эстетический славянофил*». Только в последнем письме он несколько раздраженно ответил на похвалы Вашему «Национальному вопросу». Но, знаете, темную сторону в складе его характера, его сердца я давно прозреваю: он очень холоден, сух, эгоистичен; он завистлив ко всякому дарованию и почти ненавидит его, когда оно имеет успех; он как-то одновременно и верен (наблюдателен), и мелочен в своих суждениях; как-то дробен весь, хотя всегда привлекателен (в письмах и сочинениях); он, не надеясь покорить себе читателей, как-то искусственно *сколачивает* себе славу: то там, то здесь искусственными мерами силится воз-

будить к себе внимание. Так что письмо Ваше вдруг возбудило во мне все эти дремавшие подозрения. Я его видел в течение 1½ недели на Рождестве года 2 назад и ежедневно с ним беседовал: у него характерный, неприятный, деланный голос, при величайшем благообразии наружности: не верное ли отражение его духовной сути?

3) Я учитель истории и географии, т. е. в составе граматократии, — кою разрушить — не пожалел бы никаких сил.

4) Обдумайте: не можете ли Вы об отце Амвросии написать так же, как об от. Клименте. Вы не можете себе представить, как чрезмерно, как колоссально его влияние здесь! Книга о нем имела бы величайший успех: вот и прекрасный случай критику и политику, пища жизнеописание духовных лиц, начать связывать в один узел, в один моток столь разнообразные нити; это хорошо, это значаще для будущего, — это проблеск, пожалуй, Византизма *начинающегося*. Прошу Вас — подумайте об этом. Здесь в редком доме Вы не найдете портрета о. Амвросия. Кстати: что для Вас — Оптина Пустынь, то для меня — здесь церковь Введения, и одна семья духовная (или, вернее, — род), в котором вот уже 3-й год я исключительно провожу свободное время. Знаете: что такое понятие законности, долга, ответственности (внутренней) я вынес из семьи этой, больше всего от старой диаконицы — вдовы, внучки Иннокентия Херсонского, которая, едва умея писать, долгими разговорами со мной, и, конечно, непреднамеренно, научила меня впервые этому всему, хотя я кончил университет и изучал римскую историю. Она знает от Амвр., несколько раз бывала у него и в трудных (сомнительных) случаях жизни обращается к нему письменно за советами. Ее собственная (теперь 62-летняя) жизнь, начиная с 16 лет, была непрерывным исполнением долга, трудом и заботами около братьев, которых должна была в 16 лет, по смерти матери, взять на свое попечение, потом о детях своих, частью несчастных, частью порочных, которых она всех сберегла, исправила и поставила на ноги, и теперь блюдет 3-е поколение внуков. Удивительный тип русского характера, по чистоте, по незыблемой совершенно твердости, по мудрости (потому что сказать «по уму» совершенно недостаточно и нелепо). И сколько, выражаясь Вашими словами, оптимизма на деле выходит при суровом пессимизме религиозного созерцания у этой женщины. Я ей передал как-то ваши слова (из книги): «Перед концом мира охладает любовь в людях». — «Да как же, конечно, охладает», — сказала она и стала разъяснять и приводить примеры из жизни и ссылки на слова Евангелия, которое она постоянно в свободное время читает (единственная ее книга). Она меня тоже очень любит, а как, оказывается, выслушала из-за стены при начале нашего знакомства, насколько я верующий человек. Нет, знаете, в русском народе при бесконечных пороках есть и столько здорового еще, что иногда диву даешься, как-то это еще дожило до XIX века.

Будьте добры и любезны: пошлите «Восток, Р. и славянство» (подчеркнув карандашом в оглавлении «Византизм и славянство») и (пожалуйста) «Национальный вопрос» (мне стыдно Вас об этом просить, но ведь дали же

Вы для таковой цели Говорухе-Отр. и Грингмуту) — моему старшему брату, очень умному, очень твердому человеку, по адресу: в город *Белый, Смоленск. губ., в прогимназию. Николаю Васильевичу Розанову*, с припискою, какую и мне сделали: «по дружескому совету В. В. Розанова». Я Вам ручаюсь, что он будет Вашим учеником, ибо не только по воззрениям, но и по твердому складу характера, по отсутствию ложной сентиментальности, в высшей степени, в *подробностях* к Вам склонен и Вас поймет. По должности же директора и по умственной смелости сумеет Вас и распространить. Так я думаю. Когда я восторгался здесь Вашим «Византизмом», больше всего меня раздражало нетерпение поделиться с ним, и так как Гов.-Отр. обещал мне потом экземпляра 3 «Востока», — я думал ему послать. Но этого не случилось. Кстати, не вините Говоруху за небрежность: я отсюда чувствую, до чего он устает, до чего измучен противным газетным писаньем.

Ну, дай Вам Бог всего хорошего. Теперь я Вас знаю по портрету: он замечательно хорош: темный фон идет к Вашему очень сумрачному мирозерцанию; пенс-не и шапка говорят о Вашем стиле, о Вашем изяществе, о спокойном барстве слишком твердого и в удовольствиях человека; морщинка над носом, прямым и сухим — о строгости суждений Ваших, не ошибающихся и не колеблющихся; и прямой не изогнутый рот о способности к слишком большому неуважению как глупого, так и ложно-чувствительного. Я *приблизительно* таким Вас и хотел видеть. Взглянув на портрет, я вспомнил ваши слова: «Что ж, это хорошо, что на Афоне при монастырях живут и богатые (забыл название), которые не прочь и от изящной мебели, и от хорошей сигары» и пр. Вообще в вас стиль *очень выдержан*. Верно, к Вам много перешло от матери.

5) Ради Бога напишите Ваши впечатления от статьи Z. «Наше высшее церковное управление» («Р. В.», апрель) — меня она ужасно заинтересовала и во всем прежнем поколебала (я думал, что у нас цезарепапизм).

Ваш В. Розанов.

В письмах к Говорухе-Отроку я Вас приравнивал к Макиавелли (по значительности) и был уверен, что в XX веке политика пойдет по Вашим указаниям — всюду (и в Европе). И это всегда буду думать. Если Бог даст мне сил — я помогу со временем Вашему распространению. Зимой у меня была начата статья о Вас (стр. 20), но прервал за совершенную невозможностью дальше писать по недосугу. Вспомните же, что я ежедневно даю в гимназии 5 уроков. А Страхову и Соловьеву за молчание, конечно, стыдно. Верьте: тут много зависти.

В. Р.

Дорогой и уважаемый
Константин Николаевич!

До того мне стыдно, что написал я Вам в том, предыдущем письме о чувстве, которое побудило двух известных писателей ничего не говорить о Вас. Если хотите сделать мне дорогую услугу — вымарайте это слово в моем предыдущем письме, и пусть оно будет похоронено так, как будто его никогда и не было. Много фактов заставляло меня так думать, странных, необъяснимых отсюда (из Ельца); и та темнота и грязь, которая обычно гнездится в том же месте, откуда вырастают цветы литературы.

Да, Вы правы: как чисто, целомудренно письмо сравнительно со статьей для печати. Знаете, всякий раз, когда я пишу статью, — я бываю почти счастлив (и у меня есть этот благодатный дар — во время писанья не думать совершенно ни о чем, кроме предмета обдумываемого, или о том, что радует или вызывает негодование; Вы вот пишете о *смелости* моего отзыва о Гоголе — между тем, что это смело, — я узнал лишь из газетных отзывов и Вашего письма: она мне не стоила никакого усилия, не сопровождалась никаким внутренним напряжением или страхом отпора: просто я сказал то, что уже много лет у меня накоплялось при наблюдении над остатками жизни *старого стиля* и сравнением виденного с картинами Гоголя; его несправедливость меня и возмутила, его грубость, поверхностность созерцания).

Но когда увидишь перед собой эти мысли, столь радостно положенные на бумагу — на печатном листе, где-то в Москве отделанные, повсюду читаемые, — является неизъяснимо грустное чувство; что-то *опустошенное* чувствуешь в себе. Точно заветный, милый уголок Вы показали толпе праздных гостей, которые любопытно и равнодушно оглядывают все, что Вы перед ними ни раскроете. Не знаю, по-моему, пишущий должен как-то ненавидеть своих читателей: они чужие ему и, однако, смеют поступать так, как близкие; и ты сам виновник того, что они так поступают с тобой, — отсюда презрение к себе, к какому-то своему малодушию или ошибке, неблагоприятно.

В одном месте, где-то Вы сказали: «Самое лучшее в добром деле — *это то, что оно остается неизвестно*»; у Вас лучше это сказано, изящнее. Я чуть не заплакал, прочитав эти слова: в них признан центр душевного целомудрия, самое лучшее, к чему мы способны. Мы, пишущие, вечно оскверняем этот центр. Поэтому есть нечто развратное в писательстве; я это вечно чувствую, и, когда вижу свои мысли напечатанными, у меня пробуждается чувство мучительного неудовлетворения.

Но это — тема дальнего рассуждения; по-моему, все формы западной цивилизации (а литература в установленном виде — одна из них) имеют в себе этот развращенный *оттенок*. Ярko, ослепительно; непреодолимо оча-

ровывает, — но и мучит внутренне не совпадением с простотой и ясностью первозданной и чистой человеческой природы.

О себе Вы ужасно ошибаетесь: до знакомства с Вами, я думал, что наиболее пронзительные умы в С. П. поняли Ваши идеи и, продолжая молчать о них, действуют под их влиянием. История текущая идет по путям, Вами предначертанным; отношение к южным славянам, желание отслоить опять смешавшиеся было сословия, церковно-приходские школы на место земских, преобразование земства, суда и городских сословий — разве это не есть отчетливое *подмораживание*, коего Вы требовали? Твердость всех этих приемов (чего не было в самом начале нынешнего царствования) не свидетельствует ли о том, что они вытекают из какого-то очень ясного убеждения и очень сильного страха? Мне думается — это именно страх смерти, сознание умирания через смешение обособившихся форм, что Вы сделали очевидным через Вашу теорию.

Нет, знайте и помните, что Вы *влиятельнее всех нас*, т. е. и Страхова, и Соловьева, и Говорухи-Отрока, и Астафьева, и меня; только Вам самим, из Оптиной Пустыни, это незаметно. Поэтому напрасно Вы взяли эпитафии из Вл. Герье и посвятили книгу свою Филиппову — это к Вам не идет. Берите эпитафии из Библии, из Евангелия, из Пророков, и пишите, думая лишь о них.

Странный Вы человек, если себя не понимаете: да помните — *«трещины с углублением»*, — ведь в этих двух словах, действительно, все различие Запада от Востока. Я тоже всегда так думал о нашем Востоке, и мне было ужасно грустно.

В Вас нет разнообразия интересов, предметов трактуемых, какие есть у Соловьева и Страхова, — вот чем вы им уступаете; но Вы поняли самое важное в истории, тогда как мы все понимаем лишь второстепенное, истолковываем подробности. Что же важнее — разве Вы не видите?

И еще: Вы пишете изящнее всех нас, красивее. У Вас есть строки, есть фразы, которые никогда не забудутся, — сухие, строгие, выточенные, точно из слоновой кости. У нас — клюквенный кисель, вкусный и слабый.

После Вас на первом месте по языку я ставлю Страхова: в его задумчивости, в его мужестве (о Н. Я. Данилевском, об Ап. Григорьеве), в его *не увлекаемости* ходячим много прелести; как писатель — он один из самых любимых мною, — он совершенно никогда не утомляет. Его читаешь и перечитываешь, он воспитывает своим строгим и тонким отношением ко всякому вопросу.

Во Вл. Соловьеве мне не нравится эта напряженность языка, эта торопливость; а его последние писания, простите за откровенность, мне просто противны. Вот величайший враг самого себя. Кто бы мог его побороть, если бы он не поборол сам себя! Жалко и грустно.

Но, конечно, его разнообразие привлекательно; привлекательна и неутомимость. Но ее характер, но ее временные цели — или не тверды, или недо-

стойны, а теперь часто и фальшивы. Как я любил его, когда, еще будучи гимназистом, узнал о его выступлении против позитивистов; но с каждым годом он становится менее и менее интересен.

Может быть, я очень ошибаюсь, но думаю так: его имя никогда не будет забыто в истории нашей литературы, так он много нашумел, но его сочинения очень скоро перестанут читаться после его смерти; книги Страхова никогда не перестанут читаться, пока люди не устанут задумываться и размышлять; от Вас останется незыблемая теория (исторического развития) и арсенал, из которого никогда не перестанут черпать эпитафии. Отсутствие систематичности у Вас (не в мышлении, но в изложении) неотделимо от прелестнейших сторон Вашей литературной манеры; но именно она и есть виновница, что Ваши идеи (для глупцов, конечно) не кажутся научны.

Теперь об этой научности, всегда и всем были известны некоторые аксиомы и некоторые определения в сфере политики, истории, в воззрениях на смысл нашего XIX в.; но они были общими местами в разговорах и в писаниях, никем не отвергаемыми, но мало значительными.

Вы эти аксиомы и определения взяли и, взаимно сцепив их, *построили теорему*, которая охватывает форму исторического развития народов, раскрывает смысл XIX в. и в подробностях указывает пути для всех, кто сознает, что спастись нужно, и не знает, как спастись.

Что эта теорема научна — и говорить нечего. Повторяю — в элементах своих она всегда была известна (ведь и элементы геометрии известны даже чувавам: «целое = сумме частей», «прямая короче кривой») — в целом никогда, и есть философско-политическое открытие.

Статью о Вас, которую я Вам послал, верните мне, *когда я Вам напишу о том*; ее я окончу, как только будет досуг. Если бы Вы в ней отметили (карандашом на полях) свои мысли — был бы благодарен.

Но Ваша теория, зацепляя некоторые теории, не разрешает их:

Вы *поняли* прогресс и медленную революцию (разложение), дали теорию процесса; силу же, которая движет этот процесс, Вы лишь отвергаете, но не опровергаете: это утилитарная мечта, коя сложилась в теорию. Насколько будет моих сил достаточно, смысл моей жизни будет состоять в восполнении этого недостатка. Сделаю Вам признание: мне теперь 37 лет, и я занят многими разными вопросами, но между 16 и 23 годами я не прочел ни одной книги и совершенно ни о чем не думал, кроме этой одной теории, думал, просыпаясь даже ночью, сидя в гостях или обедая; и на 3-м курсе Университета нашел ее разрешение. В своем роде это также просто и всеобъемлюще, как Ваша теория триединого процесса развития. Но у меня одно несчастье: я не могу писать о том, что у меня разъяснилось, что я уже пережил и решил; пишется лишь о том, что переживаешь теперь; прошлое — скучно.

Книга «О понимании» вся вылилась из меня, когда, не предвидя возможности (досуга) сполна выразить свой взгляд, я применил его к одной части — умственной деятельности человека. Утилитаризм ведь есть идея, что *счастье* есть цель человеческой жизни; я нашел иную цель, более естественную (соответствующую природе человека), более полную и во всех отношениях истинную и окончательную.

Доказать и раскрыть ее всю я не имел возможности и сделал это лишь относительно умственной стороны нашей природы.

Книгу эту, я был уверен, посылая ее, Вы читать не станете, — как читать 700 стр., не зная, получишь ли достаточное за такой труд вознаграждение? Сперва хотел было отметить карандашом при оглавлении лучшие страницы (о религии и пр.), но потом и этого не сделал, зная, что у Вас самих лучших страниц довольно, и ничего они Вам любопытного представить не могут. И теперь я уверен, что Вы всей ее читать не станете (Страхов — не читал сплошь); но прочтите *Заключение* — там весь план и замысел книги изложен — и главу 2-ю «о схемах разума и сторонах существующего» и обратите внимание на понятие потенциальности, этого странного полусуществования, которое есть в мире, действительно, и Вы будете на пути к полному усвоению моего взгляда на человека, его природу, его душу, его цель.

Пожалуй, прочтите главу о целесообразности: там этот процесс определяется как выделение своеобразного из первоначально простого; процесс истории есть целесообразный (Провидение); и здесь моя отвлеченная теория этого процесса буквально совпадает с Вашими политическими теориями; еще о целесообразности и ее проявлениях говорится в главе «О сущности», с того места, где начинается рассуждение о том, что такое *организм и жизнь*.

Еще, чтобы не было недоразумений: литературного самолюбия, Бог ведь почему, во мне совсем нет. В «Южном Крае» мой взгляд о Гоголе был изруган, и я сам назван *без малого дураком*; но статья написана в таком здоровом духе и вообще видно, что ее писал такой хороший человек, *любящий* литературу, что я редактора газеты просил крепко поблагодарить за *мотивы* статьи ее автора, хотя и упрекнул его в резкости и *неотчетливости* доказательств. Что книгу же «О понимании» никто не читает — в этом я всегда б. убежден и нисколько на это не сердился, тем более что она, особенно в самом начале, чрезвычайно дурно, тяжелым языком написана; и вообще не ясна, плохо изложена, *неосторожно*.

Невеста моя, теперь жена, Варвара Дмитриевна — благодарит Вас за любезный подарок. Мы вместе с ней перечитали и Вашу статью (она лучшая по языку из прочитанных мною в «Гражд.», и Ваше письмо; я очень смеялся Вашему «*самое главное*» — статью первому на коврик. Человек смотрит на всю землю с луны и думает о ковриках для своего знакомого, которого никогда не видал. Объяснял ваш характер и, так сказать, необходимость в Вас этой черты. Ну, дай Бог Вам всего хорошего. На коврик

я стал 1-й, и этого потребовала во время венчания сама невеста. Она кроткая, но без всякой вялости; в 15 лет, когда в 1-й раз выходила замуж, выбрала мужа себе сама, и хотя ее увозили из Ельца в Ярославль и там ее дядя, архиерей Ионафан, тоже приставал, чтобы она выбирала себе другого мужа (этот был плохо устроен по положению), — отказалась от всего, от приданого и пр. и вышла за любимого человека, которому была примерной женой, любящей и очень любимой. Есть убедительные побуждения у меня считать ее не вульгарной, но именно в *наш век* исключительной женщиной.

Ваш В. Розанов.

Жена очень ревнует меня к Вам за это длинное письмо, занявшее целое утро.

Карточку свою пошлю Вам, верно, завтра.

4

Многоуважаемый и дорогой
Константин Николаевич!

Я очень соскучился, долго не получая от Вас ни весточки, и стал думать, уж не больны ли Вы (что было бы всего хуже), или не написал ли я в письме своем чего-нибудь Вам неприятного, или не нашли ли Вы таковое в статье моей о Вас, вообще не нашли ли причин к неудовольствию или негодованию на меня. Если это есть, если я чем-нибудь Вас огорчил, верьте, что это не только не преднамеренно, но и без малейшего ведения о том, что делаю. Да и не можете, мне думается, Вы и предполагать во мне ничего, кроме самого искреннего и глубокого уважения, самой горячей преданности не только идеям Вашим, но и Вам лично.

Я Вам только что писал (получили ли Вы это письмо?), что, по всему вероятно, из Оптиной Пустыни Вы не совсем верно оцениваете меру распространения Ваших идей; а приехав сюда, встретил и подтверждение: стал о Вас толковать с одним бывшим в Университете товарищем, Вознесенским, и так как среди молодежи предполагал Ваше имя неизвестным (*теперешняя* молодежь, особенно самая последняя, *совершенно ничего не читает*), то очень удивился, увидя, что он знает Ваши сочинения, и, конечно, как все их читавшие и *не совершенно глупые*, — ценит по достоинству, — спросил: откуда он их знает, каким путем наткнулся? «Мой брат учится в Московской Духовной Академии», и в ней профессор Беляев (по церковной истории) задал курсовое сочинение: «О положении христианских церквей по сочинениям Леонтьева», — и, след., все слушатели курса (а ведь их много и со многими они придут в соприкосновение) должны были не только прочесть Вашу «Восток, Россия и славянство», но и проштудировать, изучить все Ваши сочинения.

И один ли он? Сколько, быть может, есть таких пропагандаторов (простите за невозможное слово) Ваших идей. На мою оценку, Вы именно так должны распространиться со временем — через личную пропаганду отдельных людей; так распространяются все очень оригинальные писатели. Толпу захватывают сразу книги хорошо написанные, но об обыкновенном и обыкновенно, с общепринятых точек зрения.

В Оптину Пустынь мы хотели с женой приехать месяц спустя после свадьбы; но, будучи в Москве (Выставка — скверна), так от неопытности и дороговизны во всем растратились, что выезжать с оставшимися рублями (должно быть 20—30) не решились, было рискованно, страшно, да и просто невозможно, а когда, посещая на прощание Воробьевы Горы (кои жене моей необыкновенно понравились), вдруг нашли дачу за 30 руб. за лето, причем в задаток можно было дать лишь 3 руб., — то с радостью на нее переехали из дорогой гостиницы и от дорогих обедов в разных гостиницах. Итак, ужас финансового кризиса заставил нас вместо Оптиной Пустыни бежать сюда, в милый и чистенький домик богомольных и трудолюбивых *липован*, коих я с наслаждением и почтением здесь наблюдаю. Но я верю, что мы свидимся, буду я ранее или позже (нынешний или следующий год) в Оптиной, и наговоримся. Знаете, я всегда представляю себе всех нас, *сражающихся, давших себе слово победить или умереть*, — сереньких «средних людей» наивного и не эстетичного Прудона, — в виде крошечной дружины, но очень тесно связанной, и всегда хоть раз хочется взглянуть на каждого сотоварища по оружию.

Вы не сердитесь, что я все пишу «сотоварищи», — это не по осуществленному мною, но по *замысленному к осуществлению*. Чувствуется, что Бог мне поможет, и верю я в будущем в очень сильное свое влияние на души людей; почему-то верится.

5

Многоуважаемый и дорогой
Константин Николаевич!

Обрадовали Вы меня Вашим письмом несказанно: я, правда, был полон всяких боязней за наши отношения — и вдруг такое письмо. Но чем Вы больны? Я рад был с «Анализа», что вы медик, и всегда бесконечно любил с очень старыми медиками рассуждать о человеческих характерах, об истории и так же — какие и от чего бывают болезни. Я Вам еще не говорил спасибо за определение в «Анализе» болезни Ивана Ильича: ею я без конца интересовался.

Статью о Вас я надеюсь кончить зимой, на Святках или, еще вернее, на *Святой* — ибо это единственно незанятое службой время: по некоторым причинам (поездка) на Святках я заниматься не буду, а в будни служба разбивает всякий энтузиазм к писанию, и я если пишу, то плохо.

Почувствовав громадную нужду в деньгах, я взялся для «Московских Вед.» (Говоруха-От. уехал) написать 4 воскресные фельетона и стал писать принципиальную вещь.

1-й фельетон (7 июня, № 185): «Почему мы отказываемся от наследства 60—70 гг.». Тут и о Государе убитом, и о состоянии Университета в мое время. Тревожит меня этот фельетон: все в нем правда, кою давно и жгуче хотелось высказать, — но мне ли, питомцу Университета? о своих ли профессорах? Вот что меня мучает, и прочел его в печати, я пережил дурные мучительные дни, — не помутилось ли мое доброе имя. Ради Бога, напишите мне свои мысли, *когда будете здоровы*: мне не столько к спеху, сколько непременно услышать их. Может быть, одобрите. Но я о стариках очень тепло сказал, да и вообще понятие об Университете, его идее, выставил высокое.

2-й фельетон (будут все воскресные): «Что составляет главный недостаток в наследстве 60—70 гг.»: об ошибках в мировоззрении, т. е. разъяснение, как они произошли.

3-й фельетон: «Два исхода»: об учении гр. Л. Толстого, об утилитаризме, о возможности знать истинную цель человека на земле и о религиозном значении человека. Если Вы можете, достаньте эти фельетоны, особенно 2-й и 3-й очень значащи, и, кажется, с большим одушевлением написанные.

Я только что, по моей личной просьбе, переведен на службу из Ельца в Белый, где буду жить с семьей моего брата, у коего получил, за ранней потерей родителей, воспитание. Прощайте; крепко обнимаю Вас. *Берегите здоровье*. Кажется, мы разделаем с противной партией хорошие дела, если Бог подкрепит нас (разумею весь наш кружок людей). Чего доцент Александров, какой науки? Слава Богу, что нашего полка прибывает. В «Вестн. Евр.», июнь, в общественной хронике есть несколько об Вас со злобой сказанных слов. Если бы не большая начатая мною статья об Вас, мог бы я сделать формулу Вашей теории.

Ваш преданный *В. Розанов*.

6

Дорогой Константин Николаевич!

Не удручайтесь, а будьте веселы: вот Вы еще и не думали, а один из фельетонов (4-й) в «Моск. Ведом.» я написал специально о Вас. Не знаю, пройдет ли, кажется, нет причин не пройти. Статью о Вас тоже могу окончить гораздо скорее: в сентябре, в октябре. Боюсь только, не будет конец вялее начала.

Я *завтра* (23 июля) уезжаю из Москвы в г. Елец, и пишите мне *по адресу*: Елец, Орловск. губ., против церкви Введения, Александре Андриановне Рудневой, с передачей В. В. Розанову. *Это если будете писать не позже 8*

августа, ибо 10 августа я выезжаю из Ельца в Белый (было бы приятно получить от Вас письмо в Ельце). Если письмо будет опущено 9, 10 и т. д. августа, то адрес: в город Белый, Смоленской губ., в Прогимназию мужскую, В. В. Розанову. Бог даст, не все же будет *fatum*. Теперь 1-я работа, кою буду заниматься, — будет статья о Вас.

Ваш В. Розанов.

7

Многоуважаемый и дорогой
Константин Николаевич!

Прочел там и сям первую брошюру Астафьева — мысли, в ней изложенные, уже неоднократно и мне приходили в голову (о вреде быстро сменяющихся впечатлений), и, напр., в книге «О понимании» я упадок во всех людях религиозного чувства приписываю этой неустойчивости всех теперешних впечатлений, не дающих ни над чем задуматься. Но, знаете ли, истинно губительною в этом отношении является современная изощренная школа, кот. не дает в уме человека от 7 до 23 лет держаться ни одному впечатлению долее 1 ¹/₄ часа. Я сам учитель гимназии, сам перемолотое и перемальвающее зерно, и вот мое мнение: кто ненавидит пиджачную цивилизацию средних, сереньких людей, — должен прежде всего желать совершенного уничтожения средней школы, этой переделочной психической машины, которая цельное, полное задатков зерно индивидуального ума, индивидуального характера переделывает в удобную, съедобную, *нужную*, — но уже безжизненную муку. Если бы я был Наполеон или Чингиз-хан, не могу выразить с каким бы удовольствием, наведя тысячи дул на эти экономически построенные здания, именуемые гимназиями, и только выведя оттуда подростков, велел бы обратить все остальное в кучи щебня, с этими гнусными учебниками, с этими обмундированными педагогами с их идиотскими глобусами, юнонами по стенам и всей учебной дребеденью. Нет, Вы, ученик *не изощренной* школы 60-х годов, — не знаете, не понимаете и не можете понять, что делается в школах. Гр. Д. Толстой был только великий канцелярист, он ничего не понимал в истории и политике, когда самодовольно докладывал Государю: «Теперь в Забайкальской области и в Москве в один и тот же месяц дети русские читают одну и ту же страницу Вергилия». Вот уравнивающий идеал, какой мог явиться только у Чингиз-хана или у современного бюрократа. Нет, своими земскими начальниками он не поправил и ¹/₁₀ доли того *всесмысленности*, коими (как никто до него в нашей истории) послужил он своею учебною реформою. Я ненавижу его ограниченный ум и всю эту *слепую* политику нашего века. Вы сказали, что Гладстон — всего только вульгарный характер; браво! поймите же, что и наши Толстые всего

только канцеляристы. Мне доставляет удовольствие, просыпаясь от дремоты, объяснять ученикам вместо какого-нибудь венского конгресса — мою теорию среднего образования, этого всемирного обезличения людей, коему оно служит. Вообще как учитель — я несколько капризен, лениво тяну канитель, на меня возложенную канцелярскими программами, но оживляюсь только тогда, когда ученикам приходится (придет фантазия) объяснять что-нибудь свое: о платоновских идеях, о рациональной возможности бессмертия души, о том, почему они, сами ученики, так окончательно бездарны, себялюбивы и мелочны, и пр.

Что значит *ischuria*? Заражение крови мочевиной? Помогите Вам Бог переносить Ваши страдания, но, знаете, правы все, которые думают, что страдание очищает, просветляет и смягчает душу человека. Я часто бывал очень несчастен, очень угнетен и всегда становился тогда лучше, нежнее и возвышеннее в своих отношениях к людям, в сознании своего долга. Счастье — довольство — оскотинивает человека. Но отчего Вы не прибегните к операции? Ведь теперь при помощи кокаина или эфира их делают без боли, и Вы избавились бы от хронического страдания и опасности близкой смерти?

Как любопытно все, что Вы пишете о Толстом: вот не ожидал *безжалостности* в нем. Да, удивительная вещь литература и литературный талант — не симпатичная для меня вещь. Дерево жизни — не дерево *познания добра и зла*. Есть какая-то обратная пропорциональность между ними. Высший цвет почти то же, что гноящаяся рана. Не хочется жить при таких мыслях.

«Бр. Карамазовых» не могу Вам выслать ранее, чем когда приедут вещи в Белый, ибо он заложен в ящиках и уже давно отправлен товаром малой скоростью. А о чем *своем* Вы хотели бы там справиться? Вот любопытно было бы. Ваши все политические идеи я понимаю и знаю, но литературные, относящиеся к отдельным вещам — для меня еще закрытые драгоценности. Чем можете, чем Вам не скучно — поделитесь со мною. Всякая Ваша заметка в двух-трех словах дорога для меня.

«Человечество старо» — печатали и писали в письмах Вы. Да, истощилось в произведении гениального, мудрого, героического — и осталась одна пошлость, которая, просуществовав некоторое время, исчезнет как плесень с лица земли. Жить не хочется, опять и опять... Дерево *жизни* иссыкло, потому что и к познанию окончательному уже почти близки люди. Знаете, что я *лично* испытывал: в разных местах моих сочинений Вы найдете отдельные страницы, написанные с большою страстью или где блестит совершенно оригинальная мысль, доказательства коей льются как бы сами собой. Я испытывал, что, написав эти страницы, я всегда *физически ослабевал* (как муж-

чина) и становился психически раздраженным, сумрачным, злым почти; а *перед* написанием бывали минуты какого-то удивительного просветления и счастья, повышения жизни. Из этого внутреннего наблюдения я вообще заключил, что психическая деятельность истощает органическую энергию, что в нее уходит первая, и раз что-нибудь хорошее написано, нарисовано, совершено — некоторая доля жизни вышла из человечества, пропала в нем навсегда. Лепесток с древа жизни опал, превратившись в крупинку сахара в плоде познания. Так иссякает жизнь в исторически-деятельных народах. Опять грустные мысли, опять жить не хочется...

Как жаль, что Вы хотите оставить Оптину Пустынь, как шло к Вам жить при ней отшельником, жить и умереть там... Мне *бесконечно* хочется быть там, увидеть, посмотреть искоса, из-за угла на о. Амвросия, его удивительный рот и глаза, *что-нибудь прочитать* в них (беседовать я даже боюсь), побеседовать с Вами. Вся Ваша жизнь оригинальна: медик (по сочинениям судя — хороший, очень вдумчивый, наблюдающий), консул и даже с хлыстом в руках, порывы к монашеству, политический теоретик и отшельник Оптиной Пустыни. Кстати, не можете ли Вы хотя отчасти открыть мне (простите за нескромность, но она не пуста, не бессодержательна, а *очень серьезна*) смысл того переворота душевного, кот. заставил Вас бросить консульство и думать о монашестве? И хоть что-нибудь Вы не сообщите ли мне о чудесах, которые испытали на себе. Как в самом деле жалко, что мы не можем поговорить друг с другом. Это было бы *так нужно!* Что за человек от Амвросий? Вы в своем роде психолог, и сжато характеризующий и объясняющий, — поэтому, если не опасаетесь анализом оскорбить чтимую высоту, драгоценность, святость, — написали бы мне. Я по часам рассматривал его карточку и расспрашивал людей, его выдавших, даже о манерах; перечитывал и Ваши строки в «О. Клименте Зедергольме». Напр., понимает ли и знает ли о. Амвросий Вашу теорию всесмешения? Вообще держит ли в уме *наши* идеи?

Что касается до примирения науки и религии, то, писав «Место хр. в ист.», я разумел: примирение точного и долголетнего научного изыскания с религиозным духом, настроением чувства. Этого я лично достиг и лично же проповедовал. Но Вы пишете *о религиозных тайнах*... Должен предварительно сказать в объяснение, что *православным* я стал лишь недавно, помолвившись несколько раз в церкви Введения, познакомившись с дьяконицей Рудневой, урожденной Ждановой, внучкой Иннокентия Таврического, коего она хорошо знала до 14 лет; все это скрепилось и уяснилось *в идее* через Ваши слова «Что такое христианство без Православия (или другой формы), что такое православие *без византийских форм*» и пр. Вообще раньше я был абстрактно религиозен — к православию относился даже не дружелюбно (тогда и писалось «Место»). Теперь не то...

Итак, истины науки для меня — одной категории, истины религии — другой, и так же не мешают друг другу, как слух — зрению и наоборот. Но Вы скажете, их предмет *один* часто; да, это во многих случаях, напр. рождение и после него *все-таки* девство. Знаете, истины анатомии, физиологии, вообще не теоретических, а опытных наук утверждают лишь *всегдашность* наблюдаемых фактов, но вовсе не их логическую необходимость; они говорят: *бывает так*, но не могут доказать, что не *может быть иначе*. Бессемьянное зачатие века отрицалось: *omne vivum ex ovo sperma*, теперь же открылись факты деворождения, *sine sperma*, напр. у пчел трутни. Это показывает отсутствие вообще универсальности выводов всех опытных и наблюдаемых наук: невозможности они не могут доказать.

[Далее], факт или заключение науки суть продукт *ума*, т. е. одной из трех способностей (да и трех ли?) нашей души. Истину я признаю объективно таковою потому, что она субъективно восприемлема моею мыслью, усвоима логическою стороною духа. И мистическую тайну я признаю объективно действительною (это *выше истины*), потому что субъективно воспринимаю ее своим религиозным чувством, второю и равною всем другим стороною моей душевной природы. Откуда у меня эта способность восприятия, если нет ей соответствующей объективной действительности? Если она не вложена в меня прежде начала мира? Бог, человеческая душа, бессмертная как Его дыхание, — для меня истины так же убедительные, как то, что Волга впадает в Каспийское море, *так же ясные и близкие*.

Я рад, что Вы браните профессоров и студентов; первое условие для ищущего истины человека — это презрение к нашим университетам, переполненным кранощеками и вертлявыми мальчишками вверху и внизу. Это умственные и часто вообще духовные проститутки — и только. И как это сделалось — непостижимо, удивительно!

Ну, простите! Прислали бы Вы мне: 1) отзывы о Вас, наклеенные — для возбуждения, для любопытства; 2) недоконченную статью *о среднем* европейце как орудии всемирного разрушения — кою *сберегу как свой глаз*; греческие повести. Я жаден до Вас, и писем Ваших мне мало. Статью свою я прочел, за драгоценные примечания к ней благодарю, и только жалею, что их мало и они коротки. Через 2 дня я еду в Белый. Адрес: г. Белый, Смоленской губ., в прогимназию В. В. Розанову (кстати — Вы все пишете Розонову — это Берг переврал — моя фамилия Розанов). Целую Вас крепко и обнимаю.

Ваш В. Розанов.

За продолжение статьи о Вас примусь 20 августа или с 1 сентября, как только переберусь в Белый и устроюсь там на квартире. Да читали ли Вы статьи мои в «Моск. Вед.»? Были уже 3, а 4-я с формулою Ваших теорий и вызовом «Вестнику Европы» ответить на них — верно скоро появится. Нет, не забывайте меня письмами.

Еще одно слово насчет *разных видов* истинного: перед Вами два лица *неизвестного* происхождения: кроткое, любящее, страдающее, и другое — сладострастно-скотское. Как *умом* Вы докажете, что одно прекрасно, а другое отвратительно, и между тем таковые Ваши утверждения будут объективно истинны. Вообще ведь есть категория *святости*? и есть наше отношение к ней, вовсе не логическое, не умственное, и, однако, истинное, праведное. Это — отношение благоговения, благопочтения, которое вовсе не есть отношение познания. Спаситель мира, Спаситель души моей, сказавший: «Блаженны изгнанные за правду», и пр., *родился*. Конечно, он родился без мужчины, без скверного плотского акта с его подробностями, потому что он Свят и к святому не прикасается нечистое. Как Св. Дева осталась Девой? Да как же ей не остаться Девой, когда я вижу мысленно ее восходящую по лестнице Храма и Первосвященника, встречающего Ее — когда она свята, не греховна, когда родившийся от нее стал Спасителем нас всех. Она родила Спасителя, произошло Святое Святых истории, чудный акт, Ей самой непостижимый, Ее потрясший — и все тоже — благочестивый Иосиф, полулежащий в хлеве, она усталая и потрясенная, младенец в яслях и ангелы, поющие «Слава в Вышних Богу»... Зачем тут женщина или девушка, это из другого мира, другой категории, где-то за углом, где начинается совсем другое, земное и человеческое. Взгляд науки есть взгляд только по одной линии забора, решительно ничего не видящий по его другую сторону. Вы лежите на траве, перед Вами звезды, тишина, сосновый лес. Вы вспоминаете мать свою, когда-то любимую Вами девушку, теперь так же умершую, и думаете и о своей старости, о том, что и Вам уже не долго любоваться этим небом. «И будет земля новая, и небо новое», — думаете Вы; там, под этим новым небом, на этой новой земле я увижу опять их, и они поймут, как я любил их всю жизнь потом, как вспоминал. Вам хорошо, покойно и тепло на душе, ясно все мироздание. Разве же это не истина? Почему? Лишь только потому, что не доказуемо? Но ведь это ничего не значит, это из другого, недоказуемого и, однако, реального мира. Не умею высказать Вам, но существование разных миров я вообще как-то ясно понимаю. Что хорошо, то и истинно; и логически верная мысль потому и истинна, что она хорошо пришлась для ума, что она лучше всех ей подобных, о том же и почти так же мыслимых, но чуть-чуть неправильно, ошибочно. Иначе какой же смысл *хорошего*? Дым, призрак, исчезающее — и не истинны, и не хороши. Хорошее потому и хорошо, что оно действительно, *ens realissimus — optimus ens*.

А культуру всемирную нужно сохранить, сберечь. Мне мечтается, что догадаются наконец люди, к чему идут (к смерти) и... удержатся. Появится новый жреческий орден, появится новый союз пифагорейцев. Из семени вырастает дерево, а не складывается оно из земли: где-нибудь и когда-нибудь появится кучка людей, решившихся *взять историю в свои руки*. Это

будет смешение религии, философии, политики и так же высокой поэзии. Конечно, боязнь Бога, боязнь своей судьбы — будет главное; второе — окончательное познание добра и зла и проникновение к остаткам древа жизни, его сбережение. Не будет истории как развития — будет неподвижное существование в прочных, непоколебимых формах. Будет, мечтается, громадное пустое место, обнесенное высокой стеной, куда будут вталкиваться неразумные и буйные и там оставаться одни, *вне человечества и без Бога*, только со своим самодурством. Простите, поболтал бы еще, но что-то нездоровится, а главное — несут обедать.

Ваш В. Розанов.

8

Многоуважаемый и дорогой
Константин Николаевич!

Очень, очень тяжело мне до сих пор не получить от Вас даже 2—3-х строк, и дай Бог, чтобы это случилось по Вашему неудовольствию на меня, а не ухудшению болезни. Если Вы сердиты на меня за что-либо (а по неумелости я часто могу вызвать это чувство к себе) — беда поправима, ибо *основания* для Вашей горечи нет во мне и не может быть. Какая-нибудь моя бестактность, глупое слово — но это *Вы всегда простите* — ведь я же отношусь к Вам и Вы всегда ко мне относились как человек не только близкий, но и совершенно, совершенно (не сердитесь) родной.

Кончил чтение Ваших статей (будущий 3-й т. «Востока») — множество превосходных, и если бы можно было мне его продержать еще месяц или 1½ у себя. Статья о Вас (написано 42 стр.) будет, кажется, очень большая, вроде статьи о Достоевском. Теперь пишу (и с большим увлечением) о разнице в политическом складе древнего, античного государства и нового, христианского. Вообще по мысли она будет очень содержательна. Хочется очень взять кой-какие выписки из будущего 3-го тома «Востока», и для того я прошу позволения подержать.

Писать я Вам много раз собирался, но все не хотелось отрываться от статьи. Когда я бываю занят чем по письменной части, у меня всегда вроде физической боли возникает от всякого отвлечения в сторону. Вот и теперь пишу лишь несколько нескладных слов, чтобы сказать Вам, как мне *больно* Ваше молчание и вероятное неудовольствие и как бьется горячо мое сердце к Вам. Да хранит Вас Бог. Целую Вас и обнимаю крепко, крепко в Вашей постели.

В. Розанов

Адрес: Белый, Смоленской губ., в Прогимназию — мне.

Жена Вам кланяется и желает облегчения физических страданий. Вы мне напишите только 5 строк, что не сердитесь.

Ну, дорогой, неоцененный Константин Николаевич! На стр. 57, которую пишу сейчас, — я Вас приравнивал к Ньютону, его яблоку и закону притяжения, приравнивал, повторив после 57 стр. рассуждения Ваши слова: «Если же дело идет к победе болезни — упрощается картина организма». И знаете, клянусь Вам, я ни йоты не преувеличиваю: вот что говорит Вам человек чистосердечный, *во все время писания своего я чувствую своим ясным и точным умом*, что Вы великий человек, в самом простом, но и полном значении слова. Невозможно, чтобы и Вы этого не чувствовали, и тогда — зачем сумрак? Что не были признаны? да кто же вовремя были признан и понят, кроме пошляков? Прощайте, потому что некогда, я прервал работу и сейчас опять к ней.

Ваш *В. Розанов*.

Комментарии
и указатель имен

В настоящем томе сохраняются те же принципы комментирования, что и в вышедших ранее томах Собрания сочинений.

В плане «Полного собрания сочинений», составленном В. В. Розановым незадолго до смерти, предусматривалось шесть томов (42—47) «Литературных изгнанников», включавших письма к нему Н. Н. Страхова, Ю. Н. Говорухи-Отрока, К. Н. Леонтьева, С. А. Рачинского, П. А. Кускова, Ф. Э. Шперка, Рцы (И. Ф. Романова), П. А. Флоренского, С. А. Цветкова, В. А. Мордвиновой (писавшей позднее в эмиграции под псевдонимом Вера Александрова), а также свои письма к ним. Розанов сумел опубликовать письма только первых четырех корреспондентов: Страхова и Говорухи-Отрока в книге «Литературные изгнанники» (1913), письма Рачинского и Леонтьева в «Русском вестнике» (1902. № 10—11 и 1903. № 1, 4—6).

В настоящий том вошла переписка Розанова со Страховым и с Леонтьевым. Помимо опубликованных Розановым писем Страхова и Леонтьева с обширными его пояснениями, впервые полностью публикуются письма Розанова к Страхову, а также 9 писем к Леонтьеву, что позволяет судить о всей полноте двусторонней переписки.

Первый том «Литературных изгнанников», посвященный Н. Н. Страхову и Ю. Н. Говорухе-Отроку, вышел в свет в Петербурге в августе 1913 г. Издателем выступило товарищество «А. С. Суворин — Новое время». Тираж составил 650 экземпляров. По ряду причин (в том числе и финансовых) задуманный проект не получил продолжения — первый том оказался и последним. «Книжная летопись» зафиксировала поступление книги в Главное управление по делам печати 3—10 сентября 1913 г. Отклики на новое произведение Розанова не заставили себя ждать. Под рубрикой «Новости литературы, искусства и науки. Новые книги» 2 сентября в петербургской газете «День» появилась рецензия Т. Глаголевой. В августовском номере (№ 8) журнала «Русский библиофил» «Литературным изгнанникам» была посвящена заметка В. Андерсона. Газета «Биржевые ведомости» от 7 и 9 сентября напечатала обширную статью А. Измайлова «На гласной исповеди (Мемуары В. В. Розанова)». Издавшее книгу товарищество «А. С. Суворин — Новое время» сначала сообщило о ее выходе на страницах газеты «Новое время» (№ 13472 от 13 сентября; рецензия за подписью Ignotus), а затем опубликовало развернутый отзыв М. Меньшикова (Письма к ближнему // Новое время. 1913. № 13481, 22 сент.). В ноябрьском номере (№ 11) «Исторического вестника» появился разбор «Литературных изгнанников», сделанный И. Вальманом.

Повышенный интерес читателей вызвала прежде всего необычная по форме структура книги Розанова. Писатель и ранее включал в свои произведения Примеча-

ния к полемическим материалам и письмам. Посредством комментариев он делал читателя свидетелем своего чтения и рефлексии. Примечания стали для Розанова к 1913 г. (времени издания «Литературных изгнанников») особой жанровой формой, смыкающейся с тем, что современные исследователи розановского творчества называют жанром «уединенного». Сам Розанов отмечал в коробе первом «Опавших листьев» (в записи «за ужином на даче») особенности своего комментаторства: «Глубокое недоумение, как же «меня» издавать? ... Если избранное и лучшее, тома на 3: то неудобоно в том, что некоторые *острые стрелы* (завершения, пики) *всего моего мирозерцания* выразились просто в *примечании* к чужой статье, к Дернову, Фози, Сикорскому...» Так, комментарии введены Розановым в книги «В мире неясного и нерешенного» (1901), «Семейный вопрос в России» (1903) (в частности, отмеченные самим Розановым примечания к докладу священника А. Дернова), «Около церковных стен» (1906), «Люди лунного света» (1911) (комментарии к извлечениям из неозаглавленной рукописи О. Фози), «Темный лик» (1911) (примечания к статье профессора И. А. Сикорского), а также в близкие по форме к «Литературным изгнанникам» публикации «Из переписки С. А. Рачинского» (1902) и «Из переписки К. Н. Леонтьева» (1903) в «Русском вестнике». Но в отличие от всех перечисленных выше работ в книге «Литературные изгнанники» комментарии впервые стали не вспомогательным, а основным компонентом, образующим структуру книги. Говоря языком современного литературоведения, книга Розанова стала одним из ярких примеров интертекста с его диалогичностью и вариативностью.

Эту особенность отмечали многие критики. «Суть книги в ее «подстрочном пестителе», — возле которого на каждой странице поясняется: «Примечание 1913 г.». Центр тяжести слишком пятисот страниц перемещается на комментарии... — пишет критик «Русского библиофила» В. Андерсон. — Почти на каждом шагу непритязательное, на первый взгляд, место из того или другого письма Н. Н. Страхова, простая житейская фраза, словно электрической искрой встряхивают В. В. Розанова, и чувствуется, как по извилинам его ума закопошилась, засуетилась и быстро-быстро, мелко семена, побежала мысль, то толкнувшись о стенку Апокалипсиса, то припомнив Толстого, то обмолвившись о Гоголе, то вывернув сердцевину своей глубочайшей интимности».

Все критики обратили внимание на нетрадиционность изложения в «Литературных изгнанниках». Так, для автора рецензии в «Новом времени» под псевдонимом Ignotus в книге Розанова интересен прежде всего именно «запах жизни» в выхваченном из потока текущих событий мимолетного настоящего «куске домашней литературы» во всей его «интимной непосредственности».

Книга Розанова многовариантна, и диалог «Розанов — Страхов в 1888—1896 гг.» в ней хотя и является наиболее очевидным, но отнюдь не единственным: Розанов 1913 г. одновременно ведет диалог и с самим собой — начинающим писателем, собеседником Страхова, и с высоты прожитых лет с философом Н. Н. Страховым, и с читателем-современником.

Автор негативного отзыва на «Литературных изгнанников» Т. Глаголева, не увидевшая этой разноплановости книги и не услышавшая ее многоголосия, пишет: «В своем предисловии В. В. Розанов указывает на личный характер печатаемых писем: «Тут мы, и это наши письма, где мы спорим, ругаемся, любимся друг с другом», и, действительно, большая часть переписки касается личных отношений корреспондентов и литературной деятельности В. В. Розанова. Общий интерес имеют лишь отзывы Страхова о Л. Н. Толстом, Вл. Соловьеве и т. п. ... Все письма снабжены

примечаниями В. В. Розанова, сделанными в 1913 г., в большинстве очень мелочными и автобиографическими. Некоторые парадоксальные, но, как это всегда присуще В. В. Розанову, интересные и оригинальные суждения религиозного и философского характера тонут, к сожалению, в море крайне неприятных полемических выпадов против левой печати, «жидишек и профессоршек», «нигилистов» (к ним причисляются Горнфельд, Иванов-Разумник и пр.). Примечания пестрят также инсинуациями против Некрасова, Герцена и др. писателей «западнического» направления и проникнуты чрезмерной самовлюбленностью. Все эти данные достигают лишь того, что книга производит крайне отрицательное впечатление». Напротив, А. Измайлов, друг и идейно близкий Розанову человек, уловив особенности «Литературных изгнанников», сравнивает корпус писем Страхова и Говорухи-Отрока с барометром, из которого герой М. Твена варил суп во время альпийского путешествия. После получасового кипячения в горшке с бобовой похлебкой новое блюдо заслужило всеобщее одобрение. Однако как барометр не придает вкуса супу, так и письма Страхова и Говорухи-Отрока не являются, по мнению А. Измайлова, истинным предметом интереса читателей книги. Интересны и живы именно розановские примечания: «Их так много, что порой страница мелкого текста приходится всего лишь на три строки крупного текста письма. Как разделить этот комментарий? Это все, что угодно, — личные мемуары, публицистика, философия, полемика, лирика, анекдотец, — только не то, что обычно принято разуметь под примечаниями. У другого это могло бы быть просто совсем неинтересно, — самолюбование, самобичевание, до которых никому нет дела. Но Розанов — совершенно исключительный человек, как и писатель, исключительный в своей необычности, в талантливости, в наивности, в беспощадной и странной иногда откровенности, в свете своем и в тьме озлобления своего, в прозрениях своих и в злобном раздражении на то, что для других святыня».

Критики (А. Измайлов, М. Меньшиков, Ignotus) обильно цитировали розановские примечания. Так, для М. Меньшикова книга Розанова стала поводом, чтобы поразмышлять о «стойком варварстве» и бескультурности русского общества. «В большом томе «Литературных изгнанников», посвященных, главным образом, Страхову, — писал он, — стоит местами сплошной вопль о нашем варварстве, проглядевшем Страхова и не одного Страхова». Меньшиков приводит слова Розанова о полном отсутствии интереса к его философскому трактату «О понимании», о трудностях опубликования перевода «Метафизики» Аристотеля и о том, что тираж отдельного издания этого перевода составил всего 25 экземпляров.

Для автора рецензии в «Историческом вестнике» И. Вальмана вторая часть «Литературных изгнанников» — примечания — близка, по словам критика, «Уединенному», «Опавшим листьям» и другим работам Розанова. «В «примечаниях», — пишет он, — мы встречаем, кажется, все излюбленные темы Розанова. История и философия религии, бессмысленность и жестокость церковно-правового формализма, роль пола в жизни человечества, мистическое понимание еврейства; встречаем и черты, известные нам из «Уединенного» и «Опавших листьев», интимное раскрытие души, цинично-грубые отзывы о лицах, которых мы привыкли любить, способность подметить и любовно передать тонкую черту характера там, где все видели какое-то пустое место, прикрытое тем или иным мундиром (отзыв о А. И. Георгиевском, изучавшем еврейские псалмы в подлиннике); встречаем, наконец, и необходимые по четкости характеристики людей и учреждений (наша бюрократия напоминает того святого, который «несяще отрубленную свою голову в руках зело плаче над нею»)).»

Книга «Литературные изгнанники» не была в достаточной степени оценена современниками и не получила того общественного резонанса, на который была вправе претендовать; хотя позднее в литературной культуре XX века жанр комментария, подобного розановскому, основой которого является стихийная ассоциативность и парадоксальность потока человеческого сознания, нашел свое продолжение и развитие, а проблема интертекстуальности стала одной из основных дискутируемых тем литературоведения.

Критики — современники Розанова, отозвавшиеся на публикацию, — чутко уловили необычность книги, в которой основным становится жанр комментария, а голоса литераторов, ведущих с Розановым диалог в письмах, через многие годы вновь оказываются органично включенными в обсуждение проблем эпохи, выступая как его сторонники и «общинники» (А. Измайлов), чье эпистолярное наследие органично вписывается в структуру розановского текста. «Если библиографически «анатомировать» хотя бы лежащую теперь на моем столе книгу Розанова, «расшить» ее по «рубрикам», «по именам», по «категориям мысли», то получится глубоко оригинальный, неистощимо свежий и самобытный компендиум историко-философского мировоззрения Розанова», — писал В. Андерсон.

Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым

Письма Н. Н. Страхова
к В. В. Розанову
с комментариями Розанова

Текст писем Н. Н. Страхова публикуется по изданию: *Розанов В. В. Литературные изгнанники*. СПб., 1913. Т. 1. С. 115—413.

Публикацию писем Розанов сопроводил тремя своими статьями о Страхове («О борьбе с Западом в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов», «Идея рационального естествознания», «Рассеянное недоразумение»), а также подборкой «Некрологи и заметки о Н. Н. Страхове», сделанной им по материалам периодики. Завершала том розановская статья «Вечная память. 24 января — 27 июля 1896 г.». Частично эти материалы уже появлялись в сборнике статей Розанова «Литературные очерки» (1899). В настоящем Собрании сочинений см. их в томе «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (М., 1996. С. 209—233, 355—375).

I

С. 7. *Вот Вам и мой портрет*. — См. письмо В. В. Розанова к Страхову от 22 января 1888 г.

С. 8. «*Основы веры и знания*» — книга П. А. Бакунина (СПб., 1886), брата теоретика анархизма М. А. Бакунина. См. краткие замечания о ней в письмах Розанова от 15 февраля и от 31 марта 1888 г. Предложение Страхова (см. письмо от 18 мая 1888 г.) написать развернутый отзыв о книге осуществлено не было.

«О понимании» — книга Розанова «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания»; вышла в Москве в 1886 г.

II

С. 9. «*Метафизика*» — работа Аристотеля в переводе В. В. Розанова и П. Д. Перлова. Публиковалась в «Журнале Министерства народного просвещения» (далее: «ЖМНП»). СПб., 1890. № 2, 3; 1891. № 1; 1893. № 7, 8, 9; 1895. № 1, 2. Отдельное издание первых пяти книг вышло в Петербурге в 1895 г. Об истории сотрудничества Розанова и Перлова в работе над переводом см.: Сукач В. Жизнь Василия Васильевича Розанова «как она есть» // Москва. 1922. № 1. С. 117—120.

IV

С. 11. *Статья против Вл. Соловьева — Страхов Н. Н.* Наша культура и всемирное единство. Замечания на статью Влад. Соловьева «Россия и Европа» // Русский вестник. 1888. № 6. Работа В. Соловьева впервые публиковалась в журнале «Вестник Европы» (1888. № 2, 4), была перепечатана в брошюре «Национальный вопрос в России».

С. 12. *Ваши замечания о Данилевском, Ренане и Герцене* — см. письмо Розанова к Н. Н. Страхову от 31 марта 1888 г. Имена этих деятелей были для Страхова принципиально значимыми. Каждому из них он посвятил ряд статей. Особенно активно Страхов способствовал продвижению в общественное сознание идей своего единомышленника и друга Н. Я. Данилевского: издал его посмертное Собрание сочинений, подготовил к печати незаконченный труд «Дарвинизм», был в центре развернувшейся полемики вокруг книг «Россия и Европа» и «Дарвинизм».

...о газетах — см. письмо Розанова к Н. Н. Страхову от 31 марта 1888 г.

«*Сумерки просвещения*» — название сборника статей Розанова по вопросам образования, издан в 1899 г. в Петербурге (впервые: Русский вестник. 1893. № 1—3, 6).

«*Русский Вестник*» — ежемесячный журнал, выходивший в Москве (1856—1887) и Петербурге (1887—1906). Ф. Н. Берг стал издателем и редактором журнала в 1887 г.

С. 13. «*Борьба с Западом*», «*Критические статьи*» — имеются в виду книги Н. Н. Страхова: *Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки*. Кн. 1. Изд. 2-е. СПб., 1887; *Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом*. 1862—1885. Изд. 2-е. СПб., 1887.

V

С. 13. «*Русское слово*» — ежедневная газета, издававшаяся в Москве в 1894—1918 гг.

С. 14. «*Вестник Европы*» — журнал истории, политики и литературы, ежемесячно выходивший в Петербурге в 1866—1918 гг.

VI

С. 15. «*О времени, числе и пространстве*» — статья Страхова, опубликованная впервые после его смерти (Русский вестник. 1897. № 1. С. 69—81; № 2. С. 264—278).

«Путь» — издательство; возникло в 1907 г. при «Религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева»; финансировалось М. К. Морозовой. Большую роль в организации издательства сыграл Е. Н. Трубецкой. Книги «Пути» (основная тематика изданий — русская философская и религиозная культура) отличались содержательностью, строгим отбором авторов, высокой культурой полиграфического исполнения.

VII

С. 16. *«История индуктивных наук» Уэвеля* — имеется в виду книга Уильяма Уэвеля «История индуктивных наук от древнейшего до настоящего времени». Пер. М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина (СПб., 1867—1869. Т. 1—3).

«История новой философии» Куно-Фишера — книга немецкого историка философии Куно Фишера «История новой философии» (на русском языке вышла в переводе Н. Страхова: СПб., 1862—1865. Т. 1—4).

С. 17. *«Кифа Мокиевич»*. — Сразу же после издания книги Розанова «О понимании» появились два отрицательных отзыва на нее: Л. Слонимского в «Вестнике Европы» (1886. № 10. С. 850—857) и без подписи в «Русской Мысли» (1886. № 11. С. 270—272). Выражение «Кифа Мокиевич» (имя героя гоголевских «Мертвых душ») обозначает человека, развивающего нелепые умозрительные теории. Применительно к идеям Розанова его впервые использовал А. В. Луначарский: «Да ведь это наглая чепуха, набор слов, премудрость Кифы Мокиевича» (*Луначарский А. Отклики жизни*. СПб., 1906. С. 49). Сам Розанов приписывал это высказывание Н. К. Михайловскому.

«Русская Мысль» — ежемесячное литературно-политическое издание: журнал, издававшийся в Москве в 1880—1918 гг.

С. 20. *«Заметки о Пушкине и других поэтах»* — книга Страхова (СПб., 1888).

То, что Вы пишете о статье — см. письмо Розанова к Страхову, написанное после 19 июня 1888 г.: «При втором чтении дисгармонии почти нет, или очень мало... При первом чтении цельность впечатления перебивается выписками из Соловьева».

VIII

С. 23. *Приезжайте и поговоримте...* — Розанов приезжал в Петербург и лично познакомился со Страховым во время рождественских каникул в январе 1889 г.

С. 24. *Заглавие Вы придумали хорошее*. — Речь идет о названии статьи Розанова, в основу которой лег текст предисловия к переводу «Метафизики», в письме от 31 марта 1888 г. Розанов предлагал вариант заглавия: «Наша переводная литература по отношению к главным представителям философии»; окончательное название: «Заметки о важнейших течениях русской философской мысли, в связи с нашей переводной литературой по философии» (*Вопросы философии и психологии*. 1890. № 3. Отд. II. С. 1—36).

IX

С. 24. *Гораздо важнее Ваша статья*. — В итоге работы Розанова над статьей о книге Данилевского «Дарвинизм» получилась не одна, а две статьи: «Вопрос о происхождении организмов» (впервые: *Русский вестник*. 1889. № 5. С. 311—316; пере-

печатано в книге Розанова «Природа и история». СПб., 1903) и «Органический процесс и механическая причинность» (ЖМНП. 1889. № 5. С. 1—22).

С. 25. *«Легенда об инквизиторе»* — имеется в виду труд Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» (впервые: Русский вестник. 1891. № 1—4. Отдельные издания: СПб., 1894, 1902, 1906).

«Эстетическое понимание истории» — статья Розанова о К. Н. Леонтьеве. Впервые: Русский вестник. 1892. № 1. С. 156—188; далее (в № 2, 3) публиковалась под названием «Теория исторического прогресса и упадка».

С. 27. *Вы спрашиваете о статье Тимирязева.* — Речь идет о статье профессора Московского университета К. А. Тимирязева «Отвергнут ли дарвинизм?» (Русская мысль. 1887. № 5, 6), посвященной разбору критического исследования Н. Я. Данилевского «Дарвинизм».

XIII

С. 32. *...ее молодая дочь-вдова* — Варвара Дмитриевна Бутягина; впоследствии вторая жена В. В. Розанова.

XVII

С. 39. *...истина — большой друг* — вторая часть высказывания Аристотеля «Платон мне друг, но истина дороже (но истина — большой друг)». Фраза получила распространение из трактата Аммония Саккаса «Жизнь Аристотеля, александрийского философа» (III в.).

XX

С. 42. *Две его статьи в «Вестн. Европы»...* — имеются в виду две первые статьи В. Соловьева из «Очерков из истории русского сознания» (Вестник Европы. 1889. № 5, 6).

...статью Каринского о логике Троицкого — имеется в виду статья: *Каринский М. И.* Учебники логики М. М. Троицкого // ЖМНП. 1889. № 6. Отд. II. С. 453—492. Посвящена разбору двух книг философа-позитивиста, профессора Московского университета М. М. Троицкого: «Учебник логики с подробными указаниями на историю и современное состояние этой науки в России и других странах» (Кн. 1. Изд. 2-е. М., 1886; Кн. 2. М., 1886; Кн. 3. Вып. 1. М., 1888) и «Элементы логики. Руководство к логике, составленное для средних учебных заведений» (М., 1887). Розанов слушал лекции Троицкого, когда учился в университете.

XXI

С. 43. *Посылаю Вам Вашу статью о Дарвине.* — Переработанная статья вышла 21 октября 1889 г. в «Московских ведомостях» под заглавием «Отречение дарвиниста (ответ Тимирязеву)».

«Да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает» — девиз Ордена Подвязки, учрежденного английским королем Эдуардом III.

«Воспоминание об Афоне и об о. Макарии» — окончательное название статьи Страхова: «Воспоминания о поездке на Афон» (Русский вестник. 1889. № 10. С. 120—144).

Люби все возрасты покорны... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 8. XXIX.

XXIV

С. 45. *«Вопросы философии»* — журнал «Вопросы философии и психологии», выходящий в Москве с 1889 по 1918 г.

XXV

С. 46. *«Место христианства в истории»* — статья Розанова; впервые: Русский вестник. 1890. № 1 (январь); в том же году вышла отдельной книгой в Москве в типографии Э. Лисснера и Ю. Романа.

С. 47. *Цель человеческой жизни* — работа Розанова; впервые: Вопросы философии и психологии. 1892. № 14—15.

«О трех принципах человеческой деятельности» — работа Розанова; впервые: Русское обозрение. 1893. № 3. С. 106—121 (позднее включена в книгу «Сумерки просвещения», 1899).

XXVI

С. 48. *Заглавие ... было дано по рекомендации П. Д. Первого.* — Об истории создания «Места христианства в истории» см. в воспоминаниях Первого «Философ в провинции»: «Однажды на полках у Розанова я отыскал брошюру Ренана «De la part» etc. Я перевел брошюру и послал перевод в Москву к издателю Б. Н. Маранцеву, который и напечатал его («Место семитических народов в истории цивилизации». М., 1888). Розанов, чтобы дать отповедь Ренану и дополнить его, выбрал для актовой речи в гимназии тему «Место христианства в истории цивилизации». Речь эта была издана потом отдельной книжкой; издание быстро разошлось; это было первым и очень удачным литературным выступлением Розанова перед большой публикой» (Москва. 1992. № 2—4. С. 125).

...она вызвала письмо ко мне Шперка. — См. письмо Ф. Э. Шперка Розанову от 21 марта 1890 г.: «Брошюра Ваша произвела на меня сильное впечатление и возбудила большой интерес во мне» (Москва. 1992. № 2—4. С. 126).

XXVII

С. 49. *...я послал ее Н. Я. Гроту* — то есть в журнал «Вопросы философии и психологии». См. также письмо Н. Я. Грота В. В. Розанову от 20 декабря 1889 г.: «Статью Вашу получил. Нечего и говорить, что для меня достаточно рекомендации Н. Н. Страхова (я сам еще не успел прочесть). Надеюсь, она будет в 3-ей апрельской книге» (Москва. 1992. № 2—4. С. 126).

XXVIII

С. 51. *Чем ночь темней, тем ярче звезды...* — А. Н. Майков. «Не говори, что нет спасенья...» (1878) в цикле «Из Аполлодора Гностика».

От измены, непогоды — А. С. Пушкин. Талисман (1827). (У Пушкина: «От измены, от забвенья...»)

С. 52. *«Реформа логики»* — имеется в виду работа Н. Я. Грота «К вопросу о реформе логики. Опыт новой теории умственных процессов» (Нежин, 1882).

«Об основных понятиях психологии и физиологии» — книга Страхова (СПб., 1886).

«Московское психологическое общество» — Психологическое общество при Императорском Московском университете (1885—1922). Создано по инициативе профессора М. М. Троицкого; в период с 1887 по 1899 гг. председателем общества был Н. Я. Грот, позже — Л. М. Лопатин. При поддержке общества издавался журнал «Вопросы философии и психологии».

«История всемирной литературы» — имеется в виду книга П. С. Когана «Очерки по истории западноевропейских литератур» (в 4 т. М., 1903—1910). К моменту публикации «Литературных изгнанников» (1913 г.) первый том «Очерков» выдержал 6 изданий, остальные — по 5.

«История русской литературы» — имеется в виду книга П. С. Когана «Очерки по истории новейшей русской литературы» (в 3 т. М., 1908—1912), к 1913 г. выдержала 3 издания.

С. 53. *Не гулял с кистенем я в дремучем лесу* — Н. А. Некрасов. Огородник (1846).

XXX

С. 55. ...*отзыв о «Месте»* — заметка в разделе «Библиографические новости» газеты «Новое время» (1890. 14 марта. С. 4) о выходе книги Розанова «Место христианства в истории».

«Новое время» — ежедневная газета, издававшаяся товариществом А. С. Суворина; выходила в Петербурге с 1868 по 1917 гг. Розанов публиковался в газете с 1890-х гг. (с 1899 — постоянный сотрудник).

«Русские ведомости» — ежедневная политическая и литературная газета либерального направления; выходила в Москве в 1863—1918 гг.

«Шиповник» — книгоиздательство (1906—1923), основанное З. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом; выпускало книги по искусству, философии, литературно-художественные альманахи «Шиповник» (1907—1917).

XXXI

С. 56. «*О красоте в природе*» — впервые опубликована под названием «Что выражает собою красота природы?» в «Русском обозрении» (1895. № 10—12). Отдельный оттиск статьи вышел под заглавием «Красота в природе и ее смысл» (М., 1894). Под тем же названием вошла в книгу Розанова «Природа и история» (СПб., 1900).

С. 57. «*Русское Обозрение*» — ежемесячный литературный и политический журнал консервативного направления; выходил в Москве в 1890—1898 гг.

XXXII

С. 58. «*Мир как целое*» — книга Страхова «Мир как целое. Черты из науки о природе» (СПб., 1872).

С. 59. «*О законе сохранения энергии*» — статья Страхова, опубликованная в «Вопросах философии и психологии» (1891. № 6. С. 97—131).

«История социальных систем» — книга В. Г. Щеглова «История социальных систем от древности до настоящих дней» (Т. 1. СПб., 1870. Т. 2. СПб., 1889). Статья

Страхова, посвященная выходу второго тома книги, опубликована в «Русском вестнике» (1890. № 5. С. 265—276).

...к востоку от Вержлобова — т. е. в России; Вержлобово — официальное название (до 1917 г.) Вирбалис в Литве, в то время пограничной станции на русско-германской границе.

С. 60. «*Роковой вопрос*» — статья Страхова, первая часть которой была опубликована под псевдонимом «Русский» в журнале Ф. М. Достоевского «Время» (1863. № 4. Отд. II. С. 152—163). Полностью появилась в книге «Борьба с Западом...».

XXXIII

С. 60. ...*статью обо мне* — в июне—июле 1890 г. Розанов работал над статьей о Страхове (первая из статей, включенных в книгу «Литературные изгнанники»). Название статьи согласовывалось с редакцией «Вопросов философии и психологии», где в № 4 за 1890 г. она была впервые напечатана. См. письмо Грота Розанову от 31 июля 1890: «Прочитав вторично Вашу статью в корректуре, я еще больше восхищен ею... Прошу у Вас позволения опять изменить заглавие статьи так: «О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» (Москва. 1992. № 2—4. С. 128).

XXXIV

С. 62. *Статья Цертелева о Толстом* — статья Д. Н. Цертелева «Учение гр. Л. Н. Толстого о жизни» (Русское обозрение. 1890. № 7).

XXXV

С. 63. «*Три фазиса*» — речь идет о статье Розанова «О трех фазисах в развитии нашей критики» (Русское обозрение. 1892. № 8), вошедшей позже в книгу «Литературные очерки» (СПб., 1899; 2-е изд. — 1900) под заглавием «Три момента в развитии русской критики».

С. 65. «*Отечественные записки*» — литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1839—1884 гг. А. А. Краевским (с 1876 г. редакторы А. А. Краевский и М. Е. Салтыков-Щедрин).

...*письмо, напечатанное в юбилей 1910 года* — вероятно, имеется в виду письмо В. Г. Белинского В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 г., впервые полностью опубликованное Е. А. Ляцким в 1908 г.

С. 67. «*Метафизика в древней Греции*» — книга С. Трубецкого (М., 1890). Розанов отзыва о ней не писал.

XXXVI

С. 68. «*Исторические монографии*» — исследование Н. И. Костомарова «Исторические монографии и исследования» (Т. 1—12. СПб., 1863—1870. Изд. 2-е. Т. 1—20. СПб., 1872).

С. 69. «...*выкинул штуку в «Русской Мысли»* — имеется в виду статья Соловьева «Мнимая борьба с Западом» (Русская мысль. 1890. № 8. Отд. II. С. 1—20).

С. 70. «Воспоминания о Достоевском» — статья Страхова, предисловие к первому тому Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского (СПб., 1883. С. 179—329).

Об «1 марта» я один написал — имеется в виду ряд статей Страхова «Письма о нигилизме» в журнале «Русь» (1881. № 23—25, 27), издававшемся в 1881—1886 гг. в Москве И. С. Аксаковым.

«Мир искусства» — ежемесячный литературно-художественный иллюстрированный журнал, орган объединения «Мир искусства» и писателей-символистов; выходил в Петербурге в 1899—1904 гг.

«Новый путь» — ежемесячный литературный и критико-библиографический журнал религиозно-философского направления; выходил в Петербурге в 1903—1904 гг. под редакцией Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус и П. П. Перцова (позже Д. В. Filosofova).

XXXVII

С. 73. «Религиозно-философское общество» — организовано в конце 1907 г. в Петербурге по типу Религиозно-философских собраний 1901—1903 гг., продолжило их традиции. Розанов был в числе организаторов общества (наряду с Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус и Д. В. Filosofoвым).

XXXVIII

С. 74. *Кого-то хоронят. «Кого?» — «Пергамента».* — Похороны члена Государственной думы Пергамента проходили 19 мая 1909 г.

XXXIX

С. 76. «Поездка на Афон» — имеется в виду статья Страхова «Воспоминания о поездке на Афон».

«История новой философии» Ибервега — книга Ф. Ибервега и М. Гейнце «История новой философии в сжатом очерке» (Пер. Я. Колубовский. Изд. 1-е. СПб., 1890). Книга содержала приложение «Очерки философии у славян», составленное Я. Н. Колубовским. При переиздании приложение было расширено за счет включения дополнительных данных о Страхе из статьи Колубовского «Н. Н. Страхов» (Вопросы философии и психологии. 1891. № 7. Приложение).

...статью против меня в декабр. кн. «В. Европы». — В «Вестнике Европы» вышли две полемические статьи Вл. С. Соловьева, которые касались Страхова. Одна — «Счастливые мысли Н. Страхова» (№ 11) — была направлена против самого Страхова, другая — «Немецкий подлинник и русский список» (№ 12) — против книги его единомышленника Данилевского «Россия и Европа».

XL

С. 77. Ю. Николаев написал недурно — имеется в виду статья Ю. Н. Говорухи-Отрока в разделе «Литературные заметки»: Николаев Ю. Нечто о Гоголе и Достоевском. По поводу статьи В. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского // Московские ведомости. 1891. 26 янв. Юрия Николаевича Говорухи-Отро-

ка Розанов считал одним из лучших критиков 1880—1890-х гг., это мнение разделял и Страхов.

«Московские ведомости» — одна из старейших российских газет (1756—1917, с 1859 ежедневная).

...опера отпиа Ангела Богдановича — полный свод (лат.), имеется в виду книга А. И. Богдановича «Годы перелома. 1895—1906» (СПб., 1908).

«Соврем. Мир» — ежемесячный литературный, научный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1906—1917 гг. как продолжение закрытого цензурой ежемесячного литературного и научно-популярного журнала «Мир Божий» (СПб., 1892—1906). А. И. Богданович был редактором и издателем журнала в 1906 г., ранее был редактором литературного отдела «Мира Божьего».

С. 78. *«Из истории нигилизма»* — книга Страхова «Из истории литературного нигилизма. 1861—1865» (СПб., 1890).

...закон энергии — имеется в виду статья Страхова «О законе сохранения энергии».

«Наше место в вечности» — религиозно-этический трактат П. А. Кускова в духе почвеннических идей Достоевского, Данилевского и Страхова был издан в 1907 г. в Киеве. В некрологе, посвященном Кускову, Розанов процитировал слова Страхова: Кусков «есть настоящий» уроденный философ, с оригинальным и большим философским светом в себе, с полным и гармоничным мирозерцанием» (Новое время. 1909. 22 авг.).

XLII

С. 81. *«Будильник»* — юмористический журнал, еженедельно выходивший в Москве с 1865 по 1917 г.

«Стрекоза» — еженедельный художественно-юмористический журнал, издававшийся в Петербурге в 1875—1908 гг.

С. 82. *«Национальная политика как орудие всемирной революции»* — книга К. Н. Леонтьева, первоначально (в 1888 г.) печатавшаяся в виде девяти писем к о. И. Фуделю в политико-литературной газете-журнале «Гражданин», а затем изданная отдельной брошюрой (М., 1889). Заглавие этой работы при публикации ее в т. 6 Собрания сочинений (М., 1912) было изменено редактором И. Фуделем в соответствии с заметками самого Леонтьева на — «Племенная политика как орудие всемирной революции».

С. 83. *«Воспоминания о ходе философской литературы»* — статья Страхова, опубликованная посмертно в «Историческом вестнике» (1897. № 5. С. 123—134).

«О геометрических понятиях», «Логика естественной системы» — под такими названиями статьи Страхова не публиковались.

XLV

С. 89. *«Вы построили у себя закон на законе и правило на правиле»* — ср.: Ис. 28, 10; 28, 13: «заповедь на заповедь, правило на правило».

«А если законом оправдание, — то Христос напрасно умер» — Гал. 2, 21.

...переписка с Рачинским — опубликованные Розановым материалы «Из переписки С. А. Рачинского» в «Русском вестнике» (1902. № 10, 11; 1903. № 1).

XLVI

С. 90. *Вы пишете о К. Н. Леонтьеве?* — В это время Розанов работал над статьей «Эстетическое понимание истории».

«Итоги современного знания» — статья Страхова «Итоги современного знания (По поводу книги Ренана «L'avenir de la science»)» (Русский вестник. 1892. № 1. С. 65—94).

XLVIII

С. 93. *«Афоризмы и наблюдения»* — работа Розанова, впервые: Русское обозрение. 1894. № 10—12.

...редактор катковского «Русского вестника». — Ф. Н. Берг стал издателем и редактором журнала в 1887 г., в тот же год редакция была переведена в Петербург. До этого (с 1856 г.) журнал издавался в Москве М. Н. Катковым. Уже в 1860-е гг. Катков зарекомендовал себя как ревностный сторонник охранительного курса. Называя журнал катковским, Розанов, скорее всего, подчеркивает неизменность идеологической направленности «Русского вестника».

С. 94. *...у него были хорошие бакенбарды, представительный рост и приятный голос.* — Комментируя замечание Розанова о внешности попечителя Московского округа графа Павла Алексеевича Капниста, Э. Ф. Голлербах писал: «Здесь Розанов что-то напутал, ибо, по свидетельству Э. Л. Радлова, граф Капнист вовсе не обладал описанной наружностью; напротив, внешность его и голос были непривлекательны» (Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг., 1922. С. 17).

...в Лоскутной гостинице. — Гостиница располагалась в Москве, на Манежной площади; здание не сохранилось.

XLIX

С. 95. *«...путями, их же Ты, Господи, веси»* — ср.: Ис. 28. 10: «Господь... ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти».

L

С. 97. *Фельетоны Ваши* — имеются в виду статьи Розанова «Почему мы отказываемся от «наследства 60—70 годов?»» (Московские ведомости. 1891. № 185. 7 июля. С. 3—5) и «В чем главный недостаток «наследства 60—70 годов?»» (Московские ведомости. 1891. № 192. 14 июля. С. 3—5). Позже вошли в книгу Розанова «Литературные очерки».

С. 98. *«Толки о Л. Н. Толстом»* — статья Страхова «Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд)», опубликованная в «Вопросах философии и психологии» (1891. № 9. С. 98—132).

LII

С. 98. *«Философский Словарь»* — «Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии» (СПб., 1904; 2-е изд., испр. и доп.: СПб., 1913), составленный Э. Л. Радловым.

С. 99. *Говоруха написал... об Скабичевском и Андреевском* — имеется в виду статья: Николаев Ю. Литературные заметки. Конкуренты Никольского рынка (А. М. Скабичевский. История новейшей русской литературы. СПб., 1891) // Московские ведомости. 1891. № 254. 14 сент. С. 4—5.

С. 100. *...свою брошюру о Л. Н. Толстом* — имеется в виду книга: Антоний (Храповицкий). Беседы о превосходстве православного понимания Евангелия сравнительно с учением Л. Толстого. 2-е изд. СПб., 1891. Первое издание вышло под заглавием «Беседы о православном понимании жизни и его превосходстве над учением Л. Толстого» (СПб., 1889).

LIII

С. 100. *Вашу статью* — имеется в виду статья Розанова «Эстетическое понимание истории».

«*Современник*» — ежемесячный литературный и общественно-политический журнал демократического направления; выходил в Петербурге в 1847—1866 гг. Редактор-издатель Н. А. Некрасов.

«*Дело*» — политический и научно-литературный журнал демократического направления; издавался в Петербурге в 1866—1888 гг., издатель-редактор Г. Е. Благовослов.

...О, хоть бы ночь! / Хоть бы Вечная Ночь... — А. Н. Апухтин. Мухи (1873). (У Апухтина: «Эх! кабы ночь настоящая, вечная ночь поскорее!»)

С. 101. *Леонтьеву, как и Норову.* — Статья Розанова посвящена разбору работы К. Н. Леонтьева «Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр. Толстого» (Русский вестник. 1890. № 6—8). Страхов сравнивает мысль Леонтьева, высказанную в его статье, с некоторыми положениями работы А. С. Норова «Война и мир 1805—1812 г. с исторической точки зрения и по воспоминаниям современников. По поводу соч. гр. Л. Н. Толстого «Война и мир» (СПб., 1868).

...я разом явился... в «*Русск. Вестн.*» и в «*Вопросах*» — имеются в виду статьи Страхова о Ренане «Итоги современного знания» в «Русском вестнике» (1892. № 1. С. 65—94) и «Ответ на письмо неизвестного» в «Вопросах философии и психологии» (1892. Кн. II. С. 94—100).

С. 102. *...пришлю Вам свою «Борьбу»* — вышедший вторым изданием (СПб., 1890) второй том книги Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки».

LIV

С. 102. *Вашу статью для мартовской книжки* — имеется в виду работа Розанова «Теория исторического прогресса и упадка» (окончание статьи «Эстетическое понимание истории»).

С. 103. «*Узнаю Господни судьбы*» ... «*И — плачу! проклинаю! — но и веселюсь о Господе!*» — Прямого соответствия не обнаружено. Ср.: Рим. 11, 33; 12, 14—15: «Как непостижимы судьбы Его. ...Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими».

С. 104. «*Итоги*» — статья Страхова «Итоги современного знания» (Русский вестник. 1892. № 1).

С. 105. «*VII-й заповеди*» — не прелюбодействуй (Исх. 20, 14).

«Вечные истины» и «Основные понятия» — книги Страхова «О вечных истинах. Мой спор о спиритизме» (СПб., 1887) и «Об основных понятиях психологии и физиологии» (СПб., 1886).

LV

С. 106. «Православное Обозрение» — ежемесячный журнал, издававшийся в Москве в 1860—1891 гг.

«О мертвых <либо хорошо, либо ничего>» — античная пословица.

С. 107. «Люди лунного света» — книга Розанова «Люди лунного света. Метафизика христианства» (Изд. 1-е. СПб., 1912; Изд. 2-е. СПб., 1913).

«Пол и характер» — книга Отто Вейнингера (1903, русский перевод: М., 1908).

С. 108. «Шум божественной эллинской речи...» — А. С. Пушкин. На перевод Илиады (1830). (У Пушкина «звук божественной эллинской речи».)

С. 109. «Посылаю Вам свою статью» — имеется в виду статья Страхова «Справедливость, милосердие и святость» (Новое время. 1892. № 5784. 5 (17) апр. С. 2).

LVII

С. 110. ...за разбор «Мира» и за «Фазисы» — статьи Розанова «Идея рационального естествознания» (рецензия на книгу Страхова «Мир как целое») и «О трех фазисах в развитии нашей критики», опубликованные в «Русском обозрении» (1892. № 8).

...разбор «Мира», писанный Лопатиным — статья Л. М. Лопатина в указанном Страховым ноябрьском номере «Вопросов философии и психологии» (№ 15) не появилась.

...статья С. Трубецкого о К. Н. Леонтьеве — статья С. Трубецкого «Разочарованный славянофил» (Вестник Европы. 1892. № 10).

«Несколько слов о Ренане» — статья Страхова, опубликованная в «Русском вестнике» (1892. № 11. С. 242—263).

LVIII

С. 113. «Заря» — научно-литературный и политический журнал, ежемесячно выходивший в Петербурге в 1869—1872 гг. В этом журнале впервые печаталась «Россия и Европа» Данилевского (1869).

«Еще о мозаичности» — статья Розанова «Еще о мозаичности и эклектизме в истории» (Московские ведомости. 1892. № 288. 17 окт. С. 3—4). Статья была написана в продолжение полемики с Н. Михайловским в ответ на его статью «Литература и жизнь. Гл. 1—3» (Русская мысль. 1892. № 9; отд. изд.: СПб., 1892). Публикация Михайловского, в свою очередь, являлась откликом на фельетон Розанова «Может ли быть мозаична историческая культура?» (Московские ведомости. 1892. № 199. 20 июля).

«Воспоминания и отрывки» — книга Страхова (СПб., 1892).

С. 115. «Цель жизни» — статья Розанова; возможно, Страхов проводит параллель между этой статьей Розанова и своими более ранними статьями «Письма о жизни» и «Содержание жизни» (Светоч. 1860. № 3, 5, 8; 1861. № 1, 2).

С. 116. ...я написал... о Фете — имеется в виду предисловие к книге «Лирические стихотворения А. Фета. В двух частях» (СПб., 1894), в то время готовившейся к изданию Страховым и К. Р. (К. К. Романовым) по просьбе вдовы поэта М. П. Шеншиной. Позже заметки Страхова о Фете были переработаны в две статьи: «А. А. Фет. Биографический очерк» и «Заметки о Фете», — вышедшие в составе второго издания стихотворений поэта (*Фет А.* Полное собрание стихотворений. В 2 т. СПб., 1901).

С. 119. «О монархии» — статья Розанова «О монархии (По поводу панамских дел)» в «Русском обозрении» (1893. № 2. С. 682—700).

С. 123. «...статья Воынского» — статья А. Л. Воынского «Литературные заметки», посвященная книге Страхова «Воспоминания и отрывки» и вышедшая в журнале «Северный вестник» (1893. № 2. С. 116—146).

«Об упадке» — работа Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»; в декабре 1892 г. прочитана как публичная лекция в Петербурге, в Соляном городке, затем вышла отдельной книгой (СПб., 1893). В этой работе Мережковский дает двойственную характеристику А. Воынскому: высоко оценивая его как философа, отмечая научную добросовестность и возвышенный мистицизм (именно эту часть отзыва приводит Страхов), Мережковский вместе с тем считает Воынского как критика мелочным и унылым «молодым мертвецом», одаренным «искусственной жизнью».

С. 125. «Духа не угашайте» — работа Н. П. Аксакова «Духа не угашайте! По поводу статьи Л. А. Тихомирова «Духовенство и общество в современном религиозном движении» в «Русском обозрении». 1892 № 9 (СПб., 1894; на обложке: 1895).

С. 126. ...отношение книги Рюккерта к книге Данилевского. — Статью об этом написал Страхов: Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского // Русский вестник. 1894. № 10. С. 154—183 (также см. об этом ниже письмо LXXIV).

С. 127. ...натура... виноградаря и рыбовода. — Розанов указывает на широту интересов Н. Я. Данилевского. Автор «России и Европы» участвовал в научных экспедициях по исследованию рыболовства в бассейнах Волги и Каспийского моря, Белого моря и Ледовитого океана, был одним из составителей издания «Исследования о состоянии рыболовства в России», автором тома «Описание рыболовства на Черном и Азовском морях» (СПб., 1871), разработчиком ряда законов о рыболовстве. Директор Никитского ботанического сада и владелец виноградников на южном берегу Крыма, Данилевский вел энергичную борьбу с жучком-вредителем филлоксерой, председательствовал в филлоксерной комиссии. Результаты его изыска-

ний опубликованы в брошюрах: «Филлоксера на южном берегу Крыма и средства борьбы с нею» (Феодосия, 1880), «Сравнение методов борьбы с филлоксерой» (Симферополь, 1881), «О способах борьбы с филлоксерой» (СПб., 1882).

«Что тебе и мне, человек Божий, — ты пришел умертвить моего сына» — 3 Цар. 17, 18.

«Национальный вопрос» — книга Вл. С. Соловьева «Национальный вопрос в России» (1-й вып.: СПб., 1883—1888; 2-й вып.: 1888—1891).

LXVII

С. 129. «О задачах философии истории» — статья Н. Н. Страхова, опубликованная в «Вопросах философии и психологии» (1894. № 1. Отд. II. С. 1—34).

LXVIII

С. 129. «Попытка точно поставить вопрос» — статья Страхова «О развитии организмов. Попытка точно поставить вопрос» в сб. «Природа» (Кн. 1. М., 1874).

LXXI

С. 130. ...о *Вашей статье*. — Возможно, Страхов хотел обсудить одну из розановских статей: или «Свобода и вера» (Русский вестник. 1894. № 1. С. 265—285), или «Ответ г. Владимиру Соловьеву» (Русский вестник. 1894. № 4. С. 191—211; сдан в журнал в марте) — отклик на статью Соловьева «Порфирий Головлев о свободе и вере» (Вестник Европы. 1894. № 2).

LXXIII

С. 132. *И Виндельбанду рад*. — Вероятно, имеется в виду одна из работ историка философии Вильгельма Виндельбанда: «История древней философии» (СПб., 1893) или глава «Барух Спиноза» из его книги «История новой философии», опубликованная как приложение к книге А. Фулье «Декарт» (М., 1894).

LXXIV

С. 133. *Вашей статьи в июльской книжке* — имеется в виду статья Розанова «Что против принципа творческой свободы нашли возразить защитники свободы хаотической?» (Русский вестник. 1894. № 7. С. 196—235).

«Конец спора» — статья Соловьева в «Вестнике Европы» (1894. № 7).

LXXV

С. 134. *Об Ваших «Афоризмах»* — имеется в виду работа Розанова «Афоризмы и наблюдения».

«Что нашли» — статья Розанова называется «Что против принципа творческой свободы нашли возразить защитники свободы хаотической?».

С. 135. *Афоризмы* — имеется в виду брошюра: *Шперк Ф.* Мысль и рефлексия. Афоризмы (СПб., 1894; на обложке: 1895).

С. 136. «Сборник» *Данилевского* — книга: *Данилевский Н. Я.* Сборник политических и экономических статей. СПб., 1890.

Праздник Маркса — праздник петербургского Товарищества издательского и печатного дела «А. Ф. Маркс» (адрес: Санкт-Петербург, Измайловский, 29). В то время Розанов сотрудничал с издательством как автор предисловия к Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского в 12 т. (см.: Т. 1. СПб., 1894. С. V—XXIV).

С. 137. *Вашу статью* — речь идет о статье Розанова «Поздние фазы славянофильства (Н. Я. Данилевский. Россия и Европа)» (Новое время. 1895. № 6811. 14 февр.); перепечатана в «Литературных очерках».

С. 138. *...о Вашей статье* — о статье Розанова «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» (Русский вестник. 1895. № 8. С. 154—187).

С. 139. *Книга Лебона* — книга Г. Лебона «Эволюция цивилизаций» (Одесса, 1895).

С. 140. *...новую повесть*. — Речь идет о «Коновской повести» — первом варианте романа «Воскресение», над которой Л. Н. Толстой начал интенсивную работу летом 1895 г. Известно, что 6—7 августа в Ясной Поляне Толстой читал вслух отрывки из будущего «Воскресения» Страхову и С. И. Танееву.

Письма В. В. Розанова к Н. Н. Страхову

Письма В. В. Розанова к Н. Н. Страхову 1888—1894 гг. хранятся в Библиотеке Украинской академии наук (Фонд Н. Н. Страхова. Ед. хр. 17940—18042), публикуются по рукописи, подготовленной к печати А. Н. Николокиным. Отдельные письма в сокращении печатались в «Российском литературоведческом журнале» (1994, № 5—6; 2000, № 13/14).

Даты в начале писем Розанова проставлены Страховым; означают день получения письма.

1

С. 145. *Глас вопиющего в пустыне* — Мф. 3, 3.

С. 146. *Я первый год служу в полной гимназии...* — С 1 августа 1887 г. Розанов начал учительствовать в Елецкой гимназии.

С. 147. ...в «Дешевой библи.» — название общедоступной серии книг, выпускавшейся в издательстве А. С. Суворина по образцу немецких и французских серий «Universal-Bibliothek» и «Bibliothèque Nationale». К началу 1890-х гг. в серии «Дешевая библиотека» вышло несколько сот книг — классических произведений русских и иностранных писателей.

2

С. 151. *Я уехал... в Брянск...* — В Брянской неполной мужской гимназии Розанов проработал преподавателем истории и географии пять лет.

С. 152. ...о Громеке... — Вероятно, Розанов интересовало, что думает Страхов, друг Л. Н. Толстого и знаток его творчества, о книге «Последние произведения Толстого» (1886), написанной М. С. Громекой, апологетом педагогических идей и нравственной теории Толстого.

3

С. 153. ...у Уэвеля... — речь идет об «Истории индуктивных наук от древнейшего до настоящего времени» У. Уэвеля (СПб., 1867—1869).

...у Гогоцкого... — возможно, Розанов имеет в виду одну из историко-философских работ С. С. Гогоцкого или статьи из подготовленного этим ученым первого в России многотомного философского словаря «Философский лексикон» (Т. 1—4, 1857—1873).

...у Ланге в «Ист. матер.»... — Речь идет о книге немецкого философа-неокантианца Фридриха Альберта Ланге «История материализма и критика его значения в настоящее время» (Пер. Н. Н. Страхова. СПб., 1881—1883. Т. 1—2).

...у Тэта... — Имеется в виду книга П. Г. Тэта «Свойства материи» (Пер. под ред. И. М. Сеченова. СПб., 1887).

С. 154. ...ссылка Каткова... — Речь идет о книге М. Н. Каткова «Очерки древнейшего периода греческой философии» (М., 1853).

С. 156. «Вера и разум» — богословско-философский журнал, издававшийся Харьковской духовной семинарией с 1884 по 1916 г.

...благородного Карпова не забыл. — Имеется в виду философ, преподаватель Киевской духовной академии В. Н. Карпов, сделавший переводы на русский язык практически всех сочинений Платона. Тексты диалогов греческого мыслителя Карпов предварял собственными введениями, в которых кратко излагал, анализировал и комментировал содержание платоновских текстов. Этот метод использовали в работе над «Метафизикой» В. Розанов и П. Первов.

Extemporale — учебные упражнения по переводу текста с родного языка на иностранный (обычно на латинский или греческий) без предварительной подготовки.

«Зад. этики» — книга философа Э. Л. Радлова «Задачи этики» (СПб., 1886), печаталась в «ЖМНП». Позднее (в 1908 г.) Радлов опубликовал свой перевод «Этики» Аристотеля.

С. 157. «Ист. Петра Вел.» Брикнера — книга историка А. Г. Брикнера «История Петра Великого» (СПб., 1882).

С. 158. *Нет ли чего-нибудь на русском языке...* — Основные труды К. М. Бэра, русского эмбриолога эстонского происхождения, написаны по-немецки, поэтому Страхов в ответном письме 18 марта писал: «И Бэр, и Кант, и Гегель... существуют только по-немецки». И тем не менее в журналах 1860-х гг. вышло несколько статей Бэра на русском языке.

С. 161. *Громадный «Словарь» Бэйля* — «Исторический и критический словарь» (Т. 1—2, 1695—1697), составленный французским философом Пьером Бейлем.

С. 164. *...лица необщим выражением.* — Е. А. Баратынский. Муза (1829).

С. 166. *...вроде Лопатина...* — речь идет о книге философа Л. М. Лопатина «Основные задачи философии» (М., 1886).

С. 167. *...философ вроде Гейлинкса или, быть может, Мальбранша.* — Розанов сравнивает взгляды П. А. Бакунина с идеями окказионалистов голландца Арнольда Гейлинкса и француза Никола Мальбранша, предтечами учения Лейбница о предустановленной гармонии. Розанов сопоставляет окказионализм с идеями П. А. Бакунина о Боге как Предвечном смысле и «саморазумении» мира.

С. 169. *...слова о Владиславлеве, Сергиевском и Новом университетском уставе...* — Новый устав 1884 г. резко ограничил начала университетского самоуправления, введенные реформой 1865 г., и расширил полномочия ректоров в области надзора за ходом преподавания и дисциплиной профессорского состава. Ректорам была передана также значительная доля обязанностей и полномочий университетских советов и факультетских собраний. Философ М. И. Владиславлев, ректор Санкт-Петербургского университета (с 1887 г.), и Н. А. Сергиевский, профессор богословия Московского университета, активно поддерживали нововведения.

С. 171. *Анахарсис* — скиф (VII—VI вв. до н. э.), побывавший в древних Афинах. Образ «восхищенного Анахарсиса» Розанов использовал в первом коробе «Опавших листьев».

С. 172. *Доколе будешь?* — выражение гневного нетерпения (слова Цицерона из речи против Катилины).

С. 173. *...Вашей статьи* — о статье Страхова «Наша культура и всемирное единство».

С. 179. *...издание Пушкина, сделанное Поливановым* — пятитомник «Сочинения А. С. Пушкина с объяснением их и сводом отзывов критики, для семьи и школы» (СПб., 1887—1888), подготовленный педагогом и литературоведом Л. И. Поливановым.

...*Вашу книжку о Пушкине и др. поэтах* — «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб., 1888).

«*Складчина*» — литературный сборник, изданный в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии (СПб., 1874). В нем приняли участие около 50 литераторов, в том числе и Страхов.

...*Ваших статей об Ап. Григорьеве* — речь идет о статьях, включенных в сборник Страхова «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом». Ап. А. Григорьева Страхов считал своим литературным учителем и во многом способствовал популяризации его имени и идей, в том числе выступил издателем и редактором «Сочинений» Ап. Григорьева (Т. 1. СПб., 1876).

С. 181. ...*не услышу ли «Сомнамбулу»* — т. е. оперу Винченцо Беллини (1831).

«*Альберт*» — рассказ Л. Н. Толстого (1858).

«*Фенелла*» — опера Франсуа Эспри де Обера «Фенелла» («Немая из Портичи», 1828).

«*Тоскою глубокой и страстью безумно мятежной...*» — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...» (1841).

...*о войне «Алой и Белой Розы»*. — 30-летняя война (1455—1485) в Англии между двумя ветвями династии Плантагенетов — Йорками (в гербе — белая роза) и Ланкастерами (в гербе — алая роза).

С. 182. «*О вечности христианства*» — предварительное заглавие работы Розанова «Место христианства в истории» (1890).

С. 183. *Теперь читаю книгу Клод Бернара...* — Розанов имеет в виду переведенную Страховым книгу французского физиолога Клода Бернара «Введение к изучению опытной медицины» (СПб.; М., 1866).

С. 185. ...*статьи Михайловского о Л. Н. Толстом*. — Публицист, критик и социолог Н. К. Михайловский был автором серии статей о Толстом; первая из них — «Десница и шуйца графа Толстого» (1875).

...*Ланге, сравнивая Сократа с Корнелем...* — Далее Розанов ссылается на мысль, высказанную Ф. Ланге в первом томе («Древняя философия») его труда «История материализма и критика его значения в настоящее время».

...*хоть о Достоевск. невыразимо скверно и глупо...* — Творчество Ф. М. Достоевского Н. К. Михайловский обсуждал в ряде статей, посвященных «Преступлению и наказанию», «Бесам», «Дневнику писателя». Центральная из них — «Жестокий талант» (1882).

10

С. 187. «*Скажут имя твое — пролитой аромат*» — Песн. 1.2.

«*Хромые бесы*», *плутоватые авторы «Свадьбы Фигаро»...* — здесь речь идет об произведениях, в центре которых стоит образ удачливого плута: романе Лесажа «Хромой бес» (1707), пьесе Бомарше «Женитьба Фигаро» (1784), опере Моцарта «Свадьба Фигаро» (1786).

С. 188. «*Два мира*» — лирическая трагедия А. Н. Майкова (1882). Страхов опубликовал отзыв о ней в сборнике «Отчет о первом присуждении пушкинских премий» (СПб., 1882).

С. 190. ...*Прошение в Ученый комитет* — о представлении книги Розанова «О понимании» в Ученый комитет Министерства народного просвещения для одобрения ее в гимназические библиотеки.

...*это будет мой 1-й дебют в журналистике* — статья Розанова «Вопрос о происхождении организмов» о критическом исследовании Данилевского «Дарвинизм»; опубликована в майском номере «Русского вестника» за 1889 г.

С. 191. ...*статья Тимирязева* — статья «Отвергнут ли дарвинизм?». См. ответ Страхова в письме к Розанову от 20 января 1889 г.

На письме ошибочная карандашная помета Страхова «8 февр. 88». Судя по содержанию, письмо относится к февралю 1889 г.

С. 193. ...*брат ли он Ап. Н. Майкова*. — Историк литературы, библиограф, этнограф и редактор «ЖМНП» (1883—1890) Леонид Николаевич Майков и поэт Аполлон Николаевич Майков были братьями.

Вы забыли, должно быть, прислать мне два оттиска Вашего ответа Соловьеву... — В письме от 20 января 1889 г. Страхов пишет: «1 февраля в «Русск. Вестнике» будет моя статья: Последний ответ Вл. С. Соловьеву — всего 12 страниц. Пришлю Вам оттиск, — пожалуй, два».

С. 197. *Фаминцын* Андрей Сергеевич — член Петербургской Академии наук. Участник полемики вокруг книги Данилевского «Дарвинизм». Автор статьи в «Вестнике Европы» (1889. № 2), о которой Страхов писал Розанову в письме от 5 февраля 1889 г. См. также: *Страхов Н. А. С. Фаминцын* о «Дарвинизме» Н. Я. Данилевского // *Русский вестник*. 1889. № 4. С. 225—243.

С. 204. ...«*бремена неудобноносимые*» — Лк. 11, 46.

С. 208. ...*в лице Лесевича...* — Философ В. В. Лесевич был автором ряда работ о литературе Испании и русско-испанских литературных связях. См. его статью «Взгляды испанской критики на русскую жизнь и русский роман» (*Русская мысль*. 1888. № 10).

С. 209. ...*моя жена...* — первая жена Розанова Аполлинария Прокофьевна (урожд. Сулова).

С. 210. ...*моя бедная Варя* — Варвара Дмитриевна Бутягина (урожд. Руднева).

С. 212. «*Отказ проф. Тимирязева от дарвинизма*» — Речь идет о статье Розанова «Отречение дарвиниста (ответ Тимирязеву)».

С. 215. «*Два гусара*» — повесть Л. Н. Толстого (1856).

С. 217. *Я сделал все, что мог* <пусть другие сделают лучше> — этими словами заканчивали свой отчет римские консулы.

С. 218. «*Ответ гр. Л. Н. Толстому на вопрос о цене человеческой жизни*». — Идеи «*Ответа*» были позже развиты Розановым в статье «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» (1895).

С. 219. «*А годы проходят, все лучшие годы*» — М. Ю. Лермонтов. «И скучно и грустно...» (1840).

С. 221. «*Воспоминания об Афоне*» — очерк Страхова «Воспоминания о поездке на Афон» — очерк Страхова «Воспоминания о поездке на Афон» (Русский вестник. 1889. № 10).

...в «*Церков. ведом.*» ... «*Церк. вестн.*» — Розанов путает названия двух журналов, издаваемых при Санкт-Петербургской духовной академии: «Церковные ведомости» (1888—1917) и «Церковный вестник» (1875—1917).

С. 222. ...*прочел Вашу статью*... — Страхов Н. Поминки по Аполлоне Александровиче Григорьеве // Новое время. 1889. № 4876. 25 сентября.

...*инока Парфения какие-то странствования* — речь идет о книге «Сказание о странствовании и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле пострижника Святыя Горы Афонския инока Парфения» (1845).

С. 223. ...«*оторванный от ветки листочек дубовый*» — М. Ю. Лермонтов. Листок (1841). (У Лермонтова: «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...».)

С. 229. «*По поводу книг Данилевского*» — статья Страхова «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского» (Русский вестник. 1889. № 12. С. 186—203).

...*он кончит нехорошо*. — Действительно, М. С. Громека в припадке душевной болезни покончил с собой.

С. 232. ...*заметкою в «Нов. Вр.»* — Речь идет о рецензии Страхова на брошюру Розанова «Место христианства в истории» (Новое время. 1890. № 5048. 14 марта).

С. 233. ...*труд, если не многолетний, то многомесячный* — статья «Что выражает собою красота природы?».

С. 234. ...*хотя два оттиска нашего перевода* — имеется в виду перевод «Метафизики» Аристотеля.

35

С. 235. ...*не читал чудных записок Никитенко* — мемуары А. В. Никитенко «Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был» (публиковались в «Русской старине» в 1888—1892 гг.).

«Русская старина» — ежемесячный исторический журнал; выходил в Петербурге в 1870—1918 гг.

С. 236. *Рцы* — псевдоним публициста и издателя И. Ф. Романова (образован от старослав. «рцы» — скажи).

«Благовест» — «общедоступное издание», журнал, издававшийся в Харькове (1883—1887), Петербурге (1888—1889, 1890—1896) и Нежине (1889—1896).

...*ужасные вещи о Леонтьеве* — речь идет о гомосексуализме. Этой проблеме Розанов посвятил очерк «Гермес и Афродита» — отзыв на книгу А. Фореля «Половой вопрос» (Весы. 1909. № 5. С. 44—52) и книгу «Люди лунного света» (СПб., 1911).

36

С. 238. «*Соц. с-т.*» — имеется в виду книга Д. Ф. Щеглова «История социальных систем от древности до наших дней» (СПб., 1870—1889. Т. 1—2).

...*сообщите фамилию ученого и писателя...* — Речь идет об А. Н. Пыпине. См. ответ Страхова от 6 июня 1890 г.

38

С. 241. ...*что говорит Гамлет* — слова Гамлета перед встречей с Призраком (акт I, сцена 4 трагедии У. Шекспира «Гамлет»).

С. 242. «*Что Вы дрыгаете своими демократическими ляжками.*» — Ссора И. С. Тургенева с Л. Н. Толстым, произошедшая на квартире Н. А. Некрасова, описана в мемуарах А. А. Фета.

...*в защиту Барсукова, авт. «Жизни Погодина»* — имеется в виду книга Н. П. Барсукова «Жизнь и труды М. Погодина» (В 22 кн. СПб., 1888—1895. Кн. 1—9). Барсукову посвящены две статьи Розанова «Еще доброе дело на Руси» (Русское обозрение. 1895. № 4. С. 867—871) и «Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век» (Русский вестник. 1895. № 10. С. 163—189).

С. 243. *Николаев сейчас же воспользовался моей статьей* — речь идет о статье Розанова «Заметка о важнейших течениях философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии» и фельетоне Ю. Н. Говорухи-Отрока «Русская наука перед судом Вл. С. Соловьева» (Московские ведомости. 1890. № 129. 12 мая).

40

С. 245. «*Вера и разум*» — богословско-философский журнал, издание Харьковской духовной семинарии (1884—1917).

С. 249. «*Византизм и славянство*» — философско-исторический трактат К. Н. Леонтьева (1875), во многом написанный под впечатлением от книги «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского.

С. 249. ...*Вашей статьи*... — имеется в виду статья Страхова «О законе сохранения энергии».

Бекетов Андрей Николаевич — ботаник-эволюционист, член Петербургской Академии наук. Статья, о которой идет речь, написана Бекетовым в ходе дискуссии вокруг книги Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» (СПб., 1889).

С. 251. ...*реформировать логику*... — имеется в виду книга Н. Я. Грота «К вопросу о реформе логики».

С. 252. «*Из истории нигилизма*» — книга Страхова «Из истории литературного нигилизма» (СПб., 1890), в которую вошли статьи 1861—1865 гг., отражающие полемику с авторами журнала «Современник», прежде всего с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым.

«*Несколько слов о Гоголе*» — впервые: Московские ведомости. 1891. 15 февр. Статья вошла в книгу Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария» (СПб., 1894; 2-е изд.: СПб., 1902), приложение «О Гоголе». При подготовке к печати 3-го издания «Легенды» (СПб., 1906) Розанов заменил название статьи на «Пушкин и Гоголь».

...*ввиду ответа Николаева*. — т. е. статьи Ю. Н. Говорухи-Отрока «Нечто о Гоголе и Достоевском. По поводу статьи В. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского».

...*указание на Фемистоклюса и Алкида*... — ср.: «По какой-то обратной иронии, которая смеется над самыми мудрыми, в искусно выполненную поэму Гоголя замесались две детские фигурки. Это знаменитые Фемистоклос и Алкид, не похожие ни на что в детском мире, — ни действительном, ни опозитивированном. Ведь о них-то уже мы можем думать, что они были чисты и прекрасны и что никакого «оплотнения» души, о коем говорит г. Николаев, в них еще не было. И все-таки они — куклы, жалкие и смешные, как и все прочие фигуры «Мертвых душ» (Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 142).

С. 253. «*Отец Климент Зедергольм*» — *Леонтьев К.* Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни // Русский вестник. 1879. № 11—12. Отд. изд.: Варшава, 1880; М., 1882.

Фальстаф — комический персонаж Шекспира, герой исторической хроники «Генрих IV» и комедии «Виндзорские насмешницы» (обе — 1597).

«*Южный край*» — ежедневная политическая и литературная газета, выходившая в Харькове в 1860—1919 гг.

С. 254. *Высылая... паспорт жене...* — А. П. Розановой-Сусловой.

С. 257. *«Как выражается красота в природе»*. — Речь идет о статье Розанова, опубликованной в 1885 г. в журнале «Русское обозрение» (№ 10—12) под заглавием «Что выражает собой красота природы?», а затем вышедшей в том же году в Москве отдельной книгой под заглавием «Красота в природе и ее смысл». Написана как ответ на статью В. Соловьева «Красота в природе» (Вопросы философии и психологии. 1889. № 1), посвященную анализу афоризма Достоевского «Красота спасет мир». После журнальной публикации статьи состоялось личное знакомство Розанова с Соловьевым.

...4 экз. своей речи... — т. е. брошюры Розанова «Место христианства в истории».

...о своем докладе в комитете... — говорится об официальном отзыве Страхова на книгу «О понимании».

С. 259. *У нее есть мать ...* — Руднева (урожд. Жданова) Александра Адриановна, мать В. Д. Бутягиной.

Книг Шелгунова и Скабичевского не видел. — В ответном письме от 21 мая Страхов писал: «О Скабичевском и Шелгунове я спрашивал только ради шутки». Критики и историки литературы Н. В. Шелгунов и А. М. Скабичевский представлялись Розанову воплощением революционно-демократического шестидесятничества.

С. 260. *Аничков* Николай Милюевич — директор департамента Министерства народного просвещения.

...на имя г. министра... — на имя И. Д. Делянова.

С. 262. *«Русский курьер»* — ежедневная общественно-политическая газета, выходившая в Москве в 1879—1889, 1891 гг.

С. 264. *...приемная дочь...* — Бутягина Александра Михайловна.

...приготовил в 1 кл. гимназии. — К началу 1890-х гг. при приеме в первый класс гимназии (как мужской, так и женской) требовалось написать диктант, рассказать наизусть стихотворение, продемонстрировать знание начал арифметики и умение пользоваться счетами. Кроме того, проверялось умение прочитать текст по-русски и по-церковнославянски, а также знание основных молитв и важнейших событий из Священной истории.

С. 265. ...*утверждение в Европе дарвинизма...* — дарвинизм (термин введен в оборот Т. Гексли в 1860 г.) как научное течение получил широкое распространение в 1860-е гг. По Страхову, опасность заключалась в том, что это учение внедрялось в умы как универсальная система, распространяющаяся на все сферы жизни, в том числе и на жизнь социума.

Афазия — расстройство речи, обусловленное поражением коры больших полушарий головного мозга.

Вох — один из псевдонимов Ю. Н. Говорухи-Отрока.

54

С. 265. ...*на высших курсах...* — Высшие женские курсы, существовавшие в России в 1869—1917 гг. Наибольшей известностью пользовались курсы профессора В. И. Герье в Москве (с 1872 г.) и Бестужевские в Санкт-Петербурге (с 1878 г.).

...*это дело правительство взяло в свои руки...* — В 1890-х гг. некоторые курсы, первоначально существовавшие на правах частных учебных заведений, получили статус правительственных.

56

С. 267. ...*мой старший брат...* — Розанов Николай Васильевич.

«Гражданин» — политическая и литературная газета-журнал, издававшаяся в Петербурге в 1872—1914 гг. В 1873—1874 гг. редактором ее был Ф. М. Достоевский; там он публиковал свой «Дневник писателя».

С. 268. ...*написать мне об искренности* — см. письмо Страхова от 13 июня 1891 г.

...*предсказанного Вами денька своей статьи в «Русск. Вестн.»...* — в письме Страхова <от конца мая — начала июня 1891 г.>: «Для «Русского вестника» готовлю статью «Итоги современного знания» (это все — борьба с Западом). На самом деле работа «Итоги современного знания (По поводу книги Ренана «L'avenir de la science»)» была опубликована в № 1 «Русского вестника» за 1892 г. (С. 65—94).

57

С. 270. ...*мать...* — Розанова (урожд. Шишкина) Надежда Ивановна.

...*отца...* — Розанова Василия Федоровича.

...*вся его семья...* — семья Н. В. Розанова была многочисленной: жена Александра Степановна Троицкая и шестеро детей.

58

С. 271. ...*4 фельетона...* статьи «Почему мы отказываемся от «наследства 60—70-х годов?»» (Московские ведомости. 1891. 7 июля. № 185); «В чем главный недостаток «наследства 60—70-х годов?»» (Там же. 14 июля. № 192); «Два исхода» (Там же. 29 июля. № 207); «Европейская культура и наше отношение к ней» (Там же. 16 августа. № 225). Статьи вызвали полемику Розанова с Михайловским (см.: Михайловский Н. К. Письма о разных разностях // Русские ведомости. 1891, 25 июля, и др.). Вообще тема «отказа от наследства 60-х» была одной из главных среди интересовавших Розанова в 1880-х — начале 1890-х гг.

...из «Алфавита духовного»... — из книги св. Димитрия (Туптало); переиздавалась в 1883 и 1889 гг. «Алфавит духовный» был настольной книгой Страхова.

60

С. 275. ...против писаний Соловьёва... — статьи Страхова «Наша культура и всемирное единство. Замечания на статью Влад. Соловьёва «Россия и Европа» и «Последний ответ Вл. С. Соловьёву» (Русский вестник. 1889. № 2; в ответ на статью Соловьёва «О грехах и болезнях» в «Вестнике Европы» № 1 за 1889 г.).

...фельетон о Толстом... — статья «Два исхода».

...фельетон о Леонтьеве... — статья «Европейская культура и наше отношение к ней».

С. 276. «Путешествие на Афон» — очерк Страхова «Воспоминания о поездке на Афон».

...о Пушкине, Тургеневе и Толстом... — о книгах Страхова «Критические статьи. Том 1. Об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885)» и «Заметки о Пушкине и других поэтах».

61

С. 277. ...о глупости Струве. — Вероятно, речь идет о статье Страхова: «Введение в философию». Сочинение Генриха Струве. Варшава, 1890 // ЖМНП. 1891. № 2. Отд. II. С. 389—397.

...полемический ответ ему... — статья Страхова «Заметка о предыдущем «Ответе» (ЖМНП. 1891. № 4. Отд. II. С. 460—462).

62

С. 278. «Об Ренане» — мысли Страхова о Ренане реализовались в статьях, опубликованных в 1892 г.: «Итоги современного знания» и «Несколько слов об Ренане» (Русский вестник. 1892. № 11. С. 242—263).

...статья Я. Колубовского... — статья Я. Н. Колубовского «Н. Н. Страхов». См. коммент. к письму Страхова от 12 декабря 1890 г.

Смерть Леонтьева. — К. Н. Леонтьев умер 12 ноября 1891 г.

...моей статье... — о статье Розанова «Эстетическое понимание истории».

...заспорил с ним и о Вронском... — Poleмика Розанова с Леонтьевым по поводу Толстого и его романов «Анна Каренина» и «Война и мир» нашла отражение в статье «Эстетическое понимание истории». Отзыв Страхова на статью Розанова и анализ им взглядов Леонтьева см. в письме от 6 января 1892 г.

С. 279. ...3-й том «Борьбы»... — третий том книги Н. Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки» вышел в 1896 г.

63

С. 280. «Архив судебной медицины» — петербургский журнал «Архив судебной медицины и общественной гигиены» (1865—1871), издание Медицинского департамента Министерства внутренних дел. Позже выходил под названиями «Сборник

сочинений по судебной медицине» (1872—1881) и «Вестник судебной медицины и общественной гигиены» (1882—1917).

...вину перед женой. — С 1861 г. К. Н. Леонтьев был женат на Елизавете Павловне (по др. сведениям, Борисовне) Политовой.

64

С. 280. «Из мира идей и фактов». — В «Московских ведомостях» статья, о которой идет речь, не печаталась. Опубликовано в 1897 г. (Русь. № 61, 20 марта; № 66, 25 марта).

С. 281. Читали Вы статью Вл. Соловьева о Леонтьеве. — Имеется в виду статья «Памяти К. Н. Леонтьева» (Русское обозрение. 1892. № 1).

...сборник своих статей. — К изданию сборников своих статей Розанов приступил лишь в 1899 г.

65

С. 282. «Изыскание о цели человеческой жизни» — статья называется «Цель человеческой жизни».

...статью о ней Николаева — статья Говорухи-Отрока «Литературные заметки. Итоги века. По поводу статьи Н. Страхова «Итоги современного знания» (Московские ведомости. 1892. 11 января).

С. 283. «Исследование о животном электричестве» Дюб. Рейм. — книга Эмиля Дюбуа-Реймона: Du Bois-Reymond Emil. Untersuchigen über tierische Elektricität. Berlin, 1848—1849. Bd. 1—2.

67

С. 285. Макарьевская премия — премия Российской Академии наук (учреждена в 1870 г.), носит имя действительного члена Российской Императорской Академии наук, богослова и церковного историка митрополита Макария, автора «Истории русской церкви». Присуждалась российским ученым, работавшим в области гуманитарных, прежде всего, исторических, наук. После восьмидесятилетнего перерыва восстановлена в 1997 г.

«Прирученные животные» — «Прирученные животные и возделанные растения», русский перевод двухтомника Ч. Дарвина «Изменение домашних животных и культурных растений». Опубликовано впервые в 1868 г.

С. 286. ...стихотворение в «Рус. Вестн.» — Стихотворение П. А. Кускова «В пути» (Русский вестник. 1892. № 4. С. 286—288).

68

С. 286. Разбор «Мира как целого» — Розанов В. Идея рационального естествознания // Русский вестник. 1892. № 8. С. 196—221.

«В. О. Ключевский о древней Руси» — статья опубликована в «Русском вестнике» (1892. № 7. С. 213—227).

С. 288. ...*за присылку книжки* — книги Страхова «Воспоминания и отрывки» (СПб., 1892).

«Проклят день, в который я родился» — Иерем. 20, 14. Ср.: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек» (Иов. 3. 3).

Химера в моем фельетоне — мысль, высказанная в статье Розанова «Еще о мозаичности и эклектизме в истории» (Московские ведомости. 1892. № 288, 17 октября).

Я послал Бергу статью об образовании — статью «Сумерки просвещения» (Русский вестник. 1893. № 1—3, 6).

С. 289. ...*презирая «единого из малых сих»* — Мф. 18. 10.

...для помощи беднейшей моей сестре — Розановой-Ясневой Павлине Васильевне.

С. 294. ...*«по России надобно проехаться»*. — У Гоголя: «Нужно проездиться по России» («Выбранные места из переписки с друзьями», 1847).

С. 294. *«Горные вершины спят во тьме ночной»*.... — М. Ю. Лермонтов. Из Гёте (1840).

С. 295. *Статья Кускова* — статья П. А. Кускова «Наши идеалы. Разговор на палубе» (Русское обозрение. 1893. № 2).

С. 296. ...*ведь разным Акакиям Акакиевичам только это из человеческого и оставалось*. — Эта тема была развита Розановым в статье «Как произошел тип Акакия Акакиевича: к вопросу о характеристике гоголевского творчества» (Русский вестник. 1894. № 3. С. 161—172).

С. 297. *Николаев написал мне приятную статью* — имеется в виду статья Ю. Н. Говорухи-Отрока «Нечто о русской культурности» (Московские ведомости. 1893. 18 февр.) — отзыве на статью Розанова «Сумерки просвещения».

С. 298. *Ю. Николаев написал отличную статью о Ренане* — очерк Говорухи-Отрока «Ренан как беллетрист» (Русское обозрение. 1893. № 6) — отзыв на рассказ Э. Ренана «Трепальщик льна» (из «Воспоминаний детства и молодости»), напечатанный в переводе Страхова в «Русском обозрении» (1893. № 5. С. 102—127).

С. 299. ...*б-я для него же набрана* — статья Розанова «Свобода и вера (По поводу религиозных толков нашего времени)» — отзыв на работу Вл. Соловьева «Исторический сфинкс».

...3 в «Русск. Обозрении». — На самом деле в 1893 г. в «Русском обозрении» вышли четыре статьи Розанова: «О монархии» (№ 2), «О трех принципах человеческой деятельности» (№ 3), «Три главные принципа образования (По поводу замечаний Д. И. Иловайского)» (№ 5) и «Памяти Осипа Ивановича Каблицы» (№ 11).

С. 302. ...*до выхода фельетона* — газетной публикации В. П. Буренина «Ноги в перчатках, желудки, цепляющиеся за маски, и проч.» (Новое время. 1894. № 6614, 29 июля).

«Санто-Казерио и виды на будущее в Европе» — точнее, «Казерио Санто и виды на будущее в Европе», название статьи Розанова, посвященной терактам и политической нестабильности в Европе. Опубликовано в «Русском вестнике» (1894. № 10. С. 239—259).

С. 303. ...*с дневником Амьеля* — с «Дневником» швейцарского поэта, эссеиста и переводчика Анри Фредерика Амьеля, который он вел с 1847 г. (опубликован после смерти автора в 1881 г.). В России Дневник А. Ф. Амьеля стал известен под названием «Из дневника Амьеля» (М., 1894; переводчик М. Л. Толстая). Отрывки из этой книги Л. Н. Толстой включил в «Круг чтения».

...*мой ответ Тихомирову* — статья «Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической» — ответ на статьи Вл. Соловьева «Спор о справедливости» и Л. А. Тихомирова «Существует ли свобода?» (Русское обозрение. 1894. № 4). Статья Розанова вызвала продолжение полемики. В «Русском обозрении» появились еще две статьи Л. А. Тихомирова — «По поводу объяснений г. Розанова» (1894. № 8. С. 855) и «В чем ошибка г. В. Розанова?» (1894. № 9. С. 397—411).

...*написать разбор моей «Легенды»* — рецензия Страхова на книгу Розанова вышла за подписью «Старый книголюб» в «Новом времени» (1894. № 6733, 25 ноября).

С. 304. *А я стал оканчивать о Вас статью* — статью «Рассеянное недоразумение» (Новое время. 1894. № 6717, 9 ноября) — рецензию на статью Страхова «Взгляды Рюккерта и Н. Я. Данилевского».

С. 308. «*Теория волевых представлений*» — книга Т. П. Соловьева «Теория волевых представлений. Отношение ее к специи и элевации органического мира» (СПб., 1892).

С. 309. ...у Вас так хлопотно, свадьба — речь идет о свадьбе племянницы Страхова (его единственной близкой родственницы) с киевским педагогом И. П. Матченко. В 1902 г. Матченко выступил издателем второго тома «Критических очерков» Страхова.

С. 310. *Статью про Толстого прокорректировал* — статью «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого», посвященную анализу темы смерти в творчестве писателя.

94

С. 311. ...из «Истории литературного застоя» — критическая статья Ап. Григорьева «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия», посвященная литературным воззрениям издателя журнала «Маяк» (1840—1845) С. А. Бурачка и постоянного автора журнала, писателя М. Н. Загоскина.

«Книжки «Недели» — журнал, приложение к газете «Неделя» (СПб., 1885—1901).

«Гоголь и Чаадаев» — на эту статью А. Н. Веселовского (Вестник Европы. 1895. № 9) Розанов отозвался «Открытым письмом к г. Алексею Веселовскому» (Русское обозрение. 1885. № 12. С. 905—913), что, в свою очередь, вызвало отклик Говорухи-Отрока (см.: Николаев Ю. По поводу статьи г. Розанова // Московские ведомости. 1896. № 4, 4 янв.).

99

С. 315. *Варолиев мост* — «мост мозга», часть заднего отдела головного мозга рядом с мозжечком.

Т. В. Воронцова

Переписка В. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым

С. 319. ...две статьи в «Вопросах философии и психологии» — «Заметки о важнейших течениях русской философской мысли, в связи с нашей переводной литературой по философии» (1890. № 3) и «О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов (Н. Страхов)» (1890. № 4).

Письма К. Н. Леонтьева
к В. В. Розанову
с комментариями Розанова

Текст писем публикуется по изданию: Русский вестник. 1903. № 4. С. 633—652; № 5. С. 155—182; № 6. С. 409—438. Публикация В. В. Розанова.

С. 330. ...*приложить... статью об вас г-на Южного* — рецензию на «Легенду о Великом инквизиторе» в «Гражданине» от 3 мая 1891 г.; подписана: М. Южный (псевдоним М. Г. Зельманова).

...*брошюра о «Национальных объединениях»* — Леонтьев К. Национальная политика как орудие всемирной революции. М., 1889.

С. 332. «*Панславизм и греки*» — статья К. Н. Леонтьева в «Русском вестнике». 1873. № 2. Подпись: Н. Константинов; «Хризо» — повесть Леонтьева, вошедшая в его книгу «Из жизни христиан в Турции» (М., 1876. Т. 1—3).

С. 333. *Имеют свою судьбу книги* — выражение римского грамматика Теренциана Мавра (конец II в. н. э.) («О буквах, слогах и размерах»).

С. 337. *Он в Оптиной пробыл дня два-три всего!* — Ф. М. Достоевский был в Оптиной Пустыни вместе с Вл. Соловьевым 23—28 июня 1878 г.

3

С. 341. «*Добрые вести*» — статья Леонтьева в «Гражданине». 1890. № 81, 83, 87, 95 (в цикле «Записки отшельника»).

С. 344. ...*не может человек видеть «зад свой» (выражение Библии о Боге)* — ср. Исх. 33, 23.

С. 345. ...*вслед за произнесением где-то трех речей в пользу Достоевского* — В. С. Соловьев. Три речи в память Достоевского (1881—1883).

С. 348. «*Письма о русской молодежи*» — Фудель И. Письма о современной молодежи и направлениях общественной мысли. М., 1888.

С. 349. *Смешивать два эти ремесла* — А. С. Грибоедов. Горе от ума. III, 3. «*Вестн. Евр.*» — рецензия Л. Слонимского в «Вестнике Европы». 1886. № 10. ...в «*Русск. Мысли*» — рецензия В. Гальцева в «Русской мысли» (1886. № 11).

5

С. 352. ...*вовсе — другое лицо, не Ионин.* — В 1890-е гг. в «Русском обозрении» под псевдонимом Spectator печатался редактор «Московских ведомостей» В. А. Грингмут.

«*Ныне отпускаеши раба Твоего*» — Лк. 2, 29.

С. 355. *Верую, ибо абсурдно* — из трактата теолога Тертуллиана (ок. 155—220) «О плоти и крови Христа», 5.

С. 359. ...*написал свою заметку.* — В запиской тетради 1880—1881 гг. Достоевский писал: «Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет). В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо. (Живи впредь спокойно, но в одно свое пузо)» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1884. Т. 27. С. 51).

«*Национальный вопрос*» — Вл. Соловьев. Национальный вопрос в России (1884). Вып. 2. Гл. IV. Славянский вопрос.

С. 366. «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» — брошюра; вышла в Москве в 1889 г.

С. 377. «Одиссей Полихрониадис» — роман Леонтьева вошел в сборник его произведений «Из жизни христиан в Турции» (1876).

С. 385. *Страхова статью (о Л. Толстом) прочел...* — Страхов Н. Н. Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд) // Вопросы философии и психологии. 1891. № 9.

С. 388. *Любовью безумной и страстно-мятежной* — М. Ю. Лермонтов. «Они любили друг друга так долго и нежно...» (1841), неточная цитата.

* * *

С. 390. «Три разговора» — В. С. Соловьев. «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1900).

С. 393. «Белые колокольчики» — стихотворение Вл. С. Соловьева 1899 г.

С. 394. *Сбились мы! Что делать нам?* — А. С. Пушкин. Бесы (1830).

В тумане утреннем неверными шагами... — одноименное стихотворение Вл. Соловьева 1885 г.

Письма В. В. Розанова к К. Н. Леонтьеву

Впервые письма опубликованы в журнале «Литературная учеба» (М., 1989. № 6. С. 127—137); напечатаны по автографу РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 49.

Датировка писем Розанова, не имевшего обыкновения ставить даты на своих письмах, проведена на основе помет Леонтьева о времени их получения и писем самого Леонтьева к Розанову.

Первое письмо — ответ на письмо Леонтьева от 13 апреля 1891 г.

С. 395. «Анализ, стиль и веяние» — работа Леонтьева о романах Л. Н. Толстого печаталась в «Русском вестнике» в 1890 г. (№ 6—8). Отдельное издание — в 1911 г. ...*тотчас написал Н. Н. Страхову* — см. письмо Розанова и его комментарии к письму Страхова № XXXIV от 24 июля 1890 г.

С. 396. ...«*типити-типити-бум*» — Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. III. Ч. 3, Гл. XXXII.

«*Наши новые христиане*» — книга Леонтьева вышла в 1882 г., в нее вошли две его статьи: «О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» (впервые: Варшавский дневник. 1880. 29 июля, 7 и 12 августа) и

«Страх Божий и любовь к человечеству, по поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого «Чем люди живы» (Гражданин. 1882. № 54—55).

...Вы его называете «моралистом в смысле писателей XVII в.» — сравнение с французскими писателями-моралистами Франсуа де Ларошфуко (1613—1680), Блезом Паскалем (1623—1662), Жаном де Лабрюйере (1645—1696).

Херонейское поле — место, где в Древней Греции в 338 г. до н. э. македонская армия царя Филиппа II разгромила союзное войско Афин и Беотии.

«Восток, Россия и Славянство» — сборник статей и трактатов Леонтьева (М., 1885—1886. Т. 1—2).

...участник Крымской войны. — С мая 1854 г. Леонтьев служил батальонным врачом в прифронтовых госпиталях в Керчи и Феодосии, при Донском казачьем 65-м полку.

С. 397. Я только что вернулся в Елец. — Начало переписки Розанова и Леонтьева совпало с окончанием печатания розановской «Легенды о Великом инквизиторе» в «Русском вестнике» (1891. № 1—4), в связи с которой Розанов ездил в апреле 1891 г. в Москву.

Сотири — персонаж статьи Леонтьева «Панславизм на Афоне» (1873), входящей в книгу «Восток, Россия и славянство».

«Липованы», или филипоны, т. е. филипповцы — русские староверы, жившие в Румынии, Прибалтике и Польше; отличались трудолюбием и честностью, сохраняли черты национальной жизни.

Лессепс — Фердинанд Лессепс (1805—1894) — предприниматель, один из организаторов строительства Суэцкого канала, открытого в 1869 г., и провалившейся работы по Панамскому каналу. Речь идет о статье Леонтьева «Знакомство с Лессепсом» (Гражданин, 1883), перепечатанной в книге Леонтьева «Восток, Россия и славянство» (т. 2).

«Не для того же Моисей... чтобы Гамбетты и Жюль Фавры высиживали свои яйца». — Розанов пересказывает мысли из «Писем о восточных делах» (Леонтьев К. Восток, Россия и славянство. Т. 1. С. 285, 299). Леон Гамбетта (1838—1882) и Жюль Фавр (1809—1880) — французские политические деятели и адвокаты.

...«мы великий народ»... о «трансцендентном эгоизме». — См. письмо Леонтьева от 13 апреля 1891 г.

...«все люди стали схожи между собой». — А. Токвиль. Демократия в Америке. Ч. II. Гл. 7. О всевластии большинства в Соединенных Штатах и его проявлениях.

2

Письмо получено Леонтьевым 20 мая 1891 г. в ответ на его письмо от 8 мая. В Фонде Розанова в РГАЛИ хранится вариант этого письма (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 280. Л. 1—5), опубликованный в книге: Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1889. С. 503—505.

С. 398. «Записки отшельника» — цикл статей Леонтьева, печатавшийся в журнале «Гражданин» в 1887—1891 гг.

...статья г. Южного — М. Южный (псевдоним постоянного сотрудника журнала «Гражданин» М. Г. Зельманова, 1869—1901) 3 мая 1891 г. напечатал в этом журнале положительную рецензию на «Легенду о Великом инквизиторе» Розанова, появившуюся в «Русском вестнике».

...становлюсь семьянином — 5 июня 1891 г. в Ельце состоялось тайное венчание Розанова с Варварой Дмитриевной Бутягиной (первая его жена А. П. Суслова не давала Розанову развода).

«Национальный вопрос» — статья Леонтьева «Национальный вопрос как орудие всемирной революции» печаталась в 1888 г. в «Гражданине», а в 1889 г. вышла в Москве отдельной брошюрой.

С. 399. *Я его видел...* — В январе 1889 г. Розанов ездил в Петербург и встречался с Н. Н. Страховым.

...об отце Клименте — очерк Леонтьева «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни» (Русский вестник. 1879. № 11—12; отд. изд. — Варшава, 1880).

...одна семья духовная — семья Александры Андриановны Рудневой и ее дочери Варвары Дмитриевны Бутягиной, ставшей женой Розанова.

С. 400. *Статья Z* — под этим псевдонимом в «Русском вестнике» в апреле 1891 г. печатался сотрудник журнала Игнатий Зинченко.

...статья о Вас — статья Розанова «Эстетическое понимание истории», начала печататься в № 1 «Русского вестника» за 1892 г. уже после смерти Леонтьева.

3

Письмо получено Леонтьевым 11 июня 1891 г. в ответ на его письмо от 24 мая.

С. 401. ...моего отзыва о Гоголе — статья Розанова «Несколько слов о Гоголе» в «Московских ведомостях» 15 февраля 1891 г., перепечатанная в дальнейшем в приложении к книге Розанова «Легенда о Великом инквизиторе» (СПб., 1894).

С. 402. *Эпиграфы из Вл. Герье*. — Книге Леонтьева «Восток, Россия и славянство» (М., 1885. Т. 1) предпослан эпиграф из работы «Народность и прогресс» профессора всеобщей истории Московского университета В. И. Герье (1837—1919), у которого учился Розанов: «Не всякая реакция враждебна прогрессу в настоящем смысле этого слова, как заметил один из самых талантливых критиков современной европейской литературы, которого никто не заподозрит в равнодушии к прогрессу [Брандес?]; реакция сама по себе вовсе не совпадает с понятием регресса, — напротив, всякая реакция, которая исправляет современное представление о прогрессе и дополняет его, является новым элементом прогресса».

С. 404. В «Южном Крае» мой взгляд о Гоголе... — Черняев Н. Гоголь перед судом г. Розанова // Южный край. 1891. 6 февраля.

...перечитали и Вашу статью — Леонтьев К. Н. Добрые вести // Гражданин. 1890. № 81; печаталась по № 95.

4

Ответ Леонтьева на это письмо датирован 5 июня 1891 г., однако это, очевидно, описка. Должно быть 5 июля, т. е. письмо Розанова написано до 5 июля (Розанов находился в Москве с 7 июня по 23 июля).

С. 406. *Выставка* — французская промышленная и художественная выставка в Москве, открывшаяся в мае 1891 г., о которой Розанов позднее писал в статье «Декаденты» (полный текст в журнале «Русское обозрение». 1896. № 9 напечатан под названием «О символистах»).

Письмо получено Леонтьевым 19 июля 1891 г.

С. 406. ...*определение в «Анализе» болезни Ивана Ильича.* — В VIII главе статьи «Анализ, стиль и веяние» Леонтьев пишет по поводу рассказа Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1881—1886): «Многие хронические страдания брюшных органов причиняют жесточайшие боли. Мне кажется, что гр. Толстой хотел указать на образование внутреннего нарыва, когда он упомянул о внезапно начавшейся, под конец стреляющей и винтящей — жестокой боли... Видел я и сам таких умирающих».

С. 407. «*Что составляет главный недостаток в наследстве 60—70 гг.*» — напечатано в «Московских ведомостях» 14 июня 1891 г. под названием «В чем главный недостаток «наследия 60—70-х годов».

«*Два исхода*» — опубликовано в «Московских ведомостях» 29 июля 1891 г. Четвертый фельетон Розанова «Европейская культура и наше отношение к ней» появился в «Московских ведомостях» 16 августа 1891 г.

В «*Вестн. Евр.*», июль — материалы «К. Леонтьев и «вовсе иной путь» в разделе «Из общественной хроники» опубликованы не в июньском, а в июльском номере «Вестника Европы» за 1891 г., где и содержатся со злобой сказанные слова о Леонтьеве в связи с его «Записками отшельника» в «Гражданине».

6

Письмо, как следует из текста, написано 22 июля 1891 г.

7

Получено Леонтьевым 13 августа 1891 г.

С. 408. ...*брошюру Астафьева* — вероятно, речь идет о брошюре философа-публициста Петра Евгеньевича Астафьева (1846—1893) «Понятие психологического ритма как научное основание психологии полов». М., 1882.

...*он своею учебною реформою* — речь идет о гимназической реформе 1871 г., проведенной министром народного просвещения Д. А. Толстым для обеспечения классического образования.

С. 410. ...*хотите оставить Оптину Пустынь.* — По благословению старца Амвросия Леонтьев, принявший тайный постриг, должен был переехать из Оптиной Пустыни в Троице-Сергиеву лавру.

...*консул и даже с хлыстом в руках.* — В 1864 г. французский консул на острове Крит, где Леонтьев служил секретарем при русском консульстве, оскорбительно отозвался о России, в ответ на что Леонтьев нанес ему удар хлыстом.

...*бросить консульство и думать о монашестве.* — Об этом Леонтьев рассказал в письме к Розанову от 14 августа 1891 г.

«*Место хр. в ист.*» — речь Розанова по поводу 900-летия крещения Руси на публичном акте елецкой гимназии 1 октября 1888 г., опубликованная в январе 1890 г. в «Русском вестнике» (вошла в книгу Розанова «Религия и культура», 1899).

С. 411. ...недоконченную статью о среднем европейце — неоконченная статья Леонтьева «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» опубликована в 6 томе Собрания сочинений Леонтьева в 9 томах (М., 1912—1914).

С. 412. «И будет земля новая, и небо новое» — Откр. 21, 1.

8

Письмо написано до 18 октября 1891 г., когда Леонтьев написал Розанову ответное письмо.

С. 413. ...будущий 3-й т. «Востока». — Леонтьев прислал Розанову вырезки своих статей за 1887—1891 гг., которые он хотел издать в качестве третьего тома своей книги «Восток, Россия и славянство» (см. письмо Леонтьева от 13 сентября).

9

Последнее письмо Розанова Леонтьеву, написанное в ответ на письмо Леонтьева от 18 октября 1891 г. до получения известия о смерти философа 12 ноября 1891 г.

А. Н. Николюкин

- Абрикосов* Николай Алексеевич, издатель журнала «Вопросы философии и психологии» — 233
- Аввакум* (1620/1621—1682), протопоп, писатель, глава старообрядчества — 391
- Август* (63 до н. э. — 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) — 121, 125
- Аверроэс* (Ибн Рушд) (1126—1198), арабский философ и врач — 13, 52, 54
- Агассис* Жан Луи (1807—1873), швейцарский естествоиспытатель — 308
- Адан* Жюльет Ламбер (1836—1936), французская писательница, издательница журнала «Нуэль ревью» (с 1879), хозяйка литературно-политического салона — 376
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886), публицист, издатель, общественный деятель — 70, 163, 167, 172, 348, 353, 356, 359, 382
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817—1860), публицист, историк, лингвист, поэт — 68
- Аксаков* Николай Петрович (1848—1909), публицист, критик, философ, историк, богослов, чиновник Государственного контроля (1895—1903) — 125, 141
- Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель — 395
- Аксаковы* — 66
- Александр II* (1818—1881), российский император (с 1855) — 271, 389
- Александр III* (1845—1894), российский император (с 1881) — 322, 389
- Александр Великий* (Александр Македонский) (356—323 до н. э.), царь Македонии (с 336 до н. э.) — 390
- Александров* Анатолий Александрович (1861—1930), историк русской литературы, поэт, журналист, близкий друг К. Н. Леонтьева, редактор и издатель журнала «Русское обозрение» (1892—1898) — 81, 112, 134, 302, 332, 351, 367, 383, 407
- Алкивиад* (ок. 450—404 до н. э.), афинский военачальник — 321, 323, 324, 335, 344, 372
- Амвросий Оптинский* (Александр Михайлович Гренков) (1812—1891) — иеросхимонах, старец Оптиной пустыни, духовный писатель — 319, 320, 323, 324, 330, 331, 337, 344, 348—350, 354, 379, 381, 385, 389, 399, 410
- Амьель* (Амиель) Анри Фредерик (1821—1881), швейцарский франкоязычный писатель и философ — 303, 377
- Анахарсис*, скиф из царского рода, пытавшийся ввести на родине греческие порядки после возвращения из Афин ок. 594 до н. э. — 171, 174
- Андерсен* Ханс Кристиан (1805—1875), датский писатель, известен своими сказками — 134, 299, 305
- Андреев* Федор Константинович (1888—1929), богослов, преподаватель Московской духовной академии, принадлежал к «молодым московским славнофилам» — 126

- Андреевский* Сергей Аркадьевич (1847/1848—1918), поэт, литературный критик, юрист — 99, 192
- Аничков* Николай Милюевич, директор департамента Министерства народного просвещения — 87, 91—93, 95, 96, 260, 266, 276
- Анна Иоанновна* (Анна Ивановна) (1693—1740), российская императрица (с 1730), племянница Петра I — 102
- Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий) (1863/1864—1936), ректор Московской духовной академии (1889—1895), в дальнейшем на епископской кафедре, с 1918 г. митрополит Киевский, с 1920 г. в эмиграции — 100, 108
- Антонин* (Александр Андреевич Грановский) (1865—1927), старший цензор в Санкт-Петербургской академии, епископ Нарвский (с 1903) — 141
- Апухтин* Алексей Николаевич (1840—1893), поэт — 100, 108
- Аристотель* (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист — 9, 10, 38, 39, 48, 49, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 70, 82, 153—155, 157—160, 165, 182, 183, 193, 224, 225, 238, 245, 249
- Арк д'* (псевд. Чернов), автор статьи о К. Н. Леонтьеве в «Нувель ревью» — 376
- Арсеньев* Константин Константинович (1837—1919), публицист, юрист, критик, общественный деятель — 189
- Арцыбашев*, надзиратель в Елецкой гимназии — 30, 31
- Аскоченский* (наст. фам. Оскошный) Виктор Ипатьевич (1813—1879), писатель, журналист, историк, издатель еженедельника «Домашняя беседа» (1858—1877) — 62
- Аспазия* (Аспасия) (р. ок. 470 до н. э.), афинская гетера, с 445 до н. э. жена Перикла — 64, 335
- Ассурбанипал* (Ашшурбанипал), царь Ассирии (669 — ок. 633 до н. э.) — 368
- Астафьев* Петр Евгеньевич (1846—1893), философ, психолог, публицист — 344, 350, 353, 354, 368, 402, 408
- Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт — 63, 68, 311
- Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876), революционер, теоретик анархизма — 15
- Бакунин* Павел Александрович (1820—1900), общественный деятель, один из зачинателей земского движения, философ — 8, 14, 15, 157, 167, 170, 179
- Бальзак* Оноре де (1799—1850), французский писатель — 187
- Баранов*, инспектор Московского учебного округа — 269
- Баратынский* Евгений Абрамович (1800—1844), поэт — 164
- Барков* Иван Семенович (ок. 1732—1768), поэт, автор непристойных стихов, расходившихся в списках — 28
- Барсуков* Николай Платонович (1838—1906), историк литературы и общественной мысли, библиограф, археолог, издатель — 242, 316
- Бартелими Сент-Илер* Жюль (1805—1895), французский политический деятель, философ, религиозный мыслитель, переводчик Аристотеля — 155, 160
- Бекетов* Андрей Николаевич (1825—1902), ботаник-эволюционист — 249—251
- Беккер* Иммануил (1785—1871), немецкий филолог, издатель произведений

- древнегреческих философов — 10, 165
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811—1848), литературный критик, публицист, общественный деятель — 64—67, 118, 179, 180, 324
- Беляев* Александр Дмитриевич (1842—1919), богослов, профессор Московской духовной академии — 405
- Берг* Федор Николаевич (1839—1909), писатель, переводчик, журналист, редактор журнала «Русский вестник» (1887—1895) — 12, 36, 48, 49, 54, 56, 57, 62, 63, 72, 73, 76, 81, 82, 93, 111, 112, 138, 192, 203, 210, 211, 219, 233, 236, 242, 243, 245, 246, 249, 254, 274, 279—281, 284—286, 288, 300—303, 305, 314, 369, 411
- Бернар* Клод (1813—1878), французский физиолог и патолог — 183, 204
- Бестужев-Рюмин* Константин Николаевич (1829—1897), историк, возглавлял петербургские Высшие женские курсы — 37, 60, 265, 281
- Бирон* Эрнст Иоганн (1690—1772), герцог Курляндский, фаворит императрицы Анны Иоанновны — 102
- Бисмарк* Отто фон Шёнхаузен (1815—1898), князь, первый рейхсканцлер Германской империи (1871—1890) — 386
- Благосветлов* Григорий Евлампиевич (1824—1880), публицист, редактор-издатель журналов «Русское слово» и «Дело» — 80, 113
- Блюхер* Gebхард Леберехт (1742—1819), прусский военачальник, генерал-фельдмаршал — 344
- Богданович* Ангел Иванович (1860—1907), публицист и критик — 77
- Бодянский* Осип Максимович (1808—1877), филолог и историк, один из первых славистов в России — 386, 387, 397
- Бониц* Герман (1814—1888), немецкий филолог и педагог, издатель «Метафизики» Аристотеля (1848—1849) — 160
- Босвелл* (Босуэлл) Джеймс (1740—1795), английский писатель, биограф С. Джонсона — 238
- Бражников*, ученик Елецкой гимназии — 215
- Брикнер* Александр Густавович (1834—1896), историк — 157
- Брокгауз* Эдуард (1829—1914), немецкий издатель русского Энциклопедического словаря, внук основателя фирмы Фридриха Арнольда Брокгауза (1772—1823) — 326
- Бруно* Джордано (1548—1600), итальянский философ и поэт — 116
- Будда* (букв. просветленный), имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623—544 до н. э.) — 117
- Буква*, псевдоним публициста и фельетониста Ипполита Федоровича Василевского (наст. имя Ипполит-Петр Фердинандович) (1849 — после 1918) — 242
- Булгаков* Сергей Николаевич (1871—1944), экономист, философ, богослов, после 1922 г. в эмиграции — 126
- Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859), писатель, журналист — 65
- Бурачок* Степан Анисимович (Онисимович) (1800—1876/1877), публицист, критик, издатель — 311
- Буренин* Виктор Петрович (1841—1926), писатель, журналист, критик — 134, 196, 214, 302, 307, 314
- Буслаев* Федор Иванович (1818—1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства — 66, 68, 103, 151
- Бутлеров* Александр Михайлович (1828—1886), химик-органик — 67

- Бутягин Александр Павлович*, адвокат в Ельце — 31
- Бутягина Александра Михайловна* (Шура) (1883—1920), приемная дочь Розанова — 307
- Бутягина* (урожд. Руднева) *Варвара Дмитриевна* (1864—1923), вторая жена Розанова — 128—130, 133, 134, 137, 139, 142, 210, 300, 302—305, 307, 310, 314, 316, 351, 355, 358, 382, 386, 404
- Бэйль* (Бейль) *Пьер* (1647—1706), французский философ и политический деятель — 161, 162
- Бэкон* *Фрэнсис* (1561—1626), английский философ и политический деятель — 70, 208, 347
- Бэр* *Карл Максимович* (*Карл Эрнст*) (1792—1876), естествоиспытатель, основатель эмбриологии — 11, 158, 204, 207
- Бюхнер* *Людвиг* (1824—1899), немецкий врач, естествоиспытатель, философ — 265
- Вагнер* *Рихард* (1813—1883), немецкий композитор, дирижер, реформатор оперы — 172
- Валленштейн* *Альбрехт* (1583—1634), полководец, имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне (с 1625) — 386
- Вальшев*, знакомый *Н. Н. Страхова* — 312
- Варгунин Александр Иванович* (1807—1880), основатель Невской писчебумажной фабрики, после его смерти ею владели его наследники — 129, 300, 306
- Василий III* (1479—1533), великий князь Московский (с 1505) — 125
- Васильев* *Афанасий Васильевич* (1851 — после 1917, по др. данным 1929), публицист, поэт, издатель, с 1893 г. генерал-контролер, начальник департамента железнодорожной отчетности в Государственном контроле, где был непосредственным начальником Розанова — 132
- Васильевский* *Василий Григорьевич* (1838—1899), историк, специалист по Византии — 82, 116
- Введенский* *Александр Иванович* (1856—1925), философ-неокантианец, профессор Санкт-Петербургского университета — 59
- Вейнберг* *Яков Игнатьевич*, инспектор (управляющий) Московского учебного округа — 92, 95, 97, 272
- Вейнингер* *Отто* (1880—1903), австрийский философ — 107
- Веллингтон* *Артур Уэлсли* (1769—1852), английский фельдмаршал — 344
- Венгеров* *Семен Афанасьевич* (1855—1920), историк литературы, библиограф — 75, 113
- Вербицкая* (урожд. *Зяблова*) *Анастасия Алексеевна* (1861—1928), писательница — 100
- Вергилий* *Марон Публий* (70—19 до н. э.), римский поэт — 408
- Верт* *Эдмунд Альбертович* (1839—1907), филолог-классик — 53
- Веселовский* *Алексей Николаевич* (1843—1918), историк литературы — 311
- Виардо-Гарсия* *Полина* (1821—1910), французская певица и композитор, близкий друг *И. С. Тургенева* — 118
- Вильгельм II Гогенцоллерн* (1859—1941), германский император и прусский король (1888—1918) — 390
- Виндельбанд* *Вильгельм* (1848—1915), немецкий философ-неокантианец — 132, 301
- Витте* *Сергей Юльевич* (1849—1915), министр финансов (с 1892), председатель Комитета министров (с 1903) — 81, 301

- Вишняков*, директор-распорядитель «Товарищества общественной пользы» — 138, 140, 305, 314
- Владимир II Мономах* (1053—1125), князь Смоленский (с 1067), Черниговский (с 1078), Переяславский (с 1093), великий князь Киевский (с 1113) — 390
- Владиславлев* Михаил Иванович (1840—1890), философ, автор работ по логике, психологии, истории философии, ректор Санкт-Петербургского университета (с 1887) — 10, 16, 28, 169, 175
- Вознесенский* Константин Васильевич, товарищ Розанова по Московскому университету — 92, 95, 267, 269, 270, 405
- Вольнский* Аким Львович (наст. имя и фам. Хаим Лейбович Флексер) (1861—1926), историк и теоретик искусства, критик — 123, 277, 296
- Вольтер* (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778), французский писатель и философ — 61, 62, 323
- Высотский* Николай Григорьевич, начальник канцелярии Московского учебного округа — 92, 93, 96, 263, 266, 269—272, 290, 291
- Вышнеградский* Иван Алексеевич (1831/1832—1895), основатель научной школы по конструированию машин, министр финансов (1888—1892) — 78, 137, 228
- Гайдебуров* Павел Александрович (1841—1893/1894), писатель, издатель, публицист — 332
- Галкин-Врасский* (Галкин-Враской) Михаил Николаевич (1834—1916), административный деятель, начальник Главного тюремного управления (1879—1896) — 297
- Гамбетта* Леон (1838—1882), французский политический деятель, премьер-министр и министр иностранных дел (1881—1882) — 397
- Ганзен* (урожд. Васильева) Анна Васильевна (1869—1942), переводчица — 134
- Ганзен* Петр (Петер Эмануэль) Готфридович (1846—1930), переводчик датских, норвежских, шведских писателей, муж А. В. Ганзен — 134, 143
- Гартман* Эдуард фон (1842—1906), немецкий философ — 10
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ — 8, 11, 14, 16, 18, 23, 38, 56, 90, 118, 127, 158, 208, 216, 362
- Гейлинкс* Арнольд (1624—1669), голландский философ — 167
- Генрих IV* (1553—1610), французский король (с 1589, фактически — с 1594), из династии Бурбонов — 386
- Георгиевский* Александр Иванович (1830—1911), председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения — 16, 24—28, 38, 40, 54, 95, 128, 137, 191, 201, 235, 236, 253, 262, 266
- Гераклит* (ок. 540 — ок. 480 до н. э.), древнегреческий философ — 16, 17
- Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий философ, критик, эстетик — 127
- Герцен* Александр Иванович (1812—1870), писатель, публицист, философ, общественный деятель — 12, 53, 64—66, 68, 70, 100, 164, 324, 325
- Герье* Владимир Иванович (1837—1919), историк — 92, 151, 155, 232, 355, 402
- Гёте* Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель — 39, 52, 108, 364, 387

- Гизо* Франсуа (1787—1874), французский историк и политический деятель — 294
- Гильфердинг* Александр Федорович (1831—1872), фольклорист и историк — 68
- Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824—1887), публицист, философ, литературный критик, редактор-издатель газеты «Современные известия» — 70, 80, 353, 356
- Гильшер* Йозеф Эмануил (1806—1837), чешско-немецкий поэт и драматург — 135
- Гладстон* Уильям Юарт (1809—1898), английский политический деятель, неоднократно премьер-министр Великобритании — 397, 408
- Глазунов* Иван Ильич (1826—1889), издатель — 54
- Глубоковский* Николай Никанорович (1863—1937), богослов, историк церкви — 127
- Гворуха-Отрок* Юрий Николаевич (1850—1896), критик, писатель, публицист — 77, 79, 81, 99, 227, 228, 246, 250, 252, 253, 262, 265, 268, 275, 280, 282, 297, 298, 319, 331, 348, 368, 383, 396—398, 400, 402, 406
- Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852), писатель — 73, 242, 251—253, 291, 311, 313, 325, 329, 347, 349, 361, 391, 393, 395, 401, 404
- Гогоцкий* Сильвестр Сильвестрович (1813—1889), философ — 153, 156
- Голенищев-Кутузов* Арсений Аркадьевич (1848—1913), поэт — 21, 78, 281
- Гольцев* Виктор Александрович (1850—1906), публицист, литературный критик, общественный деятель, с 1885 г. фактический редактор журнала «Русская мысль» — 81
- Гомер*, полупоэтический древнегреческий эпический поэт — 85, 294, 387
- Гончаров* Иван Александрович (1812—1891), писатель — 360
- Горнфельд* Аркадий Георгиевич (1867—1941), литературовед, критик, переводчик — 100
- Горчаков* Александр Михайлович (1798—1883), дипломат, канцлер (с 1867), министр иностранных дел (1856—1882) — 363, 377
- Градовский* Григорий Константинович (1842—1915), публицист, критик, издатель — 250
- Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855), историк и общественный деятель — 99, 193
- Грей* Аза (1810—1888), американский ботаник — 213
- Греч* Николай Иванович (1787—1867), журналист, издатель, писатель, филолог, переводчик — 65
- Грибоедов* Александр Сергеевич (1790/1795—1829), писатель и дипломат — 66, 367
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864), поэт, критик, переводчик, мемуарист — 67, 116, 179, 183, 186—188, 190, 193, 196, 201, 204, 222, 242, 278, 308, 309, 311, 343, 402
- Грингмут* Владимир Андреевич (1851—1907), публицист, критик, политический деятель — 97, 104, 268, 273, 280, 287, 334, 368, 383, 400
- Громека* Михаил Степанович (1852—1883/1884), критик, покончил с собой в психиатрической лечебнице — 152, 168, 229
- Грот* Николай Яковлевич (1852—1899), философ, основатель и редактор журнала «Вопросы философии и психологии» (с 1889) — 46, 48—50, 52, 59, 78, 99, 100, 204, 206, 224, 226—230, 233, 239, 240, 243, 244, 248, 250, 251, 275, 277, 282

- Грот Яков Карлович* (1812—1893), филолог — 69
- Губастов Константин Аркадьевич* (1845/1846—1913), историк, дипломат, министр — посол при престоле римского папы — 385
- Гумбольдт Вильгельм фон* (1767—1835), немецкий филолог, философ, языковед, политический деятель, дипломат — 127
- Гусев Александр Федорович* (1842—1904), богослов, профессор Казанской духовной академии — 275
- Густав II Адольф* (1594—1632), король Швеции (с 1611), из династии Ваза, полководец — 386, 387
- Гуйгенс Христиан* (1629—1695), голландский ученый — 250
- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004 — ок. 965 до н. э.) — 118, 341, 345, 377
- Даль Владимир Иванович* (1801—1872), писатель, лексикограф, этнограф — 371
- Данилевская* (урожд. Межакова) Ольга Александровна, вторая жена Н. Я. Данилевского — 73
- Данилевский Николай Яковлевич* (1822—1885), естествоиспытатель, философ, социолог, публицист — 12, 20, 29, 35, 42, 46, 110, 116, 126, 127, 134, 136, 148, 152, 153, 156, 158, 159, 161, 162, 167, 169, 172, 184—187, 190, 192, 193, 196, 204, 207, 212, 215, 222, 226, 229, 230, 250, 275, 284, 285, 308—310, 321, 343, 402
- Данте Алигьери* (1265—1321), итальянский поэт — 93, 398
- Дантон Жорж Жак* (1759—1794), деятель Французской революции, один из руководителей якобинцев — 121
- Дарвин Чарлз Роберт* (1809—1882), английский естествоиспытатель — 29, 34—36, 42, 43, 58, 118, 127, 156, 190, 195, 285
- Декарт Рене* (1596—1650), французский философ, математик, физик, физиолог — 161, 294, 347
- Деянов Иван Давыдович* (1818—1897/1898), политический деятель, министр народного просвещения (с 1882) — 18, 26—28, 54, 66, 93, 262, 357, 365
- Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.), афинский оратор — 390
- Джамиев*, учитель из Серпухова — 261
- Джонсон Сэмюэл* (1709—1784), английский писатель и лексикограф — 238
- Дидо* (Фирмен-Дидо) Амбруаз (1790—1879), французский филолог-классик — 10, 165
- Диоген Синопский* (ок. 400 — ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник — 111
- Добролюбов Николай Александрович* (1836—1861), литературный критик, публицист, сотрудник журнала «Современник» — 25, 63, 67, 77, 78, 118, 160, 296, 366
- Достоевская* (урожд. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918), вторая жена Ф. М. Достоевского, мемуаристка — 129, 137, 359
- Достоевский Федор Михайлович* (1821—1881), писатель и мыслитель — 23, 38, 59—61, 70—72, 76, 103, 113, 116, 131, 144, 147, 148, 152, 157, 160, 161, 168, 172, 173, 180, 181, 185, 187, 189, 190, 193, 197, 201, 205, 206, 220, 228, 230, 238—242, 244, 246, 247, 250, 252, 264, 297, 298, 313, 319, 327, 329, 330, 333, 336, 337, 339, 341, 345, 346, 348, 357—361, 365, 366, 374, 375, 380, 387, 388, 395, 396, 413
- Дриль Дмитрий Андреевич* (1846—1910), криминалист — 297

- Дункан* Айседора (1877—1927), американская танцовщица — 27, 89
- Дюбуа-Реймон* Эмиль Генрих (1818—1896), немецкий физиолог и философ — 283
- Дягилев* Сергей Павлович (1872—1929), театральный и художественный деятель — 70
- Еврипид* (ок. 480—406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург — 224
- Екатерина I* (Марта Скаврнская) (1684—1727), российская императрица (с 1725), вторая жена Петра I — 102
- Екатерина II Великая* (1729—1796), российская императрица (с 1762) — 102, 325, 360
- Ермолов* Алексей Петрович (1777—1861), генерал, участник войны с Францией, главноуправляющий в Грузии во время Кавказской войны (1816—1927) — 66
- Эфрон* (Эфрон) Илья Абрамович (1847—1919), издатель русского Энциклопедического словаря — 326
- Желябов* Андрей Иванович (1851—1881), один из руководителей «Народной воли», организатор убийства Александра II — 68
- Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852), поэт, переводчик, критик — 361
- Загоскин* Михаил Николаевич (1789—1852), писатель — 311
- Зайцев* Варфоломей Александрович (1842—1882), публицист и литературный критик — 68
- Закс* Николай Александрович, директор Елецкой гимназии — 86
- Занд* (Санд) Жорж (наст. имя и фам. Аврора Дюпен, в замужестве Дюдеван) (1804—1876), французская писательница — 346
- Зверев* Иван Павлович, знакомый Н. Н. Страхова — 139, 304, 307
- Звягинцев*, военный врач в Ельце — 32
- Золя* Эмиль (1840—1902), французский писатель — 138, 363
- Ибервег* Фридрих (1826—1871), немецкий философ, историк философии, логик — 76
- Иван IV Грозный* (1530—1584), первый русский царь (с 1547) — 122, 293
- Иванов* Евгений Павлович (1879—1942), публицист, писатель, участник Религиозно-философских собраний в Петербурге — 73
- Иванов-Разумник* (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов) (1878—1946), критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли, мемуарист — 99
- Игнатъев* Николай Павлович (1832—1908), дипломат и политический деятель, посол в Константинополе (1864—1877), подготовил Сан-Стефанский мирный договор (1878) — 377
- Иисус Христос* — 21, 33, 52, 73, 81, 89, 128, 181, 210, 236, 327, 337, 345, 346, 348, 373, 375, 378, 380
- Иловайский* Дмитрий Иванович (1832—1920), историк и публицист — 66, 369
- Иннокентий* (Иван Алексеевич Борисов) (1800—1857), архиепископ Херсонский и Таврический, богослов и церковный оратор — 399, 410
- Иноземцев* Федор Иванович (1802—1869), врач и общественный деятель — 280, 322
- Ионафан* (Иван Наумович Руднев) (1816—1906), архиепископ Ярославский, дядя В. Д. Бутягиной — 404

- Ионин Александр Семенович* (1837—1900), дипломат, путешественник, публицист, драматург — 352
- Ирина* (ок. 752—803), византийская императрица (797—802), жена императора Льва IV (ум. 780), восстановила иконопочитание, канонизирована православной церковью — 373
- Казерио Санто Джеронимо* (1874 (?) — 1894), итальянский анархист, после убийства французского президента С. Карно был казнен — 134, 302
- Калигула* (12—41), римский император (с 37) из династии Юлиев-Клавдиев — 111
- Кальвин Жан* (1509—1564), деятель Реформации в Швейцарии — 391
- Кант Иммануил* (1724—1804), немецкий философ — 11, 18, 158, 173, 293, 294, 347
- Капнист Павел Алексеевич*, попечитель Московского учебного округа — 91, 92, 94, 95, 267, 269, 290, 291
- Каракалла* (186—217), римский император (с 211) из династии Северов — 354
- Карамзин Николай Михайлович* (1766—1826), историк и писатель — 245
- Карбасников Николай Павлович* (1852—1921), книгоиздатель и книготорговец — 54
- Кареев Николай Иванович* (1850—1931), историк и социолог — 75
- Каринский Михаил Иванович* (1840—1917), логик и философ — 42, 116, 128, 135, 212
- Карл Великий* (742—814), франкский король (с 768), император (с 800) из династии Каролингов — 386
- Карно Мари Франсуа Сади* (1837—1894), французский политический деятель, неоднократно министр, с 1887 г. президент республики, убит анархистом С. Казерио — 303
- Карнов Василий Николаевич* (1798—1867), профессор Санкт-Петербургской духовной академии (с 1833), философ, поэт, переводчик, известен своими переводами Платона — 156, 224
- Катков Михаил Никифорович* (1818—1887), публицист, критик, издатель журнала «Русский вестник» (с 1856) и газеты «Московские ведомости» (1850—1855, с 1863) — 26, 27, 60, 78, 128, 154, 157, 172, 209, 237, 275, 288, 332, 334, 352, 353, 356, 359, 362, 366, 378, 382
- Катон Старший* (234—149 до н. э.), римский писатель, поборник староримских нравов — 86
- Карус Карл Густав* (1789—1869), немецкий биолог, врач, психолог, философ — 364
- Кедринский А. А.*, учитель гимназии в Ельце — 190, 193, 194, 232
- Кетчер Николай Христофорович* (1806—1886), врач, поэт, переводчик, друг А. И. Герцена — 65
- Киреевские* — 68, 99
- Киреевский Иван Васильевич* (1806—1856), философ, литературный критик, публицист, общественный деятель — 127, 147
- Кирилл Александрийский* (ум. 444), христианский церковный деятель и теолог — 373
- Киркегор* (Кьеркегор) Сёрен (1813—1855), датский теолог, философ, писатель — 134
- Киселев Павел Дмитриевич* (1788—1872), министр государственных имуществ, осуществил реформу управления государственными крестьянами — 66
- Климент Зедергольм* (наст. имя Карл Густав Адольф, после принятия православия Константин Карлович) (1830—

- 1878), иеромонах Оппиной пустыни, религиозный писатель, переводчик — 253, 319, 331, 350, 399, 410
- Ключевский* Василий Осипович (1841—1911), историк — 286, 287
- Коган* Петр Семенович (1872—1932), историк литературы, критик, переводчик — 52
- Кожевников* Владимир Александрович (1852—1917), историк культуры и литературы, публицист — 126
- Козлов* Алексей Александрович (1831—1901), философ и публицист — 275
- Кок* Поль Шарль де (1793—1871), французский писатель — 118
- Колубовский* Яков Николаевич (1863—?), философ и историк русской философии — 76, 278
- Колумб* Христофор (1451—1506), испанский мореплаватель, родом из Генуи — 388
- Колумбов*, учитель Тамбовской гимназии — 263
- Кольбер* Жан Батист (1619—1683), генеральный контролер (министр) финансов Франции (с 1665) — 228
- Комарский*, врач — 306
- Кони* Анатолий Федорович (1844—1927), юрист и общественный деятель — 103
- Константин I Великий* (ок. 285—337), римский император (с 306) — 373
- Конт* Огюст (1798—1857), французский философ и социолог — 208
- Коперник* Николай (1473—1543), польский астроном — 293, 369, 370
- Корнель* Пьер (1606—1684), французский драматург — 185
- Корнилов*, знакомый Н. Н. Страхова — 309
- Костомаров* Николай Иванович (1817—1885), историк и писатель — 68
- Краевский* Андрей Александрович (1810—1889), издатель и журналист — 64—66, 113
- Кривенко* Василий Силивич (1854—1931, по др. данным 1928), журналист, театральный критик, общественный деятель, начальник канцелярии Министерства императорского двора и уделов — 69
- Кривенко* Сергей Николаевич (1847—1906), публицист, сотрудник журналов «Отечественные записки», «Русское богатство» — 80
- Кромвель* Оливер (1599—1658), деятель Английской революции, лорд-протектор Англии (с 1653) — 320, 328, 386
- Крылов* Иван Андреевич (1769—1844), писатель-баснописец, драматург, издатель — 60
- Ксенофан* (ок. 570 — после 478 до н. э.), древнегреческий поэт и философ — 182
- Кук* Джеймс (1728—1779), английский мореплаватель — 388
- Кулин* Василий Петрович, директор Санкт-Петербургских женских курсов — 91
- Курянов*, волынский помещик — 171, 172
- Кусков* Платон Александрович (1834—1909), поэт, литературный критик, переводчик — 27, 43, 45, 55, 73, 78, 109, 116, 134, 159, 186, 191, 192, 196, 214, 221, 229, 241, 243, 246, 249, 252, 258, 273, 283, 284, 286, 295, 303, 310
- Кускова* Елизавета Александровна, жена П. А. Кускова — 196, 268
- Кутузов* — см. Голенищев-Кутузов А. А.
- Кутузов* Михаил Илларионович (1745—1813), полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией, разгромившей армию Наполеона — 344, 395
- Кювье* Жорж (1769—1832), французский зоолог — 153

- Кюннер* Рафаэль (1802—1878), немецкий филолог и педагог, автор трудов по грамматике древних языков — 368
- Лавров* Вукол Михайлович (1852—1912), журналист, переводчик, редактор-издатель журнала «Русская мысль» (1885—1905/1907) — 81
- Лавров* Петр Лаврович (1823—1900), публицист, философ, социолог, идеолог революционного народничества — 16, 17
- Лавровский* Николай Алексеевич (1827—1899), доктор русской словесности, директор Нежинского историко-филологического института (1875—1882), отец жены Н. Я. Грота — 248
- Ламанский* Владимир Иванович (1833—1914), публицист, критик, славист, общественный деятель — 127
- Ланге* Фридрих Альберт (1828—1875), немецкий философ и экономист — 153, 185
- Ланин* Николай Петрович (1832—1895), купец, публицист, редактор-издатель газеты «Русский курьер» — 262
- Лассаль* Фердинанд (1825—1864), немецкий политический деятель, социалист, публицист — 64
- Ле Бон* (Лебон) Гюстав (1841—1931), французский социальный психолог — 139, 308
- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ, математик, физик, языковед — 153, 158
- Лейкин* Николай Александрович (1841—1906), писатель-юморист, журналист, издатель — 332
- Леонардо да Винчи* (1452—1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер — 106, 108
- Леонов* Иван Павлович, классный надзиратель в Елецкой гимназии — 30, 31, 33, 83, 86, 197, 198, 214, 254
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891), философ, политический и религиозный мыслитель, писатель, литературный критик — 62, 75, 76, 82, 90, 100—103, 105—110, 113, 114, 126, 222, 228, 236, 240, 241, 243, 249, 253, 261, 264, 267, 275, 276, 278—281, 283, 287, 289, 291, 294, 307, 319—332, 334, 335, 337, 338, 341—346, 350—356, 358—361, 363—375, 377, 382—393, 395, 398, 401, 405—408, 413
- Леонтьев* Павел Михайлович (1822—1874), журналист, филолог, друг и соредактор М. Н. Каткова — 26, 27, 334
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт и прозаик — 180, 367
- Лесевич* Владимир Викторович (1837—1905), философ, сторонник позитивизма — 208, 228
- Лесков* Николай Семенович (1831—1895), писатель — 38
- Лессенс* Фердинанд (1805—1894), французский инженер-предприниматель, руководил строительством Суэцкого канала, созданное им акционерное общество для финансирования Панамского канала обанкротилось — 397
- Лойола* Игнатий (ок. 1491—1556), испанский дворянин, основатель ордена иезуитов — 100, 294
- Локк* Джон (1632—1704), английский философ — 224
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711—1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель — 103
- Лопатин* Лев Михайлович (1855—1920), философ и психолог — 99, 110, 166, 296
- Луначарский* Анатолий Васильевич (1875—1933), политический деятель, публицист, писатель — 99

- Лэвель*, возможно, речь здесь идет о последней работе «Древность человека» естествоиспытателя Чарлза Лайеля (1797—1875), но по своим идеям, скорее всего, напрашивается труд историка науки и философии У. Уэвеля, на который неоднократно ссылаются авторы писем — 242
- Любимов* Николай Алексеевич (1830—1897), физик, профессор Московского университета, соратник М. Н. Каткова, редактировал журнал «Русский вестник» — 27, 93
- Людовик XI* (1423—1483), французский король (с 1461) из династии Валуа — 293
- Лютер* Мартин (1483—1546), немецкий религиозный реформатор — 106, 294
- Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 26, 87—89, 91, 94, 95, 116, 181, 188, 191, 193, 225, 241, 253, 259, 261—263, 266, 268, 273, 276, 292, 299, 309, 310
- Майков* Леонид Николаевич (1839—1900), историк литературы, библиограф, этнограф — 26, 27, 34, 38, 48, 53, 56, 82, 193, 197, 206, 207, 223, 225, 226, 234, 238, 253, 254, 258
- Макарий* (Михаил Петрович Булгаков) (1816—1882), митрополит Московский и Коломенский (с 1879), автор «Истории русской церкви» (в 12 т.), «Православно-догматического богословия» (в 5 т.) — 80, 337, 391
- Макарий* (Сушкин) (1821—1889), архимандрит, настоятель русского Пантелеймонова монастыря на Афоне — 43
- Макиавелли* Никколо (1469—1527), итальянский политический мыслитель и историк — 400
- Мак-Магон* Патрис (1808—1893), французский военный и политический деятель, маршал (1859), президент Франции (1873—1879) — 299
- Максимиан Геркуллий* (240—310), римский император (с 286—305 — соправитель Диоклетиана, с 307 правил самостоятельно), отец жены императора Константина I Великого — 373
- Малковский*, сенатор, знакомый Н. Н. Страхова — 125
- Мальбрани* Никола (1638—1715), французский философ — 167
- Маркс* Адольф Федорович (1838—1904), издатель — 136, 299
- Маркс* Карл (1818—1883), немецкий мыслитель, создатель коммунистического учения, названного его именем — 64
- Мей* Лев Александрович (1822—1862), поэт и драматург — 188
- Меланхтон* Филипп (1497—1560), немецкий протестантский теолог и педагог, сподвижник М. Лютера — 106, 391
- Мелье*, знакомый Н. Н. Страхова — 308
- Менделеев* Дмитрий Иванович (1834—1907), химик, педагог, общественный деятель — 103
- Менишуткин* Николай Александрович (1842—1907), химик — 40, 210, 211
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель, с 1920 г. в эмиграции — 73, 74, 112, 123, 277
- Местр* Жозеф Мари де (1753—1821), французский публицист, политический деятель, религиозный философ — 167
- Метерлинк* Морис (1862—1949), бельгийский писатель — 371
- Мецгерский* Владимир Петрович (1839—1914), публицист, издатель газеты-журнала «Гражданин» — 108

- Микеланджело Буонарроти* (1475—1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт — 106, 108, 116
- Милль Джон Стюарт* (1806—1873), английский философ, экономист, общественный деятель — 58, 175, 207
- Милюков Павел Николаевич* (1859—1943), политический деятель, историк, публицист, один из основателей и лидеров партии кадетов, после 1917 г. в эмиграции — 74, 126, 332
- Митрофанья* (баронесса Прасковья Григорьевна Розен) (1825—1889), игуменья Владычно-Покровского монастыря в Серпухове, была избрана в подлогах документов, в 1874 г. приговорена к ссылке — 323, 324, 392
- Михайлов*, студент Санкт-Петербургского университета, последователь Н. Н. Стрехова — 42, 164, 169, 175, 211, 283, 289
- Михайловский Николай Константинович* (1842—1904), социолог, публицист, литературный критик — 16, 17, 19, 53, 71, 80, 100, 113, 140, 141, 185, 228, 271, 275, 305, 326
- Михеев*, отец гимназистов Елецкой гимназии — 83, 84, 254
- Молешотт Якоб* (1822—1893), немецкий физиолог и философ — 100, 265
- Монтескье Шарль Луи* (1689—1755), французский правовед и философ — 313
- Морозов Давыд Иванович* (ок. 1844—1896), фабрикант, издатель журнала «Русское обозрение» — 81
- Моцарт Вольфганг Амадей* (1756—1791), австрийский композитор — 342
- Наполеон I* (Наполеон Бонапарт) (1769—1821), французский император (1804—1814, март — июнь 1815), основатель династии Бонапартов — 344, 361, 364, 408
- Негели Карл Вильгельм* (1817—1891), немецкий ботаник — 213
- Некрасов Николай Алексеевич* (1821—1877/1878), поэт, прозаик, общественный деятель — 53, 64, 65, 80, 113, 188
- Некрасова Зинаида Николаевна* (наст. имя и фам. Фекла Анисимовна Викторова) (1851—1915), жена Н. А. Некрасова (с 1877) — 66
- Никитенко Александр Васильевич* (1804—1877), литературный критик, историк литературы, цензор, мемуарист — 235
- Николаев Ю.* — см. Говоруха-Отрок Ю. Н.
- Николаев*, владелец типографии — 136, 139, 300, 306
- Николай I* (1796—1855), российский император (с 1825) — 122, 293, 294
- Ницше Фридрих* (1844—1900), немецкий философ — 102, 135, 310, 327, 329, 344, 371, 373
- Новиков Николай Иванович* (1744—1818), писатель, журналист, издатель — 324
- Новиков Николай Николаевич*, член Комитета по делам печати — 308
- Новицкий Орест Маркович* (1806—1884), философ, психолог, историк философии — 183
- Новоселов Михаил Александрович* (1864—после 1938), религиозный мыслитель, публицист, издатель — 126
- Норов Авраам Сергеевич* (1795—1869), поэт, переводчик, критик, министр народного просвещения (1854—1858) — 101
- Нувель Вальтер Федорович* (1871—1949), композитор-любитель, член

- объединения «Мир искусства», чиновник Министерства двора — 70
- Ньютон* Исаак (1643—1727), английский математик, механик, астроном, создатель классической механики — 116, 293, 294, 413
- Оболенский* Леонид Егорович (1845—1906), философ, социолог, публицист, критик, писатель — 228
- Овер* Александр Иванович (1804—1864), профессор медицины Московского университета — 397
- Овсяннико-Куликовский* Дмитрий Николаевич (1853—1920), литературовед и языковед — 113
- Овсянников* Николай Николаевич, инспектор Нижегородской гимназии, затем директор народного училища Тверской губернии — 130, 259
- Овсянникова* Елизавета Алексеевна, жена Н. Н. Овсянникова — 130, 301
- Огарев* Николай Платонович (1813—1877), поэт, публицист, философ, общественный деятель — 64, 65
- Огарева* (урожд. Рославлева) Мария Львовна (ок. 1817—1853), первая жена Н. П. Огарева — 66
- Окен* (наст. фам. Оккенфус) Лоренц (1779—1851), немецкий естествоиспытатель и натурфилософ — 364
- Омар I* (ок. 591/581—644), арабийский халиф (с 634), один из ближайших сподвижников Мухаммеда — 386
- Ориген* (ок. 185—253/254), христианский теолог, философ, филолог — 393
- Островский* Александр Николаевич (1823—1886), драматург — 363
- Павский* Герасим Петрович (1787—1863), протоиерей, филолог, гебраист, религиозный писатель — 331
- Пазухин* Алексей Дмитриевич (1845—1891), публицист, правитель канцелярии Министерства внутренних дел — 379
- Панаев* Иван Иванович (1812—1862), писатель, журналист, издатель — 64
- Пантелеев* Лонгин Федорович (1840—1919), общественный деятель, издатель, мемуарист — 298
- Парменид* (ок. 544 — ок. 450 до н. э.), древнегреческий философ — 17, 19
- Парфений* (Петр Агеев) (1807—1878), иеромонах, духовный писатель, мемуарист — 76, 222, 223, 227, 228, 248
- Паскаль* Блез (1623—1662), французский математик, физик, философ, писатель — 206, 211, 213, 377
- Пенкин* Иван Игнатъевич, инспектор Брянской прогимназии — 96
- Первов* Павел Дмитриевич (1860—1929), учитель классических языков в Елецкой гимназии — 9, 39, 48, 170, 201, 206, 207, 211, 223, 224, 226
- Пергамент* Осип (Иосиф) Яковлевич (1868—1909), адвокат, деятель партии кадетов, депутат II и III Государственной думы — 74
- Перикл* (ок. 490—429 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий) — 64
- Перовская* Софья Львовна (1853—1881), революционная народница, организатор и участница покушений на Александра II — 68
- Перцов* Петр Петрович (1868—1947), публицист, критик, искусствовед, издатель — 57, 70, 112, 133
- Петр I Великий* (1672—1725), русский царь (с 1682, правил с 1689), первый российский император (с 1721) — 53, 54, 68, 102, 157, 180, 380
- Петрарка* Франческо (1304—1374), итальянский поэт — 321
- Петров* Григорий Спиридонович (1866—1925), священник, публицист, проповедник, депутат II Государственной думы, в 1908 г. был

- лишен сана, с 1920 г. в эмиграции — 103
- Петровский* Сергей Александрович (1846—1917), историк, публицист, редактор-издатель газеты «Московские ведомости» (1888—1896) — 273, 376
- Петропавловский* Иван Феофистович (ок. 1854—1889), учитель в Елецкой гимназии — 30, 32, 34, 43, 194, 199, 207, 212, 215
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840—1868), публицист, литературный критик, общественный деятель — 17, 64, 68, 100, 179, 296, 366
- Писемский* Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель — 361
- Пифагор* (VI в. до н. э.), древнегреческий философ, религиозно-политический деятель, математик — 183
- Платон* (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ — 85, 104, 106, 107, 155, 157, 182, 224, 374
- Победоносцев* Константин Петрович (1827—1907), обер-прокурор Синода (1880—1905), автор историко-юридических трудов — 18, 69, 81, 125, 285, 348
- Погодин* Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, издатель — 242, 316
- Поливанов* Лев Иванович (1838—1899), педагог, литературовед, общественный деятель — 179, 180
- Полонский* Яков Петрович (1819—1898), поэт — 123, 188, 292
- Потебня* Александр Афанасьевич (1835—1891), филолог-славист — 66
- Потемкин* Григорий Александрович (1739—1791), политический и военный деятель, фаворит и ближайший помощник императрицы Екатерины II — 360
- Преображенский* Василий Петрович (1864—1900), философ, литературный критик, соредактор журнала «Вопросы философии и психологии» — 327
- Протопопов* Михаил Алексеевич (1848—1915), литературный критик и публицист — 80, 296
- Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865), французский экономист, теоретик анархизма, социалист — 406
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799—1837), поэт и прозаик — 20, 26, 28, 38, 51, 65, 93, 102, 103, 179, 180, 183—185, 187, 190, 193, 201, 232, 252, 276, 308, 358, 361, 367, 388
- Пытин* Александр Николаевич (1833—1904), литературовед — 25, 59, 80, 100, 103, 332
- Пышин*, начальник Розанова в гимназии — 291
- Радищев* Александр Николаевич (1749—1802), писатель, философ, политический мыслитель — 324
- Радлов* Эрнест Леопольдович (1854—1928), историк философии, переводчик — 13, 98, 99, 105, 110, 116, 129, 135, 156, 171, 177, 207, 225
- Рафаэль Санти* (1483—1520), итальянский живописец и архитектор — 108
- Рачинский* Сергей Александрович (1833—1902), профессор Московского университета, деятель народного образования, организатор сельских церковноприходских школ — 66, 72, 73, 92, 106, 108, 279, 285, 287, 292, 313, 320, 326, 335, 343, 344
- Ренан* Жозеф Эрнест (1823—1892), французский филолог, историк, писатель — 12, 13, 52, 110, 116, 163, 165, 167, 187, 238, 252, 278, 281, 298
- Репин* Илья Ефимович (1844—1930), живописец — 116

- Рёскин* Джон (1819—1900), английский теоретик и историк искусства, писатель — 371
- Рид* Томас Майн (1818—1883), английский писатель — 323
- Римини* Франческа да (ум. 1283/1286), дочь правителя Равенны, стала персонажем «Божественной комедии» Данте — 398
- Родичев* Федор Измайлович (1853, по др. данным 1856—1932), юрист, земский деятель, один из руководителей партии кадетов, с 1919 г. в эмиграции — 74
- Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — 5, 7—9, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 27—31, 34, 36, 37, 39—46, 48—50, 53, 55—57, 60, 61, 63, 67, 69, 72—77, 79—81, 83, 87, 88, 90, 92—98, 100, 102, 105, 109—111, 114, 119, 123—125, 128—132, 134—140, 142—144, 146, 152, 157, 161, 167, 170, 171, 179, 183, 185, 186, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 201, 203, 206, 208, 210, 211, 213, 216, 218—220, 222—224, 227, 228, 230—232, 235, 236, 238, 240, 242, 244—246, 248, 249, 251, 252, 254, 256, 258—260, 262, 265, 266, 268, 270, 272, 274, 277, 279—281, 283—289, 291, 292, 295, 297—302, 304—307, 310, 312, 314—316, 328—332, 338, 341, 342, 344—347, 349—356, 358—378, 380, 382—388, 394, 395, 397, 400, 405, 407, 411—413
- Розанов* Дмитрий Васильевич (1852—1895), брат писателя — 142
- Розанов* Николай Васильевич (1847—1894), брат писателя — 92, 93, 267, 400
- Розанова* Вера Васильевна (Вера) (1896—1920), дочь писателя — 63
- Розанова* Надя (1892—1893), дочь писателя — 296, 298
- Розанова* Татьяна Васильевна (Таня) (1895—1975), дочь писателя — 312, 314
- Розенкранц* Иоганн Карл Фридрих (1805—1879), немецкий философ, ученик Гегеля — 18, 24, 181
- Ромул*, легендарный основатель Рима и его первый царь — 354
- Россолимо* Григорий Иванович (1860—1928), невропатолог, один из основоположников детской неврологии в России — 247
- Ростовцев*, врач в Ельце — 32
- Ростовцев* Илья Ильич, знакомый Н. Н. Страхова — 309
- Рубакин* Николай Александрович (1862—1946), книговед, библиограф, писатель — 100, 113
- Рудаков* Александр Павлович (1824—1892), протоиерей, богослов, автор популярных книг о Библии — 118
- Руднева* (урожд. Жданова) Александра Адриановна (ок. 1826—1911), мать второй жены Розанова — 407, 410
- Руссо* Жан Жак (1712—1778), французский писатель и философ — 100
- Рцы*, псевдоним Ивана Федоровича Романова (1861—1913), писателя, публициста, друга Розанова — 102, 106, 116, 125, 236
- Рыльцевич*, ученик Елецкой гимназии — 33, 86, 197, 198
- Рюккерт* Генрих (1823—1875), немецкий историк — 126—128, 134, 309
- Рюрик* (ум. ок. 879), по летописному преданию, предводитель варяжского военного отряда, обосновавшегося в Новгороде — 354
- Садоков* Константин Иванович, директор Нижегородской гимназии, затем помощник попечителя Московского учебного округа — 112

- Саллюстий* (86—ок. 35 до н. э.), римский историк — 368
- Саломон* Александр Петрович (1853—1908), друг В. С. Соловьева, административный деятель и публицист, член совета государственного дворянского земельного банка, некоторое время редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», директор Императорского Александровского лицея, переводчик и комментатор Данте — 302
- Салтыков-Щедрин* Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин) (1826—1889), писатель-сатирик, публицист, редактор журнала «Отечественные записки» — 38, 53, 54, 100, 183, 395
- Сальери* Антонио (1750—1825), итальянский композитор — 342
- Санто Казерио* — см. Казерио Санто
- Сахаров* Иван Петрович (1807—1863), собиратель и исследователь фольклора, этнограф, палеограф — 66
- Селиванов* Кондратий Иванович (ум. 1832), крестьянин, основатель секты скопцов — 391
- Сенека* Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.), римский политический деятель, философ, писатель — 86
- Сен-Жюст* Луи (1767—1794), французский политический и военный деятель, якобинец — 121
- Серафим Саровский* (Прохор Сидорович Мошнин) (1754, по др. данным, 1759—1833), православный подвижник — 53
- Сергиевский* Николай Александрович (1827—1892), богослов, религиозный писатель — 169
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838—1910), литературный критик и историк литературы — 53, 68, 70, 80, 83, 90, 99, 100, 113, 259, 264, 265
- Скальковский* Константин Аполлонович (1843—1906), административный деятель, писатель, публицист, горный инженер — 103
- Слободзинский*, врач в Ельце — 32, 198, 199
- Слонимский* Людвиг Зиновьевич (1850—1918), публицист, сотрудник журнала «Вестник Европы» — 25
- Смирнов*, преподаватель женской гимназии в Ельце — 232, 266
- Снегирев* Иван Михайлович (1792/1793—1868), этнограф, фольклорист, археолог — 66
- Сократ* (ок. 470—399 до н. э.), древнегреческий философ — 58, 64, 107, 182, 185
- Солдатенков* Козьма Терентьевич (1818—1901), издатель, коллекционер, меценат — 118
- Соловьев*, учитель Царицынской гимназии — 263
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900), философ, поэт, публицист — 11, 13—15, 18, 20—22, 27, 28, 30, 36, 42, 56—58, 69, 76, 99, 109, 110, 113, 119, 125—127, 134, 152, 157, 159, 167—169, 172—174, 184, 185, 188, 193, 194, 204, 206, 211, 229, 233, 243, 246, 257, 275, 281, 285, 295, 298, 302, 324, 326, 334, 341—345, 347, 348, 358, 359, 364, 365, 368, 369, 376, 383, 389—394, 400, 402
- Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879), историк — 68, 103
- Соловьев* Тимофей Петрович, чиновник в Государственном контроле, автор книги «Теория волевых представлений» (1892) — 308, 309
- Сологуб* (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927), писатель — 135
- Соломон*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965—ок. 926 до н. э.) — 190, 341, 377
- Сотири*, эпирский грек, был в услужении у русского консула, персонаж

- статьи К. Н. Леонтьева «Панславизм на Афоне» — 386, 387, 397
- Спенсер* Герберт (1820—1903), английский философ и социолог — 118, 357
- Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632—1677), голландский философ — 155
- Стасов* Владимир Васильевич (1824—1906), критик и историк искусства — 25
- Стасюлевич* Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, журналист, общественный деятель, редактор-издатель журнала «Вестник Европы» (1866—1908) — 14, 66, 100, 103, 113, 120, 169, 172, 189, 332
- Стахеев*, знакомый Н. Н. Страхова — 116
- Стахеев* Дмитрий Иванович (1840—1918), редактор журнала «Русский вестник» — 138, 313
- Стахович* Михаил Александрович (1861—1923), общественный деятель, депутат I и II Государственной думы, публицист — 62, 67, 240, 243
- Стаховичи*, знакомые Л. Н. Толстого — 61
- Стерлигов* (Стерлигова), домовладельцы — 79, 311
- Столпов*, критик В. С. Соловьева — 172
- Стороженко* Николай Ильич (1836—1906), историк литературы, профессор Московского университета — 151, 164
- Стоюнина* (урожд. Тихменева) Мария Николаевна (1846—1940), деятельница народного просвещения — 63
- Стоянов* Т., критик конфессиональных взглядов В. С. Соловьева в журнале «Вера и разум» (1885—1886, 1888) в статье «Наши новые философы и богословы» — 169
- Страхов* Николай Николаевич (1828—1896), философ, публицист, литературный критик — 5, 7—9, 11, 13—16, 18—20, 22, 24—30, 33—63, 67, 69—81, 83, 84, 86, 88—92, 94—100, 102, 104—106, 108—113, 115—126, 128—140, 142, 144, 147, 148, 152, 154, 156—158, 161, 165, 167, 171, 172, 179, 182, 185, 186, 190, 192—194, 197, 201, 203, 206—208, 211, 213, 215, 216, 218, 220, 222, 223, 225, 227, 229, 232, 233, 235, 236, 239, 240, 243—249, 251, 253, 254, 256, 258, 259, 261—263, 265—270, 272—274, 277—282, 284—289, 291, 292, 294, 296—310, 312—316, 321, 326, 327, 333—335, 341, 343—345, 347, 348, 355, 359, 366, 368, 369, 382, 385, 395, 396, 398, 400, 402—404
- Строганов*, учитель гимназии в г. Белом — 93, 112
- Струве* Генрих Егорович (1840—1912), философ, богослов, психолог, логик — 277
- Струве* Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, философ, историк, публицист, один из лидеров партии кадетов, после 1920 г. в эмиграции — 140
- Суворин* Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист и издатель, с 1876 г. выпускал газету «Новое время», в которой сотрудничал Розанов — 74, 147, 157, 190, 222, 232, 243, 305, 307
- Суворов* Александр Васильевич (1730—1800), полководец, генералиссимус — 33
- Сулейман I Кануни* (1495—1566), турецкий султан (с 1520), при нем Османская империя достигла высшего могущества — 327
- Суслова* Аполлинария Прокофьевна (1839/1840—1918), первая жена Розанова — 306
- Суслова* Надежда Прокофьевна (1843—1918), первая в России женщина-врач, сестра А. П. Суловой (Розановой) — 209

- Сю Эжен* (наст. имя Мари Жозеф) (1804—1857), французский писатель — 371
- Тамерлан* (Тимур) (1336—1405), среднеазиатский эмир (с 1370), полководец — 366
- Тареев* Михаил Михайлович (1867—1934), религиозный философ и богослов — 127
- Тарханов* (Тарханишвили) Иван Рамазович (1846—1908), физиолог — 148
- Тацит* Публий Корнелий (ок. 58 — ок. 117), римский историк — 390
- Тертуллиан* Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220), христианский теолог и писатель — 188
- Тиблин*, знакомый Н. Н. Страхова — 157
- Тиверий* (Тиберий) (42 до н. э. — 37 н. э.), римский император (с 14) из династии Юлиев-Клавдиев — 390
- Тимирязев* Климент Аркадьевич (1843—1920), естествоиспытатель, исследователь физиологии растений — 27, 29, 42—46, 67, 144, 145, 148, 152, 156, 159, 161, 166, 190—193, 197, 201, 204, 206, 212, 213, 218, 220, 221, 227, 229, 275, 282
- Тихомиров* Лев Александрович (1852—1923), революционный народник, после 1888 г. монархист, редактор газеты «Московские ведомости» (1909—1913) — 303, 332
- Тихон Задонский* (Тимофей Савельевич Соколов) (1724—1783), епископ, православный подвижник, богослов — 360
- Тихонравов* Николай Саввич (1832—1893), литературовед и археограф — 66
- Токвиль* Алексис (1805—1859), французский историк, социолог, политический деятель — 397
- Толстая* (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844—1919), жена Л. Н. Толстого — 79
- Толстой* Алексей Константинович (1817—1875), писатель — 188, 217, 241
- Толстой* Андрей Львович (1877—1916), банковский служащий, сын Л. Н. Толстого — 79
- Толстой* Дмитрий Андреевич (1823—1889), историк, политический деятель, обер-прокурор Синода (1865—1880), министр народного просвещения (1866—1880), министр внутренних дел (с 1882) — 18, 26, 27, 66, 128, 288, 357, 408
- Толстой* Лев Николаевич (1828—1910), писатель и мыслитель — 20, 38, 39, 41, 43, 47, 59—63, 66, 71, 73, 79, 80, 91, 98, 100, 101, 108, 119, 128, 133, 139—141, 152, 168, 179—181, 183, 185, 189, 190, 208, 215, 218, 222, 230, 235, 239—241, 243, 244, 247, 248, 253, 271, 274—276, 279, 286, 302, 303, 307, 309—312, 319, 339, 343, 358—362, 365, 366, 385, 388, 389, 396, 407, 409
- Торквемада* Томас (ок. 1420—1498), глава испанской инквизиции — 328
- Травин* Иван Яковлевич, учитель Елецкой гимназии — 207, 215
- Троицкий* Матвей Михайлович (1835—1899), психолог и философ, профессор Московского университета (с 1875) — 16—18, 28, 42, 49, 54, 175, 212, 225
- Трубецкой* Сергей Николаевич (1862—1905), философ, публицист, общественный деятель — 67, 110, 126, 332, 390
- Туганов*, продавец бумаги, знакомый Н. Н. Страхова — 129
- Тургенев* Иван Сергеевич (1818—1883), писатель — 38, 118, 136, 172, 179, 189, 201, 242, 276, 277, 360, 361, 381, 395
- Тэн* Ипполит (1828—1893), французский философ, социолог искусства, историк — 117, 288

- Тэт П. Г.*, немецкий физиолог, естествоиспытатель — 148, 153
- Тютчев Федор Иванович* (1803—1873), поэт, публицист, дипломат — 139, 277
- Уваров Сергей Семенович* (1786—1855), президент Петербургской академии наук (с 1818), министр народного просвещения (1833—1849) — 66
- Успенский Глеб Иванович* (1843—1902), писатель — 38
- Уэвель* (Уэвелл) Уильям (1794—1866), английский ученый, историк науки — 16, 17, 153, 154
- Фавр Жюль* (1809—1880), французский политический деятель, неоднократно министр иностранных дел — 397
- Фаминицын Андрей Сергеевич* (1835—1918), исследователь физиологии растений — 29, 35, 36, 67, 197, 201, 204, 206, 214, 250, 282, 284
- Федюшин*, инспектор Елецкой гимназии — 215
- Фейербах Людвиг* (1804—1872), немецкий философ — 279, 304
- Фет* (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт и переводчик — 116, 334
- Филельфо Франческо* (1398—1481), итальянский поэт, гуманист — 321
- Филипп II* (ок. 382—336 до н. э.), царь Македонии (с 359 до н. э.), отец Александра Великого — 396
- Филиппов Третий Иванович* (1825—1899), директор Государственного контроля, общественный деятель, публицист, знаток истории церкви — 81, 93, 109, 115, 131—133, 138, 279, 297, 355, 356, 365, 402
- Философов Дмитрий Владимирович* (1872—1940), литературный критик и публицист, с 1920 г. в эмиграции — 70
- Фихте Иоганн Готлиб* (1762—1814), немецкий философ и общественный деятель — 18, 362
- Фишер Куно* (1824—1907), немецкий историк философии, последователь Гегеля — 16, 17, 153, 156—158, 209
- Флоренский Павел Александрович* (1882—1937), священник, философ, богослов, ученый, инженер — 14, 126
- Фокион* (397—317 до н. э.), афинский государственный деятель, противник Демосфена — 390
- Форнарина* (на римском диалекте «Булочница»), так звали возлюбленную Рафаэля, дочь булочника Маргариту Лути — 108
- Фохт* (Фогт) Карл (1817—1895), немецкий философ и естествоиспытатель — 100
- Фридрих II Великий* (1712—1786) прусский король (с 1740) из династии Гогенцоллернов, полководец — 320
- Фудель Иосиф* (Осип) Иванович (1864—1918), священник, публицист, сторонник идей К. Н. Леонтьева — 330—332, 348—350
- Хомяков Алексей Степанович* (1804—1860), философ, писатель, публицист, общественный деятель — 66, 68, 80
- Цветков Сергей Алексеевич* (1888—1964), историк литературы, друг и библиограф Розанова — 126
- Цебрикова Мария Константиновна* (1835—1917), писательница, публицистка, литературный критик — 103
- Цертелев Дмитрий Николаевич* (1852—1911), поэт, философ, публицист,

- литературный критик, общественный деятель — 62, 206, 234
- Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856), мыслитель и публицист — 14, 167, 169, 228, 311
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828—1889), писатель, публицист, литературный критик, философ, общественный деятель — 17, 25, 64, 66, 68, 70, 71, 78, 102, 103, 118, 123
- Черняев* Михаил Григорьевич (1828—1898), военный и общественный деятель, генерал-лейтенант, воевал в Средней Азии, на Балканах (главнокомандующий главной сербской армией), туркестанский генерал-губернатор (1882—1884) — 66
- Чехов* Антон Павлович (1860—1904), писатель — 371
- Чингисхан* (Тэмуджин) (ок. 1155—1227), основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206) — 408
- Шаранов* Сергей Федорович (1855—1911), журналист, экономист, публицист, издатель — 112, 125
- Шварценберг* Карл Филипп фон (1771—1820), австрийский фельдмаршал, командовал союзными войсками в войне против Наполеона I (1813—1814) — 344
- Швеллер* Альберт (1819—1858), немецкий историк, в 1847—1848 гг. издал «Метафизику» Аристотеля в 4 т., с переводом, комментарием и пояснительными статьями — 160
- Шекспир* Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт — 108, 181, 294, 387
- Шелгунов* Николай Васильевич (1824—1891), публицист, литературный критик, общественный деятель — 55, 68, 70, 80, 83, 90, 259, 264, 265
- Шеллинг* Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854), немецкий философ — 14, 90, 127, 276
- Шенишина* (урожд. Боткина) Мария Петровна (1828—1894), жена А. А. Фета — 130
- Шенявский* (Шанявский) Альфонс Леонович (1877—1905), генерал, основатель городского народного университета в Москве, названного его именем, открыт в 1908 г. и действовал до 1919 г. — 103
- Шиллер* Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства — 371, 387
- Шингарев* Андрей Иванович (1869—1918), земский деятель, врач, публицист, один из лидеров партии кадетов — 74
- Шопенгауэр* Артур (1788—1860), немецкий философ — 10, 288, 310
- Шперк* Анна Лавровна, жена Ф. Э. Шперка — 135
- Шперк* Федор Эдуардович (ок. 1870—1897), литературный критик, философ, друг Розанова — 12, 20, 48, 57, 77, 116, 135, 232, 250, 251, 302, 307, 316, 393
- Штевен* (по мужу Ершова) Александра Алексеевна, деятельница народного образования, автор «Открытого письма императору Николаю II», в котором речь идет о строительстве дворца для народа — 311
- Штраус* Давид Фридрих (1808—1874), немецкий теолог и философ — 164
- Щеглов* Дмитрий Федорович (ум. 1902), публицист, автор книги «История социальных систем» — 59, 238
- Щедрин* — см. Салтыков-Щедрин М. Е.
- Эльпе*, псевдоним Лазаря Константиновича Попова (1851—1917), журна-

листа, сотрудника газеты «Новое время» — 197

Ювенал (Децим Юний Ювенал) (ок. 60—ок. 127), римский поэт-сатирик — 390

Южаков Сергей Николаевич (1849—1910), экономист, публицист, либеральный народник — 326

Южный М., псевдоним Михаила Григорьевича Зельманова (1869—1901),

сотрудника газеты-журнала «Гражданин» — 330, 398

Яким, племянник Розанова, гимназист Елецкой гимназии — 246

Ярош Киприан Николаевич (1854—?), правовед, журналист, публицист — 281, 344

Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931), писатель, публицист — 192

СОДЕРЖАНИЕ

Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым 5

Письма Н. Н. Страхова к В. В. Розанову с комментариями Розанова 7

Письма В. В. Розанова к Н. Н. Страхову 144

Переписка В. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым 317

Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову с комментариями Розанова 329

Письма В. В. Розанова к К. Н. Леонтьеву 395

КОММЕНТАРИИ 417

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 455

Василий
Васильевич
Розанов

Собрание сочинений

Литературные изгнанники.

Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев

Заведующий редакцией

М. М. Беляев

Ведущий редактор

П. П. Апрышко

Редактор

Ж. П. Крючкова

Оформление художника

Т. С. Грудиной

Художественный редактор

О. Н. Зайцева

Технический редактор

Е. Ю. Куликова

Корректор

Н. А. Медведева

ЛР № 010273 от 10.12.97.

Сдано в набор 05.03.01.

Подписано в печать 13.08.01.

Формат 60x84^{1/16}.

Бумага офсетная № 1.

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 27,90. Уч.-изд. л. 32,05.

Тираж 4000 экз. Заказ № 9.

Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве.

Издательство «Республика»
Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
ГП издательство «Республика».
Миусская пл., 7, Москва. А-47, ГСП-3 125993.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий».
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенсва, 13.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»

Выпускает

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В. В. РОЗАНОВА

В 1994—2001 гг.

вышли следующие тома:

- Т. 1 — Среди художников**
- Т. 2 — Мимолетное**
- Т. 3 — В темных религиозных лучах**
- Т. 4 — О писательстве и писателях**
- Т. 5 — Около церковных стен**
- Т. 6 — В мире неясного и нерешенного**
- Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского**
- Т. 8 — Когда начальство ушло...**
- Т. 9 — Сахарна**
- Т. 10 — Во дворе язычников**
- Т. 11 — Последние листья**
- Т. 12 — Апокалипсис нашего времени**
- Т. 13 — Литературные изгнанники.
Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев**

**Подготовлены к выпуску
следующие тома:**

Т. 14 — Возрождающийся Египет

Т. 15 — Семейный вопрос в России

Т. 16 — В своем углу